This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

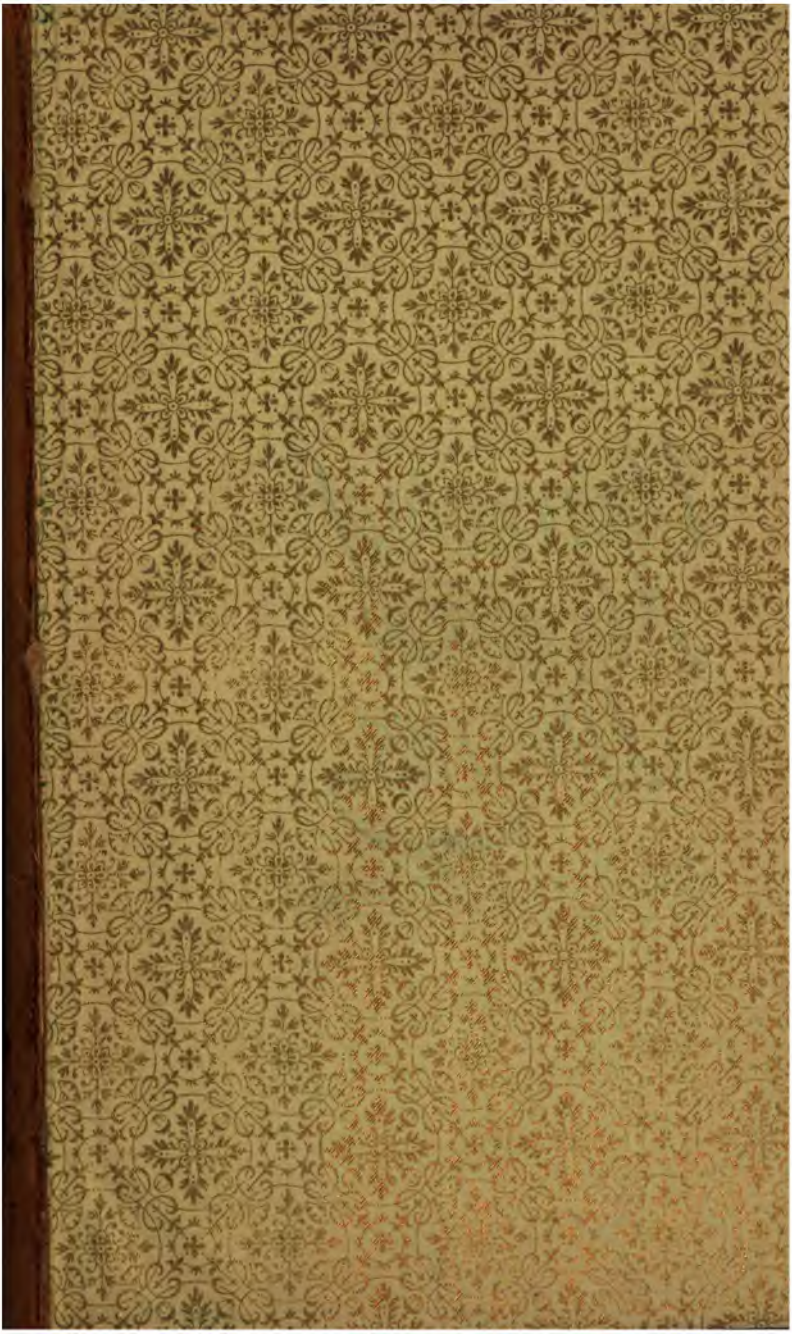
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 470416 DUPL



PROPERTY OF
University of Michigan Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

PRINTED IN RUSSIA

СОБРАНІЕ ВОЛЬФА.

РУССКІЕ БЕЛЛЕТРИСТЫ.

СОЧИНЕНІЯ

В. И. ДАЛЯ.

ТОМЪ II.

61-26795

СОЧИНЕНІЯ

В. И. ДАЛЯ.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

ТОМЪ II.

Изданіе третье.

ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА-ТИПОГРАФА М. О. ВОЛЬФА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный дворъ, №№ 17 и 18

МОСКВА, Петровка, домъ Михалкова, № 5

1883.

Б136
1883

Типографія М. О. Вольфа (Спб., Вас. Остр

ОТСТАВНОЙ.

Полковой штабъ-лекарь Подалякринскій вышелъ въ мундирѣ и при шпаженкѣ осматривать, прибывшую въ полкъ партію рекрутъ. У него, на этотъ разъ, кромѣ должностной надобности при этомъ дѣлѣ, была и своя, семейная, а потому супруга его кричала ему вслѣдъ: «Смотри же, Иванъ Дмитріевичъ, порядочнаго выбери, чтобы не плакаться съ нимъ, доброхотнаго, слышишь?»

Подалякринскій, вмѣсто отвѣта, кивнулъ только головою, махнулъ рукой и пошелъ своимъ путемъ. Онъ осматривалъ каждаго рекрута подъ двойнымъ взглядомъ, казеннымъ и частнымъ, и, наконецъ, остановился передъ однимъ, который повидимому обратилъ на себя особое вниманіе опытнаго распознавателя душевныхъ качествъ человѣка, по наружнымъ признакамъ. Рекрутъ этотъ былъ средняго роста, плотноватъ, сутуловатъ и притомъ уже лѣтъ подъ тридцать; непривычная короткая стрижка придавала спокойному лицу его простоватый видъ, но штабъ-лекарь прочиталъ въ сѣрыхъ глазахъ его именно столько толковитости, сколько нужно было, по его мнѣнію, для того предназначенія, ко-

торое готовилось избиратьму. Есть должности, обязанности и порученія, при которыхъ лишняя доля ума дѣлается именно лишнею. Всякому изъ насъ случалось, вѣроятно, разъ-другой, на неумѣстное возраженіе или оправданіе: «я думалъ», отвѣчать: «думатъ индѣйскіе пѣтухи да такіе дураки какъ ты». Часто приходится говорить, въ отвѣтъ на умничанье исполнителя приказаній: «не дѣлай своего хорошаго, а дѣлай мое худое». Штабъ-лекарь отступилъ отъ него на шагъ, зорко на него посмотрѣлъ, приподнялъ пальцемъ голову его за подбородокъ и спросилъ: Какъ прозываешься? — Астафьевъ, ваше благородіе. — Костромской? — Костромской. — Изъ господскихъ?— Изъ господскихъ. — За что сданъ? — Ни за что, кому нибудь надо было идти. — Какъ ни за что? дѣло прошлое, говори правду! — Я, сударь, и говорю правду: вотчина наша небольшая, молодые ребята что-то очень мелки, а я, хоть и женатый, да бездѣтный, полуодинокій, ктому жь еще хозяйка изнемоглась, хвораетъ, тягла не тянули, меня и отдали. — А не хочешь ли ко мнѣ въ деньщики? — Власть начальничья; говорится: на службу не напрашивайся, а отъ службы не отказывайся. — Однако, хочешь что ли? — Не знаю — казалось бы, что хотѣлось послужить царю вмѣстѣ съ ребятами, то есть съ ружьемъ; люди служатъ, до чего нибудь дослуживаются. — Ну, какъ знаешь, Астафьевъ, служи и во фронтѣ,—сказалъ штабъ-лекарь и пошелъ дальше: — я противъ воли не возьму.

— Ну что, выбралъ? спросила штабъ-лекарша своего мужа, когда онъ воротился домой.—Выбралъ, отвѣчалъ этотъ,

да не совсѣмъ понутру себѣ — однако годящій, кажется. — Чтожь такъ? спросила штабъ-лекарша, я жь тебѣ говорила... —И самъ-бы, матушка, догадался, да я одного только и нашелъ, изъ невидныхъ собой, то есть малоспособныхъ, который былъ бы хорошъ, такъ что-то не захотѣлось ему въ деньщики, до чего-то хочется ему дослужиться; пусть попробуетъ, на что мѣшать — противъ воли, Богъ съ нимъ, не возьму.

Съ этого времени прошло года два, три, и штабъ-лекарь, обходя свой полковой лазаретъ, остановился передъ солдатомъ, который уже дня три числился только *слабымъ*, то есть былъ на выходѣ, на дощечкѣ написано было у этого больнаго *Febris rheumatica*, и фельдшеръ снялъ уже со стойки скорбный листъ, чтобы отмѣтить, по приказанію врача, *sanus*, и выписать служиваго въ роту.—Ну, что, совсѣмъ что ли, Астафьевъ? спросилъ штабъ-лекарь.—Совсѣмъ, ваше высокоблагородіе, отвѣчалъ тотъ, научившись уже чествовать штабъ-лекаря по чину — и въ отвѣтъ на приказаніе его: — Ну, такъ съ Богомъ, маршъ, — сказалъ, что желаетъ переговорить съ нимъ. Подалякринскій вызвалъ его за собою глазъ-на-глазъ. — Ну, что скажешь, Астафьевъ? — Да что, Иванъ Дмитріевичъ, началъ тотъ нѣсколько вкрадчивымъ голосомъ,— когда вотъ только привели меня съ партіей, то вы было изволили, по милости своей, то есть хотѣли взять меня въ деньщики; тогда мало-ли что у человѣка бродитъ въ головѣ — вы, по милости своей, отказались; а теперь — что же мнѣ больше дѣлать — годы мои уже не то чтобы совсѣмъ молодые, бѣда надо мною

стряслась, и самъ я винѣтъ тому — только вы уже не извольте сомнѣваться во мнѣ, ваше высокоблагородіе, что слуга бы я вамъ былъ вѣрный.

Бѣда, которая стряслась надъ Астафьевымъ, и въ которой онъ самъ съ раскаяньемъ винился, состояла въ томъ, что онъ попалъ подъ штрафъ, и что поэтому нѣсколько лѣтъ службы его пропало. Къ нему пріѣхалъ какой-то землякъ, и Астафьевъ, человѣкъ трезвый и даже вовсе не пьющій, напился пьянъ или его землякъ напоилъ, все равно, и притомъ напился не только на караулѣ, но даже на часахъ, гдѣ на бѣду и уснулъ. По тому несчастному случаю онъ отданъ былъ подъ военный судъ. Во все продолженіе дѣла бѣднякъ горько каялся и денно и ночно зарекался, не брать во всю жизнь ни капли водки въ ротъ; все это хорошо было для будущаго времени, но за прошедшее онъ, не менѣе того, поплатился. Черезъ нѣсколько дней послѣ описаннаго нами разговора, Астафьевъ назначенъ былъ въ деньщики къ штабъ-лекарю, который поздравлялъ съ этимъ радостнымъ домашнимъ событіемъ все свое семейство — и, какъ послѣдствія показали, не ошибся.

У Подалякринскаго была большая семья и, кромѣ семи или восьми дѣтей, еще двѣ подростки свояченицы и племянничекъ. Это были полусироты и бѣдняжки, взятыя имъ на свое попеченіе. Между тѣмъ доходы штабъ-лекаря были до того ограничены, что нужна была большая сноровка, привычка терпѣть нужду и крайне умѣренныя потребности для достиженія самой возможности изворотиться данными на долю его средствами. Прибавимъ еще, что хо-

зяйка его была женщина добрая, но что едвали не однимъ этимъ, весьма похвальнымъ свойствомъ, ограничивались всѣ доблестныя качества ея. Въ ней не было и слѣда того, чего мы вправѣ требовать отъ хозяйки дома: толковой бережливости, строгаго порядка, опрятности, любви къ труду, распорядительной заботливости... Нѣтъ, объ этомъ въ родительскомъ домѣ, гдѣ — не скажу воспитывалась, но по крайней мѣрѣ выросла Анна Ивановна, не могли ей дать и не дали никакого, ни даже отдаленнѣйшаго понятія; а своимъ умомъ не дошла она ниже́ до тѣни понятія объ этомъ. Мудрено и конечно несправедливо было бы, послѣ этого, винить ее за то, что было ей такъ же чуждо, какъ, напримѣръ, вамъ какой-нибудь варварскій обычай новозеландцевъ, о которомъ вы даже можетъ быть и не слыхивали; это было бы то же, что обвинять человѣка и охуждать его за то, что природа не дала ему обонянія, что онъ не въ состояніи отличить запахъ фіалки и розы отъ запаха клопа и скипидара; чѣмъ онъ виноватъ, когда, понюхавъ со всѣмъ усердіемъ того и другаго, и третьяго, не слышитъ ровно ничего, и говоритъ о запахѣ и обоняніи только по наслышкѣ? Не менѣе того все огромное семейство ея, не исключая и самого почтеннаго Ивана Дмитріевича, сильно страдало и иногда чуть не погибало подъ гнетомъ этого незамѣчаемаго ею самою недостатка. Относительно образа мыслей Анны Ивановны о воспитаніи дѣтей — обстоятельства также не совсѣмъ маловажнаго, — трудно сказать что нибудь, потому что у нея не было рѣшительно никакого объ этомъ образа мыслей, ни даже вообще

мыслей и безъ образа. День шелъ за днемъ, дѣти плодились у нея и размножались, она сама кормила ихъ грудью и сдавала нянькѣ или деньщику, исправлявшему должность пѣстуна; она прогоняла ихъ, когда они кричали и шумѣли, кормила лакомствомъ, когда оно было въ домѣ и когда сама была въ духѣ; но за то, иногда, не давала имъ даже и голоднымъ хлѣба, когда они ей надоѣдали; она одѣвала ихъ въ разные лоскутья, какъ случалось, или предоставляла заботу о прикрытіи природной наготы ихъ любому изъ чрезвычайно безтолковой прислуги своей; словомъ, все это дѣлалось, какъ было угодно судьбѣ и случаю. Что такое нравственное образованіе — объ этомъ бѣдная Анна Ивановна и не слыхивала и во снѣ ничего не видывала, кромѣ развѣ того только, что надо-бъ было, какъ знала она по темному преданію, *учить* дѣтей; но и тутъ она утѣшала себя и другихъ тѣмъ, что держать *учителей* было ей неначто, да и не было ихъ почти по деревнямъ и городишкамъ, гдѣ они кочевали. Анна Ивановна, какъ вы изъ всего этого видите, много измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ покинула родительскій домъ, и стала на себя непохожа для тѣхъ, кто зналъ ее молоденькой дѣвочкой, и за это, конечно, винить ее нельзя, потому что женщина ея лѣтъ никогда не можетъ походить на дѣвочку. Но перемѣна эта бываетъ не одинакова: здѣсь состояла она только въ огрубѣніи, очерствѣніи, въ тѣсной связи и дружбѣ съ неряшествомъ, словомъ — въ привычкѣ ко всему дурному, къ чему можетъ пріучить недостатокъ, природная безтолочь, беззаботность и кочевая военная жизнь. Иванъ Дмитріевичъ,

будучи весь день занятъ по службѣ, а по вечерамъ копѣечнымъ бостономъ, знать не зналъ и вѣдать не вѣдалъ ничего о томъ, что происходило у него въ домѣ и хозяйствѣ. Иногда, правда, когда ему случалось заглянуть у себя за кулисы, когда онъ слышалъ съ утра крикъ и ревъ дѣтей на разные голоса, видѣлъ ихъ въ грязи и въ рубищахъ, заѣденныхъ насѣкомыми, и прочее — когда онъ видѣлъ все это, то надѣвалъ на себя поспѣшно сюртукъ и уходилъ со двора, въ лазаретъ свой или къ кому нибудь изъ больныхъ или здоровыхъ офицеровъ. Лучшаго средства для поправки дѣла онъ не могъ придумать.

При такомъ положеніи дѣлъ, конечно, человѣкъ, какъ Астафьевъ, былъ истинной находкой. Не долго приживался и пріурочивался онъ къ дому новаго господина своего, какъ освоился со всѣмъ домашнимъ бытомъ и мало-по-малу овладѣлъ всѣмъ хозяйствомъ и самымъ даже воспитаніемъ дѣтей. Онъ сдѣлался прачкой и сталъ мыть бѣлье, снимая его съ господъ и съ дѣтей ихъ по своему усмотрѣнію; онъ же сдѣлался швеей, чинилъ бѣлье это и клалъ заплатки — чего, до него, въ домѣ Подалякринскаго почти и не знали: бѣлье донашивалось и разваливалось у всякаго на своихъ плечахъ. Вы спросите, гдѣ же онъ самъ выучился шить и мыть, будучи взятъ изъ крестьянъ? Нужда мудрена; сурово не бѣлье, — свое рукодѣлье, а прослуживъ нѣсколько лѣтъ солдатомъ, нельзя было ему не сдѣлаться и швеей, и портнымъ, и сапожникомъ, и поваромъ, и прачкой. Астафьевъ мало-по-малу настоялъ даже на томъ, что было заведено нѣсколько перемѣнъ бѣлья, предложивъ сшить хотя митка-

левыя рубашки, коли полотняныя дороги, и это новое изобрѣтеніе чрезвычайно понравилось Аннѣ Ивановнѣ и пошло въ ходъ. Онъ штопалъ чулки и носки, научившись этому наглядно еще дома, отъ сестры своей, которая жила когда-то въ господскомъ дворѣ; онъ мылъ и купалъ дѣтей, чесалъ и одѣвалъ ихъ, заплеталъ барышнямъ косы, уговаривая большенькихъ, по мѣрѣ того, какъ онѣ подростали, привыкать къ уходу около себя самимъ. Наставленія эти онъ приправлялъ примѣрами и наглядными доводами изъ житейскаго быта всѣхъ сословій, и разсказы его слушались охотно. Впрочемъ, когда старшія были уже подросточками, то, одѣвшись кой-какъ наскоро, все-таки выбѣгали иногда на крылечко и перекликивались на кухню съ Астафьевымъ, упрашивая его завязать или застегнуть имъ платье. Тогда вѣрный слуга, прачка, горничная, кучеръ и поваръ, покидалъ на время поваренный ножъ, уполовникъ или скалку — если пекъ пироги, и исполнялъ порученія барышни, заставляя ее въ этомъ критическомъ положеніи выслушивать добрые совѣты и наставленія. Замѣтимъ, что женской прислуги въ это время вовсе не было въ домѣ Подалякринскаго: своя дѣвка давно уже сбѣжала у Анны Ивановны, еще когда они стояли въ Херсонской губерніи, гдѣ побѣги эти были въ общемъ обычаѣ, а нанять сколько нибудь годную, въ тѣхъ мѣстахъ, очень трудно, да притомъ для этого необходимы деньги, которыхъ въ наличности никогда не бывало. Астафьевъ завелъ въ домѣ половыя щетки, которыя дѣлалъ самъ, а до прихода его ихъ не было тутъ и въ заводѣ. Астафьевъ пріучилъ барыню прибирать изъ-

подъ рукъ ворохи всякой всячины, обметать иногда пыль, держать чистое бѣлье отдѣльно отъ чернаго, и понемногу почти отучилъ ее забирать въ долгъ съѣстные припасы, увидѣвъ въ самое короткое время, что это дѣлалось отъ одного только безпорядка и что за безпорядокъ этотъ всегда приходилось расплачиваться вдвое.—Завтрашнимъ днемъ не проживешь, сударыня, говорилъ онъ, — надо жить вчерашнимъ.

Вы спросите, можетъ-быть, какъ Астафьевъ могъ всего этого достигнуть? А напримѣръ вотъ какъ: все, что онъ могъ и умѣлъ сдѣлать самъ — а вы видѣли, что онъ изворачивался способностями своими недурно — то онъ дѣлалъ и дѣлалъ всегда молча, не откладывая и не докучая никому; всего, чего онъ требовалъ отъ барыни, достигалъ онъ исподволь терпѣніемъ, убѣжденіемъ и спокойною настойчивостію. «Вы бы, сударыня Анна Ивановна, принялись бы помаленьку на барышень по рубашечкѣ сшить; оно бы и расходъ вышелъ незамѣтный, и вамъ бы, то есть, не тяжело, а все бы дѣло-то спорилось». Анна Ивановна, какъ очень добрая женщина, не перечила Астафьеву; въ этомъ ей, дѣйствительно, казалось, нужны были только добрый совѣтъ и нѣкоторое понужденіе; если же Астафьевъ и затѣмъ видѣлъ, какъ это иногда случалось, что Анна Ивановна попрежнему бродила отъ скуки изъ угла въ уголъ, а дѣло не дѣлалось, то онъ, подкарауливъ время, когда зналъ, что деньжонки были въ домѣ налицо, приходилъ къ барину и говорилъ сухо: «Пожалуйте денегъ, Иванъ Дмитріевичъ, надо купить миткалю». — На что? — Да на рубашечки, дѣтямъ,

да и барышнямъ то-жь». И Иванъ Дмитріевичъ, ввѣрившись разъ Астафьеву и видя, что хозяйство идетъ у него ничуть не хуже, а напротивъ глаже, спокойнѣе и исправнѣе прежняго, отдавалъ ему нѣсколько цѣлковыхъ, предоставляя имъ распоряжаться и ладить съ барыней. Астафьевъ покупалъ миткаль, приносилъ его барынѣ и говорилъ также спокойно: «Вотъ, сударыня, извольте-ко скроить, хоть по одной на каждаго, а на Машеньку пожалуй хоть двѣ,— прибавилъ онъ однажды, покосившись на вторую свояченицу Ивана Дмитріевича,—ей ужь и надѣть нечего; чинишь, чинишь, инно въ рукахъ разваливается, а скроивъ да помаленьку и сошьете, авось вотъ помогутъ вамъ и Катерина Ивановна, и Марья Ивановна». Подобными настояніями, Астафьевъ наконецъ достигалъ чего хотѣлъ, и всѣ въ домѣ привыкли слушаться его и ничего не дѣлали безъ его совѣта. Астафьевъ мало-по-малу получилъ такой вѣсъ и значеніе въ домѣ штабъ-лекаря, что онъ даже — какъ ни смѣшно сказать это — лечилъ дѣтей, когда они хворали, совѣтуя, поить ли ихъ бузиной или ромашкой, класть ли сухія или мокрыя припарки, — и самъ Иванъ Дмитріевичъ, которому очень тяжело и хлопотно было пользовать своихъ дѣтей, спорить объ этомъ съ Анной Ивановной и наблюдать за исполненіемъ, Иванъ Дмитріевичъ молча предоставлялъ Астафьеву распоряжаться домашними средствами, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ Астафьевъ вылечилъ очень удачно одного изъ дѣтей его калиновыми побѣгами отъ золотухи.

Видя такую удачу, Астафьевъ пошелъ еще дальше въ

преобразованіяхъ своихъ и дошелъ до роскоши: онъ сталъ уже требовать миткальцу на простыньки. До прихода его, одно только супружеское ложе Ивана Дмитріевича и Анны Ивановны пользовалось такимъ преимуществомъ: тамъ если, не всегда, то покрайней-мѣрѣ обыкновенно, стлали простыню, но разумѣется одну только нижнюю, потому что о верхней никто изъ чадъ и домочадцевъ Ивана Дмитріевича, не исключая даже и самаго Астафьева, не слыхивали; затѣмъ, всѣ прочіе семьяне спали въ повалку, гдѣ Богъ приведетъ, и укрывались тѣмъ, что случалось подъ рукой. Астафьевъ, во-первыхъ, помирилъ барышень разъ навсегда, раздѣливъ между ними, силою данной ему власти, всѣ салопы, кацотцы и тулупчики, чтобы не было впредь каждый вечеръ снова ссоры о томъ, кому чѣмъ укрываться; и во-вторыхъ, онъ мало-по-малу построилъ на каждаго и каждую по простынѣ, для перемѣны, и даже, впослѣдствіи, по одѣяльцу; онъ завелъ въ домѣ нѣсколько сундуковъ, домашней полковой работы, куда сложено было бѣлье и лишнее платье, между тѣмъ какъ подушки и одѣяла складывались на день на тѣ же сундуки; и онъ же, наконецъ, настаивалъ, въ свое время, чтобы начать учить грамотѣ ребенка, когда ему исполнялось семь лѣтъ, докучая Ивану Дмитріевичу день за день, чтобы онъ выпросилъ для этого у адъютанта одного изъ писарей. Замѣтимъ, что самъ Астафьевъ былъ не грамотенъ; но онъ не менѣе того наблюдалъ за ученьемъ и дѣлалъ свои замѣчанія.

Я упомянулъ уже, что Астафьевъ терпѣть не могъ забирать припасы въ долгъ, какъ потому, что они всегда отъ

этого становились дороже, такъ и потому, что онъ, по мирному расположенію своему, страхъ не любилъ, какъ онъ выражался, *собачиться* съ жидами, лавочниками и перекупщиками, а безъ этого, при продолжительномъ заборѣ и неисправной уплатѣ, конечно не обходилось. Послѣ долгихъ, но тщетныхъ покушеній замѣнить этотъ обычный хозяйственный порядокъ или безпорядокъ — другимъ, Астафьевъ наконецъ поступилъ такъ: подстерегши Ивана Дмитріевича, возвращавшагося съ жалованьемъ въ карманѣ, Астафьевъ присталъ къ нему на крыльцѣ и, проводивъ его до кабинета или комнаты, носившей названіе это, хотя въ ней и спали свояченицы его, а иногда и гладили бѣлье, да сверхъ того висѣли по стѣнамъ небольшіе запасы луку въ плетеницахъ, а въ углу лежала качанная капуста — но это для насъ теперь дѣло постороннее, — проводивъ Ивана Дмитріевича туда, Астафьевъ досталъ изъ кармана ключикъ, подобранный и припасенный имъ нарочно для этого случая, отперъ ящикъ въ столѣ и началъ убѣждать штабъ-лекаря, безъ обиняковъ, положить въ столъ деньги, увѣряя, что онѣ тамъ цѣлѣе будутъ; онъ довольно сухо, но убѣдительно прибавилъ къ этому, что еще много кой-о-чемъ надо подумать, а въ особенности необходимо уплатить должишки, потому что уже въ заборъ не даютъ больше, а только бранятся, — «а тамъ, не надо больше забирать на счетъ, сказалъ рѣшительно Астафьевъ, а станемъ брать на деньги, гдѣ посходнѣе, такъ не будемъ больше и кланяться *имъ*, собакамъ, а еще они намъ покланяются: это дѣло будетъ лучше». Иванъ Дмитріевичъ, котораго, правду сказать, при-

нятый порядокъ домашняго хозяйства, а въ особенности долги частенько доводили до отчаянія, — возразилъ на это съ нерѣшимостію, что по ограниченности доходовъ нельзя обойтись безъ долговъ и заборовъ; но Астафьевъ отвѣчалъ очень положительно и просто: «вы, сударь, такъ совсѣмъ пропадете, ей-богу пропадете; вотъ что: надо протягивать ножки по одежкѣ; а что напередъ платить деньги, что послѣ, — все одно, не миновать платить, только что лишнихъ возьмутъ съ васъ по полтинѣ на рубль, вотъ и все. Ужь лучше, Иванъ Дмитріевичъ, вы меня послушайтесь: вотъ извольте денежки положить въ столъ, не бойтесь, цѣлы будутъ, я не возьму ни гроша, мнѣ вашего не надо».

Захваченный такимъ образомъ врасплохъ и озадаченный слишкомъ очевидными доводами Астафьева, штабъ-лекарь положилъ деньги въ столъ, Астафьевъ заперъ его и, сунувъ ключъ въ карманъ, проворчалъ только: «вотъ такъ оно дѣлото чище будетъ». И съ этихъ поръ, онъ сдѣлался въ домѣ также казначеемъ и расходчикомъ: онъ велъ дѣла свои такъ хорошо и умѣлъ всегда такъ кстати выказать никѣмъ неожидаемую наличность, сбереженную имъ копѣйку, въ такое время, когда голодъ угрожалъ всей семьѣ, что вскорѣ всѣ привыкли къ этой новой должности Астафьева и ее никто у него не оспаривалъ. Нерѣдко, правда, барыня ссорилась съ нимъ, требуя какихъ нибудь прихотливыхъ, несбыточныхъ расходовъ, безъ всякаго соображенія и разсчета, — упрекала его даже иногда въ дурномъ хозяйствѣ, — но Астафьевъ, опираясь на чистую совѣсть свою, отвѣчалъ преспокойно на первое, что этого никакъ нельзя и не нужно

и что на это денегъ нѣтъ; а на второе, что онъ отдаетъ отчетъ и барину, и барынѣ въ каждой копѣйкѣ, — что онъ Бога боится и что ему чужаго не надо, — и вслѣдъ затѣмъ, выставивъ одну ногу, уставивъ глаза на поднятые пять пальцевъ лѣвой руки и перебирая ихъ указательнымъ перстомъ правой руки, Астафьевъ начиналъ высчитывать по пальцамъ всѣ расходы, до самыхъ мелочныхъ, мѣсяца за два или за три назадъ: грамотѣ онъ не зналъ, но помнилъ все наизусть. Этимъ разговоръ оканчивался, потому что у Анны Ивановны никогда недоставало терпѣнія выслушать разсчетъ этотъ до конца, а Астафьева нельзя было сбить или остановить ничѣмъ, онъ продолжалъ счетъ свой, пока не подводилъ итога, — и дѣло оставалось при старомъ порядкѣ. Иванъ Дмитріевичъ, глядя на все это, былъ очень счастливъ, что могъ адресовать супругу свою, по случаю каждаго казначейскаго требованія, къ Астафьеву; предоставляя ему раздѣлываться, какъ знаетъ, Подалякринскій убирался втихомолку въ свою комнату или даже, смотря по обстоятельствамъ, уходилъ со двора, а Анна Ивановна, по добродушію своему и слабости характера, не только никогда не была въ силахъ настоять на требованіи своемъ противъ расходчика своего и казначея, но даже не умѣла путемъ съ нимъ побраниться. Наконецъ Астафьевъ, съ своей стороны, перенесши съ невозмутимымъ спокойствіемъ духа всѣ нападки и упреки, умѣя кстати смолчать и во-время молвить словечко, задобривалъ гнѣвную Анну Ивановну или награждалъ, добронравную и послушную, вовсе неожиданнымъ фунтикомъ сахару или четверкою чаю, и миръ за-

ключался при общихъ радостныхъ кликахъ всей семьи. Тогда онъ, стоя почтительно у дверей, смѣло и свободно читалъ наставленія свои и дѣлалъ нужныя впередъ распоряженія.

Дѣти, въ особенности барышни, пріучались понемногу быть помощниками Астафьева по хозяйству; онъ выучилъ ихъ не только шить и вязать, но даже плести простыя корзины и вязать щетки. Бывали въ теченіе многихъ лѣтъ службы Астафьева у штабъ-лекаря и такіе случаи, что ограниченныхъ доходовъ со всѣми натяжками недоставало на пропитаніе огромной семьи, особенно если безразсчетливая прихоть или неожиданный значительный расходъ внезапно поглощали мѣсячное жалованье; тогда Астафьевъ приходилъ скромненько къ отчаянному баринy и, занесши руку на затылокъ, — вольность, къ которой онъ, по старой привычкѣ, возвращался иногда, съ тѣхъ поръ какъ попалъ въ нестроевую силу, — просился у Ивана Дмитріевича въ городъ. За чѣмъ? — Да надо бы вотъ исправить кое-что по хозяйству. — Да что же такое, Астафьевъ — какое теперь хозяйство, у насъ мѣднаго гроша нѣтъ въ домѣ! — То-то, сударь, я за этимъ-то и говорю, что надо побывать въ городѣ, добыть то есть деньженокъ. — Гдѣ же ты добудешь? — Да у меня, признаться, десятокъ другой щетокъ есть заготовлено, такъ онѣ, себѣ, завалялись какъ-то, такъ я съ ними-то и пошелъ бы; все что нибудь можно выручить... все-таки лучше, чѣмъ въ долгъ гдѣ искать да кланяться... свое добро надежнѣе чужаго... вотъ до перваго числа пробиться только... И Астафьевъ уходилъ въ го-

родъ, навьюченный щетками, которыя онъ вязалъ изъ щетины, выхваченной тутъ и тамъ, урывками, изъ хребта вольношатающейся по селу свиньи. «Щетинка выростетъ скоро, говорилъ онъ, а гривенничекъ-то въ карманѣ». Изъ города-жь онъ возвращался, навьюченный нужнѣйшими припасами, и никогда не забывалъ принести барышнямъ грошовый гостинецъ.

Годы шли однообразно за годами, барышни росли не по днямъ, по часамъ, свояченицы заневѣстились, и вотъ, къ старшенькой наклюнулся женишокъ. Тутъ-то посмотрѣли бъ вы, какъ Астафьевъ обо всемъ заботился, какъ онъ, черезъ добрыхъ людей — старыхъ, надежныхъ писарей и черезъ жену каптенармуса — разузнавалъ: каковъ онъ, женихъ этотъ, и годится ли онъ для нихъ? Какъ онъ, собравъ удовлетворительныя справки и свѣдѣнія, объявлялъ Аннѣ Ивановнѣ, что за этого человѣка Марью Ивановну отдать можно, и съ какимъ усердіемъ наконецъ онъ снаряжалъ невѣсту... Прочія дѣти у него же на рукахъ росли и зрѣли; чрезъ годъ или два тѣ же заботы; просватали и другую свояченицу. Тамъ стали пристраивать сыновей; одного отправили въ корпусъ, съ попутчикомъ, знакомымъ офицеромъ; другаго, который вышелъ изъ лѣтъ для этого, записали въ юнкера; затѣмъ пришелъ, исподволь, чередъ дочерей, которымъ, казалось, и конца не было, такъ быстро одна вслѣдъ за другою подростали, выкормленныя и выхоленныя пѣстуномъ своимъ, Астафьевымъ. И ни одна изъ нихъ не засидѣлась, несмотря на бѣдность безприданную, на красоту изъ средней руки и другіе, болѣе или менѣе

общіе всему человѣчеству недостатки, и несмотря на то, что онѣ росли, какъ груздики въ лѣсу, по волѣ Божьей и Астафьева... И если Астафьевъ, на основаніи собранныхъ имъ свѣдѣній, говорилъ: «Власть ваша, сударыня, а этотъ женихъ намъ не рука, за него не отдавайте, онъ съ жены послѣднюю рубаху пропьетъ.», то жениху этому отказывали, и дочери Подалякринскаго, безъ всякаго сомнѣнія, обязаны были Астафьеву за то, что ихъ не утопили за пьяницъ, буяновъ и разнаго рода негодяевъ, которыхъ, какъ извѣстно, вездѣ довольно; а всякому извѣстно, что свѣдѣнія о подноготной, домашней жизни и обычаяхъ человѣка гораздо легче и вѣрнѣе собираются именно тѣмъ путемъ, который былъ гораздо достушнѣе Астафьеву, чѣмъ отцу и матери невѣсты.

По мѣрѣ того, какъ семейство Подалякринскаго оперялось и выпархивало изъ гнѣздышка своего, для быта и жизни Астафьева, называемаго съ того времени, какъ онъ началъ старѣться, Дмитричемъ, — также настала иная и новая полоса. Ему надо было заботиться также объ отсутствующихъ, а между тѣмъ переписка по почтѣ требовала съ той и другой стороны нѣсколько лишнихъ гривенниковъ, а въ залишкѣ ихъ ни тутъ, ни тамъ не бывало; кромѣ того, надо сказать правду, вся семья штабъ-лекаря, за исключеніемъ развѣ его самого только и сына, воспитаннаго въ корпусѣ, была малограмотна или по крайней мѣрѣ до того непривычна къ письму и къ почтовой перепискѣ, что рѣдко и съ трудомъ только рѣшалась на такую мѣру. Проходили не только мѣсяцы, но и годы, въ теченіе коихъ

родители — а съ ними и Дмитричъ — получали вѣсточк отъ дѣтей и посылали обратно не иначе, какъ по случа прибытія какого нибудь офицера, переведеннаго изъ одног полка въ другой или проѣзжающаго по какому либо слу чаю черезъ мѣста расположенія двухъ родственныхъ пол ковъ.

Такъ какъ и свояченицы, и дочери Ивана Дмитріевич выданы были за поручиковъ, лекарей и аудиторовъ одног и того же корпуса, гдѣ также служили оба сына его і онъ самъ, то вся семья и была раскинута на пространств двухъ или трехъ губерній. Обстоятельство это, заставив шее Астафьева изучить нѣсколько географію того края, по дало ему новую мысль: слѣдя за переходами Марьи Ива новны, Катерины Ивановны, другой Марьи Ивановны, т. е свояченицы и дочери и прочихъ, онъ чертилъ въ раздумь дорожки по песку, совѣтовался съ бывалыми солдатами і разсчитывалъ версты. Наконецъ, надумавшись, онъ пришел къ барынѣ, занесъ руку на затылокъ и сказалъ: «о чемъ сударыня, я хотѣлъ вамъ доложить»..... Ну, о чемъ же Дмитричъ? «А вотъ на счетъ того, что благодаря Бога то есть далъ Богъ пристроить намъ благополучно всѣх господъ и барышень, кромѣ только вотъ Наденьки — ну она мала еще, а Господь и ее не оставитъ — пуще всего надо молиться — а вотъ я ужъ сколько лѣтъ теперь не видался съ ними, особенно съ Марьей Ивановной стар шенькой (т. е. свояченицей), да съ Катериной Ивановной, да правда и съ меньшинькой Марьей Ивановной тожь давно, и съ Анной Ивановной тожь, и съ Дмитріемъ Иванови-

чемъ — ну пусть вотъ съ Андреемъ Ивановичемъ и съ прочими, какъ вотъ и съ Марфой Ивановной видѣлись, не такъ давно. то есть, а все порядочно времени будетъ; ну а у тѣхъ, то есть у старшихъ-то барышень (онъ ихъ все еще называлъ барышнями) и дѣтки пошли помаленьку, то есть свои, а я ихъ, сударыня, вѣдь и не видалъ, и не знаю ихъ въ глаза; такъ не будетъ ли милость ваша, написали бъ имъ всѣмъ по письму, кому что, то есть, надо знать, и насчетъ того, то есть, приписали-бъ чтобъ они хорошо жили, по-людски да по-Божески, а что живы-здоровы тятенька и маменька, — я бъ и самъ, то есть объ этомъ доложилъ и завѣрилъ бы во всемъ, и гостинца можетъ какого пошлете, а я бы и своего свезъ, да и по щеточкѣ сапожной и платяной разнесъ бы имъ, — а тамъ, коли бъ далъ Богъ по-здорову воротился, а вамъ бы то есть живой вѣсточки принесъ ото всѣхъ»....

Выдумка эта очень понравилась Аннѣ Ивановнѣ; она теперь жила со старикомъ Иваномъ Дмитріевичемъ и послѣднею дочерью, самъ третей, и потому легко могла обойтись на нѣсколько времени безъ Астафьева; гнѣздо, противъ прежняго, опустѣло, а круговое путешествіе близкаго человѣка, односемьянина, ко всѣмъ милымъ ея, и возвращеніе его съ разсказами домой — это какъ-то чрезвычайно утѣшало ее и будто сближало между собою всѣхъ, раскинутыхъ по тремъ губерніямъ, членовъ ея семейства. Иванъ Дмитріевичъ соглашался на все, что положено и опредѣлено было въ семейномъ совѣтѣ, въ которомъ жена его и Астафьевъ были непремѣнными членами, а самъ онъ не по-

стоянно присутствующимъ предсѣдателемъ. Подумавъ и разсмѣявшись, онъ махнулъ рукой и сказалъ: «ну, и съ Богомъ, коли самъ напрашиваешься, хочешь провѣтриться, такъ ступай!» Но выслушавъ еще другое предположеніе Астафьева, которое родилось въ старикѣ по спопутности съ первымъ, Иванъ Дмитріевичъ убѣдилъ его отказаться отъ него, доказавъ Дмитричу, что это неудобно: Дмитричъ думалъ было, нельзя ли будетъ ему также зайти — благо онъ на ногахъ — домой, то есть на родину, и узнать что тамъ дѣлается.... А между тѣмъ корпусъ стоялъ въ южной Россіи, Астафьевъ же былъ костромичъ!

Путешествіе окончено было ко всеобщему удовольствію и утѣшенію родителей, дѣтей и въ особенности самого Астафьева. Розсказнямъ о похожденіяхъ разнаго рода и о житьѣ-бытьѣ того и другаго, и третьяго, не было конца Дмитричъ принесъ съ собою, между прочимъ, подробныя свѣдѣнія о томъ, кто изъ замужнихъ дочерей какъ живетъ съ мужемъ, то есть хорошо ли, плохо ли, и почему; но вообще извѣстія были довольно утѣшительны. Одну только вторую дочь пришлось ему разбирать въ какой-то ссорѣ съ мужемъ; но и тутъ, какъ Дмитричъ увѣрялъ по край ней мѣрѣ, онъ успѣлъ окончить дѣло миролюбиво, вразумивши супруговъ своими отеческими наставленіями.

Съ этого времени Астафьевъ отправлялся ежегодно по одному разу въ этотъ путь, въ обходъ по всѣмъ членамъ бывшаго семейства Подалякринскаго, разносилъ письма и гостинцы и приносилъ отвѣты, устныя пожеланія и поклоны. Дня своего отправленія ждалъ онъ всегда какъ празд

ника, служилъ наканунѣ молебенъ, и никогда не забывалъ при этомъ утѣшать себя еще и тою надеждою, что вотъ онъ такимъ образомъ пойдетъ когда нибудь и зайдетъ также домой, въ свою губернію.

Иванъ Дмитріевичъ съ Анной Ивановной состарѣлись, Астафьевъ посѣдѣлъ какъ лунь, но былъ все тотъ же, только скучалъ иногда при своемъ одиночествѣ, потому что въ домѣ сдѣлалось тихо и пусто: изъ десяти дѣтей, со включеніемъ свояченицъ, осталась одна только, младшая дочь: Иванъ Дмитріевичъ, какъ выражалась Анна Ивановна, шатался весь день по должности, а вечеромъ постоянно отправлялся на бостончикъ; сама Анна Ивановна охотно уходила по слѣдамъ его, если онъ былъ не въ холостомъ обществѣ, или просиживала вечерокъ у одной изъ сослуживокъ своихъ; словомъ, домъ опустѣлъ. Между тѣмъ годы шли за годами, и Астафьевъ выслужилъ свои 25 лѣтъ, со времени вступленія въ должность деньщика къ штабъ-лекарю; — прежніе годы службы его, по случаю штрафа, не считались — и вотъ, сталъ онъ ожидать со дня на день своей чистой отставки, размышляя, что онъ станетъ съ нею дѣлать.

Разсуждая объ этомъ обстоятельствѣ, Астафьеву казалось, что отставка его еще далеко впереди и выйдетъ не скоро — такъ привыкъ онъ къ нынѣшнему своему положенію, — да кромѣ того, онъ спрашивалъ у добрыхъ людей: куда и зачѣмъ ему теперь идти домой послѣ тридцати лѣтъ отсутствія, ему, безродному и безплеменному старику, у котораго и хозяйка-то давно уже померла, и на всемъ свѣтѣ

не осталось родныхъ никого, кромѣ Ивана Дмитріевича съ Анной Ивановной да дѣтокъ ихъ? «Коли станутъ они меня старика кормить, говорилъ онъ, то пусть и похоронятъ; ужь не много мнѣ еще осталось доживать на свѣтѣ, не чужой вѣкъ заѣдать». Но когда Астафьеву выданъ былъ наконецъ паспортъ на всѣ четыре стороны, когда человѣка три сослуживцевъ его, получивъ также отставку, стали собираться въ путь, и наконецъ, прощаясь со всѣмъ полкомъ, зашли проститься и съ Дмитричемъ, и попрощавшись пошли себѣ съ посохами и котомками по широкой дорогѣ, а Дмитричъ стоялъ за воротами и глядѣлъ за ними вслѣдъ, тогда вдругъ на старика напала такая грусть, такая тоска, что онъ бродилъ какъ шальной, не зная куда дѣваться. Баринъ и барыня допытывались, полагая, что ему нездоровится; — онъ отнѣкивался и молчалъ, и все еще перемогался и крѣпился. Наконецъ, однако же, у него не хватило силъ, и его застали однажды врасплохъ, въ темномъ чуланчикѣ, куда онъ забился отъ людей: сидѣлъ онъ и плакалъ, какъ ребенокъ, горькими слезами. Долго Анна Ивановна не могла добиться толку, для чего Дмитричъ забился туда, между кулья, старыхъ колесъ и щетокъ собственнаго издѣлія, да еще сверхъ того, сидитъ и плачетъ. Наконецъ, Иванъ Дмитріевичъ разобралъ дѣло и сказалъ, что это-де болѣзнь Nostalgia, которой, напримѣръ, вовсе не знаютъ ярославцы, привыкшіе смолоду шататься по всему свѣту, между тѣмъ какъ сосѣди ихъ, костромичи, а еще болѣе вятичи, нерѣдко сильно тоскуютъ по своей родинѣ. Да, въ старикѣ спорили два чувства, которыхъ онъ

не умѣлъ ни согласовать и примирить, ни подавить: тоска по родинѣ и привязанность къ своимъ господамъ; вѣдь младшая дочь не была еще пристроена, какъ же ему было оставить ее? «На кого же я ее, сердечную, покину?» говорилъ онъ вздыхая, не подумавъ о томъ, что говорилъ это родному отцу ея и матери, которые остаются при ней.... Онъ кормилъ ее соской, кормилъ потомъ и ложкой, онъ стиралъ на нее пеленки, а теперь было ей уже 15 или 16 лѣтъ, — какъ же ему объ ней не позаботиться?

Наконецъ, послѣ долгихъ толковъ, порѣшили и уладили дѣло. Пришла весна, пришло и время, когда Астафьевъ пускался съ письмами и гостинцами въ путь, въ обходъ по тремъ губерніямъ, и потянуло его на просторъ, какъ журавля къ отлету. Онъ увѣрялъ, удивляясь самъ тому, что у него и сердце бьется, и даже икры и подошвы сводитъ, потому что засидѣлся. И такъ, рѣшено было, чтобы Дмитричу и теперь обойти, въ послѣдній разъ, урочный кругъ свой по всѣмъ воспитанникамъ и воскормленицамъ, проститься съ каждымъ изъ нихъ, а тамъ, перекрестясь, зайти по пути домой, — то есть, на пути изъ Подольской губерніи въ Волынскую и Кіевскую, зайти въ Костромскую. Давнишняя, завѣтная мысль его приходила въ исполненіе; а когда на него находило порою раскаяніе, то онъ утѣшалъ и себя, и Анну Ивановну тѣмъ, что если ему только не покажется дома, то ему всегда вольно воротиться. «Что мнѣ теперь, говорилъ онъ, я теперь вольный казакъ; куда захотѣлъ, туда и пошелъ».

Передъ отправленіемъ своимъ въ путь, Астафьевъ при-

шелъ еще къ барину съ объясненіемъ особаго рода: онъ отдалъ ему отчетъ въ томъ, сколько накопилъ своихъ деньжонокъ въ 30 лѣтъ, «чтобы вамъ, сударь, было извѣстно, говорилъ онъ, что я уношу изъ вашего дома; безъ этого уходить не годится». Подалякринскій принудилъ старика принять еще хотя небольшую прибавку; они обнялись, и Дмитричъ, заплакавъ, поцѣловалъ ручку барыни и барышни, и наказавъ еще послѣдней, на прощанье, уважать тятеньку и маменьку, ходить около себя почище, чиниться, не обнашиваясь до послѣдняго, а впрочемъ во всемъ полагаться на волю Господню, — пустился въ путь. На улицѣ онъ еще разъ остановился, поправилъ котомку, снялъ фуражку, перекрестился — и пошелъ.

Была уже поздняя осень, когда отставной служивый, въ солдатской шинели безъ погоновъ, подходилъ къ небольшому селенію въ Костромской губерніи. Онъ почасту останавливался, осматривался кругомъ и съ трудомъ только признавалъ мѣстами знакомыя урочища, но за то каждый разъ при этомъ на смугломъ, лубяномъ лицѣ его появлялась топорная улыбка, сѣрые глаза оживлялись и зорко выглядывали изъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ бровей. Церкви не было въ селеніи; но когда показались на пригоркѣ кресты кладбища, то сутулый старикъ снялъ шапку и обнажилъ поросшую густыми, бѣлыми волосами голову, похожую на щетку своего издѣлія. Онъ положилъ три земныхъ поклона, прослезился и, бормоча про себя на ходу, поминалъ многихъ изъ лежавшихъ на кладбищѣ этомъ, поименно. Поднявшись на послѣдній взлобокъ, онъ опять остановился и подперся

посохомъ: деревенька вся лежала передъ нимъ; можно было разсмотрѣть каждый дворъ и домъ. Онъ опять перекрестился и стоялъ безъ шапки, глядя прямо на селеніе.

— Пятьдесятъ три — сказалъ онъ наконецъ — да, дворовъ десятка два поприбавилось; и у барина усадебка обстроена получше: видно молодой — должно быть что теперь правитъ молодой — хозяинъ хорошій. А избы моей не узнаешь, хоть не ищи! И съ этого края избы выросли, и съ того края выросли — вонъ, поди, до самаго оврагу! — Вотъ каково тридцать годовъ слишкомъ дома не бывать — и не маленькій вышелъ отсюда, хозяйку покинулъ, царство ей небесное, а теперь — на своемъ пепелищѣ заплутаешься, ей Богу!

А что, — продолжалъ онъ про себя — есть ли кто на деревнѣ кто-бы узналъ меня? Наврядъ-ли. Попытаемся!

Онъ спустился съ пригорка и пошелъ медленными шагами вдоль по улицѣ, разсматривая направо и налѣво всякую избу и вглядываясь зорко въ каждаго прохожаго. Перваго встрѣтилъ онъ пожилаго мужика, который, видя что отставной служивый остановился и смотритъ ему въ глаза,— поклонился, проговорилъ: здравствуй, дѣдушка, и пошелъ своимъ путемъ. Дальше встрѣтилъ Астафьевъ дѣвку, — и та поклонилась молча, и поднявъ прутъ, пошла встрѣчать стадо. Старикъ оглянулся: пыль подымалась столбомъ по гребню пригорка, съ котораго онъ самъ только что спустился; ревъ коровъ раздавался издали — и изъ воротъ каждой избы стали показываться старушки, дѣвки, старики или дѣти, готовясь встрѣтить и загнать свою пестравушку, чернавушку или буренушку.

Дмитричъ отошелъ къ сторонкѣ, сталъ и началъ вглядываться молча въ каждаго изъ проходящихъ, надѣясь увидѣть хоть одно знакомое лицо; но старые и молодые встрѣтили скотъ свой и загнали его домой, проходя туда и сюда мимо старика, — а онъ стоялъ одинокъ и неузнанъ, какъ на чужбинѣ. Пыль начинала улегаться на опустѣвшей улицѣ; пастухъ сдавъ съ рукъ, на нынѣшній день, товаръ свой, отправился на покой въ чередную избу, которая должна сегодня накормить и пріютить его; въ дворахъ тутъ и тамъ слышались только голоса бабъ, бесѣдующихъ съ коровами своими или съ ребятишками, а у Дмитрича что-то подступило подъ сердце, его одолѣла тоска. Онъ присѣлъ на заваленку.

Немного погодя, окно надъ головою старика растворилось и тамъ показалась также голова, плѣшивая отъ бровей до затылка, съ бѣлокудрыми висками. «Что служба, спросилъ старикъ, аль проходомъ?» — А какъ Богъ пошлетъ, отвѣчалъ Дмитричъ, снявъ фуражку, кивнулъ головой и накрывшись опять, — коли кто зазоветъ старика, такъ заночуемъ, а нѣтъ, такъ пожалуй и мимо. — «Просимъ милости, сказалъ первый, кланяясь, и на печь посадимъ и толоконцемъ угостимъ. Чѣмъ Богъ послалъ. А вы домой идете?» — Домой — благодарствуемъ на добромъ словѣ. — «А далече?» — Оно встарину бывало и недалече, а теперь не знаю, какъ и сказать: ино и скажешь, да не повѣрятъ. «Что такъ?» — Да вотъ такъ: эта изба чья теперь, вонъ, гдѣ супротивъ воротъ корова телка лежитъ? «Эта — да нашего мужика!» — А какъ, то есть прозывается этотъ мужикъ вашъ?

«А прозывается онъ Бобренкомъ» — А! Бобренкомъ, продолжалъ Дмитричъ, а чья изба была тутъ до него? — «До него — да вѣдь ужь онъ давно и предавно тутъ». — Нужды нѣтъ, что давно, знаемъ и мы счетъ годамъ; да чья была она? «Да тутъ жилъ хозяиномъ, почитай, что ровня мнѣ былъ по годамъ, однолѣтокъ мнѣ, то есть, мужичокъ нашъ, да ужь гдѣ та пора, давно предавно, — на службу ушелъ, сданъ былъ въ некрутство»... Въ это время голова старухи высунулась изъ другаго окна; поглядѣвъ немного на странника, съ которымъ хозяинъ ея бесѣдовалъ, и слышавъ все что было говорено, старушка вступилась за своего старика, который, какъ ей казалось, не умѣлъ толкомъ сговорить съ прохожимъ, и продолжала: — Нѣтути его, батюшка, того мужичка давно ужь на свѣтѣ нѣтути, въ солдаты ушелъ да турки изъ пушки его убили!

— А типунъ тебѣ на языкъ, да коза въ огородъ!—закричалъ окрысившись Дмитричъ и всталъ вытянувшись такъ, что и горба его не стало видно. — Крестьянина того звали Астафьевымъ, Васильемъ, продолжалъ онъ, глядя на крестящуюся отъ изумленія старуху, — а теперь вотъ дослужился, что чествуютъ его Дмитричемъ, а вотъ онъ живъ, передъ вами!

Старикъ со старухой, образумившись, кинулись на улицу, принимать дорогаго гостя: оба они помнили еще хорошо Астафьева, что нынѣ Дмитричъ, но не чаяли съ нимъ свидѣться. Аханьямъ, удивленіямъ и извиненіямъ не было конца. — Батюшка, отвѣчала старуха, когда Дмитричъ

сталъ ей пенять, что она хотѣла уморить его — батюшка ну прости меня грѣшную, что съ велика бабья ума мол вила: люди такъ говорили, что чай давно пропалъ онъ легко-ли дѣло, что время — мѣста ушло — ну и я, грѣшная за ними; ты прости меня: отъ слова не сбудется!

Вечеромъ, когда вѣсть о приходѣ Дмитрича прошла по деревенькѣ, еще пять-шесть стариковъ и старухъ собра лись посмотрѣть на выходца съ того свѣта, привѣтствовал его и обнимали; болѣе не зналъ его на селѣ никто: въ 32 года выросло новое поколѣніе! Долѣе всѣхъ бесѣдовалъ Дмитричъ съ Авдотьей, одинокой вдовой почти однихъ съ нимъ лѣтъ, которая закрыла глаза хозяйкѣ его и пересказывала всѣ подробности ея кончины, будто это случилось вчера, хоть тому прошло 27 лѣтъ.

На другое утро Дмитричъ почистился, пооправился и пошелъ явиться къ молодому помѣщику, сыну того, котораго Астафьевъ, уходя на службу, оставилъ еще холостымъ. Поздоровавшись, старикъ подалъ помѣщику письмо отъ своего штабъ-лекаря, въ которомъ этотъ свидѣтельствовалъ въ самыхъ задушевныхъ выраженіяхъ все, что умѣлъ высказать добраго и хорошаго объ Астафьевѣ. Помѣщикъ принялъ старика ласково, приглашая его не только остаться на родинѣ своей, но обѣщая даже ему и пособіе во уваженіе прекраснаго объ немъ отзыва. — Мнѣ большаго не надо, ваше благородіе, отвѣчалъ Дмитричъ кланяясь, а помаленьку, дастъ Богъ, какъ-нибудь ломоть хлѣба себѣ промыслю; по подоконью не пойду; а ужь коли будетъ такая милость ваша, то позвольте мнѣ поставить кельенку на вашей зем-

лицѣ, на это достатку хватитъ у меня — я приму кого-нибудь къ себѣ, — а помру, все его да ваше будетъ..,.

Помѣщикъ съ удовольствіемъ на просьбу эту согласился, и Дмитричъ купилъ срубъ, поставилъ и отдѣлалъ его, и въ ту же зиму перебрался. Онъ все еще не говорилъ ни слова о томъ, кого онъ думаетъ принять къ себѣ, но напередъ устраивалъ маленькое хозяйство свое самъ и привелъ его въ такой порядокъ, что помѣщикъ съ молодой женой не разъ заходилп къ нему любоваться этимъ. — Что жь, — сказалъ однажды баринъ, присѣвъ на лавку въ бѣлой избѣ Дмитрича, — вѣдь тебѣ старику одному и тяжело будетъ, и скучно; не повысмотрѣлъ ли ты себѣ кого?

Дмитричъ подперъ щетинистую бороду рукой, уставилъ сѣрые глаза свои въ подлавочье и, вздохнувъ, сказалъ наконецъ: — Скучно старику одному, сударь, разумѣется, что скучно: и домой пришелъ да словно на чужбину — все чужіе. Старики вымерли, насъ не дождались, молодые народились, насъ не спросились! А была бы милость ваша, такъ и я бы на старости лѣтъ людей насмѣшилъ.... «Ну, что же, говори Дмитричъ, жениться, что ли? Любую дѣвку бери», сказалъ разсмѣявшись баринъ. — Нѣтъ, продолжалъ тотъ, почесывая затылокъ,— куда намъ.... дѣвка-то на нашего брата и смотрѣть не станетъ — да ужь, и намъ, признаться, не до нея.... а вотъ, думалось бы то есть такъ, не пойдетъ ли за меня старика, коли милость ваша будетъ, Авдотья, вотъ она бы дружка была мнѣ, то есть ровня; мы, почитай, погодки; она одинокая, сердечная, осиротѣла кругомъ, стали бы мы съ нею жить вмѣстѣ — и поохали-бъ

дружно и на печку бы дружно — такъ и положили-бъ, чт будто Богъ свелъ!

Помѣщикъ тотчасъ же самъ пошелъ сватать старух Авдотью за Астафьева. Она жила въ людяхъ, въ родѣ ра ботницы и нахлѣбницы, и конечно уже не разсчитывала за жить когда нибудь снова своимъ домкомъ, а и того менѣ попасть въ невѣсты. Сперва думала она, что баринъ шу титъ надъ нею; но потомъ, понявъ что рѣчь идетъ о дѣлѣ и разсудивъ, что они оба круглые сироты, одинокіе вдовцы, что она притомъ была ближе всѣхъ къ покойницѣ женѣ Астафьева и ходила за нею, и закрыла ей глаза — Авдотья поклонилась барину низехонько и сказала: что-жь, коли вправду — такъ ваша барская воля: станемъ вмѣстѣ съ Дмитричемъ Богу молиться, да другъ за другомъ ходить....

И свадьба Дмитрича съ Авдотьей состоялась. Забавно и грустно было смотрѣть на старика, который будто ожилъ и помолодѣлъ на седьмомъ десяткѣ, желая наверстать при концѣ жизни своей то, что обстоятельства заставили его утратить во время силы своей. Вся свадьба, по настоянію самого Дмитрича и къ большому утѣшенію всей деревни, сыграна была по всѣмъ строгимъ обычаямъ и принятымъ обрядамъ, причемъ было столько шуму, крику и смѣху, какъ давно никто не могъ запомнить. Нѣсколько разъ дѣвки собирались даже причитать и оплакивать дѣвичью красу Авдотьи, которая сердилась и кричала на нихъ и съ трудомъ могла только угомонить ихъ тѣмъ, что по вдовѣ причетовъ такихъ не водится; самъ же Дмитричъ, напротивъ, подстрекалъ расшалившихся дѣвокъ, увѣряя,

что въ другихъ земляхъ причитаютъ одинаково и по вдовѣ, и что надо ввести обычай этотъ и въ Костромской губерніи

Старички прожили спокойно зиму, настала и весна. Какъ только солнышко начало пригрѣвать землю, то они сидѣли оба рядкомъ на заваленкѣ, подославъ себѣ въ ноги соломки, привѣтливо кланялись прохожимъ и бесѣдовали другъ съ другомъ. Дмитричъ глохъ помаленьку и становился уже довольно тугъ на ухо; Авдотья слѣпла и давно уже не могла сама вдѣть нитку въ иглу; но они, не разлучаясь почти во весь день и помогая другъ другу во всѣхъ работахъ и занятіяхъ, дополняли и замѣщали одинъ другому взаимно недостатокъ зрѣнія и слуха. Она передавала ему, если онъ не дослышалъ, что другіе говорили, а онъ за то указывалъ или разсказывалъ ей то, чего она не могла разсмотрѣть, — и оба были довольны: ему казалось, что онъ по прежнему чутокъ, прислушиваясь ухомъ Авдотьи, а она увѣряла, что видитъ все то, о чемъ толковалъ ей Дмитричъ. Это, впрочемъ, нерѣдко подавало поводъ къ забавнымъ недоразумѣніямъ. — Никакъ, Дмитричъ, это съ поля коровушки? — говорила Авдотья, глядя старику вопросительно въ глаза, — а Дмитричъ, проведя рукою по подбородку своему, отвѣчалъ: «бородушка — бородушку? поскребемъ вотъ въ субботу, къ празднику. Старички жили мирно, кротко и неразлучно, просиживая все свободное отъ работъ время рядкомъ, другъ подлѣ друга на заваленкѣ: тутъ бесѣда ихъ ограничивалась обыкновенно тѣмъ, что Дмитричъ разсказывалъ о томъ, что онъ видѣлъ, а

Авдотья объясняла ему все, что слышала; изъ чего и слѣдуетъ, что источникъ бесѣды этой былъ неизсякаемъ.

Разъ они сидѣли такимъ образомъ и грѣлись на солнцѣ: оба они видимо дряхлѣли и тупѣли. «Вотъ, говорилъ Дмитричъ, вишь, вотъ съ поля идетъ — здорово Стёпушка! — идетъ крестникъ твой, Степанъ, — много накосилъ, Степа? Ась?» — Немного, говоритъ, сломилъ косу, повторила Авдотья вслѣдъ за крестникомъ, и продолжала: А вотъ, Дмитричъ, слышись: овечки на стойлѣ, на водопоѣ кричатъ — и далече, да слышно!...

Но Дмитричъ, поддакивая по одной только привычкѣ, на этотъ разъ не слышалъ даже и того, что говорила ему Авдотья, потому что у него въ головѣ было другое; онъ, задумавшись, долго глядѣлъ вслѣдъ за Степаномъ и наконецъ, посидѣвъ молча, вздохнулъ, и сказалъ: «А что, Авдотьюшка, вѣдь намъ не подъ силу и съ маленькимъ-то хозяйствомъ справиться; вѣдь ужь наша пора миновалась... и баринъ то жь, вѣдь онъ правду говоритъ, что надо намъ принять кого въ домъ: вѣдь ужь мы съ тобой, то есть вдвоемъ чай своихъ дѣтокъ не наживемъ.... ась? что ты, Авдотьюшка, думаешь? Крестникъ твой, Степа, кажись парень смирный, да онъ же одинокій сирота, — вотъ все равно, что и мы съ тобой, — не принять ли намъ его? Онъ попѣстуетъ насъ, а тамъ и похоронитъ, и вотъ избу съ хозяйствомъ ему покинемъ, все одно, то есть, что сыну; а то вѣдь помремъ, и пожалѣть-то насъ съ тобой некому будетъ!...

Авдотья вообще соглашалась на все, чего Дмитричу хо-

тѣлось; но здѣсь, изъ всѣхъ приведенныхъ имъ причинъ послѣдняя показалась ей всего убѣдительнѣе, то есть, что некому будетъ надъ ними поплакать. Притомъ крестника своего, Степана, старуха любила и часто жалѣла объ немъ, что живетъ-де онъ въ чужихъ людяхъ, да и у людей-то несовсѣмъ добрыхъ, и что ему, бѣдному сиротѣ, тяжело. Итакъ, на другой же день Степа принесъ подъ мышкой кой-какое отрепье свое, помолился передъ образомъ, а помолившись, поклонился въ ноги названному отцу и крестной матери и остался навсегда у нихъ въ домѣ. Онъ точно былъ парень смирный, въ общемъ и частномъ значеніи этого слова, то есть и безотвѣтенъ, и простенекъ, но впрочемъ работящъ, какъ волъ. Къ этому привыкъ онъ смолоду, какъ сирота, проживавшій то тутъ, то тамъ, всегда на чужихъ хлѣбахъ.

Дмитричъ съ Авдотьей возложили на пріемыша своего все хозяйство внѣ дома, а сами ходили только около избы да очага, заботливо присматривая за всѣмъ. Степанъ былъ работникъ ретивый, когда его заставляли работать и смотрѣли за тѣмъ, чтобы онъ дѣлалъ дѣло съ толкомъ, и потому у нихъ все шло хорошо. Старички поуспокоились и начинали отдыхать отъ прежнихъ трудовъ и заботъ; Дмитричъ теръ табакъ — это было любимымъ его занятіемъ, — изрѣдка связывалъ пару щетокъ и отправлялся съ ними къ барину на поклонъ; Авдотья сучила тоненькія восковыя свѣчи, коли ей удавалось добыть гдѣ нибудь кусочекъ воску, и разносила ихъ, по обѣту, къ той либо другой иконѣ, изъ числа бывшихъ на селѣ у крестьянъ. Остальное

Авдотья объясняла ему все, что слышала; изъ чего и слѣдуетъ, что источникъ бесѣды этой былъ неизсякаемъ.

Разъ они сидѣли такимъ образомъ и грѣлись на солнцѣ: оба они видимо дряхлѣли и тупѣли. «Вотъ, говорилъ Дмитричъ, вишь, вотъ съ поля идетъ — здорово Стёпушка! — идетъ крестникъ твой, Степанъ, — много накосилъ, Степа? Ась?» — Немного, говоритъ, сломилъ косу, повторила Авдотья вслѣдъ за крестникомъ, и продолжала: А вотъ, Дмитричъ, слышись: овечки на стойлѣ, на водопоѣ кричатъ — и далече, да слышно!...

Но Дмитричъ, поддакивая по одной только привычкѣ, на этотъ разъ не слышалъ даже и того, что говорила ему Авдотья, потому что у него въ головѣ было другое; онъ, задумавшись, долго глядѣлъ вслѣдъ за Степаномъ и наконецъ, посидѣвъ молча, вздохнулъ, и сказалъ: «А что, Авдотьюшка, вѣдь намъ не подъ силу и съ маленькимъ-то хозяйствомъ справиться; вѣдь ужь наша пора миновалась... и баринъ то жь, вѣдь онъ правду говоритъ, что надо намъ принять кого въ домъ: вѣдь ужь мы съ тобой, то есть вдвоемъ чай своихъ дѣтокъ не наживемъ.... ась? что ты, Авдотьюшка, думаешь? Крестникъ твой, Степа, кажись парень смирный, да онъ же одинокій сирота, — вотъ все равно, что и мы съ тобой, — не принять ли намъ его? Онъ попѣстуетъ насъ, а тамъ и похоронитъ, и вотъ избу съ хозяйствомъ ему покинемъ, все одно, то есть, что сыну; а то вѣдь помремъ, и пожалѣть-то насъ съ тобой некому будетъ!...

Авдотья вообще соглашалась на все, чего Дмитричу хо-

тѣлось; но здѣсь, изъ всѣхъ приведенныхъ имъ причинъ послѣдняя показалась ей всего убѣдительнѣе, то есть, что некому будетъ надъ ними поплакать. Притомъ крестника своего, Степана, старуха любила и часто жалѣла объ немъ, что живетъ-де онъ въ чужихъ людяхъ, да и у людей-то несовсѣмъ добрыхъ, и что ему, бѣдному сиротѣ, тяжело. Итакъ, на другой же день Степа принесъ подъ мышкой кой-какое отрепье свое, помолился передъ образомъ, а помолившись, поклонился въ ноги названному отцу и крестной матери и остался навсегда у нихъ въ домѣ. Онъ точно былъ парень смирный, въ общемъ и частномъ значеніи этого слова, то есть и безотвѣтенъ, и простенекъ, но впрочемъ работящъ, какъ волъ. Къ этому привыкъ онъ смолоду, какъ сирота, проживавшій то тутъ, то тамъ, всегда на чужихъ хлѣбахъ.

Дмитричъ съ Авдотьей возложили на пріемыша своего все хозяйство внѣ дома, а сами ходили только около избы да очага, заботливо присматривая за всѣмъ. Степанъ былъ работникъ ретивый, когда его заставляли работать и смотрѣли за тѣмъ, чтобы онъ дѣлалъ дѣло съ толкомъ, и потому у нихъ все шло хорошо. Старички поуспокоились и начинали отдыхать отъ прежнихъ трудовъ и заботъ; Дмитричъ теръ табакъ — это было любимымъ его занятіемъ, — изрѣдка связывалъ пару щетокъ и отправлялся съ ними къ барину на поклонъ; Авдотья сучила тоненькія восковыя свѣчи, коли ей удавалось добыть гдѣ нибудь кусочекъ воску, и разносила ихъ, по обѣту, къ той либо другой иконѣ, изъ числа бывшихъ на селѣ у крестьянъ. Остальное

время сидѣли они вмѣстѣ дружно на заваленкѣ и бесѣдовали то о томъ, чего Дмитричъ не слышитъ, то о томъ, чего Авдотья не видитъ.

Однажды Авдотья также ссучила небольшую свѣчку и пошла съ нею къ барынѣ, поклонилась и просила позволенія поставить ее передъ иконой Параскевіи-Пятницы, которой она это давно уже обѣщала, но долго не могла добыть воску. — Гдѣ же ты у меня видѣла, матушка, образъ этотъ? спросила барыня, — у меня такого нѣтъ. «А какъ же, матушка, въ большомъ-то покоѣ у васъ, отвѣчала старуха, — вѣдь я помню, даромъ, что теперь слѣпая, хорошій такой, большой, въ окладѣ-то!» — Да это, — продолжала барыня, — это образъ Архангела Михаила! — «Ну, подхватила та, — вотъ ему-то я и обѣщалась, матушка, право, ей-богу, онъ-то и есть самый; такъ ужь позвольте, коли милость ваша будетъ....»

Барыня съ удовольствіемъ согласилась на желаніе Авдотьи, которая, усердно помолившись, доколѣ свѣча ея не сгорѣла до конца, воротилась домой успокоенная и предовольная; она присѣла рядкомъ со старикомъ своимъ на заваленку. «Дмитричъ! сказала она, — ты меня послушай: вотъ я молилась, все, вишь, молюсь, да и вижу, что святая-то угодница манитъ меня къ себѣ; я вотъ будто и упала передъ нею — а тутъ вотъ ровно я какой свѣтъ увидѣла; такъ я помолилась и встала»....—Ну что-жь, сказалъ Дмитричъ, не дослышавъ и половины, это хорошо, Авдотья, молись! — «Хорошо, мой родимый, да видно мнѣ ужь скоро умереть; видно, Господь приберетъ меня скоро!» — Что

такъ, Авдотья? про это никто не знаетъ, всѣ тамъ будемъ, кому когда придется; этого не минуешь. — «Такъ, Дмитричъ ты мой, да вотъ крестника-то жаль покинуть, надо его хоть женить, тогда пусть живутъ себѣ съ Богомъ, что при насъ, то безъ насъ.»

— Что дѣло,— то дѣло, проворчалъ Дмитричъ,—женимъ его, такъ у насъ съ тобой и дѣтки будутъ. И то правда. А на комъ?—Старики принялись пересчитывать всѣхъ дѣвокъ на селѣ и долго не могли ни на одной остановиться: изъ зажиточнаго дома не пойдетъ за бѣдняка; изъ бѣдныхъ — тяжело будетъ самимъ содержать хозяйство; та хила, та ославилась, у той, слышно, есть уже женихъ на примѣтѣ — словомъ, старики стали втупикъ. «Дай спросимъ у Степы, можетъ статься, не задумалъ ли онъ самъ чего, нѣтъ ли у него кого на умѣ....» Но оказалось, что Степа не прочь былъ отъ женитьбы, хоть онъ очень стыдился этого и потому закрывался шапкой, въ которую напередъ засунулъ оба кулака; — указать же на предметъ страсти своей не могъ, а предоставлялъ выборъ невѣсты въ полной мѣрѣ и неограниченно своимъ старикамъ.

— Ну,— сказалъ Дмитричъ,— коли такъ, пойдемъ къ барину да станемъ просить за него Фіону; я сирота, ты сирота, онъ сирота, она сирота — вотъ мы четверо соберемся въ кучку, подъ одну крышу, да и заживемъ!— «Что ты, Дмитричъ, да это о́зорь дѣвка,» сказала Авдотья. — Ну, отвѣчалъ старикъ, козырь не козырь, а такъ, то есть живетъ... да что, съ лица не воду пить, дѣвка здоровая! — «Да зла больно, продолжала старуха,— вонъ и Прокофьевна ужь хо-

дила просить на нее къ барину — зелье, говоритъ, такое — не приведи Богъ!» — Жаловаться-то на сироту всякъ горазднъ, сказалъ Дмитричъ, — а спроси-ко, ей-то каково? Вѣдь, она у насъ не начальницей какой будетъ, не командиршей: а чай все изъ нашихъ же рукъ глядѣть станетъ: мы сиротъ примемъ, и насъ Господь не оставитъ. — Авдотья, богомольная и крайне жалостливая до сиротъ, согласилась. «Ну какъ знаешь, Дмитричъ, такъ и дѣлай, я отъ твоей воли не прочь.»

Фіона точно была круглая сирота, безъ куска своего хлѣба, и потому, безъ сомнѣнія, заслуживала бы общаго участія и сожалѣнія — но она ославилась злою дѣвкой и ее никто не хотѣлъ принимать къ себѣ въ домъ; поэтому она принуждена была идти въ подпаски, и все еще оставалась при этой должности, хотя ей и было уже за двадцать лѣтъ. На все это старики наши не обратили сперва должнаго вниманія; по крайней мѣрѣ Дмитричъ, не понимая, чтобы за добро можно было сдѣлать зло, отстаивалъ Фіону съ большою самоувѣренностію, и когда стали его предостерегать сторонніе люди, то онъ и ихъ также не хотѣлъ слушать, говоря, что она бѣдная сирота, въ загонѣ, и попавъ въ порядочную семью, за смирнаго человѣка, на готовое хозяйство, не попомнитъ добра зломъ, а ужь, конечно, будетъ смирна, покорна и послушна; «поучимъ ее,» прибавилъ онъ, какъ опытный воспитатель, не подумавъ, что у него такихъ воспитанницъ въ рукахъ не бывало.

Дмитричъ надѣлъ свой сюртукъ, насыпалъ въ тавлинку свѣжаго табаку, будто собирался куда въ походъ, взялъ

палку и пошелъ къ барину, который сидѣлъ на крыльцѣ и смотрѣлъ лошадей. — Здорово, Дмитричъ, что скажешь добраго? Не въ крестные ли отцы зазываешь? — «Здравія желаю», отвѣчалъ онъ, мѣрно подступая, съ фуражкой въ рукахъ. — На крестины, что-ли? зовешь, закричалъ баринъ погромче. Дмитричъ ухмыльнулся: «Никакъ нѣтъ, на свадьбу». — Какъ такъ? — «Да хотѣлось бы женить Степана, пришелъ къ вашему благородію за невѣстой». — Доброе дѣло — ну вотъ подожди до весны, я велю тебѣ привести хорошую невѣсту изъ Яруги. — «Много благодарны, да ждать-то намъ не приходится; хотѣлось бы пристроить при себѣ Степана.... Коли будетъ ваша милость, пожаловать Фіону».... — Фіону? да ее, братецъ, что-то всѣ обѣгаютъ, нигдѣ она не уживается.... — «Гдѣ-же сиротѣ ужиться, ее, чай, всякъ норовитъ обидѣть, извѣстное дѣло; мы и сами сироты, да коли сиротъ призримъ, то они уважатъ насъ и Бога умолятъ. Вотъ мы отъ Степана, нечего грѣшить, и слова худаго не слыхали!» — Ну какъ знаешь, Дмитричъ, коли сами этого хотите, то съ Богомъ. Можетъ статься, ты и правъ и задумалъ доброе дѣло. Съ Богомъ.

На Фіонѣ были доселѣ одни только лохмотья, а путной лопатинки не бывало. Дмитричъ одѣлъ ее хорошо и чисто и самъ ею любовался; Фіонушка кланялась и благодарила, онъ ей читалъ наставленія — она слушала и молчала. Степана съ Фіоной обвѣнчали, старички повеселѣли; Дмитричъ былъ доволенъ, что пристроилъ двухъ сиротъ и самъ сдѣлался настоящимъ семьяниномъ; онъ уже готовился мысленно къ воспитанію внучатъ, припоминая, какъ онъ рос-

стилъ и кормилъ, и пѣстовалъ, когда-то, и выняньчилъ осмерыхъ дѣтей сряду, не считая свояченицъ штабъ-лекаря, которыя были уже не такъ малы, и онъ напѣвалъ уже про себя, какъ тогда бывало: «Вареная патока съ инбиремъ, варилъ ее дядя Семіонъ, Семіонъ....»

Но не долго пришлось старикуу тѣшать себя этими сладкими мечтами. Уже на третій или четвертый день по свадьбѣ, Фіона, разгнѣванная чѣмъ-то, молчала упорно весь день, отворачивалась отъ всѣхъ, косилась на людей изподлобья, стучала посудой и бросала каждую вещь изъ рукъ, вмѣсто того, чтобы ее положить или поставить. Прошло дня два, среди затиши, и старики было успокоились; но затѣмъ вдругъ въ душѣ или сердцѣ Фіоны поднялась такая страшная буря, что Дмитричъ съ Авдотьей просидѣли весь день за воротами, вздыхая, покачивая головой и поглядывая вверхъ, гдѣ крикъ, брань и проклятія раздавались съ самаго утра и до вечера, хотя Фіона была тамъ одна, потому что и Степа ушелъ отъ нея въ поле. Дмитричъ прислушивался повременамъ и спрашивалъ вполголоса Авдотью: что она? — А старуха отвѣчала на это, кивнувъ головой и махнувъ рукой, дескать: пусть ее, молчи. Да что она кричитъ еще? спросилъ старикъ — Авдотья повторила тотъ же знакъ, не смѣя даже и за воротами сказать громкаго слова, чтобы лютующая Фіона его не услыхала. Такъ старики просидѣли весь день до вечера, и — не обѣдали; Фіона не звала ихъ, потому что ничего не варила. Степанъ воротился съ поля и, заглянувъ только въ избу, ушелъ отъ крику и присѣлъ молча къ старикамъ

на заваленку. Поздно вечеромъ всѣ они улеглись, когда уже Фіонушка выбилась изъ силъ и уходилась.

Управился бы, можетъ быть, въ прежнее время Дмитричъ съ этимъ чортомъ, несмотря на всегдашнее миролюбіе свое, но теперь была не та пора: онъ уже почти начиналъ впадать въ ребячество, до того онъ сталъ дряхлѣть. Знать, пришла пора. Попытался было онъ прочитать названой сношенькѣ своей наставленіе, думалъ таки усовѣстить ее, но она отвѣчала ему однимъ крикомъ и бранью, а наконецъ ухватила два лучшихъ поливанныхъ горшка и грозилась тотчасъ же ударить ихъ объ земь, если онъ не замолчитъ: жаль стало Дмитричу горшковъ, и онъ замолчалъ, проворчавъ только: горшки на что бить — горшки ничѣмъ не виноваты.

Чрезъ нѣсколько дней опять пошло тоже: брань, крикъ и проклятія сыпались съ утра на безотвѣтнаго мужа, на старика и старуху. Дмитричъ вышелъ изъ терпѣнія, пошелъ съ жалобой къ барину; баринъ очень разсердился на Фіону и приказалъ міру разсудить ее: міръ высѣкъ ее розгами, а она, пришедши съ крикомъ и ревомъ домой, столкнула мужа съ высокаго крыльца и повыкидала всѣ горшки изъ окна. Остальное время этого дня она провыла въ избѣ голосомъ, при открытыхъ окнахъ. Сосѣди приходили было ее унимать, но она выпроваживала ихъ помеломъ.

Дмитричъ сталъ крѣпко призадумываться, ужь и самъ не зная что дѣлать, — а житья ему со старухой не было. Поздняя осень согнала ихъ съ любимой заваленки, они поневолѣ сидѣли на печи, откуда Авдотья не сходила уже

нѣсколько дней, слабѣя и забываясь повременамъ; ухаживая за нею, Дмитричъ опять было нѣсколько ожилъ, прибодрился и получилъ какой-то небольшой нравственный перевѣсъ въ домѣ, но это было не надолго: Авдотья скончалась, Дмитричъ прожилъ съ нею всего года два, но оплакивалъ ее горько. Съ этого времени онъ не могъ уже найти дома никакого покоя; онъ бродилъ изъ угла въ уголъ, копался во дворѣ, садился за вороты — но все оглядывался по сторонамъ, будто тутъ кого недоставало, и не зналъ куда съ тоски дѣваться. Фіонушка бѣсновалась день за день, и Дмитричу казалось, что онъ жилъ въ аду. Обѣдъ почти никогда не варился, а въ избу никому не было приступа.

Разъ утромъ, старикъ сидѣлъ на печи; ему хотѣлось поѣсть и была уже пора завтракать: Фіона не думала собирать на столъ, и бранилась вмѣсто того съ мужемъ. Степанъ молчалъ, старикъ вздыхалъ, а Фіона пуще выходила изъ себя, потому что ей не къ чему было придраться. Наконецъ, ставъ передъ Дмитричемъ, она осыпала его упреками и бранью, и притомъ съ такою злостью, что, крича ему надъ ухомъ, почти вцѣпилась старику въ волосы.

Дмитричъ будто проснулся ото сна: онъ поглядѣлъ на невѣстку, слѣзъ молча съ печи, вышелъ изъ избы — и больше нога его въ ней не бывала. Онъ пошелъ въ клѣть, досталъ солдатскую шинелишку свою безъ погоновъ, надѣлъ ее сверхъ полушубка, обулся въ лучшіе сапоги, сверхъ теплыхъ подвертковъ, взялъ котомку, шапку, рукавицы и тотъ же посохъ, съ которымъ пришелъ нѣкогда домой, перекрестился нѣсколько разъ и спокойно пошелъ

со двора. Кой-кто на деревнѣ видѣли его и посмотрѣли вслѣдъ за нимъ, не зная куда бы и за чѣмъ это Дмитричъ побрелъ; одна только баба слышала, что онъ ворчалъ про себя: «Богъ съ ней и съ избой, не видалъ я избы! На старое мѣсто пойду, въ полкъ, тамъ лучше».

Больше Дмитрича не видали, и куда онъ пошелъ, и далеко ли дошелъ — никто не знаетъ. Но, проходя мимо кладбища, на горкѣ, онъ зашелъ туда и, видно, молился на Авдотьиной могилѣ — это разсказывалъ послѣ свинопасъ.

РАЗСКАЗЪ ЛЕЗГИНЦА АСАНА

О ПОХОЖДЕНІЯХЪ СВОИХЪ.

(Писано со словъ разскащика.)

Я родомъ изъ лезгинъ, изъ города Кубы, гдѣ отецъ мой проживалъ съ малыхъ лѣтъ. Его звали Маймадъ-али, а мать — Огланъ-бажи; насъ, дѣтей, было у нихъ четверо: два сына и двѣ дочери. Родители мои меня очень любили; помню, что и они, и посторонніе люди называли меня ребенкомъ добрымъ и щедрымъ, потому что я всегда жалѣлъ о другихъ; но и бранили меня за горячность мою и упрямство, когда я вступался за свою или чужую обиду, либо когда хотѣли принудить меня къ чему силой. Обыкновенно я бывалъ робокъ до наказаній и страхъ не любилъ ихъ; но когда меня наказывали понапрасну или по одной только злобѣ на меня, то я оставался дерзкимъ и непокорнымъ.

Отецъ мой, по давнишней, семейной ссорѣ, убилъ одного кубинца, по имени Сафарбека, почему и вынужденъ былъ скрываться у горцевъ Дагестана, оставивъ семейство свое въ селеніи Мангуликендъ, неподалеку Кубы. Скитаясь по лѣсамъ, иногда только провѣдывалъ онъ насъ, а я носилъ ему въ лѣсъ пищу. Жители Мангуликенда большею частію знали объ этомъ, но, по заведенному обычаю, не мѣшались въ это дѣло и отца моего не выдавали. Напослѣдокъ, такая жизнь отцу надоѣла, и онъ сталъ просить старшинъ мангуликендскихъ, чтобы его помирить съ врагами его, тремя братьями убитаго имъ Сафарбека, которые, однако же, не только не согласились на это, но, узнавъ при семъ случаѣ, что отецъ мой скрывается близь селенія, стали его искать.

Возвращаясь однажды вечеромъ отъ отца,— а мнѣ тогда было восемь лѣтъ, — съ посудою въ рукахъ, въ которой носилъ ему пищу, — я вдругъ встрѣтился съ тремя заклятыми кровоместниками, врагами моего отца. Къ счастію, я отдыхалъ при тропинкѣ, когда ихъ увидалъ, и хотя не могъ уже спрятаться, но успѣлъ засунуть посуду въ траву, а самъ всталъ и пошелъ спокойно своимъ путемъ. Они остановили меня и начали допрашивать: чей я сынъ, откуда иду, зачѣмъ ходилъ въ лѣсъ. Я сказалъ, кто я, хотя они это знали, вѣроятно, и безъ того, и говорилъ, что мать посылала меня къ теткѣ, въ другую деревню. Одинъ изъ нихъ, подозрѣвая иное, выхватилъ кинжалъ, приставилъ его къ груди моей и требовалъ, чтобы я во всемъ сознался, прибавивъ еще:— Все равно, не попался отецъ, такъ по-

нался сынъ. Испугавшись, я схватилъ рукой остріе кинжала и больно обрѣзалъ себѣ руку; другой братъ Сафарбека остановилъ его, сказавъ: постой, не рѣжь, онъ все скажетъ. Я также сталъ увѣрять, что скажу все, а они, допрашивая меня, сдѣлали мнѣ еще нѣсколько легкихъ ранъ въ груди.

Я остался, однако же, при своемъ показаніи, что теперь ходилъ къ теткѣ, но сознался, что отецъ мой точно скрывается по близости въ лѣсахъ, назвавъ при этомъ, впрочемъ, не то мѣсто, гдѣ онъ теперь находился. Побившись со мною и не вывѣдавъ ничего больше, они сжалились на плачъ мой и послушались старшаго брата своего, который сказалъ: «оставьте его, онъ глупый мальчишка, не стоитъ рукъ марать; отецъ его отъ насъ не уйдетъ». Дома мать меня обмыла, потому что я весь былъ въ крови, и перевязала мою руку.

На другой день отецъ мой, узнавъ объ этомъ, пришелъ самъ въ селеніе и, собравъ стариковъ, говорилъ съ ними долго, убѣждая ихъ опять помирить его съ братьями Сафарбека. Разсудивъ, что отецъ мой уже много лѣтъ странствуетъ по чужимъ мѣстамъ, по горамъ и лѣсамъ, за проступокъ молодости своей, въ которомъ онъ былъ и не очень виноватъ, старики сжалились надъ нимъ, приложили все стараніе свое и убѣдили кровоместниковъ принять подарки и ударить по рукамъ на мировую. Въ знакъ этой новой дружбы, они, по нашему обычаю, взяли отца моего къ себѣ въ гости, на два мѣсяца, и держали его какъ самаго близкаго и роднаго человѣка. Послѣ этого срока перешли

мы спокойно жить на свое старое мѣсто, въ деревню Гадазихоръ. Два года жили мы садомъ и пашней своей, безъ всякихъ приключеній; но на третій сдѣлалось тревожно, и очередь доходила уже до меня, потому что я подросталъ; мнѣ было уже одиннадцать лѣтъ.

Въ Гадазихорѣ была мельница, на канавѣ, пущенной изъ рѣчки Гусарчай. Водой изъ этой рѣчки пользовалось много жителей, и оберегали ее общими силами, поддерживая, гдѣ нужно, плотины. Случилась дружная весна, вода была бойкая, и надо было, не упуская времени, запрудить прорывъ. Жители того селенія, гдѣ мы жили прежде, Мангуликенда, пришли для прудки и просили помощи отъ нашихъ; у насъ народъ весь почти былъ въ полѣ,—помощи не дали; а тѣ, человѣкъ до двухъ сотъ, послѣ долгой ссоры, начали съ досады и злости ломать мельницу. Отчаянный мельникъ, вышедъ изъ себя при такомъ раззореніи, выбѣжалъ съ молоткомъ въ рукахъ, ударилъ имъ одного человѣка въ лобъ и убилъ его на мѣстѣ. Съ этого началась драка, на которую изъ нашей деревни, Гадазихора, сбѣжались всѣ, кто былъ дома, и тутъ было убито и ранено много людей. Я въ это время купался съ нѣсколькими товарищами въ канавѣ, и мы также прибѣжали на крикъ и драку, изъ любопытства; насъ было пятеро малыхъ да двое взрослыхъ. Увидавъ, что тутъ дѣлается, ребятишки разбѣжались, а двое большихъ, замѣтивъ, что сторожъ изъ ближняго сада, не утерпѣвъ, также прибѣжалъ на драку, отправились въ садъ этотъ воровать плоды. Между тѣмъ, такъ какъ нашихъ было мало, то они и не могли одолѣть

мангуликендцевъ, а оставили на мѣстѣ пять убитыхъ и одного тяжело раненаго, который въ свалкѣ упалъ въ канаву. Увидавъ его, непріятели наши стали его рубить; мнѣ стало досадно и жаль своихъ, я схватилъ желѣзную лопатку и ударилъ изо всей силы въ голову одного изъ тѣхъ, которые добивали раненаго: мнѣ было тогда одиннадцать лѣтъ. Они меня схватили, узнали кто я, потому что я жилъ прежде у нихъ въ деревнѣ; они дивились смѣлости моей и называли молодцомъ, а между тѣмъ держали меня и хотѣли бить. Я плакалъ и кричалъ отъ злости и кусалъ руки ихъ зубами, а они меня уговаривали, то смѣялись, то опять стращали: между тѣмъ, драка кончилась, всѣ разошлись по домамъ, позабывъ, что пришли для нужной работы, а я вырвался, и за мною не стали гнаться. Женщины, стоявшія издали, видѣли все это и видѣли также, что двое взрослыхъ ушли въ это время на воровство; поэтому вечеромъ всѣхъ насъ привели на сходку стариковъ, меня хвалили и учили впередъ всегда такъ дѣлать, а тѣмъ наплевали въ глаза и прогнали. Одинъ изъ нихъ долго отпрашивался, чтобъ его не безчестили, и хотѣлъ за это идти мстить непріятелямъ нашимъ; но старики не захотѣли его простить. Онъ послѣ хотѣлъ съ досады утопиться, и только сестра упросила его не дѣлать этого, а лучше убить кого-нибудь изъ мангуликендцевъ, тогда-де съ него снимутъ безчестье.

Наши положили на совѣтѣ, чтобъ признавать мангуликендцевъ врагами своими и мстить имъ за кровь кровью. Между тѣмъ, трое изъ вышедшихъ на работу отстали отъ

прочихъ, прошли горой, не видали никого изъ своихъ и потому, ничего не зная о бывшей дракѣ, пришли въ нашу деревню. По знакомству съ нами, они зашли къ моему отцу. Отецъ сказалъ имъ, что сдѣлалось, и потому не велѣлъ выходить изъ дому до ночи; но ихъ уже видѣли и тотчасъ разсказали по деревнѣ, что отецъ мой скрываетъ у себя въ домѣ непріятелей, которыхъ надо выдать. Народъ собрался и прислалъ къ отцу сосѣдей нашихъ, чтобы онъ сейчасъ тѣхъ выдалъ. Отецъ сталъ просить посланныхъ, представляя имъ, что онъ гостей изъ-подъ кровли своей выдать не можетъ, — что онъ самъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, искалъ и находилъ защиту отъ враговъ подъ ихъ кровомъ и, наконецъ, объявилъ міру рѣшительно, что могутъ вырѣзать все семейство его, но онъ друзей своихъ не выдастъ, потому что гость самый близкій и священный родственникъ. Старики разсудили, что отецъ мой правъ, но обязали его, чтобы онъ впередъ не знался съ общими врагами, и поставили людей въ разныхъ мѣстахъ, чтобы убить этихъ трехъ человѣкъ, когда они оставятъ саклю моего отца. Впрочемъ, двое изъ нихъ, по старанію отца, добрались ночью благополучно домой, но третій былъ убитъ, когда перелѣзалъ черезъ плетень виноградника, въ которомъ спрятались наши, подстерегая его.

Пришелъ 1828-й годъ, и отецъ, и мать моя умерли отъ холеры. Мнѣ было шестнадцать лѣтъ, и я остался съ братомъ Сафаромъ семи лѣтъ и сестрами Гульбине и Тюменъ-ага одиннадцати и четырехъ лѣтъ. Общество отдало насъ подъ опеку дядѣ нашему, Асану. У меня была въ Гадази-

хорѣ внучатная тетка, которая жила отдѣльно съ мужемъ своимъ, пастухомъ. Она пригласила меня однажды остаться у нея переночевать, потому что мужъ ея угналъ овецъ въ горы, не возвращался на ночь, а она боялась оставаться одна. Свекровь ея узнала объ этомъ и, подозрѣвая невѣстку свою, сказала о томъ двоимъ сыновьямъ своимъ, братьямъ мужа моей тетки. Не разбирая далѣе дѣла, они рѣшились признать за истину клевету злой старухи. На другой день, разговаривая съ двумя человѣками на улицѣ, вдругъ увидѣлъ я деверьевъ теткиныхъ, съ кинжалами въ рукахъ: они подходили и оба смотрѣли прямо на меня. Догадавшись тотчасъ о ихъ намѣреніи заколоть меня, я началъ просить защиты двухъ человѣкъ, съ которыми разговаривалъ, самъ же прислонился къ забору, а товарищи мои оба стали передо мной. Тѣ подошли и сказали: «отойдите прочь отъ виноватаго; не идетъ вамъ закрывать его собою». Товарищи мои отвѣчали: «мы не знаемъ, въ чемъ онъ передъ вами виноватъ, а знаемъ, что вамъ двоимъ, съ ножами въ рукахъ и съ ружьемъ, стыдно нападать на мальчишку». Тѣ отвѣчали: «мы не затѣмъ и пошли, чтобъ бороться или сражаться съ нимъ, а пошли чтобы убить его, потому что онъ виноватъ и его убить надо». Сказавъ это, одинъ изъ нихъ взвелъ курокъ и вдругъ, вскинувъ ружье въ припоръ на меня, выстрѣлилъ; но я успѣлъ оттолкнуть дуло, и пуля прошла у меня мимо плеча; другой между тѣмъ, оттолкнувъ одного изъ вялыхъ защитниковъ моихъ, уже намахнулся на меня обоюдоострымъ лезгинскимъ кинжаломъ, какъ я, успѣвъ отскочить въ сторону

и выхватя свой кинжалъ, разсѣкъ ему плечо, такъ что онъ упалъ и началъ громко кричать; товарищъ же его въ это самое время ударилъ меня стволомъ ружья по головѣ, разбивъ меня до крови, но я устоялъ на ногахъ, покачнувшись только нѣсколько назадъ: онъ обхватилъ меня въ эту минуту обѣими руками и хотѣлъ повалить, я же, обхвативъ его также, дернулъ его кинжаломъ своимъ вдоль всей спины, сколько было у меня простору размахнуться. Рана была очень большая, онъ упалъ, весь въ крови, народъ сталъ уже сбѣгаться на крикъ, и, какъ дядя мой также выбѣжалъ на улицу, то одинъ изъ родственниковъ раненыхъ ударилъ его чѣмъ-то такъ сильно, что онъ упалъ; я было подбѣжалъ къ нему для защиты, но народъ меня окружилъ, не пуская съ мѣста. Въ эту минуту подбѣжалъ другой дядя мой, Улъ-ага, старшина деревни нашей; не зная еще ничего толкомъ, онъ, однако же, закричалъ на народъ, чтобъ разступились, а мнѣ мигнулъ, чтобы я бѣжалъ; я бросился въ толпу, съ кинжаломъ въ рукахъ, очищая себѣ дорогу; всѣ разступились, но подходившій старикъ, также родственникъ раненыхъ, схватилъ меня и хотѣлъ удержать, не страшась того, что я самъ весь былъ въ крови, отъ головной раны моей, и намахивался на него кинжаломъ, угрожая его заколоть; а между тѣмъ, нѣкоторые изъ толпы также бросились за мною. Еслибъ меня сгоряча задержали, то, вѣроятно, убили бы; но на мое счастье дочь этого старика, молоденькая дѣвушка, Гюзель, сжалилась надо мной и, бросившись, оттолкнула отца, крича изо всѣхъ силъ: оставь его, онъ тебя убьетъ! Этимъ она

меня спасла; я перескочилъ черезъ плетень, скатился немного подъ гору и, согнувшись, поднялся опять, нѣсколько подальше, противъ нашего двора; старшая сестра моя, увидавъ меня, уже вела мнѣ навстрѣчу жеребца и несла шашку мою, но я, второпяхъ не успѣлъ схватить шашки, а сѣлъ на коня и ускакалъ.

Отскакавъ съ версту, я остановился на горѣ, подъ лѣсомъ, откуда видно было все селеніе наше и толпа народа; тамъ было еще очень шумно, и многіе взлѣзали на кровли саклей, оглядываясь кругомъ, не видать ли гдѣ нибудь меня. Остановившись, я сталъ раздумывать, что со мною случилось и что теперь будетъ; видно, подумалъ я, мнѣ такая жь участь суждена, какъ бѣдному отцу моему, который столько лѣтъ, до старости скитался по лѣсамъ и не смѣлъ ступить на свой порогъ. Я замоталъ поводья вокругъ шеи жеребца, потрепалъ его и отпустилъ домой; увидѣвъ одного старика, который шелъ за своимъ дѣломъ въ лѣсъ, я подошелъ къ нему и спросилъ, что дѣлается въ деревнѣ? Посмотрѣвъ на меня съ жалостію и на кровавое лицо мое, плечи и грудь, онъ сказалъ: «Что ты, братъ, Асанъ, надѣлалъ? ты зарѣзалъ двухъ человѣкъ до полусмерти, и будутъ ли живы, нѣтъ ли, неизвѣстно; а ты еще шатаешься тутъ, подъ самой деревней! бѣги скорѣе дальше и не оглядывайся». Я не зачинщикъ, сказалъ я: — лучше жь имъ быть убитымъ двоимъ, чѣмъ мнѣ одному. Затѣмъ я выпросилъ у него труту, чтобы унять кровь въ ранѣ моей, приложилъ его и тотчасъ же пошелъ дальше.

Прихожу въ деревню, верстъ за двадцать, и захожу прямо къ одному лезгину, который живалъ въ Гадазихорѣ въ работникахъ. Напередъ всего я осторожно поглядѣлъ въ окно, нѣтъ ли тамъ лишнихъ людей, и какъ никого не было, то я и постучался въ дверь. Вышелъ сперва одинъ, да испугавшись закричалъ и вызвалъ всю семью; стали меня спрашивать, что случилось; я все разсказалъ, и меня ввели въ избу, обмыли кровь и перемѣнили на мнѣ платье. Тутъ скрывался я съ недѣлю и сталъ скучать и просить хозяина моего, чтобы онъ съѣздилъ въ Гадазихоръ и узналъ бы, что тамъ дѣлается. Онъ, спасибо, не отказалъ мнѣ въ этомъ и воротившись сказалъ, что дядя мой и опекунъ, Асанъ, посажены подъ караулъ, а другому, старшинѣ Улъ-агѣ, общество приказываетъ найти меня и поставить на судъ; если же черезъ недѣлю не представитъ меня, то будутъ судить его, потому что онъ далъ мнѣ уйти. Разсказавъ это, хозяинъ совѣтовалъ мнѣ бѣжать куда нибудь еще далѣе, но я, вмѣсто того, въ тотъ же день отправился прямо домой.

Подошедши вечеромъ тайкомъ къ саклѣ своей, я услышалъ голосъ тетки, которая бранила меня за то, что мужа ея, а моего дядю Асана изъ-за меня посадили подъ караулъ. Я постучался, и когда она удивилась, увидавъ меня, и замолкла, то я ей сказалъ: «слышалъ я, тетушка, слова твои, и хоть племяннику не приходится учить тетку, но видно на то Богъ подвелъ его въ это время подъ окно твое, чтобы тебя пристыдить. Я не виновникъ и не зачинщикъ ссоры, а зарѣзать себя, какъ барана, не дамъ никому.

А дяди своего я, небось, не покину; я самъ пришелъ, никто не привелъ меня; поди, выкупай своего Асана, скажи, что я здѣсь. Она, постыдившись, ушла въ свое женское отдѣленіе, а братъ и сестры мои бросились меня обнимать.

Вскорѣ я опять вышелъ и увидалъ невдалекѣ отъ нашего дома огонь: это обжигали камни на известь, и видно было, что вкругъ огня сидѣлъ кружокъ народу. Я пошелъ прямо къ нимъ, а какъ ночь была темна и погода вѣтрена, то я и подошелъ очень близко, а они, ослѣпленные огнемъ, меня не видали. Одинъ старикъ, видно продолжая разговоръ, сказалъ: «этому дивиться нечего; онъ знаетъ, что ему теперь тутъ добра не ждать; ушелъ подальше — простору много — вотъ и не слыхать о немъ ничего. Молодой сидя тутъ же, спросилъ: «да какой же у насъ извѣстный воинъ?» — А развѣ ты ужь забылъ, сказалъ старикъ: — тотъ, который двоимъ не поддался и обоихъ изранилъ, а послѣ ушелъ и всѣмъ вамъ наплевалъ въ глаза? Молодой, отвѣчалъ: «Жаль, что я не родственникъ тѣхъ, я бы не далъ ему пожить на свѣтѣ ни одного дня». — Не хвастай, пожалуйста, сказалъ опять старикъ: — мы тебя довольно знаемъ, да знаемъ и его. Лучше скажи, какъ есть, что когда бы ты увидѣлъ его, то сталъ бы собирать подъ ногами ягоду. Молодой разгорячился, и за него вступился было другой старикъ, сказавши, что никого не нужно обижать до поры: а вотъ когда что сбудется, то увидимъ. «Увидимъ», сказалъ молодой: «пусть онъ только покажется къ намъ въ деревню — такъ вотъ тогда и увидите; смотрите жь; не пеняйте тогда на меня: вы сами меня на это

вызвали». Въ это время я вышелъ изъ-за угла пустой сакли, гдѣ стоялъ, и поздоровавшись, также присѣлъ въ кружокъ, попросившись погрѣться. Всѣ они до крайности удивились мнѣ, здоровались и смотрѣли то на меня, то на моего противника. Помолчавъ немного, тотъ же старикъ спросилъ меня: «а слышалъ ты, Асанъ, что мы говорили?» — Нѣтъ, не слыхалъ, сказалъ я. Старикъ опять замолкъ, а хвастунъ, который курилъ молча трубку, потупивъ глаза вскорѣ всталъ и, ни слова не сказавши, пошелъ домой. Они же меня еще разъ спросили: вѣрно, ты слышалъ разговоръ нашъ? Но я отвѣчалъ, что ничего не слышалъ, а только увидавъ огонь, подошелъ погрѣться.

Между тѣмъ какъ бывшіе тутъ разспрашивали меня о томъ, гдѣ я былъ и что дѣлалъ, подошелъ двоюродный братъ мой съ обѣими сестрами моими, которыя безъ меня соскучились, и стали мнѣ говорить, что я напрасно сижу тутъ въ такомъ опасномъ мѣстѣ, совѣтуя мнѣ удалиться. Я всталъ и пошелъ прямо къ дому другаго дяди моего, старшины. И тутъ я также сталъ прислушиваться у окна: дядя со всѣмъ семействомъ только-что садился ужинать и, вздохнувъ, помянулъ меня съ сожалѣніемъ, сказавъ: «онъ, бѣднякъ, еще и раненъ въ голову, можетъ быть, сгоряча убѣжалъ, а теперь лежитъ гдѣ нибудь въ лѣсу и пропадаетъ. Можетъ статься, мы уже и костей его болѣе не увидимъ». Тогда я вдругъ вошелъ въ избу, и дядя мой обрадовался и испугался такъ, что не вдругъ могъ опомниться. Онъ сказалъ мнѣ, что его возили въ городъ, гдѣ комен-

дантъ приказалъ ему непремѣнно меня отыскать и доставить въ судъ, давъ сроку всего одинъ мѣсяцъ.» Но, прибавилъ онъ, я надѣюсь, что ты въ правомъ дѣлѣ своемъ виноватъ не будешь, а комендантъ знаетъ все по справедливости, какъ что было: твои раненые помаленьку оправляются, они не опасны; но рука твоя, видно, не легка: одному отрубилъ ты плечо, такъ что мясо свисло до локтя; а другому распоролъ всю спину въ долонь, на цѣлый аршинъ. Затѣмъ, онъ совѣтовалъ мнѣ ѣхать съ нимъ въ городъ, не принуждая, однако же, къ тому, а говоря: «подумай, какъ самъ хочешь.» Я тутъ же сказалъ, что ѣду съ нимъ въ городъ, но теперь отпросился еще на время домой, сказавъ, что къ ночи ворочусь.

Вышедши на улицу, вздумалъ я подойти къ дому той дѣвушки, Гюзель, которая, оттолкнувъ отца своего, спасла меня. Я увидѣлъ въ окно, при огнѣ, все ихъ семейство, и тутъ же сидѣлъ меньшой братъ тѣхъ, которыхъ я ранилъ; но дѣвушки не было. Рѣчь шла также обо мнѣ и говорили, что если бы только узнать, гдѣ я скрываюсь, то можно бы выпросить у коменданта казаковъ и меня захватить. Въ это время вошла Гюзель, а они перестали обо мнѣ говорить, отецъ же сердито закричалъ на нее и приказалъ выйти вонъ. Тутъ вошелъ тотъ самый хвастунъ, котораго я пристыдилъ у огня, разсказалъ имъ, что я нахожусь въ Гадазихорѣ, и совѣтовалъ, взявъ на помощь родныхъ пастуха, захватить меня; онъ и тутъ не утерпѣлъ, впрочемъ, чтобы не похвастать, сказавъ, будто, не онъ отъ меня, а я отъ него ушелъ. Мнѣ очень хотѣлось пристыдить его,

но, опасаясь новой ссоры и притомъ желая еще продолжать ночной поискъ свой, я осторожно перелѣзъ черезъ тынъ и спрятался подъ небольшой сарай, на дворѣ. Я хотѣлъ увидѣться съ Гюзелью и положилъ выждать, покуда всѣ въ домѣ заснутъ. Вскорѣ огонь въ саклѣ погасъ, но окошко отдѣльной небольшой избы, гдѣ жила Гюзель съ сестрой и еще одной женщиной, было освѣщено; я подошелъ къ нему, предвидя, что и здѣсь услышу что нибудь о себѣ. Собираясь спать, младшая сестра проситъ, чтобы Гюзель ей сказала сказку, а та ей разсказываетъ, какъ на меня напало двое взрослыхъ людей, съ ружьемъ и кинжалами, а я ихъ обоихъ ранилъ, отбился отъ цѣлой толпы и ушелъ. Бывшая съ ними женщина сказала: «а знаешь-ли, Гюзель, что Асанъ здѣсь, въ деревнѣ, а отецъ твой хочетъ выпросить у начальства команду, поймать его и представить въ городъ?» Гюзель заплакала и отвѣчала: «Еслибъ мнѣ только увидѣть его, то я бы не отстала отъ него, пусть бы дѣлалъ со мною, что хочетъ, хоть убей онъ меня, такъ я бы отъ его руки умерла; а дома мнѣ теперь житья нѣтъ отъ отца и родныхъ, бьютъ и мучатъ, сами не зная за что, будто есть на это своя воля человѣка, кого любить, а кого нѣтъ!...»

Подумавъ немного, что я могу погубить ее, если скажусь ей и отецъ обо всемъ узнаетъ, я тихонько опять перелѣзъ черезъ тынъ, когда онѣ также улеглись и погасили огонь, и пошелъ къ дядѣ своему, старшинѣ. Рано утромъ просыпаюсь я и вижу, что прямо передо мной стоитъ Гюзель; она заплакала и молча отошла въ сторону. Мнѣ стало

жалко ее, я спросилъ: о чемъ ты плачешь, Гюзель? и, подошедши къ ней, сталъ ее утѣшать. Она же сказала мнѣ, что ей теперь изъ-за меня дома житья нѣтъ; «пожалѣвъ тебя», говорила она, «когда ты бѣжалъ окровавленный и множество народу бросалось на тебя одного, я оттолкнула отца, сама не подумавъ о томъ, что дѣлаю; но мнѣ стало стыдно за отца, когда онъ хотѣлъ тебя удержать.... теперь же мнѣ проходу не даютъ за это и бьютъ каждый Божій день.... лучше возьми меня съ собой и дѣлай со мной, что хочешь; пусть я буду твоей рабой; мнѣ отъ твоей руки легче будетъ погибать»...—«Правду ты говоришь, Гюзель, сказалъ я: если бы я теперь оставилъ тебя у себя, то пришлось бы мнѣ спасать тебя отъ недобрыхъ людей тѣмъ, что заколоть; а другихъ силъ у меня не станетъ: ихъ тутъ много, а я одинъ. Не плачь, Гюзель; много народу теперь веселится, наплакавшись прежде, авось будетъ и тебѣ то же.»

Въ это время вошелъ дядя мой и спрашиваетъ меня, готовъ ли я, чтобъ ѣхать въ городъ. Услышавъ это, Гюзель бросилась къ ногамъ дяди моего и просила, чтобъ онъ меня не выдавалъ или чтобъ и ее также взялъ туда, куда беретъ меня. Дядя уговаривалъ ее, что мы-де скоро воротимся и все кончится хорошо; но она сѣла на коверъ и, закрывъ лицо руками, стала тихо плакать; а мы поѣхали.

Когда мы явились въ судъ, то отецъ Гюзели и два родственника раненыхъ были уже тамъ, прибывъ съ объявленіемъ, что я нахожусь въ Гадазихорѣ. Мы разошлись въ разные углы и молчали. Приходитъ эсаулъ и зоветъ меня къ судьямъ: я вошелъ, поклонился и сталъ, ожидая, что

будетъ. Комендантъ приказалъ прочитать показаніе о томъ, какъ и изъ-за чего у насъ вышла ссора и драка, и спросилъ: такъ ли? Я сказалъ, что такъ. «Говори же, что можешь въ оправданіе свое», сказалъ онъ.—Я отвѣчалъ: «властный господинъ, мнѣ говорить нечего, суди меня по тому, что читалъ; свидѣтели все показали вѣрно; два человѣка напали на меня среди бѣлаго дня, ровно ни за что, одинъ уже выстрѣлилъ по мнѣ, тогда только я выхватилъ кинжалъ свой и защищался; до этого онъ былъ у меня въ ножнахъ.» Судъ призналъ меня правымъ и не обвинилъ ни въ чемъ, а призвавъ противниковъ моихъ, объявилъ имъ, что сами они виновны кругомъ, передъ Богомъ и передъ людьми, и строго приказывалъ имъ оставить дѣло и не думать о кровомести. Затѣмъ, однако же, одинъ изъ судей сказалъ, что-де нельзя же ему простить это вовсе, а надо сколько . нибудь дать острастку, чтобы впередъ не было повадно; и рѣшили, чтобы содержать меня подъ карауломъ до выздоровленія раненыхъ, а дядю моего Асана освободить. Меня посадили въ острогъ, гдѣ продержали три мѣсяца, потому что непріятели мои нарочно растравляли раны свои солью, не давая имъ зажить, и еслибъ дядя мой, старшина, не изобличилъ ихъ въ этомъ и не пожаловался коменданту, то я бы просидѣлъ, можетъ быть, и годъ. Напослѣдокъ, вытребовали въ Кубу на личную ставку со мною двухъ непріятелей моихъ, и комендантъ приказалъ намъ при себѣ помириться; я подошелъ къ нимъ и протянулъ руку, сказавъ: «простите меня и не попомните вины моей передъ вами, какъ я не *попомню вашей*». Но они съ сердцемъ отверну-

лись отъ меня. Тогда комендантъ грозно закричалъ на нихъ, что они за свою вину не хотятъ меня простить, напали двое на мальчишку, который и безъ того теперь наказанъ,— такъ чего же они больше хотятъ? Затѣмъ онъ еще разъ сказалъ имъ, что, кто меня тронетъ, непремѣнно будетъ строго наказанъ, выгналъ ихъ вонъ, а мнѣ выдалъ охранный листъ и отпускъ.

Слишкомъ годъ послѣ этого жилъ я дома спокойно, сталъ заниматься хозяйствомъ и хотѣлъ жениться на Гюзели за любовь ея ко мнѣ, но по бѣдности моей не могъ уплатить калыму, да, кромѣ того, отецъ ея былъ такъ золъ, что ни за какой калымъ не хотѣлъ отдать ее за меня, а отправилъ ее въ дальнюю деревню, къ родственникамъ.

Въ 1831 году сдѣлался у насъ въ горахъ страшный голодъ, по неурожаю: у насъ было въ запасѣ немного хлѣба, но я его роздалъ взаймы бѣднымъ, которымъ было нечего ѣсть; пришла нужда и къ намъ, ссуженнаго хлѣба собрать я не могъ, потому что бѣдняки были голѣе насъ, и мы не знали, что дѣлать. Голодъ этотъ продолжался три года, и множество людей погибло, набивая себѣ брюхо травой, корой, мхомъ и другими несъѣдомыми вещами. Мы жили — дядя Асанъ съ женой и тремя дѣтьми, да я съ братомъ и двумя сестрами. Голодъ довелъ насъ до крайности; я взялъ ружье, доставшееся мнѣ отъ отца, которое стоило 25 червонцевъ, и пошелъ прямо къ отцу Гюзели, во-первыхъ, потому, что онъ былъ богаче другихъ, а во-вторыхъ, полагая, что покорность врага будетъ ему лестна, и онъ будетъ радъ показать свое великодушіе. Пришедши къ нему,

я прошу хлѣба нѣсколько пудовъ, хоть взаймы, хоть за деньги, подъ залогъ отцовскаго ружья, дорогой и неоцѣненной вещи. Хлѣбъ у него былъ, но онъ пряталъ его и продавалъ тайкомъ. Онъ отговаривался и велѣлъ придти мнѣ на другой день, тамъ опять отнѣкивался и велѣлъ придти на третій и такимъ образомъ проводилъ цѣлыя двѣ недѣли. Между тѣмъ, братъ и сестры мои плачутъ, просятъ ѣсть, а дядя со всей семьей также голодаютъ; не стало у меня болѣе силъ терпѣть, пошелъ я вечеромъ въ послѣдній разъ къ тому старику и сталъ просить настоятельно; тогда онъ мнѣ отказалъ наотрѣзъ. «За что же ты меня проводилъ двѣ недѣли, сказалъ я: — или хотѣлъ уморить моихъ сестеръ?» Я пошелъ отъ него къ дядѣ старшинѣ и засталъ его съ семействомъ за бѣднымъ ужиномъ; они приняли меня ласково и пригласили меня ужинать, но я съ горя не могъ ѣсть, а сидѣлъ молча подлѣ. Недоставало у меня духу говорить, потому что мы были въ самой страшной крайности, просто умирали съ голоду, а я не могъ прибрать словъ, чтобы поняли это и повѣрили мнѣ, а не сочли бы простымъ нищимъ. Впрочемъ, всѣ тогда нуждались и голодали, и всѣ, у кого былъ хлѣбъ, прятали его и скупились, потому что боялись сами за себя. Посидѣвъ молча, я опять вышелъ; двоюродная сестра проводила меня, и я ей сказалъ: — «ты забыла братьевъ и сестеръ своихъ; они теперь умираютъ съ голоду, дня три не ѣли, а грызли старые поршни.» Она тотчасъ дала мнѣ мѣшокъ, въ которомъ было пуда два муки, сказавъ: «молчи, хоть мнѣ и достанется за это, да отецъ добръ, проститъ».

Пришедши домой, увидѣлъ я меньшую сестру безъ памяти на полу, а братъ стоялъ, прислонившись къ стѣнѣ, и у нѣго изо рта клубилась пѣна. Разбудивъ скорѣе старшую сестру, которая также едва могла стоять на ногахъ, я развелъ огонь; мы сварили болтушку, отвели душу и возвратили ею къ жизни дѣтей; вся семья наша наѣлась досыта, чего уже очень давно не случалось. Въ то же время я отнесъ котелокъ съ болтушкой къ дядѣ Асану и накормилъ его семейство, которое жило на томъ же дворѣ, въ особой саклѣ.

На другое утро я, подумавъ и рѣшившись напередъ, что дѣлать, пошелъ поочередно къ нѣсколькимъ зажиточнымъ людямъ въ окружности и говорилъ каждому, послѣ привѣтствія: «я знаю, что теперь всѣмъ тяжело и что Богъ послалъ нужду на весь край нашъ; но вы сыты, у меня же братья и сестры умираютъ съ голоду, а дядя уже распухъ; дайте хлѣба взаймы; возьмите меня въ работники, возьмите подъ закладъ семейную, завѣтную вещь нашу, отцовское ружье, но дайте хлѣба.» Одинъ только человѣкъ, посовѣстившись, впрочемъ, и не взявъ ружья, далъ съ полпуда зерна; прочіе всѣ отказали, сказавъ, что-де заемная пора прошла, а что впередъ будетъ — Богу извѣстно: были сыты доселѣ, но брюхо злодѣй, стараго добра не помнитъ, ему подавай каждый день снова. Сдѣлавъ эту послѣднюю попытку, я пришелъ домой, взялъ оружіе, сказалъ своимъ, чтобъ ждали черезъ недѣлю, а коли не приду, то и не поминали бъ меня, и вышелъ. Я пошелъ на грабежъ и обрекъ себя на это на все время голода, чтобы кормить

своихъ и другихъ бѣдныхъ людей; я положилъ зарокъ не убивать никого, потому что шелъ на разбой не для душегубства, а для спасенія людей отъ страшной голодной смерти.

Пришедши на другой день въ Кубу, обошелъ я весь базаръ и не нашелъ ни одного хлѣбнаго продавца, тогда какъ прежде, бывало, сидѣло ихъ здѣсь нѣсколько десятковъ. Большая часть встрѣчныхъ людей были слабы и вялы, какъ послѣ тяжкой болѣзни, и всѣ смотрѣли при встрѣчѣ другъ на друга такъ, какъ бы спрашивали: а нѣтъ ли у тебя корки хлѣба? — По дорогамъ нерѣдко лежали изнуренные голодомъ, не могши дойти туда, куда было пошли. За хлѣбъ нигдѣ работниковъ не принимали; хлѣбъ былъ дороже всякой работы.

Поздно вечеромъ подошелъ я къ мельницѣ, подъ самымъ городомъ, гдѣ былъ свѣтъ въ окнѣ, надъ берегомъ рѣки. Увидавъ въ окно трехъ сидящихъ человѣкъ, я постучался и попросился къ нимъ, но они не пустили и стали меня гнать прочь. Тогда я сказалъ имъ: «слушайте, я умираю съ голоду, мнѣ терять и бояться нечего; либо дайте мнѣ муки, либо я застрѣлю кого-нибудь изъ васъ въ окно.» Испугавшись, они дали мнѣ съ полпуда муки, а я ушелъ въ лѣсъ, развелъ огня, напекъ кой-какъ лепешекъ и съ жадностію ихъ поѣлъ. Отдохнувъ немного, я пошелъ на заимку къ одному знакомому дворянину, надѣясь выпросить у него хлѣба, но онъ отказалъ. Воротился я въ лѣсъ и думаю, что мнѣ теперь дѣлать и какъ быть? Вышелъ бы на дорогу да ограбилъ бы хлѣбный караванъ, когда бы

попался, — такъ я одинъ, товарищей нѣтъ, можетъ статься, и не справлюсь; между тѣмъ, однако же, я вышелъ-таки на дорогу и вижу трехъ вооруженныхъ конниковъ, персіянъ, которые ѣдутъ шагомъ. Я вдругъ выскочилъ, сталъ передъ ними и сказалъ: «стой! вы попались въ засаду; впереди и сзади васъ лежатъ люди и прицѣливаются въ васъ; мнѣ стоитъ только сказать слово, и всѣ вы слетите съ лошадей. Слѣзайте и сдавайтесь.» Они оробѣли, взглянули молча другъ на друга и покорились. Я велѣлъ имъ сложить все оружіе свое въ одно мѣсто и перевязать другъ другу руки; послѣдняго же я связалъ самъ и, осмотрѣвъ прочихъ двухъ, хорошо ли они связаны, взялъ оружіе ихъ и лошадей, а имъ велѣлъ идти за собою, въ лѣсъ. Зашедши подальше, я привязалъ лошадей, а нукерамъ велѣлъ сѣсть. Они спросили меня: да гдѣ же твои товарищи? — Это вы сами, отвѣчалъ я, потому что я одинъ; а какъ я взялъ васъ въ плѣнъ, то вы теперь мои товарищи и будемъ грабить вмѣстѣ. Они сказали, что провожали въ городъ своего князька и возвращались домой; «но ужь когда мы такъ оплошали, что ты одинъ могъ насъ взять въ плѣнъ, то намъ, конечно, стыдно будетъ дома показаться; между тѣмъ, оставаться тутъ съ тобой намъ нельзя; и разбойничать мы не согласны; лучше возьми ты кинжалы наши и воткни ихъ въ каждаго изъ насъ по самую рукоять; а когда у тебя на насъ не подымаются руки, то прикажи, мы переколемъ другъ друга.» Я отвѣчалъ, что не хочу этого, что я и самъ не разбойникъ, а хочу только спасти себя и другихъ отъ голодной смерти, когда родные и пріятели и всѣ зажиточные люди

мнѣ въ помощи отказали. Затѣмъ, я развязалъ ихъ, отдалъ имъ все, и лошадей, и оружіе, и отпустилъ ихъ домой; а самъ отошедши расположился ночевать.

На разсвѣтѣ я услышалъ свистъ съ разныхъ сторонъ, сперва вдалекѣ, а тамъ все ближе. Я сталъ прислушиваться: вдругъ вижу передъ собою мужика, который, вышедъ изъ чащи, остановился. Подумавъ и оглянувшись по сторонамъ, онъ сказалъ мнѣ осторожнымъ голосомъ: «тебя ищутъ; коли это ты вчера плѣнилъ трехъ нукеровъ нашихъ, скорѣе бѣги!» Поблагодаривъ его, я отошелъ скорыми шагами поглубже въ чащу и, пріискавъ подходящее густое дерево, взлѣзъ на него потихоньку и притаился. Вскорѣ опять свистъ сталъ приближаться, и нѣсколько вооруженныхъ людей прошли цѣпью мимо меня, оставивъ меня за собой; опасаясь, однако же, я просидѣлъ на деревѣ весь день, и тутъ же ночевалъ. Проснувшись, услышалъ я близко отъ себя шорохъ: взглянувъ осторожно въ ту сторону, увидѣлъ пробѣжавшую лисицу.— «Это счастливая примѣта,— подумалъ я: — пойду слѣдомъ за этой хитрой воровкой,»—и вышелъ опять на дорогу.

Только-что вышелъ я изъ лѣсу, какъ наскочилъ почти вплоть на верблюжій караванъ. Не думая долго, я сказалъ то же, что персидскимъ воинамъ, и караванъ остановился.

Въ это время, въ тѣхъ мѣстахъ, на большомъ пространствѣ славился извѣстный разбойникъ мулла Нуръ; смѣлость его и неустрашимость были вѣдомы всякому, и его боялись

всѣ. Я объявилъ себя эсауломъ его и, спросивъ, сколько человѣкъ въ караванѣ, требовалъ съ каждаго, именемъ муллы Нура, по рублю серебромъ. Они на все соглашались, но говорили, что денегъ у нихъ нѣтъ, а везутъ они въ городъ хлѣбъ; получивъ же тамъ за него деньги, обѣщали честно отдать мнѣ требуемую подать. Между тѣмъ, около тридцати человѣкъ меня окружили; одинъ, высокаго росту и молодецъ собой, сказалъ: — «чего вы смотрите на него и чего испугались? Связать его и представить въ городъ!» Я бросился на него съ кинжаломъ и ранилъ его, повторивъ, что по знаку моему всѣхъ ихъ перестрѣляютъ, а мулла Нуръ отыщетъ ихъ, куда бы они ни ушли; не давъ имъ опомниться, я отрѣзалъ бурундукъ (поводъ) одного изъ навьюченныхъ верблюдовъ и поспѣшно увелъ его въ лѣсъ. Къ счастію, былъ густой туманъ; я вскорѣ скрылся и только слышалъ издали шумные ихъ голоса. Я провелъ добычу свою, нигдѣ не останавливаясь, прямо въ Гадазихоръ и отдалъ дядѣ, велѣвъ ему муку взять себѣ, а верблюда отогнать и пустить по близости города. Оставаясь самъ съ недѣлю дома, я каждый день варилъ болтушку и кормилъ всякаго, кто ко мнѣ заходилъ; черезъ два дня знали уже во всемъ околоткѣ, что у меня столъ для бѣдныхъ, и голодные нахлынули со всѣхъ сторонъ: скоро запасы мои стали приходить къ концу. Подумавъ, отправился я опять на то же мѣсто.

Прошло два дня, на третій подстерегъ я персидскій обозъ съ хорошимъ товаромъ. Я остановился у моста и, подпустивъ обозъ вплоть, поздоровался съ хозяиномъ, при-

несъ ему поклонъ отъ муллы Нура и потребовалъ дани. Онъ далъ мнѣ, безъ всякаго спора, пять червонцевъ и нѣсколько кусковъ шелковой ткани, велѣлъ кланяться атаману и просилъ меня не забыть отъ кого, чтобы впередъ быть знакомымъ и не подпасть обидѣ. Они поѣхали своимъ путемъ, я же пошелъ въ лѣсъ, но услышавъ, часа черезъ три, шумъ и разные голоса, опять осторожно вышелъ. Тутъ стоялъ другой обозъ, а передъ нимъ человѣкъ въ богатомъ вооруженіи, котораго я по примѣтамъ тотчасъ узналъ за самого муллу Нура. Я подошелъ и сталъ съ любопытствомъ его разсматривать. Взглянувъ на меня, онъ закричалъ: «ты чего не видалъ? пошелъ прочь!»—Мнѣ стало обидно, да притомъ я считалъ мулла Нура человѣкомъ злымъ; онъ грабилъ изъ корысти; я подумалъ: расправлюсь я съ нимъ: онъ, какъ видно, одинъ. Но разбойникъ въ ту же минуту понялъ движеніе мое, потому что я впился въ него глазами, а самъ осторожно схватился за ружье, и потому онъ, перемѣнивъ голосъ, сказалъ, обратившись къ толпѣ: «видите ли, какіе у меня товарищи! Изъ земли выростаютъ; это братъ мой, который еще храбрѣе меня». Въ то же время онъ взглянулъ на меня привѣтливо и мигнулъ мнѣ едва замѣтно. Я опустилъ руку, онъ получилъ дань и отпустилъ обозъ, а потомъ мы другъ на друга поглядѣли. «Здравствуй же, товарищъ, — сказалъ онъ, подавая мнѣ руку: — назовись именемъ и отчествомъ», — Я назвался. «Знаю тебя, — сказалъ онъ, — прошли слухи о тебѣ». — «И я тебя знаю, сказалъ я: — и бралъ дань твоимъ именемъ.» — «Стало быть я правду сказалъ, отвѣчалъ онъ: —

и мы товарищи!» — Въ это время подошелъ одинъ изъ подручниковъ его, и я замѣтилъ, что мулла Нуръ обращался съ нимъ какъ со слугой: онъ, между прочимъ, послалъ его за кушаньемъ, сказалъ, что у него сегодня дорогой гость, и указалъ при этомъ на меня. Черезъ часъ три человѣка принесли обѣдъ, и всѣ мы вмѣстѣ усѣлись на травѣ и хорошо поѣли. Напослѣдокъ, побесѣдовавши еще нѣсколько, мулла Нуръ пріятельски со мною простился, сказавъ, что еще увидимся.

Прошатавшись по лѣсу дня три, я вышелъ опять на дорогу и часа черезъ два увидѣлъ тянувшійся по ней верблюжій караванъ. Остановивъ его, я потребовалъ хозяина, для уплаты дани; но тутъ хозяина не было,—все одни работники, люди бѣдные, которымъ отдать было нечего; когда же я не соглашался отпустить ихъ безъ дани, то они сказали: «съ нами есть трое жидовъ; они сами хозяева; товаръ у нихъ хорошій и деньги есть—бери съ нихъ.» Жиды было попрятались между лошадьми и верблюдами, но ихъ отыскали; я потребовалъ дани, а они стали божиться, что и у нихъ нѣтъ денегъ, а товаръ самый плохой, за который не слѣдуетъ взыскивать много, а потому и сулили мнѣ всего сколько-то мелкаго серебра и мѣди. «Коли такъ, сказалъ я: — то возьмите назадъ деньги свои, а мнѣ подайте плохой товаръ,» и взялъ у нихъ двухъ лошадей со вьюками. Тогда жиды мои, выйдя изъ себя и забывшись, съ кѣмъ связались, бросились отнимать у меня лошадей; я ранилъ одного изъ нихъ кинжаломъ, всѣ трое съ крикомъ

отбѣжали, и я повелъ добычу свою черезъ лѣсъ и горы въ Гадазихоръ.

Между тѣмъ, смерклось, стало очень темно, а какъ я, опасаясь преслѣдованія, шелъ не дорогою, а въ перевалъ, то и заплутался. Пустившись, наконецъ, наудачу по первой попавшейся мнѣ дорогѣ, я вскорѣ прибылъ къ селенію, гдѣ на лай собакъ изъ большаго каменнаго дома вышли ко мнѣ три человѣка. Я сказалъ имъ, что заплутался, просилъ позволить мнѣ погрѣться у нихъ, а потомъ указать мнѣ дорогу. Они исполнили это, даже накормили меня, и рано утромъ я былъ уже дома. Братъ и сестры мои до крайности обрадовались; не смѣя отказывать голоднымъ въ пищѣ, потому что я это строго имъ запретилъ, они роздали почти весь хлѣбъ и опять уже начинали терпѣть нужду. Я весь товаръ отдалъ дядѣ, велѣлъ ему тотчасъ же купить пищи, и съ этого дня пошло въ бѣдной саклѣ нашей опять веселое житье и каждый день были пиры, на которые сходились всѣ голодные изъ цѣлаго околотка.

Чтобъ сбыть съ рукъ двухъ лошадей жидовскихъ, дядя предложилъ ихъ за безцѣнокъ какому-то проѣзжему; тотъ почему-то не рѣшился взять ихъ, а одинъ изъ гостей нашихъ, пришедшій изъ города къ радушному столу моему, видѣлъ при этомъ случаѣ лошадей и, воротившись въ городъ, забывъ нашу хлѣбъ-соль, пошелъ къ жидамъ, надѣлавшимъ въ Кубѣ много шуму и тревоги, и обѣщался за хорошую плату отыскать ограбившаго ихъ разбойника. Онъ узналъ лошадей по описанію масти и примѣтъ. На другой день прибыла въ Гадазихоръ команда казаковъ, а

съ нимъ жиды и нашъ доказчикъ. Всѣ они пріѣхали прямо на дворъ къ дядѣ моему старшинѣ; онъ старался занять ихъ нѣсколько времени, а самъ далъ мнѣ знать. Я выгналъ лошадей этихъ скорѣе въ лѣсъ, а вмѣсто ихъ поставилъ другую пару такой же масти, взятыхъ на время у сосѣдей.

Только-что успѣлъ я сдѣлать это, какъ пришли ко мнѣ на дворъ смотрѣть лошадей. Жидъ поглядѣлъ и сказалъ: нѣтъ, это лошади не мои. Доказчикъ также осмотрѣлъ ихъ и сказалъ: лошадей перемѣнили; это не тѣ, что я видѣлъ. Тогда указали на меня и спросили жида: онъ ли тебя ограбилъ? Жидъ смотрѣлъ на меня долго изподлобья, но признался, что за великимъ страхомъ не можетъ навѣрное припомнить. Видно было, что онъ меня боялся. Народу нашло много; я подстерегъ такую минуту, когда всѣ были заняты между собою толками, и потихоньку скрылся: вскорѣ схватились меня, но ужь поздно; начальникъ отряда приказалъ, чтобы меня доставили въ судъ, когда я ворочусь, и затѣмъ съ командой своей воротился въ городъ.

Между тѣмъ, я, залегши невдалекѣ подъ лѣскомъ у дороги, пропустилъ мимо себя казаковъ и подстерегъ жида съ мужикомъ, которые оставались еще нѣсколько времени въ деревнѣ, надѣясь что-нибудь открыть. Я вдругъ вышелъ и, остановивъ ихъ, сказалъ: «я тебя ограбилъ, еврей; но коли ты меня не узналъ, то честно сдѣлалъ, что не показалъ на меня. Скажи же мнѣ правду, сколько этотъ добрый человѣкъ взялъ съ васъ за доносъ?» Жидъ отвѣчалъ: «двадцать цѣлковыхъ.» — «Правда-ли?» спросилъ я у мужика. —

«Правда,» отвѣчалъ онъ въ большомъ страхѣ и смущеніи.— «Дешево жь ты продалъ благодарность свою за хлѣбъ-соль; подай мнѣ сейчасъ эти деньги!» Онъ ихъ поспѣшно досталъ и подалъ мнѣ, я же отдалъ ихъ жиду, сказавъ: «вотъ твои деньги; теперь слушайте: вы оба у меня въ рукахъ, и я могу васъ убить обоихъ; но если я васъ отпущу, то уже я буду у васъ въ рукахъ, вы можете теперь донести на меня и меня назвать. Они стали просить на колѣняхъ пощады, клялись и божились, что никому ни слова не скажутъ объ этой встрѣчѣ. — «Тебѣ я вѣрю,' сказалъ я жиду: — и отпускаю тебя, а съ тобой какъ быть, спросилъ я мужика: — когда ты уже разъ меня такъ дешево продалъ?» Мужикъ заплакалъ, просилъ прощенья и взмолился, увѣряя, что даже и подъ пыткой слова не скажетъ обо мнѣ. — «Поди съ Богомъ, сказамъ я ему: — хоть я вижу, что ты подлецъ, но я хочу тебѣ вѣрить, чтобы ты могъ исправиться; знай и помни, однако же, что если только ты меня и на этотъ разъ обманешь, то такъ дешево не раздѣлаешься: тогда я отыщу васъ обоихъ, хоть подъ землей, и вамъ головъ своихъ не сносить.»

Воротившись домой, я пригласилъ къ себѣ захожую братію, пять человѣкъ изъ обнищавшихъ и голодныхъ лезгинъ, съ тѣмъ, чтобы они пособили мнѣ отомстить отцу Гюзели за злыя дѣла его и въ особенности за то, что онъ не давалъ мнѣ хлѣба, стараясь обманомъ провести время, въ надеждѣ, что и я, и братъ, и сестры мои помрутъ съ голоду. Я недавно узналъ, что онъ говорилъ другому человѣку: «живучъ, однако жь, этотъ Асанъ; онъ таскался ко

мнѣ за хлѣбомъ цѣлыя двѣ недѣли и ужь чуть только на ногахъ стоялъ; я все ждалъ, что онъ не переживетъ ночи и не дотащится болѣе до меня: нѣтъ, какъ утро настанетъ, такъ и онъ у меня на порогѣ». Я хотѣлъ это ему напомнить; о Гюзели же нечего было и думать, она давно отдана была замужъ.

Въ слѣдующую ночь мы отправились, и намъ удалось такъ тихо отпереть дверь въ домѣ злаго сосѣда, что никто не проснулся. Зная, гдѣ онъ спитъ, я подошелъ потихоньку и сталъ его будить, называя по имени. Онъ проснулся съ испугомъ и спрашивалъ: кто тамъ?—«Узналъ-ли ты меня по голосу?» спросилъ я. «Узналъ, ты Асанъ». — «Такъ вотъ пощупай-ка, что у меня въ рукахъ,» —и я подалъ ему лезвіе кинжала. Онъ страшно испугался и сталъ просить пощады, говоря: «братъ мой, что ты хочешь со мною дѣлать?» — «Я принесъ тебѣ гостинецъ, сказалъ я: — за твою хлѣбъ-соль, что ты хотѣлъ уморить меня съ голоду, а послѣ еще дивился, что я не издохъ. Теперь молчи, на первый случай, а если только пикнешь, то всажу тебѣ кинжалъ по самую рукоять.» Я велѣлъ стать подлѣ него одному изъ товарищей и уставить кинжалъ на грудь лежащаго, а самъ съ прочими распорядился по хозяйству: взявъ четыре мѣшка муки, сколько было печеныхъ лепешекъ, масла, соли да еще двѣ коровы, напослѣдокъ простился я съ нимъ, посовѣтовавъ еще разъ лежать смирно до самаго утра, и сказалъ: «я просилъ у тебя въ ссуду, подъ залогъ завѣтнаго оружія — и ты не далъ; теперь не

прогнѣвайся; коли хочешь, то приходи завтра ко мнѣ на пирушку, я буду кормить нищихъ и голодныхъ.»

Отправивъ все заграбленное въ свою саклю, я утромъ объявилъ дядѣ, что у меня будетъ большой пиръ, и разослалъ своихъ лезгинъ по околотку звать гостей, съ тѣмъ, чтобы ни одинъ богатый человѣкъ не смѣлъ быть ко мнѣ, а одни только убогіе. Мы зарѣзали обѣихъ коровъ, напекли хлѣба, наварили мяса, а гостей пришло ко мнѣ столько, что съѣли все, что было, въ тотъ же день.

Отецъ Гюзели, едва дождавшись утра, поѣхалъ жаловаться на меня, но не къ коменданту, а къ окружному князю, Али-пашѣ. Князь прислалъ за мной эсаула съ конвоемъ, который пріѣхалъ прямо въ домъ дяди моего, старшины, гдѣ и я на ту пору случился. Эсаулъ ласково поздоровался со мной и протянулъ мнѣ руку, а я, ничего не зная, протянулъ было и свою; но дядя мой успѣлъ еще дать мнѣ знакъ, оттолкнувъ въ то же время эсаула и закричавъ ему: «что ты даешь руку этому сорванцу, вѣдь онъ какъ разъ тебѣ распоретъ брюхо!» Этимъ дядя далъ мнѣ понять, что пріѣхали за мной; я тотчасъ отступилъ нѣсколько шаговъ назадъ и, чтобы оправдать дядю, схватился за кинжалъ и сказалъ: «ну, счастливъ ты, что старшина тебя спасъ!» потомъ я вышелъ и скрылся. Не могши взять меня, эсаулъ долго бранился съ дядей, понявъ, несмотря на продѣлки наши, что тотъ потакаетъ племяннику, и уѣхалъ, сказавъ, что обо всемъ донесетъ князю; а ограбленный сосѣдъ мой, опасаясь остаться, также уѣхалъ съ ними.

Боясь угрозъ посланнаго, дядя началъ меня бранить за

мои разбои и вдругъ крѣпко осерчалъ, сказавъ, что это ему уже надоѣло. Я ему отвѣчалъ: «ты самъ знаешь, почему я на такое дѣло пошелъ: я не хочу умирать съ голоду, а и того пуще не хочу, чтобъ умерли сестры и братъ. У тебя порядочный достатокъ, почему же ты не возьмешь ихъ къ себѣ? Ты ко мнѣ добръ, это правда, или добрѣе другихъ, но по тебѣ мы бы все-таки давно попухли и издохли. Учить не мудрое дѣло, дядюшка, особенно такой простой вещи — что-де разбойничать и грабить нехорошо; но побудь-ка на моемъ мѣстѣ... Я не перестану грабить на все время голода, пока меня не убьютъ; я себя не жалѣю, я жалѣю своихъ ближнихъ. Я на это положилъ зарокъ, а ты, какъ пожилой и хорошій человѣкъ, самъ знаешь, что абреку одна дорога: впередъ, а не назадъ.»

У дяди собралось въ это время нѣсколько стариковъ, которые слушали все, что я говорилъ, и наконецъ сказали, что меня винить нельзя въ такую пору, — что я точно, какъ всякому извѣстно, граблю не для корысти, дѣлю добычу свою на всѣхъ голодныхъ и притомъ не душегубствую. Они припомнили и то, что въ то время былъ отъ начальства строгій приказъ: коли у кого есть хлѣбъ и онъ просящему у него ради голода, послѣ троекратной просьбы, не дастъ, то отбирать четвертую часть наличнаго хлѣба и дѣлить на голодныхъ. «А онъ, сказали они обо мнѣ: — ходилъ и просилъ долго и много разъ, да небось не далъ никто; а сосѣдъ, котораго онъ ограбилъ, не далъ и подъ залогъ такой вещи, какъ отцовское ружье!»

Между тѣмъ, такъ какъ дядя-старшина сталъ призаду-

мываться, что ему придется за меня отвѣчать, то я всталъ и сказалъ: «никого я не хочу вводить въ отвѣтъ за себя, и потому завтра же самъ поѣду къ князю.» Дядя обрадовался, а старики меня похвалили, сказавъ: «ступай и не бойся ничего; пусть старшина ѣдетъ съ тобой и засвидѣтельствуетъ передъ княземъ нашимъ именемъ, что дѣло твое правое.»

На другой день мы пріѣхали въ Кубу и явились къ Алипашѣ. Мы слышали, что онъ былъ очень сердитъ на меня, и намъ пророчили худое. Онъ позвалъ меня одного, глазъ-на-глазъ, въ покой свой, и, посмотрѣвъ на меня, спросилъ: «Что скажешь?» — «Ты присылалъ за мною эсаула съ конвоемъ, сказалъ я: — но я конвоевъ не люблю, и не идетъ мнѣ, маленькому человѣку, съ такимъ почетомъ ѣздить; вотъ почему я эсаулу не дался; а передъ тобой я ни нынѣ, ни впредь не ослушникъ; прикажи — и явлюсь.» — «Это хорошо», сказалъ онъ: — «такихъ я люблю; сказывай же мнѣ теперь все, что есть за тобою, чтобы мнѣ другихъ не спрашивать».—За мною есть много, отвѣчалъ я: — да не много словъ нужно на все: мнѣ съ сестрами и братомъ приходилось умереть съ голоду, и не много дней приходилось жить, потому что поршнями сытъ не будешь; я просилъ хлѣба взаймы и подъ залогъ оружія, просилъ у родичей, пріятелей и даже у враговъ; никто не далъ; тогда я пошелъ въ абреки, положивъ зарокъ грабить зажиточныхъ людей на все время голода, отбирать у нихъ по закону четвертую часть и кормить голодныхъ. Вотъ все.» — «Ты ли связалъ трехъ нукеровъ, изъ конвоя одного

князька?» спросилъ онъ. — «Я.» — «Какъ же ты могъ съ ними управиться?» — Я разсказалъ. — «А ты ли ограбилъ трехъ жидовъ?» — «Я; у нихъ было двѣнадцать вьюковъ, а я взялъ только два. «Ты ли ограбилъ сосѣда, который на тебя проситъ?» — «Я; онъ хотѣлъ уморить меня съ голоду и хвалился этимъ; что же лучше—чтобы сосѣдъ мой продавалъ хлѣбъ свой по непомѣрной цѣнѣ и разбогатѣлъ отъ этого, или чтобы сто человѣкъ голодныхъ были сыты?» — «Правда твоя, Асанъ; оставайся же у меня на три дня въ гостяхъ; такой гость какъ ты дому моему почетъ». Онъ отпустилъ старшину, послалъ ко мнѣ въ домъ два воза пшеницы, приказалъ меня у себя угощать и каждый день призывалъ къ себѣ для разговора. На третій день онъ подарилъ мнѣ одежду и шашку, и прощаясь сказалъ: «будешь ли еще грабить, Асанъ?» Я отвѣчалъ: «буду, князь, пока не кончится голодъ, потому что я положилъ такой ненарушимый зарокъ; пшеницы, которую ты послалъ ко мнѣ въ домъ, станетъ не надолго, потому что сестры мои, по строгому приказанію моему, не смѣютъ отказывать въ хлѣбѣ ни одному голодному, а голодныхъ теперь больше, чѣмъ сытыхъ.» — «Не обижай же никого напрасно», сказалъ князь: — «и не пугай бѣдныхъ людей». Я отвѣчалъ, что не для обиды это дѣлаю и не для корысти, а чтобы избавить себя съ семьей и другихъ бѣдныхъ людей отъ голода.

Прибывъ домой, я принялъ поздравленіе отъ стариковъ и другихъ добрыхъ людей Гадазихора, а враги мои не смѣли показываться. Я засталъ толпу народа у моей сакли, которая съ крикомъ и плачемъ требовала хлѣба; тутъ были

старики, бабы и дѣти; многіе пришли, по слухамъ, издалека и едва дотащились; одинъ старикъ, сидя отъ слабости на землѣ, досталъ изъ-за пазухи пучокъ травы и, протягивая ко мнѣ руку, кричалъ сиплымъ, истомленнымъ голосомъ: «вотъ что я жую другую недѣлю; брюхо мое стало корытомъ, и голодъ у меня проникъ во всѣ кости!» Я тотчасъ послалъ повѣстить на всю деревню, чтобы всѣ, у кого есть въ домѣ печеный хлѣбъ, то есть лепешки, снесли ихъ тотчасъ же ко мнѣ въ домъ и приняли вмѣсто того пшеницу; всѣ исполнили мое приказаніе, даже дядя мой, старшина. Я наварилъ еще болтушки и, накормивъ и одаривъ всѣхъ бѣдняковъ, отпустилъ ихъ, сказавъ, что они не одни и чтобъ теперь никто изъ нихъ не приходилъ ко мнѣ за хлѣбомъ ранѣе одной недѣли. Всѣ обѣщались исполнить это, благодарили и ушли.

Видя меня въ такомъ обиліи и столь тароватымъ, отецъ Гюзели надѣялся этимъ покорыстоваться и пришелъ на мировую, съ тѣмъ только, чтобы я ему уплатилъ то, что у него отнялъ. Я ему захохоталъ въ глаза и спросилъ: «какой дуракъ тебя за этимъ прислалъ?» — «Я самъ пришелъ», отвѣчалъ онъ. — «Ну, такъ стало быть ты самъ и есть дуракъ этотъ. Когда ты лежалъ у меня подъ ножомъ, то говорилъ одно, а когда поѣхалъ жаловаться, такъ, чай, говорилъ другое; теперь же выдумалъ еще третье; поди же съ Богомъ, отпускаю тебя здрава и невредима, съ тѣмъ уговоромъ, что если ты когда-нибудь и кому-нибудь помянешь о томъ, что я тебя ограбилъ, то припасай у меня сейчасъ же

опять столъ на сто человѣкъ; да! я тебя еще разъ заставлю накормить ихъ!»

Получивъ громкое имя на всю округу, я вскорѣ набралъ себѣ отважныхъ товарищей, съ условіемъ никого напрасно не обижать, грабить не для корысти, а ради голода и голодныхъ; такимъ образомъ я дѣлалъ набѣги въ разныя стороны, то на жителей, то на проѣзжихъ, но всегда только на людей достаточныхъ и притомъ на такихъ, которые бѣднымъ ничего не даютъ; я всегда отбиралъ у нихъ не болѣе, какъ положено было по закону, то есть четвертую часть, потому что хотя это приказаніе начальства и было объявлено, но оно никѣмъ не исполнялось; бѣдные, зная, что приказаніе такое есть, еще болѣе встревожились и роптали; зажиточные также были недовольны, уклонялись и скрывали достатокъ свой, какъ могли, что и рождало повсемѣстное безпокойство. Я завелъ у себя народную кухню, гдѣ каждый день пекли и варили все, что я добывалъ, не заботясь о завтрашнемъ днѣ, и сестры мои съ братомъ одѣляли всякаго, кто приходилъ и садился подъ навѣсъ моей сакли. Я доставлялъ домой черезъ товарищей моихъ все, что могъ добыть, а самъ изрѣдка только навѣдывался, для порядка. Мало-по-малу дошло до того, что ни одинъ зажиточный человѣкъ не смѣлъ прогонять голоднаго отъ своего порога безъ подаянія, потому что лишь только бѣднякъ приходилъ въ саклю мою и объявлялъ объ этомъ сестрамъ, какъ онѣ давали мнѣ знать, и я отправлялся для наказанія виновнаго.

Однажды навѣдался я домой и, сдѣлавъ порядочный за-

насъ съѣстнаго, остался отдохнуть нѣсколько дней. Тутъ пришелъ одинъ изъ двоюродныхъ братьевъ моихъ и позвалъ меня въ гости къ матери своей, моей теткѣ, жившей отъ Гадазихора верстахъ въ сорока. Дорога наша лежала черезъ Кубу; не доходя до города, брату моему вдругъ сдѣлалось дурно, и онъ почти не могъ далѣе идти. Мы рѣшились отдохнуть въ одномъ загородномъ саду, вошли туда, присѣли и сказали подошедшему хозяину, что мы-де пришли къ тебѣ въ гости; коли примешь, то попотчуй насъ плодами. Между тѣмъ, стало смеркаться. Хозяинъ послалъ мальчика, который и принесъ намъ плодовъ, а самъ тотчасъ удалился. Черезъ полчаса мы вдругъ были окружены народомъ; ночь была свѣтлая, и я замѣтилъ, что было человѣкъ до двадцати. Тутъ нѣкоторые подошли и стали спрашивать, какіе мы люди и зачѣмъ сюда зашли? Я сказалъ, что идемъ туда-то, что ночь насъ застигла, а братъ мой сдѣлался нездоровъ, почему и попросились у садовника переночевать. Они отвѣчали, что лезгинъ приказано брать, гдѣ попадутся, потому что они нынѣ много шалятъ, и доставлять въ городской судъ. Я отвѣчалъ, что мы не изъ тѣхъ лезгинъ, которыхъ велѣно брать, а изъ мирныхъ; но они сказали: «мы этого не знаемъ; сложите съ себя оружіе, ступайте съ нами въ городъ, тамъ и оправдаетесь». Я возражалъ, что мы никакого насилія, ни обиды не дѣлали, попросились ночевать изъ чести, а за это-де еще не за что брать и доставлять въ судъ; но, что я имъ ни говорилъ, они ничего не хотѣли слышать, а начали кричать, грозить и подступать ближе, готовясь взять

насъ силой. Тогда я толкнулъ брата, чтобы онъ всталъ, ударилъ одного человѣка въ голову стволомъ ружья— онъ упалъ, толпа съ крикомъ разступилась, и мы побѣжали изъ саду. Но братъ мой, будучи слабъ, не могъ долго бѣжать; его взяла одышка, онъ остановился и кричалъ мнѣ, чтобы я его не покидалъ. Я воротился, и толпа, погнавшаяся за нами, опять на насъ напала. Тутъ я одного поймалъ и нанесъ ему четыре раны кинжаломъ; тогда прочіе всѣ отступили и кричали мнѣ: «отпусти его, мы васъ оставимъ, мы не станемъ за вами гнаться!» Я его отпустилъ, мы пошли шагомъ; а они надумались, опять догнали насъ, и непремѣнно хотѣли меня взять. Я разсердился, сталъ обороняться не шутя и ранилъ еще двоихъ: одного изъ ружья, а другаго кинжаломъ. Тутъ только они насъ оставили совсѣмъ. И за дѣломъ гнались: чтобы дать переранить четырехъ человѣкъ!

Между тѣмъ, братъ мой сдѣлался сильно нездоровъ и едва могъ идти, даже когда я его велъ подъ руку. Подходя уже къ городскимъ воротамъ, мы опять услышали за собою толпу народа; къ счастію, по близости случился оврагъ, въ который мы успѣли во-время скрыться. Толпа прошла мимо насъ; это несли одного изъ тѣхъ, котораго я ранилъ. Изъ разговоровъ ихъ я услышалъ, что одинъ изъ этихъ людей знаетъ меня; онъ называлъ меня по имени, упрекалъ прочихъ за неосторожность ихъ; «я вамъ не совѣтовалъ связываться съ нимъ», говорилъ онъ: — «я знаю, каковъ онъ; вотъ вы и надѣлали дѣла». Отдохнувъ и заснувъ немного въ полѣ, мы опять пошли, и я на другой

день довелъ брата моего къ матери его. Когда онъ разсказалъ, что съ нами было, то она много благодарила меня, что я не покинулъ сына ея, и просила погостить, но я остался одинъ только день и воротился домой, чтобъ продолжать свое дѣло.

Спустя мѣсяца три, въ продолженіе которыхъ я съ товарищами управлялся тутъ и тамъ попрежнему, князь Асланъ-ханъ, жившій въ Кумукѣ, отъ насъ верстъ со сто, прислалъ за мною гонца, чтобы звать меня къ себѣ. Я поѣхалъ. Асланъ-ханъ тотчасъ позвалъ меня и спросилъ: «ты ли сынъ Маймада-али и внукъ Пыръ-али?» — Я отвѣчалъ: «слуга твой.» — «Я зналъ твоего дѣда, продолжалъ Асланъ-ханъ: — онъ былъ храбрый воинъ, мы съ нимъ хлѣбъ-соль важивали; а о тебѣ слышно, что ты ему не уступаешь и пугаешь много народу; такъ ли это?» Я отвѣчалъ, что дѣйствительно такъ; разсказалъ все подробно и объяснилъ причину, почему и для чего я такъ дѣйствую, то есть, что именно меня заставило сдѣлаться разбойникомъ. «Но я знаю, что все это можетъ оправдать меня передъ совѣстію моею, но не передъ начальствомъ. Я передъ вами виноватъ; есть воля ваша сдѣлать надо мною, что угодно; я готовъ положить голову на плаху.» Асланъ-ханъ отвѣчалъ: «я не за тѣмъ призвалъ тебя, чтобы казнить; я тебя звалъ въ гости къ себѣ; мнѣ хотѣлось посмотрѣть на тебя и услышать изъ твоихъ устъ подробности твоихъ дѣйствій. Ты достоинъ своего дѣда Пыръ-али; въ тебѣ есть сердце. Останься у меня и погости недѣлю».

Проживъ у Асланъ-хана недѣлю въ добромъ привѣтѣ и

чести, я пришелъ откланяться, а онъ мнѣ предложилъ остаться у него совсѣмъ; но я отвѣчалъ, что почиталъ бы за счастье сложить голову свою на службѣ Асланъ-хана, если бы меня не связывала клятва абрека, а потому я прошу отпустить меня: покуда будетъ продолжаться голодъ, я долженъ кормить бѣдный народъ. Безъ меня никто этого не сдѣлаетъ. «Прошу васъ въ несчастномъ случаѣ защитить меня; если же все благополучно кончится, то я со всѣмъ семействомъ перейду къ вамъ и буду вамъ вѣрнымъ рабомъ.»

Асланъ-ханъ одѣлъ меня въ хорошее платье, одарилъ конемъ, кольчугой, полнымъ оружіемъ и отпустилъ съ честью.

Прибывъ домой, я сталъ продолжать ремесло свое, и разныхъ случаевъ было столько, что нельзя ихъ пересчитать: но я строго наказывалъ товарищамъ и требовалъ отъ нихъ въ томъ клятву, чтобы не убивать людей, а только отбирать частицу у зажиточныхъ обывателей и богатыхъ проѣзжихъ купцовъ, для насущнаго хлѣба на себя и на нищую братію. Во дворѣ моемъ дымъ курился день и ночь, все пекли и варили, сестры мои хозяйничали и кормили до-сыта всякаго захожаго. Вокругъ Гадазихора поселились цѣлые таборы нищихъ.

Прошло съ полгода. Въ цайкѣ моей былъ одинъ купеческій сынъ изъ самой Кубы, родомъ тамошній персіянинъ. Онъ познакомилъ меня со своимъ семействомъ, и я, ввѣрившись въ него, уже нѣсколько разъ ночевалъ у него въ домѣ. Однажды онъ также звалъ меня къ себѣ въ го-

сти, по поводу праздника, и я, согласившись, взялъ още съ собою другаго, очень надежнаго товарища. На пути товарищъ этотъ говоритъ мнѣ на нашемъ лезгинскомъ языкѣ, котораго персіянинъ не понималъ:—«позволь, атаманъ, я его убью». Я изумился и сказалъ: «что ты это говоришь? или ты въ горячкѣ? чтобъ я впредь этого никогда не слышалъ; за что? мы не убиваемъ и постороннихъ людей, а станемъ рѣзать товарищей?» — «Нѣтъ, отвѣчалъ тотъ; — онъ намъ не будетъ товарищемъ, а скорѣе измѣнникомъ и предателемъ; какой товарищъ персіянинъ лезгинцу? Сердце мое никогда не обманываетъ ни себя, ни другихъ, а я сердцемъ слышу, что онъ насъ продастъ: не ѣзди съ нимъ, Асанъ!» — «Пустое, сказалъ я; — они люди добрые, я ужь нѣсколько разъ у него ночевалъ». Поѣхали дальше.

Не доѣзжая города, мы остановились въ ближайшемъ лѣску, а персіянинъ мой сказалъ: «отдохните здѣсь, а я поѣду впередъ и осмотрюсь немного и привезу закусить: вамъ, какъ лезгинцамъ, надо остерегаться». Онъ поѣхалъ, мы остались, и вдругъ, отколѣ ни возьмись ворона, стала все летать около насъ, садиться на деревья и каркать. «Видишь ли, сказалъ товарищъ: — что не къ добру мы ѣдемъ; воля твоя, а я ворочусь, да и тебѣ совѣтую сдѣлать то же». Не хотѣлось мнѣ послушаться вороны, глупой птицы, которая каркаетъ безъ толку весь день, а пуще того показалось стыдно уйти такимъ образомъ, будто я не смѣлъ покинуть своего персіянина въ глаза, а когда онъ удалился, то тайкомъ уѣхалъ. Я остался. «Какое приказаніе твое, спросилъ меня лезгинъ, сѣвъ на лошадь:— если ты не воротишься?» — «При-

казываютъ жывые люди, а не мертвые, сказалъ я:— а когда не ворочусь, то стало быть меня не будетъ въ живыхъ. А завѣтъ мой: не грабить изъ корысти, а только ради голода; не убивать людей, не обижать бѣдняковъ.»

Персіянинъ воротился, не привезъ ничего, сказавъ, что не нашелъ, а звалъ къ себѣ въ домъ, гдѣ все будетъ приготовлено. «Гдѣ же товарищъ нашъ?» — «Воротился, сказалъ я: — онъ до вечера выждетъ насъ у подгорнаго лѣсу. Я замѣтилъ, что лошадь персіянина была порядочно упарена и что онъ, стало быть, ѣздилъ куда нибудь спѣшно и гналъ, хоть къ намъ и подъѣхалъ шагомъ; одного этого было бы уже достаточно, чтобы остеречь меня и чтобы мнѣ послушаться своего лезгинца: но, видно, ужь судьба моя исполнилась и тянула меня въ бѣду. Мнѣ показалось такъ стыдно не повѣрить испытанному товарищу, хоть и персіянину, что я сѣлъ на лошадь и поѣхалъ съ нимъ.

Мы прибыли къ нему въ домъ къ ночи; меня приняли ласково, угостили, а потомъ я попросилъ своего хозяина сходить за однимъ знакомымъ моимъ, чтобы съ нимъ увидаться. Онъ ушелъ и долго пропадалъ; было поздно, мнѣ подали подушку, и я прилегъ, а братъ хозяйскій сѣлъ возлѣ меня и разговаривалъ. Наконецъ, приходитъ и самъ онъ и говоритъ, что долго искалъ того человѣка, насилу нашелъ, и онъ скоро будетъ; потомъ, подошедши ко мнѣ, спросилъ у своихъ какую-то вещь и нагнулся черезъ меня; какъ будто искалъ ее, въ ту же минуту братъ его схватилъ меня за руки, а онъ упалъ ко мнѣ на грудь, оба они закричали громко, дверь отворилась, и вошелъ офицеръ съ

командой. Меня схватили столько человѣкъ, сколькимъ можно къ одному человѣку приступиться, обезоружили, связали и вывели на дворъ. Тутъ я увидѣлъ, что весь домъ окруженъ солдатами и казаками. Заковавъ меня, отвели подъ стражу.

На другой день привели меня къ начальнику. «Ну, храбрый рыцарь, сказалъ онъ:— попался! Довольно тебя искали! Жалобъ на тебя также довольно; а что ты самъ скажешь, много ли ты душъ погубилъ?»—«Ни одной, отвѣчалъ я;— но все-таки виноватъ, какъ разбойникъ и грабитель. Я свое дѣло кончилъ; судьба моя свершилась; дѣлайте вы свое, я роптать не стану.»—«Ты отвѣчаешь бойко, сказалъ онъ:— не думаешь ли еще, что можешь быть прощенъ?»—«Нѣтъ, не думаю, отвѣчалъ я: — вы славитесь какъ начальникъ справедливый; а какой же справедливый начальникъ можетъ простить разбойника? Меня слѣдуетъ казнить.»

Меня посадили въ арестантскую. Заключенные разговаривали между собою, и вѣря, и не вѣря, что это былъ я. Одинъ, лежавшій на нарахъ, съ завязанною головой, всталъ, подошелъ, узналъ меня и бросился мнѣ въ ноги. Онъ былъ изъ моей шайки, раненъ на грабежѣ и съ отрубленнымъ ухомъ попался въ плѣнъ. Они разсказали мнѣ, что прошла молва, будто я намѣревался ворваться въ Кубу и освободить всѣхъ арестантовъ — чего у меня никогда и въ помыслѣ не бывало — и по этому поводу стали искать и ловить меня еще настоятельнѣе прежняго. Оказалось, что персіянинъ мой самъ разгласилъ слухъ этотъ, чтобы придать измѣнническому дѣлу своему болѣе важности и цѣны.

На другой день повели меня къ коменданту, который тотчасъ узналъ меня, судивъ нѣсколько лѣтъ тому, какъ я уже сказывалъ, за раненыхъ мною двухъ братьевъ. Онъ сожалѣлъ обо мнѣ, что я вдался въ такое дѣло, и сказалъ: «молодъ ты еще, а проказилъ много». На допросахъ я показывалъ все, что зналъ и помнилъ, по всей справедливости; когда меня проводили по улицамъ, то стало собираться много народу и иные называли меня благодѣтелемъ и кормильцемъ, поэтому стали меня возить, приказывая скорѣе ѣхать.

Недѣль черезъ шесть Асланъ-ханъ узналъ о моей участи и прислалъ сына своего съ письмомъ, чтобы за меня просить. Побывавъ у коменданта, онъ пришелъ и ко мнѣ, въ арестантскую, и уговаривалъ меня, чтобъ я не горевалъ, обнадеживая ходатайствомъ отца своего. Но я ему сказалъ, поблагодаривъ почти со слезами, что напрасно онъ безпокоится, а пути въ этомъ не бывать. Я столько знаю порядокъ, и дѣла, и людей, что никакого помилованія ожидать не могу. Я абрекъ, это извѣстно всякому; какое жь бы это было начальство, если бы оно абрековъ отпускало? Этого не можетъ быть. Судьба моя совершилась; вотъ все.

Проживъ двѣ недѣли, навѣдывая меня часто и одаривъ меня деньгами, сынъ Асланъ-хана принужденъ былъ подняться опять съ ближними и нукерами своими, которыхъ было человѣкъ до двухъ сотъ, и возвратиться къ отцу съ рѣшительнымъ отказомъ коменданта, который сказалъ, что онъ во мнѣ не властенъ, а судить будетъ законъ.

Черезъ нѣсколько времени навѣстили меня два купца,

принесли гостинца и спросили, узналъ ли я ихъ? — «Нѣтъ, не узналъ», сказалъ я.—«Всмотрись хорошенько, мы носимъ еще знаки отъ твоей руки, продолжали они, разсказавъ, что были въ числѣ раненыхъ тотъ вечеръ, когда меня съ больнымъ братомъ хотѣли захватить въ саду. Они также разсказали мнѣ, что никто не умеръ отъ ранъ, а всѣ давно выздоровѣли.—«Простите меня, сказалъ я:—теперь я буду отвѣчать за все.»—«Нѣтъ, мы сами виноваты, сказали они:—одинъ человѣкъ узналъ тебя и уговорилъ насъ всѣхъ, чтобъ поймать тебя и отличиться передъ начальствомъ, потому что за тебя была обѣщана награда. Мы были у допроса, но на тебя не показали, потому что ты дѣлалъ болѣе добра, чѣмъ зла, а это можно сказать не о всѣхъ людяхъ, хотя они и не разбойники». «Спасибо на добромъ словѣ, сказалъ я:— но мнѣ теперь все равно; я не думаю о томъ, чтобы оправдываться, и самъ первый на себя докащикъ.

Два года сидѣлъ я въ кандалахъ, покуда длилось разбирательство, хотя я ни въ чемъ не отпирался: иногда позволяли кой-кому навѣщать меня, и у меня бывали дяди мои, Улъ-ага и Асанъ, да навѣстила еще разъ добрая душа — и Богъ вѣсть какъ она прошла ко мнѣ и одна меня доспросилась. Меня однажды вечеромъ вызвали изъ арестантской, сказавъ, что пришла сестра; я этому очень удивился, не полагая, чтобы сестру мою такъ отпустили одну, и чтобы она, какъ молодая дѣвушка, могла отыскивать меня по острогамъ. Выхожу — и вижу въ углу сѣней женщину, закрывшую лицо свое до половины платкомъ; съ перваго

взгляда узналъ я Гюзель. — «Зачѣмъ ты пришла, — сказалъ я: — тревожить и себя, и меня, и подвергать сверхъ того, безъ пользы, жизнь свою опасности? Если мужъ твой узнаетъ объ этомъ, то, вѣроятно, убьетъ тебя.» Мы говорили по-лезгински и насъ никто не понималъ. — «Все равно, — сказала она: — судьба твоя свершилась, — свершись и моя; я хотѣла видѣть тебя еще разъ. Скажи мнѣ, ты пропалъ?» — «Пропалъ,— отвѣчалъ я: — считай, что меня нѣтъ на свѣтѣ.» — «Прощай же, и Богъ съ тобой, — сказала она: — буду думать, что видѣла мертваго; но и къ мертвому ходятъ прощаться.»

Наконецъ, мы слышимъ съ вечера, что троимъ изъ насъ вышло рѣшенье, но неизвѣстно кому. По утру вызвали меня, повели на площадь, гдѣ было выстроено войско, прочитали приговоръ и прогнали черезъ 500 человѣкъ. Вскорѣ опять навѣстилъ меня дядя, я просилъ его привести ко мнѣ, какъ можно скорѣе, брата и обѣихъ сестеръ, чтобъ съ ними проститься; но на другой же день рано утромъ подъѣхала къ острогу повозка, вышелъ офицеръ, потребовалъ меня и объявилъ мнѣ рѣшеніе отправляться въ Финляндію, въ тамошніе полки на службу. Онъ далъ мнѣ отъ себя денегъ на дорогу, обнадеживалъ чѣмъ могъ и спрашивалъ, нѣтъ ли у меня здѣсь какихъ-нибудь нужныхъ порученій. Я заплакалъ, благодарилъ его и почти безъ памяти сѣлъ въ повозку; особенно больно мнѣ было, что, не видавшись два года съ сестрами и братомъ, для которыхъ я сдѣлался разбойникомъ, уѣзжаю навсегда и не могу съ ними проститься. Конвойные казаки сказали: «пошелъ!»

и повозка покатилась. Долго я лежалъ ничкомъ и не хотѣлъ даже взглянуть по сторонамъ.

Въ Шемахѣ на нѣсколько дней остановились, перековали кандалы мои и погнали съ другими арестантами пѣши. На первой верстѣ я растеръ ноги въ кровь, однако жь дошелъ до ночлега, перемогая боль. По утру не могъ я двинуть и переставить ногъ; но какъ велѣли идти, то я опять подумалъ, что мнѣ жалѣть себя нечего, и пошелъ. Товарищамъ страшно было на меня смотрѣть, и я ихъ задерживалъ; они стали проситься идти впередъ, а я, противъ воли своей и сколько ни силился, отставалъ. При проходѣ черезъ деревню намъ попалась навстрѣчу старуха; взглянувъ на мои ноги, она вскричала: «Боже мой! неужели и моего сына вели такъ!» и сама упала къ моимъ ногамъ; тогда мнѣ стало жаль ее, болѣе чѣмъ себя.... Поздно дотащился я до привала, гдѣ прочіе давно ужь расположились, поѣли и отдохнули; меня спросили: «ну, какъ ты дошелъ?» — Вы видѣли сами, — сказалъ я: — и конвойный мой видѣлъ. — «Не зналъ я прежде, — сказалъ тотъ же: — что ты лезгинъ Асанъ, и что бралъ дань съ купцовъ и жидовъ; что же ты не обложилъ данью шемахинцевъ, какъ проходилъ городъ?» — Я сказалъ: «если бы ты у меня спросилъ объ этомъ тогда, когда я бралъ дань, то я бы тебѣ отвѣчалъ на это». Между тѣмъ пришла къ намъ та же старуха съ племянникомъ, принесла намъ ужинать, сѣла и начала плакать по сынѣ. — «Не плачь, старуха, — сказалъ я: — у Бога много людей.» — «У Бога много, — сказала она: — да у меня былъ одинъ»; и спрашивала, отчего нѣтъ для насъ подводъ?

И пошла къ начальнику и стала просить, чтобъ позволилъ ей дать для насъ пару воловъ, до слѣдующаго селенія; онъ же сказалъ: «если таково усердіе твое, то, пожалуй, дай». Такимъ образомъ, мы отправились на волахъ, а на дорогу она напекла намъ и наварила много. Далѣе самъ начальникъ сталъ требовать подводу для слабыхъ. На пятый день прибыли мы въ Нуху; тутъ я уже былъ въ такомъ положеніи, что не могъ слѣдовать дальше. Меня расковали, оставили на недѣлю, а тамъ везли въ однихъ только ручныхъ кандалахъ до Тифлиса.

Въ Тифлисѣ я принялъ присягу на службу; меня обмундировали, и сталъ я русскій солдатъ, но все еще былъ подъ карауломъ. Вскорѣ насъ отправили; дорогою товарищи уговаривались было бѣжать, но я ихъ отговорилъ, сказавъ, что вы только сами себя погубите, а уйти не уйдете; пойдемъ впередъ, посмотримъ, что тамъ будетъ, можетъ быть, и хорошо. Такимъ образомъ шли мы на многіе города и наконецъ черезъ Петербургъ до Выборга, и были въ дорогѣ всего отъ Кубы десять мѣсяцевъ.

Въ Выборгѣ опредѣлили меня въ батальонъ и держали уже не какъ арестанта, а какъ рекрута. Командиръ осмотрѣлъ меня, поговорилъ со мною и приказалъ отправить въ роту и дать хорошаго дядьку; «онъ будетъ хорошій солдатъ», сказалъ онъ, ударивъ меня по плечу. Это было 8 сентября, день ротнаго праздника, и я, по приказанію адъютанта, поздравилъ фельдфебеля. Онъ принялъ меня хорошо, приставилъ ко мнѣ добраго и старательнаго стараго солдата; всѣ товарищи меня вскорѣ полюбили и не

могли наслушаться моихъ разсказовъ; капитанъ былъ мною доволенъ, и я также долженъ былъ его полюбить, потому что онъ былъ къ намъ правдивъ и заботливъ. А кому какая до того нужда, коли я скажу, что скучалъ до смерти? Я родился и выросъ въ горахъ, вольнѣе козы дикой... но я хотѣлъ служить честно и вѣрно, потому что первая моя судьба свершилась и ея не воротишь, а теперь началась другая...

Черезъ полгода намъ сказанъ былъ походъ подъ Кимзоль. Дядька спросилъ меня: «есть ли у тебя деньги на дорогу?» — «Нѣтъ,— отвѣчалъ я: — ни копѣйки.» — «Ну, хоть бы занялъ у кого, послѣ выработаешь, отдашь»,— сказалъ онъ. Я попросилъ у одного товарища, у котораго, какъ я зналъ, были деньги; онъ отвѣчалъ: — «хорошо, Асанъ, я тебѣ дамъ деньжонокъ, только ты меня слушайся и дѣлай, что я велю: гдѣ увидишь хорошіе сапоги у чухонъ, либо рубаху, или что другое, бери и неси ко мнѣ; солдатъ — багоръ, что зацѣпилъ, то и потащилъ.» Я сказалъ: «научилъ бы ты меня добру, такъ я бы и даромъ послушался, а этой науки мнѣ и за деньги не надо.» — «Какъ,— сказалъ онъ: — да вѣдь ты же, говорятъ, грабилъ дома и на разбой ходилъ?» — «Коли объ этомъ толковать,— сказалъ я: — такъ мы, братъ, съ тобой и вѣкъ не столкуемся. Господь съ тобой.»

На другой день мы отправились въ походъ. Мнѣ стало повеселѣй; устали не слышалъ я никакой, а только словно становилось мнѣ вольнѣй и легче. Я забавлялъ товарищей своими пѣснями и пляской; они смѣялись, и я смѣялся, а

сердце у меня плакало... чего не припоминалъ я за этими пѣснями!

Пришли мы на первый привалъ, ружья въ козлы, и легли отдыхать. Когда все вокругъ меня стихло, то меня прошибла слеза... между тѣмъ, слышу, что не вдалекѣ одинъ офицеръ говоритъ капитану: «Ну молодецъ нашъ черкесъ; вѣдь всѣ пятнадцать верстъ пропѣлъ да проплясалъ!» — «А гдѣ онъ? пошлите его сюда,— сказалъ капитанъ.— Есть ли у тебя деньжонки?» — спросилъ онъ.— «Нѣтъ ни копѣйки». Онъ далъ мнѣ пять рублей, сказавъ: «Поди, выпей рюмочку». Я отвѣчалъ, что отроду вина не пилъ. «Ну, такъ купи себѣ чего-нибудь поѣсть»,— сказалъ онъ. Тутъ онъ замѣтилъ, что у меня сапоги тѣсноваты, и велѣлъ мнѣ ранецъ положить на повозку.

Товарищи, узнавъ объ этомъ, стали говорить: «А что, Асанъ, тебя надо поздравить, пойдемъ да поднеси по маненькой». Я отвѣчалъ, что «товарищамъ никогда и ни въ чемъ не отказывалъ; пойдемъ.» Я поднесъ имъ и дядькѣ; тутъ входитъ капральный; они стали говорить: «Ну, для капральнаго надо полуштофъ.» — «Нѣтъ, братцы,— отвѣчалъ я: — этому не бывать; по одной выпили и довольно, одну поднесу и капральному, а деньги понадобятся впередъ.» Капральный сказалъ, что это правда, и велѣлъ мнѣ деньги беречь.

Вскорѣ мы дошли, и насъ разставили по квартирамъ; тутъ намъ было хорошо, и можно было работать, кто хотѣлъ, на себя. Переходя съ мѣста на мѣсто, пробыли мы тутъ всего два года; я обжился, свыкся съ товарищами, а начальники меня любили. Наконецъ, мы опять воротились въ Выборгъ.

Въ 1840 году пріѣхалъ туда гвардейскій офицеръ, для выбора людей въ гвардію. Проходя по фронту, онъ выдвинулъ и меня впередъ, но батальонный командиръ сказалъ ему что-то по-французски, и тотъ осадилъ меня опять назадъ, въ строй. Со мной стоялъ одинъ разжалованный въ солдаты; онъ перевелъ мнѣ послѣ слова нашего маіора, что-де «этотъ сданъ въ солдаты съ Кавказа, изъ горцевъ за большое преступленіе и безъ выслуги». Услышавъ это, я вдался въ такую тоску, что у меня отпала охота къ службѣ и ко всему на свѣтѣ. Я положилъ бѣжать.

Это было въ іюнѣ. На другой день я вышелъ часу въ девятомъ утра, оглянулся и подумалъ: бывало не разбиралъ я ни дней, ни часовъ, а смѣло шелъ куда хотѣлъ... разыгралась во мнѣ былая кровь; взявъ ломоть хлѣба, сколько можно было спрятать подъ шинель, да сапожный ножъ, и пустился въ путь.

Двое сутокъ шелъ я глухими мѣстами и больше ночью, хлѣба у меня не стало; на третьи сутки въ ночи вышелъ на деревню. Увидавъ въ полѣ лошадь, я ее поймалъ, привелъ въ деревню, нашелъ на одномъ дворѣ рогожу, перекинулъ ее черезъ лошадь, сѣлъ и поѣхалъ охлябь. Подъѣзжаю къ рѣчкѣ, на которой былъ мостъ, и вижу, что тутъ стоятъ казаки. Подумавъ, я рѣшился проскакать очертя голову, надѣясь прорваться; но на мосту встрѣтили меня двое пѣшихъ казаковъ, я назадъ — и тамъ двое; лошадь испугалась, кинулась въ сторону, споткнулась и упала, а я съ нея черезъ голову. Казаки бросились на меня, но я успѣлъ выхватить ножъ, закричалъ на нихъ, вырвался и

пустился бѣжать. Они за мной; въ деревнѣ услышали крикъ, а какъ это было на зарѣ, то и мужики также за мной погнались. Я кинулся стороной въ болото, перебѣжалъ его легко, а они вязли; за болотомъ побѣжалъ я по тропинкѣ и, наткнувшись на мостокъ, спрятался подъ него въ траву. Въ это время поднялась сильная буря съ дождемъ и загладила слѣдъ мой по травѣ, отъ росы; поэтому они, походивъ долго въ окружности и возвращаясь нѣсколько разъ опять къ мосту, не нашли, однако жъ, меня, потеряли слѣдъ и ушли.

Пролежавъ на одномъ мѣстѣ съ самаго разсвѣта часу до пятаго вечера, между тѣмъ какъ дождь все шелъ, я рѣшился идти дальше, потому что голодъ меня выживалъ, — какъ-то не лежалось. Придя къ озеру, изъ котораго вытекала рѣчка, я раздѣлся и переплылъ ее, выжалъ платье свое, но, пройдя нѣсколько далѣе, очень отощалъ; я отошелъ въ лѣсъ, наѣлся ягодъ и тутъ же переночевалъ. На слѣдующую ночь я пришелъ въ русскую деревню: но я такъ ослабѣлъ, что отдыхалъ на каждой верстѣ и то на силу дотащился. Вошедши въ одинъ изъ дворовъ, увидалъ я три коровы; выбравъ дойную, я погладилъ ее, поласкалъ и принялся сосать молоко. Это меня очень освѣжило, и я пошелъ дальше. Наконецъ, на пятый день пришелъ я въ одну изъ тѣхъ чухонскихъ деревень, гдѣ мы квартировали; здѣсь я зналъ одну добрую старушку, и хотя было около полуночи, но я пошелъ прямо къ ней и вошелъ въ избу. Сынъ ея меня окликнулъ; я назвался по имени; онъ удивился, сказавъ: «Какъ такъ? вѣдь вы въ Выборгѣ?» — «Мы опять при-

люди къ вамъ на квартиры. Онъ разбудилъ мать, которая зажгла огня и стала меня разпрашивать. — «Матушка,— сказалъ я: — все разскажу, что хочешь, и тебя стану слушать, только ради Бога сперва накорми.» Она принесла хлѣба, молока и масла; я кинулся съ жадностію, откусилъ кусокъ, а ѣсть не могу. «Что это,—спросила она: — что же ты не ѣшь?» — «Вамъ это въ новинку,— отвѣчалъ я: — а мнѣ оно съ молодыхъ лѣтъ знакомо. Я пятый день не ѣлъ; помираю съ голоду.» Она заплакала, принесла сливокъ, велѣла мнѣ вышить, а сама, всплескивая руками, приговаривала: «Геръ-Езусъ, что ты сдѣлалъ, тебѣ будетъ худо!» — «Худаго я много видѣлъ, матушка, — отвѣчалъ я: — такъ ужь обтерпѣлся. Видно, такая моя судьба.»

Отдохнувъ немного, поѣвши и оправившись, я опять пустился въ дорогу; старушка дала мнѣ на дорогу хлѣба, масла, трутъ, кремень и огниво. Что дальше, то мнѣ опаснѣе было продолжать путь въ солдатской одеждѣ, и я сталъ думать о томъ, какъ бы ее сбыть. Только-что я подумалъ объ этомъ, среди бѣлаго дня, какъ идетъ на встрѣчу мнѣ чухонецъ, въ бѣломъ балахонѣ своемъ, и, не дойдя до меня, остановившись кричитъ: «Куда идешь? Здѣсь солдатъ нѣтъ!» Я подошелъ поближе и, увѣряя его, что тутъ должны стоять солдаты, вдругъ выхватилъ ножъ свой, поймалъ мужика за воротникъ и потащилъ съ дороги въ лѣсъ. Чухонецъ сильно перепугался и приговаривалъ все одно: «Помилуй, пусти»; я велѣлъ ему тотчасъ раздѣться и разуться, самъ сдѣлалъ то же и, заставивъ его надѣть на себя всю солдатскую одежду, отпустилъ, сказавъ: «Ступай, братъ,

на мое мѣсто». Отошедши еще дальше въ лѣсъ, я наточилъ ножъ свой о камень и сбрилъ усы и бакенбарды: такъ я и сдѣлался чухной.

Не смѣя выйти по близости на дорогу, потому что новый солдатъ мой, вѣроятно, надѣлалъ тревоги, я пошелъ опять вперевалъ, раздумывая про себя, какъ-то онъ, сердечный, удивитъ всю деревню свою, выйдя изъ нея утромъ мужикомъ, а воротившись къ обѣду въ солдатской шинели, брюкахъ, сапогахъ и фуражкѣ. Между тѣмъ, я на третій день вышелъ опять на деревню, проплутавъ самыми глухими мѣстами. Я сталъ осторожно обходить ее и натѣнулся на троихъ ребятъ, которые пасли овецъ; я было сталъ спрашивать ихъ, гдѣ дорога въ Петербургъ, но они не знали ни слова по-русски, и я пошелъ дальше. Увидавъ въ сторонѣ большое строеніе, я рѣшился, на счастье, идти прямо туда, но встрѣтилъ двухъ бабъ, которыя сказали мнѣ, что это стекляный заводъ, указали какъ выйти на петербургскую дорогу и сказали: «Иди, коли хочешь, съ нами; мы идемъ туда же». Я пошелъ съ ними, но сталъ немного опасаться, потому что онѣ повели меня опять назадъ, въ деревню. Поглядѣвъ на меня и поговоривъ между собой по-своему, онѣ спросили меня: «Какъ же такъ, одѣтъ по-чухонски, а говоришь по-русски?» Я сказалъ, что жилъ тутъ въ работникахъ, но по-чухонски еще не выучился. Онѣ заговорили между собой такъ, что мнѣ показалось подозрительно; я остановился, будто за чѣмъ нибудь, а онѣ, отошедши немного, стали меня дожидаться. Тогда я отошелъ въ лѣсъ и тамъ пустился бѣгомъ въ сторону — и

наткнулся прямо на кружокъ мужиковъ и бабъ, которые обѣдали. Я остановился, они стали меня подзывать, но я пошелъ въ сторону, а отойдя довольно далеко, присѣлъ, досталъ остатки харчей своихъ и приняся ѣсть. Вдругъ стоитъ передо мной чухонецъ высокаго росту и спрашиваетъ по-русски: какой я человѣкъ и что тутъ дѣлаю? Я сказалъ, что работникъ русскій, иду домой; но онъ, принадлежа, вѣроятно, къ числу видѣвшихъ меня прежде и догадываясь, что я долженъ быть бѣглый; велѣлъ мнѣ тотчасъ идти за нимъ, а если не пойду, то свяжетъ. — «Нѣтъ, подумалъ я: — ты братъ не поймавши щиплешь», самъ выхватилъ ножъ и бросился на него; онъ отшатнулся, а я побѣжалъ въ сторону. Пробѣжавъ немного, я вышелъ на дорогу и тутъ увидалъ, что меня окружили: одинъ мужикъ скачетъ прямо на меня верхомъ, а спереди также собрался народъ. Я остановился: наскакавъ на меня, онъ хотѣлъ меня смять лошадью; но я увернулся, схвативъ лошадь за поводъ, и нанесъ мужику рану ножомъ въ ляшку; онъ закричалъ, свалился, а я вскочилъ на лошадь и поскакалъ назадъ въ деревню, куда было прежде вели меня бабы. Проскакавъ деревню, я покинулъ лошадь, а самъ бросился опять въ лѣсъ. Опознавшись тутъ, я пошелъ прямымъ путемъ, какъ слѣдовало, вышелъ на дорогу и ночью пришелъ въ Дранишники, что за третьимъ Парголовымъ.

Тутъ я вошелъ потихоньку въ избу, гдѣ всѣ спали, и въ томъ числѣ трое солдатъ. Я нашелъ хлѣбъ, отрѣзалъ себѣ ломоть, вышелъ опять на дворъ и увидалъ каморку, гдѣ ключъ торчалъ въ замкѣ. Вошедши въ каморку, на-

шелъ я тамъ ларчикъ, въ которомъ былъ чай и сахаръ и 30 коп. сер. Деньги и сахаръ я взялъ, выпилъ двѣ кринки молока и взялъ еще съ собой корзинку съ полсотнею яицъ. Отошедши въ лѣсъ и отдохнувъ тамъ, пришелъ я до свѣту въ третье Парголово, гдѣ мнѣ попадается навстрѣчу слѣпой нищій, котораго вела дѣвочка. Я подалъ ему гривну, изъ взятыхъ въ Дранишникахъ, а онъ, кланяясь и благодаря меня, назвалъ *служивымъ*. Я испугался и побѣжалъ отъ него прочь, не понимая, какъ слѣпецъ могъ знать, кто я? Стало быть, зрячій и подавно меня узнаетъ? на меня напалъ такой страхъ, что я не смѣлъ взглянуть ни на одного встрѣчнаго человѣка.

Наконецъ, дохожу я до Литовскихъ казармъ; не зная, куда мнѣ дѣваться и куда идти, сталъ я бродить по улицамъ и попалъ на Петербургскую сторону; а между тѣмъ, корзина съ яйцами все со мною и одѣтъ я чухонцемъ. Какой-то господинъ спросилъ меня: «Продаешь, что-ли?» — «Продаю». Онъ позвалъ меня въ домъ. Тамъ мы сторговались, но онъ, глядя на меня, спросилъ: — «А для чего ты, пришедши въ домъ къ барину, не снимаешь шляпы?» Опасаясь, чтобъ меня не признали по стриженымъ волосамъ, я не смѣлъ снять шляпы и сказалъ, подѣлываясь, какъ умѣлъ, подъ говоръ чухонца, что у насъ такой манеръ. Расплатившись, онъ меня отпустилъ, приказавъ носить къ нему яйца, масла, сливокъ и цыплятъ, что я и обѣщалъ.

Вышедши на улицу, я увидѣлъ мужика, стоящаго за чаномъ или кадкой и приглашающаго народъ на кислые щи. Мнѣ давно хотѣлось поѣсть горячаго, и я подошелъ, спро-

сить на пятакъ щей, но онъ сказалъ: «На пятакъ продажи нѣтъ, а есть на двѣнадцать». Я отдалъ ему деньги, а онъ подалъ мнѣ бутылку и стаканъ, тогда какъ я готовился на чашку и ложку. Нечего дѣлать; я не подалъ виду, выпилъ квасъ и пошелъ. Иду, самъ не зная куда, а спрашивать никого не смѣю, да и самъ не знаю, о чемъ бы спросить. Знакомаго нѣтъ, гдѣ укрыться — не знаю. Иду я и попалъ въ крѣпость, прошелъ ее и вышелъ на Царицынъ лугъ, а оттуда на Сѣнную. Увидѣвъ двухъ татаръ, я рѣшился подойти къ нимъ и спросить по-татарски: «Нѣтъ-ли здѣсь купцовъ изъ Грузіи или изъ Туречины?» Назвавъ мнѣ одного извѣстнаго здѣсь куща, спросили они, изъ какихъ я? — Мусульманинъ, отвѣчалъ я. — «Почему же ты такъ одѣтъ?» — Я посмотрѣлъ на нихъ и спросилъ: «А добрые ли вы люди?» и когда они меня въ этомъ завѣрили, то я имъ сказалъ въ двухъ словахъ все. Они объяснили мнѣ, гдѣ живетъ купецъ этотъ, но я, отправившись туда, забылъ въ чьемъ домѣ и поэтому стоялъ долго на одномъ мѣстѣ, не зная какъ и кого спросить. Подходитъ ко мнѣ персіянинъ и говоритъ: «Ты спрашиваешь такого-то?» — Я. — «Пойдемъ». Мы пошли и застали его на полуденной молитвѣ. Окончивъ ее, онъ позвалъ меня и спросилъ: что тебѣ надо? Я упалъ ему въ ноги и сказалъ: «Ради Бога и молитвы Корана, которую ты сейчасъ читалъ, защити меня и не дай погибнуть. Мы одновѣрцы: пожалѣй обо мнѣ и помоги». Я разсказалъ ему все и просилъ найти средство доставить меня въ Грузію или въ Турцію. Онъ, подумавъ, отвѣчалъ: «Себя я погубить погублю, а тебѣ не пособлю.

Средствъ такихъ у меня нѣтъ. Я дамъ тебѣ мальчика, онъ отведетъ тебя къ такому-то; здѣсь есть на службѣ твои земляки, посовѣтуйся съ ними, что они скажутъ».

И этотъ человѣкъ, къ которому меня привели, выслушалъ меня, покачалъ головой, далъ полтинникъ, и послалъ съ тѣмъ же мальчикомъ къ землякамъ моимъ. Придя на мѣсто, я мальчика отпустилъ, вошелъ въ комнату и увидѣлъ предъ собою четырехъ лезгинъ; одинъ изъ нихъ, человѣкъ пожилой, игралъ на нашей балалайкѣ. Они посмотрѣли на меня и спросили: что надо? Я отвѣчалъ, что пришелъ наниматься въ работники, слышавъ, что имъ нуженъ человѣкъ. Они улыбнулись и заговорили между собою полезгински: сердце у меня обрадовалось. «Дадимъ ему два цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, сказалъ одинъ изъ нихъ: коли пойдетъ, такъ пусть живетъ. А что ты возьмешь?» — Что другимъ платите, то и мнѣ; а узнаете меня, такъ, можетъ быть, дадите и больше. Между тѣмъ я все смотрѣлъ на того, который игралъ: давно я этого не слышалъ, и сердцу моему хотѣлось плакать. «Что ты смотришь? спросили они: — хорошо онъ играетъ?» — Хорошо, сказалъ я: — никогда не видалъ я такой балалайки; позвольте мнѣ спѣть на этотъ голосъ пѣсню. Они сказали между собой: «Вотъ чудакъ пришелъ, видно, онъ шутникъ и проказникъ; посмотримъ что будетъ, пусть поетъ»; а мнѣ сказали по-русски: спой. Я положилъ шляпу свою на полъ, присѣлъ по-нашему на корточки, запѣлъ имъ пѣсню, очень извѣстную у насъ, объ одномъ ханскомъ сынѣ, который стран-

ствовалъ на чужбинѣ и много перенесъ горя. Тотъ пересталъ играть и, опустивъ руки, уставилъ на меня глаза, а прочіе встали со своихъ мѣстъ, подошли и смотрятъ на меня въ недоумѣніи.

Когда я кончилъ, то старшій изъ нихъ, положивъ мнѣ руку на плечо и глядя мнѣ прямо въ глаза, сказалъ: «братъ мой, кто ты и какъ ты сюда зашелъ? Мы четыре года здѣсь, а такого человѣка не видали»... Я отвѣчалъ: говорите со мною по-русски, я только пѣсни умѣю пѣть полезгински. Они же отвѣчали: «не шути такъ; глядя на тебя и на все странное, что теперь содѣялось, намъ не до шутокъ; братъ нашъ, говори, кто ты и какая судьба тебя перерядила и привела въ этомъ видѣ къ намъ?» Я спросилъ: «слыхали-ль вы въ Кубѣ про Джигита-Асана?» — «Какъ не знать его, отвѣчали они: — онъ при насъ еще былъ пойманъ и сосланъ оттуда въ Сибирь».— «Такъ онъ-то самый и стоитъ передъ вами». Затѣмъ я разсказалъ имъ все.

Подумавъ и крѣпко пожалѣвъ обо мнѣ, они сказали: «Напрасно ты, другъ и братъ нашъ, къ намъ пришелъ; отъ насъ тебѣ помощи не можетъ быть никакой; мы здѣсь не въ такомъ мѣстѣ и не въ томъ положеніи; да мы же и приняли присягу служить вѣрою и правдою». Старшій изъ нихъ къ этому прибавилъ: «Другъ и братъ мой, зачѣмъ ты сюда пришелъ? Теперь ты погибъ вторично; я не могу даже тебя отпустить; я долженъ представить тебя начальству». Прочіе стали просить его за меня, хотя и сами были въ большомъ страхѣ и не знали, что начать; онъ же

сказалъ имъ: не могу, ударилъ себя кулакомъ въ грудь, отошелъ къ окну и отвернулся. Одинъ изъ молодыхъ махнулъ мнѣ рукой, и я поспѣшно вышелъ.

Между тѣмъ, вѣроятно, не однимъ имъ сдѣлалось обо мнѣ извѣстно: когда я проходилъ по двору, то черкесы собрались у оконъ, и одинъ изъ нихъ со мною заговорилъ; вслѣдъ затѣмъ вышелъ трубачъ и велѣлъ мнѣ воротиться. Меня встрѣтилъ офицеръ и сталъ спрашивать; я сказалъ, что я бѣдный человѣкъ, пріѣхалъ сюда изъ Грузіи съ однимъ купцомъ и живу у него въ работникахъ. «Неправда, сказалъ онъ: — ты Асанъ-Джигитъ, тебя знаетъ вся Куба». Народъ собрался около насъ, и онъ велѣлъ взять меня подъ караулъ.

Тутъ прибѣжали ко мнѣ нѣсколько человѣкъ изъ служивыхъ персіянъ и стали меня разспрашивать, а я молчалъ. «Что жь ты, другъ любезный, не отвѣчаешь, говорили они: мы пришли жалѣя тебя и хотѣли тебѣ сдѣлать добро». Я отвѣчалъ: «Нѣтъ, видно, мнѣ здѣсь добра не видать; когда ужь земляки мои не могли меня спасти, то ваши братья, продавшіе меня и тамъ, здѣсь не выкупятъ».

Тутъ пришелъ офицеръ съ бумагою и чернилицей и сталъ говорить ласково: «Скажи, любезный другъ, куда былъ сосланъ и какъ сюда попалъ? говори правду и судьбы своей никогда не бойся; мы станемъ за тебя просить начальство». Я молчалъ; онъ настаивалъ; наконецъ я сказалъ: Судьбы своей я не боюсь, хотя въ третій разъ погибаю отъ своихъ братій; но хвастуновъ я не люблю: твоя просьба у начальства грома не будетъ стоить. Отойди отъ меня

прочь, тебѣ я отвѣта не дамъ, а ведите меня куда слѣдуетъ, тамъ пусть спрашиваютъ». Затѣмъ я выхватилъ ножъ изъ-за голенища, ударилъ имъ изо всей силы о нары, сломалъ его и бросилъ, чтобъ не было грѣха.

Пришли двое земляковъ и принесли обѣдъ и водку. Я сказалъ, что водки не пью, но отъ хлѣба-соли не отказываюсь. Я взялъ кусокъ въ ротъ, но слезы полились, и я не могъ ѣсть. Сжалившись надо мною, они было одумались, закричавъ: «Пропадать, такъ пропадать вмѣстѣ; изрубимъ тѣхъ, которые его выдали; кому и какъ мы дома на глаза покажемся!..»

Къ счастію, скоро пріѣхалъ начальникъ ихъ, взялъ меня къ себѣ и разговаривалъ со мною за полночь. Я самъ понялъ, что тутъ дѣлать было нечего; человѣкъ не булавка, его такъ не схоронишь... Онъ отправилъ меня на съѣзжую, и я показалъ себя изъ числа плѣнныхъ лезгинъ, взятыхъ при нападеніи на Кизляръ, — сказалъ, что бѣжалъ съ дороги, неизвѣстно откуда, потому что я тогда не зналъ по-русски и не зналъ названія русскихъ городовъ; я также не могъ знать ни имени конвойныхъ офицеровъ, ни направленія и назначенія партіи нашей; словомъ, я бѣжалъ неизвѣстно откуда, неизвѣстно куда и неизвѣстно гдѣ шатался.

Въ полиціи сидѣлъ я три мѣсяца, и со мною случился арестантъ, человѣкъ смирный, пожилой и набожный. Мы подружились; онъ сталъ учить меня русской грамотѣ и разсказывалъ, какъ христіанская вѣра пріятна Богу. Тутъ родилась у меня первая мысль о томъ, чтобы креститься,

и я подумалъ, если бы Господь освободилъ меня отъ этой напасти, то я бы остался навсегда въ Россіи; нищенство и вѣчная рѣзня въ горахъ нашихъ мнѣ теперь были противны; я сталъ понимать, что человѣкъ не долженъ жить, какъ живетъ звѣрь.

Я велъ себя очень смирно, и приставъ меня полюбилъ. Попросивъ однажды, по моей просьбѣ, чтобы эфенди навѣстилъ меня, онъ сказалъ ему: «Мнѣ, право, жаль этого человѣка; такого смирнаго и добраго арестанта я и не видалъ; у васъ есть много знакомыхъ, вы бы за него постарались; его, какъ плѣннаго, можно бы отпустить, хоть на поруки; ему тутъ на чужбинѣ уйти и дѣваться некуда». Эфенди отвѣчалъ: «у насъ скоро будетъ праздникъ, а у меня гости, отпустите его тогда ко мнѣ». Приставъ это исполнилъ, и эфенди одѣлъ меня въ черкесское платье, далъ денегъ, и приставъ порадовался за меня, когда я пришелъ къ нему въ хорошемъ платьѣ. Вскорѣ отпустили меня на поруки; но черезъ мѣсяцъ опять вытребовали, отпуская, однако же, иногда на честное слово, и я свято его сохранялъ. Затѣмъ отослали меня въ Управу; тамъ сидѣлъ я три мѣсяца; дѣло рѣшалось было тѣмъ, что если земляки мои подпишутся, что я точно такой-то изъ кизлярскихъ плѣнныхъ, то буду отпущенъ; но они не могли этого сдѣлать, хоть и жалѣли обо мнѣ, и сказали, что онъ-де знаетъ четыре языка: турецкій, персидскій, татарскій и лезгинскій, и не беремся рѣшить, какой онъ уроженецъ. Меня отправили въ городскую тюрьму; вскорѣ вышелъ милостивый манифестъ, по которому и меня было вызвали; но горю моему

не пришелъ еще конецъ: тутъ отпускали только арестантовъ гражданскихъ, меня опять оставили, а потомъ перевели въ крѣпость, гдѣ я съ прочими арестантами ходилъ на работу. Много я благодаренъ доброму плацъмаіору, который защитилъ меня отъ другихъ недобрыхъ людей...

Такъ прошло еще семь мѣсяцевъ, и меня передали гражданскому суду, переведя въ гражданскую тюрьму. Сюда по праздникамъ приходилъ одинъ господинъ и раздавалъ намъ духовныя и нравственныя книги. Отъ страшной скуки и тоски я принялся читать ихъ съ большимъ вниманіемъ и размышленіемъ. До этого времени мнѣ часто приходило въ голову, что еслибъ Богъ привелъ мнѣ возвратиться на родину, то ужь я бы, не щадя себя, вымстилъ злую судьбу свою на своихъ врагахъ и предателяхъ, а особенно на двухъ братьяхъ персіянахъ, которые меня такъ безбожно продали. Эта дума схватывала меня иногда по ночамъ, и у меня горѣло сердце. Теперь же я сталъ замѣчать, съ нѣкотораго времени, что злоба мести во мнѣ угасала; я пересталъ желать зла врагамъ своимъ, хотѣлъ вынести со смиреніемъ все на себѣ, и мнѣ стало легче: сердце мое не жгло меня. Когда я замѣтилъ это, то сказалъ рѣшительно: я хочу креститься.

Услышавъ это отъ меня, тотъ же господинъ пріѣхалъ съ одной знатной особой, вызвали меня, говорили и разспрашивали долго и, похваливъ, обѣщались вскорѣ исполнить мое желаніе. Пріѣхавъ вторично на первой недѣлѣ

великаго поста и бывъ моими воспріемниками, они крестили меня въ тюремной церкви.

Въ іюлѣ потребовали меня въ уголовную палату и прочитали мнѣ рѣшеніе: я освобождался отъ суда, могъ избрать любой родъ жизни и приписаться куда хочу.

Я вышелъ, оглянувшись на улицу кругомъ, смотрѣлъ на встрѣчныхъ и проходящихъ и долго не могъ опомниться, что я теперь свободный человѣкъ. Мнѣ все еще казалось, что каждый изъ этихъ людей можетъ снова начать меня допрашивать и посадить въ заточеніе. Я пошелъ къ благодѣтельницѣ своей, которая отправила меня въ свою вотчину, въ должности смотрителя, приказавъ управляющему обходиться со мною хорошо и учить меня, какъ жить и обращаться съ людьми. Мнѣ было привольно, должность свою я исполнялъ какъ могъ лучше, но сердце мое не было спокойно; я ходилъ подъ какимъ-то страхомъ. Дворовые люди не взлюбили меня за строгую исполнительность мою и за справедливость: что я видѣлъ, то и говорилъ.

Однажды я отъ имени управляющаго отдавалъ приказаніе, а мнѣ на это отвѣчали бранью и угрозами; я настоятельно потребовалъ исполненія, и одинъ, кинувшись на меня, схватилъ за грудь и сталъ дергать. Я вспыхнулъ, во мнѣ проснулся прежній Асанъ, и я, свативъ этого человѣка, приподнялъ его и ударилъ объ-земь, такъ что онъ съ часъ лежалъ на мѣстѣ. Мнѣ эта жизнь не взлюбилась; видно, я не на то родился; я тотчасъ же воротился опять въ Петербургъ, задумавъ идти въ военную службу. Когда я объ-

явилъ объ этомъ крестной матери моей, то она спросила: куда же ты желаешь? Я отвѣчалъ: въ конницу, въ казаки. Она попросила къ себѣ одного полковника, который, разспросивъ меня, велѣлъ писарю написать просьбу, которую я подписалъ и подалъ.

Прошло съ мѣсяцъ времени, и я былъ въ Казанскомъ соборѣ у обѣдни, гдѣ говорилась проповѣдь о томъ, что Господь видитъ сердца человѣческія, знаетъ всѣ дѣла наши и мысли, и какъ Онъ милуетъ кающагося грѣшника и какъ будетъ судить закоснѣлаго. Священникъ говорилъ очень внятно, а я стоялъ близко и не проронилъ ни одного слова. Выходя изъ церкви, я задумался; я призналъ себя грѣшникомъ и преступникомъ закоснѣлымъ; на меня напалъ страхъ; я остановился на паперти, чтобъ придти въ себя, въ ту же минуту рѣшилъ, что дѣлать, и успокоился. «Когда я былъ еще дикимъ горцемъ и не-христіаниномъ, подумалъ я: — то плоти и тѣла своего не щадилъ, никакой тѣлесной боли не боялся и презиралъ всякую опасность; теперь же, просвѣтившись и причастившись Христа, буду ли я подлымъ трусомъ и обманщикомъ передъ Богомъ и царемъ? Нѣтъ, не буду.»

Я сталъ на колѣни передъ крестной матерью и сказалъ: «Виноватъ». Она испугалась и спросила: — «Что съ тобой, не убилъ ли ты кого?» — «Нѣтъ, отвѣчалъ я: — но совѣсть во мнѣ проснулась; я оболгалъ и васъ, и начальство: я бѣжалъ не изъ плѣнныхъ, а изъ солдатъ финляндскихъ батальоновъ. Не хочу жалѣть себя, прикажите мнѣ объявить объ этомъ

начальству; пусть берутъ меня и судятъ; я переносилъ много, перенесу и это».

Черезъ нѣсколько дней она послала меня въ Казанскій соборъ и велѣла долго молиться передъ иконой Скорбящей Божіей Матери; она же въ самое это время просила за меня у властей земныхъ. Когда я воротился, то благодѣтельница встрѣтила меня вѣстію, что я прощенъ, отъ суда и наказанія избавленъ, но сейчасъ же долженъ отправиться на службу въ свой батальонъ, на два года. Я свѣтъ увидѣлъ: спокойнѣе и радостнѣе этого дня у меня не бывало.

На проѣздъ въ Выборгъ мнѣ попался подводчикомъ сынъ той самой старухи, которая приняла меня ночью едва живаго отъ голода и накормила. Я былъ при деньгахъ и далъ ему пять цѣлковыхъ. Прибывъ на мѣсто, я прямо отправился въ казармы и въ сѣняхъ встрѣтилъ фельдфебеля, который такъ удивился мнѣ, что не вѣрилъ своимъ глазамъ. «Откуда ты?» спросилъ онъ. Я отвѣчалъ, что пріѣхалъ изъ отпуска. Тутъ жандармъ подалъ конвертъ; вышелъ ротный командиръ, который случился тутъ, на ученьи. Пошли къ батальонному командиру; онъ прочиталъ бумагу, вышелъ ко мнѣ и сказалъ: «Ну, братъ Асанъ, я тебя любилъ и берегъ, а ты меня больно обидѣлъ». Я отвѣчалъ, что прошлаго не воротишь, а впередъ буду стараться изо всѣхъ силъ; но что, впрочемъ, судьба моя привела меня къ моему счастью. — «Признаюсь, сказалъ маіоръ: — что такого случая, вѣроятно, еще и на свѣтѣ не было. Въ какую ты роту желаешь?» — «На старое мѣсто, ваше высокоблагородіе».

Въ казармахъ прошла уже обо мнѣ молва, и когда я пришелъ туда, то меня окружили, и разспросамъ не было конца. Я принялся за службу, чтобы служить такъ, какъ велятъ Богъ и государь; а не прослуживъ и двухъ лѣтъ, я былъ переведенъ въ гвардію. Молю Бога за царя и за моихъ благодѣтелей.

САВЕЛІЙ ГРАБЪ,

или

ДВОЙНИКЪ.

Въ одной изъ новороссійскихъ, полуукраинскихъ губерній нашихъ проживалъ помѣщикъ Сергѣй Сергѣевичъ Бабачекъ. Онъ прослужилъ, по гражданской части, въ потѣ лица своего, 35 лѣтъ, тихо, смирно, осторожно, все молчалъ, вздыхая да потирая лобъ, и — 35 лѣтъ время долгое, набѣгала и случалась всякая причина: кто отъ хлѣба бѣгаетъ?—Сергѣй Сергѣевичъ потихоньку да помаленьку скопилъ и сколотилъ что было можно; а чего нельзя, за тѣмъ онъ и не гонялся. Женившись на дочери тамошняго помѣщика, взялъ онъ за женою деревеньку Шпиговку; но вскорѣ началъ почесываться указательнымъ пальцемъ лѣвой руки за ухомъ, что служило знакомъ неудовольствія и случилось именно, когда онъ увидѣлъ, что на Шпиговкѣ было столько же долгу, во сколько оцѣнилъ онъ приданое жены

своей, Степаниды Ѳоминишны, прокинувъ на счетахъ число душъ и число десятинъ. Со счетами же Сергѣй Сергѣевичъ такъ свыкся и сжился, въ продолженіе тридцати-пяти-лѣтней службы своей, что даже не могъ уснуть ночью, если ихъ не было на столикѣ, подъ рукою. Поэтому Сергѣй Сергѣевичъ не прокидывался на счетахъ никогда, не ошибался.

Дѣлать было однакоже нечего; Сергѣй Сергѣевичъ выкупилъ деревеньку изъ своего кармана, сталъ хлопотать, сколько было ему воли и власти отъ Степаниды Ѳоминишны, о приведеніи дѣлъ въ порядокъ; но Степанида Ѳоминишна вскорѣ устранила его вовсе отъ всѣхъ хлопотъ и заботъ по управленію имѣніемъ, предоставивъ ему только голосъ въ семейномъ совѣтѣ о тяжебныхъ дѣлахъ и дѣловой перепискѣ; а какъ природа Сергѣй Сергѣевичу, сравнительно съ супругою его, въ голосѣ рѣшительно отказала, то вся выгода, которую Бабачекъ пріобрѣлъ отъ законнаго супружества своего, была та, что Степанида Ѳоминишна выростила и выкормила ему полонъ домъ дѣтей — кто говоритъ девять, а кто тринадцать; извѣстно только достовѣрно, что число ихъ было нечетъ. Итакъ безгласный хозяинъ своего добра поневолѣ забавлялся иногда только тѣмъ, что прокидывалъ на счетахъ и провѣрялъ нечетное число ребятъ и дѣвчонокъ своихъ, то есть дѣтей, и скидывалъ съ костей тѣхъ, которыхъ уже отдалъ на службу и пристроилъ, а иногда и слѣдующихъ затѣмъ, въ надеждѣ сбыть съ рукъ вскорѣ и этихъ; а потомъ клалъ опять преспокойно счеты на завѣтное мѣстечко.

Двухъ взрослыхъ барышень, невѣстъ, Настасью и Ме-

ланью, Сергѣй Сергѣевичъ самъ обучалъ играть на гусляхъ, и этимъ ограничивалось ихъ свѣтское воспитаніе; домашнее, хозяйственное воспитаніе было, разумѣется, въ рукахъ матери, и мы дальше увидимъ, какъ Степанида Ѳоминишна сама подавала дочерямъ своимъ примѣръ доброй и разсчетливой хозяйки. Старшій сынокъ Митенька, малый лѣтъ пятнадцати, любимое дѣтище и баловень матери, жилъ еще дома, равно какъ и съ пятокъ младшихъ: двоихъ же среднихъ, чтобы избавиться отъ шуму и драки ихъ и уберечь гусей, утятъ и индюшекъ отъ мѣткихъ ихъ самострѣловъ, пристроили въ Черноморскій флотъ — какъ во время оно водилось — гардемаринами. Тамъ они носили уже вицъ-мундиры съ кортиками и бѣгали иногда, въ изорванныхъ сапогахъ, на *Попову балку* — стрѣлять изъ камышевыхъ и деревянныхъ пушекъ и гонять на бойняхъ собакъ, или ходили за мостъ—выдирать изъ крутаго прибрежья гнѣзды щуровъ. Но это все равно для насъ; благо оба они пристроены, и мы и Сергѣй Сергѣевичъ отъ нихъ избавились: объ нихъ у насъ, предупреждаю читателя, болѣе не будетъ и рѣчи.

Сегодня праздновали именины старшей дочери, Настасьи, а на завтра былъ день рожденія второй, Меланіи. Эти два дня всегда праздновались вмѣстѣ, и нынѣ, какъ изстари, гости начали съѣзжаться со всѣхъ концовъ, чтобы пропировать два праздника сряду. Выпотрошенныя курицы лежали уже чинно и попарно на кухонномъ столѣ; старый волъ, который сходилъ уже разъ одиннадцать подъ Перекопъ за солью или въ Одессу съ арнауткой, былъ

преданъ семейному пиру на жертву; задорный теленокъ. который надоѣдалъ Степанидѣ Ѳоминишнѣ тѣмъ, что всегда высасывалъ дойныхъ коровъ, былъ также обреченъ на съѣденіе; и знаменитый Савка — поваръ, дворецкій, винокуръ, охотникъ, иногда и кучеръ, онъ же садовникъ, лекарь, коновалъ, строитель мельницъ, колодцевъ и голубятенъ, а по сему послѣднему въ особенности правая рука Дмитрія Сергѣевича, Митеньки, который славился черногривыми, сивобокими и рыжехвостыми вертунами своими, — Савка изъ кожи лѣзъ, чтобы всѣмъ сладить, все уладить и поставить на ноги два обѣда и два ужина. Родъ паштета, на манеръ битаго фрикасе безъ костей, соусъ подъ наливой, жареное сверху и снизу, чудакъ-рыба подъ насѣчкою и спускомъ (судакъ съ подливкой), дура-птица съ господскими кишками (индѣйка съ начинкой), русакъ съ прошивкой (шпикованный заяцъ) и наконецъ ижица съ точкой, то есть пирожное — такъ, только еще подробнѣе и обстоятельнѣе, доносилъ Савка Митенькѣ о качествѣ и количествѣ блюдъ для нынѣшняго обѣда, и Митя помиралъ со смѣху. А когда Савка продолжалъ: «какъ быть; надо лычко показать ремешкомъ; надо скатерть-хлѣбосолку съ чернаго конца на красный хоть зубами натянуть — а лопнетъ, такъ и то не бѣда, зашилъ, зачинилъ, какъ съ гуся вода».... то Митя продолжалъ ревѣть все тѣмъ же заливнымъ хохотомъ, не понимая и не подозрѣвая даже, о чемъ тутъ идетъ рѣчь.

Наканунѣ праздника была представлена дуо-драма въ лицахъ, не въ пользу г-жи Бабачекъ, между нею и сы-

номъ ея Дмитріемъ. Послѣднее явленіе кончилось тѣмъ, что вся дворня столпилась въ передней, а Настя и Мелаша насилу уняли и розняли просьбами и слезами разгнѣванную мать и обиженнаго сыночка ея. Они немного погорячились на счетъ вопроса, какихъ лошадей велѣть заложить, чтобы послать за ближними сосѣдями, Бублинскими: Митя, изволите видѣть, съ нѣкоторыми свыкся и сжился, называлъ ихъ премудреными именами, которыхъ у Савки было въ запасѣ многое множество, называлъ ихъ своими и не хотѣлъ съ ними разстаться. Сергѣй Сергѣевичъ, въ продолженіе цѣлаго представленія, игралъ на гусляхъ: «Чѣмъ тебя я огорчила», съ варіяціями. Слѣдовательно, какъ водится, была и музыка, хотя только домашняя. У Бублинскихъ былъ взрослый уже пасынокъ, такъ его по крайней мѣрѣ обыкновенно величали — былъ пріемышъ Василько, Василій Ѳедоровичъ, о которомъ шла молва, что онъ богатъ. Вотъ почему за ними послали рыдванъ съ записочкой—не оставить именинницу посѣщеніемъ своимъ, съ фамиліею и семействомъ.

Время было около полудня, и гости сильно стали съѣзжаться. Что за потѣшные снаряды для ѣзды сползлись и сгромоздились тутъ со всѣхъ концовъ уѣзда на одинъ дворъ! Тутъ рыдванъ или колымага, съ виду верблюдъ, по походкѣ черепаха; тутъ какая-то линейка, двоюродная сестра дрогамъ, на которыхъ у насъ возятъ покойниковъ; а вотъ линейка однодрогая, по два чемоданчика на сторонѣ, и къ нимъ сыромятные запоны или фартуки, смазанные дегтемъ; или, взгляните вотъ на эту двуспальную кровать, со стой-

ками, перекладинами, съ кожаными, подбитыми ситцемъ, занавѣсами на концахъ; это—линейка шестимѣстная, то есть въ нее садится 12 человѣкъ. Въ тихую погоду и при небольшомъ навыкѣ всегда можно было отгадать за полверсты, кто изъ сосѣдей приближается въ колесницѣ своей, по одному стуку и бряку расшатавшихся гаекъ, шинъ, скобъ и рваней. Экипажъ Степана Власовича Пушки въ особенности славился по околодку своеобразностію звука, издаваемаго имъ съ той минуты, какъ чубарый меринъ трогался съ мѣста. Степанъ Власовичъ Пушка, старый холостякъ, отставной гусарскій маіоръ, купилъ *струментъ* этотъ, какъ самъ онъ называлъ безсмысленную колесницу свою, въ губернскомъ городѣ, съ молотка. Это случилось, какъ Степанъ Власовичъ хорошо помнилъ, въ тотъ же годъ, какъ плѣннаго Костюшку привезли въ Петербургъ; и съ тѣхъ поръ Пушка ѣздилъ безсмѣнно на этомъ *струментѣ*.

Степанъ Власовичъ былъ хохолъ въ полномъ смыслѣ слова: гостепріименъ, радушенъ, шумливъ, крикливъ, шутливъ, острякъ, горячъ, хитеръ, вспыльчивъ какъ порохъ, добръ, иногда готовъ отдать другу послѣднюю рубаху; — если же маіора чѣмъ нибудь раздражали, золъ и лютъ до того, что уже не помнилъ себя. Когда разъяренный Степанъ Власовичъ вскрикивалъ бывало не своимъ голосомъ: плетей! то все падало ницъ вокругъ него и съ трепетомъ ожидало участи своей. Подгулявши, Пушка былъ гораздо добрѣе, его не легко было разсердить, хитрость его ему измѣняла, и онъ всякому повѣрялъ свои тайны. Степанъ Власовичъ

былъ человѣкъ добраго сердца и очень здраваго ума, но прикидывался неучемъ и простякомъ, и рѣзалъ всякому такую правду въ глаза, что иногда даже у неприкосновенныхъ къ дѣлу слушателей волосъ подымался дыбомъ. Пушка присвоилъ себѣ право трунить надо всѣми, дурачить кого угодно; и никто не смѣлъ за это явно и гласно сердиться, обижаться этимъ, если не хотѣлъ попасть въ постоянные и безсмѣнные дураки. Маіору, казалось, ни до чего на свѣтѣ не было дѣла, онъ не зналъ никакихъ уставовъ и общепринятыхъ условій общежитія, а жилъ независимо, на свой ладъ, говорилъ и дѣлалъ все по-своему, какъ и что на умъ приходило, зналъ со всѣми, а всѣхъ держалъ въ какой-то зависимости отъ себя, всѣхъ невольно заставлялъ уважать себя и нѣкоторымъ образомъ даже бояться. «А что скажетъ на это Степанъ Власовичъ?» спрашивали всѣ сосѣди его другъ у друга или по крайней мѣрѣ сами у себя почти каждый разъ, когда что-нибудь затѣвали, когда волей-неволей подавали поводъ къ какому-нибудь случаю или происшествію. Но постояннымъ любимцемъ маіора былъ загадочный пасынокъ Бублинскихъ, Василько. Съ этимъ они сиживали и толковали по цѣлымъ часамъ о всякой всячинѣ, и нерѣдко про себя, избѣгая, повидимому, третьяго собесѣдника.

Итакъ, стукотня и брякотня колесъ и дрогъ, крикъ кучеровъ, лай собакъ, объятія и звонкія лобзанія,— все это частію угомонилось, а частію переселилось на задній дворъ, гдѣ откладывали лошадей, устанавливали колымаги, убирали упряжь, здоровались съ приправою сочныхъ и пря-

ныхъ прибаутокъ и расхищали, съ крикомъ, шумомъ и смѣхомъ, стожокъ плохонькаго, гостиннаго сѣнца. Одинъ клялся и божился, что сѣно это бурьяну близко сродни приходится; другой, что кони его храпятъ и боятся этого сѣна; третій увѣрялъ, что на однихъ репьяхъ, коли выбрать ихъ изъ охапки этого сѣна, можно настоять бочку грушеваго квасу, и проч.

Между тѣмъ, въ барскихъ покояхъ все шло своимъ чередомъ и порядкомъ. Барыни въ гостиной чинно насидѣлись; барышни, столпившись вкругъ холодной печи, нашушукались вдоволь; молодежь кавалерскаго пола, въ брыжжахъ, въ ситцевыхъ шейныхъ платкахъ, подъ цвѣтъ платьямъ барышень, нашаркались, наломались и наловили съ три короба невзначай оброненныхъ миловидныхъ взоровъ и вздоховъ и вытерли стѣны и двери спинами своими вокругъ; Сергѣй Сергѣевичъ обошелъ уже все честное и почетное общество съ двумя огромными подносами, слѣдовавшими за нимъ по пятамъ, и низко кланялся передъ каждымъ гостемъ и говорилъ едва слышнымъ, несмѣлымъ и сладенькимъ голосомъ своимъ: «извольте, матушка, или батюшка, покушать — не прогнѣваться, почтить насъ, отвѣдать наливочки домашней, какова ни есть, жена да дѣти стряпали» — и получивъ отказъ или приказъ, продолжалъ кланяясь: «терновки не угодно-ли, а вотъ вишневка-съ, вотъ и смородиновка — или вы, можетъ, черной смородиновки не изволите кушать? вотъ и горькая... да хоть закусить не угодно-ли чего»... Савка живо скинулъ съ себя черный поварской передникъ свой, чтобы съиграть

дворецкаго, уговорилъ Митеньку, который все еще сидѣлъ на кухнѣ, снять съ плечъ своихъ и отдать ему на одинъ мигъ зеленый фракъ свой и часы и, замотавъ очень искусно одну руку въ салфетку, вошелъ въ гостиную и доложилъ громко и отрывисто, что кушать подали. Савка былъ малый бывалый, зналъ какъ что водится и дѣлается, и на этотъ счетъ даже сама Степанида Ѳоминишна съ нимъ не спорила, если только затѣи его не требовали новыхъ расходовъ.

По слову вставшей съ мѣста хозяйки: «милости просимъ», вся армада снялась съ якоря. Старики и старухи начали пароваться, подавая и принимая, съ обязательнымъ словомъ и взглядомъ, локоть и руку, а молодцы наши стояли, ощипываясь и охорашиваясь, неподвижно по стѣнамъ; дѣвицы, пошушукавъ и пощебетавъ, обнявшись всѣ въ одну плетеницу, насилу протѣснились въ дверь столовой. Наконецъ и кавалерія, послѣ убѣдительныхъ приглашеній хозяина, приступая и отступая опять до нѣсколькихъ разъ, тронулась всей гурьбой, выдвинулась въ столовую и выстроилась тамъ снова по стѣнамъ. Одинъ только Василько подошелъ къ Мелашѣ и свелъ ее къ обѣду: именинница ушла уже въ первой парѣ, съ маіоромъ. Когда все это разсѣлось, размѣстилось, примостилось и угомонилось, то для меня всего любопытнѣе былъ — рядъ чепцовъ чинно усѣвшихся пожилыхъ барынь. Это въ самомъ дѣлѣ было диковинное собраніе какихъ-то единственныхъ въ своемъ родѣ кисейныхъ, филёшевыхъ и петинетовыхъ — тряпицъ этихъ тогда еще не называли тюлемъ и газомъ — кисейныхъ корабликовъ, цвѣтниковъ, вавилонскихъ башенъ

и китайскихъ бесѣдокъ съ флюгарками и бубенчиками. Савка каждый разъ, послѣ такого праздника, подавалъ вечеромъ на сальныя свѣчи хитро вырѣзанныя и сложенныя бумажныя фигурки, новаго покроя, и увѣрялъ, что снялъ выкройку съ чепца Анны Ивановны, или Авдотьи Поликарповны. Злые языки, между прочимъ, разсказывали, какъ извѣстное дѣло, что Авдотьѣ Поликарповнѣ мужъ ея, въ былое время, привезъ изъ столицы шляпку и чепчикъ: при укупоркѣ вещей этихъ, маршандемодка надѣла чепчикъ на шляпку; но Авдотьѣ Поликарповнѣ это и въ голову не пришло: она разъѣзжала всюду въ шляпкѣ, на тулью которой вздѣтъ былъ чепчикъ, и увѣряла всѣхъ, что нынѣ такая мода, что это прислано прямо изъ столицы. А что завезенный въ кои-вѣки разъ чепецъ новаго покроя надѣвали задомъ напередъ, или бочкомъ и на изнанку, къ этому уже такъ привыкли въ окрестностяхъ Шпиговки, что даже почти не смѣялись, если дѣло и обнаруживалось и чепецъ, оборотившись, садился, какъ слѣдуетъ, на свое мѣсто. Изо всего этого читатели видятъ, что Савкѣ было съ чего снимать выкройки и образцы для испанскихъ воротниковъ своихъ на сальныя свѣчи.

Дурное вино расходилось, какъ шербетъ на байрамѣ; старички начали уже сопровождать жаркія пренія свои о политикѣ и винокурнѣ движеніями ножей и вилокъ по воздуху; тетушки да кумушки сплетничали, приговаривали да поддакивали такъ, что любо слушать; барышни уже не только чирикали про себя, а вступали подъ шумокъ въ разговоръ съ супротивною шеренгою молодежи. Разговоръ этотъ

конечно грузился только на плоскодонную расшиву и потому, не пускаясь въ открытое море, держался отмелей и береговъ; — это была, такъ сказать, бесѣда каботажная, прибережная; но что нужды, все-таки дѣло шло впередъ, общее веселье распространялось. Голосъ Степана Власовича раздавался уже черезъ всю столовую, прикрикивалъ и заглушалъ десять голосовъ, которые не успѣвали отшучиваться и отвертываться отъ колкихъ и рѣзкихъ его замѣчаній. Всеобщій хохотъ разлѝвался иногда по всему столу, и старички утирали кулакомъ крупныя слезы. Вдругъ двинулся стулъ — другой — третій — барыни и барышни соскочили, столпились въ кучу — «щò тамъ такѐ?» спросилъ Пушка, поднявъ рюмку и протянувъ шею. «Ирина Титовна упала въ обморокъ: ей сдѣлалось дурно». — Впала? — возразилъ маіоръ, — ще та буйволыця колысь кого-небудь задàвыть,— и выпилъ спокойно свою рюмку. Между тѣмъ Савка вбѣжалъ опрометью съ бутылкою цымлянскаго, что нынѣ шампанское, безъ котораго, какъ вы знаете, у насъ на Руси именинъ не бываетъ, и чуть не сбилъ съ ногъ или вѣрнѣе съ рукъ Ирину Титовну, которую несли укладывать на постель. Савка стоялъ въ четвертой позиціи, натиснувъ пробку на бутылку, и казалось спрашивалъ всѣхъ бѣглымъ взоромъ: что же изъ этого будетъ? Хозяева опять просили садиться, но маіоръ, вставъ, громогласно сказалъ: «не садыться, бо впьять будете уставать; за здоровье имьянынныцы! кто живъ, кто у Бога вируе, кричитъ ура!» «Ура!» раздалось по цѣлому дому. Пушка провелъ ловко рюмкою по всѣмъ пуговицамъ гусарской бекешки своей,

снизу вверхъ и сверху внизъ, и разбилъ рюмку въ дребезги о каблукъ, замѣтивъ: «шкода, що нема шпорывъ!» Настасія, именинница, взяла высокую и поджарую рюмку въ руки, всѣ зашищикали. Настя присѣла, отблагодарила смѣлымъ голосомъ, въ избранныхъ выраженіяхъ, поздравителей своихъ и ущипнула губками клубящуюся пѣну.

Шумный рой началъ расходиться гораздо съ меньшею жеманностію, чѣмъ садился за столъ. Шумъ, хохотъ, разговоры непринужденно переселились въ гостиную. Неуклюжіе Ганимеды въ полосатыхъ, тиковыхъ курткахъ и набойчатыхъ шейныхъ платкахъ, взятые съ псарни и съ конюшни, разносили кофе, избочениваясь и перегибаясь со страхомъ впередъ и на бокъ, поднося огромный подносъ каждому гостю подъ локоть. Вскорѣ все помаленку утихло; гости разбрелись туда и сюда, по закоулкамъ и отводнымъ покоямъ, для отдыху. Русскій человѣкъ любитъ поѣвши отдохнуть, и въ деревняхъ нашихъ, особенно собираясь пировать два, три дня сряду, обычай этотъ еще не выводится.

Василько отправился въ садъ съ однимъ человѣкомъ, который долго не зналъ какъ къ нему приступиться, но наконецъ, скрѣпя сердце, подошелъ и просилъ Василія Ѳедоровича, робко и смиренно, пособить ему устроить какой-то сюрпризецъ, — потѣшные огни.

Человѣкъ этотъ, котораго мы за большимъ столомъ именинницы не видали, отобѣдалъ за дѣтскимъ столомъ, съ Ѳедей, Гришей, Филей и Сашей, съ младшими хозяйскими сыновьями. Это былъ учитель и воспитатель, кандидатъ

философіи Евстратъ Богдановичъ Горемыкинъ. Онъ, сидя за учебнымъ столомъ съ воспитанниками своими, давно уже повытеръ локти на казиміровомъ фракѣ своемъ, а новаго еще не заработалъ. Впрочемъ, Евстрата Богдановича кормили въ обыкновенные дни за общимъ столомъ; а сверхъ того, Сергѣй Сергѣевичъ насыпалъ ему иногда, тайкомъ отъ супруги своей, въ корковую табакерку съ портретомъ Блюхера, роменскаго табаку и разговаривалъ съ Горемыкинымъ по вечерамъ, прохаживась взадъ и впередъ по комнатѣ, о политикѣ, о наукахъ, о хозяйствѣ, и тогда Евстрату Богдановичу приносили даже, для компаніи, стаканчикъ слабенькаго пуншу. Пуншъ этотъ приготовлялся впрочемъ съ кизлярскою водкою и клюквеннымъ сокомъ. Евстратъ былъ добрый, хорошій малый, съ умомъ и способностями; но школьное, тупое, убійственное воспитаніе заморило все, что только пыталось выказать отростки свои наружу на этой недовольно плодородной почвѣ. Евстратъ сильно начиналъ чувствовать это; но не зналъ и не понималъ еще въ чемъ дѣло. Сравненіе себя съ Василькомъ, который воспитывался дома, самъ собой, не видалъ еще въ глаза ни семинаріи, ни свѣтскаго училища, на которомъ не было еще никакого ученаго званія, казалось Евстрату для себя самого невыгоднымъ, и вотъ что подало ему первый поводъ къ раздумью. До выводовъ, заключеній Горемыкинъ еще не добрался. Сверхъ того бѣднякъ, при нынѣшнемъ мѣстѣ своемъ, былъ связанъ по рукамъ и по ногамъ, былъ убитъ духомъ. Робко и несмѣло спрашивалъ онъ утромъ, одѣваясь, недочищенные сапоги свои, съ

оглядкою садился въ обѣдъ за столъ послѣднимъ, давъ всѣмъ сперва усѣсться, и тихо и осторожно снималъ съ себя вечеромъ изношенный фракъ свой, не смѣя даже его встряхнуть, хотя и зналъ напередъ, что фракъ этотъ останется на другой же день нечищеннымъ. Громкаго разговора Евстратъ никогда и ни съ кѣмъ не осмѣливался заводить; гдѣ разговаривали двое или трое, тамъ Евстратъ только слушалъ, самъ же изрѣдка заводилъ бесѣду особнякомъ, и дѣлалъ это скромно, осторожно, какъ будто ощупывая напередъ носкомъ сапога мѣсто, на которое хотѣлъ ступить, чтобы не обмолвиться, не оступиться; если же подходилъ другой и третій и начинали рѣшать и спорить вслухъ, тогда Евстратъ отступалъ шага два назадъ и замолкалъ. Ѳедю, Гришу, Филю и Сашу называлъ онъ всегда по батюшкѣ, Сергѣевичами, и даже знаменитаго Савку не иначе какъ Савеліемъ Ивановичемъ.

Итакъ Горемыкинъ отправился съ Василькомъ въ садъ. Проходя по боковой дорожкѣ, этотъ увидалъ мелькомъ бѣлое платьеце и желтозеленый фракъ. Онъ взглянулъ только и промолчалъ; Горемыкинъ, казалось, ничего не видалъ. Въ полуразрушенной обширной красной бесѣдкѣ, давно уже предоставленной въ собственность воробьямъ и галкамъ, на самомъ концѣ безконечнаго сада, всѣ стѣны были увѣшаны и уставлены ракетами, колесами, бураками, римскими свѣчами; а сѣра, селитра, антимоній, мякоть, штопинъ и другіе припасы покрывали полъ и лавки. Савка былъ уже тутъ и поплевыя заклеивалъ и замазывалъ тутъ и тамъ разныя погрѣшности. «У насъ», началъ онъ,

«нѣтъ масляны безъ блиновъ, нѣтъ святой безъ яицъ; спасибо, что пожаловали, Василій Ѳедоровичъ: наши подымашечки, подлетушечки, подземельнички, повертушечки, попрыгушечки и кресалочки только васъ и ждали: извольте дать распорядокъ, а уже все готово». Василько осмотрѣлъ все, далъ совѣтъ свой, какъ что разставить, и самъ началъ помогать. Была тутъ и вяземская коврыжка, какъ Савка звалъ ее, то есть небольшой щитъ, съ вензелемъ Настасьи, знаменитой именинницы.

«Это хорошо, Евстратъ Богдановичъ», сказалъ Василько, «что вы и объ этомъ подумали — вы, кажется, каждый домашній праздникъ встрѣчаете какою-нибудь потѣхою?»

Евстратъ глубоко вздохнулъ и сказалъ: «Я съ вами, Василій Ѳедоровичъ, говорю какъ-то смѣлѣе, чѣмъ съ другими, и я вамъ признаюсь, что меня потѣхи эти не тѣшатъ. Правда, что я же самъ всему виноватъ; я самъ и отъ себя въ первый разъ на это напросился; но намѣреніе мое было склонить дѣтей Степаниды Ѳоминишны принять въ этомъ участіе; я хотѣлъ, чтобы они обрадовали чѣмъ-нибудь родителей своихъ, но вышло не то. Сюрпризы эти вошли нынѣ въ кругъ обязанностей моихъ; съ меня ихъ требуютъ, спрашиваютъ; и это сдѣлалось уже собственно моимъ дѣломъ, а не дѣтей, для которыхъ я было все это затѣялъ. Барышни, особенно Меланья Сергѣевна, этотъ ангелъ доброты, мнѣ всегда охотно помогали; а воспитанники мои»... — Въ это время голосъ Савки раздался позади ихъ; они оглянулись — Ѳедя, Гриша, Филя и Саша лукали камешками черезъ тынъ въ разставленныя колеса, и послышавъ голоса

Горемыкина и Василька, прыснули, какъ шаловливыя кошки, во всѣ четыре стороны.

Солнце уже садилось, когда товарищи наши все уладили, разставили и возвращались въ барскій домъ. Здѣсь встрѣтили они на крыльцѣ Митеньку, босикомъ и безъ кафтана. Митя, изволите видѣть, попраздновалъ именины сестрицы не хуже другихъ, а потомъ, когда всѣ гости разошлись, уснулъ на просторѣ въ диванной, разувшись и раздѣвшись. Очнувшись подъ вечеръ, онъ увидалъ, что гости уже собираются въ залѣ и въ диванной. — Митя схватился, выскочилъ безъ оглядки на крыльцо, въ садъ, и сидѣлъ тамъ и ждалъ подмоги. Горемыкинъ долженъ былъ его выручить, вынести ему въ садъ сапоги и фракъ.

Какъ только смерклось и подали свѣчи, то два хлопца въ тиковой ливреѣ своей вынесли изъ заднихъ комнатъ съ большою осторожностью знаменитые гусли. Сергѣй Сергѣевичъ шелъ за ними шажкомъ и тихомолкомъ, понюхивая табачекъ, покрякивая и утираясь свернутымъ въ тугой клубочекъ клѣтчатымъ платкомъ. Въ дверяхъ попотчивалъ онъ Евстрата табакомъ, все молча; но кругленькіе глазки сверкали, удовольствіе выражалось на лицѣ: видно было, что гусли эти составляютъ всю отраду и все приволье Сергѣя Сергѣевича. Радостныя восклицанія дѣвицъ, вполголоса, встрѣтили эту нечаянность. Чтобы не занимать лишняго мѣста, художникъ сталъ съ гуслями своими въ уголокъ, положивъ ихъ на пару обороченныхъ другъ къ другу спинками стульевъ. Молча вздернулъ Сергѣй Сергѣевичъ рукава сюртука своего въ поллоктя и наложилъ пальцы на струны.

«Баянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творити, то ростекашеся мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по земли, сизымъ орломъ подъ облаки — вѣщіе персты на живая струны вскладаше, они же сами славу рокотаху!» Сергѣй Сергѣевичъ въ особенности славился, бывало, въ кругу знатоковъ тѣмъ, что съ большимъ искусствомъ и ловкостью накрывалъ пястью и локтемъ струны, гдѣ надо было, при переходахъ, заглушить прежніе звуки.

Барышни похаживали, цѣпляясь другъ за дружку, и напередъ уже обмахивались платочками; кавалерія расправляла плечи и перчатки, перестегивалась и выправлялась, будто ожидая команды: смирно! И Митя вошелъ было, застегнувшись на всѣ пять пуговицъ, но, покосившись на всѣхъ изподлобья, ушелъ опять на псарню. Изъ дѣвичей раздавался рѣзкій и тонкій голосокъ Степаниды Ѳоминишны, а Сергѣй Сергѣевичъ вторилъ отрывисто на басахъ самогудовъ своихъ. Въ гостиной раскидывали зеленый столъ, и Савка старательно сколачивалъ молоткомъ, измѣнившія на этотъ разъ, мѣдныя петли. Сергѣй Сергѣевичъ счелъ за благо покрыть всѣ разнородные отголоски эти по возможности громкимъ и сильнымъ созвучіемъ, ударилъ въ струны, сдѣлалъ переходъ и, покачивая легонько шарообразной головой своей съ плеча на плечо въ ладъ и въ мѣру, которая была на этотъ разъ не помню $^{6}/_{8}$ или $^{3}/_{4}$, произвелъ на свѣтъ знаменитый въ свое время польскій: *Славься симъ, Екатерина, славься, нѣжная къ намъ мать.*

Степанъ Власовичъ, въ гусарской бекешкѣ своей, открылъ уже съ хозяйкою дома балъ; всѣ слѣдовали его при-

мѣру, пара за парой шаркали уже длинной, дугообразной вереницей по залѣ, присѣдая немножко и отмѣчая головой осьмухи.— Степанъ Власовичъ выкинулъ какую-то прехитрую фигуру, гдѣ надобно было каждой парѣ разойтись, обойти кругъ и опять слиться въ одно цѣлое; штука эта произвела небольшое замѣшательство, пары разбились, кавалеры шаркали сами по себѣ, а дамы, въ нерѣшимости, вглядывались, пріостанавливались и перебили очередь; Степанъ Власовичъ кричалъ, командовалъ и суетился...

Въ это время — нѣтъ, тутъ нужна кисть, а не перо! — въ это самое мгновеніе свора гончихъ молодаго барина, на смычкѣ, съ воемъ и лаемъ кидается опрометью, зря, въ средину пестрыхъ и чопорныхъ рядовъ, сбиваетъ съ ногъ безъ разбору, кто первый попался; дамы врознь, съ крикомъ и визгомъ, кавалеры въ погоню за гончими— и Митя вбѣгаетъ запыхавшись, съ арапникомъ въ рукахъ: «Налетъ! Ползунъ!...» но Налетъ и Ползунъ одурѣли, кидаются въ уголъ, гдѣ пріютился Сергѣй Сергѣевичъ съ музыкой своей — Митя стегнулъ одного изъ нихъ арапникомъ— Ползунъ подъ гусли, а Налетъ черезъ гусли, и попались самогуды наши въ смычекъ, какъ въ бредень! полетѣли они сердечные, загремѣли и разсыпались.

Сергѣй Сергѣевичъ отскочилъ въ сторону, тяжело вздохнулъ, повертывалъ табакерку и не говорилъ ни слова; ахнуло все общество, отъ мала до велика; Митя стегалъ собакъ, собаки выли, Ирина Титовна, сидя въ диванной, обомлѣла, Степанида Ѳоминишна, завопивъ пронзительнымъ

голосомъ: «этотъ извергъ уморитъ меня!» кинулась и вцѣпилась въ волосы ненагляднаго чада своего.

Вдругъ въ саду раздался выстрѣлъ — другой, третій — всѣ кинулись къ окнамъ, на крыльцо — смотрите! ракеты! бураки!..—крикъ, смѣхъ, суетня, ахи, да охи — все улетѣло въ садъ, до послѣдней горничной и тиковаго хлопца.

Василько, Горемыкинъ и Савка кинулись съ изумленіемъ къ своему созданію и не знали на что рѣшиться, что начать. Но спрашивать и разбирать: что это значитъ, кто зажегъ?— было некогда; ракеты летѣли, бураки грохотали, а отъ нихъ проведены были неугасимые штопины къ колесамъ и пирамидамъ. «Дѣлать нечего», сказалъ Василько, «по мѣстамъ, и жечь все, какъ условились. Сюрпризъ нашъ удался, чего же больше?»

Въ самомъ дѣлѣ, надобно признаться, что бураки загрохотали во-время. Чѣмъ бы кончился поединокъ Степаниды Ѳоминишны съ Митей, чѣмъ вся эта суматоха и тревога, еслибы ракеты не заставили всѣхъ забыть, хоть на минуту, что передъ ними происходило.

«Ахъ, какъ мило! безподобно! Чудесно! ужасно хорошо, только страшно немного»..«О, нѣтъ, неужели вы боитесь?»— такъ раздавалось въ толпѣ зрителей, между тѣмъ какъ Савка суетился какъ бѣсъ передъ заутреней и благословлялъ подлетушечки свои, брызгалочки и кресалочки.

Все кончилось благополучно; счастливый Евстратъ Богдановичъ похвалъ не обобрался; общество стало веселѣе, развязнѣе, болѣе перемѣшалось, забыли даже на время о гусляхъ, которыя огорченный Сергѣй Сергѣевичъ собралъ

своеручно и снесъ въ свой покойчикъ, не заботясь о бураках; гости усѣлись тутъ и тамъ и бесѣдовали безъ чиновъ; Степанидѣ Ѳоминишнѣ удалось таки, съ помощію кумушекъ, залучить Василька и заставить его поразговориться съ Мелашей, которая, впрочемъ, почти только отвѣчала черезъ сговорчивыя уста своихъ переводчицъ,—до того была она запугана этимъ суженымъ и уроками, какъ съ нимъ обходиться и что ему говорить, и какъ быть съ нимъ поласковѣе.

Вдругъ опять шумъ и тревога, суетня, разговоръ, гдѣ шопотомъ, гдѣ вслухъ — говорятъ: «ушли, бѣжали, увезъ, сманилъ, пропалъ безъ вѣсти...» Ирина Титовна упала въ обморокъ: кричатъ: «Савка! Сенька! Ѳомка! лошадей — коляску — дрожки!». Василько вспомнилъ невольно бѣлую пастушку и зеленаго трухтанчика въ саду, оглянулся, чтобы обѣжать глазами общество...

«Пожаръ!» раздалось вдругъ со всѣхъ концовъ, «пожаръ! домъ горитъ!» — и кавалерія вся кинулась съ топотомъ, на рысяхъ, къ дверямъ и окнамъ, между тѣмъ какъ слабый полъ весь боролся уже между жизнью и смертью. Мелаша, взглянувъ на яркое пламя среди теми ночной, вскрикнула и закрыла лицо руками; Ирина Титовна вскочила, опамятовавшись, и спрашивала: гдѣ пожаръ?

Весь дворъ стоялъ въ свѣтломъ пламени. Гости суетились на одномъ мѣстѣ, или бѣгали безъ толку; давали совѣты, кричали, командовали, а взяться за дѣло было некому. Нѣсколько дворовыхъ и чужіе кучера́ также метались туда и сюда, а мужиковъ изъ деревни не видать было ни

одного. Маіоръ, Василько, а съ ними Горемыкинъ, въ ту же минуту кинулись къ огню. Степанъ Власовичъ также кричалъ и распоряжался, но по-своему: ухвативъ каждаго праздношатающагося зрителя за́-воротъ, не спрашивая кто онъ, гость или хозяинъ, кучеръ или баринъ, онъ оглушалъ его градомъ проклятій и тащилъ, не давъ опомниться, на рысяхъ, туда, гдѣ нужны были ру́ки, приговаривая: «Это не потѣшные огни, трясця тебѣ съ болячками, это домъ горитъ», и заставлялъ приниматься въ ту же минуту за работу.

Въ пламени стояла до сихъ поръ одна только Митина голубятня, но она примыкала почти вплоть къ сараямъ и конюшнѣ; а всѣ строенія эти были крыты соломою. Василько однимъ взглядомъ разсмотрѣлъ и сообразилъ все, успѣлъ уже ухватить гдѣ-то топоръ и кинулся подрубать бревно, на которомъ Савка искусно умостилъ всю голубятню. Между тѣмъ расторопный Савка взобрался уже по столбу вверхъ и привязалъ къ нему веревку, чтобы свалить голубятню на просторное мѣсто, не дать ей упасть на одно изъ сосѣднихъ строеній. Грибокъ свалили, растащили врознь головни, залили, а Василько между тѣмъ распоряжался уже на кровлѣ конюшни и увидѣлъ оттуда, на противустоящемъ сараѣ, маіора. Погрозивъ ему кулакомъ, Пушка закричалъ: «молодецъ, каналья, расцѣлую!» Къ счастію, не было вѣтру; раздергали солому, залили тлѣвшійся тутъ и тамъ огонь, и дѣло было кончено; приставивъ людей для присмотра, всѣ возвратились въ покои.

Когда узнали, что вся бѣда ограничивалась уничтоже-

ніемъ Митиной голубятни, боровика, какъ Савка ее называлъ, и утратою голубей, за которыми Митя лазалъ теперь съ крикомъ и воемъ по кровлямъ и кричалъ, чтобы ему скорѣе подали силокъ, — когда все это объяснилось, то страхъ и ужасъ миновался, роковой ударъ пронесся мимо. Василько въ глазахъ всѣхъ показалъ себя молодцомъ, старый маіоръ также, а сверхъ того еще насмѣшилъ всѣхъ, заставивъ чопорныхъ и щепетильныхъ кавалеровъ лѣзть за собою на кровлю и таскать воду. Стыда ради, и они прикинулись, что дѣлали все это охотно, и красно разсуждали объ обязанности всякаго приниматься въ такомъ случаѣ за дѣло своими руками, а не кричать и командовать, потому-де, что крикомъ изба не рубится. И крута гора, говорится, да забывчива; бѣда миновалась, и страхъ прошелъ. Общее веселье завладѣло снова всѣми, всякая принужденность исчезла: всѣ радовались, что бѣдоносная туча пронеслась; всѣ были веселы и очень говорливы.

Маіоръ съ Васильком вошли переодѣтые — и шумный рой тетушекъ и кумушекъ имъ на встрѣчу, и хозяйская чета низко кланялась и благодарила. Маіоръ поцѣловалъ еще разъ Василька при всѣхъ, назвалъ его канальею и сказалъ: «молодець детына, яжъ кажу що молодець. Якъ ухопывъ сокиру — та де винъ іи у биса надыбавъ? якъ пишовъ лагодыть, не наче дванадцятеро ципомъ арнаутку молотять.... Пономарь!» сказалъ онъ, оборотившись къ Евстрату, «а де винъ? онъ-де! Не мыкай горе, и ты такий свое узявъ! А вы», продолжалъ маіоръ, относясь ко всему честному обществу, «а вы, скажить мини, чи вы гости, чи вы паны, чи

вы люде? чи вы зъ сахару та зъ меду, або мабудь и сами изъ соломы пороблены, що боитеся осмалыться на огни, растопиться на води? Стоять мои хлопцы, просты Господы, якъ намалёваны хранцузы при узятіи Парыжа, стоять, та тилько дывляться соби! дыватьсяжъ якъ уже на те пишло, дываться уси: пиды сюда, мамочко моя, мое сердце, де ты? не бига, сынку!» и за словомъ взялъ за руку крестницу свою, Мелашу, которая хотѣла была ускользнуть, и вывелъ ее напередъ—«дывиться, чомъ вона у рябенькому платьи, а була у билому? а? глядыжь на мѐне, моя кома́шечка, та не хова̀йся—вона, бачете, воду на соби у глѐчику носыла изъ ставка́, биля воротъ, та подавала народови, щобъ залывалы. Отъ винъ», указавъ на Василька, «якъ ведмедь, узявъ, та звалывъ, та поламавъ; а вона, якъ касаточка, по зерну, та по копельки — а; и Богъ мылосердый послухавъ, нема пожару! Батько, мате! отъ вамъ на сегодня та на завтра прынцъ и зъ прынцесою; вына̀ швыдче—а прыкажить лишень справди вына̀ податы — за здоровье прынца мого зъ прынцесою! Ура!»

Вина подали, принцъ съ принцессою, по настоянію маіора, къ которому пристали и тетушки и кумушки, должны были поцѣловаться, гости кричали ура и запивали виномъ. Пушка, съ замѣчаніемъ: «старый грихъ у михъ» — приказывалъ всѣмъ забыть, что онъ пожурилъ, а затѣмъ радоваться и веселиться.

Все это хозяйкѣ дома и неутомимымъ, всемірнымъ свахамъ чрезвычайно нравилось. Дѣло, казалось, рѣшено, что изъ Василька съ Мелашей должна вскорѣ выйти пара,

это, конечно, и *кукса*, то есть безпалый, по перстамъ сочтетъ. О Настасьѣ Степанида Ѳоминишна меньше заботилась: Настя была не такъ робка и застѣнчива, выше, виднѣе и дороднѣе сестры своей и умѣла уже сама себя показать лицомъ.

Теперь только спохватились, послѣ суматохи, Авдотьи Поликарповны, которая во все время пожара кричала на дворѣ своего Мишку и не могла его докричаться, потому что маіоръ отпустилъ ему уже два полновѣсныхъ подзатыльника, заставляя его лѣзть на сарай. Авдотья Поликарповна была внѣ себя отъ ужаса, но ее напугалъ не пожаръ, а бѣгство дочери ея, Улиньки, съ отставнымъ корнетомъ въ желто-зеленомъ фракѣ. Корнетъ этотъ, вступивъ послѣ отставки отъ Марса въ службу стариннаго русскаго божка Леля, сдѣлался неукротимымъ поэтомъ и взялъ приступомъ недоступную для другихъ твердыню сердца Улиньки. Говорятъ, что у осаждателя были при этомъ разные приступныхъ и подкопныхъ дѣлъ мастера и хитрые городоимцы; что отставной корнетъ умѣлъ воспользоваться также оплошностью коменданта и искусствомъ льстивыхъ лазутчиковъ своихъ, акростиховъ и мадригаловъ; конецъ концовъ, гарнизонъ сдался на капитуляцію, хотя Авдотья Поликарповна, подъ природнымъ покровительствомъ коей состояла спорная крѣпостца, рѣшительно объявила бездомному и безкровному корнету, чтобы онъ не безпокоился, чтобы и въ голову не забиралъ себѣ такихъ пустяковъ, потому что Улиньки ему не видать какъ ушей своихъ; побѣдитель же, воспользовавшись правомъ завоевателя, нынѣшнею суматохою и помощью

Ирины Титовны, увелъ милую плѣнницу свою и съ нею скрылся. Онъ же, отчаянный любовникъ нашъ, поджегъ тайкомъ потѣшные огни Евстрата, чтобы нечаянность эта надѣлала еще болѣе тревоги и чтобы отвлечь общее вниманіе отъ своего предпріятія. На военномъ языкѣ это называется демонстраціей, диверсіей, для отвлеченія непріятеля; и отставной корнетъ нашъ, какъ видите, былъ въ своемъ родѣ большой стратегикъ. Всѣ выбѣжали въ садъ. Забавнѣе всего было то, что Сергѣй Сергѣевичъ, оставшись въ это время преспокойно въ залѣ, гдѣ вздыхалъ надъ бренными останками гуслей своихъ, какъ Марій на развалинахъ Карѳагена, и увидавъ Улиньку, которая шла закутавшись черезъ залу въ сѣни, схватилъ свѣчу и кинулся ее провожать, такъ какъ въ цѣломъ домѣ не было ни одного хлопца, а всѣ выбѣжали въ садъ. Сергѣй Сергѣевичъ проводилъ Улиньку до приступка, дождался, покуда она съ корнетомъ своимъ усѣлась въ карету Ирины Титовны, поклонился низехонько, карета покатила, а Сергѣй Сергѣевичъ воротился спокойно, со свѣчею въ рукахъ, собирать свои гусли; ему и въ голову не приходило, чтобы онъ такимъ образомъ способствовалъ похищенію; онъ провожалъ гостей, былъ занятъ постигшимъ его бѣдствіемъ и больше ни о чемъ не думалъ.

Между тѣмъ, Авдотья Поликарповна докричалась Митьки своего нѣсколько прежде, чѣмъ пожарная суматоха окончательно угомонилась, дала ему впотьмахъ собственноручный строжайшій выговоръ за ротозѣйство, сѣла и уѣхала домой. Надобно было послать мужа, который былъ нездоровъ и

сидѣлъ дома, въ погоню за дочерью. Авдотья Поликарповна приготовила уже мысленно убѣдительную привѣтственную рѣчь для бѣднаго своего сожителя, рѣчь, отъ которой онъ долженъ былъ мгновенно выздоровѣть, подняться на ноги и скакать за дочерью, потому что всему, видите, виною было несмотрѣніе его, послабленіе и безпечность.

Услужливые языки хотѣли свалить причину пожара на потѣшные огни Евстрата; но, къ счастію, вскорѣ открылось, что Митя лазилъ съ огнемъ на голубятню, оставилъ тамъ огарокъ, отъ котораго солома загорѣлась и охватила въ одну минуту всю кровлю боровика.

Было уже не совсѣмъ рано, вечеръ на исходѣ, но всѣ вечернія приключенія разогнали у гостей сонъ, а барышни объявили, что разбитые гусли, пожаръ и, наконецъ, похищеніе Улиньки такъ ихъ напугали, что они спать идти боятся и хотятъ еще посидѣть. Рѣшено было, что расходиться рано; но что начать? — музыки нѣтъ, и не одинъ молодецъ охорашивался уже, горя нетерпѣніемъ разыграть дюжину-другую сочныхъ фантовъ — какъ Василько вдругъ сказалъ дѣвицамъ: «Кажется, барышни, вы бы охотно, послѣ сегодняшней тревоги, отдохнули, сѣли бы въ кружекъ въ диванной и послушали бъ какую-нибудь сказочку; не такъ ли?»

Слово это сказано было во-время и у мѣста; лучшаго нельзя было выдумать. Въ самомъ дѣлѣ, общее расположеніе было именно такое, какъ Василько сказалъ. Всѣ барышни столпились, какъ пчелки, въ угольной, на диванѣ. Принцъ

съ принцессой сѣли, по общему приговору, рядкомъ, остальные пріютились вокругъ, всякій искалъ уголка и мѣстечка; старички и старухи частью ушли на покой, частью доканчивали разстроенный бостонъ, а частью подсѣли тутъ же; Савка вошелъ, пробрался въ кружекъ, подвернулъ на полу ноги калачикомъ и началъ такъ *):

«Что въ былое время быль была правдивая, то у насъ нынѣ сказка пошла гульливая! люди сложили, такъ отколѣ-нибудь да взяли; а мы вѣры неймемъ затѣмъ, что сами не видали.

«Было ль то въ царствѣ, было ль въ государствѣ, аль за-просто въ вольной землѣ, а жилъ былъ, промежъ воеводъ да бояръ, богатый князь, по имени Крутояръ. А коли звали его и не Крутояромъ, такъ и то пусть такъ, даромъ; звали не звали, да мы такъ прозвали.— Богатства было у князя вольное приволье и жить бы ему потѣха и раздолье — да одолѣла князя дума потайная, что кручина сердце сушитъ, кручинушка злая. Полюбилась князю дѣвица, красадѣвка бѣлолица, и позвалъ князь цыганку-ворожейку. «Ой», говоритъ, «ворожейка ты, ворожея, ты мнѣ службу сослужи: загадай ты мнѣ да скажи, какая мнѣ написана въ женитьбѣ доля, много ль увижу добра да счастья, много ль надъ головой моей будетъ ненастья?»

---

*) Можетъ статься, Савка говорилъ сказку свою и не отъ слова до слова, какъ она у насъ напечатана: упомнить всю наизустъ было трудно; онъ же мѣшалъ наполовину украинскія слова. Мы написали ее, стараясь отступать отъ словъ разсказчика сколько можно менѣе.

«Какъ раскинула цыганка да развела, какъ на руку ему глянула да концы свела, такъ головой про себя покачала, да опять поворожила, да на руку шептала. — «Нѣтъ», говоритъ, «золотой мой бояринъ, видно, такъ тому и быть, свою долю не переспоришь; хочешь—мирись, не хочешь—повздоришь, а она возьметъ свое, на томъ постоитъ. Тебѣ на роду написано жениться, а дѣтища не видать; видно, такъ тому и случиться.»

«Вотъ и взяло раздумье князя Крутояра. «На кого жь я», говоритъ, «положу свое достоинство княжье, кто вынесетъ на себѣ мою честную честь, кто мою славную славу, коли не быть отъ корня моего ни единому отростку?» Думалъ онъ, думалъ — «вретъ», говоритъ, «шальная ворожея-цыганка, вретъ оттого, что больно зазналась; посѣчь было бъ ее, такъ авось бы и призналась. Приведите ее сюда!» Хвать-хвать за цыганкой, туда-сюда—нѣтъ цыганки, ушла и пропала, слѣду не покинула, вѣсти не присылала.

«И долго ли, нѣтъ ли съ раздумьемъ князь носился, а думалъ да думалъ, да взялъ и женился. И что ему дѣлается? денегъ много; пьетъ да гуляетъ, да молодую княжну тѣшитъ да потѣшаетъ.— А тѣмъ часомъ, глядь—прогнѣвилъ чѣмъ-то царя; царь шлетъ за нимъ, а онъ отъ него: сѣлъ, да поѣхалъ, да таковъ и былъ, ушелъ въ чужую землю, да тамъ себѣ и жилъ.

«И пришло такое время, не то безвременье, что князь себѣ думаетъ: «говорилъ я, что вретъ она, сухопарая горлянка, говорилъ, что вретъ окаянная цыганка: оно такъ и вышло; у меня будетъ князекъ, будетъ дѣтище любимое,

ясный соколокъ. Кто бабѣ повѣритъ, трехъ дней не проживетъ, и кто съ нею свяжется, дуракомъ пойдетъ». А князь про то, что гадала цыганка, не сказывалъ никому: никто про то и не зналъ.

«Когда же пришло время, что быть на свѣтъ дѣтищу княжью, то стала княгиня со своими свой бабій совѣтъ держать: «Дѣды наши», говоритъ, «такой законъ положили, такой завѣтъ постановили, что коли въ семьѣ молодая жена принесетъ мужу первенца-сына, то ей отписать за это большія богатства; а буде первенцу принесетъ дочь, то нѣтъ ей, женѣ, добра родоваго ни алтына. Надо-де дѣло изладить и приспособить, чтобъ намъ, за чужимъ не гонявшись, да хоть своего не опустить; а вѣдь что Богъ дастъ, сына ли, дочь ли — не узнаешь».

«Вотъ и стали искать, тайныхъ гонцовъ разсылать, и нашли, припасли младенца, новорожденнаго сына: отецъ его холопъ, мать его холопка — да нужды нѣтъ: въ княжью положатъ зыбку да полою княжьяго кафтана накроютъ — такъ чѣмъ онъ не князь? Прописи на лбу и въ тѣ поры, какъ нынѣ, не клали; кто что лишнее знаетъ, тому глотку и ротъ заткнутъ золотомъ—онъ и молчитъ. Кому тогда до чего нужда?

«И насталъ часъ радостный и смутный; далъ Богъ дѣтище княгинѣ, далъ и князю, и далъ не дочь, а сына; да князь молодой народился уродомъ: у людей по пяти пальцевъ на рукахъ и на ногахъ, а у него гдѣ пять, тамъ пять, а на одной рукѣ шесть. И снова глянули, и снова сосчитали — нѣтъ, шесть да шесть, съ костей не скинешь;

онъ бы и не великъ, поменьше мизинца, да тутъ ему не мѣсто: про князей шестипалыхъ въ ту пору нигдѣ еще не было слышно; стало быть, онъ-де въ князи не годится.

«Стали судить да рядить, да свой бабій совѣтъ вдвоемъ ли, втроемъ ли держать — ну, неравно-де князю шестипалое дѣтище не будетъ въ угоду? Ну, неравно еще онъ не признаетъ, скажетъ: такихъ у меня и въ роднѣ не бывало? Взяли да отдали шестипалаго княженка холопкѣ, вотъ-де тебѣ на обмѣнъ твоего, а вотъ и червонцевъ кошель на придачу; подай своего, онъ будетъ княземъ, и въ золотѣ станетъ ходить, и серебро станетъ носить, и ѣсть будетъ слаще, и спать мягче.

«Затѣмъ, стали расти и тотъ и другой, и князь подкидной, и князь коренной. Отецъ ни про что не зналъ и не вѣдалъ; тутъ въ землѣ его скоро другой воцарился царь; этотъ сталъ милостивъ къ опальному князю, позвалъ его ко двору, да надѣлъ на него всѣ милости свои, сколько у него ихъ было. Князю въ первое время было не до своихъ, забылъ было и княгиню и княженка; а когда спросилъ про нихъ да велѣлъ было пріѣхать къ себѣ, такъ самъ слегъ да Богу душу и отдалъ.

«Княгиня, на чужой землѣ живучи, соскучилась; стала ее и совѣсть мучить — да дѣла ужь нечѣмъ было поправить. Матери ея да бабки, что подмѣнили ребенка, давно уже не было на свѣтѣ: сама она не знала, гдѣ его искать — такъ она своего-то сгубила, а чужой опостылѣлъ — взяла и его, и этого, да черезъ третьи руки, чтобы не знали чей и отъ кого, переслала куда-то въ иное мѣсто, добра

ему что захотѣла отписала, а сама и уѣхала, да и умерла, какъ по душу Господь послалъ, одинока: былъ и мужъ, было два сына, одинъ-таки свой, другой, что въ обмѣнъ взяла, а теперь не стало ни того, ни другаго, ни третьяго.

«Вотъ кабы живъ былъ старый князь, да послышалъ бы, что и какъ было, такъ и вспомнилъ бы цыганку: онъ сына въ глаза не видалъ.

«Что въ былое время быль была правдивая, то у насъ нынѣ сказка пошла гульливая; люди сложили, такъ съ чего-нибудь да взяли, а мы вѣры неймемъ, за тѣмъ, что сами не видали».

— Что жь это, все? — спросили тѣ, которые еще не заснули. — Да, все, — отвѣчалъ Савка, — гдѣ больше взять, только и есть! — Да что жь это за сказка, тутъ и толку не добьешься? началъ опять какой-то, ты скажи порядкомъ: что жь послѣ было? — Да я жь вамъ говорю, сударь, — отвѣчалъ опять Савка, стоя уже у дверей, — что только ея и есть; больше ничего и не было; обождемъ, коли приложатъ еще что къ ней, стану говорить и дальше. Теперь только: князь служитъ въ низкомъ званіи, а подкидышъ занялъ его княжеское мѣсто. Ни тотъ, ни другой отца, ни матери не знаютъ — и только.

Савкинъ ужинъ давно былъ готовъ; иначе Степанида Ѳоминишна не пустила бъ его и въ сказочники, хотя она, правда, такъ была счастлива, что князь съ княгиней сидятъ рядкомъ призадумавшись, такъ счастлива, что готова была разрѣшить и позволить все, лишь бы продлить это желанное сочетаніе обстоятельствъ.

Когда Савка кончилъ сказку, всѣ встали потягиваясь и пошли въ залу, къ ужину. Ужинъ былъ гораздо молчаливѣе обѣда; всѣ устали, всѣмъ хотѣлось спать, всѣ притихли.

Василько вышелъ прямо въ садъ; это былъ одинъ изъ тѣхъ вечеровъ, одна изъ тѣхъ ночей, когда не хочется запираться въ четырехъ стѣнахъ. Савкина безтолковая сказка тронула притомъ какую-то потайную струну души Василька: онъ не зналъ почему это, сталъ доискиваться и, наконецъ, подумалъ, что просто Русь матерая, родной духъ и складъ Савкиныхъ словъ, пробуравилъ ему по сердцу — и продолжалъ думать и мечтать объ этомъ дальше и дальше. Онъ прохаживался медленно по средней, расчищенной дорожкѣ; липы и ясени дремали сводомъ надъ его головой, только неугомонный листъ осины изрѣдка трепеталъ и шелестилъ отъ едва замѣтной воздушной струйки; огни въ барскомъ домѣ, одинъ за другимъ, потухали, все успокоилось; по-временамъ только слышенъ былъ глухой топотъ коней на конюшнѣ, лай цѣпныхъ собакъ да чередной окликъ деревенскихъ пѣтуховъ. Сторожъ проколотилъ уже въ другой разъ клепаломъ въ чугунную доску, осколокъ старой кухонной плиты, и сталъ напѣвать про себя чистымъ голосомъ: «Всякое житейское нынѣ отложимъ попеченье», Василько легъ, помолившись, подъ дерево, закинувъ руку подъ голову — съ полчаса еще въ головѣ его бродили Богъ вѣсть какія затѣи, желанія и надежды; съ полчаса еще онъ слышалъ, среди всеобщей тишины, какъ стучало сердце его, и сталъ прислушиваться къ этому маятнику и думать,

долго ли ему суждено ходить и такъ ли онъ будетъ стучать черезъ годъ со днемъ, какъ сегодня, избыткомъ силъ, полнотою жизни; ему показалось еще, будто онъ слышитъ какой-то отдаленный жалобный голосъ, но онъ уже не зналъ, во снѣ ли онъ слышитъ это или на яву, и вскорѣ уснулъ.

Проспавъ часа четыре въ одинъ духъ, крѣпкимъ, непробуднымъ сномъ, Василько проснулся и наспалъ въ эти четыре часа болѣе, чѣмъ иной тунеядецъ въ круглыя сутки. Воробушки уже чирикали галиматью свою, сидя въ густыхъ вишняхъ, и встрѣчали несущагося мимо ихъ воробьятника, возвысивъ голосъ, дружнымъ и общимъ щебетаньемъ изо всѣхъ силъ. Кошка прокрадывалась втихомолку къ сосѣднему сараю, не обращая никакого вниманія на сторожевое *чивъ*, *чивъ* стараго воробья, который провожалъ ее, перепрыгивая съ вѣтки на вѣтку, съ дерева на дерево. Гуси громкимъ крикомъ настойчиво требовали свободнаго пропуска къ рѣкѣ; а съ сосѣдняго мужичьяго току раздавались сильные удары цѣпа, все по три да по три. Василько всталъ, потянулся, стиснувъ кулаки, весело взглянулъ на Божій міръ и пошелъ освѣжиться на рѣку.

Раздѣвшись, кинулся онъ въ воду, нырнулъ глубоко и далеко, вынырнулъ, отряхивая голову, и сталъ прислушиваться: плачевный голосъ звалъ его по имени на помощь; въ ушахъ Василька отозвались вечерніе, отдаленные вопли. Оглядѣвшись, увидѣлъ онъ, что на обросшемъ камышемъ и осокою островкѣ стоитъ человѣкъ; Василько поплылъ туда, что было у него силъ, и — кто опишетъ удивленіе его,

когда онъ узналъ въ бѣдствующемъ Улинькинаго корнета, этотъ олицетворенный мадригалъ въ желто-зеленомъ фракѣ! Какъ мокрая мышь, стоялъ онъ въ бальномъ облаченіи своемъ передъ героемъ нашимъ и, не попадая зубомъ на зубъ, разсказывалъ, со всею откровенностію отчаяннаго любовника, ночныя похожденія свои.

Зажегши потѣшные огни, чтобы воспользоваться суматохой, онъ посадилъ обомлѣвшую Улиньку въ карету подручницы своей, Ирины Титовны, и велѣлъ гнать и въ хвостъ и въ голову. Лошади испугались ракетъ и бураковъ, понесли сперва вверхъ по берегу, а потомъ прямо въ воду. Потерявшись отъ страху, онъ выскочилъ изъ окна кареты, упалъ въ воду, не досталъ, какъ ему казалось, дна, и не умѣя плавать, началъ биться и тонуть. Такимъ образомъ, то на водѣ, то подъ водою, то головою кверху, то ногами, онъ уже выбился изъ силъ, когда почувствовалъ подъ собою песокъ: корнета принесло теченіемъ на мелкое мѣсто, и онъ наконецъ достигъ вбродъ островка. Тутъ просидѣлъ онъ всю ночь, и докричался до того, что сталъ уже выть по-волчьи, а никто на помощь не являлся. Что сталось съ невѣстою его, онъ не зналъ; но ему показалось, будто карета съ лошадьми совсѣмъ ушла ко дну. Бѣдный акростихъ мой горько плакалъ, и дрожалъ, какъ осенній листъ. Василько успокоилъ его, увѣривъ, что въ рѣчушкѣ этой нѣтъ омута, въ которомъ могла бы пропасть безъ вѣсти цѣлая карета и четверка лошадей; самъ переплылъ опять на берегъ, отыскалъ *каюкъ*, челнокъ, переправился снова на островъ, посадилъ и перевезъ не-

счастнаго любовника, который теперь, въ буро-зеленомъ измокшемъ фракѣ своемъ въ обтяжку, болѣе походилъ на лягушку, чѣмъ на человѣка. Одѣвшись наскоро самъ, Василько провелъ бѣднаго чижика черезъ калиточку въ садъ, оставилъ на время въ знакомой намъ красной бесѣдкѣ, досталъ у Евстрата бѣлья и сюртукъ, одѣлъ плѣнника своего и развѣсилъ платье его для просушки. Сколько Василько ни жалѣлъ о бѣдствіи этого бѣдняка, но ему, Васильку, безпрестанно напѣвалось: «Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ? на канавкѣ воду пилъ» — и съ трудомъ только онъ удерживался отъ смѣха.

Позвольте замѣтить здѣсь еще одно маловажное и постороннее обстоятельство: прибѣжавъ къ Горемыкину за бѣльемъ и одеждой, Василько впервые познакомился короче съ платейною своего пріятеля — и какое-то особенное чувство, овладѣвающее нами при неожиданной встрѣчѣ нагой нищеты, его поразило. Мы часто слышимъ о бѣдности и нуждѣ, даже слишкомъ часто, жалѣемъ о неимущихъ, но это не то: жалкая картина эта поражаетъ насъ иногда нечаянно на самомъ дѣлѣ, и врѣзывается иначе въ душу. Евстратъ вынулъ между прочимъ изъ сундучка своего *полторы* рубахи, — всѣхъ и вся; — и сожалѣлъ, что лучшая, то есть цѣлая, была теперь, ради праздника, на немъ.

Оставивъ чижика, Василько обратился съ вопросомъ къ Горемыкину: что припасено было на сегодняшній день, какія потѣхи? Евстратъ признался, краснѣя и запинаясь, что не было приготовлено ничего. День этотъ, рожденіе Ме-

ланьи, празднуется только кстати и заодно со вчерашнимъ, съ именинами Настасьи Сергѣевны; никогда не обращали на него большаго вниманія, и Степанида Ѳоминишна, казалось, не считала его слишкомъ важнымъ.

— Не попустимъ этого, Евстратъ Богдановичъ, сказалъ Василько,—за что такъ? поставимъ на ноги какую-нибудь проказу, да чтобъ она была не хуже вчерашней: ладно, что-ли?

Горемыкинъ очень сладостно улыбнулся и потупилъ взоры.

— Я душою радъ, сказалъ онъ, нотеперь время такъ коротко — успѣемъ-ли мы?

— О, стоитъ только захотѣть,— сказалъ Василько, потирая радостно руки, какъ человѣкъ, которому удалось сдѣлать какое-нибудь чрезвычайное открытіе, — стоитъ захотѣть, такъ успѣемъ — И обхвативъ Евстрата одной рукой, пошелъ онъ съ нимъ внизъ по саду; первымъ слѣдствіемъ этого совѣщанія было, что человѣкъ двѣнадцать мужиковъ работали въ самомъ отдаленномъ концѣ сада, лопатами и кирками. Степанида Ѳоминишна приказала дать Васильку работниковъ съ перваго слова,— что, надобно признаться, было дѣломъ необыкновеннымъ, и Степанида Ѳоминишна конечно была увѣрена, что потакаетъ ему во всемъ не спроста и не спуста, а съ умысломъ и съ толкомъ. Рабочій день *панщины* сросся съ душею Степаниды Ѳоминишны, и она его обыкновенно не уступала никому и ни за что. Самъ Василько, оставивъ Горемыкину наставленія, поговорилъ шепотомъ съ названною матерью своею и полетѣлъ, подъ благовиднымъ предлогомъ, домой, гдѣ растор-

мошилъ всю платейную ея и засадилъ всѣхъ дворовыхъ дѣвокъ за работу. Къ обѣду, Василько уже поспѣлъ опять къ именинницѣ, какъ звали сегодня Мелашу, хотя это и былъ день ея рожденія

Между тѣмъ Ирина Титовна, у которой сердце и совѣсть были какъ-то не на мѣстѣ, потому что не было еще о сю-пору ни слуху, ни духу о каретѣ ея,—Ирина Титовна отправилась, какъ ни въ чемъ не бывало, соболѣзновать Авдотьѣ Поликарповнѣ въ нынѣшнемъ бѣдствіи ея. Къ величайшему изумленію своему, она слышитъ, что Улинька уже дома, что и карета тутъ же и — главное и самое непріятное, — что не только Улинька, но и лакей съ кучеромъ, во всемъ признались и Ирину Титовну выдали и продали. Дѣлать было нечего: Ирина Титовна рѣшилась на этотъ разъ не падать въ обморокъ, не равно-де здѣсь некому будетъ и поднять — а уставивъ руки въ боки, глаза въ потолоки, сама перекричала всѣхъ, такъ что всполошила на заднемъ дворѣ цѣлый гусиный гуртъ, который звонкимъ гаганьемъ сталъ перекликаться съ голосистою гостьею. Затѣмъ она сѣла въ карету свою и уѣхала.

Въ это-же время чижикъ нашъ, кой-какъ обсушившись въ бесѣдкѣ, одѣлся натощакъ опять въ свое платье и отправился тайкомъ домой. Но мужики, которые знали его подъ именемъ *зеленаго панка*, встрѣтили его, взяли и повели подъ карауломъ на панскій дворъ, потому что Авдотья Поликарповна сама заѣзжала вечеромъ въ корчму и обѣщала жиду и мужикамъ награжденіе, если кто поймаетъ зеленаго панка. Когда барышни наши пошли утромъ погу-

лять — къ чему настроилъ ихъ Василько, чтобы отвлечь вниманіе ихъ отъ приготовленій въ саду — то встрѣтили несчастнаго чижика подъ конвоемъ. Всѣ, глядя на жалкое положеніе бѣдняка, на разстроенное, истощенное муками души и тѣла лицо его, ужаснулись; Настасья, какъ хозяйка и особа довольно бойкая, вмѣшалась наконецъ въ дѣло и освободила настояніями своими плѣнника. Со слезами на глазахъ отправился онъ пѣшкомъ во свояси.

Маіоръ, который засиживаться не любилъ, поѣхалъ между тѣмъ съ ружьемъ прокатиться на допотопномъ *струментѣ* своемъ и встрѣтилъ, — отгадайте кого, съ кѣмъ, гдѣ и что дѣлающихъ — какъ спрашиваютъ у насъ въ извѣстной игрѣ на записочкахъ? — Ирину Титовну, въ каретѣ, все съ тѣмъ же чижикомъ, на распутьи, безъ лакея и безъ кучера, одинъ конь въ дышлѣ и одинъ подъ выносомъ! Шествіе это много походило на погребальный поѣздъ, гдѣ мыши кота хоронятъ. Когда маіоръ разсказывалъ бывало объ этой встрѣчѣ, разсказывалъ, что заполевалъ въ этотъ день, вмѣсто дрохвы, Ирину Титовну — то хохоталъ, заливаясь и утирая очи въ два кулака, и кричалъ бывало только: «гой, братци мои козаки! годи уже, видпустить душу мою гришную на покаяніе, уже не буду бильше, ей-богу не буду» и самъ снова принимался хохотать, будто его русалки щекочатъ. Дѣло въ томъ, что, отправившись отъ Авдотьи Поликарповны, Ирина Титовна приказала ѣхать прямо домой и во всю дорогу сулила кучеру, форейтору и запятнику своему, звонкимъ и яснымъ голосомъ, такія лестныя награды за вечернюю неудачу и

неумѣстное признаніе, что у тѣхъ голова вскружилась съ похвалъ и на душѣ помутилось. Они знали, что Ирина Титовна въ такихъ случаяхъ шутить не любитъ. Поэтому хлопецъ, наслушавшись всего вдоволь, соскочилъ съ запятокъ и пошелъ своимъ путемъ, сказавъ кучеру: «нехай вже твоя шкура видвичатыме, колы схоче, а я не дурный». Кучеръ, не долго думая, сказалъ товарищу своему, выносному: «Остапе! Грыцько утикъ, утечемо-й мы!» затѣмъ они остановились и, не отвѣчая ни одного слова на отчаянный, злоязростный крикъ и брань пани своей, отложили каждый по одной лошади, кучеръ коренную, а тотъ подсѣдельную, и поскакали.

Въ такомъ отчаянномъ положеніи — одна-одинешенька, въ чистомъ полѣ, въ степи, съ однею коренною и одною выносною клячею, сидѣла наша Ирина Титовна, проклиная голосисто весь міръ и всѣ къ нему принадлежности — и наконецъ, залившись слезами и заломавъ руки, стала просить у судьбы помощи. Молитва ея была услышана: на небосклонѣ безвѣстности воздымается облако надежды — облако пыли — и если это не чортова свадьба, — подумала страдалица наша,—если не вихрь степной, что конечно двѣ ноги, по крайней мѣрѣ, вздымаютъ эту пыль. Ирина Титовна не успѣла еще дорисовать огненнымъ воображеніемъ своимъ неясное видѣніе, не успѣла сложить двѣ ноги, двѣ руки, дать имъ пріятное туловище, какую-нибудь голову и сострадательное сердце, какъ узнала, въ приближавшемся путникѣ, къ неописуемой радости своей, бѣдствующаго со-

брата своего, свѣтло-зеленаго — нынѣ же буро-зеленоватаго — чижика.

Отощавшій акростихъ однако же не съумѣлъ даже перепрячь лошадей; онъ извинялся тѣмъ, что въ краснокутскомъ гусарскомъ полку, въ которомъ дослужился онъ до отставнаго корнета, ѣздятъ не на упряжныхъ лошадяхъ, а на верховыхъ, и что всякая упряжка принадлежитъ къ фурштату. Поэтому корнетъ нашъ сѣлъ на выносную верхомъ, постромки волочились, и рыдванъ потащился шажкомъ по дорогѣ. Въ этомъ жалкомъ положеніи маіоръ встрѣтилъ колесницу Ирины Титовны, словно послѣ отчаяннаго побоища. Позабавившись и нахохотавшись вволю, маіоръ велѣлъ было кучеру своему перепрячь обѣихъ лошадей въ корень; но оказалось, что выносная въ корню не ходитъ, она стала бить. Поэтому поѣздъ двинулся опять попрежнему, шагъ за шагомъ, и чижикъ снова сѣлъ верхомъ, въ бальномъ фракѣ своемъ, и понукалъ ретиваго коня, толкая его пятками подъ бока. И смѣхъ, и горе!

Между тѣмъ, въ Шпиговкѣ насталъ часъ обѣда; Степанида Ѳоминишна просила къ столу, и общество поднялось и усѣлось съ меньшею принужденностію, чѣмъ наканунѣ. Похожденія и приключенія послѣднихъ сутокъ сблизили, познакомили и породнили всѣхъ другъ съ другомъ.

Настя много и красно говорила; Мелаша была очень тиха, задумчива и часто краснѣла. Безконечный рядъ Савкиныхъ блюдъ, которыя шли сегодня опять подъ новыми прозваніями, кончился, а самъ онъ, ударивъ ладонью подъ дно бутылки, замотанной въ салфетку, опять уже разливалъ эту

вѣчную шипучку и просилъ мимоходомъ Дмитрія Сергѣевича прислушаться, увѣряя, что вино въ высокой рюмкѣ сверчкомъ чирикаетъ. Митя захохоталъ во все горло и объявилъ во всеуслышанье, на весь столъ, что Савка говоритъ, будто цымлянское поетъ сверчкомъ. Маіоръ всталъ, поднялъ стаканъ, напророчилъ крестной дочери своей, Мелашѣ, много добра и счастья и въ разгулѣ веселья закричалъ: «Ура! та чи нема тутечки де тезки моей? А ну, палы!» И за словомъ въ саду отозвалась пушка, другая, третья и одиннадцать сряду. Первая встревожила было барынь, но при послѣдней всѣ уже хохотали и поздравляли новорожденную; а какъ Ирины Титовны не было, то и въ обморокъ падать было некому.

Объяснимъ загадку: Василько закопалъ въ саду одиннадцать картузовъ пороху, провелъ по нимъ штопинъ, и по данному знаку, одиннадцать минъ были подорваны. Мелаша очень смѣшалась, была тронута и черезъ силу могла отблагодарить молча гостей и отвѣдать Савкинаго сверчка.

Тетушки и кумушки, все свахи на-голо, блаженствовали: онѣ были увѣрены, что работаютъ чрезвычайно успѣшно, и надо отдать имъ справедливость, онѣ успѣли по крайней мѣрѣ возмутить младенческій покой мирной души Мелашиной: она вздыхала и плакала, сама не зная о чемъ и по комъ, и не знала куда дѣваться отъ наставленій и поученій, которыми преслѣдовали ее на каждомъ шагу, требуя, чтобы она обходилась съ Василькомъ ласковѣе. Со всѣхъ сторонъ ей кричали шопотомъ въ уши, что Василько суженый ея, женихъ, со всѣхъ сторонъ учили

ее, какъ съ нимъ обходиться и что говорить и какъ на него глядѣть, поздравляли ее, цѣловали, наконецъ бѣдную дѣвушку сбили вовсе съ толку, она не знала что дѣлать, кого слушаться и чему вѣрить. Это называется по-русски: влюбить такую-то въ такого-то. Опытныя въ такихъ дѣлахъ бѣлошвейки, мои ковроткачки, искусныя дѣлательницы наливокъ всѣхъ родовъ и солельщицы огурцовъ съ кануперомъ, перцемъ и дубовымъ листомъ, были увѣрены, что не менѣе того влюбили и Василька въ Мелашу.

Мало-по-малу всѣ барышни стали, если смѣю такъ выразиться, волочиться за Васильком. Всѣ искали общества его и, не умѣя съ другими мужчинами провести двадцати минутъ въ сносной бесѣдѣ, охотно сиживали съ нимъ по цѣлымъ часамъ, и всегда шелъ у нихъ живой и занимательный для участвующихъ разговоръ. Такъ было и теперь, когда старички пошли послѣ обѣда отдохнуть; молодежь наша засѣла въ диванной, Василько былъ душою общества; бесѣда шла бѣглая, занимательная: заговорили о суевѣрьяхъ, повѣрьяхъ, примѣтахъ; завязался споръ между простенькими, къ коимъ принадлежала, напримѣръ, въ хорошемъ смыслѣ, и Мелаша, и между разумницами, которыми, такъ сказать, предводительствовала Настя. Первыя начали было разсказывать потихоньку про какія-то странныя примѣты, между тѣмъ какъ противницы ихъ объявили все это безсмысленнымъ вздоромъ, о которомъ стыдно говорить. Онѣ, конечно, повторяли затверженный урокъ. Но нашлись и такія, которыя не хотѣли сами рѣшить ничего, а обратились къ Васильку съ просьбой — сказать, какъ онъ объ этомъ думаетъ.

— Трудно, сказалъ Василько,—высказать вамъ въ немногихъ словахъ все то, что объ этомъ наговорить можно, все, что бы мнѣ хотѣлось: но вообще, знаете, все на свѣтѣ гораздо легче осмѣять, чѣмъ основательно опровергнуть, иногда даже легче, чѣмъ повѣрить; и то, о чемъ вы говорите, легче и проще поднять на смѣхъ, чѣмъ пуститься въ подробное, добросовѣстное разбирательство, сколько въ какомъ повѣрьи и суевѣрьи есть или было нѣкогда смысла, на чемъ оно основано и какую ему нынѣ должно придать цѣну. Едва ли однакоже можно допустить, чтобы повѣрье, распространенное между милліонами и встрѣчающееся даже очень нерѣдко у различныхъ народовъ, пережившее тысячелѣтія, было основано ни на чемъ, на одномъ только праздномъ вымыслѣ. Можетъ быть, есть нѣсколько и такихъ повѣрьевъ, но ихъ вѣрно найдется немного. Я думаю такъ:— иныя повѣрья и суевѣрья представляютъ у насъ памятникъ, остатокъ язычества; другія придуманы для того, чтобы заставить малаго и глупаго, окольнымъ путемъ, дѣлать то, чего отъ него прямымъ путемъ добиться было бы гораздо труднѣе. Опять другія повѣрья, въ сущности своей, основаны точно на опытѣ, на замѣчаніяхъ; но, будучи примѣнены ко всякому частному случаю, обращаются въ нелѣпость. Въ иныхъ видѣнъ только духъ времени, игра воображенія, иносказательные намеки, словомъ, одна народная поэзія, принимаемая нерѣдко за наличную монету. Есть также шуточныя повѣрья, которымъ мы, повторяя и затверживая ихъ, невольно начинаемъ, наконецъ, вѣрить. Есть, можетъ быть, уродливыя, вздорныя повѣрья, которыя

произвелъ на свѣтъ одинъ только пытливый умъ простолюдина, доискивающійся причины важнаго и непонятнаго ему явленія. Эти же повѣрья служатъ часто извиненіемъ, оправданіемъ и утѣшеніемъ въ случаяхъ, гдѣ прибѣгнуть болѣе не къ чему. Но, соглашаясь на все это, я опять таки повторяю, что сказалъ въ началѣ: есть и такія повѣрья, которыя гораздо легче могутъ быть осмѣяны, чѣмъ опровергнуты, и въ особенности чѣмъ обслѣдованы до дна и оцѣнены не по одной наружности своей. Шиллеръ сказалъ: «и въ дѣтской игрѣ кроется иногда глубокій смыслъ»; а Шекспиръ: «и на небѣ, и на землѣ есть много такого, чего мудрецы ваши не видывали и во снѣ». Вотъ вамъ, барышни, исповѣдь моя,— заключилъ Василько, и думалъ, что кончилъ; но одна изъ быстроглазенькихъ спросила его: «а что же вы думаете о предчувствіяхъ и о привидѣніяхъ?»

Василько отвѣчалъ коротко: «Объ этомъ можно наговорить цѣлый возъ, да и то еще на добрый вьюкъ останется; сущность этого безконечнаго разсужденія была бы, кажется: кто испыталъ предчувствіе на себѣ, кому покойники являются — тотъ вѣрь, потому что противъ убѣжденія спорить мудрено; а по наслышкамъ и однимъ праздным разсказамъ, кажется, вѣрнѣе не вѣрить». Но, ободренная потворствомъ этимъ, пригоженькая и бойкая чернушка растолковала или поняла слова эти по-своему, и принялась тотчасъ же за примѣры. «Вотъ позвольте», начала она, «одна старушка, мать кормилицы двоюродной сестры бывшей сосѣдки нашей Камиллы Киргизовны — старушка эта,

живучи у Бабарыки Штандартовны въ банѣ, стала слышать каждый вечеръ, ровно въ девять часовъ»...

Василько, взглянувъ на часы свои, всталъ потихоньку и вышелъ, оставивъ молодежь бесѣдовать въ сумеркахъ о привидѣніяхъ и посѣтителяхъ съ того свѣта — а самъ пошелъ взглянуть на свои затѣи.

Уже вовсе смерклось, когда барышни наши все еще сидѣли, съ самаго обѣда, столпившись въ кружокъ, и до того напугали сами себя и другъ-дружку разсказами о видѣніяхъ у Бабарыки Штандартовны въ банѣ, о явленіи живыхъ и мертвыхъ, что сидѣли въ потьмахъ, не смѣя дохнуть; и не понимали, зачѣмъ о сю-пору не подаютъ свѣчей, между тѣмъ какъ это было распоряженіе хозяйки въ угоду и по просьбѣ Василька. Сергѣй Сергѣевичъ ходилъ взадъ и впередъ по залѣ, свертывая платокъ свой въ комочекъ и утираясь имъ то справа налѣво, то слѣва направо; онъ не былъ посвященъ въ тайну нынѣшняго вечера, о которой, впрочемъ, и сама Степанида Ѳоминишна ничего не знала, кромѣ желанія Василька, чтобы до сюрприза не подавать свѣчей. Сергѣй Сергѣевичъ, замѣтивъ, что уже смерклось, осмѣлился было спросить едва слышнымъ голосомъ: «что долго не подаютъ свѣчей?» но получилъ за это отъ супруги своей выговоръ и затихъ. Маменьки и тетушки разсѣлись по растворенным въ садъ окнамъ, на широкомъ крыльцѣ и въ дверяхъ, разсказывали всѣ вполголоса, какъ заведенные часы, и ни одна не слушала; по комнатамъ носился только глухой гулъ, какъ отъ цѣлаго роя шмелей, залетѣвшихъ въ покои.

Вдругъ раздается гдѣ-то въ отдаленіи звукъ — звонъ — голосъ — позывъ изъ какого-то чуждаго міра, — чистый, ясный, неслыханный доселѣ, и замеръ снова среди ночной тиши. И вмѣстѣ съ этимъ таинственнымъ отголоскомъ у всѣхъ замерло сердце. Ни одна складочка въ платьецахъ барышень не шевелилась: всѣ дѣвицы насторожили ушки. Отдаленный свѣтъ разлился въ саду; голосъ поднялся снова изъ едва слышимаго вздоха и до сильнаго, полнаго могучаго звука, и казалось начиналъ призывно аукать: тогда никто не усидѣлъ на мѣстѣ; маменьки и тетушки стояли уже на крыльцѣ и вызывали молодежь, а молодежь уже толпилась за ними вслѣдъ; старый и малый пустились по дорожкѣ въ садъ, иныя дѣвицы толпились въ кучку, держались другъ за дружку, поговаривая: «ахъ, Боже мой, что это было?» другія напротивъ шли медленно, задумчиво, безмолвно и поднявъ голову. Невысокія перильца поперекъ дорожки остановили общество: передъ нимъ лежала единственная въ своемъ родѣ картина.

Это было въ теплый, темный и тихій осеннія вечеръ: все пространство впереди зрителей было ярко освѣщено, а между тѣмъ глазъ не встрѣчалъ ни одного пламени, ни одного огонёчка. Таинственный свѣтъ, который всѣхъ привелъ въ недоумѣніе, озарялъ, казалось, всѣ предметы снизу; зелень деревьевъ была яркà и свѣжà, какъ не бываетъ она и днемъ; зеленый свѣтъ и зеленая тѣнь словно выливались изъ земли, изъ самыхъ предметовъ — не было ни огня, ни солнца — перемѣшались въ причудливыхъ переливахъ и разостлались прозрачнымъ туманомъ, на кото-

ромъ лежалъ сверху • непроницаемый мракъ, рѣдѣющій только тамъ, гдѣ уже сверкали звѣздочки. Глазъ невольно воображалъ, что видитъ не природу, а картину; и обману этому, кромѣ непонятнаго свѣта, способствовали еще прихотливо и живописно расположенные предметы: на небольшомъ пролѣскѣ, между деревьями, паслось и отдыхало нѣсколько коровъ, козъ и овецъ, а тирольскій пастухъ стригъ овцу. Все это, особенно по странному освѣщенію, очень походило на театральную сцену и декораціи, но во всемъ была необыкновенная жизнь, потому что все было живое. Глазъ зрителей былъ пораженъ и изумленъ, ухо ловило еще едва отлетѣвшіе, неземные звуки, когда отдаленный едва слышимый отголосокъ сталъ ихъ повторять; ближе и ближе, громче и громче, — и вотъ на холмѣ явился другой пастухъ, въ тирольскомъ же платьѣ, во всемъ уборѣ, съ саженнымъ рожкомъ своимъ, коего широкій раструбъ загнутъ кверху — выступивъ смѣло и бодро. Тиролецъ ударилъ въ рожокъ, и полные могущественные звуки тирольскаго пастушьяго хоровода огласили окрестность. Когда одинокій, протяжный и заунывный голосъ начиналъ умирать, какъ послѣдній вздохъ безнадежныхъ желаній, тогда вдругъ слѣдовалъ отрывистый и нежданный переходъ почти въ плясовую, гдѣ смѣнялись только два или три звука, которые яркою противоположностью своею и необыкновенною простотою невольно вызвали на уста улыбку. Но утѣшеніе это кратковременно: безотчетная тоска уже снова накликается на взволнованную душу — и опять уже смѣняется вздохомъ, если не слезой, а тамъ опять сладостной улыбкой!

Кончилось тѣмъ, что успѣхъ этой шутки превзошелъ не только ожиданія Василька, но даже всякое его желаніе. Все общество, въ особенности же барышни наши, были поражены и взволнованы неожиданнымъ явленіемъ этимъ, упоены волшебными звуками, и если еще вспомнить предварительно напряженное, въ продолженіе вечерней бесѣды, воображеніе, то покажется не удивительнымъ, что всѣми овладѣла какая-то грусть и тоска; всѣ молчали, возвратившись въ покои, гдѣ все еще царствовали нѣсколько времени потемки; иныя даже втихомолку отирали безотвѣтныя и безотчетныя слезинки, прятались по угламъ, повѣсивъ головки— словомъ, по всему видно было, что за исключеніемъ немногихъ, которыя краснорѣчиво и громогласно изъявляли удовольствіе свое, всѣ тронуты были за живое.

Устройство всего этого было очень просто: свѣтъ падалъ снизу вверхъ, отъ искусно и съ умѣньемъ разставленныхъ въ ямкахъ и поперечныхъ канавкахъ плошекъ, которыхъ со стороны вовсе не было видно; самъ же Василько вставилъ кларнетъ свой, которымъ владѣлъ мастерски, въ поддѣльный изъ клееной бумаги рожокъ.

Старики и старухи стали уже спрашивать, куда дѣвался Василько, отчего его долго нѣтъ? Маіоръ кричалъ, что онъ его, каналью, расцѣлуетъ; Степанида Ѳоминишна разсыпáлась въ похвалахъ; даже самъ Сергѣй Сергѣевичъ, сгребая табакъ въ табакеркѣ своей горкой на средину, чтобы потомъ понюхать съ чувствомъ, увѣрялъ незабіячнымъ голосомъ своимъ, что это было прекрасно и очень, очень хорошо; Евстратъ сидѣлъ одинокъ въ далекомъ и темномъ

углу залы; Настя съ жаромъ расписывала во всѣхъ подробностяхъ то, что другіе видѣли и слышали вѣроятно не хуже ея; Мелаша осталась въ саду, на крыльцѣ, ей какъ-то хотѣлось быть одной; барышни какъ будто ждали Василька и боялись его; при каждомъ скрыпѣ дверей онѣ оглядывались—но Василько не являлся, и сверхъ того не досчитывались еще нѣсколькихъ кавалеровъ.

Степанида Ѳоминишна, желая занять и разсѣять молодежь, предлагала уже и лото, и фанты, и жмурки — но все это не клеилось; не было еще и девяти часовъ, а барышни уже поговаривали, что устали и хотятъ спать.

Въ такомъ нескладномъ положеніи были дѣла, когда Савка вошелъ и доложилъ, что какой-то итальянецъ, проѣзжая съ разными звѣрями, которыхъ возитъ на показъ, остановился на селѣ для ночлега, и узнавъ, что у господъ пируютъ, прислалъ спросить, не угодно ли посмотрѣть звѣрей его? они-де ручные; ихъ можно привести въ покои. Предложеніе было сдѣлано очень кстати: сама даже Степанида Ѳоминишна была сегодня очень въ духѣ посорить деньгами, блеснуть, показать, что ничего не жалѣютъ. Савку прогнали съ приказаніемъ звать итальянца.

И вотъ онъ подходитъ, избоченясь, похлопывая арапникомъ, раскланиваясь на всѣ четыре стороны — и занесъ такую дичь, что самъ маіоръ разинулъ было ротъ и разставилъ пальцы. Рекомендуясь на семи языкахъ, или, лучше сказать, семь разъ сряду на языкѣ, составленномъ изъ разнородной смѣси семи языковъ и нарѣчій, итальянецъ самъ себя ласкалъ вниманіемъ благороднаго общества,

возлагая всю надежду свою на хорошую репутацію почтеннѣйшей публики и увѣряя, что уже имѣлъ *шесть* показываться предъ лицомъ всѣхъ на свѣтѣ монарховъ, *столицъ* и *дворцовъ* и высокихъ особъ. Затѣмъ вошло, гуськомъ, цѣлое сонмище страннообразныхъ уродовъ, которые представляли, въ самомъ забавномъ видѣ, разныхъ птицъ и звѣрей, и даже лягушку и нетопыря или полетушу. Какъ только общество опомнилось отъ перваго изумленія своего, то общій веселый хохотъ огласилъ всю комнату. Разумѣется, что это сдѣлалось въ ту минуту, когда узнали въ знаменитомъ итальянцѣ Василька. Въ страусѣ, казуарѣ, полетушѣ и другихъ уродахъ сидѣли разные помѣщичьи дѣтки; Митя былъ одѣтъ арапомъ, а Гриша, Филя и Саша обезьянами.

Василько мололъ безъ умолку, какъ заведенные часы, выразительно изломаннымъ языкомъ и однообразнымъ напѣвомъ; не понижая и не повышая го́лоса, просилъ онъ почтенную публику обратить вниманіе на страуса съ рѣки Ореноко, на Мадагаскарѣ; на арапа изъ Константинополя, при рѣкѣ Басфорѣ; на казуара изъ Малакки, на *большой американскій материкъ;* на обезьяну, которая глупа, потому что молода, а какъ состарѣется, будетъ *такой разумный, какъ мы;* а отечество ее *изъ* околицы Патафіи, *изъ* экваторъ, въ самой Африкѣ; увѣрялъ, что одинъ изъ уродовъ этихъ ничего не кушаетъ, кромѣ того, что у него есть, и больше ничего; что другой ходитъ на своихъ двухъ ногахъ и держитъ свой корпусъ прямо и смотритъ на обѣ сто́роны; а третій бѣгаетъ до того прытко, что,

стоя на одномъ мѣстѣ, обгоняетъ добрую лошадь; предувѣдомлялъ, что страусъ не умѣетъ летать, и прибавлялъ съ важностью: онъ теперь *будетъ показать*, какъ онъ не умѣетъ летать — «покажи, какъ ты не умѣешь летать — вотъ онъ теперь показываетъ, какъ онъ не умѣетъ летать»; и проч.

Надобно воздать каждому должное: Гриша, Саша и Филя корчили обезьянъ превосходно, по крайней мѣрѣ дрались и дразнились мастерски. Видно было по всему, что они изучили роль свою съ любовью и призваніемъ. Митя также отличался; Савка вымазалъ ему рожу сажей, и Василько выводилъ арапа своего напоказъ, похлопывая бичемъ, наравнѣ съ *лягушникомъ*, какъ называлъ онъ лягушку, и съ обезьяной изъ околицы Патафіи.

Никто не могъ и не хотѣлъ удержаться отъ радушнаго, обильнаго смѣха; хохотъ оглашалъ весь барскій домъ, и самъ даже Сергѣй Сергѣевичъ заливался втихомолку, трясся всѣмъ тѣломъ и утирался въ обѣ щеки клубочкомъ изъ своего клѣтчатаго платка. Всѣ опять наладились и настроились, единодушное веселье овладѣло обществомъ, и барышни словно переродились. Душею общества и веселья былъ, конечно, Василько; онъ, такъ сказать, уже во весь день владѣлъ и управлялъ тайными чувствами и помышленіями дѣвицъ, и не понимала его, не отзывалась ему развѣ та только или тѣ, которыхъ мачиха-природа обошла, обнесла и обдѣлила вовсе. Для довершенія праздника, Василько выкопалъ изъ мастерской своей недавно излаженный имъ ручной органъ, съ новымъ валикомъ, на которомъ набилъ мѣдными

скобочками самые модные экосезы, кадрили и контръ-танцы тогдашняго времени — знаменитаго Данилы Купера и другихъ; была тутъ и манимаска и матрадуръ — и Митя вертѣлъ до поздней ночи пальмовую ручку органа, не мало гордился тѣмъ, что также умѣетъ играть на музыкѣ, и никому не давалъ приступиться, если надобно было переставить валикъ, для перемѣны танца, а кричалъ задорно: «я самъ умѣю» или: «вы испортите», и снова принимался вертѣть. Надобно полагать, что Митя хорошо исправлялъ должность свою: по крайней мѣрѣ всѣ были довольны и очень счастливы; одна только Настя была какъ будто немножко не въ духѣ — и почти можно бы подозрѣвать, будто ей не совсѣмъ нравилось, что нынѣшній праздникъ удался едва ли не лучше вчерашняго. Какъ бы то ни было, а въ цѣломъ уѣздѣ стали поговаривать о великолѣпномъ праздникѣ въ Шпиговкѣ. Маменьки и тетушки стали освѣдомляться, бесѣдуя за кофейнымъ столикомъ и за вареньемъ, объ этомъ загадочномъ Василькѣ, одергивали на дочкахъ и племянницахъ косынки и пелеринки и совѣтовали барышнямъ держаться попрямѣе.

Шумный и веселый вечеръ этотъ кончился часу въ пятомъ утра, и рожденіе Мелаши было отпраздновано великолѣпно. Смазанные и немазанные рыдваны, колымаги и линейки, блаженныя памяти, всѣхъ величинъ и покроевъ, со стукомъ, брякомъ и скрипомъ покатили на слѣдующее утро съ панскаго двора Шпиговки во всѣ четыре стороны: и маіоръ сѣлъ верхомъ на знаменитый струментъ свой и съ громкимъ хохотомъ и шумными перекорами закричалъ:

«гайда, чубарый, до дому!» и три колеса покатились таки такъ-и-сякъ, а четвертое покрякивало да постукивало по одному разу на каждомъ оборотѣ: этому была виновата претолстая и пренеуклюжая рвань, которая, какъ Степанъ Власовичъ увѣрялъ, переслужитъ еще семь новыхъ ободьевъ. Барскій домъ опустѣлъ.

Куда же намъ теперь дѣваться, къ кому присѣсть въ рыдванъ или струментъ, чтобы дать Степанидѣ Ѳоминишнѣ время отдохнуть, пересчитать ложки и плошки, посуду и салфетки, рюмки и стаканы, ножи и вилки, уложить и уставить опять все это въ чуланъ, въ кладовую и въ огромный стекольчатый шкафъ съ откосомъ? Сергѣй Сергѣевичъ, правда, поблагодарилъ бы насъ въ душѣ своей, но не вслухъ —этого онъ не смѣетъ, — если бы мы остались и заняли его еще до вечера, покуда вся тревога и суматоха эта кончится и Степанида Ѳоминишна порѣшитъ, хотя отчасти, всѣ розыски и слѣдствія о битыхъ тарелкахъ и графинныхъ пробкахъ; но какъ все это для насъ уже вовсе не занимательно, а Сергѣю Сергѣевичу надобно же привыкать понемногу къ домашнему своему житью-бытью, то мы и подсядемъ въ ранжевую карету, гдѣ рядкомъ усѣлась чета Бублинскихъ, между тѣмъ какъ Василько пропалъ изъ Шпиговки безъ вѣсти уже съ разсвѣтомъ, когда другіе только-что укладывались и засыпали. Онъ отправился домой пѣшкомъ, шепнувъ названной матери своей на ухо, чтобъ его не искали.

— Ну, сказалъ Бублинскій женѣ своей по-польски, — эда-

кого праздника мы давно не видали: «славно, право хорошо, *вшесличне*».

— Всѣ грѣхи нашъ проказникъ покрылъ, — отвѣчала пани Бублинская, — не придумай онъ всего этого, было бы скучно и постыло. *Нима цо мувиць*, было весело, да не отъ хозяевъ. Нѣмая травянка эта, Бабачокъ, да глупая хвастливая пава и злая змѣя Бабачиха — чему тутъ быть путному и какой толкъ? не будь у нихъ еще Савки, этого на все и про все, такъ тутъ бы вся нищета выказалась наружу. *Але послухай, коханку*, — продолжала она, — ну что, если Василько и вправду влюбится въ Мелашу — вѣдь онѣ его втянутъ, малый оглянуться не успѣетъ — что-то всѣ объ этомъ толкуютъ, видно, что-нибудь да есть тутъ.

— Негодилось бы, — сказалъ подумавъ Бублинскій, — надо какъ-нибудь его отговорить. Негодилось бы по многимъ причинамъ — а главное — я тебѣ, коханка, откроюсь: Василько выросъ, возмужалъ — онъ, конечно, еще послушный ребенокъ, но вѣкъ нельзя же его держать такимъ образомъ, надобно подумать о развязкѣ. Для матери онъ затерялся совсѣмъ, она его не найдетъ, если бы и вздумала искать — здѣсь есть одинъ только человѣкъ для насъ страшный и это — старый рубака — прескучный и пренесносный крикунъ. Онъ не все знаетъ, но знаетъ, кажется, что при немъ были деньжонки, и какъ тебѣ и самой, чай, приходилось слышать, охотно объ этомъ намекаетъ и всегда кричитъ по-мужицки, во все горло. Я думаю такъ: отпиши ты въ Каменецъ сестрѣ своей, вели поискать какую-нибудь

бѣдную, пригожую шляхтянку, возьмемъ ее къ себѣ въ домъ — Василько мягокъ; я думаю, онъ не устоитъ, поддастся — тогда скажемъ ему, что не противимся счастью его, уговоримъ обезпечить будущность жены его, отписать ей то, другое — тогда все это будетъ домашнимъ дѣломъ, никому не будемъ обязаны отчетомъ и можемъ также ожидать и требовать благодарности панны....»

— Знаешь что, — подхватила пани Бублинская, словно ей какая находка далась, — я при случаѣ разскажу ему какую-нибудь басенку о похожденіяхъ Мелаши, со всѣми подробностями и околичностями, какъ будто ничего не знаю, а такъ, къ слову подведу: скажу, что объ этомъ похожденіи знаютъ и всѣ сосѣдки, да только молчатъ, чтобы не пятнать дѣвки; она опротивѣетъ ему, и онъ откинется, вотъ увидишь.

— Ну, — отвѣчалъ панъ Бублинскій, наморщивъ немного высокій лобъ свой, — не торопись, моя *коханка*, оставь это про запасъ. Посмотримъ еще, что будетъ, можетъ статься, все это одинъ вздоръ. Это средство надобно пустить въ ходъ только въ крайнемъ случаѣ. Василько, того гляди, провртся горлану-маіору,— а тотъ — ты знаешь — тогда тебѣ житья не будетъ.

Бесѣда эта кончилась проклятіемъ пани Бублинской на правдиваго запорожца, Степана Власовича, тяжелыми вздохами и даже слезами, горькими жалобами: «чего ему отъ насъ надо, чего онъ привязывается, чего ему хочется, какое ему до чего дѣло? Есть же такіе люди на свѣтѣ,

которые всѣмъ желаютъ зла, во все мѣшаются и никому не даютъ покою!»

Василько встрѣтилъ названныхъ родителей своихъ на крыльцѣ, поздоровался съ ними; они поцѣловали его оба очень нѣжно, похваливали его, шутили: «экой проказникъ! да какъ проворно все уладилъ! и всѣхъ барышень съ ума свелъ! А небось дома не затѣялъ этого», прибавила шутя пани Бублинская, «а тамъ, гдѣ много барышень!»

Упрекъ этотъ сдѣланъ былъ шутя и такъ же принятъ Васильковъ, у котораго совѣсть была чиста и спокойна. Василько былъ вовсе не изъ тѣхъ людей, которые любезничаютъ въ гостяхъ на счетъ домашней своей любезности, и вымещаютъ на домовинахъ своихъ несносною брюзгливостію каждое веселое и острое слово, каждую улыбку, коими дарятъ людей внѣ дома. Отъ этихъ-то двуличныхъ янусовъ и взялась золотая поговорка наша: не съѣвши съ человѣкомъ пуда соли, его не узнаешь. Василько былъ дома веселъ и доволенъ, иногда, почти можно сказать, счастливъ; тутъ у него было подъ руками все: и книги, и свои записки, и мастерская, и кларнетъ, и ружье; тутъ любили его и угождали ему всѣ, начиная съ названныхъ родителей и до послѣдняго псаря и конюха — по крайней мѣрѣ у Василька не было еще доселѣ никакого повода въ этомъ сомнѣваться; и если бы мы заглянули въ душу его, то увидѣли бы, напримѣръ, что онъ ушелъ сегодня съ зарею отъ Бабачковъ собственно для того, что его тянуло неодолимо домой; шумная гульба ему надоѣла. Можетъ быть, была тутъ небольшая частичка и чего-нибудь другаго; мо-

жетъ быть, Василькy хотѣлось, послѣ вчерашняго дня, такъ же неожиданно исчезнуть, какъ онъ явился, съ рожкомъ и со звѣринцемъ; но смѣю увѣрить, что это побужденіе во всякомъ случаѣ было только второстепенное. И потому, если бы упрекъ Бублинской принять въ смыслѣ не шуточномъ, то онъ былъ бы несправедливъ, но не менѣе того говорилъ бы правду. Василько точно не проводилъ дома день за день такъ, какъ нынѣ почти двои сутки у Бабачковъ; онъ не приготовлялъ дома, гдѣ былъ одинъ съ бездѣтными мачихой и вотчимомъ — станемъ ихъ называть такъ — не излаживалъ на каждый Божій день цвѣтныхъ и потѣшныхъ огней, живыхъ картинъ и окрутниковъ; онъ даже былъ дома, если хотите, нѣсколько молчаливѣе, нежели въ веселомъ обществѣ, менѣе любезенъ, обязателенъ, чѣмъ съ дѣвицами — но развѣ можно за это упрекнуть человѣка? развѣ можно требовать, чтобы онъ былъ въ этомъ смыслѣ одинаковъ дома и въ гостяхъ, при людяхъ и безъ людей?

И тутъ, какъ вездѣ и всюду, должное, истинное лежитъ въ срединѣ: но грани его сливаются съ крайностями и не всякому удается держаться вѣкъ свой въ равновѣсіи, на золотой срединѣ этой, какъ искусному акробату на слабо натянутомъ канатѣ своемъ; это тѣмъ труднѣе, что тутъ уже надо быть мастеромъ своего дѣла, ходить и стоять — и плясать подчасъ, безъ перевѣснаго шеста балаганныхъ фигляровъ, ходить вольно, твердо, свободно, самоувѣренно, не замѣчая, повидимому, бездны подъ ногами, ходить какъ по гладкому полу. Крайности эти, я думаю, очевидны:

одинъ бываетъ дома тѣмъ скучнѣе и несноснѣе, чѣмъ милѣе и любезнѣе былъ онъ наканунѣ въ гостяхъ; другой дичится, напротивъ, въ людяхъ, скучаетъ, глядитъ бирюкомъ, боится чужаго человѣка, какъ ребенокъ бука; третій разсыпается въ обществѣ мелкимъ бѣсомъ, ни въ ладъ ни въ мѣру, многимъ надоѣдаетъ, себя унижаетъ и въ глазахъ всѣхъ слыветъ шутомъ; четвертый, наконецъ, на каждомъ шагу боится промолвиться и оступиться, хочетъ избѣжать помянутаго недостатка и за то не понимаетъ никакой шутки, обижается всѣмъ, бываетъ тяжелъ и несносенъ.

Но возвратимся къ упреку, сдѣланному Василько: люди всѣ безъ изъятія, тѣ же дѣти; ихъ забавляетъ только новая игрушка, а старая скоро надоѣдаетъ. Кларнетъ Василька могъ произвести необыкновенное дѣйствіе это тамъ, гдѣ его не ожидали и почти не знали; дома слушали его иногда, это правда, но къ нему привыкли уже съ тѣхъ поръ, какъ бывало упрашивали еще десятилѣтняго ребенка: «сдѣлай милость, Василько, перестань дудить, въ ушахъ звенитъ и голову разломило!»

Сверхъ того, развѣ вы думаете, что такую шутку, какъ сыгралъ Василько, можно родить къ услугамъ вашимъ всегда и во всякое время, когда вамъ будетъ угодно, не спрашиваясь о томъ у самого себя? Право нельзя; на это также нужно вдохновеніе; умѣйте его поселить въ томъ, отъ кого ожидаете забавы, и она явится сама: просьбы же ваши, почтенныя хозяйки, просьбы ваши, потѣшить и развеселить гостей, обыкновенно отнимаютъ и послѣднюю къ тому охоту и способность. Тогда только, если хозяйка сама

до того мила и любезна, что и самая просьба эта поселяетъ мгновенное вдохновеніе, тогда только она можетъ позволить себѣ прибѣгнуть къ этому отчаянному средству. Одно слово рождаетъ другое, за шутками смѣхи, за смѣхами потѣхи; вы развернулись и развеселились, сами не зная какъ и отчего; время пролетѣло, вамъ было весело, пріятно, и вы же, говорятъ, утѣшили и порадовали другихъ — вотъ какъ это дѣлается, а не по заказу! Мгновенный толчекъ, какая-то духовная искра, сообщенная случайными обстоятельствами, воспламеняетъ васъ; родятся нечаянно и безъ головоломнаго размышленія и выдумка, и самыя средства къ исполненію; въ васъ есть какое-то вдохновеніе, увѣренность въ успѣхѣ, которая придаетъ вамъ духъ, охоту и бодрость; но послѣ такого напряженія, вамъ необходимъ покой, отдыхъ: васъ тянетъ домой, въ уединеніе. Однѣ только противоположности поддерживаютъ силу и бодрость души нашей; однообразность утомляетъ, усыпляетъ, истощаетъ. Смотрите нѣсколько времени пристально на предметъ яркаго, алаго цвѣта: потребность успокоить глазъ и опочить на цвѣтѣ противоположномъ до того въ немъ усилится, что, взглянувъ на бѣлую, безцвѣтную поверхность, вы ясно увидите передъ собою тотъ же предметъ, на которомъ утомили зрѣніе свое, но только не алаго, а зеленаго цвѣта.

И горе тому, у кого есть этотъ даръ тѣшить, веселить и забавлять добрыхъ людей, и онъ, не спрашиваясь и не ожидая вдохновенія, закабалитъ себя въ слуги и холопы этихъ добрыхъ людей, станетъ увеселять ихъ по заказу, когда угодно! Тѣ, которые неотступными просьбами своими

склонили васъ попрать ногами собственное достоинство свое, кинуть на васъ и первый камень. Не удивляйтесь этому; это въ природѣ вещей: если вы забудетесь противъ самихъ себя, и люди станутъ противъ васъ забываться; вы не уважаете себя, и люди васъ не уважаютъ.

Не удивляйтесь же и тому, что художники бываютъ большею частію причудливы, прихотливы послѣ вдохновительныхъ восторговъ, безъ коихъ нельзя создать ничего чрезвычайнаго; душа усильно требуетъ отдыха, покоя или новыхъ и разнообразныхъ впечатлѣній; художникъ не можетъ и не долженъ служить вамъ, человѣку, онъ долженъ служить генію своему; тогда творенія его будутъ даровиты, благотворны и лучезарны; подходите, упояйтесь роскошнымъ теплomъ и свѣтомъ отрадныхъ лучей: они къ услугамъ вашимъ, когда стоятъ передъ вами, какъ отдаленное, неразгаданное еще сѣверное сіяніе; но не требуйте, чтобы небо загораживалось струями молніи для васъ и тогда именно, когда вамъ вздумается потѣшаться этимъ явленіемъ.

Теперь просимъ читателей взять на себя трудъ прочитать три или четыре письма, которыя всего лучше познакомятъ насъ какъ съ нѣкоторыми лицами, такъ и съ событіями въ извѣстномъ намъ кругу общества.

Горемыкинъ къ Васильку.

«М. Г. Василій Ѳедоровичъ!

«Приношу вамъ напередъ всего искреннѣйшую благодарность мою за снисходительную дружбу и пріязнь вашу ко

мнѣ, столь для меня драгоцѣнную, и за добродушное позволеніе докучать вамъ, когда мнѣ вздумается, письмами. Иногда, знаете, не достаетъ духу выговорить языкомъ того, что напишешь втихомолку на молчаливый листокъ, какъ будто про себя.

«Я стою здѣсь какъ-то одинъ, одиноко; живу, если спрошу себя по совѣсти, только такъ, чтобы день прошелъ — а бесѣда съ вами открыла мнѣ какой-то новый міръ, къ которому я прежде не тянулся, потому что его не зналъ. Бездѣйственный покой, насущная жизнь, тяготятъ меня; мнѣ бы хотѣлось *переучиться* и *переобразоваться*— чтобы не сказать: *переродиться* сызнова. Какъ я слѣпо вѣровалъ во всякую печатную страничку, какъ твердо и самоувѣренно я держался бѣдною головою своею за все, что преподаватели мои возглашали, или ихъ помощники читали заикаясь по ихъ тетрадкамъ! Пишешь бывало, не успѣваешь, хватаешь на лету слова и рѣчи — сплетаешь ихъ послѣ кое-какъ, и блаженствуешь, когда добьешься смысла;— а рукопись преподавателя, это кладъ недосягаемый, какъ звѣзды на небѣ: можно наслаждаться ихъ блескомъ, но достать рукой нельзя... Теперь, какъ-то всѣ демоны сомнѣній пробудились въ груди моей; не понимаю того, что, казалось, ясно понималъ прежде; начинаю сомнѣваться въ томъ, за что бы прежде положилъ голову на плаху; вижу разнорѣчіе, несообразность, гдѣ прежде для меня все было шито и крыто... Отчего же, скажите, нѣтъ вещи, ни столь простой, ни столь запутанной, чтобы не было на нее сотни различныхъ объясненій, ясныхъ и отчетливыхъ, по словамъ.

толкователей, какъ логическое заключеніе, но противорѣчащихъ одно другому, какъ зло — добру, какъ день — ночи? Да вотъ, кстати, почтеннѣйшій Василій Ѳедоровичъ, слово о логикѣ: я держался за нее, какъ за оплотъ вселенной, какъ за краеугольный камень разсудка — а теперь не управлюсь уже и съ нею; она ли измѣнила мнѣ, самъ ли я съ нея повихнулся, но — не повѣрите, у меня на душѣ и въ головѣ развело такую зыбь, какая-то непріязненная буря всколыхала все, что во мнѣ есть живаго,— я не совладаю уже и самъ съ собою!

«Изволите ли знать, что́ меня съ ума сводитъ уже другія сутки? Слѣдующій силлогизмъ:

«Propos. maior. Питье утоляетъ жажду. Propos. minor. Селедка въ пищѣ побуждаетъ къ питью. Conclusio: Ergo, слѣдовательно, селедка утоляетъ жажду.

«Что вы тутъ прикажете дѣлать? явная безсмыслица, а между тѣмъ, какъ бы то ни было, силлогизмъ! я не доберусь до завязки, и меня это пилитъ и мучитъ день и ночь.

«Васъ здѣсь, какъ видно, почасту вспоминаютъ. Степанида Ѳоминишна говоритъ, что вы насъ совсѣмъ забыли. Между тѣмъ — боюсь показаться вамъ нескромнымъ, не знаю смѣю ли поздравить васъ; я знаю, что еще тайна, что еще ничего положительно не объявлено; у насъ, однако же, поговариваютъ объ этомъ довольно гласно. Намедни шла рѣчь уже о приданомъ, и Степанида Ѳоминишна сама хочетъ въ свое время съѣздить за этимъ въ городъ. Вѣрьте, многоуважаемый Василій Ѳедоровичъ, что я вамъ душевно

желаю всякаго добра и блага и не сомнѣваюсь въ будущемъ вашемъ благополучіи, которое—между нами сказано—суждено не всякому.

«Имѣю честь и проч.

«*Приписка*. Стыжусь признаться, въ какіе я попалъ дураки съ силлогизмомъ своимъ; но не хочу рвать этого письма, не хочу скрывать отъ васъ недостатковъ своихъ, и если придется передъ вами краснѣть, то да будетъ это заслуженнымъ наказаніемъ моимъ за опрометчивость и тупость мою. Я предложилъ силлогизмъ свой Савкѣ: онъ, съ прибаутками и поговорками, переложилъ его только на свой языкъ, и безсмыслица обнаружилась: онъ перевелъ несчастный силлогизмъ мой такъ:

«Напившись, пить не хочется, а поѣвши селедки, пить хочется: стало быть, поѣвши селедки, пить не хочется!!..» и прибавилъ еще къ этому, не подозрѣвая даже, что меня дурачитъ: «нѣтъ, сударь, стара штука, меня на этомъ не проведете!»

«*Еще приписка*. И еще разъ долженъ я передъ вами краснѣть: когда хотѣлъ сдѣлать на многоуважаемое имя ваше надпись или, какъ—вы намедни предложили замѣнить слово адресъ—на́сылку, то вспомнилъ, что, къ стыду своему, не знаю даже почтеннаго вашего прозванія. Но еще болѣе удивило меня, что Сергѣй Сергѣевичъ и сама даже Степанида Ѳоминишна не могли меня выручить; они, какъ говорятъ, знаютъ васъ сызмала только по имени и отчеству. Итакъ, извините меня великодушно и, прошу покорно, наставьте.»

Отвѣтъ Василька.

«Неожиданно обрадовало меня вчера письмо ваше, почтеннѣйшій Евстратъ Богдановичъ, и напередъ всего, прошу васъ, оставимте милостивыхъ государей, всѣ поклоны, почтенія и извиненія: такъ я писать не могу.

«Вижу изъ словъ вашихъ, что вихри сомнѣній мутятъ и волнуютъ въ душѣ вашей море книжныхъ познаній — (не знаю, съ чего у меня вырвалось такое напыщенное восточное иносказаніе) — и что здравый разсудокъ, который ищетъ для построекъ своихъ не пловучую гнилушку, а прочныхъ, надежныхъ основаній,— въ разладищѣ и съ вихремъ этимъ, и съ водяною стихіею. Какъ быть? это участь наша. Не я поселилъ въ васъ этого демона сомнѣній; обитающій въ насъ духъ рано или поздно долженъ проснуться отъ безчувственной дремоты своей, какъ убаюканное дитя, просыпающееся въ свое время, даже и послѣ самыхъ сладкихъ колыбельныхъ пѣсенокъ мамушекъ и нянюшекъ. Вы скажете: его однако же можно опять укачать и убаюкать? Можно, покуда оно въ пеленкахъ; а потомъ приходитъ и такая пора, что баю да баю надоѣдаютъ; пѣснями да сказками не возьмешь, дитя отбивается отъ рукъ. Есть дѣти, которыя вѣкъ остаются дѣтьми; есть и люди, которые довольны познаніями своими, ученостью и успѣхами наукъ: эти люди счастливы; блаженъ, кто это можетъ. Но этой науки у насъ еще нѣтъ, ея не преподаютъ нигдѣ: какъ вѣрить поневолѣ, наперекоръ убѣжденію, и какъ довольствоваться тѣмъ, что преподаютъ намъ ученые мужи!

«Если открыть передъ вами душу, то скажу вамъ: я увѣренъ, что знаменитая наука или искусство мыслить ни одного человѣка не выучила тому, чему учитъ, а многихъ сбила съ толку. Впрочемъ, собственно въ вашемъ недоумѣніи, Евстратъ Богдановичъ, логика, конечно, уже не виновата; она сама по себѣ, безъ сомнѣнія, стоитъ на твердыхъ и незыблемыхъ началахъ; но я не вижу никакой въ томъ пользы, если мы выучимся разлагать на ружейные пріемы всякую мысль, всякое заключеніе, разсадимъ все это по клѣткамъ, столбцамъ и разрядамъ, обременяя попустому и память, и самый разсудокъ. Воля ваша, а всѣ духовныя способности наши ходятъ въ кандалахъ и въ путахъ, если заставлять ихъ дѣлать два дѣла вдругъ; занузданный и замундштученный разсудокъ очень часто теряетъ природную силу, бодрость и отвагу; раздробленный на части, разсаженный по этимъ столбцамъ и разрядамъ, съ таблицами для руководства въ рукахъ, онъ самъ дѣлается мелочникомъ, крохоборомъ, начинаетъ гоняться за пустою діалектикою, за школярствомъ, и наконецъ уже не умѣетъ отличить истину отъ лжи, правду отъ обмана. Ему форма дѣлается важнѣе сущности, важнѣе самой истины. Повторяю, логика здравомыслящаго, а риторика поэта — не создавали, но многихъ сводили съ ума, вводили въ жалкій обманъ, заставляя думать, что они глубокіе мыслители и великіе поэты, потому только, что строго держатся правилъ логики и риторики. Правила логики составлены по ходу мыслей здраваго разсудка, который жилъ, конечно, прежде логики; а потому всякому, кому Богъ далъ здоровую голову, далъ

онъ и логику. То же самое сказать можно о риторикѣ и пиитикѣ.

«Относительно вашего поздравленія — хотѣлъ я было, принявъ это за шутку, отвѣчать тѣмъ же; но я разсудилъ, съ помощью логики своей, что это была бы шутка неумѣстная. Итакъ, увѣряю васъ, что приданое готовится не для меня; ни Меланьѣ Сергѣевнѣ, ни мнѣ предполагаемое досужими вѣстоплетами сватовство на умъ не приходило: не знаю, съ чего это взято; неужели нельзя сказать молодой и пригожей дѣвушкѣ трехъ словъ, не женившись на ней?

«Итакъ, даже сама Степанида Ѳоминишна не могла разрѣшить вашего недоумѣнія; Степанида Ѳоминишна не знаетъ, какъ зовутъ сосѣда, который выросъ въ пятнадцати отъ нея верстахъ!! Въ самомъ дѣлѣ, это было бы неизвинительно, если бы только у сосѣда этого *было* прозваніе; но его нѣтъ. Дóма меня зовутъ Василькомъ, а въ гостяхъ Василіемъ Ѳедоровичемъ, то есть, по отцѣ Ѳедоровымъ.»

Пушка къ Васильку.

«Ты утикъ, хлóпче, тай байдýже — а тутечки голосять: подай намъ, кажуть, нáшого Василька, озьмы та подай! Бувало, спивають:

Дидъ рудый, баба руда —

а тамъ сталы спиваты таку, що ажъ нудыть:

Ой бачыться що не плачý —
А слизоньки льються:

Одъ милого нема людей,
Одъ нелюба шлються!

«А вже теперечки нема писни, нема и торбана, та кажуть що скоро не буде и дивчины: бо схне; схне, якъ квитка на стеблу, та росою изъ очей своихъ сама себе полывае, Василька, серденька свого, до себе пиджидае. А Василька нема: чи винъ утопився, чи винъ забарився — а нема.

«Чи ты жь справди *ихъ*, мій Василько? чи то жь можно, що бъ винъ — кажу соби, кажу и людямъ — чи то жь можно, що бъ Василько свою дивчину покинувъ? Ни, не така у него думка, не такій розумъ винъ мае. Не намовляйте жь, люде, на мого Василька; бо що винъ робыть, то робыть якъ диды наши варенуху варыли — а вже теперечки такои й нема — умiючи-знаючи, добре гадаючи; то казакъ, правдыва душа, дай Боже и вашому батькови такого сына, якъ мій Василько!

«Слухай, сердце мое: тутечки квочки мои показылыся; пріихалы до мене, скильки ихъ тамъ е, уси, кажуть: дядьку! выручи насъ: Василько погубывъ крестну доненьку твою Мелашу; винъ ій любывъ, вона его любыла; мы вже и рушныкы и хустки попрыпасалы — а теперечки его нема, тай нема, та ще и отчимъ его казавъ десь, що сынъ про те и не дума, не гада, нехай не сподиваються: дивка свиту не бачыть, схне, пропадае; выручи, дядьку Степане Власовичу, выручи!

«Отъ тоби и уся не довга, Василькy; чи воны тутъ дило кажуть, чи воны якъ тая собака, що незмогла рику выла-

каты, та цилу нычь на воду брехала—лыхо ихъ зна! Я бъ самъ пріихавъ до тебе, та щось нездужаю; пышы, або ще лучша якъ прыидешь до старого самъ.»

Отвѣтъ Василька.

«Почтенный Степанъ Власовичъ, мой почтенный, душевно уважаемый, доблестный запорожецъ! Что я скажу вамъ, при такомъ смятеніи чувствъ моихъ, при этомъ волненіи испуганной души? *правду*, скажете вы—и она передъ вами, читайте.

«Первое чувство, сказавшееся во мнѣ, по прочтеніи истинно отеческаго письма вашего, было — негодованіе, негодованіе въ высшей степени на безсовѣстныхъ сплетницъ — чтобы не назвать ихъ еще другимъ, болѣе приличнымъ именемъ — отпусти имъ, Господи, грѣхи ихъ! Второе — признательность къ вамъ, за прямодушіе и довѣріе ваше, и наконецъ — душевная скорбь и соболѣзнованіе о той, которую такъ искусно умѣли подготовить, обольстить притворными увѣреніями, употребить просто слѣпымъ орудіемъ замысловъ чужихъ и заставить, противъ воли, въ непорочномъ простодушіи своемъ, принять участіе въ разыграніи этой предосудительной комедіи! Соболѣзную душевно и проклинаю виновныхъ, бездушныхъ нарушителей нашего—ея и моего—покоя!

«Честно и добросовѣстно увѣряю васъ, что я никогда не давалъ повода къ такимъ догадкамъ и заключеніямъ; совѣсть моя чиста: ни словомъ, ни взоромъ не говорилъ я ей самой — а и того менѣе кому другому — о чемъ и самъ

никогда не думалъ. Вы сами свели насъ тогда, послѣ пожара, вмѣстѣ; я охотно бесѣдовалъ съ нею, это правда; но то, что я ей говорилъ, могли бы слышать и слышали, большею частію, всѣ присутствовавшіе; я охотно разговаривалъ съ нею иногда, потому что она умненькая и пригоженькая дѣвица — но развѣ можно жениться на всѣхъ пригожихъ дѣвушкахъ, съ которыми иногда бесѣдуешь?

«Я скоро замѣтилъ неприличное, нескромное и оскорбительное для всякой благонравной дѣвицы вмѣшательство нѣкоторыхъ лицъ — меня это огорчило, не за себя, а за нее, и я вслѣдъ за тѣмъ сдѣлалъ все, что могъ, чтобы избавить ее отъ подобныхъ явленій: я ни разу болѣе не былъ въ Шпиговкѣ, и вотъ конецъ всему этому! Повторяю, я на чужомъ пиру съ похмѣлья, невиноватъ ниже помышленіемъ. Но не вѣрьте, Бога ради, всему, что насказали вамъ эти наемныя плакуши о крестницѣ вашей; я совершенно убѣжденъ, что онѣ лгутъ. У нихъ есть на это, какъ на все, свои причины.

«Вотъ вамъ, мой почтенный, многоуважаемый Степанъ Власовичъ, все, что могу сказать въ свое оправданіе. Обвините меня, если я виноватъ. Завтра я къ вамъ буду, сегодня уже поздно, а я не хотѣлъ оставить васъ безъ отвѣта, да я и самъ въ немъ нуждался — душа просилась излиться передъ вами сей же часъ.»

Трудно себѣ вообразить, до какой степени былъ взбѣшенъ и огорченъ нашъ Василько. Съ нимъ продѣлка такая случилась еще впервые; гласность, которую придали ей не безъ намѣренія заботливыя кумушки, испугала его

какъ-то; положеніе Меланьи ему казалось невыносимымъ, а пособить было нечѣмъ; поступокъ, въ которомъ его упрекали, былъ въ глазахъ его подлостью; разувѣрить всѣхъ было невозможно, а какими глазами смотрѣть послѣ этого на людей? Онъ не могъ постигнуть, какъ безстыдство и самовластіе сплетницъ могли дойти когда-нибудь до такой крайности.

Мы, люди бывалые, видывали виды и почище этого, и тутъ ничему не удивляемся. Обезславить бѣдную дѣвушку, лишить ее покоя, наклепать и напутать все, что угодно и на кого угодно — все это нерѣдко дѣлается безъ всякой цѣли, только для того, чтобы было о чемъ побесѣдовать; если же тутъ еще кроются какіе-нибудь замыслы, то слова: *авось*, *небось* и *какъ-нибудь*, заступаютъ мѣсто чести, совѣсти и разсудка. О, эти записныя искательницы невѣстъ для жениховъ и жениховъ для невѣстъ, эти заботливыя хозяйки въ чужомъ хозяйствѣ, удивительныя созданія: онѣ чутьемъ слышатъ, что дѣется и творится на семьдесятъ семисотныхъ верстъ въ околодкѣ; и какъ только зачуютъ что̀ да промыслятъ вѣсточку по себѣ, то и бѣгутъ, сломя голову, какъ разбитыя почтовыя клячи съ гону, и начинаютъ, протянувъ вялыя, тучныя или сухопарыя шеи свои, гаркать и гагакать, будто Капитолій снова загорѣлся! Онѣ судятъ и рядятъ, онѣ дѣлятъ и межуютъ, казнятъ и ми́луютъ — онѣ знаютъ все; онѣ увѣряютъ васъ въ одинъ духъ, покуда ихъ не схватитъ удушье, что Машенька Пухова выходитъ за роднаго брата — хотя она, до времени, не выходитъ ни за кого, а роднаго брата у нея и не бывало, — что сыры

пармезаны и люди фармасоны не въ одной землѣ живутъ, а есть тутъ разница; что Иванъ Павловичъ взялъ за женою столько-то, а отдаетъ за дочерьми столько-то, хотя Иванъ Павловичъ никому на свѣтѣ объ этомъ не говорилъ, и дивится только, отчего у него въ ушахъ звенитъ; что звѣзда съ хвостомъ была прежде звѣзда съ кольцомъ, да кольцо разогнулось. Наконецъ, нѣтъ свадьбы, нѣтъ сговора, нѣтъ крестинъ, нѣтъ развода, нѣтъ похоронъ, нѣтъ помолвки безъ нихъ. Онѣ опредѣляютъ въ ареопагѣ своемъ, чему быть, чему не бывать, кому на комъ жениться и кому кого родить... сводите и разводите вы мосекъ и кошекъ своихъ, обезьянъ и попугаевъ, а не насъ!

Нѣтъ земли на бѣломъ свѣтѣ, гдѣ бы сватовство на заказъ достигло такой степени общности и совершенства, какъ у насъ. Лишь только дѣвушка сложилась, такъ уже она и пошла слыть невѣстой: и ни на одномъ языкѣ слову этому не дано такого обширнаго значенія. Затѣмъ сами родители, тетки, бабки, кумушки, тещи, свекрови, свояченицы, золовки, все это пошло по первому дождю, по женихи, что по грибы. Тутъ, упаси Боже, подвернуться нашему брату, беззаботному: ты не успѣлъ еще ни здравствуй, ни прощай вымолвить, а тебя уже разули, и въ карманъ тебѣ слазили, и въ зубы поглядѣли, и опять обули, и всего въ двухъ пальчикахъ, что батистовый платочекъ, перещупали. Глядишь — иной вислоухій не думалъ, не гадалъ, а ужь ему давнымъ-давно въ одно ухо влѣзли, въ другое вылѣзли, самого въ клубочекъ свертѣли да въ ридикюльчикѣ и понесли домой: и поминай какъ звали.

Что послѣ будетъ — до этого намъ нѣтъ нужды; послѣ онѣ же сами прикатятъ первыя мирить да разводить, объ этомъ не заботьтесь; и онѣ же вамъ растолкуютъ послѣ, отчего и почему это такъ случилось и иначе быть не могло.

А почему же и не такъ? Многіе женятся такимъ образомъ, и плодятся, и множатся. Напримѣръ, я вздумалъ жениться,—такъ, ни съ того, ни съ сего, мнѣ захотѣлось. Вы ошибаетесь, если думаете, что у меня есть на примѣтѣ и невѣста: нѣтъ, это не моя забота; я только попрошу какую нибудь Стенохлесту Перехватовну, добрую, услужливую женщину, и она найдетъ невѣсту, подберетъ мнѣ ее по примѣтамъ, чтобы, напримѣръ, была и молода, и черноброва, и богата, и поплотнѣе, и хороша, и непричудлива, и вдобавокъ еще говорила по-французски и играла на фортепіано не менѣе 80-ти штукъ. Она, сваха моя, выхваляетъ передо мною товаръ свой, какъ сидѣлецъ на Щукиномъ дворѣ: жилетки хорошія, сапоги, полусапожки, шинели форменныя, шляпы есть, платки, перчатки! «Есть», говоритъ она, «у меня на примѣтѣ такая-то, есть и такая-то — есть одна, и молода, и богата, и черноброва, и замужъ хочетъ»... — Такъ что же, подавайте ее сюда? — «Да она хочетъ только за военнаго, а чернаго платья не терпитъ!»

— Э, вздоръ, ничего, вѣдь я и самъ хотѣлъ когда-то служить, да раздумалъ; это пустое, все равно! — Другая есть — третья есть, и я все приговариваю: подайте сюда и эту, а не то подайте ту!

— Ну, позвольте, потерпите, дайте мнѣ поразвѣдать ма-

ленько, отвѣчаетъ наконецъ моя Перехватовна, — сладимъ дѣло, я многимъ господамъ служила, слава Богу, довольны остались. — Во все это время, вы меня уже нигдѣ не встрѣтите иначе, какъ въ новомъ фракѣ моемъ, со свѣтлыми пуговками и въ жилеткѣ съ отворотами.

Наконецъ, меня везутъ на *смотрины*, хотя ихъ не всегда такъ называютъ, а говорятъ: просятъ познакомиться. Но знакомство это ограничивается тѣмъ, что я пріѣду вечеромъ въ домъ, гдѣ отроду не бывалъ; что меня встрѣчаютъ какъ стараго знакомаго, называютъ по имени и отчеству, спрашиваютъ о здоровьѣ матушки моей, братьевъ и сестеръ, называя всѣхъ поименно; между тѣмъ всѣ смотрятъ на меня, какъ лягушки на осиноваго царя своего, кто вылупивъ глаза, кто бочкомъ, кто искоса, кто украдкой; а Маша входитъ наконецъ, разодѣтая и разубранная впухъ, и садится зарумянившись разливать чай: бесѣда идетъ между тѣмъ самая политичная, все о постороннихъ вещахъ, будто ничего не бывало. Вотъ и все знакомство: или вы завтра же можете поздравить меня женихомъ, если невѣста приглянулась, или я, раскланявшись и принявъ приглашеніе — быть знакомымъ, пропадаю опять навсегда, если невѣста не показалась. Тогда и нога моя больше не бываетъ въ домѣ. Положимъ, я рѣшился: сватаюсь, и жалѣю только, что новый *альмавива* мой пролежалъ весь вечеръ въ передней и что, кромѣ слугъ, которые на немъ преспокойно почивали, его никто не видалъ. Итакъ, сватаюсь, наконецъ вѣнчаюсь, везу молодую домой — и тутъ только начинаю догадываться, что мнѣ придется еще по

неволѣ сдѣлать весьма значительныя уступки, относительно разныхъ свойствъ, качествъ и принадлежностей супруги моей, противъ перваго моего затребованія, первой сыскной, рядной или погонной, если только не придется намъ разойтись врозь, каждому туда, отколѣ пожаловалъ!

Нѣкто — по чину титулярный, по росту коротышъ, по лѣтамъ своимъ старшій братъ или дядюшка, а по званію, на этотъ разъ, рѣшительный женихъ, — пріѣхалъ, по службѣ, изъ уѣзднаго города въ губернскій. Здѣсь видитъ онъ, не знаю какъ и гдѣ, какой-то рисунокъ — разумѣется, красками — подъ которымъ подписано: рисовала дѣвица Анчоусова. «Какая это дѣвица?» — Здѣшняя, говорятъ, дочь 2-го члена межевой конторы: отецъ весь вѣкъ свой графилъ да чертилъ, да отбивалъ пунктиромъ, да расписывалъ, по положенію, березовый лѣсокъ зеленою, а дубовый коричневою красочкой, дочь у него всему этому наглядкой и выучилась. — Коротышъ мой, недолго думая и не пускаясь ни въ какіе далѣе разспросы, засылаетъ сваху. Осторожный членъ спрашиваетъ: которую дочь сватаете? и свашенька задумалась, не могла дать отчета и поѣхала за справкой. «Итакъ ихъ двѣ!» восклицаетъ въ радостномъ изумленіи женихъ, какъ будто бы хотѣлъ жениться на обѣихъ. «Сватайте ту, которая рисуетъ». — Да никакъ обѣ рисуютъ. — «Обѣ! это довольно странно: сейчасъ видно, что губернскій городъ! и можетъ быть, другая рисуетъ еще лучше этой», подумалъ коротышъ, «какъ тутъ быть? Ну, все равно, только сдѣлайте милость поскорѣе, какъ бы дѣло кончить сегодня?» — Я рада стараться, да которую жь

сватать? старшую, что ли? — «Ну да, старшую». — Или можетъ статься полюбится вамъ меньшая, она дѣвушка бойкая? — «Хорошо, пожалуй, меньшую, только сдѣлайте милость поскорѣе; поѣзжайте вы, а я обожду тутъ у васъ!» Сваха ѣдетъ, сватаетъ, возвращается домой — но женишка нашего нѣтъ ни сегодня, ни завтра, ни послѣ-завтра, словно утонулъ — а тамъ вдругъ слышно, что онъ уже помолвленъ и вовсе на другой. Какъ же это случилось? Очень просто: вы уже видѣли, что жениху нашему охота жениться пришла смертная; ему до вечера дожидаться показалось долго: пошелъ раздумье мыкать по широкой улицѣ. Идетъ, идетъ и видитъ — вдругъ передъ нимъ мелькнула, перебѣжавъ дорогу, прекрасная незнакомка, и исчезла, нырнувъ въ калиточку. Вмѣсто салопа и шляпки у нея былъ накинутъ черезъ голову большой бумажный платокъ, лица почти было не видно: «но если она будетъ моей женою», подумалъ коротышъ, «такъ я наглядѣться на нее успѣю». Между тѣмъ, красавица обронила тетрадку, которую нашъ искатель невѣстъ подхватилъ съ жадностію и прочелъ на ней: древняя исторія. «О Кліо!» восклицаетъ вдохновенный, «Кліо, ты моя!» Замѣтимъ, что эта Кліо бѣжала изъ пансіона какого-то французскаго самоучителя, осколыша Большой арміи, и была уже дѣвой зрѣлой. У насъ слѣдовали Жанъ Жаку и дѣтей смолоду не убивали ученьемъ. И Кліо, которая пряталась первые три дня отъ нашего сверчка жениха, какъ отъ пугала, привыкла къ нему ровно къ тому сроку, какъ поспѣло приданое — нѣтъ

вещи, къ которой бы не приглядѣлся свѣтъ — и вышла за него и живетъ.

Нѣкто коллежскій ассесоръ и кавалеръ, человѣкъ дѣловой, скорый, расторопный, который вставалъ лѣтомъ и зимой въ четвертомъ часу, а ложился въ девятомъ, послѣ обѣда отдыхалъ съ часокъ и опять спѣшилъ во всѣ концы по дѣламъ, разсказывалъ вамъ, не переводя духу, состояніе атмосферы по барометру и термометру, денежные курсы по вѣдомостямъ, въ Москвѣ и Петербургѣ, цѣну на овесъ, рожь и пшеницу, новости городскія и иногородныя, кражи, пропажи, смертные случаи, сватовства, крестины и родины и еще вдобавокъ дюжину предположеній о всякой всячинѣ — такимъ же образомъ, на самую скорую руку, обдѣлывалъ свои домашнія и чужія дѣлишки по той части, о которой мы собственно говоримъ. Онъ пріискалъ однажды для дочери пріятеля и сослуживца своего, для котораго старался какъ для себя, завиднаго жениха, съ условіемъ однакоже, чтобы 20 тысячъ было отдано безотчетно въ распоряженіе новобранца. Согласились, помолвили дѣтей и запили, какъ водится, шампанскимъ; назначили день свадьбы, посаженные съ шаферами съѣхались, невѣста одѣта, гости привалили, музыка дожидается, а жениха нѣтъ. Фонарь — такъ называли мы домикъ хозяйскій, за то, что онъ былъ малъ, тѣсенъ, свѣтелъ, прозраченъ и очень засаленъ — фонарь давно освѣщенъ, народъ толпится подъ окнами, готовый плакать и смѣяться, какъ случится; посылаютъ въ церковь въ десятый разъ — жениха нѣтъ. Наконецъ, отправляютъ шафера за женихомъ: не заболѣлъ ли, не

случилось ли чего? Ничего не бывало: онъ сидитъ дома, въ халатѣ, въ спальныхъ сапогахъ, куритъ трубку и читаетъ «Московскія Вѣдомости». «Помилуй, братецъ, одѣвайся, время къ вѣнцу ѣхать; тебя давно ждутъ! Что съ тобой, нездоровъ, что ли?» — Нѣтъ, ничего, слава Богу; да такъ, я раздумалъ. — «Что раздумалъ?» — Да жениться. — «Помилуй, ты шутишь?» — Чего шутить, нѣтъ, право. Это самое пустое дѣло: колода на шеѣ, руки связаны, ребятишки визжатъ — Богъ съ ними и съ нею. — Шаферъ, внѣ себя отъ изумленія, отправляется обратно. — Шепотъ, совѣты все тишкомъ да тишкомъ — барыни раскудахтались, засуетились; но коллежскій ассесоръ мой уже сѣлъ и покатилъ на столбовыхъ дрожкахъ своихъ къ жениху, и въ двѣ минуты разузналъ все, что ему было нужно. Женихъ не довѣрялъ дарословію будущаго тестя своего, не вѣрилъ поговоркѣ: уговоръ лучше денегъ; а думалъ: деньги лучше уговора. Поэтому онъ и объявилъ, что не пойдетъ съ мѣста до уплаты всего сполна по уговору. Когда же хлопотунъ нашъ привезъ ему полную сумму, которая частію нашлась у будущаго тестя, частію же была собрана тѣмъ же всесвѣтнымъ ходатаемъ у добрыхъ пріятелей вдолгъ, то женихъ, спокойно пересчитавъ деньги, приказалъ Гришкѣ подать шпагу, шляпу и мундиръ, — а гости и невѣста между тѣмъ все дожидались, — одѣлся, поѣхалъ, обвѣнчался, и тулумбасы гремѣли, и тарелки стучали до полуночи, и бѣ веселіе и многая радость.

Василько, написавъ маіору отвѣтъ, пошелъ пройтись, куда глаза глядятъ. Душа его была такъ взволнована, что

онъ не могъ усидѣть на мѣстѣ. Незамѣтно прошелъ онъ довольно далеко: вечеръ былъ тихій и темный; Василько остановился на мостикѣ, взглянулъ впередъ, и передъ нимъ затеплились три огонька. Съ негодованіемъ и болью на сердцѣ глядѣлъ онъ на освѣщенныя окна Ирины Титовны, и прислонившись, сложа руки, къ столбу мостика, покачалъ головою и сказалъ:

«Такъ онѣ опять уже сошлись, эти обветшалыя кофейныя мельницы; онѣ съѣхались на раду, на вѣче свое, потому что безъ нихъ не было бы у насъ и завтрашняго дня! Пусть прощаетъ васъ кто хочетъ, а я васъ не прощаю. Нѣтъ, я бы отдалъ въ эту минуту половину всего имущества своего на построеніе смирительнаго дома, въ которомъ бы вы заняли первыя, почетныя мѣста! Тамъ бы я заставилъ васъ и плесть, и молотить не языкомъ, а руками; тамъ бы вы узнали, въ потѣ лица своего, какое различіе между житьемъ тунеядца и жизнію честнаго, полезнаго, работящаго человѣка! Дурь и глупость вашу Богъ вамъ проститъ: но двуличіе ваше, ханжество, безсовѣстность, бездушіе, клевету, ложь, которая служитъ вамъ орудіемъ и средствомъ ко всему, которыми вы, какъ блаженныя памяти Архимедъ, приподняли бы шаръ земной на оси его, если бы вамъ дали только опорную точку внѣ земнаго шара, — неужели эти дѣянія ваши минуютъ достойнаго возмездія? Не знаю; но вижу, что теперь живете въ изобиліи, холите и себя и шавокъ своихъ, слывете умницами по цѣлому округу, васъ называютъ почтенными, намъ велятъ уважать васъ; вижу, что подходятъ съ подобострастіемъ

къ вялой или дебелой рукѣ вашей; вижу, что у васъ есть на все свои потайные ключи, свои привѣты и совѣты, и ружины и махины, доходы и доводы; слава и доброе имя, безъ котораго на свѣтѣ промежъ людей жить нельзя, у васъ въ рукахъ; а языки ваши равно искусно и соловьемъ щелкаютъ, и зміемъ шипятъ. Чего же вамъ больше? Вамъ и честь и слава!»

Бублинскіе, какъ уже напередъ можно заключить изъ слышаннаго нами между ними разговора, этимъ оборотомъ дѣла были крайне довольны. Хитрый полякъ очень скоро смѣтилъ, что Василько вовсе не думаетъ о сватовствѣ, что все это однѣ сплетни, полагался на разсудительность и самостоятельность пасынка и не опасался уже болѣе грозившаго было ему переворота. Подосланнымъ людямъ Бублинскіе отвѣчали насмѣшками, свысока, почему свахи наши, увидавъ, что съ этого конца нѣтъ приступа, попытались зайти съ другаго, осадивъ и взявъ приступомъ нашего добраго запорожца.

Мачиха и отчимъ, нѣсколько времени послѣ этого, обращались съ Василькомъ ласковѣе обыкновеннаго и не могли скрыть свою радость. Между тѣмъ однако же довольно странный и неожиданный случай разстроилъ согласіе ихъ съ пріемышомъ, болѣе чѣмъ когда либо, лишилъ обѣ половины взаимной довѣренности и открылъ Василько горестнымъ образомъ глаза.

Зеленый панокъ, несчастный чижикъ, былъ въ такомъ отчаяньи, послѣ неудачнаго похищенія Улиньки, что хотѣлъ топиться и стрѣляться и наконецъ, перебѣсившись и обра-

зумившись, заслалъ опять къ Авдотьѣ Поликарповнѣ свахъ, полагая, что она уже, послѣ довольно гласныхъ похожденій дочери своей, будетъ посговорчивѣе. Тетка его, Ирина Титовна, тутъ очень много хлопотала; но Поликарповна предлагала одну только мировую, чтобы у чижика былъ свой кусокъ хлѣба: чтобы Титовна заживо отписала ему водяную мельницу свою, приносившую въ годъ тысячки двѣ. Разумѣется, Титовна, на этомъ основаніи, не мирилась, и слезы и просьбы племянника ея пропали задаромъ. Отчаянною мольбою и разными обѣщаніями чижикъ успѣлъ однако же склонить тетку свою уступить ему мельницу эту довольно сходно, съ тѣмъ, чтобы онъ деньги эти досталъ налицо. Чижикъ пустился на это — въ довольно странной надеждѣ: выпросить 10 тысячъ взаймы у Василька, который былъ для чижика однимъ изъ первыхъ богачей въ мірѣ. Добродушному Васильку, которому чижикъ растолковалъ, что вы-де изъ опеки давно вышли, въ самомъ дѣлѣ польстила мысль — сдѣлать, при первомъ свободномъ употребленіи достатка своего, доброе дѣло; онъ согласился было съ своей стороны пособить и чижику, и бѣдной Улинькѣ, но услышалъ отъ отчима своего, послѣ долгихъ и тщетныхъ переговоровъ и уговоровъ, рѣшительное не *позвалямъ*. Это подало Василько поводъ просить, со всѣмъ уваженіемъ и сыновнею преданностію, чтобы опекунъ передалъ ему лучше все имѣніе; Василько благодарилъ втораго отца своего непритворно за всѣ заботы его и попеченія и прибавилъ: «Пора мнѣ однако же самому заступить мѣсто опекуна своего и снять съ васъ, батюшка, хлопоты о чужомъ; я не

ребенокъ, мнѣ совѣстно сидѣть у васъ дармоѣдомъ на шеѣ». Хотя полякъ Бублинскій отклонилъ и отсрочилъ исполненіе этого требованія самымъ благовиднымъ образомъ и поцѣловалъ питомца своего трижды въ лобъ, но бѣдный Василько, въ первый разъ отроду, усомнился въ искренности этихъ лобзаній, что ему было горько и больно до нестерпимости. Невольно въ Василькѣ мелькнула мысль, что отчимъ его извлекаетъ какія нибудь личныя для себя выгоды изъ довѣреннаго ему имущества — добрый Василько самъ ужаснулся такой мысли, но она уже неотвязчиво его преслѣдовала и ему не было отъ нея покою. Ему дороги были тутъ не рубли и копѣйки, а честь своего втораго отца, котораго онъ привыкъ уважать и почитать съ малолѣтства, какъ отца роднаго. Грусть и раздумье заволокли навсегда ясное чело Василька, ласки мачихи и отчима не утѣшали его, не успокоивали; между нимъ и ими встала и выросла ледяной стѣной какая-то неприступная грань, семейное счастье его рушилось. Положеніе это день ото дня становилось для Василька нестерпимѣе; можетъ быть, ему также стыдно было передъ ничтожнымъ человѣкомъ, каковъ нашъ корнетъ-поэтъ, что не можетъ располагать по волѣ добромъ своимъ; словомъ, Василько пришелъ въ одно утро къ отчиму своему и сталъ проситься куда нибудь въ путь. Отчимъ сначала было немножко позамялся, полагая, что Василько хочетъ ѣхать за границу, а на это опять-таки понадобилось бы много денегъ; но когда этотъ сказалъ положительно, что до времени хочетъ только оглянуться немножко на родинѣ своей, которая для него гораздо занимательнѣе заморья, то

Бублинскій разсудилъ, что такая поѣздка всего лучше разсѣетъ Василька, разгонитъ думу его и заставитъ позабыть возникшую было непріятность.

Итакъ Василько, оставивъ отчиму примѣрный путевникъ, которому намѣренъ былъ слѣдовать, сѣлъ въ плетеную польскую бричку, легкую и удобную, и покатилъ, на первый случай, прямо на сѣверъ. Прощаясь съ родителями своими, онъ прослезился, и это были столько же слезы сыновней любви и привязанности, сколько и слезы душевной скорби и огорченія.

До отъѣзда, Василько еще разъ повидался съ Пушкой и съ Горемыкинымъ. Первому онъ признался во всемъ откровенно, когда тотъ, положивъ ему руку на плечо и пригвоздивъ его искристыми, карими очами своими, сказалъ: «Василько, ще ты мене зроду не обманывавъ, а таперечки хочешь видбрехаться? чи яжъ тебе выдамъ, або що? сидай, та сыпъ мини отсюды правду» — и указалъ на голую грудь свою.

Маіоръ слушалъ разсказъ Василька пристально, а потомъ сказалъ: «Что не дали тебѣ кинуть этой трясогузкѣ задаромъ десяти тысячъ, это дѣло; а что ты добрался наконецъ самъ до правды — это также къ лучшему; постороннему человѣку говорить тебѣ объ этомъ не приходилось, а въ лицо и въ глаза говорилъ я твоимъ паньству Бублинскимъ часто, что они ходятъ не въ своихъ *кожухахъ*. Какъ быть, поѣзжай съ Богомъ, а воротишься, живы да здоровы будемъ, перегадаемъ да передумаемъ, что и какъ ладить».

Горемыкину Василько оставилъ въ полное распоряженіе хорошій подборъ книгъ на четырехъ или пяти языкахъ и увезъ отъ него въ дорогу — признаніе, о которомъ скажемъ нѣсколько словъ ниже.

Теперь надобно сказать, чѣмъ кончилось дѣло въ Шпиговкѣ. — Степанъ Власовичъ, получивъ ясное, откровенное и благородное письмо Василька и поговоривъ съ нимъ лично, велѣлъ въ ту же минуту заложить чубараго въ струментъ свой, отправился въ Шпиговку, сыпалъ на пути проклятія вправо и влѣво, и заставъ у Бабачковъ Ирину Титовну съ прибором, пропѣлъ всѣмъ имъ такую пѣсню, что онѣ, чай, долго еще крестились да отмаливались. «Чому васъ», сказалъ онъ имъ между прочимъ, «чому васъ, та жидивъ, та цыганъ мылуютъ, не берутъ васъ на службу царскую *), пралыбъ та пралы сорочки на солдативъ; хочь бы не даромъ хлибъ илы, тай не сталобъ тоди у васъ часу на таке паскудне дило!» Потомъ маіоръ отыскалъ крестницу свою, Мелашу, взялъ ее за руку, вывелъ въ комнату, гдѣ не было постороннихъ, поцѣловалъ ее, перекрестилъ и заговорилъ съ нею такимъ отеческимъ языкомъ, какого она еще отроду дома не слыхала. Обвивъ руки свои вкругъ шеи почтеннаго сѣдаго маіора, она залилась слезами, но вскорѣ оправилась опять и сказала простодушно, съ чувствомъ и благородствомъ: «Батюшка, выслушайте-же меня,

*) Въ тѣ поры съ жидовъ еще рекрутъ не брали, а цыгане шатались никуда неприписанные и также повинностей никакихъ не несли.

вы меня поймете: что было у меня здѣсь, на сердцѣ, того не зналъ и не могъ знать никто; а что думали и говорили за меня другіе, въ томъ я ли виновата?» Степанъ Власовичъ точно понялъ отвѣтъ этотъ, и снова поцѣловалъ Мелашу и снова ее перекрестилъ.

Горемыкинъ, когда вся развязка эта дѣялась и творилась передъ глазами его, словно головою изъ-подъ воды вынырнулъ да снова увидѣлъ передъ собою Божій свѣтъ, снова прозрѣлъ и услышалъ. Онъ давно уже любилъ Мелашу, но втайнѣ, безнадежно: во-первыхъ, никогда не ожидалъ взаимности, а во-вторыхъ, и во снѣ не смѣлъ мечтать, чтобы Степанида Ѳоминишна согласилась на этотъ бракъ. Евстратъ Богдановичъ почиталъ чувство свое какимъ-то преступленіемъ, запряталъ его на самый исподъ, въ темный уголокъ своего сердца, и пугался одной мысли, что оно кѣмъ нибудь можетъ быть тамъ открыто, что его могутъ вытащить на свѣтъ, на общее позорище. При всемъ томъ однако же, неожиданное открытіе, что Василько ему вовсе не угрожаетъ соперничествомъ, его какъ-то обрадовало и ободрило, хотя трудно объяснить—почему. Отношенія его отъ этого не измѣнились, надежды не прибавилось ни на-волосъ. Когда же Василько послалъ, передъ отъѣздомъ своимъ, въ воскресный день, линейку за Горемыкинымъ, и оба бесѣдовали другъ съ другомъ откровенно и безъ свидѣтелей о прошедшемъ, о будущемъ и настоящемъ, то Евстрату тайна его приступила къ глоткѣ и чуть его не задушила: онъ покаялся Васильку во всемъ и въ такихъ выраженіяхъ, въ какихъ говорятъ о какомъ

нибудь бѣдствіи, противъ котораго нѣтъ ни зелья, ни снадобья, и говорятъ объ немъ только, чтобы облегчить душу свою.

Степанида Ѳоминишна сначала охала, ахала, кричала; привязала по куску соленаго огурца къ вискамъ отъ головной боли — такъ она тужила по бѣдной обманутой дочери; но когда маіоръ побывалъ въ Шпиговкѣ, усовѣстилъ мать, успокоилъ дочь, крестницу свою, и объявилъ все дѣло сплетней самаго дурнаго разбора, то Степанида Ѳоминишна выздоровѣла, замолчала, сняла огурцы и повязку и стала мотаться попрежнему въ хозяйствѣ. Сергѣй Сергѣевичъ, игралъ во все это время въ молчанки.

Василько очень хорошо чувствовалъ, что ему необходимо было соединить съ прогулкою своею какую нибудь цѣль, намѣреніе, что ѣхать только поглядѣть на Божій свѣтъ нельзя; на это не стало бы, думаю, никого, а всего менѣе нашего Василька. Итакъ онъ задалъ себѣ вотъ какую задачу:

1) Собирать по пути всѣ названія мѣстныхъ урочищъ, разспрашивать о памятникахъ, преданіяхъ и повѣрьяхъ, съ ними соединенныхъ, съ тѣмъ, чтобы примѣнять все это впослѣдствіи къ бытописанію Россіи, которое необходимо должно, во многихъ случаюхъ, поясняться этими памятниками старины.

2) Разузнавать и собирать, гдѣ только можно, народные обычаи повѣрья, даже пѣсни, сказки, пословицы и поговорки и все, что принадлежитъ къ этому разряду.

3) Вносить тщательно въ памятную книжку свою всѣ

народныя слова, выраженія, реченія, обороты языка, общіе и мѣстные, но неупотребительные въ такъ-называемомъ образованномъ нашемъ языкѣ и слогѣ.

Послѣдняя статья, въ глазахъ многихъ, вѣроятно, пустѣйшая изъ всѣхъ трехъ, для насъ съ Василькомъ была самая главная и важная. Мнѣнія и понятія нашего объ этомъ предметѣ въ нѣсколькихъ строкахъ изложить нельзя; но оно вкратцѣ, въ перечнѣ, заключается въ слѣдующемъ. Образованность и просвѣщеніе разлились по нашему отечеству быстрымъ горнымъ потокомъ, не ниспадали исподволь дождемъ и росою: то, что люди всосали, капля по каплѣ, изъ сосцовъ матернихъ, съ молокомъ, мы похлебали ложками да выпили ендовами. — Языкъ, который преобразовывается вѣками, не успѣлъ за этимъ переворотомъ, отсталъ, а между тѣмъ надо было выразить все то, что вновь наводнило сердце и душу, нравственныя и умственныя силы наши; вотъ почему стали мы поневолѣ говорить и писать не по-русски, какъ понынѣ пишемъ мы съ вами, мой почтенный читатель. Пенять за это на насъ нельзя; на нѣтъ и суда нѣтъ. Не одни слова, выраженія, а цѣлые обороты, изреченія, переносились цѣликомъ съ другихъ языковъ, слишкомъ удаленныхъ, по свойству своему, отъ нашего; вышла безцвѣтная смѣсь, которая все еще не могла достигнуть образцовъ своихъ, языковъ европейскихъ, и также довольно отстала — а не оставила за собою — отъ языка природнаго. Языкъ нашъ не гнется въ заморскую дугу, и мы его ломаемъ; что противъ духа языка, того онъ себѣ усвоить не можетъ; онъ долженъ перебро-

дить самъ въ себѣ, на своихъ дрожжахъ, тогда изъ него выработается языкъ сильный, могучій, богатый, всеобъемлющій; таковы начало и корень его. На вопросъ: откуда жь намъ учиться, послѣ всего этого, русскому языку? отвѣтъ слѣдуетъ, само собою, изъ предыдущаго: учиться надо ему тамъ, гдѣ онъ еще не искаженъ, не перелицованъ на изнанку, не изнѣмечился, то есть въ народѣ. Кто захохочетъ при этомъ и скажетъ: «онъ съ Васильякомъ хочетъ заставить насъ говорить костромскимъ или галицкимъ нарѣчіемъ низовыхъ бурлаковъ», — тотъ насъ не понимаетъ, и грѣшитъ, выдавая свои затѣи за наши. *Духу* нашего языка надобно учиться нынѣ у костромскаго, ярославскаго и вообще всякаго русскаго крестьянина, у простолюдина, потому что этому изъ книгъ научиться нельзя; но языкъ, который, вслѣдствіе подобныхъ изысканій, выработается современемъ изъ такихъ началъ, будетъ не мужицкій языкъ, а русскій, образованный языкъ, котораго доселѣ еще у насъ нѣтъ.

Такимъ образомъ, напримѣръ, находимъ мы въ записной книжкѣ Василька: — вмѣсто: «казакъ осѣдлалъ коня какъ можно поспѣшнѣе, посадилъ товарища своего, у котораго не было коня, на крупъ, и слѣдовалъ за непріятелемъ своимъ, имѣя его всегда въ виду, чтобы при благопріятныхъ обстоятельствахъ на него кинуться» — вмѣсто этого, пиши и говори: «казакъ сѣдлалъ уторопь, посадилъ безконнаго товарища на забедры и слѣдилъ непріятеля въ назерку, чтобы при спопутности на него ударить». — «Обсылаться подарками, обознаться къ кому нибудь — опознать вещь или

человѣка — опознаться на мѣстѣ — пронять ухо серьгой — придти на побывку — наслушивать сѣть или удочки рукою — сидѣть на слуху — овражки заиграли — по́ползень — зо́рница — марево» и такъ далѣе.

Вотъ за чѣмъ Василько поѣхалъ, вотъ на что обращалъ онъ все вниманіе свое, а потому деревни и села занимали его гораздо болѣе, чѣмъ губернскіе наши города, которые осмотрѣны уже многими кругомъ и со всѣхъ сторонъ, между тѣмъ какъ то, за что взялся нашъ путникъ, былъ еще почти никѣмъ не початый, нетронутый родникъ или рудникъ, какъ угодно. Василько напередъ всего хотѣлъ узнать отечество свое съ послѣдней и низшей ступени его, съ основанія, а потому изучалъ, вмѣстѣ съ памятниками и языкомъ, и самый народъ нашъ: нравы его, обычаи, свойства, наклонности, духъ, мысли, все. Онъ ѣхалъ медленно, большею частію на долгихъ, выбиралъ по разспросамъ и разнымъ примѣтамъ ночлеги свои и роздыхи, братался съ крестьянами, наводилъ ихъ то на то, то на другое, заставлялъ гуторить, баить и балагурить, потому что этимъ только, окольнымъ путемъ можно вывѣдать изъ нашего крестьянина то, что нужно было Василько, а прямыми разспросами никогда и ничего не добьешься. Примѣты, по которымъ Василько отыскивалъ иногда очень удачно людей такого покроя, какъ ему было нужно, довольно странны: разъ, напримѣръ, онъ увидалъ въ одномъ селѣ презатѣйливаго пѣтушка на щищѣ и прехитрой рѣзьбы кровельныя полотенца; онъ допросился мужика-плотника, который ихъ работалъ, и нашелъ для себя въ этомъ человѣкѣ кладъ.

Такимъ образомъ Василько заѣхалъ шагъ за шагомъ и въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ уже довольно далеко отъ родины своей, а именно въ Оренбургскую губернію, и собирался все еще далѣе на востокъ, когда нашелъ въ Шешминскомъ фельдъ-шанцѣ бѣлоголоваго старика, солдатскаго малолѣтка, Егора Кондратьева Арзамасова. Довольно странно видѣть тутъ цѣлыя селенія *малолѣтковъ*, у которыхъ не только есть дѣти, но иногда внуки и правнуки. Они поселены были въ свое время полка́ми, избавлены отъ всѣхъ повинностей, и потомки ихъ все еще сохранили названіе малолѣтковъ. Этотъ замѣчательный старикъ зналъ и помнилъ все, что дѣлалось въ томъ краю, покрайней мѣрѣ, въ теченіе 50-ти лѣтъ. Кромѣ того онъ складно разсказывалъ, вытвердивъ наизусть, много сказокъ, думъ и былей. Всего лучше показалась Василько *быль о взятіи Царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ Казани* — и мы выпишемъ здѣсь быль эту, какъ потому, что она стоитъ этого по себѣ, такъ и потому, что она собственно задержала Василька напослѣдяхъ въ Шешминскомъ фельдъ-шанцѣ, и была причиною немаловажнаго, для всей жизни его, Василька, приключенія.

Быль о взятіи Казани.

«Когда царь Иванъ Васильевичъ подступилъ подъ городъ Казань, то стоялъ онъ подъ городомъ подъ Казанью ровно три года; а городъ держалъ Змей съ волшебницей, да правилъ городомъ царь Семенъ-невѣрный. И эти орудія-пушки были у царя Грознаго заговорены волшебницей,

а онъ Божьей волей умудрился, царь Иванъ Васильевичъ, подкопъ подвести отъ города за семь верстъ. И велъ онъ подкопъ этотъ подъ Казанкой-рѣкой и подрылся подъ самый нутреной кремль, и подкатилъ онъ пороховыя бочки подъ самый кремль, и приказалъ онъ на бочкахъ этихъ затеплить свѣчи, и во станѣ своемъ на вольномъ вѣтру свѣчи, и дойти огню до этихъ свѣчей и до пороху, и разорвалъ бы онъ Кремль-этъ внутренній. На вѣтру свѣчи потеплились, нутреной городъ не начинаетъ рвать. Грозенъ былъ въ тѣ поры царь Иванъ Васильевичъ; закричалъ онъ своимъ ярымъ голосомъ: «подайте Малюту Темрюкова, молодова палача! Возьми ты, Малюта, канонера главнаго, сыми ты съ него буйну голову, по самыя по его могучія плеча, за измѣну за его великую». Выводитъ его Малюта Темрюковъ сынъ, хочетъ съ него снять напрочь буйну голову, по самыя по могучія плеча, и возговоритъ тотъ канонеръ главнѣйшій: «Батюшка нашъ царь Иванъ Васильевичъ, не прикажи казнить, погоди въ часу хоть съ минуточку, прикажи рѣчь говорить: на вѣтру свѣчи скоро теплятся, подземельны свѣчи помаленьку горятъ!» Не успѣлъ канонеръ слово молвити, и взорвало самый городъ внутренній. Поздравляетъ царь Семенъ-невѣрный царя Ивана Васильевича съ городомъ, выноситъ ему на блюдѣ золотомъ ключи, и отъ Кремля того и отъ города: «Вотъ тебѣ, царь Иванъ Васильевичъ, городъ мой и вся Азія!— то есть вся Башкирь» — прибавилъ отъ себя Арзамасовъ, и сталъ разсказывать дальше и дальше, о заселеніи закамской линіи, о древнихъ болгарскихъ укрѣпленіяхъ по этой же линіи, отъ коихъ и понынѣ

остались потайныя подземелья, спуски къ водѣ, о Пугачѣ и прочее.

Василько собрался было совсѣмъ ѣхать, и лошади были заложены, когда Арзамасовъ вспомнилъ пѣсню о взятіи Казани; Василько сталъ записывать ее, сталъ разспрашивать старика еще кой-о-чемъ, и это было поводомъ къ тому, что путникъ нашъ замѣшкался, разсчелъ, что уже лучше здѣсь позавтракать, велѣлъ сварить себѣ яицъ и подать молока, и такимъ образомъ выѣхалъ часами тремя позже, чѣмъ было собрался и уложился.

Не успѣлъ онъ отъѣхать отъ Шешминскаго десяти верстъ, какъ вдругъ увидѣлъ по дорогѣ дымъ и наѣхалъ на пожаръ особеннаго рода: не домъ горѣлъ и не изба, а дорожная повозка, карандасъ на долгихъ дрогахъ, отъ котораго уже отступились, какъ видно, и самъ хозяинъ, стоявшій преспокойно подлѣ, и ямщикъ, державшій отложенныхъ лошадей въ поводу. Василько остановился, чтобы подать помощь, но уже было поздно; пламя отъ загорѣвшейся оси и колеса охватило всю повозку. Василько предложилъ проѣзжему, котораго станъ, ростъ и черты напоминали ему разительно стараго и почтеннаго друга, Степана Власовича, предложилъ мѣсто въ бричкѣ своей, и проѣзжій, нашедши въ незнакомомъ, къ величайшей радости своей, человѣка, съ которымъ могъ говорить на природномъ языкѣ своемъ, безъ всякихъ обиняковъ пожалъ ему руку, кинулъ чемоданчикъ, плащъ и подушку въ бричку Василька, и новые товарищи и попутчики поскакали.

Василько ѣхалъ теперь съ англичаниномъ Давидсономъ, управлявшимъ въ то время однимъ изъ значительнѣйшихъ частныхъ горныхъ заводовъ Уральскаго хребта. Давидсонъ ѣздилъ куда-то по заводскимъ дѣламъ и, узнавъ, что у Василька нѣтъ опредѣленнаго пути, просилъ его убѣдительно заѣхать вмѣстѣ на заводъ и посѣтить радушное семейство обрусѣлаго англичанина, какъ самъ Давидсонъ при этомъ случаѣ выразился. «Коли вы уже заѣхали въ концесвѣтный край нашъ», продолжалъ Давидсонъ, «то вамъ надо посмотрѣть и на горнозаводское производство наше, это вещь любопытная. Первое, что я вамъ покажу у себя, это выдѣлку изъ чугуна желѣза; у насъ вообще *поду* даютъ слишкомъ большой наклонъ, отчего, правда, гари или шлаку бываетъ меньше, а желѣза выходитъ больше, но оно дурное, хрупкое, ломается нерѣдко при самой укладкѣ на барки: у меня этого нѣтъ; я вамъ покажу, какое у меня желѣзо! его и въ Нижнемъ знаютъ, оно и тамъ всегда двѣнадцатью копѣйками дороже.

«Вы найдете также на всѣхъ частныхъ заводахъ, что мѣха весьма дурно устроены: воды много, но въ ней, по этому самому, всегда недостатокъ. Увидите также, что машинъ чрезвычайно мало, все работается руками — отъ этого утрата времени, силъ, меньшее производство и дороговизна работъ. А почему? всему одна причина: безразсчетная жадность къ немедленной прибыли; мы все хозяйничаемъ, видите, будто заводу стоять только до будущаго года; нѣтъ, сударь, заводъ дѣло вѣковое, онъ долженъ стоять и улучшаться съ году на годъ, до самаго свѣто-

преставленія — вотъ какъ должно смотрѣть на горный заводъ!»

Не говоря уже о томъ, что все это было для Василька очень любопытно, Давидсонъ привлекалъ его къ себѣ какъ наружностію своею, живо напоминавшею стараго маіора, такъ и прямодушнымъ, сердечнымъ обращеніемъ и страстною любовью къ своему искусству. Въ самомъ дѣлѣ, какъ пріятно видѣть человѣка, который знаетъ дѣло свое и преданъ ему душой и тѣломъ!

Въ три дня Василько обжился со всѣмъ семействомъ Давидсона, былъ у него дома свой, и когда вникъ и вошелъ, свѣтлымъ умомъ своимъ, во всѣ части горнаго заводскаго производства, то передъ нимъ открылся, въ полномъ смыслѣ слова, новый міръ. Эта совершенно новая для Василька отрасль промышленности нашей, одна изъ важнѣйшихъ въ имперіи, заняла и увлекла его не менѣе, какъ и голубоокая Молли, старшая дочь Давидсона. И не пеняйте ему за это — одно другаго стоило, по крайней мѣрѣ въ извѣстномъ смыслѣ: тамъ, на заводѣ Давидсона, всюду видна была одна только цѣль, польза, разсчетъ, прибытокъ; здѣсь, въ дочери его, все было изящество, начиная отъ густой и долгой косы, обвитой вкругъ черепаховаго гребня, и до живой прозрачности ноготковъ и изящно отлитой или изваянной ножки; тамъ изумляла и поражала наблюдателя эта исполинская дѣятельность, кипучая жизнь, холодная, разсчитанная, однообразная, но въ огромныхъ размѣрахъ; здѣсь, подъ легкой наружной оболочкой свѣтскаго приличія, скромности и *англійской* спокойной разсудительности, ки-

пѣла умная и роскошная игра мыслей и чувствъ, которымъ Василько, занимаясь теперь прилежно изученіемъ царства ископаемыхъ, далъ всѣ имена и названія драгоцѣнныхъ камней нашего Урала, и потомъ сравнилъ весь подборъ этотъ съ неоцѣненнымъ калейдоскопомъ, который можно оборачивать, перебивая положеніе камней, цѣлый вѣкъ, и всегда глазъ будетъ пріятно изумленъ нечаянностію вѣчноноваго цвѣтка, узора или звѣздочки, состоящихъ однакоже въ сущности все изъ однихъ и тѣхъ же основныхъ самоцвѣтныхъ камней.

Порядокъ и устройство въ домѣ Давидсона представляли ту же паровую машину, въ маломъ видѣ, тотъ же заводъ, заведенные часы. Каждый въ домѣ, начиная съ самого хозяина и до судомойки, зналъ свое дѣло, и каждый занимался своимъ. Вставали въ опредѣленный часъ, сходились за огромный самоваръ, расходились и принимались за дѣло; опять сходились, по бою часовъ, къ завтраку, опять отправлялись по мѣстамъ и, въ положенное время, уже каждый стоялъ смиренно за стуломъ своимъ, ожидая, чтобы отецъ прочелъ вслухъ краткую молитву; отобѣдавъ, всѣ снова принимались за работу и наконецъ уже, за вечернимъ самоваромъ, вкругъ котораго разставлены были блюда и тарелки съ холоднымъ жаркимъ, солониной, ветчиной, сыромъ, масломъ, яйцами въ смятку, начинали жить для себя, отдыхать отъ дневныхъ трудовъ въ семейномъ кругу. Дѣтей умывали и одѣвали раза по четыре на день, въ положенные часы; утромъ бѣгали они въ какихъ-то парусинныхъ чехлахъ, которые каждый день перемѣнялись, а къ

обѣду выходили въ опрятныхъ курточкахъ; старшіе сыновья занимались уже по заводу, въ двоякомъ смыслѣ: во-первыхъ, они помогали отцу присматривать тамъ, гдѣ просто нуженъ былъ глазъ; а кромѣ того, они изучали поодиночкѣ всѣ части производства, для чего и поступали въ науку поочередно ко всѣмъ мастерамъ отдѣльныхъ частей. Дочери раздѣлили все хозяйство между собою и чередовались въ занятіяхъ своихъ, такъ что поперемѣнно присматривали за столомъ, за бѣльемъ, за дѣтьми, за чистотою въ домѣ; матери оставался только общій надзоръ и распорядокъ. Василько любовался каждый день этой картиной, когда утреннія заботы наставали, и каждая изъ дочерей, до послѣдней, двѣнадцатилѣтней, приходили докладывать матери о состояніи и благополучіи ввѣренныхъ имъ частей и принять на сегодняшній день приказанія. Прислуги было въ домѣ очень немного, но всѣ успѣвали, потому что никто ихъ не сбивалъ, никто не мѣшалъ, не отрывалъ отъ дѣла, и каждый зналъ опредѣлительно, что и въ какое время ему надо было сдѣлать: сколько разъ въ недѣлю выгребать изъ камелька золу, сколько разъ выколачивать половики, круга и ковры, когда чистить въ цѣломъ домѣ мѣдь и бронзу: на все это было точное и подробное положеніе, по которому, въ теченіе двадцати трехъ лѣтъ — столько Давидсонъ былъ уже на своемъ мѣстѣ — не было сдѣлано ни измѣненій, ни дополненій; поневолѣ всѣ къ нему привыкли, и все шло какъ по часамъ. Кухня у Елизаветы Самойловны, жены Давидсона, была, безъ всякаго сравненія, чище и опрятнѣе моей и вашей гостиной; и ваша гостиная, вѣроятно, какъ и моя,

моется по разу въ недѣлю: а тутъ все — полки, столы, шкафы, полъ — о посудѣ я уже не говорю — мылись и скреблись каждый день; и это дѣлалось въ полчаса, потому что не давали грязи наростать и накопляться. Я васъ увѣрю, что тотъ, кто не видалъ англійской кухоньки, не можетъ себѣ вообразить и представить, до какой степени она бываетъ чиста и опрятна. Это не голландская стряпная, гдѣ вы найдете конечно не менѣе чистоты и опрятности, но гдѣ господствуютъ какая-то неумѣсная изысканность и причудливое, безполезное убранство: здѣсь все просто, но все на своемъ мѣстѣ, все устроено для практической пользы, не для одного виду, а для дѣйствительнаго употребленія.

Такимъ образомъ Василько прожилъ довольно долго, мѣсяца два; и не замѣтилъ, какъ время улетѣло. Старикъ Давидсонъ, полюбивши пытливый, острый умъ его, понятливость, познанія, легкость, съ которою онъ усвоивалъ все, что ни видѣлъ, и горячность, съ которою онъ принялся за изученіе совершенно новой для него части, — Давидсонъ держалъ Василька, уговаривалъ еще остаться, а Василько не видѣлъ, куда и зачѣмъ ему торопиться, и говорилъ, какъ одинъ извѣстный почтенный человѣкъ про знаменитый садъ свой: «зачѣмъ далеко? и здѣсь хорошо!» тѣмъ болѣе, что въ Тобольской, Томской и Иркутской губерніяхъ нѣтъ, конечно, другой Молли, а позади, въ Симбирской, Тамбовской, Нижегородской и прочее, также не было; тамъ Василько уже побывалъ, оттуда пріѣхалъ и не видалъ тамъ ничего подобнаго.

Наконецъ одинъ изъ прикащиковъ, ѣздившій по дѣламъ

заводскимъ въ Екатеринбургъ, привезъ Василью извѣстіе, что тамъ на его имя лежитъ на почтѣ страховое письмо и давненько уже его ожидаетъ. На письмѣ написано: *оставить на почтѣ* и *въ собственныя руки*. Василью встревожился, вспомнилъ, что по оставленному у отчима путевнику давно уже долженъ бы проѣхать Екатеринбургъ, сообразилъ, что страховое письмо непремѣнно должно содержать какую-нибудь особенно важную вѣсть, потому что получалъ во весь нуть письма не страховыя, — и хотѣлъ сейчасъ же скакать въ Екатеринбургъ. Но Давидсонъ, разспросивши толкомъ въ чемъ дѣло, сказалъ, съ обыкновенною разсудительностію и положительностію своею: «Постойте, mister Fédoroff — такъ онъ звалъ Василька, — постойте, это вздоръ. Если письмо содержитъ извѣстіе, по которому вы, можетъ быть, должны ѣхать домой, то вамъ незачѣмъ скакать теперь 300 верстъ впередъ, дальше отъ дому; если же извѣстіе не такого рода, то вы также спокойно можете остаться здѣсь, у насъ, и выждать, покуда вамъ его привезутъ. Времени вы не потеряете, потому что я завтра же долженъ опять послать въ Екатеринбургъ нарочнаго; вы дадите ему довѣренность на имя знакомаго мнѣ горнаго офицера, заводскій исправникъ нашъ скрѣпитъ ее — мы съ нимъ въ большой дружбѣ — но для вѣрности, для подкрѣпленія дружбы, мы пошлемъ къ нему, на всякій случай, голландскій сыръ, который здѣсь въ рѣдкость. — Бетси, продолжалъ онъ, обратившись къ женѣ, послать исправнику четверть сыра и просить его,—не сыръ то есть, а исправника ко мнѣ — и дѣло будетъ въ шляпѣ.»

На четвертый день нарочный воротился и привезъ Василькy письмо. Печать была красная, но содержаніе его до того потрясло и поразило Василька, что онъ мгновенно измѣнился въ лицѣ. Оно выражало что-то думное и тревожное. Въ чертахъ около губъ не видно было глубокой горести, скорби, но черты эти выражали, что Василько тронутъ, что ему больно; а глаза, лобъ и брови показывали какое-то безпокойство, какое-то постоянное изумленіе.

Василько просидѣлъ довольно долго одинъ, или проходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ; наконецъ вошелъ къ нему, постучавшись напередъ въ дверь и выждавъ позволенія: «come in!»—старикъ Давидсонъ, которому сказали, что письмо крѣпко встревожило Василька. Разговора ихъ мы не слышали, но онъ длился болѣе часу; Василько читалъ новому другу своему письмо, говорилъ почти все время съ большимъ одушевленіемъ, былъ тронутъ, нѣсколько разъ, останавливаясь, закусывалъ нижнюю губу, и она немного дрожала. Въ тотъ же день онъ сѣлъ и поскакалъ домой, ѣхалъ все на почтовыхъ и гналъ, сколько могъ. Прощаясь съ нимъ, Давидсонъ пожалъ и тряхнулъ ему руку и сказалъ повидимому не шутя: «я съ вами не прощаюсь, мы еще увидимся: вы будете славный заводчикъ — рѣшитесь только кинуть безтолковое хозяйство свое, эти скучные урожаи и неурожаи, да привозите къ намъ чистыя деньги: если здѣсь начать дѣло только съ двумя стами тысячъ, но пять, шесть лѣтъ не спрашивать доходу, то на седьмой вы получите 30, 40, а тамъ можетъ быть и до 80 тысячъ годоваго доходу. Вы не будете хозяйничать такъ,

какъ сосѣдъ нашъ, который тѣмъ не менѣе честитъ себя званіемъ заводчика: посмотрите, управляющій нажегъ ему три горы Араратскихъ угольевъ, а работа стоитъ; почему? нѣтъ денегъ на уплату извоза, за доставку руды!! а? каково это? How do you like it? Знаете ли, mister Fédoroff, что на Уралѣ, изъ числа 1866 частныхъ рудниковъ, разрабатывается не болѣе 23-хъ, и, между прочимъ, изъ 400 мѣдныхъ только 30! Есть заводы, которые не въ состояніи платить крестьянамъ иначе за работу, какъ заводскими же издѣліями — легко разсчесть, сколько тутъ бѣдному мужику хлопотъ и сколько убытку! Куда онъ повезетъ продавать, изъ глуши своей, полпуда штыковой мѣди или три пуда полосоваго желѣза? Знаете ли, что я засталъ въ заводской конторѣ своей только два рода предписаній отъ прежнихъ владѣльцевъ, богачей, какъ говорили, милліонщиковъ: — 1-е высылать въ Москву всю выручку сполна, а заводскіе расходы прикрывать хозяйственными средствами, и 2-е строго наблюдать, чтобы съ крестьянъ-новоженцевъ собиралось, по старому обычаю, по 10 руб. и по шитому полотенцу!!! Я не шучу, mister Fédoroff, я вамъ могу это показать за нумеромъ и за подписью заводчика!»

Въ Варшавѣ, неподалеку отъ извѣстнаго памятника славному Копернику, стоящаго на довольно тѣсномъ мѣстѣ, противъ выдавшагося острымъ клиномъ квартала, неподалеку отсюда былъ когда-то палацъ пана грабія Кочатковскаго, по-русски: домъ или дворецъ графа Пѣтушинскаго. Тутъ же, подлѣ, была и знаменитая въ свое время *кавярня*,

кофейная, въ которой, во время отечественной войны нашей, бывало безвыходно толпились русскіе офицеры всѣхъ полковъ и мундировъ. Тутъ же жилъ, если помните, знаменитый грамматикъ польскій, который, сказываютъ, далъ однажды продавцу-разносчику глиняной посуды полъ-злотаго, чтобы тотъ не кричалъ: *гаршкувъ, рынкувъ!* потому что это неправильно, а чтобы кричалъ: *гаршкувъ, рынекъ!* и потомъ погнался за разносчикомъ съ палкой, когда тотъ, поглядѣвъ на грамматика, какъ на какого-нибудь полоумнаго, и отошедши шаговъ за сотню, началъ опять, по старой привычкѣ, возглашать во все горло: *гаршкувъ, рынкувъ!* Въ той же знаменитой кавярнѣ вывѣшивали по средамъ цвѣтной, бумажный огромный фонарь, на которомъ было написано буквами, свитыми изъ розъ и незабудокъ: *Пріятельскій балыкъ* или *балыкъ для пріятели*. Здѣсь толпился, бывало, сбродъ мужчинъ, въ грязныхъ сапогахъ, въ плащахъ и шинеляхъ, поднявъ еще стоячій воротникъ и закутывая лицо, между тѣмъ какъ музыка гремѣла, и очень нарядныя на взглядъ дамы сидѣли по диванамъ и отхватывали съ отчаянными усачами мазурку.

Итакъ, тутъ стоялъ дворецъ графа Кочатковскаго. Графа давно уже не было на свѣтѣ, а графиня лежала теперь на смертномъ одрѣ. Улица передъ домомъ была устлана соломой, ксендзы, доминиканы и бернардины, цѣлый сонмъ врачей, множество офиціантовъ, множество дѣловыхъ людей, толпились въ передней и въ залѣ, между тѣмъ какъ во внутреннихъ покояхъ было нѣсколько знат-

ныхъ барынь. Наконецъ, графиня дрожащимъ голосомъ попросила всѣхъ выдти, потребовала къ себѣ трехъ монаховъ, поименно, и въ томъ числѣ пріора или настоятеля, отдала имъ своеручно запечатанное пятью печатями письмо, на имя графа Базыля Кочатковскаго, сказала, гдѣ его искать, отказала монастырю значительную сумму, съ тѣмъ, чтобы настоятель обязался доставить письмо это въ собственныя руки графа, а черезъ нѣсколько дней, во дворцѣ графини все было тихо, мертво и пусто, потому что она перебралась уже изъ суетнаго и великолѣпнаго жилья своего въ одинокую и тѣсную земляночку, въ которую, какъ въ ловушку, есть только входъ, а выхода нѣтъ.

Бублинскій былъ увѣдомленъ обыкновеннымъ порядкомъ, что скончавшаяся въ Варшавѣ графиня Юзефа Кочатковская представила, передъ смертію своею, законныя доказательства на то, что у нея былъ, отъ покойнаго графа, сынъ Базыль, Василій, который оставленъ ею, по тогдашнимъ смутамъ и переворотамъ Польши, въ Россіи, и именно въ такой-то губерніи, у помѣщика Игнатія Бублинскаго; что часть отцовскаго наслѣдья передана была впослѣдствіи опекуну и отчиму молодаго графа, тому жь Бублинскому, часть утрачена навсегда, поступивъ уже, со времени смерти старика, въ руки дальнѣйшихъ наслѣдниковъ, потому что графъ умеръ, не сдѣлавъ завѣщанія и не объявивъ ничего о сынѣ; а мать Василія, нынѣ скончавшаяся, оставляетъ сына своего полнымъ и единственнымъ наслѣдникомъ, какъ собственнаго своего имущества, такъ и законной доли своей отъ отцовскаго.

Почти въ то же время, или еще нѣсколько прежде, Бублинскій получилъ увѣдомленіе отъ бернардиновъ изъ Варшавы, что у нихъ хранится повидимому важнаго содержанія письмо на имя молодаго графа; что письмо это, по волѣ покойной графини, должно быть передано ему изъ рукъ въ руки, почему и просятъ увѣдомить, какое угодно будетъ сдѣлать графу на счетъ письма распоряженіе.

И вотъ извѣстіе, которое получилъ Василько нашъ, будучи у Давидсона на заводѣ, и которое его столько встревожило. Да и не мудрено: Василько былъ твердо увѣренъ, что онъ круглый сирота; ему и въ голову не приходило, что онъ по роду одинъ изъ первыхъ магнатовъ польскихъ и графъ; но на первый случай болѣе всего занимало, огорчало Василька и сокрушало его то, что онъ не зналъ и не видалъ матери своей, тогда какъ могъ бы еще узнать и увидѣть ее, если бы только зналъ обо всемъ во-время и поѣхалъ не на заводъ Давидсона, а въ Варшаву. Онъ отправился туда, пробывъ у отчима не болѣе двухъ сутокъ, но письма́ матери своей, которое кинулся отыскивать въ самый день своего прибытія, не засталъ: монахи, тщетно ожидая мѣсяца три отвѣта, потому что Бублинскій не писалъ, ожидая Василька со дня на день, отправили одного бернардина съ письмомъ этимъ въ Россію, отыскивать молодаго графа: вкладъ графини въ монастырь былъ значителенъ, и настоятель считалъ священнымъ долгомъ исполнить за это волю усопшей. Случилось такъ, что Василько съ этимъ посланнымъ разминулся и письма́ не засталъ.

Бѣдный нашъ Василько! какая неизъяснимая тоска одо-

лѣла его, когда онъ поселился въ Варшавѣ, до окончанія дѣлъ своихъ, въ огромномъ дворцѣ графовъ Кочатковскихъ, одинъ-одинехонекъ, среди столькихъ десятковъ пышныхъ и обширныхъ покоевъ, которые накрыли его молчаливыми, нѣмыми сводами своими, ограждая его отъ чуждаго, холоднаго свѣта мертвою роскошью расписныхъ и золоченыхъ стѣнъ! Онъ подошелъ, въ неизъяснимой тоскѣ, къ окну и взглянулъ на площадь: она кипѣла народомъ, посреди коего возвышался, на мѣдномъ сѣдалищѣ своемъ, огромный мѣдный Коперникъ, какъ великанъ между пигмеями — держалъ въ неподвижной рукѣ своей изображеніе вселенной и, казалось, призадумался надъ суетностію и ничтожностію окружающихъ его обитателей одной изъ едва видимыхъ точекъ вселенной этой. Василько вздохнулъ тяжело, ему сдѣлалось еще грустнѣе. Ни толпа почтительныхъ слугъ и офиціантовъ, ожидавшихъ ежеминутно повелѣнія своего новаго господина, ни цѣлая стая услужливыхъ друзей, родственниковъ и пріятелей всякаго разбора, съ чужими для него лицами и небратской душой, не могли его утѣшить; его одолѣла такая тоска, такая грусть, что онъ невольно вспомнилъ о заводѣ, среди исполинскихъ горъ, среди вѣковыхъ дремучихъ лѣсовъ. Семейство Давидсона засѣдало тутъ передъ желѣзнымъ, расписнымъ тагильскимъ столикомъ, и Молли задумчиво разливала чай; Васильку самому казалось, что въ этомъ кругѣ кого-то недостаетъ — и добрый Василько самодовольно улыбнулся; улыбнулся въ первый разъ, съ тѣхъ поръ какъ былъ въ

Варшавѣ. Потомъ ему стало вдругъ жарко и душно, по кожѣ пробѣжалъ мурашками огонь — онъ сѣлъ на башкирскаго иноходца, пустился въ широкія заводскія ворота, повернувъ влѣво, пронесся мимо домика управляющаго,— Давидсонъ поклонился слегка у третьяго окна съ краю, гдѣ виднѣлось бѣлое платье. — Потомъ понесся все дальше по дорогѣ, покуда Кочердыцкій заводъ не потонулъ вовсе, въ глубинѣ лѣсистой долины; тамъ Василько поудержалъ ретиваго коня своего, пустилъ его шагомъ, своротивъ съ дороги опять налѣво, и остановился на одномъ изъ самыхъ высокихъ хребтовъ средняго Урала. Всѣ хребты пролегали въ дикой однообразности своей, прямо по полуденнику, отъ сѣвера на югъ; всѣ горы напластованы были подъ сорока пятью градусами; всѣ сопки, всѣ верхи были голы, обнажены, и по нимъ выказывалась грядами, гребнями, обвѣтрившаяся, темнобураго цвѣта, горнокаменная порода; всѣ склоны поросли сосновыми борами, а вершины ихъ опущены березнякомъ.— Эта однообразная, но дикая, громадная, величественная природа востала передъ Василькомъ; онъ былъ не въ силахъ сидѣть долѣе, среди польской столицы, на пушистомъ, барановомъ диванѣ, вскочилъ — и теперь только понялъ, что дѣйствительно любитъ Марію, свою Молли, и что ему, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, надо ѣхать на Уралъ. Василько покончилъ дѣла свои въ Варшавѣ скоро, много-много недѣли въ три, и поскакалъ опять домой. Онъ продалъ все недвижимое имѣніе свое, въ томъ числѣ и знаменитый дворецъ, и нашелъ въ прочихъ сонаслѣдникахъ охочихъ и скорыхъ покупателей, потому что самъ былъ

сговорчивый продавецъ. Онъ спѣшилъ продать все задешево, только бы выручить наличныя деньги.

Прибывъ на родину свою, Василько нашелъ ожидавшаго его бернардина съ извѣстнымъ письмомъ. Если Василько былъ изумленъ въ высокой степени извѣстіемъ, что онъ единственный сынъ и наслѣдникъ польскаго графа Кочатковскаго, новостію, къ которой онъ едва только начиналъ привыкать и обживаться съ нею, то конечно письмо матери его, которое говорило совсѣмъ другое и противное, должно было поразить его не менѣе. Прочитавъ письмо это, Василько вспомнилъ мгновенно Савкину безтолковую сказку, и долго просидѣлъ на одномъ мѣстѣ, подпершись локтемъ и прочитывая, отъ времени до времени, снова послѣдній, да и то не живой, голосъ матери.

Объяснимъ напередъ всю загадку, а потомъ уже приступимъ къ содержанію таинственнаго письма.

Савкина сказка содержала, почти отъ слова до слова, довольно странныя похожденія младенчества Василька. Графъ Кочатковскій былъ Савкинъ князь Крутояръ: нѣкогда любимецъ послѣдняго короля польскаго, онъ впалъ впослѣдствіи въ немилость, принужденъ былъ, по гордости и неуклончивости своей, удалиться въ Россію, увезъ съ собою молодую и бездѣтную жену, не надѣясь даже имѣть когда нибудь наслѣдниковъ, потому что не могъ забыть словъ какой-то цыганки, предсказавшей ему, что онъ не *увидитъ* чада; и графъ понималъ слово: не *увидитъ* въ томъ только смыслѣ, что дѣтей у него не будетъ; но графиня вскорѣ обрадовала графа извѣстіемъ, которое, повидимому, должно

было изобличить ненавистную цыганку во лжи. Между тѣмъ мать графини и тетка ея, вслѣдствіе причудливаго, дѣдовскаго завѣщанія, по которому супругѣ графа заживо доставалось значительное имѣніе, если она принесетъ первенца сына, пріискали, про запасъ и къ сроку, новорожденнаго мальчика, которымъ бы можно подмѣнить младенца графини, еслибы родилась дочь. Но родился сынъ, да сынъ шестипалый, и повидимому хилый; не сказавъ ни слова графинѣ, подложили ей, вмѣсто него, подготовленнаго, здороваго ребенка, коего родители приняли въ обмѣнъ шестипалаго ея младенца. Черезъ нѣсколько времени, мать графини, умирая, призналась самой ей въ подмѣнѣ, но не знала ни имени, ни мѣста жительства родителей обмѣныша, потому что дѣло шло черезъ бабку, которой уже не было на свѣтѣ. Кромѣ того, графиня даже опасалась разузнавать много объ этомъ происшествіи, какъ для того, чтобы не разгласить его, такъ и для того, чтобы не встрѣтить въ сынѣ своемъ какого нибудь страшнаго урода; къ тому же ее увѣрили, что дитя было слабое и не могло долго прожить.

Графъ вскорѣ былъ снова вызванъ въ Варшаву; обстоятельства сдѣлались для него благопріятнѣе: онъ сначала поѣхалъ одинъ, съ тѣмъ, чтобы напередъ осмотрѣться на мѣстѣ, а потомъ выписать и графиню; но онъ, пріѣхавъ, скончался, а жена его, получивъ это извѣстіе, поѣхала туда одна, передавъ подмѣныша, чрезъ третьи руки, поляку же, Бублинскому, назначивъ ему за воспитаніе Василька значительную сумму, и кромѣ того написала, на имя Василька, ту часть огромнаго имѣнія своего, которою могла по зако-

намъ свободно располагать. Теперь графиня пересказывала все это въ письмѣ своемъ Васильку, отказывала ему весьма значительное имѣніе, но заклинала всѣмъ, что для него свято, добиться до положительнаго извѣстія о настоящемъ ея сынѣ, «и если онъ живъ, помочь ему, чѣмъ и какъ будетъ въ состояніи, и не оставлять его никогда, признать въ душѣ своей по крайней мѣрѣ братомъ». Вотъ содержаніе письма.

Еслибы Василько, во время праздника въ Шпиговкѣ, именинъ Мелаши, не заставилъ случайно Савку разсказать сказку, то, конечно, не могъ бы теперь и подумать о томъ, чтобы найти затеряннаго графенка; гдѣ его искать? Свѣтъ великъ, а примѣтъ и указаній никакихъ, ни даже имени или мѣста жительства продажныхъ родителей — вспомните, однако же, что продажные родители эти были настоящіе родители Василька, и что, отыскивая своего двойника, настоящаго графа, Василько отыскивалъ съ тѣмъ вмѣстѣ и отца своего и мать. Итакъ онъ, вспомнивъ въ ту же минуту Савкину сказку — отгадалъ, или почти отгадалъ всю тайну, и послалъ, не медля нимало, бричку свою въ Шпиговку, съ запиской къ Сергѣю Сергѣевичу, въ которой просилъ убѣдительно отпустить Савку, по очень нужному дѣлу, хоть на одинъ часъ.

И Савка сѣлъ въ бричку эту Савкой, а вылѣзъ изъ нея, когда воротился, графомъ Кочатковскимъ; а вслѣдъ за нимъ вылѣзъ, изъ той же брички, бывшій Василій Ѳедоровъ, бывшій графъ Василій Кочатковскій, а нынѣшній Савка, Савелій Грабъ.

Когда Савка пріѣхалъ въ село Бублинскихъ, Василько позвалъ его къ себѣ, заперъ дверь и сказалъ прямо: «Савелій, я вызвалъ тебя за важнымъ дѣломъ; растолкуй мнѣ сказку свою про князя Крутояра, назови, кого назвать можешь, кого знаешь, не бойся ничего».

Савелій глядѣлъ пристально на Василька, не зналъ что отвѣчать, и на повторительное требованіе его, сказалъ: «Видно, я виноватъ, Василій Ѳедоровичъ, я подурачился, что разсказалъ такую сказку — коли вы сами что объ ней изволите знать, то будьте увѣрены, что у меня, во вѣкъ мой, объ ней помину не будетъ; а другіе, кто въ тѣ поры слушали, чай, давно уже ее позабыли». Савка чувствовалъ, что обнаружилъ большую тайну, принялъ встревоженное лицо Василька за выраженіе неудовольствія, и потому отвѣчалъ ему извиненіемъ. Но Василько вскорѣ добился истины, и Савка, въ свою очередь, не могъ опомниться отъ изумленія, когда услышалъ, что передъ нимъ, въ лицѣ Василька, стоитъ подмѣнышъ его, настоящій Савка.

Савелій протянулъ лѣвую руку свою, вывернулъ ее нижнимъ краемъ ладони кверху, указалъ Васильку на очень явственный рубецъ, и сказалъ: «Вотъ онъ, шестипалый, передъ вами; другой мизинецъ вырѣзалъ мнѣ какой-то полковой лекарь, еще въ малолѣтствѣ, и помню я это, какъ во снѣ».

— Какъ же ты попалъ въ крѣпостные къ Бабачку? гдѣ и кто твой отецъ?

— Одного, перваго отца, вы изволили знать лучше меня, потому что я не зналъ доселѣ имени его и нынѣ впер-

вые отъ васъ же слышу; а другой — мужикъ, крестьянинъ нынѣшнихъ моихъ господъ, по имени Иванъ Грабъ; и онъ, и мать живы, и о-сю-пору въ деревнѣ нашей, въ Шпиговкѣ — если изволите припомнить, противъ самаго колодца, хатка почище другихъ стоитъ — она и выстроена на деньжонки, которыя взяли тогда за сына... — И остановился, вспомнивъ, что проданный сынъ этотъ стоялъ теперь передъ нимъ.

— Разскажи же мнѣ, Бога ради, какимъ образомъ ты все это узналъ?

— Года тому съ четыре, продолжалъ Савка, или бишь Василько, графъ Кочатковскій, то есть настоящій графъ, бывшій Савка,—года тому съ четыре, мать собиралась умирать и не думала, что будетъ жива еще о-сю-пору. Стала ее совѣсть мучить, что я не крещенъ: она позвала меня одного, безъ отца, безъ свидѣтелей, и разсказала мнѣ все, что сама знала: что я не ея сынъ, а сынъ какого-то польскаго пана, котораго однако же не знала по имени; что меня подмѣнили ея сыномъ, который былъ уже окрещенъ Савеліемъ; меня же приняли прямо съ рукъ бабки князей, не крещенаго, а крестить-де нельзя было никакъ, потому что дитя ихъ было уже окрещено, поэтому осталось при мнѣ имя Савелія, а настоящій Савелій, Богъ вѣсть гдѣ, на чужихъ рукахъ, да знать и подъ чужимъ именемъ; что она съ мужемъ согласилась на подмѣнъ этотъ, какъ во уваженіе ста червонныхъ, такъ и разсудивъ, что сыну ихъ, коли доживетъ и выростетъ, будетъ лучше жить княземъ и бояриномъ, чѣмъ мужикомъ; а что пріемышъ оста-

нется не крещенымъ, этого не думали и не знали, а послѣ полагали, что грѣхъ за это ляжетъ не на нихъ, они-де своего окрестили».

Но Василько былъ крещенъ, какъ сынъ графа, еще въ другой разъ, такъ сказать перекрещенъ въ католическую вѣру и названъ Базылемъ. Вотъ какая путаница родства, именъ, званій и житейскихъ отношеній: — тотъ и другой Савелій Грабъ, тотъ и другой Василій Кочатковскій — тотъ и другой графъ, тотъ и другой крѣпостной, и наконецъ, тотъ и другой по отцѣ одного исповѣданія, а по воспитанію другаго! Если это не двойники, то двойниковъ нѣтъ на свѣтѣ!

Василько, обнявъ и поцѣловавъ Савку, сказалъ ему: «мы братья, насъ связало и горе и радость, и мы не разстанемся, если ты меня не покинешь: но молчи до времени, не говори никому ни слова: прежде всего надо тебя выкупить; поѣдемъ сейчасъ же вмѣстѣ въ Шпиговку». Законъ гражданскій былъ на сторонѣ Василька, потому что передъ закономъ нельзя было разоблачить всѣ обстоятельства эти и доказать актами, которыхъ не было, истину; но Василько, въ душѣ своей, не могъ уже сомнѣваться въ справедливости Савкиныхъ словъ, въ показаніи родителей своихъ, и съ той минуты призналъ Савку законнымъ наслѣдникомъ и графомъ.

Сѣли и поскакали — Василько хотѣлъ сейчасъ же упросить Степаниду Ѳоминишну уступить ему все семейство Граба, хотѣлъ также, прежде всего, увидѣть и узнать наконецъ отца и мать; но, доѣхавъ до Шпиговки, раздумалъ

и передумалъ все это по многимъ причинамъ, и высадивъ Савку, покатилъ прямо къ маіору: ему разсказалъ онъ все, просилъ его быть посредникомъ и кончить дѣло съ Бабачками — дѣло въ самомъ дѣлѣ для Василька щекотливое. Василько рѣшился скрыть всѣ обстоятельства и выкупить Савку, со всѣмъ семействомъ его, подъ другимъ предлогомъ, чрезъ третье лицо; Васильку это казалось тѣмъ болѣе нужнымъ, что Степанида Ѳоминишна могла заупрямиться, узнавъ дѣло, и отказаться отъ всякой сдѣлки.

Степанъ Власовичъ закричалъ въ одинъ голосъ: «чубараго у струментъ! хлопецъ! одягаться!» сѣлъ на струментъ свой и покатилъ — а Василько остался между тѣмъ у маіора, выжидать конца.

Каково ему теперь было? кто разберетъ и опишетъ чувства и мысли его? кто сумѣетъ поставить себя въ полной мѣрѣ на его мѣсто, обмѣниться на время съ нимъ, какъ и его самого нѣкогда обмѣнили?

Маіоръ вскорѣ воротился, сладивъ дѣло: Степанида Ѳоминишна воспользовалась прихотью Василька выкупить Савку, со всѣмъ семействомъ, и взяла деньги большія, но ей и въ голову не приходило, что Василько выкупаетъ роднаго отца и мать и своего двойника — тогда бы она распорядилась еще не такъ. Она во всю свою жизнь не могла забыть этой ошибки, опрометчивости и недогадливости, которая стоила ей многихъ безсонныхъ ночей.

Василько вошелъ въ воскресенье утромъ, когда зналъ, что старикъ Грабъ долженъ быть не на работѣ, въ хату его, сѣлъ, разговаривалъ нѣсколько времени съ нимъ и со

старухой, навелъ ихъ, въ разговорѣ, на извѣстное происшествіе, чтобы увидѣть, какъ они помянутъ пропавшаго безъ вѣсти сына; и вдругъ, обнявъ отца и мать, сказался этимъ сыномъ. «Охъ, мини лышечко», кричала перепуганная на смерть старуха, «охъ, мини лышечко, сгубыла я свою бидну головоньку!» Долго не могли они опомниться, и большаго труда стоило Василькy успокоить и вразумить ихъ и заставить понять развязку.

То-то былъ пиръ для любознательныхъ помѣщицъ цѣлыхъ двухъ или трехъ уѣздовъ! сколько было тутъ гону и разгону бѣднымъ лошадямъ, сколько стуку и бряку знакомой уже намъ клѣпани, сколько было тутъ татаканья и казаканья взапуски со всѣми гусиными гуртами вселенной! — Долго не могли наговориться и угомониться свашеньки, тетушки и кумушки наши, которыя все знали, а между тѣмъ ничего не знали; долго не могли онѣ порѣшить дѣло это и сдать его въ архивъ, хотя все шло безъ нихъ своимъ чередомъ и никто изъ прикосновенныхъ объ нихъ не заботился.

Старикъ Иванъ Грабъ, старуха и подложный сынъ ихъ Савка, перешли вскорѣ на житье къ Василькy, и это дѣло было кончено, хотя Степанида Ѳоминишна и кричала, что ее обманули, бранила маіора, Василька, Сергѣя Сергѣевича, который-де ни о чемъ не заботится и ничего не знаетъ; но благословляла, вздыхаючи вслухъ, судьбу свою, что Господь ее сохранилъ, что не отдала родной дочери, Мелаши, за мужика.

Дѣло, относительно имѣнія Василька, которое было подъ

опекою у Бублинскаго, о которомъ также взялъ на себя переговорить Пушка, было не такъ легко кончить, и стоило доброму Василькy многихъ хлопотъ и многихъ огорченій. Рѣшительно избѣгая тяжбы и желая притомъ кончить все какъ можно скорѣе, Василько принужденъ былъ сойтись мировою: онъ сдѣлалъ Бублинскому значительную уступку, которую этотъ не постыдился принять, написавъ своею рукою условіе, гдѣ говорилось, между прочимъ, особою статьею, что воспитанникъ его уступаетъ ему, изъ благодарности, всѣ накопившіеся проценты и хозяйственныя приращенія, за все время управленія, и требуетъ только имѣніе свое въ такомъ видѣ, какъ оно было передано Бублинскому, за двадцать передъ этимъ лѣтъ.

Василько, принявъ имѣніе свое, лежавшее въ томъ же уѣздѣ, продалъ его тутъ же, за наличныя деньги, а самъ даже и не съѣздилъ туда, не поглядѣлъ на него; онъ чувствовалъ, что если познакомится сколько нибудь съ мужиками своими, то ему тяжело будетъ перепродавать ихъ въ чужія рѵ̀ки.

Затѣмъ Василько передалъ Савкѣ все, что получилъ въ наслѣдство, какъ сынъ графа Кочатковскаго; а себѣ оставилъ ту часть, которую получилъ отъ матери. Такимъ образомъ, Савка сдѣлался гораздо богаче Василька. Савка непритворно отговаривалъ Василька отъ этого, даже долго отнѣкивался, и наконецъ оба кончили тѣмъ, что раздѣлили все имущество, состоявшее уже въ одной наличности, пополамъ. Василько былъ счастливъ въ душѣ, что сдѣлался, сверхъ всякаго чаянія, русскимъ; онъ досталъ метрическое

свидѣтельство о крещеніи своемъ, просилъ отца, чтобы онъ благословилъ его тѣльнымъ крестомъ, и помѣнялся имъ съ Савкою, носившимъ тотъ самый тѣльникъ, который былъ, въ былое время, и на Василькѣ. Новые побратимы, побратанцы, названные братья, жили съ этого времени, какъ мы увидимъ, неразлучно. Но Василько не уступилъ честнаго имени своего побратанцу, а сталъ именоваться отнынѣ, выхлопотавъ на то законное позволеніе, Савеліемъ Грабомъ; а Савка много смѣялся и острилъ на свой счетъ, когда онъ былъ признанъ паномъ грабіемъ Базылемъ Кочатковскимъ, и махнувъ рукой, сказалъ: «Ну его, графа того, къ семи Семіонамъ! ты будешь Савелій Грабъ, а я буду Савка Грабъ; ты будешь по отцѣ, Ивановичъ, а я, такъ какъ уже затесался нынѣ въ *овчи*, буду Ѳедоровичъ, вотъ тебѣ и шито и крыто!»

Бывшій Василько, нынѣшній Савка Грабъ, списавшись напередъ съ Давидсономъ, пріѣхалъ на Уралъ самъ-другъ, съ новымъ графомъ, и основалъ, вмѣстѣ съ нимъ и съ помощію Давидсона, заводъ. Бывшій Савка сдѣлался вскорѣ такимъ машиннымъ мастеромъ, что старикъ Давидсонъ не разъ съ нимъ совѣтовался, когда устанавливалъ на своемъ заводѣ большую и сложную паровую машину. Мы говорили уже, при самомъ вступленіи, что Савка былъ самоучкой большой искусникъ и художникъ на всѣ руки; увидавши кой-что путное и поучившись практически, на англійскій манеръ, онъ постигъ всю сущность механики, и она сдѣлалась любимымъ его занятіемъ,

Похожденія и приключенія двойниковъ были разсказаны

ими обоими, за вечернимъ самоваромъ Давидсона, и общее удивленіе и участіе возрастало непрерывно, до поздней ночи. Молли не отвернулась отъ — какъ его назвать? — отъ бывшаго Вильяма, за то, что онъ сталъ нынѣ Савеліемъ, а Давидсонъ продолжалъ называть его mister Fedoroff — по старой привычкѣ, даже и тогда, когда Молли была уже женою Савелія Граба. Черезъ годъ со днемъ графъ женился на второй дочери Давидсона, а тутъ подъѣхалъ къ нимъ въ помощники, по письменной и счетной части, Евстратъ Богдановичъ Горемыкинъ, съ молодою женою, Меланьею Сергѣевной. Какъ это случилось? очень просто: Степанида Ѳоминишна по *нечаянности* скончалась, какъ выражался самъ Сергѣй Сергѣевичъ; а этотъ желанію и счастью Меланьи не противился. Родители Василька, двойника Савелія, ѣхать изъ Малороссіи не пожелали, и были очень довольны, когда сынъ купилъ имъ хуторокъ, неподалеку отъ родины ихъ, съ садочкомъ, въ которомъ росли вишни, яблоки, груши и сливы. Старикъ, подчищая деревья свои, благословлялъ сына, и послѣ каждаго осенняго сбора плодовъ, отправлялся, въ синей свиткѣ своей и высокой, смушатой шапкѣ, съ поповскимъ посохомъ, въ Шпиговку, откуда увѣдомлялъ сына, чрезъ посредство краснорѣчиваго пера перковнаго причетника, объ урожаѣ, не забывая ни одного раза объяснить причетнику снова, что тамъ, «ажъ пидъ самисинькимъ Катерынбургомъ,» у сына его свой «зализный и мидный заводъ» и что сынъ его угодилъ въ графы.

Василько, составивъ себѣ, вмѣстѣ съ Савкою, огромное

состояніе, убѣдился на дѣлѣ, что Давидсонъ не хвасталъ, а говорилъ правду: Уралъ нашъ воздаетъ сторицею за труды, заботы, издержки и попеченія наши; но надобно быть самому заводчикомъ, или покрайней мѣрѣ положиться на честнаго и знающаго человѣка, и думать не за одинъ годъ, а за все будущее время: то есть не требовать, чтобы заводъ выручилъ нынѣ же какъ можно больше, чтобы управляющій высылалъ только какъ можно болѣе наличныхъ денегъ, которыя нужны для пировъ и раутовъ въ столицѣ, а привести сперва заводъ въ надлежащее состояніе, тогда онъ будетъ содержать и себя, и хозяина своего; въ противномъ же случаѣ оба разорятся.

Я позабылъ сказать еще, что Сергѣй Сергѣевичъ съѣздилъ въ Кіевъ на контракты, и привезъ себѣ кіевскія гусли, чистой отдѣлки и очень звучныя. На крышкѣ были, какъ водится, три картины изъ ветхаго завѣта, разгороженныя одна отъ одной золоченой филенкой: столпотвореніе вавилонское, поклоненіе златому тельцу и цѣломудренная Сусанна.

РАСПЛОХЪ.

ГЛАВА I.

ПОДЪЕМЪ.

Да, счастье, у кого есть этакой сынокъ—
Имѣетъ, кажется, въ петлицѣ орденокъ?

— Вставай, ребята! Полно валяться на ржаныхъ пуховикахъ пана Радомантовскаго! Вставай! сѣдлай! Солнце подольское ужь вышло изъ-за жидовской корчмы; утки и бабы полощутся въ грязномъ ставкѣ, пора ѣхать!

Такъ прогремѣлъ зычнымъ голосомъ плотный, невысокій, плѣшивый усачъ въ полосатомъ архалукѣ, съ длиннымъ чубукомъ въ зубахъ; съ громкимъ хохотомъ поправилъ красную феску свою, и началъ стаскивать шинели и бурки съ офицеровъ и юнкеровъ своего эскадрона, лежавшихъ, восемь человѣкъ мужескаго пола, вповалку, на разостланныхъ снопахъ соломы.

Полуодѣтые, полураздѣтые герои вскакивали, хватались за одежду, скликали Васекъ, Ванекъ и Мишекъ своихъ; одинъ кричалъ: трубку! другой: сапоги! третій: умываться!

А эскадронный командиръ къ каждому изъ сихъ командныхъ словъ приговаривалъ во все драгунское горло: «а между прочимъ — водки!» Мертвая тишина обратилась въ шумный, многоязычный хаосъ; отрывки турецкихъ и молдавскихъ изреченій свидѣтельствовали объ участіи драгунъ нашихъ въ дѣлахъ и славѣ забалканскихъ, а восклицанія: «вшисцы дзібли!» и «коханый!» — о нынѣшней стоянкѣ въ Польшѣ.

— Куда же мы поѣдемъ сегодня, капитанъ? спросилъ маменькинъ сынокъ, поручикъ Охинъ.

— Не сидѣть же намъ сиднями, — возгласилъ тотъ, — и не волочиться же тебѣ, ухопарню, за однѣми жидовками да замарашками! Быть въ *Очаковѣ* и не видать панянокъ мосци-пана добродзія Жабрудскаго, это значитъ — быть въ кунтскамерѣ и не видать слона, быть въ Римѣ и папы не видать! Мое красное времечко умчалось, вмѣстѣ съ темнорусыми волосками чела моего, которые вѣтеръ разнесъ одинъ по одному и развѣялъ по обширному лицу нашего царства! Но я знаю и помню ляхитокъ, и васъ, новичковъ, хочу пустить въ колею по слѣдамъ нашимъ! Вы еще молоды, зелены, несмѣлы; непогодите, я васъ всѣхъ поставлю съ лѣвой ноги въ галопъ! Сѣдлай, ребята! сѣдлай, время ѣхать.

— Ванюшка! чаю! — закричалъ Охинъ. — «А между прочимъ водки!» прибавилъ капитанъ, «китайцы пьютъ чай изъ фарфоровыхъ чашекъ! Цѣдятъ воду сквозь желудки свои бархатные! Ужь цѣди, не цѣди, вода есть, вода и будетъ!

Вода для прачекъ и для турокъ,
Для пароходовъ, для гусей,

Для тонкихъ, бѣлорукихъ цурокъ,
Лицетворительныхъ мазурокъ,
Вода — для дѣвокъ и дѣтей!
Гусаръ бутылкамъ рубитъ шеи,
Шампанскимъ топитъ, не водой;
Уланы, спѣшившись, траншеи
Ведутъ подъ Дона батареи,
А латникъ пьетъ лишь пуншъ крутой!
Драгунъ коня поитъ водою,
И турокъ топитъ не въ винѣ;
А пьетъ, что поднесутъ порою —
Кромѣ воды и кваса, къ бою
Хоть съ чѣмъ готовъ, и на конѣ!

«Пей!» продолжалъ онъ, подавая чарку Карачуну, сочинителю этой пѣсни, «пей, хохолъ, да садись на коня!»

Взнузданные кони ржали подъ крыльцомъ; драгуны, потирая ихъ полами шинелей своихъ, на нихъ покрикивали; жиды, снявъ мохнатыя шапки и сбившись всѣмъ кагаломъ въ кучку, стояли въ почтительномъ отдаленіи и, въ ожиданіи, любуясь лошадьми, бормотали всегда по семи вдругъ. Не смотря на раннее утро, ставни и окна пана эконома, пана комисаржа, пана рахмистра, пана кассира растворились, и бѣлокурыя головки мелькомъ выказывались. Босыя дѣвки, въ шерстяныхъ, тѣсно обвитыхъ запаскахъ, съ алою шерстяною тесьмою и двумя пучечками калины или бархатокъ и ноготковъ на головѣ, присѣдая подъ тяжелыми ведрами или подъ связками мокраго бѣлья на зыбкомъ коромыслѣ, иноходью пробѣгали базарную площадь. Мѣрно выступая подъ большимъ вьюкомъ сѣна, однозвучно побря-

кивали драгуны шпорами; рѣдкіе удары валька и отголоски ихъ звонко отдавались подлѣ плотины. Вычищенные кони полуэскадрона стояли смирно со вздернутыми кверху мордами у высокой коновязи, водили чутко ушами и по слову дежурнаго унтеръ-офицера: «торбы навѣшивать!» зашевелились всѣ и дружно въ голосъ заржали; офицерскіе кони, подъ крыльцомъ, оглядываясь назадъ, имъ отвѣчали, и герои наши, подъ предводительствомъ эскадроннаго командира, шумною толпою выступили на крыльцо. «Если полковникъ будетъ», закричалъ капитанъ, занося ногу въ стремя, вахмистру, ожидавшему у крыльца приказаній, «то я въ табунъ уѣхалъ!» Облако пыли и конскій топотъ помчались мимо растворенныхъ оконъ панскаго двора, гдѣ шумные клики замолкли и фуражки мелькнули въ рукахъ вѣжливыхъ всадниковъ. Царинный, завидѣвъ ихъ издали, отперъ со скрипомъ низкія, широкія, длинныя, на стержнѣ, ворота, ведущія изъ села въ поле; бросивъ шапку на землю, онъ долго глядѣлъ имъ вслѣдъ и, почесывая голову, казалось, ими любовался.

ГЛАВА II.

ПОХОДЪ.

Противорѣчье есть, и многое не дѣльно.

Выѣхавъ за село, поудержали кавалеры наши коней и поѣхали шагомъ.

Разговоры военнослужащихъ ограничиваются, какъ то

во всякомъ сословіи бываетъ, кругомъ мыслей, возбуждаемыхъ предметами, быту этого сословія свойственными. Первая вещь для офицера, коннаго и пѣшаго, служба; непосредственно за нею слѣдуютъ толки, суды и пересуды о тѣхъ, непосредственной власти коихъ они подчинены; а потомъ, какъ будто для отдыха и отрады, обращаются воспоминаніями и надеждами своими на неизсякающій душепитательный предметъ, занимающій болѣе или менѣе глубину души каждаго.

— Пошли Богъ скорѣе ремонтъ, оказалъ капитанъ, — скучно объѣзжать этихъ беззубыхъ клячъ, которыхъ, подъ Карасу; едва живыхъ, на подпругахъ, водили на водопой и съ водопоя. Я уже опять наизустъ знаю каждый уголъ манежа, гдѣ которая изъ нихъ съ ноги сбивается и гдѣ жмется къ барьеру.

— Пошли Богъ ремонтъ, — прибавилъ одинъ изъ товарищей, тотъ же Карачунъ: — и пошли Богъ терпѣнія! Меня ознобъ до мозговъ пронимаетъ, какъ подумаю, сколько тутъ будетъ, день за день, крику, шуму, визгу, и все это изъ-за ничего! А кто наконецъ страдаетъ при этомъ болѣе всѣхъ? Онъ же самъ; его чувствительное нѣмецкое сердце, mein gefühlvolles deutsches Herz, какъ онъ самъ его изволитъ величать, не можетъ перенести равнодушно этихъ вспышекъ, взрывовъ и покушеній спятить съ ума; и слѣдствіемъ всего этого бываетъ — желчная горячка!

— Да,— возразилъ Костроминъ:— твоя правда. Странно, что люди, какъ онъ, живутъ въ двухъ лицахъ. Въ обращеніи съ обществомъ, съ людьми посторонними, это совсѣмъ

не тотъ человѣкъ, что съ подчиненными; тутъ нравъ, тамъ другой, здѣсь чувства, мысли, правила, тамъ совсѣмъ иныя; словомъ, это два лица въ одномъ недѣлимомъ. Намъ указываютъ на Европу, на нѣмцевъ, на французовъ, на итальянцевъ, на англичанъ — это первообразы умственнаго и нравственнаго просвѣщенія. Если это такъ, то по крайней мѣрѣ должно признаться, что эти господа такъ успѣшно перенимаютъ у насъ то, въ чемъ не обинуясь сами насъ обвиняютъ, что вскорѣ далеко превосходятъ учителей своихъ! Они охотно и высокопарно разсуждаютъ о равенствѣ человѣчества, о снисхожденіи къ недостаткамъ ближняго и обходительности житейской, между тѣмъ какъ сами нерѣдко обходятся уже вовсе не отечески съ нижними чинами, и бываютъ дерзкими и тягостными для офицеровъ. Наши русскіе, правда, бываютъ иногда неотесаны, до того, что иной, кромѣ воинскаго устава и «Русскаго Инвалида», рѣшительно печатнаго листа въ рукѣ не держалъ; есть и такіе, что огонь и воду прошли, и рады драть съ полка, какъ жидъ съ аренды; но зато удаются и добряки средней руки, честные, прямые, не всегда ученые, но умные, и постигшіе въ обходительности настоящій духъ и бытъ русскаго народа. Есть, продолжалъ Костроминъ, есть образованные, умные, благородные, уважаемые начальники. Напримѣръ, полковой командиръ алыхъ гусаръ: кто съ этакимъ человѣкомъ не полѣзетъ въ адъ?

— Напримѣръ, — продолжалъ Карачунъ: — чтобы возвратиться къ пѣхотѣ, командиръ того егерскаго полка, который въ послѣдній турецкій походъ заслужилъ въ одномъ

дѣлѣ всѣмъ офицерамъ по двѣ награды! полка, въ которомъ отдаленный выстрѣлъ отзывается въ каждомъ рядовомъ сверхкомплектнымъ ударомъ пульса! Вотъ кому командовать дивизіями!

— А 37-го егерскаго бывшій командиръ, — заступился съ горячностію Герстенмейеръ. — Какъ, развѣ...

— Ну, такихъ нѣмцевъ давай Богъ побольше, — возразили Карачунъ и Костроминъ въ голосъ: — это дѣло иное!

— Бросимъ это, возразилъ Охинъ: — и поговоримъ лучше о дѣльномъ. Скажи намъ что нибудь о полькахъ. Правда ли, что онѣ всѣ красавицы, всѣ милы и всѣ дурачатъ мужей?

— Мнѣ кажется, — отвѣчалъ Костроминъ, — что въ образованіи, какъ тѣлесномъ, такъ и нравственномъ, обоихъ половъ народа русскаго и польскаго, есть какая-то противоположность, на которой основывается и житейскій бытъ каждаго. Должно признаться, говоря о среднемъ купеческомъ и мѣщанскомъ сословіи, что у насъ мужчины статны и благообразны, женщины менѣе видны, плотны. Природа, кажется, первыхъ образовала лучше; умственныя способности ихъ также болѣе развиты; уже по этому самому мужья у насъ въ домашнемъ быту берутъ верхъ; они самоуправны; добрая жена почитаетъ себя подданною мужа; если кается передъ нимъ въ проступкахъ своихъ, то говоритъ, при низкомъ поклонѣ: побей меня, поучи и прости! Польки, напротивъ, даже и среднихъ сословій, большею частію стройны, умны, хитры; словомъ, онѣ, какъ свой-

ствами тѣлесными, такъ и еще болѣе качествами умственными и нравственными, рѣшительно первенствуютъ надъ мужьями: онѣ гораздо проницательнѣе ихъ, а потому знаютъ это и умѣютъ этимъ пользоваться. Вотъ почему у нихъ мужъ второе лицо въ семействѣ, и болѣе самъ повинуется, чѣмъ повелѣваетъ!

— Вздоръ все! закричалъ капитанъ, вслушавшійся въ послѣднія слова Костромина: — не вѣрь, Охинъ; волочись смѣло и прибирай ихъ къ рукамъ, да только самъ не поддавайся, такъ и помыкать тобою не будутъ!

— Я говорю одно, возразилъ Костроминъ, — а вы другое. Вы говорите: волочись; для чего же вы не скажете: женись?

— Нѣтъ, братъ, ужь это пустое,— отвѣчалъ капитанъ:— наше дѣло волочиться, а жениться — это предоставимъ пѣхотнымъ, которые, какъ слышно, станутъ здѣсь на зимнія квартиры!

— Опять нападки на пѣхоту! Смѣйтесь, капитанъ; но между тѣмъ, вы, я это знаю, пѣхоту нашу уважаете!

— Всему своя череда, свое мѣсто, — отвѣчалъ тотъ: — славно штыкомъ работаютъ; но въ свѣтскомъ обращеніи съ женщинами они вовсе шутокъ не знаютъ; вляпается такъ весь, что его коновязнымъ коломъ не отобьешь!

— Въ самомъ дѣлѣ, это странно, — сказалъ Карачунъ,— что у насъ конница такъ храбрится передъ пѣхотою, тогда какъ послѣдняя не уступитъ первой. Кто только бывалъ въ дѣлахъ съ нашими войсками, согласится, что оплотъ силъ нашихъ не конница, а пѣхота. Любо слушать и ви-

дѣть, съ какою самонадѣянностію, спокойствіемъ и самоотверженіемъ гренадеръ беретъ ружье на перевѣсъ. Обаятельное ура! никогда не измѣняло густой колоннѣ, идущей напроломъ. Словомъ, истинно-русскій воинскій духъ, безпрекословное повиновеніе и шутливое острое слово, при горькой улыбкѣ отъ нуждъ и лишеній, — это мы видимъ въ пѣхотѣ, въ этой грозной, неутомимой, неумолимой мертвой-живой стѣнѣ! И это основано на духѣ народа русскаго. Почти во всей остальной Европѣ конница лучше пѣхоты; у насъ недостаетъ огня и пылкости для атаки кавалерійской, гдѣ все должно летѣть сломя голову, гдѣ требуется только минутнаго, изступительнаго восторга. У нихъ нѣтъ этого желѣзнаго постоянства, неутомимости, слѣпаго повиновенія и силъ тѣлесныхъ — качествъ необходимыхъ для пѣхоты!

— Далеко ли до Чаповца? спросилъ Охинъ, растаявшій отъ жару какъ леденецъ, — ѣхавшаго на встрѣчу имъ, на парѣ огромныхъ сѣрыхъ воловъ, мужика. Хохолъ снялъ высокую черную баранью шапку, кивнулъ головою, замахалъ длиннымъ батогомъ своимъ, закричалъ: собъ, собъ, собъ, малый! чтобы дать всадникамъ дорогу, и потомъ отвѣчалъ: «До Чаповца? Якъ мини, то далеко; а якъ панамъ то близко!» — Какъ такъ? — спросилъ Охинъ. — «Бо у пановъ кони добры!» — А горы есть? — «Е!» — Много? «Одна». — Велика? — «Якъ звиттыля, то не дуже, а якъ туды, то гай, гай, гай»... то есть: коли оттуда ѣхать, то не такъ велика; а какъ туда, то ой-ой-ой!

ГЛАВА III.

ПРИВАЛЪ.

Когда избавитъ насъ Творецъ
Отъ шляпокъ ихъ, чепцовъ и
шпилекъ и булавокъ,
И модныхъ и бисквитныхъ
лавокъ!

Драгуны наши отъ души разсмѣялись. Капитанъ потрунилъ надъ Карачуномъ и земляками его, а какъ они доѣхали до корчмы, передъ которою сидѣлъ, на порожней бочкѣ, панъ арендаржъ, шинкарь Мойшель, въ чулкахъ безъ пятокъ, башмакахъ безъ задниковъ и въ сальныхъ нанковыхъ короткихъ панталонахъ безъ пуговицъ, то капитанъ и скомандовалъ: «стой! слѣзай!» Охинъ хотѣлъ прислужиться, и потому, не теряя времени, велѣлъ жиду подать кварту наливки, вишневки. «Дѣло!» закричалъ капитанъ: «но между прочимъ водки! Эта наливка пополамъ съ водою; а ты знаешь, что я боюсь воды, какъ бѣшеная собака!»

Нескладный крикъ десятка голосовъ, въ числѣ коихъ можно было отличить мужской, призывающій крикомъ: «ратуйте, кто въ Бога вяруе! ратуйте!» на помощь, и нѣсколько бабьихъ, жидовскихъ и дѣтскихъ, возбудило вниманіе молодежи нашей, и они всѣ бросились за корчму.

Большой воловій возъ, нагруженный арбузами и дынями, стоялъ запряженный у заднихъ воротъ корчмы, имѣвшей, какъ обыкновенно, вмѣсто двора, обширный сарай подъ одною кровлею съ тѣснымъ и грязнымъ жильемъ. Одна

жидовка держала на рукахъ мальчишку, который кричалъ и рвался изо всей силы; безчисленное множество жиденятъ всякой величины, подъ предводительствомъ трехъ другихъ жидовокъ, растаскивали арбузы и дыни съ воза въ хату, между тѣмъ какъ неповоротливый хохолъ въ кожухѣ и въ свиткѣ, среди жаркаго лѣта, метался, какъ угорѣлый, во всѣ стороны; и всѣ они, и малый, и великій, бормотали, кричали и визжали въ голосъ. Мужикъ ринулся подоспѣвшимъ на помощь въ ноги, и не переставалъ кричать, какъ будто его кто рѣзалъ: «ратуйте, кто у Бога вируе, ратуйте!» Трудно было понять и разобрать, что тутъ происходило. Но капитанъ началъ тѣмъ, что разогналъ нагайкой жидовокъ и жиденятъ, и заставилъ пришедшаго въ себя хохла разсказать Карачуну все дѣло, а этотъ пересказалъ слѣдующее: мужикъ везъ съ баштана своего арбузы и дыни въ мѣстечко на базаръ; корчмаръ остановилъ его на перепутьѣ, подержалъ, уговаривая продать ему возъ, часа два, наконецъ, пополамъ съ грѣхомъ, уговорилъ, попотчивалъ наливкой и сдалъ на руки жидовкамъ. Здѣсь начался торгъ: мужикъ просилъ за возъ два рубля, жидовки сулили копу, наконецъ 40 грошей, и съ неимовѣрнымъ крикомъ и шумомъ приступали къ нему, до того, что бѣдняка почти оглушили; а когда онъ вырвался, закричалъ: цуръ вамъ, пекъ вамъ, и хотѣлъ отъ нихъ убраться, то одна схватила съ возу ребенка, а цѣлая стая племени израилева бросилась со всѣхъ сторонъ расхищать возъ. Ошалѣвшій, одурѣвшій хохолъ кидался во всѣ стороны; жидовка съ ребенкомъ бѣгала отъ него вокругъ воза; онъ за

нею гонялся; другая хватала его за капишонъ свитки и совала въ глаза сорокъ грошей мѣдью; жиденята подкатывались ему подъ ноги, кричали: ой, вей! онъ черезъ нихъ падалъ... «Итакъ разбой на большой дорогѣ, въ полномъ смыслѣ слова», сказалъ капитанъ. — «Розогъ! закричалъ горячій нѣмецъ, штабсъ-капитанъ Герстенмейеръ: — выпоремъ всю корчму, и жидовокъ и жиденятъ, и все племя израилево!» — «Розогъ!» подхватилъ капитанъ, «а между прочимъ водки». — «Постой, Карлъ Карловичъ, не горячись», — сказалъ Костроминъ; «не забудь, что мы ѣдемъ къ пану Жабрѵцкому, а этотъ корчмарь его арендаржъ; итакъ неловко будетъ начать вовое знакомство такимъ образомъ. Лучше мы ему дѣло поразскажемъ и будемъ требовать, чтобы онъ жида наказалъ.» — Итакъ панъ арендаржъ отдѣлался на этотъ разъ доброю заушиной, которою снабдилъ его на прощанье Карлъ Карловичъ, и кавалерія наша, выпроводивъ хохла на большую дорогу, тронулась на Чаповецъ.

Потолковавъ объ этомъ происшествіи и объ угнетеніи юго-западныхъ губерній нашихъ жидами, капитанъ опять придрался къ хохлу, какъ онъ называлъ Карачуна, и утверждалъ, что безмозглые земляки его сами этому причиной. «Не поддавайся», кричалъ онъ, какъ будто командовалъ передъ эскадрономъ, «не поддавайся, такъ и помыкать тобою не будутъ!» — Золотое правило, — замѣтилъ Карачунъ; — но опытъ намъ показываетъ, что не всѣ и не всегда могутъ ему слѣдовать. Сообразите все, любезный капитанъ, всѣ обстоятельства, средства и пронырливыя ухватки, коими это

пресмыкающееся племя искони научилось пользоваться для притѣсненія и угнетенія бѣднаго крестьянина,— ухватки, переходящія какъ достояніе наслѣдственное изъ рода въ родъ, отъ отца къ сыну, отъ сына къ внуку,— и вы не захотите быть столь несправедливымъ, чтобы сложить всю вину этого бѣдствія на мужиковъ; несравненно болѣе потворство жадныхъ къ деньгамъ помѣщиковъ этому причиною; здѣсь дворянство польское, а мужики всѣ малороссы. Еврей всю жизнь свою посвятилъ изученію и усовершенствованію искусства пользоваться временемъ, обстоятельствами и нуждами ближняго; у мужика есть занятія другія, и потому онъ въ познаніи свѣта и людей долженъ нѣсколько отстать отъ перваго; къ тому еще вся промышленность, курсъ, деньги, цѣны и, товары въ рукахъ у жидовъ, которые дѣйствуютъ и въ оборотахъ своихъ точно какъ они разговариваютъ;— всѣ вдругъ. Вспомните, сколько мы сами бываемъ въ зависимости у жидовъ, когда стоимъ въ городкахъ и мѣстечкахъ, не смотря на то, что бьемъ ихъ и воображаемъ ими помыкать. Русскій мужикъ смѣтливѣе, расторопнѣе хохла, это правда; но и у этого нѣтъ недостатка въ умѣ природномъ. Въ немъ южная кровь, онъ любитъ лежать въ просѣ на печи, но его грѣшно называть тупымъ и глупымъ, какъ это нерѣдко дѣлаютъ не довольно его знающіе; напротивъ, всѣ острыя шутки его, я это смѣло утверждаю, облагорожены какимъ-то особеннымъ духомъ простодушія, замысловатости и, въ то же время, чуждымъ всякаго самохвальства и притязанія. Полякъ или хвастаетъ, хвалится, пустословитъ, или онъ коварно льститъ, или по крайней

мѣрѣ таится въ душѣ своей, и никогда не выкажетъ истинныхъ чувствъ своихъ, мыслей и намѣреній; малороссъ, напротивъ, охотнѣе всего прикидывается простачкомъ, олухомъ; а между тѣмъ дурачитъ всякаго, кто самъ дастся въ обманъ. Русскій мужикъ, сообразно прямому, открытому нраву своему, шутитъ намеками, замѣчаніями, но у него нѣтъ замашки вкрадываться простодушіемъ своимъ въ довѣріе ваше, а потомъ озадачитъ замысловатыми истинами въ видѣ вопроса, какъ будто невзначай предложеннаго,— а это, воля ваша, съ тупымъ умомъ несовмѣстно.

— Посмотри же,— сказалъ Герстенмейеръ, указывая на пашущаго мужика: — полюбуйся на умнаго земляка твоего, который дѣлаетъ четырьмя парами воловъ то, что другіе люди дѣлаютъ одною клячею! — У насъ въ Лифляндіи»...

— Не горячись! — прервалъ его Карачунъ: — и у насъ въ Россіи то же, но это не Лифляндія и не Россія; послушай. Нѣкто богатый помѣщикъ въ Малороссіи, одушевленный твоею мыслію, вздумалъ быть преобразователемъ страны своей; онъ выписалъ между прочимъ изъ Англіи патентованную соху, или плугъ орѣховаго дерева, съ мѣдною полированною оковкою, на лемешѣ (сошникѣ) котораго было насѣчено: patent silver steel, и выгналъ въ одно воскресенье все село въ поле, чтобы новымъ плугомъ взорать при всѣхъ пробную десятину. Хохлы, въ ожиданіи пана своего, собрались въ кучу около новаго плуга, толковали и разсуждали. Панъ пріѣзжаетъ: всѣ почтительно снимаютъ шапки, разступаются, подводятъ къ плугу лошадей. «Пане!» спросилъ тогда стариннаго закала чубатый хохолъ: спы-

таюсь я у пана, кто тыи плуги робитъ? т. е. кто сдѣлалъ этотъ плугъ?» — Англичане, отвѣчалъ панъ. А что, не хорошъ? — «Нема що казаты», продолжалъ тотъ: «а чомъ же воны, тыи галичане, до насъ въ Одестъ за хлибомъ издять? Чуете, пане, теперечки воны до насъ издять, а якъ мы тыми плугами будемо ораты, то уже мы до нихъ за хлибомъ поидемо!» — И онъ правъ, продолжалъ Карачунъ, когда всѣ товарищи захохотали: — голая почва наша, которую солнце припекаетъ на футъ, на полтора, хочетъ быть взрытою на такую же глубину, и тогда только даетъ и плодъ обильный; пробная десятина не дала и посѣва, и плугъ орѣховаго дерева не окупился!

— Разскажу вамъ еще подобную шутку. Помѣщикъ, сосѣдъ мой, издерживался и разорялся на охоту, на собакъ. Однажды затравилъ онъ зайца въ полѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ пахаря. Радостныя восклицанія псарей и стремянныхъ возглашали побѣду, рога трубили, и восхищенный охотникъ, въ поту, въ пыли, гордо озирался. «Пане!» спросилъ его почтительно мужикъ, лаская собакъ и любуясь на зайца, на лошадей: «що коштуе тый заяцъ? сколько стоитъ заяцъ?» Панъ разсмѣялся неумѣстному вопросу и отвѣчалъ: рубль. «А хортъ? т. е. а собака?— Сто рублей.—«А кинь панскій? а барская лошадь?» продолжалъ неотвязчивый допросчикъ.— Пятьсотъ рублей.—«А панъ самъ», опять началъ хохолъ: «то уже звистно, що неоциненный; стало быть; рубель утикае, сто догоняе, а якъ пятьсотъ споткнется, то нашъ неоциненный убьется!—Драгуны захохотали въ голосъ. —«Всѣ мы постигаемъ недостойное этой разорительной стра-

сти,— сказалъ Карачунъ: но прошу васъ показать на словахъ убѣдительнѣе и проще ничтожность ея и малодушіе ей подпавшаго!

ГЛАВА IV.

ДНЕВКА.

Во-первыхъ, напоятъ шампанскимъ на убой;
А во-вторыхъ, такимъ вещамъ научатъ—
Какихъ, конечно, намъ не выдумать съ тобой.

Отрядъ нашъ поднялся на гору, за которою, въ глубокомъ яру, лежалъ Чаповецъ. На Подолѣ есть мѣстоположенія, изумляющія проѣзжаго дикостію и разнообразіемъ своимъ, особенно, если онъ ѣдетъ изъ южныхъ степныхъ губерній. Рыхлый черноземъ обильно питаетъ сокомъ своимъ поля пшеницы, кукурузы, дынь и арбузовъ; на песчаныхъ отлогостяхъ зеленѣются шпалерами виноградныя лозы; плодовые сады прилегаютъ къ изгибамъ ручья; дикій камень грядами пролегаетъ по гребнямъ высокихъ горъ и пригорковъ; гребельки съ водяными мельницами и бѣлыя мазаныя хаты животворятъ природу. Таково было мѣстоположеніе Чаповца. Панскій дворъ, старинной постройки, лежалъ, какъ семибашенный замокъ, раскинутый на противолежащемъ скатѣ, лицомъ къ путникамъ нашимъ; по обѣ стороны главнаго средняго зданія, двои обвалившіяся огромныя ворота свидѣтельствовали о бренности подлунной; а притворенныя и шестами подпертыя ставни самаго дома и новая крыша изъ драни или тесу на одной изъ пристроекъ — о худыхъ финансахъ хозяина, который, покинувъ великолѣпное, но

обветшалое обиталище прадѣдовъ, сосредоточилъ силы свои, домъ и дворъ и весь штатъ въ одномъ изъ боковыхъ флигелей. Охинъ первый замѣтилъ между строевымъ разбросаннымъ лѣсомъ двухъ пестренькихъ, стройныхъ подоляночекъ, прыгавшихъ на доскѣ, поперекъ бревна перекинутой. Онѣ, когда всадники приблизились, убѣжали во дворъ. Долго большая рябая собака, занявшая ихъ мѣсто на бревнѣ, стояла и лаяла на вѣтеръ, покуда наконецъ вышли растворить ворота, и панъ маршалокъ явился на крыльцѣ, просить гостей. Въ передней встрѣтилъ ихъ самъ панъ Жабруцкій, въ сѣромъ кунтушѣ со шнурками и тесьмою, однако же новѣйшаго покроя, со сплошными рукавами и на пуговицахъ, вмѣсто кушака. Капитанъ, старый пріятель и собутыльникъ его, представилъ въ двухъ словахъ офицеровъ своихъ, и панъ Жабруцкій обнималъ и перецѣловалъ всѣхъ ихъ въ уста и въ плечи. Онъ, казалось, радовался гостямъ непритворно, ввелъ ихъ въ покои, и представилъ женѣ и дочерямъ. Подали кофе, трубки, потомъ и закуску, водки, наливки и вина. Дамы дозволяли кавалерамъ подходить къ рукѣ, но, подавая ее, сами ихъ не цѣловали въ щеку, какъ у насъ. Трубки не безпокоили женщинъ нисколько, а пани Жабруцкая сама курила взапуски. Разговоръ вскорѣ сдѣлался общимъ, шумнымъ и веселымъ; офицеры наши всѣ говорили по-русски, хозяева отвѣчали по-польски, но тѣ и другіе хорошо другъ друга понимали. Старикъ нерѣдко вскакивалъ среди разговора, и обнималъ въ веселомъ расположеніи гостей своихъ, увѣряя, что онъ: «далибугъ, правдзивый россіянинъ!» Карачунъ замѣтилъ, что нѣсколько

дворовыхъ казаковъ полетѣло мимо оконъ въ разгонъ, въ разныя стороны, вѣроятно, сзывать ближнихъ сосѣдей или для пополненія хозяйства чѣмъ либо на скорую руку изъ ближняго мѣстечка. Три дѣвицы, не смотря на то, что не ожидали гостей, хорошо и опрятно одѣтыя, выступали павами, не смигали глазами, если кавалеры наши на нихъ обращали взоры, не шушукались, не хихикали и не прятались, какъ наши барышни, а казалось, напротивъ того, открытыми, смѣлыми взорами и улыбкою заискивали бесѣды, и вызывали къ разговорамъ и къ новому знакомству. Капитанъ первый подошелъ къ нимъ, поцѣловалъ еще разъ ручку каждой и началъ изъ учтивости ломать и коверкать польскій языкъ. Объ немъ ходила молва, будто онъ не зналъ ни одного языка, кромѣ своего природнаго, русскаго; но это было не совсѣмъ справедливо. Филологическія свѣнія его ограничивались только тѣмъ, что ему удавалось пріобрѣтать на походахъ и стоянкахъ самоучкою и наслышкою. Онъ въ 14 и 15 годахъ зналъ по-нѣмецки и по-французски; и теперь еще иногда припѣвалъ французскую пѣсню: вивъ Андрей кватеръ, вивъ сюрви дерви, т. е. Vive Henri quatre, vive ce Roi des Rois! По-турецки умѣлъ спросить: качъ алтынъ? качъ пара? Веръ бана каве, чубукъ, экмекъ. По-молдавски зналъ: Пулхерица, Зоица, Смарандица, Аглаица и множество другихъ женскихъ именъ, пѣлъ пѣсню: Унде каса мититика, унде фата форматика *); кромѣ того онъ говорилъ по-латышски, по-чувашски и даже

*) Гдѣ маленькая избенка, гдѣ дѣвочка-красоточка.

нарѣчіемъ жмуди; но болѣе всего усовершенствовалъ онъ себя въ болгарскомъ и въ польскомъ, и увѣрялъ, что стоитъ только постичь духъ языковъ сихъ и ломать русскій, въ первомъ случаѣ, придерживаясь славянскаго и говоря, напримѣръ, вмѣсто корова *крава*, вмѣсто молоко *млеко*, и прибавляя по усмотрѣнію иногда окончанія *ушка* и *енько;* а во второмъ перенося всѣ ударенія на предпослѣдній слогъ и расточая смѣлѣе сложныя согласныя бржи, хржи, крже и прше; дѣлая это, увѣрялъ онъ и самъ твердо былъ увѣренъ, что говорилъ по-болгарски и по-польски. Полки охотно съ нимъ связывались, спорили, кричали, учили его, и онъ такимъ образомъ непрестанно обогащалъ филологическія познанія свои. Панны: Зося, Людвися и Юзя, т. е. Софія, Людовика и Іозефа, также вмѣшались въ общій разговоръ; каждая овладѣла непримѣтно однимъ изъ гостей и взяла его подъ особенное покровительство. И нѣжный Охинъ, узнавъ въ первой, т. е. въ Зосѣ, одну изъ вольтижерокъ, тронувшихъ уже на разстояніи 200 саженъ доступное изящному сердце его, былъ вскорѣ до того погруженъ въ думы, мечты и сладкія грезы, что, сидя съ нею рядомъ и касаясь ножки ея, воображалъ, что участвуетъ въ разговорѣ и поддерживаетъ краснорѣчивую, занимательную, остроумную бесѣду, между тѣмъ какъ онъ молчалъ и даже не слышалъ, кто и о чемъ говорилъ. Не думайте, однакожь, чтобы никто изъ домашнихъ этого всего не замѣчалъ; напротивъ, видѣли и знали все, но никому не приходило въ голову показывать это, ввязываться и мѣшаться не въ свое дѣло. Не думайте также, чтобы полька, и особенно дѣвица, вызывая васъ

на вольное съ нею обращеніе, дала вамъ этимъ самымъ какое либо надъ собою право,— весьма ошибаетесь! Она нерѣдко дѣлаетъ это своевольно и своенравно, никогда притомъ не забывается и устаиваетъ твердо противъ всякаго искушенія.

Время до стола пролетѣло скоро; явились еще нѣсколько изъ сосѣдей и, послѣ прогулки,— на которой Охинъ блаженствовалъ, бѣсился, плакалъ и смѣялся по очереди, смотря по тому, его ли, или одного изъ земляковъ своихъ, рябаго усача въ черной вингеркѣ, предпочитала пастушка его,— всѣ возвратились наконецъ въ покои. Четыре жида со скрипками и цымбалами ударили въ самую ту минуту мазуречку, когда кавалерія наша поглядывала было по угламъ на сабли свои. Пуншъ и вино обносили непрестанно. Несносный, варварскій обычай —приневоливать всякими средствами гостей къ попойкѣ, одного только капитана нашего не безпокоилъ нисколько; онъ покручивалъ усы взапуски съ сарматами и разговаривалъ съ ними по-болгарски.

У насъ мазурка, и голоса, и самая пляска, искажены; народность въ томъ и другомъ утрачена. Надобно видѣть и слышать мазурку въ Польшѣ, тамъ, гдѣ старые усачи въ кунтушахъ за вистомъ моргаютъ усами и стучатъ каблуками въ мѣру, гдѣ шляхтичъ и водовозъ, княжна и прачка пляшутъ и напѣваютъ мазурку! Только краковякъ унылый и однозвучный, при всемъ разнообразіи напѣвовъ и необузданной веселости пляшущихъ, замѣняетъ иногда въ народѣ мазурку.

Около полуночи попутчики наши, — мы не откажемся,

думаю, слѣдовать за ними и на обратномъ пути, — при громкихъ прощаніяхъ, восклицаніяхъ и лобызаніяхъ, благополучно отретировались на крыльцо, гдѣ драгуны съ лошадьми ихъ ожидали. «Тршимайся, пáне капитáне, тршимайся!» кричалъ панъ Жабруцкій вслѣдъ гостямъ своимъ и, подымая свѣчу выше головы, едва не поджегъ соломенной стрѣхи навѣса. Охинъ еще разъ бросилъ болѣзненный взоръ на панну Зосю, на рябаго усача въ черной венгеркѣ, и вскорѣ отдавался только въ ушахъ всадниковъ топотъ собственныхъ коней ихъ, отдаленный крикъ пѣтуховъ и лай собакъ. Подъ гору, на гору и опять подъ гору — и Охинъ былъ лишенъ даже послѣдней отрады и утѣшенія встрѣчать взорами, оборачиваясь назадъ, привѣтливые просвѣты оконъ той храмины, въ которой онъ оставилъ сердце свое на сохраненіе и сбереженіе.

ГЛАВА V.

ТРЕВОГА.

Свѣтаетъ! Ахъ, какъ скоро ночь минула!

Молча герои наши продолжали путь свой шагомъ и рысью; только трубки ихъ иногда искрились въ потьмахъ, и капитанъ повременамъ покрикивалъ: «фальшь!» когда усталый конь его начиналъ дробить ногами. Охина не было дома: онъ заносился и взвивался, какъ ликующій жаворонокъ. Герстенмейеръ былъ недоволенъ брудеромъ своимъ, Карачуномъ, который отбивалъ у него панну Іозефу, и бѣсился на рябаго поляка, который осмѣлился плясать мазурку за

мазуркой, въ венгеркѣ, хотя офицеры всѣ были въ мундирахъ; а Костроминъ увѣрялъ его, что всему этому причиной то, что онъ сегодня не надѣлъ лядунки! Наконецъ Карачунъ затянулъ вполголоса: «Не одна-то во полѣ дороженька пролегала»; подголоски юнкера́, и прочіе всѣ, приставали одинъ по одному, а Охинъ, поотставъ немного отъ товарищей своихъ, убаюкивалъ и лелѣялъ нѣжныя чувства свои на созвучіи стройныхъ и согласныхъ родныхъ напѣвовъ. Часъ, другой, третій промчались непримѣтно. Заря занялась, а наконецъ и солнце озолотило утро, которому подобнаго Охинъ не видалъ съ тѣхъ поръ, какъ встрѣчалъ солнце на конѣ. Чаповецъ, Огирки и опять Чаповецъ безпрестанно пестрѣлись въ воображеніи его; и когда наконецъ Огирки, оживленныя многолюднымъ стеченіемъ, предстали взору его, — ему хотѣлось воротиться въ Чаповецъ.

Въ Огиркахъ каждыя двѣ недѣли, въ воскресенье, была ярмарка, и герои наши пробирались между шумными кучами народа. Здѣсь жиды и жидовки продавали съ возу деготь, сало, свѣчи, табакъ, мыло и водку; все это было ими взято отъ пана на откупъ, и вольная продажа заказана. Мужики торговали только овсомъ, хлѣбомъ, сѣномъ, арбузами и дынями, кукурузой и лукомъ, а жиды ихъ обманывали, обвѣшивали и обмѣривали. Дѣло кончалось тѣмъ, что хохолъ продавалъ на гривну, а пропивалъ полтину. Горшки и бублики, по сану своему, занимали почетныя мѣста площади. Дѣвки и бабы, разубранныя, толпились около нихъ, толкались, кричали и шумѣли большею частію безъ дѣла. Ярмарка для нихъ праздникъ, прогулка. Слѣ-

пой старикъ игралъ на рылѣ (лирѣ) и воспѣвалъ походы гетмана Богдана Хмѣльницкаго; овцы, сбившись въ кучу лбами, протяжно вторили ему; поросята съ возу прихрюкивали, драгуны выхваляли прочность и дешевизну выношенныхъ, заслуженныхъ шинелей, сапоговъ и мундировъ; деньщики терлись между возами, проклинали смолу и деготь на колесахъ, и закупали на четырнадцать грошей хозяйственный двухнедѣльный запасъ для господъ своихъ, до будущей ярмарки.

Доѣхавъ до общей квартиры своей, всѣ молча слѣзли съ коней. Охинъ первый спросилъ чаю, а капитанъ уже съ нетерпѣніемъ ожидалъ этого, чтобы возгласить: «а между прочимъ водки!» Герстенмейеръ, у котораго рана, полученная имъ подъ Боялештами, всегда разбаливалась, когда онъ сердился, отправилъ гонца въ полковой штабъ, къ доктору, за камфорнымъ спиртомъ. Всѣ улеглись вповалку, ставни затворились, и деньщики, проспавшіе благополучно ночь, спокойно покуривали, сидя на крыльцѣ, дешевые корешки, отгоняли шумныя базарныя толпы отъ оконъ почивающихъ господъ своихъ и тонкими голосами дразнили босыхъ дѣвокъ и бабъ въ черевикахъ, или червонныхъ чоботахъ съ подковками.

Хотите ли заглянуть между тѣмъ въ полковой штабъ? Тамъ, отъ Огирокъ верстахъ въ 20, не смотря на воскресный день, давнымъ-давно уже кипѣло ученье, конное и пѣшее, одиночная выправка, сабельные и ружейные пріемы и манежная ѣзда; и полковникъ, повѣстивъ уже съ вечера, за худые успѣхи въ будни, ученье на завтрашній празд-

никъ, далъ Агамемнону и Минервѣ, которые не пошли траверсомъ, по 50 плетей, и заперся одинъ въ кабинетѣ своемъ. Неисправности въ швальнѣ, въ канцеляріи и въ музыкантской школѣ превзошли мѣру терпѣнія его; онъ объявилъ адъютанту, что смѣняетъ его, а Охина назначаетъ на его мѣсто, и приказалъ самому адъютанту написать объ этомъ приказъ по полку. Но довольно; оставимъ это, и заглянемъ теперь и въ Чаповецъ.

Оттуда, вслѣдъ за нашими кавалерами, отправились и гости; домъ опустѣлъ, все стихло, свѣтъ — окно за окномъ — исчезалъ; все погрузилось во тьму ночную; топотъ и хохотъ отзывался только въ покоѣ панянокъ, которыя мѣряли, взвѣшивали и цѣнили достоинства, преимущества и недостатки новыхъ поклонниковъ своихъ; — наконецъ и это смолкло, и только тихій шелестъ шаговъ въ саду могъ бы увѣрить въ томъ, что еще не все въ домѣ заснуло, и что животное, перескочившее черезъ плетень съ улицы въ садъ, былъ человѣкъ, а не собака, какъ то увѣрялъ ночной сторожъ, стоявшій за садомъ, случайно проходившаго въ такое позднее время нашего знакомца, еврея Мойшеля, арендаря пана Жабруцкаго. Итакъ намъ остается только возвратиться въ Огирки, гдѣ мы покинули кавалерію нашу въ глубокомъ снѣ.

Капитанъ обошелъ уже, въ архалукѣ и фескѣ, съ трубкою, конюшни свои, надъ каждою изъ коихъ возносился вѣнецъ съ пучками соломы; былъ на чисткѣ, на проводкѣ, и направилъ стопы свои въ казарму, общую квартиру своихъ офицеровъ, чтобы стащить съ нихъ одежду,

и, придравшись къ любому изъ нихъ, при воззваніи къ Лафлёрамъ, потребовать, *между прочимъ*, водки. Но здѣсь онъ нашелъ все и всѣхъ въ тревогѣ; разсыльный изъ полковаго штаба стоялъ у воротъ, а Охинъ, съ бумагою въ рукахъ, встрѣтилъ капитана на крыльцѣ, внѣ-себя, въ тоскѣ, въ горести и — если бы не стыдно было, то сказалъ бы — въ слезахъ. Капитанъ взялъ бумагу и прочиталъ: «Господину поручику и кавалеру Охину. Съ полученія сего, предписывается вашему благородію, безъ малѣйшаго замедленія, подъ строжайшею отвѣтственностію, явиться въ полковой штабъ, вступить въ должность полковаго адъютанта и завѣдывать оною впредь до повелѣнія.» — Дѣлать нечего, — сказалъ капитанъ: — слезою моря не наполнишь, а кручиною поля не изъѣздишь; сѣдлай да ступай; а на прощанье — выпьемъ!

Охинъ не могъ придти въ себя: ясно было, что предстоящая ему невозможность продолжать знакомство свое съ Жабруцкими сокрушала его не менѣе предчувствія о безконечномъ и неизбѣжномъ горѣ въ новой должности своей, для которой онъ, впрочемъ, вовсе не былъ созданъ. Ему ли, безпечному, изнѣженному, а вдобавокъ еще и влюбленному, исправлять должность адъютанта, вести письменныя дѣла́ и драться съ пьяными писарями, смотрѣть за музыкантскою школою, за швальнями, за мастеровыми, словомъ — взять на руки всю безпардонную, нестроевую силу! Но что главное... тогда прости Зося, померкни звѣзда счастія, заря обѣтованнаго въ грезахъ блаженства — залогъ правды небесной, все прости!

ГЛАВА VI.

ОТБОЙ.

Вотъ то-то, невзначай; за вами примѣчай,
Такъ вѣрно съ умысломъ...

Наконецъ Охинъ, какъ будто мгновенно новая мысль просвѣтила бѣдствовавшую душу его,— Охинъ, слабый и нерѣшительный, вскочилъ, ударилъ кулакомъ по столу и, съ твердостью, какой товарищи доселѣ въ немъ видѣть не привыкли, объявилъ, что не поѣдетъ въ штабъ и не вступитъ въ должность адъютанта! «Я боленъ», продолжалъ онъ: «и не могу нести этой должности. Богъ свидѣтель, что я не лгу; я боленъ! Клянусь не выходить изъ дому въ продолженіе цѣлой недѣли, двухъ, трехъ! — Подай халатъ, Ванька!» — Эй, халатъ! — подхватилъ капитанъ: — а между прочимъ, водки: надобно выпить за здоровье болѣющаго! Эй, братъ, Охинъ, берегись, я что-то подмѣчаю за тобою...

«Онъ, кажется», возразилъ Карачунъ: «чуть ли не намѣренъ избавить пѣхотныхъ отъ обязанности, которую вы, капитанъ, на нихъ хотѣли возложить!» — Легче затягивайся, — закричалъ Костроминъ, отнявъ у Охина трубку: — ты подавишься или задохнешься! — Но Охинъ, не внимая ни шуткамъ, ни насмѣшкамъ и пребывая твердымъ въ намѣреніи своемъ, написалъ рапортъ, что, по приключившейся съ нимъ *вчерашняго числа* болѣзни, службы, на него возлагаемой, нести не можетъ. Разсыльный сѣлъ на выраженнаго, подъемнаго, разбитаго коня, и поплелся въ штабъ.

«Бей отбой, когда такъ», сказалъ Костроминъ: «фальшивая тревога!»—Не совсѣмъ,—замѣтилъ Карачунъ:—я, напротивъ, думаю, что смѣло можно ударить во всѣ палки; тревога теперь только-что начнется! *Чувствительное сердце* взбѣсится, пришлетъ освидѣтельствовать нашего больнаго, полетитъ предписаніе за предписаніемъ, а бѣдныя Минерва и Агамемнонъ и ѣздоки ихъ лишній разъ за это должны будутъ оттерпѣться!

«Бросимъ это,» закричалъ капитанъ, намекая на вчерашнія слова Охина, и подошелъ къ нему; «поговоримъ лучше о дѣльномъ».— О водкѣ? — спросилъ Охинъ. Всѣ захохотали въ голосъ, пробили въ ладоши: «браво!» и удивлялись замысловатому и рѣшительному тону Охина. — «Съ тобой я не стану говорить о водкѣ,» продолжалъ капитанъ: «ты въ ней знаешь столько же толку, какъ татарскій мулла; съ тобою я поговорю о полькахъ, о которыхъ ты разспрашивалъ вчера Костромина, а нынѣ самъ съ ними познакомился; поразскажи намъ что нибудь; каково, напримѣръ панна Зося отхватывала съ паномъ Пршепловецкимъ мазурку?»

— Я этого рябаго усатаго жука застрѣлю когда нибудь,— сказалъ Герстенмейеръ:— если онъ еще осмѣлится плясать при мнѣ въ венгеркѣ.

«А ломался» примолвилъ капитанъ: «какъ звонарь на колокольнѣ, нечего сказать!»

— Пѣсни и пляска народныя даже и не въ первобытномъ своемъ состояніи,— началъ Костроминъ: — а болѣе или менѣе искусствомъ и просвѣщеніемъ искаженныя, носятъ

на себѣ отпечатокъ кореннаго, основнаго нрава и быта народнаго въ высокой степени. О пѣсняхъ это уже давно замѣчено: страстный испанецъ, томясь глубокою сладострастною нѣгою, никогда не выразитъ чувствъ своихъ нанѣвомъ французскаго, нѣжнаго, игриваго романса или водевилемъ; а народное русское ухо не найдетъ ни въ томъ, ни въ другомъ выраженіи той сердечной сладкой грусти, которую изливаетъ его заунывная: притуманились очи ясныя! Но то же самое можно сказать и о пляскѣ. Французская кадриль, верхъ искусства плясокъ общественныхъ, собственно изобрѣтеніе образованнаго французскаго круга, изображаетъ намъ, въ мимикѣ своей, людей веселыхъ, искусныхъ, ловкихъ на паркетѣ, легкихъ, изобрѣтательныхъ на игрушки, непостоянныхъ; изображаетъ: тонкость, кокетство, живость, проворство, этикетъ, верхъ утонченности и приличія на всѣ бездѣлки. Фанданго составленъ изъ положеній тѣла человѣческаго, живописующихъ страсть, нѣгу, безпечность, сладостное изступленіе. Тирольская пляска наполняетъ васъ чувствами истинно-патріархальными. Кто видѣлъ пляшущихъ молдаванъ, которые берутся руками за пояса другъ друга и медленно поворачиваются, притопывая согласно ногами, тотъ согласится, что если бы заставить человѣка плясать насильно, то онъ не могъ бы найти пляски, требующей менѣе ловкости, проворства, напряженія силъ и изобрѣтательности: каждое невольное однообразное движеніе показываетъ, что ему смертная лѣнь поднять руку или ногу! — Ни въ одной пляскѣ, напротивъ, человѣкъ, ломаясь всячески, не принимаетъ на себя

столь смѣлой, важной и отважной молодцоватой осанки, какъ въ мазуркѣ: это одушевленная ловкость, спѣсь, притворная откровенность, самохвальство, торжество надъ ничѣмъ, а наконецъ и вольное, короткое обращеніе съ другимъ поломъ. Даже венгерская пляска выражаетъ не то: въ ней болѣе забавнаго, веселаго и шутовской предпріимчивости.

— Правда, закричалъ Карачунъ: — наша русская пляска выражаетъ, напротивъ, въ разнообразныхъ движеніяхъ и положеніяхъ своихъ не одну радость и восторгъ изступительный, но и чувства иныя: искреннюю веселость, грусть, тоску, задумчивость, отвагу, рѣшимость и силу тѣлесную.

Въ разговорѣ этомъ, продлившемся до самаго обѣда, участвовали всѣ, кромѣ Охина. Онъ, сидя у окна, перелистывалъ польскіе разговоры. Насталъ вечеръ. Человѣкъ верхомъ, въ сюртукѣ съ красною выпушкою и бѣлыми пуговицами, остановилъ коня своего подъ низкимъ окномъ казармы, какъ капитанъ называлъ общую квартиру офицеровъ, и этотъ съ восклицаніемъ: здравствуй, воскреситель! выскочилъ въ окно, обнялъ штабъ-лекаря и спросилъ, не привезъ ли онъ въ гостинецъ горькаго набору? «Я слабъ желудкомъ,» продолжалъ онъ, «а чаю въ ротъ не беру, такъ надобно чѣмъ нибудь подкрѣпить молодость свою.» Потомъ, снявши феску съ годовы, нагнувшись и поглаживая себя по лысинѣ, прибавилъ: «вотъ, чудотворецъ, тебѣ задача — вспаши, заборони и посѣй, хоть кудряваго чебреца, хоть долговолосой кукурузы, лишь бы выросла!»

— Прежде всего, вотъ это, — сказалъ докторъ, всту-

пая съ нимъ въ комнату; подалъ ему бумагу и поздоровался съ офицерами. Всѣ его встрѣтили дружески, пожимая руку. Если врачъ, достойный званія своего, умѣетъ сколько нибудь обживаться съ людьми, то отношеніе его къ однополчанамъ бываетъ болѣе нежели пріязненное, дружеское. Въ самомъ дѣлѣ, онъ, въ составѣ полка, есть звено, не входящее въ эту цѣпь постепенной и непрестанной подчиненности, но, не менѣе того, необходимое для поддержанія цѣлаго. Съ нимъ, а иногда съ полковымъ священникомъ, если онъ довольно образованъ, можно, забывшись на время, найти развлеченіе бесѣдою о вещахъ, непринадлежащихъ собственно къ службѣ. Офицеры между собою такъ обжились съ этимъ предметомъ, что могутъ находить отрадное разнообразіе въ разговорѣ только съ помощію посторонняго собесѣдника, который заставляетъ ихъ забывать на одинъ мигъ полезныя и необходимыя, но не менѣе того однообразныя занятія свои, которыя, какъ привидѣнія, являются имъ во всякомъ предметѣ, ихъ окружающемъ. Кромѣ того само собою разумѣется, что медикъ, умѣющій заслужить довѣріе, пользуется любовію и уваженіемъ въ немъ нуждающихся. Но не бываетъ и безъ непріятностей разнаго рода, которыхъ избѣгнуть иногда весьма трудно, и къ коимъ въ особенности принадлежитъ крайне затруднительное положеніе его, если офицеры не могутъ ладить съ полковникомъ, а этотъ послѣдній, опираясь на немъ, ставитъ его между двухъ огней.

Я говорю о несносномъ обыкновеніи иныхъ командировъ — требовать отъ врача каждый разъ, если офицеръ заболѣ-

ваетъ, письменнаго на то свидѣтельства. Къ счастію, командировъ такихъ немного. Это, воля ваша, несовмѣстно съ честію воинскою, и подчиненные не даромъ жалуются на оскорбленное самолюбіе! Это должно дѣлать съ разборчивостью, и только тамъ, гдѣ офицеръ подаетъ явный къ тому поводъ. Если офицеръ и подлинно иногда бываетъ вынужденъ прибѣгнуть къ единственному средству, чтобы избавиться отъ гласныхъ непріятностей, сказаться больнымъ и посидѣть дня два дома, то что остается дѣлать врачу, который напримѣръ у нашего *чувствительнаго сердца* долженъ пересвидѣтельствовать въ короткое время всѣхъ до одного? Надобно быть слишкомъ увѣрену въ совершенномъ здоровьѣ свидѣтельствуемаго, чтобы сказать объ офицерѣ, товарищѣ своемъ: онъ лжетъ и притворяется, — и все это по строгой формѣ и на бумагѣ! А можно ли всегда опредѣлить съ такою достовѣрностію степень какой нибудь небольшой немочи, безъ которой, можетъ быть, рѣдкій изъ насъ проводитъ нѣсколько дней сряду? Съ другой стороны, командиръ требуетъ этого и, при случаѣ, жалуется, налегаетъ на своего медика, который всегда болѣе или менѣе у него въ рукахъ.

Въ бумагѣ, которую докторъ подалъ капитану, заключался приказъ на имя ихъ двухъ — освидѣтельствовать строжайше поручика и кавалера Охина и представить за общимъ подписаніемъ о томъ, что будетъ найдено, свидѣтельство. «Боленъ,» сказалъ капитанъ, «видитъ Богъ, боленъ. Онъ съ субботы на воскресенье свихнулъ голову.» — Голову и сердце, — замѣтилъ Карачунъ, — все не на своемъ

мѣстѣ: первая въ груди, второе на плечахъ! — «Кончимъ скорѣе,» отвѣчалъ докторъ и подошелъ съ улыбкою къ Охину. «Здоровъ или боленъ?» — Боленъ, — отвѣчалъ этотъ, не вставая съ мѣста и глядя въ окно. — «Еще разъ спрашиваю,» продолжалъ лекарь, положивъ руку ему на плечо: «твое слово въ строку пойдетъ, Охинъ, боленъ или здоровъ? — Боленъ, боленъ, — отвѣчалъ Охинъ, вскакивая съ мѣста и проглотивъ слезу, которая было едва не навернулась: — я въ самомъ дѣлѣ боленъ; мнѣ завалило грудь, я едва могу дышать! — «Откашляешься современемъ, и все пройдетъ,» отвѣчалъ докторъ: «подайте же, если такъ, листъ бумаги, перо и чернильницу; печать и сургучъ я взялъ съ собою, зная, что у васъ нѣтъ ни того, ни другаго!» — Бумаги! — возгласилъ капитанъ: — а между прочимъ водки! Воскреситель нашъ хочетъ съ дороги выпить?— Но бумаги ни въ чемоданахъ, ни подъ столами, ни даже у деньщиковъ не случилось; итакъ Мишка, снабженный двумя грошами, отправился отыскивать листа бумаги у жидовъ. Между тѣмъ герои наши, въ ожиданіи бумаги, удовольствовались закускою и капитанскою душепаркою.

ГЛАВА VII.

РЕКОГНОСЦИРОВКА.

Вотъ васъ бы съ тетушкою свесть,
Чтобъ всѣхъ знакомыхъ перечесть...

«О чемъ вы двое, Орестъ и Пиладъ, въ прошедшую среду вечеромъ, такъ хохотали?» спросилъ докторъ Карачуна и Костромина. Оба глядѣли на него съ удивленіемъ,

и Карачунъ держалъ еще на воздухѣ хвостикъ селедки, который понесъ было чинно двумя пальчиками въ ротъ.— Объяснись, всевѣдущій, я не помню: когда и гдѣ?—«Въ среду, часу въ шестомъ что-ли, проходя черезъ базарную площадь, отъ жидовскаго бильярда, сюда, на квартиру», отвѣчалъ докторъ: «но чтобы не терзать васъ долѣе и не останавливать вашего пищеваренія, то прибавлю, что пани комисарова видѣла и слышала все это въ окно, и немедленно увѣдомила насъ, штабныхъ, объ этомъ, при посѣщеніи пріятельницы своей, нашей пани подкоморжины.»

Друзья наши разсмѣялись. «На этотъ разъ», сказалъ Костроминъ: «лазутчики ваши напали на тайну, не слишкомъ важную. Мы шли черезъ площадь и встрѣтили— козла на дрожкахъ! Большой бѣлый козелъ пана эконома находился нѣсколько времени въ бѣгахъ; а по немъ, какъ по другѣ дома, очень скучали. Выѣхавъ однажды за село, панъ экономъ встрѣтилъ тамъ бѣглеца, напалъ на оплошнаго, поймалъ его, связалъ и отправилъ на дрожкахъ своихъ домой. Это зрѣлище подало намъ поводъ къ нѣкоторымъ общимъ размышленіямъ, при которыхъ мы оба, и Карачунъ и я, правда, хохотали отъ души. Карачунъ первый замѣтилъ, что на дрожкахъ сидѣлъ не панъ экономъ, а козелъ; а это намъ нѣсколько объяснило, почему сегодня у сѣдока оказались рога, которыхъ прежде, повидимому, не бывало; но я не могъ удержаться отъ невиннаго вопроса: въ первый ли разъ на этихъ дрожкахъ разъѣзжаетъ съ такою важностію рогатый звѣрь? А злодѣй Карачунъ сдѣлалъ двоякое общее приложеніе частнаго вопроса моего ко всему тому,

что только разъѣзжаетъ по бѣлу свѣту, не только на дрожкахъ, но даже въ коляскахъ, въ каретахъ... «Во первыхъ», сказалъ онъ, «не всегда такъ ясно видно, что пріѣзжающая особа дѣйствительно и несомнѣнно принадлежитъ къ роду животныхъ; во-вторыхъ, рѣдко можно съ такою точностію, какъ въ этомъ случаѣ, опредѣлить, къ какому именно роду и виду скотина принадлежитъ; далѣе: животное на дрожкахъ связано по рукамъ, по ногамъ, и кучеръ держитъ его за рога; у подъѣзда хозяйка выбѣгаетъ, радостно встрѣчаетъ оплаканнаго друга своего и нѣжно лобызаетъ, между тѣмъ какъ знакомый намъ уже усачъ въ черной венгеркѣ, таинственный вездѣ и нигдѣ, осторожно подходитъ къ рогатому и опасливо спрашиваетъ, не дерется ли онъ. Хозяйка увѣряетъ, что смирнѣе этого чудака, не смотря на огромные крученые рога его и широкій костяной лобъ, нѣтъ на свѣтѣ! Какое обширное поле для размышленія, любезный Данило; сообрази только все это! Козелъ глупо трясетъ головою и бородою, и заикается: ме-э-э-э....: А ребятишки, дѣти пани экономовой, садятся всѣ на бѣднаго козла, и этотъ, повиливая хвостикомъ, везетъ ихъ на себѣ, какъ своихъ! Но теперь входитъ на дворъ и самъ панъ экономъ, пѣшечкомъ, тихо подходитъ къ дражайшей половинѣ своей и кричитъ ей на ухо: ме-э-э-э.... Это ты, другъ мой, муй коханый, говоритъ она и обнимаетъ его нѣжно, между тѣмъ какъ изумленный гость отступаетъ, кланяется неловко, и недовѣрчиво глядитъ на него, какъ будто бы также хочетъ спросить: не бодается ли онъ? но ребятишки, увидѣвъ папеньку, забываютъ козла,

прибѣгаютъ, вѣшаются всѣ на него, и онъ, кряхтя подъ ношею, тащитъ ихъ всѣхъ на себѣ, вслѣдъ за драгою половиною, въ комнаты. О Данило!» продолжалъ онъ, подходя ближе къ доктору и положивъ наконецъ руки на оба плеча его: «зачѣмъ я не живописецъ? зачѣмъ мнѣ суждено, какъ баснословному Танталу, видѣть и постигать сокровища эти, пищу жадной души; насытясь ими, не оплакивать безвременную смерть ихъ, отпѣвать въ воображеніи своемъ, хоронить въ безднѣ мыслей бывалыхъ, править тризну по нимъ кой-когда воспоминаніями, въ присутствіи друзей, которые меня понимаютъ, и не быть въ состояніи соорудить, по крайней мѣрѣ, своимъ иждивеніемъ, памятникъ надгробный, несокрушаемый, вѣчно гласящій! О Данило!» воскликнулъ вдохновенный: «не дай умереть имъ безъ пособія отраднаго, воскреситель, чудотворецъ, исцѣли, спаси ихъ!»

Данило, пожавъ руку его, отвѣчалъ: «Такъ, какъ ты меня теперь умоляешь, дружище, не разъ молила мать о исцѣленіи младенца, братъ о сестрѣ, сестра о другѣ — но милые ихъ угасали, какъ пестрыя картины творческаго воображенія твоего, погружались въ вѣчность, какъ онѣ; время мгновенно расторгало узы между нами и ими, увлекало скорбящихъ мірожителей впередъ, съ собою, а тѣ, и вся ихъ дружба, и жаркая любовь, и тѣсныя живыхъ съ живыми связи, все это тонуло въ безпредѣльности, обращалось въ былое! Не вѣрь, Костроминъ, не вѣрь и ты, Карачунъ, и всѣ вы, братья, не вѣрьте въ бѣдствующее, ничтожное ремесло наше! Это гиганты, посягающіе на Зиж-

дителя; это пышные, великолѣпные потѣшные огни, послѣ сожженія коихъ остаются обгорѣлыя щеики, лучины и свертки; это водометъ, гремящій подъ небеса плотнымъ водянымъ столпомъ и разсыпающійся ничтожною пѣной!»

— Грѣшишь, — возгласилъ капитанъ, указывая на широкій рубецъ обнаженной груди своей: — а это что? — «Это, тою же плотью связалось!», отвѣчалъ Данило: «изъ которой весь ты созданъ!»

— Грѣшишь, — сказалъ Герстенмейеръ, поглаживая лѣвую икру свою; — а это что? — «Засхло, якъ на собацѣ», отвѣчалъ докторъ, «если не прогнѣваешься на малороссійскую поговорку, гласящую истину; моей вины тутъ столько же, сколько у капитана волосъ на лысинѣ.»

— Грѣшишь, — сказалъ Карачунъ..... «Полно, полно хвалиться, друзья мои», возразилъ докторъ; «знаю, что вы всѣ служили грудью, и что изъ всѣхъ насъ, можетъ быть, я одинъ только не раненъ; но за то, надѣюсь, окажете мнѣ справедливость засвидѣтельствовавъ, что рѣдкаго изъ васъ поражала пуля или сабля не въ моихъ глазахъ!» — Правда, — возгласили всѣ въ голосъ, тѣснились около Данилы и пожимали ему руку. «Здравствуй же!» возгласилъ капитанъ, придравшись къ сей вѣрной оказіи, и осушилъ рюмку свою.

Мишка принесъ измятый листъ сѣрой бумаги; докторъ обрѣзалъ его, сѣлъ и написалъ:

«На основаніи предписанія командира карасу-базарскаго драгунскаго полка, г. полковника и кавалера Галлебера, отъ 17 августа 1830 года за № 829-мъ, свидѣтельство-

валъ я, обще съ г. капитаномъ и кавалеромъ Старобыховымъ, онаго жъ полка г. поручика Охина, причемъ и оказалось, что онъ, будучи сложенія нѣжнаго, полнокровнаго, удобораздражаемаго, дѣйствительно страждетъ тупою болью и затруднительнымъ дыханіемъ отъ прилива крови въ грудной полости (Dolor pectoris obtusus et difficultas respirandi, ab organismo sanguinis congestivo); но опредѣлить мѣру и степень недуга сего, съ поясненіемъ, можетъ ли г. поручикъ Охинъ исправлять возложенныя на него по службѣ обязанности или нѣтъ, какъ то именно предписывается онымъ повелѣніемъ, мы, при добросовѣстномъ исполненіи долга своего, отнюдь не въ состояніи; почему и должно, по мнѣнію нашему, рѣшеніе сего вопроса предоставить собственному чувству немогущаго, тѣмъ болѣе, что болѣзнь сего рода непостоянна и въ припадкахъ своихъ весьма разнообразна. Въ чемъ и свидѣтельствуемъ, за подписаніемъ общимъ нашимъ, а я, съ приложеніемъ герба моего печать. Августа 17 дня 1830 года. Старшій лекарь *карасубазарскаго* драгунскаго полка N. N. *Карасу-базарскаго* драгунскаго полка капитанъ Старобыховъ.»

Вошелъ Мишка и доложилъ, что къ заднимъ воротамъ подъѣхалъ, въ плетеной бриченкѣ, жидъ и просилъ переговорить съ господами. Какой жидъ? Зачѣмъ? Позови его. Дверь растворилась и — явился знакомецъ нашъ, въ башмакахъ безъ задниковъ, въ чулкахъ безъ пятокъ, Мойшель, арендаржъ пана Жабруцкаго. Поклонъ, другой, третій и, бокомъ, началъ онъ подвигаться вдоль стѣны къ братіи нашей. Я бы не кончилъ сегодня, если бы захотѣлъ пере-

сказывать всѣ ужимки его и осторожное приближеніе къ предмету своему помощію двусмысленнаго: азе-але.... азе... тего, овего.... и все это при общемъ хохотѣ и шуткахъ присутствующихъ, что его однакоже нисколько не смущало; наконецъ онъ попалъ въ колею, и, опасливо озираясь, спросилъ таинственно, правда ли, что панове капитанове, т. е. что господа капитаны, намѣрены разобрать дочерей пана Жабруцкаго. Громкій общій хохотъ едва не сбилъ его съ ногъ; онъ присѣлъ и, осторожно возрастая до естественной величины и лѣпоты своей, окидывалъ всѣхъ по очереди лукавымъ, проницательнымъ взоромъ черныхъ искрящихся очей своихъ. Конецъ пѣсни, послѣ длиннаго азе... але...азе... былъ тотъ, что онъ, основываясь на слухахъ, на догадкахъ и на томъ, что видѣлъ поздно вечеромъ, проходя мимо сада въ Чаповцѣ, пріѣхалъ предостеречь пановъ капитановъ, и въ тоже время рекомендовать домъ пана Першепловецкаго, отца, гдѣ дѣвицы скромны и житницы полны.

Костроминъ и Карачунъ насилу удержали Герстенмейера, который, выдернувъ черешневый чубукъ изъ турецкой трубки, уже возносилъ мстительную десницу свою, орудіемъ симъ вооруженную, надъ раменами израильтянина. Охинъ сидѣлъ у окна, какъ пораженный ударомъ. Одинъ мигъ, и пани комисарова только могла видѣть и узнать, проницательнымъ взоромъ своимъ, Мойшеля, который, помахивая непрестанно прутомъ, на концѣ котораго былъ навязанъ какой-то обрывокъ, мчался во весь духъ въ бричкѣ своей по пыльной дорогѣ.

VIII.

РАСПЛОХЪ.

Что за коммисія, Создатель,
Быть взрослой дочери отцомъ!

Прошли дни, недѣли однообразной жизни героевъ нашихъ. Охинъ не сдержалъ обѣта своего, не сидѣлъ дома, а проживалъ большею частію у паньства Жабруцкихъ, и невольно чуждался нѣсколько товарищей своихъ. Онъ не стрѣлялся съ Мойшелемъ, какъ то ему совѣтовалъ Костроминъ, но проѣзжалъ за то всегда мимо корчмы его рысью; а капитанъ въ тотъ же день отправилъ къ Мойшелю, черезъ нарочнаго, нѣсколько бутылокъ наливки, которыя, какъ оказалось, были оставлены жидомъ при посѣщеніи своемъ, въ деньщичьей комнатѣ, и велѣлъ объявить ему чрезъ краснорѣчивыя и убѣдительныя уста своего усатаго, широкоплечаго валета, чтобы Мойшель, на все время стоянки экадрона въ Огиркахъ, числилъ себя выранжированнымъ, забракованнымъ и проданнымъ съ аукціоннаго торга за три съ полтиною на чужія руки, однимъ словомъ — стертымъ съ лица земли, несуществующимъ; и чтобы вслѣдствіе сего, подъ карою висѣлицы, отнюдь и ни подъ какимъ предлогомъ не смѣлъ попадаться на драгунскіе глаза; а по эскадрону отдалъ приказъ: бить его каждому драгуну, гдѣ кто-ни встрѣтитъ!

Охинъ уже сказался здоровымъ, ѣздилъ въ штабъ, изложилъ причины, побуждающія его отказаться на первый слу-

чай отъ почетной должности адъютанта, причины, которыхъ и самъ полковникъ Галлеберъ и чувствительное сердце его устранить не могли; получилъ разрѣшеніе корпуснаго командира: *жениться на дѣвицѣ Софіи*, дочери помѣщика Жабруцкаго, и, блаженствуя, встрѣчалъ съ выспренняго полета своего торжествующимъ, преображеннымъ взоромъ все то, что вокругъ него пресмыкалось долу, въ ничтожной суетности мірской, грязло во прахѣ плоти! Товарищамъ его оставалось только принять на себя при семъ обязанность лицедѣевъ страдательныхъ, поздравить его и желать ему дружески всего, чего только мы собрату нашему пожелать въ состояніи. «Обдѣлилъ пѣхоту», ворчалъ капитанъ. — Мойшель не худой пророкъ, — говорилъ Костроминъ.—«Дай Богъ, чтобы козелъ нашъ не оказался вѣщуномъ», сказалъ Карачунъ: «а мнѣ отъ него что-то отбою нѣтъ, все въ глазахъ мерещится! Но еще предвѣщаніе Мойшеля не вполнѣ исполнилось: это только *одна*, а ихъ *три!*» Онъ взглянулъ на Герстенмейера, который распутывалъ трехцвѣтные снурки и кисти лифляндской трубки своей и зардѣвшись промолчалъ. «Ужь вы съ своимъ козломъ,» возгласилъ капитанъ: «затвердили какъ сорока Якова, одно про всякаго! Само собою разумѣется, что въ баню идти, такъ и пару не бояться: удается казаку быть и на конѣ, и подъ конемъ, это не новое!»

Вошелъ блаженствующій женихъ и просилъ всѣхъ товарищей своихъ на утро къ будущему тестю своему, на помолвку, и обѣщалъ пировать съ ними тамъ три дня.

Весь полкъ будетъ, даже полковникъ, и *балаклавцы*, т. е. драгуны одной съ *карасубазарцами* бригады.

Гости подлинно съѣхались, пировали, ликовали; офицерскія палатки и шатры раскинуты были живописно вокругъ семибашеннаго замка пана Жабруцкаго, и этотъ, гордо озирая многолюдное стеченіе, коего онъ былъ средоточіемъ, почиталъ себя удѣльнымъ княземъ, а гостей вассалами своими. Разливное море потѣхъ полилось съ самаго утра, и затѣямъ не было конца. Первый день провели въ забавахъ и пиршествѣ домашнихъ, а другой былъ назначенъ для охоты, въ коей долженствовали участвовать всѣ гости. Панъ Жабруцкій при этомъ случаѣ блеснулъ оружейною своею, коей богатыя и драгоцѣнныя ружья, штуцера, винтовки наканунѣ уже были выставлены напоказъ въ богатоукрашенныхъ пирамидахъ, съ большими, мѣдными, блестящими колпаками. Особенные шатры были разбиты для дворовыхъ охотниковъ, на скорую руку изъ окружной шляхты собранныхъ, и часовой, въ полномъ вооруженіи стрѣлка, важно расхаживалъ между пирамидами. Съ разсвѣтомъ другаго дня, лагерь снялся, караванъ тронулся, и замокъ стихъ и опустѣлъ. Женскому обществу было назначено сборное мѣсто на условленномъ урочищѣ, въ три часа, гдѣ ужь будутъ разбиты шатры и куда возьметъ направленіе все нимвродово поколѣніе подъ эгидою Діаны. Панъ Жабруцкій закидывалъ облаву за облавой: нятьсотъ мужиковъ, конныхъ и пѣшихъ, охватывали полукружіемъ поле за полемъ, весь за весью, лѣсъ за лѣсомъ, и ставили на неумолимыхъ стрѣлковъ и звѣря, и лису, и козу, и

зайца. Громкій гикъ голосистыхъ порскуновъ, звонъ колокольчиковъ, стукъ въ сковороды, дробь трещотокъ раздавались съ одной стороны, звучные одинокіе выстрѣлы съ другой, и уже всѣ стрѣлки наши, кромѣ полковника Галлебера, коего чувствительное сердце было непричастно и недоступно такому варварскому увеселенію — онъ не могъ проливать крови,— всѣ стрѣлки, говорю, болѣе или менѣе, могли похвалиться промахами, проглядками и удачными выстрѣлами, когда Охинъ, стоявшій за густымъ кустомъ, послышалъ передъ собою въ отдаленіи глухой шелестъ.— Все опять стихло, и Охинъ, съ напряженіемъ внимая возрастающимъ постепенно въ силѣ своей голосамъ приближающихся съ противоположной стороны загонщиковъ, взвелъ курокъ и, съ сильно бьющимся сердцемъ, выжидалъ неизбѣжнаго мгновенія, которое долженствовало рѣшить участь притаившагося звѣря... Это лиса, думалъ восторженный, и старая лиса; но теперь ей моихъ рукъ не миновать! Сердце у него отъ нетерпѣнія стучало вслухъ. Громче, громче сливной гулъ, ближе звонкіе голоса возмутителей покоя спасающихся бѣгствомъ обитателей лѣсовъ дремучихъ — уже можно было отличать одиночные голоса и рѣзкія трещотки. «Теперь», подумалъ Охинъ, «теперь крайній срокъ твой наступаетъ», и самъ притаилъ духъ отъ нетерпѣнія. Вотъ всполошилось: кусты хрустятъ — пафъ! грянулъ Охинъ однимъ стволомъ — пафъ! другимъ пафъ, пафъ! пустили бѣглый огонь сосѣди его и однополчане...

Рѣзкій крикъ человѣческаго голоса поразилъ изумлен-

ныхъ стрѣлковъ. Они бросились въ чащу лѣса и увидѣли... — чѣмъ начать, скажите, и чѣмъ кончить? кого увидѣли, съ кѣмъ и зачѣмъ они здѣсь? здѣсь, гдѣ сегодня не надлежало быть никому, кромѣ зайца или лисицы, волка или крылатой ногами серны?

«Горностай и рысь!» возгласилъ капитанъ, который первый пришелъ въ себя, когда дѣло обнаружилось: «рысь и горностай! а! два рѣдкіе звѣря въ этихъ странахъ!»

Соберусь съ духомъ, и скажу въ двухъ словахъ, что случилось: умолчать объ этомъ не могу, да и любопытство читателей моимъ молчаніемъ не удовлетворится.

Усатый рябой полякъ въ черной венгеркѣ, таинственный вездѣ и нигдѣ, какъ мы его прозвали, имѣлъ надобность переговорить еще сегодня съ тою дѣвицею, которая такъ мило отхватывала съ нимъ мазурку, и, по примѣру цѣлаго общества, которое не призадумалось назначить себѣ общее сборное мѣсто послѣ охоты, испросилъ себѣ частное свиданіе на перепутьѣ къ первому, но, по несчастію, оно было такъ худо разсчитано, что вошло въ округъ пятой облавы! Бесѣдующая чета наша какъ-то зазѣвалась и замѣтила ошибку свою, когда уже загонщики гикнули съ одного конца лѣса и слѣдовательно стрѣлки обставили другой; они кидались туда, сюда, наконецъ бросились вдоль цѣпи, въ надеждѣ выскочить съ боку — штука, которая и лисѣ не всегда удается—и они набѣжали прямо на лѣвое крыло стрѣлковъ, гдѣ фланкировали пріятели наши, драгуны!

Капитанъ, Карачунъ, Костроминъ и докторъ сбѣжались около подстрѣленнаго усача въ венгеркѣ, на котораго

Охинъ первый руку наложилъ, давъ ему въ задатокъ салютъ изъ двухствольнаго ружья своего, и Данило объявилъ, что хотя синякамъ отъ крупной дроби на тѣлѣ усача счету не будетъ, и около дюжины-другой закожныхъ ранъ надобно будетъ покопаться, чтобы вырѣзать дробины, но что, повидимому, опасности не предстоитъ ни малѣйшей.

Уже облава выказывалась въ просвѣтахъ лѣса. Драгуны наши схватили поспѣшно добычу свою, рысь, потащили съ собою и отправили на первомъ воловьемъ возу въ село. Бѣленькій горностай нашъ благополучно и не бывъ болѣе никѣмъ замѣченъ, достигъ Чаповца.

Охинъ былъ безъ ума, безъ языка; но пріятели наши приступили къ нему и требовали отъ него рѣшительно, чтобы онъ передъ ними объяснился открыто, что онъ намѣренъ теперь дѣлать? «Что хотите», отвѣчалъ тотъ, бросившись въ объятія друзей: «дѣлайте, что хотите... меня здѣсь никто болѣе не увидитъ; я сажусь на коня, и ѣду безъ оглядки въ Огирки!»

Костроминъ, Карачунъ и докторъ, потолковавъ между собою, во-первыхъ, взяли слово съ капитана и кто еще присутствовалъ при этомъ явленіи, отнюдь нигдѣ не разглашать о томъ, что случилось; потомъ отыскали пана Жабруцкаго, и крайне удивили его нежданнымъ извѣстіемъ и объясненіемъ. Онъ мялся, жался, горячился, чуть не плакалъ, опять горячился, но всѣ не впрокъ: наши три пріятеля оставались твердыми и рѣшительными въ мѣрахъ своихъ, и панъ Жабруцкій наконецъ съ благодарностію принужденъ былъ принять позволеніе благородныхъ по-

средниковъ, чтобы отказъ послѣдовалъ со стороны отца и невѣсты. Онъ объявилъ послѣ охоты сотрапезницамъ и собутыльникамъ своимъ, съ видомъ надменнымъ, что обстоятельства непредвидѣнныя вынуждаютъ его отказать жениху въ день самой помолвки. «Къ счастію», прибавилъ онъ, «еще время!»

Пусть досужіе читатели пишутъ по этому полю пораженныя лица присутствовавшихъ; пусть прислушиваются къ толкамъ и пересудамъ всѣхъ повѣтовъ Подольской губерніи; замѣчу только, что Охину урокъ этотъ не помѣшалъ: къ нашему брату сплетни и оговоры не льнутъ, они съ насъ — какъ съ гуся вода; къ счастію, мы не красныя дѣвицы!

Друзья наши, возвращаясь вечеромъ домой, опять въ раздумьѣ согласно затянули: «Не одна-то́ во полѣ дороженька пролегала»; хохолъ Карачунъ былъ всегдашній запѣвало; юнкеръ, братъ его, тонкимъ голосомъ выносилъ и заливался въ плясовыхъ, подголоски подхватывали, и кони ихъ шагали въ мѣру. Удивленный Мойшель подстерегъ отставшаго нѣсколько капитанскаго драгуна, и объявилъ ему, что Охинъ проѣздомъ вызвалъ его и подарилъ ему, «дали бугъ не вѣмъ за цо, дукатъ!» т. е. червонецъ. Пани комисарова до половины высунулась изъ окна своего на темную улицу, провожая взорами отрядъ, которому, по достовѣрнымъ извѣстіямъ, надлежало воротиться только завтра. Галлеберъ высѣкъ Аполлона и Минерву за то, что не могъ вывѣдать отъ офицеровъ истинной причины отказа. Охинъ поступилъ въ адъютанты, и старался,

мотаясь между швальнею, канцелярісй и музыкантскою, забыть, чего нельзя было передѣлать. «Откашляешься, и пройдетъ», утѣшалъ его Данило. Герстенмейеръ намоталъ на усъ неудачную попытку Охпна, и восхищался тѣмъ, что неучу-мазуристу разстрѣляли венгерку и испестрили шкуру; а капитанъ пріобщилъ къ числу поговорокъ своихъ восклицаніе: «рысь и горностай! — рѣдкіе звѣри въ нашихъ странахъ; этому будутъ современемъ удивляться, не менѣе того, какъ мы дивимся нынѣ, читая въ лѣтописяхъ, что у насъ въ подмосковной водились бобры!!!» И каждый разъ послѣ этого онъ спрашивалъ: «между прочимъ — водки!»

ХМѢЛЬ, СОНЪ И ЯВЬ.

Вѣдаясь промежъ себя, въ кругу людей, коимъ уже родомъ и судьбою назначено жить бѣлоручками, мы удалены участіемъ своимъ отъ жизни чернорабочей. Жизнь простолюдина кажется намъ чрезвычайно однообразною, незанимательною: всѣмъ помышленіямъ указанъ тѣсный кругъ, вѣчныя заботы о насущномъ хлѣбѣ, нѣтъ потребностей кромѣ сна и пищи, нѣтъ доблести кромѣ случайной; есть добродѣтель, покуда нѣтъ искушенія, а нѣтъ искушенія — гдѣ нѣтъ кабака.

Нельзя спорить противъ этого, нельзя и согласиться безусловно. Человѣкъ все одинъ и тотъ же; отличается одинъ отъ другаго либо тѣмъ, что Богъ ему дастъ — и этотъ даръ даруется не по сословіямъ; либо тѣмъ, что пріобрѣтешь наукой и образованіемъ — и если это собственность высшихъ сословій, то по крайней мѣрѣ способность, воспріимчивость къ тому всюду одинаковая; либо наконецъ отличается одинъ отъ другаго кафтаномъ — и это различіе безспорно самое существенное, на которомъ основано многое.

Въ малоземельныхъ губерніяхъ нашихъ значительная часть населенія зарабатываетъ хлѣбъ свой на чужбинѣ и возвращается домой только временно, почти на побывку, принося съ собою деньги на хлѣбъ, на подушное и на другія нужды. Въ близкихъ отъ столицы губерніяхъ, крестьяне уходятъ только на лѣто, а зимою или бываютъ въ извозѣ, или занимаются ремесломъ, или же наконецъ лежатъ на печи; но изъ дальнихъ губерній работники уходятъ на два, на три и болѣе года, не только въ столицы, но и во всѣ концы царства; симбирцы, владимірцы, ярославцы, строятъ дома въ Уральскѣ, Оренбургѣ, Омскѣ и Тобольскѣ. Во многихъ малоземельныхъ губерніяхъ большая часть господскихъ имѣній на оброкѣ, мужики ходятъ по всей Россіи, и одни только старики, бабы и дѣти сидятъ дома. Тысячи плотниковъ, столяровъ, половщиковъ, каменьщиковъ, штукатуровъ, печниковъ, кровельщиковъ, разсыпаются оттуда ежегодно по всей Россіи; крестьяне, цѣлыми селеніями, держатся по наслѣдству промысловъ, къ коимъ привыкли уже дѣды ихъ. Цѣлыя деревни тверитянъ или новгородцевъ бываютъ лѣтомъ въ Питерѣ штукатурами, а зимою сапожниками; привозятъ товаръ свой каждую весну, когда идутъ на работу, обозами въ сѣверную столицу нашу, отдаютъ сапоги ни по чемъ, лишь бы выручить зимніе харчи, и эти-то обозы наполняютъ знаменитыя лавки Щукина двора, гдѣ готовые и на видъ, порядочные сапоги можно купить дешевле, чѣмъ въ Петербургѣ обходится самый товаръ.

Бурлаки и музуры — судорабочіе и матросы, идутъ внизъ

по Волгѣ огромными толпами, съ сермягою и котомкою за плечомъ, съ парою запасныхъ лаптей на поясѣ, съ деревянною ложкой, заткнутою на шляпѣ за ремень, дычко или бичевку; за пылью и грязью на этихъ людяхъ больше ничего не видать. Бурлаки подымаютъ суда на лямкахъ, бичевою, вверхъ по Волгѣ, отправляясь сперва за этимъ пѣши внизъ, и при всемъ томъ народъ обходится здѣсь судохозяевамъ въ работѣ дешевле быковъ и лошадей. Вотъ работа и хлѣбъ для самыхъ грубыхъ, неискусныхъ ни въ какихъ ремеслахъ околодковъ, и вотъ тотъ народъ, который работаетъ эту конскую работу, въ потѣ лица, мѣсяцъ сряду, съ тѣмъ, чтобы, отбывъ одну путину, пропить все въ три дня. Не стану поминать промышленниковъ и дармоѣдовъ разныхъ родовъ, кулаковъ, которые мѣняютъ по деревнямъ разные припасы — кошатниковъ, которые собираютъ колотковые мѣха, вымѣнивая у бабъ кошекъ на деревянную посуду — разнощиковъ и ходебщиковъ, а говоря собственно о ремесленникахъ, должно упомянуть и о крестьянскихъ портныхъ, которые ходятъ зимою по селамъ и, постукивая въ окно, спрашиваютъ: нѣтъ ли шитва? потомъ рядятся съ аршина и съ овчины и берутъ копейки по двѣ, съ уговоромъ, не пускать уже въ эту деревню другихъ портныхъ — за что обшиваютъ волостное начальство безденежно — а обшивъ все село, идутъ далѣе и опять стучатъ посохомъ въ окна. Нижегородскіе татары, возвращаясь домой, подъ предводительствомъ одного довольно статнаго мурзы, называемаго всюду по пути княземъ, покупаютъ на заработанныя деньги башкирскихъ (саратовскихъ),

киргизскихъ и калмыцкихъ лошадей, откармливаютъ ихъ путемъ по ночамъ воровски у стоговъ и скирдъ и перепродаютъ по дорогѣ съ барышемъ извощикамъ и ямщикамъ.

Въ этихъ малоземельныхъ селеніяхъ заведено большею частію, что молодой парень долженъ заработать напередъ извѣстную сумму на отца и семейство свое, потомъ уже, уплативъ года три-четыре подушное за отца или дѣда и за малыхъ братьевъ, идетъ онъ работать годъ или два на себя и женится. Тутъ не найдете вы мужика домосѣда, мужика, который не видалъ бы свѣту; только развѣ въ большихъ семействахъ, пятерикахъ, семерикахъ, одинъ постоянно остается дома. Можетъ быть, это обстоятельство объясняетъ сильную наклонность, всегдашнюю готовность крестьянъ нашихъ къ переселенію; едва ли проходитъ спокойно два-три года сряду, чтобы какой нибудь пустой, нелѣпый слухъ, безтолковая молва, безсмысленная сказка — приплетенная самымъ дикимъ образомъ ни къ селу ни къ городу къ новому узаконенію или постановленію — чтобы, говорю, какая нибудь нелѣпая сказка не подняла вдругъ цѣлыя селенія на ноги — Богъ вѣсть куда, въ какой-то баснословный край, гдѣ нѣтъ ни подушнаго, ни рекрутства. Тамбовскіе, воронежскіе, орловскіе, пензенскіе, калужскіе и другихъ губерній переселенцы наводняютъ цѣлыми ордами восточные предѣлы государства, кочуютъ, какъ цыгане, по нѣскольку лѣтъ сряду, то не получая отвода новыхъ земель, то не соглашаясь селиться тамъ, гдѣ указываютъ, то избирая по произволу чужія частныя или вой-

сковыя земли, поселяясь на нихъ силою и возвращаясь по нѣскольку разъ опять на то же мѣсто, съ котораго сводятъ ихъ посредствомъ исправника или даже воинской команды. Господскіе крестьяне уходятъ бурлаками до Астрахани, нанимаются тамъ въ бурлаки, въ музуры, въ тюленьщики, въ рыбаки, ходятъ въ море, пропадаютъ нѣсколько лѣтъ безъ-вѣсти, не заботясь о давно просроченныхъ паспортахъ, и нерѣдко попадаютъ въ плѣнъ и рабство къ адайцамъ или туркменамъ — рабство, коему правительство наше наконецъ нынѣ положило предѣлъ.

Кочеванье это безспорно бываетъ поводомъ порчи нравовъ; мужикъ балуется, и многіе обвиняютъ за это шатающихся крестьянъ; но на все есть свои причины, и намъ кажется, что, объѣхавъ напримѣръ Владимірскую губернію, не станешь дивиться, для чего тысячи рабочихъ рукъ ежегодно ее покидаютъ. Тутъ почва большею частію такъ дурна, что, глядя на этотъ сыпучій песокъ, перемѣшанный съ какою-то мертвою, сѣрою пылью, на болото, мшину и кочкарникъ, обгорѣлые пни и коряги — пожалѣешь о потовомъ трудѣ мужика, поднявшаго лемехомъ каждый клочокъ и уголокъ, гдѣ только можно протащить одноконную соху. Если нѣмецъ или англичанинъ съумѣли бы извлечь изъ этой неблагодарной почвы десятерицею болѣе нашего, то это еще ничего не доказываетъ; чего мы не знаемъ, тому не вѣримъ, а чтобы разувѣрить человѣка, у котораго все основано на опытѣ, на завѣтѣ отцовъ, — должно убѣдить его и переучить дѣломъ, а не словами. Есть, безъ сомнѣнія, и другія причины

этой страсти къ переселенію — но ихъ оставимъ въ покоѣ. Вездѣ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ.

Во Владимірской губерніи на большой дорогѣ есть село, извѣстное по мастерству и прилежанію своихъ крестьянъ, плотниковъ и столяровъ, въ числѣ коихъ наберется и десятокъ-другой краснодеревцевъ. Село это извѣстно подъ названіемъ Глухаго Озера и почти поголовно уходитъ въ Заволжскій край на работу. Тутъ жила большая семья Воропаевыхъ; дѣдъ сидѣлъ уже дома на печи, а отецъ и четверо сыновей ходили постоянно, по вызову подрядчиковъ, куда только путь-дорога лежитъ, и кормили и оплачивали всего не менѣе 17-ти душъ. Въ числѣ подрядчиковъ этихъ былъ и родной братъ отца-Воропаева, а дядя четырехъ сыновей; ему посчастливилось въ работѣ, хозяинъ былъ онъ хорошій, мужикъ смышленый, сшилъ себѣ синюю сибирку, взялъ сажень въ руки и сталъ держать артель.

На этотъ разъ плотникамъ нашимъ случилось проработать лѣто всѣмъ вмѣстѣ или по близости одному отъ другаго; отецъ собралъ ихъ къ зимѣ и велѣлъ собираться также, какъ обыкновенно хаживали они и по-очередно, на общій счетъ, чтобы не больно издержаться. Разсудивъ, что степную лошадку можно продать безъ убытку на какомъ-нибудь яму, Воропаевы купили пару коней, и около Рождества старикъ нашъ съ сыновьями прибыли домой. Онъ не былъ на родинѣ уже два года, и подкатилъ на саняхъ подъ ворота съ рѣзной стрѣхою — какъ снѣгъ на-голову; никто его не видалъ. Вошедъ не торопясь въ избу, онъ

отсунулъ отъ себя лѣвой рукой старуху свою, которая, закричавъ отъ радости: «охъ ты, родимый мой!» бросила было веретено свое и кинулась сдуру обнимать мужа. Онъ помолился преспокойно иконамъ, между тѣмъ какъ жена заливалась слезами; потомъ уже вымолвилъ: «здравствуйте», поцѣловалъ старуху свою, дочерей, малыхъ сыновей и внуковъ. Вошли и пріѣзжіе четыре сына; семья жила нераздѣльно, въ большой, просторной избѣ, на двѣ половины, съ комнатками. Вскорѣ сбѣжались и замужнія дочери и кто былъ на селѣ изъ зятьевъ; тутъ пошли шурья, свояки, свояченицы, тещи, невѣстки, кумы, кумовья — русскій человѣкъ безъ сродниковъ не живетъ — и набралась полна изба. Отцу своему Воропаевъ-отецъ поклонъ въ ноги; жена ему поклонъ въ ноги; словомъ, все пошло своимъ порядкомъ, и сродники кланялись низко отцу, дюжему плотнику, цѣловались съ сыновьями его, говорили приличныя рѣчи, какъ слѣдуетъ по закону, напримѣръ: «какъ васъ Богъ миловалъ? по добру ли, по здорову? соскучились мы по васъ совсѣмъ» — и прочее; а затѣмъ пріѣзжіе раздѣлись, то есть распоясались, скинули тулупы и кафтаны и усѣлись вокругъ стола, занявъ красный уголъ избы, а бабы подавали ѣсть и пить, толпились около печи, за загородкой шарили въ рѣзномъ поставцѣ, выгоняли изъ-подъ лавокъ куръ, которыя думали воспользоваться праздникомъ и суматохой и втерлись подъ ногами у посѣтителей въ избу. Между тѣмъ ребятишки, растянувшись на краю полатей ничкомъ и потряхивая головами, глядѣли на все это, мигая и толкая другъ друга. Кромѣ корчаги щей и горшка каши,

плотники наши опорожнили вскорѣ два огромные кувшина квасу и отрѣзали себѣ на закуску по суврою хлѣбца, четверти въ три, посыпавъ его крупною, какъ горохъ, солью.

— Добрались таки-опять до своего хлѣбушка,— сказалъ отецъ,— а было и ѣсть его разучились.

— Нешто,— отвѣчалъ сынъ низовымъ нарѣчіемъ, къ которому привыкъ на работахъ своихъ, — нешто, добрались; а и бѣлые калачи ихъ ладно подъ зубъ ложатся, батюшка, что у насъ вотъ пирогами зовутъ. Тамъ хлѣба вѣкъ не знаютъ, — прибавилъ онъ, оборотившись къ свояку, человѣку небывалому, который сидѣлъ дома на хозяйствѣ,— все калачъ, что по-нашему пирогъ.

— То-то вѣдь мы и ходимъ къ нимъ калачи-тѣ ѣсть,— замѣтилъ отецъ, посоливъ еще разъ изъ солоницы ломоть свой и стряхивая надъ нимъ пальцы, — что у нихъ калачей-то много, что сами они съ ними не управятся.

— А рыбы-то у нихъ, рыбы,— началъ другой сынъ, — хоть круглый годъ постись; и свиней рыбой кормятъ, и собакъ рыбой, да и коровы, братъ, тамъ рыбу ѣдятъ; ей-богу ѣдятъ! вотъ земля!

— Разумѣется, такъ,—сказалъ одинъ изъ сродниковъ,— что городъ, то норовъ.

— Какъ такъ, коровы? — спросилъ своякъ, которому понятливость или сговорчивость сродника не пояснила дѣла.

— Да такъ, братъ, ѣдятъ да и только; пожалуй, хоть отца, батюшку спроси и братьевъ, чай, не дадутъ соврать; вотъ хоть и въ самой Астрахани: замѣсто того, что у насъ

дадутъ коровѣ мѣсиво какое, что-ли, а тамъ вяленой рыбки соленой подкинутъ ей, она и жуетъ ее ровно хлѣбъ.

— А народу что тамъ некрещенаго,— началъ другой,— такъ, Господи, воля Твоя! ровно въ собачье царство какое забредешь, такъ вотъ вокругъ тебя не вѣсть по-каковски и лаютъ.

— Вишь ты, братъ!

— Калмыкъ про маханъ толкуетъ, карсакъ (кайсакъ) про свое тамъ что-нибудь, татаринъ киль-мунда, кизилбашъ молча сидитъ себѣ,— таки-вотъ хоть не води ушами, не при тебѣ писано.

Гости, и въ особенности бабы, дивились всѣмъ чудесамъ этимъ; вскорѣ, однако же, посторонніе всѣ разошлись съ поклонами, и остались одни хозяева. Смерклось; подали свѣтецъ и лучинъ; отецъ позвалъ дѣда на совѣтъ, заперли двери на крючекъ, выславъ напередъ бабъ, — достали и сосчитали принесенныя съ собой деньги, рублей по двѣсти на брата, кромѣ того, что переслали уже домой на оброкъ; разсчитали, сколько и куда изъ нихъ пойдетъ; потомъ убрали деньги, позвали бабъ, и отецъ роздалъ женѣ, дочерямъ и невѣсткамъ по платку; и мужья вытащили гостинцы свои; отецъ съ дѣдомъ потолковали о томъ, гдѣ кто работалъ, по чему бралъ, что прохарчилъ и заработалъ, и сколько принесъ. Наконецъ старикъ Воропаевъ подозвалъ къ дѣду третьяго сына своего, Степана, принесъ на него горькую жалобу, что онъ-де сталъ, ни съ того, ни съ сего, погуливать и не мало денегъ пропилъ.

Гнѣвно вскинулся дѣдъ на робкаго Степана, который кла-

нялся ему въ ноги, божился и заклинался, что впередъ не станетъ никогда, даже въ ротъ ничего не возьметъ — но у дѣда глаза горѣли, сѣдой волосъ придавалъ суровому красному лицу его грозный видъ; бѣлая борода, пожелтѣвшая уже мѣстами, какъ поблеклый листъ, дрожала. — Степанъ горько плакалъ, и самъ отецъ, отступившійся отъ него въ началѣ жалобы своей и предавшій его гнѣву дѣдовскому, началъ помаленьку задабривать дѣда, ручаясь за сына на будущее время. Степану объявили, что онъ съ будущей весны пойдетъ работать на свое хозяйство, что пора его женить. «Да гляди ты у меня», прибавилъ дѣдъ, постукивая костылемъ своимъ въ половицу и потряхивая выразительно по поясъ разостлавшеюся бородой. «Гляди, Степанъ, коли ты у меня пить не бросишь съ сегодняшняго дня, то Господь попутаетъ тебя, покараетъ, и наживешь ты себѣ неизбывное горе».

Насталъ мартъ, и Степанъ, положивши на прощанье еще разъ большое заклятіе, что хмѣльнаго въ ротъ не возьметъ, сталъ собираться въ путь. Хоть онъ и зарекался искренно и не пилъ дома во всю зиму, — но ему какъ-то боязно было идти въ одно мѣсто съ отцомъ и съ братьями, и онъ пошелъ въ Саратовкую губернію, подъ предлогомъ, что тамъ-де слышно лучше платятъ. Какъ хорошему плотнику, ему и точно дали 380 рублей, на хозяйскихъ харчахъ, за лѣто, т. е. отъ Пасхи до Покрова, либо до Кузминокъ, до Козьмы и Демьяна, или ссыпчины, — также дѣвичій праздникъ,— потому что дѣвки сходятся въ одну избу,

приносятъ, каждая, что нибудь съѣстное, готовятъ вмѣстѣ ужинъ и празднуютъ свой праздникъ.

Степану пришлось работать съ небольшою артелью, сперва въ одной барской усадьбѣ, а тамъ въ удѣльномъ имѣніи, гдѣ рубили избу для приказа. На барскомъ селѣ жилъ такъ называемый въ тѣхъ мѣстахъ дворникъ, или содержатель постоялаго двора. Этотъ человѣкъ былъ нѣкогда господскимъ, взялъ себѣ въ голову, что не хочетъ служить у господина, хочетъ на волю — а ужь какъ русскій человѣкъ заберетъ себѣ въ голову что нибудь, то справиться съ нимъ мудрено. Тутъ ни опасности, ни очевидная безсмыслица предпріятія и здравыя, благоразумныя убѣжденія ваши не пойдутъ въ прокъ; «оно все такъ», подумаетъ онъ, а иной разъ и скажетъ, «да ужь власть Господня, что будетъ, то будетъ, а я ужь хочу того, либо другаго, ужь пусть такъ и будетъ.» Такимъ образомъ молодецъ нашъ, забравъ себѣ въ голову, что ему надо быть мѣщаниномъ, и собравъ Богъ вѣсть изъ какихъ источниковъ безтолковое свѣдѣніе, что на Черномъ морѣ можно приписаться, собрался и ушелъ. Съ этого перваго похода на Черное море привели моего молодца, перехвативъ его гдѣ-то на перепутьи, съ выбритой на половину головой; но какъ онъ твердо вознамѣрился достигнуть, во что бы ни стало, обѣтованной земли своей, то онъ вслѣдъ затѣмъ попытался въ другой и третій и въ десятый разъ, каждый разъ возвращался по пересылкѣ съ бритой головой и до того надоѣлъ наконецъ помѣщику, что этотъ отпустилъ его на волю за 300 рублей, которые неизвѣстно какимъ образомъ

очутились у Черноморца — прозваніе, приданное ему единогласно цѣлымъ селомъ.

Черноморецъ поселился въ Саратовской губерніи, въ помѣщичьемъ имѣніи, и у него достало Богъ вѣсть какихъ денегъ купить избу и выплатить помѣщику за годъ впередъ оброкъ за постоялый дворъ. Степанъ случайно познакомился съ нимъ, когда еще въ прежніе годы тутъ работывалъ, свелъ даже какую-то хмѣльную дружбу и не разъ, въ прежніе годы, вмѣстѣ съ нимъ бывалъ пьянъ. Въ этотъ разъ Степанъ крѣпился и держался; вскорѣ артель перешла на работу въ удѣльное село, и можетъ быть вся дружба ихъ тѣмъ бы и кончилась; но Степанъ остался работать и на зиму, потому что работа нашлась, и ему хотѣлось принести болѣе домой, утѣшить отца и дѣда и жениться. Тутъ подрядчикъ послалъ его на саняхъ, въ одну лошадку, забрать въ господскомъ селѣ какой-то оставленный тамъ плотничій приборъ.

Степанъ заѣхалъ переночевать къ своему Черноморцу и тутъ-то на досугѣ и на привольѣ, какъ гость, противу потчиванія не устоялъ. А хозяинъ поилъ его вечеркомъ съ особеннымъ усердіемъ и заставилъ признаться въ дружеской бесѣдѣ, что у него въ натѣльномъ бумажникѣ есть сотни двѣ заработанныхъ денегъ. Легли спать; гость на лавкѣ, подъ образомъ, а хозяинъ съ хозяйкой за перегородкой. Степанъ заснулъ, какъ легъ, но ему привидѣлся страшный сонъ: родной дѣдъ его, въ красной рубахѣ, съ сѣдыми какъ лунь волосами, пожелтѣвшею бородою, со страшными глазами и загорѣлою клѣтчатою какъ юфть

шеей, стоялъ передъ нимъ и хотѣлъ его зарѣзать, за то, что внукъ напился пьянъ. Степанъ проснулся и перекрестился; холодный потъ проступилъ у него по всему тѣлу. Хмѣль прошла, сонъ прошелъ, сердце стучало вслухъ, и Степанъ лежалъ цѣлый часъ, едва переводя духъ, едва смѣя вздохнуть.

Въ это время послышался ему легкій стукъ и шопотъ за перегородкой. Степанъ уставилъ въ потьмахъ глаза въ потолокъ и сталъ чутко вслушиваться: хозяйка упрашиваетъ и умаливаетъ хозяина о чемъ-то, а онъ ее сурово отталкиваетъ и приказываетъ вздуть огня. Она все свое; онъ сердится, грозитъ, но шопотомъ; наконецъ Степанъ слышитъ ясно, что рѣчь идетъ о душѣ его; хозяйка говоритъ: «родной ты мой, полно, покинь, не тронь его, Господь съ нимъ, мало-ль ты ужь на душу свою грѣха принялъ! ну за что ты его погубишь? побойся Бога хоть разъ, не тронь его...»

Степана дрожь проняла до мозговъ, однако онъ нащупалъ напередъ всего топоръ свой, сѣлъ, кашлянувъ громко, и спросилъ: «Хозяинъ, никакъ и ты не спишь! Вели пожалуйста огонька вздуть, да разочтемся за сѣнцо, мнѣ чай ужь ѣхать пора». Хозяинъ далъ хозяйкѣ своей тихомолкомъ зуботычину, велѣлъ вздуть огня — и она на этотъ разъ послушалась, — вышелъ къ Степану, сказалъ: «что такъ рано, еще никакъ первые пѣтухи только-что замолкли?» — Да такъ, — отвѣчалъ Степанъ, — лошадь видно ужь отдохнула, такъ пора собираться; хозяинъ наказывалъ пораньше поспѣть на мѣсто.

Степанъ разсчитался, съ оглядкой одѣлся, заткнулъ топоръ за поясъ, пошелъ закладывать своего мерина, сказавъ, что зайдетъ еще, но вмѣсто того самъ растворилъ ворота, перекрестился, сѣлъ и поѣхалъ: хмѣль, говоритъ, всю изъ головы выбило и слѣду не осталось.

Выѣхавъ за село, Степанъ пустилъ лошадь свою шагомъ и сталъ думать о томъ, что съ нимъ случилось. Не вѣрилось ему какъ-то, чтобы Черноморецъ посягнулъ на такое дѣло, и Степанъ уже почти готовъ былъ подумать, что все-де это ему во снѣ привидѣлось, либо съ похмѣлья померещилось. Въ это время другія мужицкія сани догоняли рысью Степана, и кто-то кричалъ: «сворачивай, не видишь что-ли?» Степанъ оглянулся въ потьмахъ, голосъ показался ему что-то знакомый. «Сворачивай, тебѣ говорятъ!» — Тѣсно, что-ли тебѣ по дорогѣ, — отвѣчалъ Степанъ, — объѣзжай стороной. — Наѣхавшій сзади своротилъ въ это время въ сторону, и въ ту же минуту вдругъ ударилъ изо всей силы, Степана цѣпомъ. Къ счастію, Степанъ, напуганный уже впередъ знакомымъ голосомъ и подозрѣвавшій что-то недоброе, не спускалъ глазъ съ своего попутчика и успѣлъ уклониться нѣсколько отъ взмаха цѣпа, такъ что ударъ пришелся только въ грядку саней и частію по ляшкѣ. Въ одинъ мигъ Степанъ выхватилъ цѣпъ изъ рукъ убійцы, взмахнулъ и ударилъ его самого изо всей силы въ самое темя; тотъ свалился въ сани и уже не вставалъ. Лошади сбили между тѣмъ одна другую къ краю дороги и остановились, упершись головами въ сосну.

Степанъ перекрестился, слѣзъ съ саней, оглянулся кругóмъ — все тихо и пусто; подошелъ къ недругу своему, посмотрѣлъ ему въ лицо—онъ, онъ и есть, Черноморецъ, хозяинъ постоялаго двора! Итакъ, отпустивъ плотника изъ дому и опасаясь, можетъ быть, что онъ слышалъ ночной разговоръ и донесетъ теперь о зломъ умыслѣ хозяина, этотъ рѣшился нагнать его дорóгой, хотѣлъ заставить своротить, чтобы отвлечь вниманіе его отъ себя, и наѣздомъ думалъ сбить его ударомъ цѣпа и обобрать. Судьба посудила иначе; хозяинъ лежалъ убитый передъ плотникомъ, а этотъ, радуясь своему спасенію, не зналъ куда однакоже со страху дѣваться; онъ убилъ человѣка, будетъ сидѣть въ острогѣ, судиться, словомъ — пропадетъ.

Подумавъ немного, Степанъ, опасаясь всѣхъ страшныхъ послѣдствій, рѣшился скрыть и утаить этотъ случай. Онъ нашелъ въ сторонѣ отъ дорóги порядочный оврагъ, заваленный снѣгомъ и хворостомъ. Очистивъ одно мѣсто, онъ свалилъ туда убитаго, прикрылъ его опять хворостомъ и снѣгомъ, а лошадь оборотилъ назадъ и пустилъ по дорогѣ домой. Затѣмъ, Степанъ самъ сѣлъ и поѣхалъ.

Ночь, темно, холодно, пусто и глухо. Задумался Степанъ нашъ и разсудилъ наконецъ, что всему-де этому виновата проклятая чарка. «Она меня было замертво спать уложила и кабы не сонъ, кабы не приснился мнѣ грозный дѣдъ, такъ видно и не вставать бы мнѣ съ лавки. Охъ, чуть ли не правду онъ говорилъ мнѣ, что наживу я горе неизбывное — чуть ли это не оно приспѣло. Не стану пить; вотъ

ей-богу, Господь видитъ не стану»; снялъ шапку и перекрестился, на небо глядя, и заплакалъ.

Пріѣхалъ Степанъ въ господскую деревню, куда его послали, принялъ что слѣдовало, переночевалъ, накормилъ лошадь и пустился опять назадъ. Страшно такъ было ему подъѣзжать къ селу, гдѣ совершилось надъ нимъ прошлою ночью столько недобраго; сердце стучало, и Степанъ нашъ робко оглядывался. Время опять было подъ вечеръ; улицы на селѣ тихи, почти пусты, кой-гдѣ баба съ ведрами, мальчишка въ братнемъ тулупишкѣ, въ отцовской шапкѣ; огонекъ кой-гдѣ уже свѣтится въ о́кна, словомъ — все мирно, тихо и привѣтливо. Стали мучить Степана и страхъ, и любопытство; дай-де узнаю, что теперь дѣлается въ домѣ моего Черноморца. Подъѣзжаетъ — и тутъ все тихо, огонекъ видѣнъ въ окно, ворота заперты. Степанъ подумалъ — да и стукнулъ кнутовищемъ въ ставень. «Что надо?» — Покормить лошаденку пустите. — Хозяйка отворила волоковое окно и высу́нула голову: «Нѣтъ, Господь съ вами, проситесь къ другимъ, нельзя». — Что такъ? вѣдь вы же, бывало, пускали? — «Пускаемъ, да теперь нельзя; хозяина нѣтъ до́ма, а безъ себя пускать не велитъ: да это ты, Степанъ! я было тебя и не узнала! Нѣтъ, кормилецъ, безъ хозяина пустить не смѣю, собачиться будетъ, ей-богу; ступай вонъ наискосокъ, къ Федулову, тамъ пустятъ, и сѣнцо у нихъ свое, хорошее».

— Да гдѣ же у тебя хозяинъ? вѣдь вчера до́ма былъ, какъ я ночью уѣхалъ?

— А кто его знаетъ, куда его занесло; вслѣдъ таки за

тобою, Господь знаетъ зачѣмъ, заложилъ сани, сѣлъ да и поѣхалъ,— а еще и деньги при немъ были въ бумажникѣ, рублей со сто никакъ; видно, запилъ что ли гдѣ-нибудь; диво только, что лошадь сама домой пришла — аль онъ хмѣльной упустилъ ее — пришла одна, и мѣсто знать въ соломѣ на саняхъ, гдѣ сидѣлъ, а его, вишь, нѣтъ.

Степанъ простился, сѣлъ и поѣхалъ, а хозяйка затворила окно. «Стало быть», подумалъ онъ, «никто ничего не знаетъ. Да и что же мнѣ, вправду, чего бояться? я выѣхалъ себѣ напередъ, пріѣхалъ — хоть розыскивай, сколько хочешь,— въ Родимиловку, никуда не заѣзжалъ, никто не видалъ — онъ выѣхалъ послѣ меня — съ чего же тутъ кто на меня скажетъ? никто и не подумаетъ, и подумать нельзя никакъ. — Однако сто рублевъ, говоритъ хозяйка, при немъ были, а кому они достанутся? никому; тутъ и пропадутъ, сгніютъ, какъ весна придетъ, только и будетъ проку. А нашъ братъ, рабочій человѣкъ, бьется цѣлое лѣто изо ста рублевъ... эко диво, подумаешь, сто рублевъ! и никто за нихъ спасиба не скажетъ, никому впрокъ не пойдутъ, такъ себѣ изведутся. Ну, да не до нихъ теперь; благо только самого Господь отъ бѣды помиловалъ».

Поровнявшись дорогой со знакомымъ ему мѣстомъ, Степанъ сталъ, однако же, думать и размышлять объ этихъ деньгахъ посмѣлѣе; «какъ таки проѣхать, не взять денегъ, не поднять ихъ съ земли, когда тутъ валяются? никого я этимъ не обижу, ни у кого добра не отымаю — просто само навернулось.» Степанъ остановился, прислушался на всѣ стороны — все тихо, глухо, никого нѣтъ. Онъ спустился

въ оврагъ, отыскалъ покойника, нашелъ при немъ тѣльной бумажникъ, вынулъ изъ него деньги и поторопился опять въ путь. «Завтра сосчитаю», подумалъ онъ, «не уйдутъ они теперь. Я этого не искалъ, за этимъ дѣломъ не ходилъ, онъ самъ навязался. Это мнѣ, стало быть, Богъ послалъ. Нѣдругъ посягалъ на мою голову — Господь ему судилъ самому подвернуться мнѣ подъ руку; не перелобань я его, ужь онъ бы меня доѣхалъ. Грѣхъ на его душѣ, не на моей; онъ самъ себя извелъ своею рукою. Прости, Господи, согрѣшенія наши!» Перекрестился и поѣхалъ.

Степанъ до этого времени помнилъ страшный зарокъ дѣда, соблазнившись одинъ только разъ на ночлегѣ у покойнаго Черноморца, зарекся и закаялся послѣ того вдвое и въ ротъ не бралъ хмѣльнаго; но, пріѣхавъ къ хозяину въ Родимиловку, съ деньгами, которымъ никто не зналъ счета, онъ обождалъ еще съ недѣльку, увѣрился, что никто его ни въ чемъ не подозрѣваетъ, что о Черноморцѣ и слуха нѣтъ другаго, какъ поѣхалъ-де да и пропалъ безъ вѣсти, а лошадь одна воротилась, — и сталъ опять, съ горя ли, съ радости ль, погуливать. Куда правдиво слово это, что недобрыя деньги впрокъ нейдутъ, и что легко добытую копѣйку вѣтромъ изъ мошны выно́ситъ!

Пошелъ да пошелъ гулять Степанъ — подъ конецъ и удержу не стало, хозяинъ его прогналъ и вычелъ еще съ него за прогулъ, по цѣлковому на день; пошелъ онъ къ другому, пропивъ всё, до нитки, а домой еще и гроша не послалъ. Пришелъ Покровъ, пришли и Кузьминки, насталъ и послѣдній срокъ — и новый хозяинъ,

разсчитавшись со Степаномъ, отпустилъ его, сказавъ: «Не ходи ко мнѣ, братъ, на тотъ годъ — руки у тебя золотыя, да рыло поганое. Такихъ мнѣ не надо. Господь съ тобой».

Степанъ нашелъ себѣ у новаго хозяина новаго товарища, съ которымъ нерѣдко вмѣстѣ гулялъ; а какъ имъ домой было сотни полторы верстъ по пути, такъ они согласились идти вмѣстѣ. Люди съ людьми ушли, а эти двое, какъ поплоше, такъ остались вмѣстѣ — имъ совѣстно было къ людямъ приставать.

Теперь стала Степана и совѣсть мучить, сталъ грѣхъ ото сна, отъ ѣды отбивать, и страхъ — что́ дѣдъ скажетъ, что отецъ? Степану стало жарко. Взяло его раздумье — какъ я покажусь имъ безъ денегъ? что принесу домой? А еще и Черноморца ободралъ, какъ разбойникъ какой, — и все не впрокъ пошло! Въ это время подошелъ товарищъ его, Гришка, да и присталъ къ нему — чего-де носъ повѣсилъ, какое горе мыкаешь? Степанъ признался, что страшно безъ денегъ до́ма показаться. «Эко горе!» сказалъ Гришка, «да вѣдь у меня, парень, та же бѣда: заварилъ пива, да сталась нетека; рублевъ осьмнадцать всего домой принесу, а надо бы, говорятъ люди, сотни полторы, либо двѣ. Но слушай, Степанъ, не пойдемъ мы съ тобой по домамъ; что тамъ дѣлать? не слыхали мы побранки, что ли?»

— И радъ бы нейти,—отвѣчалъ Степанъ,—такъ у меня паспортъ только годовой, о Пасху срокъ.

— Такъ гдѣ же еще у тебя Пасха, перекрестись! Вотъ тутъ подрядчикъ не за горой, набираетъ народу въ Казань;

отпиши домой, что ушелъ въ Казань на зимнюю работу, тебѣ паспортъ выправятъ, вышлютъ, а ты зимой заработаешь сотенку; лѣто само по себѣ пойдетъ — вотъ на осень опять будешь съ деньгами; тогда съ Богомъ домой.

Степанъ нашъ словно свѣтъ увидѣлъ; съ радости позвалъ Гришку въ питейный, чтобъ почествовать его за доброе слово, да кстати ужь запить и радость, и горе.

Такимъ образомъ они, порядившись съ подрядчикомъ, отправились въ Казань артелью, но, не доходя до города, отстали отъ своихъ; надо было вѣдь опять приготовиться къ работѣ; «тамъ ужь пить не дадутъ, разсудили они вдвоемъ, такъ дай тутъ вволю на прощанье погуляемъ, да и закаемся.»

Подгуляли товарищи вмѣстѣ, да подгулявши, какъ водится, сперва обнимались, цѣловались, а послѣ — невѣдомо какъ и съ чего — поссорились, побранились, да немного было и подрались. Народъ радъ такому случаю; гдѣ два дурака дерутся, тамъ ужь навѣрное третій смотритъ. На эту пору, однако жь, нашлись, видно, люди поумнѣе, развели драчуновъ, и они снова помирились, поцѣловались и пошли вмѣстѣ рука въ руку въ городъ. Кто видѣлъ ихъ, сказывали, что они шли мирно и толковали только одинъ другому, какъ найти и доспроситься въ Казани своей артели и подрядчика: каждый изъ нихъ поочередно недоумѣвалъ, какъ это сдѣлать, и каждый опять толковалъ и объяснялъ, что языкъ до Кіева доведетъ, не только до подрядчика.

Видно, долго перекачивались они съ одного края дороги

на другой; сумерки, а наконецъ ночь захватила ихъ еще на пути. Сѣли товарищи наши вмѣстѣ отдыхать подъ кустами надъ Волгой, снова стали считаться, — видно, хмѣль еще не прошла, — снова побранились и подрались, можетъ статься, — кто ихъ знаетъ, что у нихъ тутъ было, — да только конецъ вышелъ изъ плохихъ плохой, такой, что крещеному человѣку и вымолвить страшно.

Степанъ просыпается на зарѣ; оглядывается кругомъ — онъ одинъ; вокругъ по косогору кусты, надъ головою по горѣ пролегаетъ почтовая дорога, и тройка пронеслась съ колокольчикомъ, пыль за нею разостлалась — и все замолкло; у ногъ раздольная Волга, широкая, глубокая, тихая какъ зеркало, — а товарища нѣтъ.

Стало обдавать Степана изъ-за плечъ поперемѣнно то варомъ, то студеной водой; началъ онъ вспоминать что-то недоброе — глянулъ себѣ подъ-ноги, на траву, увидѣлъ кровь и вдругъ вспомнилъ все, будто молніею освѣтило передъ нимъ потемки страшной прошлой ночи. Степанъ зарыдалъ, закрылъ лицо руками и долго сидѣлъ такъ, охалъ и стоналъ, какъ тяжко-больной.

«Суди меня Богъ и Государь», сказалъ онъ наконецъ, «видно, по грѣхамъ моимъ и земля меня не снесетъ больше; за что я сгубилъ Гришку сердечнаго? Черноморецъ — ну, тому туда и дорога, прости Господи; онъ на мою голову посягалъ; а этотъ чѣмъ виноватъ? Хмѣль ошибла его, какъ и меня, вотъ и все; а сколько разъ подносилъ онъ мнѣ, какъ товарищу, за послѣднюю гривну свою? охъ, тяжело, не снесу я этого грѣха! не слушалъ я дѣдовскаго закля-

тія; знать, разсудилъ меня съ нимъ Господь: вотъ оно когда пришло, неизбывное горе — не роди мать сыра-земля, пропащій я человѣкъ!»

Степанъ всталъ, положилъ еще на прощанье земной поклонъ и поцѣловалъ подъ собою мать сыру-землю; перекрестился и взмолился въ слезахъ: «Гриша, не попомни ты мнѣ хоть на томъ свѣтѣ грѣха моего», и пошелъ въ городъ.

Натощакъ, какъ былъ — не до ѣды ему теперь стало — явился Степанъ въ земскій судъ. «Рано», говорятъ, «еще никого нѣтъ.» Степанъ сѣлъ у воротъ, гдѣ было человѣкъ съ десятокъ разныхъ просителей, и сталъ дожидаться. «Мое не уйдетъ отъ меня», подумалъ онъ, «вотъ эти бѣдняки стоятъ всякій за своей нуждой, всякій добивается чего нибудь, ищетъ за неправду, за обиду, а я ищу на себя. Суди Богъ и Государь, а ужо прощай, свѣтъ бѣлый, родимая сторонушка, не видать меня тебѣ!

«Вотъ, отецъ сердечный прочилъ за меня Мáрью, Машку Сошникову — вотъ тебѣ й женихъ! дѣвка она хоть куда, нечего сказать, да ужь я ей не подстать. Ахъ ты, головушка моя бѣдная, въ омутъ какой усадила! Правду, видно, дѣдъ родимый сказывалъ, что «коли пить не бросишь, Степанъ, такъ Господь попутаетъ тебя, покараетъ, и наживешь ты себѣ горе неизбывное!» Охъ, оно и есть, оно и привалило теперь, неизбывное, вѣковѣчное, даже до преставленія свѣта!»

Засѣдатель пришелъ — а въ тѣ поры этихъ становыхъ и слыхомъ еще не слыхать было — и Степанъ къ нему, да

въ ноги. Засѣдателю надоѣли, видно, просители, и много ихъ за день у него въ ногахъ переваляется, онъ было и мимо; такъ Степанъ слово и дѣло вымолвилъ: «прикажите», говоритъ, «взять меня, я ночью человѣка убилъ»; такъ всѣ и ахнули, и самъ засѣдатель оборотился, поглядѣлъ на него, позвалъ въ присутствіе, поставилъ караулъ и сталъ допрашивать: какъ зовутъ, кто таковъ, чей, откуда, зачѣмъ, гдѣ паспортъ, который годъ, какой вѣры, былъ ли у св. причастія, а тамъ ужь дошелъ до дѣла.

«Степанъ я, Воропаевъ, по отцѣ Артемьевъ, годовъ видно будетъ мнѣ чуть ли не 24, Владимірской губерніи и уѣзда, села Большаго Озера, православный, у причастія бывалъ каждогодно. Пошелъ я съ товарищемъ Григорьемъ изъ такого-то села за такимъ-то дѣломъ, въ городъ; на дорогу выпили мы оба; шумѣло въ головѣ у меня, шумѣло видно и у него; пошли мы считаться, что вишь онъ взялъ у меня полтинникъ, да отдавалъ по гривнѣ и по двѣ, а я считалъ еще за нимъ пятнадцать копеекъ — раза два бранились и чуть до драки не доходило — все, батюшка, хмѣль виновата, ничего не помню, хоть убей. Тутъ сѣли мы отдыхать, да полудновали; опять я его попрекнулъ, опять сталъ считаться, онъ обидѣлъ меня, маркитантомъ обругалъ, я его — охъ, и вымолвить страшно!—я его обухомъ въ голову и ударилъ; на грѣхъ и топоръ этотъ случился подъ рукой. Гриша мой покатился, кровь носомъ полилась ручьемъ; я испугался — а мы сидѣли подъ кустами, недалечко отъ берегу. — Испугавшись, я его стащилъ на берегъ, сунулъ въ воду, да и спустилъ его по рѣкѣ; такъ

и сгубилъ я душеньку занапрасно. Видитъ Богъ, батюшка, все одна хмѣль виновата, ничего знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. Что было, все сказалъ; теперь, что Господу Богу угодно, то и станется надо мной; что слѣдуетъ по закону, то и дѣлать прикажите — и прикажите заковать».

Все это записали, приправили какъ надо было по закону и земскому обычаю и Воропаева, связавъ, повели заковывать въ кандалы. Самъ подавалъ и держалъ Степанъ и руки и ноги: «не жаль, говоритъ, ихъ было — туда и дорога, лишь бы скорѣе конецъ, лишь бы не дали сгнить въ острогѣ».

Отвели и туда его; тамъ караульные осмотрѣли да ощупали кандалы, все ли исправно, обыскали кругомъ арестанта, приняли бумагу и расписались; разсыльный взялъ опять книгу свою подъ мышку и, не взглянувъ больше на Степана, ушелъ. Дѣло привычное.

Въ первый разъ попалъ Степанъ въ такое мѣсто — въ первый разъ, можетъ статься, и заслужилъ это. И темно, и сыро, и душно, и грязно. Товарищи такіе, что страшно на нихъ и взглянуть: кто въ лохмотьяхъ, заросъ волосами, космы мотаются; кто исхудалъ подъ замкомъ, лица не знать, голосу нѣтъ человѣческаго; а кто еще свѣжъ и дюжъ, да глядитъ такимъ головорѣзомъ, что и въ острогѣ страшно рядомъ съ нимъ лечь. Было тутъ, какъ и всюду въ такихъ мѣстахъ, человѣка три Ивана непомнящихъ; мужики здоровые, бороды чуть не по поясъ, а говорятъ: Иваномъ зовутъ меня, а опричь того ничего не знаю и не помню; ни гдѣ родился, ни гдѣ выросъ, ни отца, ни ма-

тери, ни родины — ничего не знаю, — Иванъ да Иванъ — такъ весь вѣкъ и шатался. Одинъ сидѣлъ съ женой, съ дѣтьми, и тотъ тоже говоритъ, и жена ничего не помнитъ, не знаетъ, только знаетъ, что зовутъ ее Марьей. «Господи Боже мой, подумалъ Степанъ, когда обжился немного въ тюрьмѣ, «что за диво, что за Иванъ да Марья, и выросли, и состарѣлись, а знать не знаютъ, вѣдать не вѣдаютъ: кто они и чьи они?»

Разговорился разъ какъ-то Иванъ непомнящій со Степаномъ, и сталъ уговаривать его вмѣстѣ бѣжать. Степанъ отказался: «я» говоритъ «своей волей попалъ» — Какъ такъ? — «Да вотъ такъ и такъ.» — Дуракъ же ты, видно былъ, дуракъ и есть; да ты отопрись и теперь; улики нѣтъ и ничего тебѣ не сдѣлаютъ. — Но Степанъ, сколько ни скучалъ, сколько ни томился въ заключеніи, остался при своемъ показаніи и ожидалъ спокойно участи своей.

Между тѣмъ дѣло все шло своимъ чередомъ; водили Степана раза по два въ недѣлю въ судъ, все снова доспрашивались, добирались — нѣтъ концовъ больше никакихъ, все одно и то же. Дознались, какой такой былъ товарищъ его, Гришка, разослали повсюду объявленія, не найдется ли гдѣ — выждали отовсюду отвѣты, что нигдѣ такого человѣка на жительствѣ не оказалось, и покончивъ наконецъ всѣ розыски, какъ уже съ того свѣта справокъ навести было не можно, присудили учинить надъ Степаномъ, по собственному сознанію его, по закону, и сослать его въ каторгу.

Пошло однако же дѣло это своимъ порядкомъ, еще изъ

уѣзднаго суда въ уголовную палату — и тамъ его въ однѣ сутки не порѣшили; однакоже добрались наконецъ и до него, нашли, что все исправно — утвердили рѣшеніе суда, только осталось прокурору отмѣтить: *читалъ*, да губернатору утвердить приговоръ, скрѣпивъ его по листамъ, какъ приказано закономъ.

Прокуроръ былъ человѣкъ добрый, а пуще всего смирный, противъ правды не хаживалъ, однакоже и за дѣло гораздъ не стаивалъ, не надрывался ни надъ чѣмъ. Много за годъ разныхъ приговоровъ черезъ его руки проходило, тысячи двѣ, да кромѣ того тысячъ подъ тридцать рѣшеній и постановленій изъ губернскаго правленія и палатъ. Все шло у него гладко и ровно, бумага не кричитъ, что ни напиши на ней; такъ она и была нашему смирному прокурору товарищъ сподручный; прочтетъ не прочтетъ, а напишетъ съ поля: *читалъ* — и концы въ воду.

Однако приговоры уголовной палаты старикъ читывалъ, по крайней мѣрѣ отъ слова: приказали; прочелъ и дѣло нашего Степана, да и положилъ его — не Степана то есть, который все еще сидѣлъ въ острогѣ, а дѣло — положилъ на ломберный столъ, покрытый цвѣтной салфеткой. На столъ этотъ попадали у него всѣ дѣла съ обстоятельствами сомнительными, по коимъ собирался онъ когда нибудь на досугѣ подумать.

Долго прокуроръ нашъ, расхаживая по комнатѣ или лежа на диванѣ съ трубкой, косился на сомнительный столъ свой и въ особенности на приговоръ, по которому приходилось наказать человѣка за то только, что онъ самъ

сознался въ своемъ преступленіи, на которое не было никакихъ уликъ. «Оно конечно такъ», думалъ про себя прокуроръ, «тѣло унесло по Волгѣ. Волга широка, и глубока и длинна — коли его и примывало гдѣ нибудь къ берегу, такъ мужики такую бѣду отъ себя ночью шестами спроваживали; и ничего нѣтъ мудренаго, что тѣла нигдѣ не отыскали. Да не знаю почему, а дѣло кажется мнѣ сомнительнымъ; приговоръ незаконный; кажется, будто на этомъ нельзя основать приговора. Надо справиться хорошенько въ 15-мъ томѣ». Подумавъ такъ, прокуроръ покосится бывало опять на столикъ свой, да и задремлетъ, либо, смотря по времени, надѣнетъ сюртукъ да отправится на вистъ.

Между тѣмъ время шло: напоминаетъ секретарь одинъ разъ прокурору объ этомъ дѣлѣ, напоминаетъ и въ другой и въ третій — завтра да завтра, и вмѣсто трехъ дней, давно прошли три недѣли, а приговоръ не просмотрѣнъ. Наконецъ пристали къ прокурору плотнѣе, заторопили его не на шутку и говорятъ, что мы-де въ вѣдомостяхъ о нерѣшенныхъ арестантскихъ дѣлахъ покажемъ это дѣло за вами.

Только-что собрался было прокуроръ нашъ, скрѣпивъ сердце, подмахнуть приговоръ, чтобы кончить дѣло мирно, безъ шуму, какъ самъ предсѣдатель уголовной палаты прикатилъ подъ прокурорское крыльцо, вошелъ и сталъ, поздоровавшись, разсказывать такія чудеса, что прокуроръ отъ удивленія подъ конецъ сложилъ молча руки, запустивъ накрѣпко пальцы въ пальцы, и только пожималъ плечами.

«Въ памяти ли у васъ дѣло», такъ началъ предсѣдатель, «дѣло Степана Воропаева, который, по собственному сознанію своему, убилъ товарища своего на Сухомъ оврагѣ? Ну, такъ вообразите же, покойникъ-то живъ!! Да, живъ, либо самъ нечистый влѣзъ въ шкуру его, да въ ней и ходитъ! Вчера бурлаки, или плотники что-ли какіе-то, взбунтовались у привольнаго кабака, подняли такой шумъ, что весь городъ сбѣжался. Что же? Да признали они, сударь, того самаго плотника, котораго Воропаевъ прошлою осенью убилъ. Пристали къ нему, кто-де ты таковъ, откуда взялся? Я, говоритъ, вотъ такой-то Григорій, ходилъ въ это лѣто за Волгу, а теперь пробираюсь домой да зашелъ по пути выпить; въ этомъ, говоритъ, я виноватъ. — «Да вѣдь тебя прошлаго лѣта убили?» — Нѣтъ, Господь миловалъ, покуда терпитъ еще грѣхамъ нашимъ — живемъ. — «Да ты со Степаномъ Воропаевымъ знался?» — Какъ же, знался; лѣтось мы съ нимъ работали вмѣстѣ вотъ тамъ-то и за нимъ еще моихъ 15 копѣекъ осталось. — «Ну, а вмѣстѣ съ нимъ вы лѣтось въ Казани были?» — Нѣтъ, маленько не дошли, разстались. — «Такъ вѣдь тутъ-то онъ тебя и уходилъ; онъ и въ острогѣ сидитъ, и скоро его ужь на кобылу поведутъ!» — Оборони Господь; нѣтъ, этого не было; мы, признаться, оба хмѣльны были, такъ и повздорили, выпито было у насъ на полтинникъ — я, вишь, съ него еще правилъ пятнадцать копѣекъ, а онъ ихъ на мнѣ считаетъ; извѣстное дѣло, хмѣльной разумъ. Такъ мы сѣли было отдохнуть, ночь насъ захватила, тутъ я опять приступилъ къ нему, да по шеѣ его и ударилъ; онъ меня и самъ хватилъ, и рыло разбилъ

мнѣ, я и бросилъ его, умылся на берегу, да и пошелъ самъ по себѣ, а его покинулъ. Онъ, видно, отяжелѣлъ больно, да тутъ же и уснулъ. Больше я его не видалъ и слыхомъ немъ не слыхалъ.

Предсѣдатель съ прокуроромъ подивились такому дивному случаю; прокуроръ радовался, что не помѣтилъ еще приговора, и стали толковать о другихъ дѣлахъ: о шести въ сюрахъ и проч.

Между тѣмъ Гришку съ такимъ показаніемъ отправили въ земскій судъ, оттуда въ уѣздный, тамъ къ дѣлу, въ уголовную палату, а оттуда ужь вмѣстѣ съ дѣломъ и со Степаномъ опять назадъ, для пополненія слѣдствія. Сколько ни допытывались, ни отъ Гришки, ни отъ Степана другаго не узнали; а на очной ставкѣ Степанъ крестился, вздыхалъ отъ страха, глядя на Григорія, считалъ его выходцемъ съ того свѣта, и говорилъ: «власть ваша, что хотите, то и дѣлайте надо мною, а я его убилъ». А Гришка уличалъ его, что онъ вретъ; пересказывалъ ему, припоминалъ, по приказанію суда, все, какъ что у нихъ было; а Степанъ, нѣмѣя и цѣпенѣя отъ страху, не понималъ ничего, ровно одурѣлъ, хлопалъ глазами, вздыхалъ и оставался при своемъ показаніи; «больше, говоритъ, ничего не знаю.»

Дѣло, разумѣется, кончилось тѣмъ, что освидѣтельствовали Степана, не сумасшедшій ли онъ, а послѣ сказали ему дурака, за то, что онъ надѣлалъ только пустой тревоги, да и велѣли убираться на всѣ четыре стороны.

Хоть я и не совсѣмъ знаю, какъ все это объяснить, но

кажется, что Степанъ, поссорившись и подравшись хмѣльной и на яву, видѣлъ во снѣ, будто убилъ товарища, и видѣлъ такъ живо, что греза показалась ему правдой. Можетъ быть, тутъ подѣйствовало и воспоминаніе о невольномъ убійствѣ Степана, въ собственную защиту свою, которое осталось навсегда нераскрытымъ. Не нашедши спросонья подлѣ себя товарища, который ушелъ ночью, ничего ему не сказавши, да увидавъ еще на травѣ или на песку у берега слѣды крови,—Степанъ и вовсе смутился, увѣряя себя, что все это не сонъ, а явь, пошелъ да самъ на себя и донесъ. Страхъ довершилъ эту несчастную увѣренность, и ложное убѣжденіе заступило мѣсто истины. Но когда объявили Степану положительно, что онъ свободенъ и притомъ не убійца, то бѣднякъ залился слезами и сказалъ: «Нѣтъ, ужь, видно, мнѣ такъ на роду написано: судьбы не минуешь! Вяжите жь меня опять, я еще другаго человѣка убилъ...» Но ему не дали договорить, а зажали ротъ и выпроводили вонъ, приказавъ убираться. Никто ему не вѣрилъ, а всѣ считали помѣшаннымъ, хоть господа доктора и дали свидѣтельство, что онъ въ полномъ и здравомъ умѣ.

Долго не могъ онъ опамятоваться послѣ такой продѣлки; долго ходилъ ровно безъ ума, покуда наконецъ Гришка, приставая къ нему безъ всякаго успѣха цѣлыя сутки, чтобы имъ вмѣстѣ запить горе,—успѣлъ, наконецъ, кой-какъ убѣдить его, что онъ несетъ дичь. Тогда только Степанъ вздохнулъ свободно, перекрестился вольной рукой, вспомнилъ все прошлое — и подумалъ о будущемъ. Зелено вино, это

продажное горе, опротивѣло ему до того, что онъ въ жизнь свою не могъ вынести и духу его. Переставъ пить, Степанъ Воропаевъ вышелъ человѣкомъ, и не только заработывалъ, что слѣдовало, на себя и на своихъ, но лѣтъ черезъ восемь завелъ свою артель, ходилъ въ синей сибиркѣ съ саженью въ рукахъ; отецъ и дѣдъ его благословили, и Машка Сошникова, нынѣ Воропаева, готовила ему, между тѣмъ какъ онъ былъ на работѣ, щи да кашу, а въ постъ калинники, превкусные и превонючіе калиновые пироги.

МИЧМАНЪ ПОЦѢЛУЕВЪ,

или

ЖИВУЧИ ОГЛЯДЫВАЙСЯ.

ГЛАВА I.

ПЕРВАЯ ВСТРѢЧА.

Въ Полтавѣ, на площади передъ памятникомъ, стоялъ вечернею порой молоденькій офицеръ въ дорожномъ сюртукѣ на распашку и въ фуражкѣ. Онъ выставилъ одну ногу впередъ, окидывалъ бѣглымъ взоромъ памятникъ, то улыбался, то слегка призадумывался, и наконецъ, перемѣнивъ ногу и поднявъ правую руку, сказалъ вдохновенно:

И надъ тобой, о мирная Полтава,
Петра съ Россіей вѣковая слава
На полѣ ратномъ бранью разразилась,
И воспаривъ орломъ...

и замолчалъ, споткнувшись о четвертую риѳму, которая какъ-то въ эту минуту не далася.

Между тѣмъ, другой офицеръ, худощавый, рослый, смуг-

лый, съ небольшою просѣдью, на тридцатомъ году, мѣрными шагами подходилъ на площади къ тому же памятнику и остановился передъ нимъ, по другую сторону. И это былъ проѣзжій, но сюртукъ его застегнутъ на всѣ крючки и пуговицы; запыленные мишурные эполеты на плечахъ; пѣнковая трубка на трехцвѣтномъ, черномъ, ранжевомъ и бѣломъ шнурѣ на шеѣ; дворянская медаль на груди, дорожная сабля на отлетѣ и пистолетъ за портупеей. Выставивъ ногу на цѣлый аршинъ впередъ, скрестивъ руки, вперилъ онъ неподвижный, испытующій взоръ въ подножіе памятника, и думное, угрюмое чело избороздилось морщинами. Давно небритая, рѣдкая борода ощетинилась ёжикомъ, голова наклонилась впередъ; брови грозно насупились, губы сомкнулись — и во всей осанкѣ этого пѣхотнаго офицера, съ огромнымъ палашемъ при бедрѣ, было что-то рыцарское, причудливое. Простоявъ нѣсколько минутъ истуканомъ, онъ вдругъ пошелъ вокругъ памятника и встрѣтился съ молоденькимъ мичманомъ, который въ это время также снялся съ якоря и хотѣлъ было подо всѣми парусами безъ брасопки обогнуть памятникъ кругомъ. Сошедшись вплоть, мичманъ отскочилъ проворно вправо; — рыцарь, желая постороніться, также шагнулъ въ сторону, и оба опять столкнулись. Затѣмъ, каждый снова посторонился, желая дать мѣсто встрѣчному, оба вдругъ приняли въ противную сторону и опять сошлись грудь съ грудью и лицомъ къ лицу. Рыцарь поднялъ голову, и блѣдное, обозначенное рѣзкими чертами, лицо выражало какую-то разсѣянность и недоумѣніе. Мичманокъ робко пробормоталъ:

«виноватъ», взялся подъ козырекъ, а въ голубыхъ очахъ его и кругломъ молочномъ личикѣ и въ улыбкѣ написано было, что ему хотѣлось захохотать; но онъ смирился передъ испытующимъ взоромъ новаго Баярда.

Я позабылъ сказать, что у мичмана борода была также небритая, потому что еще не выросла.

ГЛАВА II.

ПРІЕМНАЯ ЗАЛА.

Обошедши памятникъ вокругъ, поэтъ и рыцарь, мечъ и цѣвница, встрѣтились снова, по другую сторону, но были уже оба гораздо осторожнѣе и, раскланявшись съ какою-то принужденною вѣжливостію, очистили другъ-другу дорогу — никто однако же не проходилъ; а когда, послѣ нѣсколькихъ секундъ томительнаго ожиданія, оба, насмотрѣвшись видно вдоволь на памятникъ, вдругъ поворотили въ сторону, то увертливый мичманъ съ трудомъ избѣгнулъ новаго карамболя и оробѣлъ, встрѣтивъ угрюмо-грозный взоръ рыцаря. Но наружность обманчива: рыцарь сказалъ нѣсколько привѣтливыхъ словъ, поэтъ ухватился за нихъ — оказалось, что оба они намѣрены были идти за подорожною, которую вытребовали у нихъ, для засвидѣтельствованія, въ канцелярію генералъ-губернатора; и новые попутчики, знакомые незнакомцы, отправились вмѣстѣ черезъ площадь въ домъ главнаго мѣстнаго начальника.

Взошедъ на крыльцо, поворотили они въ первыя двери налѣво, въ пустыя сѣни, въ которыхъ не было даже и

лавки, не только стула, и рыцарь твердымъ шагомъ прошелъ сѣни и отворилъ вторую дверь, которая, какъ оказалось, вела въ канцелярію. Писецъ вскочилъ съ мѣста, спросилъ: «что вамъ угодно?» а между тѣмъ отворилъ дверь въ сѣни и понуждалъ офицера, двусмысленнымъ словомъ: *пожалуйте* и движеніемъ руки, выйти. Рыцарь вытянулся, сталъ твердою ногою и сказалъ, что пришелъ за подорожною. «Сейчасъ, извольте обождать», продолжалъ писецъ, указывая на растворенную дверь; но какъ кавалеръ бронзовой медали насупилъ брови и не трогался съ мѣста, то перочинный художникъ объявилъ ему безъ обиняковъ, что постороннимъ людямъ, какого бы званія они ни были, запрещается входить въ канцелярію, въ этотъ таинственный храмъ безъименнаго божества, жреца или жрицы — и указалъ на прибитый къ дверямъ листъ, за подписью генералъ-губернатора. Рыцарь прочиталъ, пожалъ плечами и вышелъ въ пустопорожнія сѣни; взглянулъ раздраженнымъ перуномъ на молодаго пѣснопѣвца, скрестилъ руки и принялся ходить взадъ и впередъ, саженными шагами, при чемъ далъ палашу своему полную свободу чертить на разгулѣ по полу, стучать и брянчать, сколько ему было угодно. Мичманъ прислонился къ окну, перекинулъ ноги на-крестъ, сложилъ руки и принялся разсматривать — носокъ своего сапога.

Прошло добрыхъ полчаса — мичманъ поглядывалъ украдкой то на дверь, то на грознаго рыцаря, когда этотъ оборачивался къ нему снова; а рыцарь шагалъ всѣ чаще и смѣлѣе, громче и шире, и вытаскивалъ повременамъ изъ

кармана за претолстую цѣпочку, съ большими рѣзными печатями, старообразные часы, поглядывалъ на нихъ, прикладывалъ къ уху и, казалось, очень удивлялся, что они стояли, хотя это въ сущности было для него не новость. Наконецъ, потерявъ терпѣнье, кавалеръ подошелъ къ дверямъ канцеляріи, разставилъ ноги вилами, подбоченился лѣвою рукою, въ которой держалъ фуражку, а правою, согнувъ указательный палецъ и оборотивъ его колѣнцемъ къ двери, стукнулъ мѣрными ударами трижды. Писецъ или чиновникъ выглянулъ, придерживая дверь рукою, заткнувъ перо за ухо, спросилъ опять: «что вамъ угодно?» и на требованіе рыцаря отдать подорожную, отвѣчалъ снова: «сейчасъ, извольте обождать», а затѣмъ притворилъ дверь и исчезъ.

Рыцарь оборотился къ окну и уставилъ такой грозный, отчаянный взоръ на пѣту, что этотъ привсталъ и вытянулся, и опустилъ руки, не зная, что сказать. «Пойдемте къ генералъ-губернатору»,— сказалъ рыцарь, протянувъ дружески руку. Обрадованный мичманъ подалъ ему робко свою, и оба вмѣстѣ, рыцарь какъ наставникъ, пѣта какъ послушное дитя, котораго ведутъ за руку, отправились было по лѣстницѣ, ведущей вверхъ — но кавалеръ вдругъ раздумалъ, грозно взглянулъ на попутчика своего, выпустилъ руку его и воротился. Къ счастью, вскорѣ вынесли обѣ подорожныя — герой палаша принялъ свою, окинувъ подателя съ ногъ до головы взглядомъ, который, казалось, могъ измолоть и измочалить живаго человѣка въ лыки — а мичманъ, въ смиреніи своемъ, покосился робко на грознаго

попутчика своего — оба вышли, раскланялись, и каждый отправился туда, гдѣ остановился.

ГЛАВА III.

САМОЗВАНЦЫ.

Мичманъ нашъ ѣхалъ, ѣхалъ, и ему вздумалось на одной станціи заглянуть, отъ нечего дѣлать, въ разгонную книгу. Съ удивленіемъ разсматривалъ онъ послѣднюю, еще незасохшую записку, въ которой говорилось: «отъ Могилева до Николаева, киштымскаго пѣхотнаго полка штабсъ-капитану, барону Аделю фонъ-Адельсбургу» — и прочее. Какой же это Адельсбургъ, — подумалъ мичманъ, — и откуда онъ взялся, когда смотритель вносилъ это при мнѣ и съ моей подорожной? Мичманъ оборотился съ вопросомъ этимъ къ смотрителю, и этотъ, глянувъ въ книжку, смотрѣлъ на мичмана, какъ будто не понимая его, и наконецъ сказалъ:—«да вѣдь это вы, сударь, это ваша подорожная». Мичманъ, въ свою очередь, не понималъ смотрителя и взглянулъ раза два поперемѣнно на него и на книжку, развернулъ наконецъ подорожную свою, которую держалъ въ рукахъ, и прочиталъ: «отъ Могилева до Николаева, киштымскаго пѣхотнаго полка штабсъ-капитану, барону Аделю фонъ-Адельсбургу»; перечитывалъ это нѣсколько разъ, и все не понималъ ни слова, хотя подорожная написана и напечатана была очень четко. Смотритель догадался въ чемъ дѣло и спросилъ:—«что вы, сударь, обмѣнили что ли гдѣ подорожную свою?»

— Видно, обмѣнилъ, — отвѣчалъ піита, — и видно, обмѣнилъ еще въ Полтавѣ.

— Да ваша же на чье имя была? — продолжалъ съ участіемъ смотритель.

— На мое, — сказалъ мичманъ, — на мое собственное.

— Да вы же кто изволите быть такіе?

— Да я 28-го флотскаго экипажа мичманъ Поцѣлуевъ, и ѣду изъ Петербурга, а не изъ Могилева.

— Ну, — продолжалъ смотритель, — такъ вы свою подорожную нагоните, вотъ съ полчасика тому не больше, по ней проѣхалъ, такъ, смугловатъ изъ себя, поджарый офицеръ, высокій, и страхъ сердито глядитъ.

Мичманъ взглянулъ въ книгу и увидѣлъ, что дѣйствительно передъ нимъ проѣхалъ изъ Петербурга въ Николаевъ мичманъ Поцѣлуевъ. Онъ собрался на-скоро, сѣлъ и поскакалъ въ догонку за своей подорожной.

ГЛАВА IV.

ПОПУТЧИКИ.

Прибывъ на слѣдующую станцію, Поцѣлуевъ къ удивленію своему услышалъ, что тёзка не тёзка, а однопрозванецъ его, не проѣзжалъ. Нашъ мичманъ не зналъ, что подумать, куда дѣвался баронъ съ чужою подорожною — и не успѣлъ еще покончить думы и рѣшить окончательно, что это все равно, и что ему также точно можно доѣхать до Николаева съ баронскою, какъ и съ своею подорожною, какъ услышалъ колокольчикъ, а вслѣдъ затѣмъ увидѣлъ

и самого барона, въ палашѣ, съ медалькой, съ трубкой, въ какой-то вычурной фуражкѣ, съ лаковымъ околышемъ и подбородною цѣпочкой. Баронъ встрѣтилъ нашего мичмана насупившись и надувшись и заострив неподвижныя очи, какъ стрѣлы — и Поцѣлуевъ не зналъ какъ подойти, какъ приступиться, чтобы не раздражить грознаго Губерта. Слово-за-слово, дѣло объяснилось, рыцарь удивлялся этому странному, непонятному случаю до чрезвычайности, но былъ такъ снисходителенъ, что свалилъ всю вину на чистописателя, обмѣнялся подорожною и, узнавъ при этомъ случаѣ, что нашелъ попутчика и сверхъ того еще земляка, предложилъ ему ѣхать вмѣстѣ. Поцѣлуевъ трусилъ немного, правду сказать, и гораздо охотнѣе поѣхалъ бы одинъ; попутчикъ его глядѣлъ какимъ-то неразгаданнымъ звѣремъ, и неопытный мичманъ не понималъ вовсе, что значитъ это грозное лицо и осанка при учтивомъ и мягкомъ обращеніи героя; но отказаться — у него не стало духу; поэтому попутчики сѣли и поѣхали вмѣстѣ, на одной перекладной.

ГЛАВА V.

МИЧМАНЪ ПОЦѢЛУЕВЪ.

Смарагдъ Петровичъ Поцѣлуевъ былъ сынъ помѣщика Екатеринославской губерніи, воспитывался въ морскомъ корпусѣ, былъ выпущенъ мичманомъ, назначенъ въ черноморскій флотъ и ѣхалъ теперь въ Николаевъ.

Смарагдъ былъ мальчикъ съ хорошими способностями, съ доброю, дѣтскою душой, родился подъ благодѣтельнымъ

вліяніемъ созвѣздія лиры и былъ поэтъ. Такъ по крайней мѣрѣ ему самому казалось; хотя сущность дѣла заключалась въ томъ, что Смарагдъ вступилъ въ тѣ лѣта и отношенія, когда всякій человѣкъ съ душой и чувствомъ дѣлается поэтомъ, и стиховъ не пишетъ только тотъ развѣ, кому своенравная природа положительно отказала въ способности расположить готовую мысль мѣрными стопами и закончить ихъ риѳмою. Въ самомъ дѣлѣ, есть люди, которые рѣшительно не въ состояніи написать самое будничное четырехстишіе. Они пишутъ прозою хорошо, цвѣтисто, въ прозѣ ихъ есть поэзія, но они не въ состояніи сложить четыре стиха, сколько бы ни бились. Если такихъ людей по справедливости называютъ, въ этомъ отношеніи, бездарными, то Смарагдъ Петровичъ былъ юноша даровитый; онъ писалъ стишки, несмотря на недавнее упражненіе свое въ искусствѣ этомъ и малую опытность, довольно складно и свободно, даже нерѣдко наобумъ, вдругъ, но — геній его былъ слабосиленъ; это была обыкновенно одна только вспышка, и начатое стихотвореніе оставалось недоконченнымъ. Начать стихотвореніе было ему легко, во всякое время, почти не стоило труда; но продолженіе и конецъ всегда откладывались на неизвѣстный срокъ и очень рѣдко исполнялись.

Поцѣлуевъ получилъ дома отъ матери, нѣмки, благонравное воспитаніе, мечтательное воображеніе, курчавый волосъ, бѣлое лицо и голубые глаза; отъ отца, русскаго, беззаботный нравъ, неглупую голову, довольно широкія плечи и крѣпкое здоровье. На тринадцатомъ году, по-

ступилъ онъ въ морской корпусъ, пробылъ тамъ пять лѣтъ, и теперь, съ эполетами, шитымъ воротникомъ и саблею на черномъ лаковомъ ремнѣ черезъ плечо, увидѣлъ свѣтъ.

Поцѣлуевъ, какъ острый, но скромный и чулый мальчикъ, который выросъ дома безъ розогъ, этой необходимой принадлежности и приправы всякаго порядочнаго воспитанія, — Поцѣлуевъ понялъ, въ первые три дня своего пребыванія въ корпусѣ, что здѣсь всего вѣрнѣе и безопаснѣе какъ можно менѣе попадаться на глаза, не пускаться никогда и ни въ какія дѣтскія игры, а сидѣть, прижавшись къ стѣнкѣ, тише воды, ниже травы. Такъ было въ то время въ корпусѣ; я знаю, что теперь совсѣмъ иное; я говорю о давнопрошедшемъ. Тогда сѣкли съ большимъ прилежаніемъ каждаго, кто попадался въ такъ называемой шалости, то есть кого заставали за какимъ бы то ни было занятіемъ, кромѣ учебныхъ тетрадей; а кто не попадался, того оставляли въ покоѣ, разсуждая весьма основательно, что нельзя же пороть всѣхъ поголовно; дежурный барабанщикъ и такъ уже не успѣвалъ припасать розогъ.

Но Поцѣлуевъ по крайней мѣрѣ обогатилъ въ корпусѣ знаніе русскаго языка; и вотъ вамъ цѣлый списокъ новыхъ словъ, принятыхъ и понятныхъ въ морскомъ корпусѣ; читайте и отгадывайте: бадяга, бадяжка, бадяжникъ, новичокъ, нетлѣнный, копчинка, старикъ, старина, стариковатъ, кутило, огуряться, огуряло *), отказной, отчаянный,

*) Огуряться вошло въ корпусѣ въ употребленіе отъ новгородцевъ, поступавшихъ туда прежде въ большомъ числѣ. Мы встрѣ-

чугунный, жила, жилить, отжилить, прижать, прижимало, сводить, свести, обморочить, втереть очки, живыя очки, распечь, распекало, отдутъ, накласть горячихъ, на фартъ, на ваганъ, на шарапъ, фурочкой, фурка, и прочее, и прочее. Поцѣлуевъ, кромѣ того, научился повиноваться безпрекословно всякому старику, то есть старому кадету, въ широкихъ, собственныхъ брюкахъ, въ затяжкѣ, въ портупейкѣ, или ременномъ, лаковомъ поясочкѣ съ мѣднымъ наборомъ и левиками. Въ классахъ было много кадетъ и каждымъ заниматься учителямъ недосужно; поэтому они требовали по крайней мѣрѣ, чтобы кадеты сидѣли тихо, не шумѣли и не кричали; и смирный поневолѣ считался прилежнымъ.

Итакъ, собственно кадетская жизнь оставила въ Поцѣлуевѣ немного поэтическихъ воспоминаній; но какъ онъ былъ за то счастливъ и доволенъ, когда *вышелъ* въ гардемарины и пошелъ, на плоскодонномъ фрегатѣ, до Красной Горки! Тяжеленько мальчику сидѣть изъ году въ годъ за рѣшеткой — неминуемая участь всѣхъ тѣхъ, у которыхъ нѣтъ родныхъ или сострадательныхъ знакомыхъ въ столицѣ — и какъ отрадно за то подышать воздухомъ на свободѣ, быть гребцомъ, марсовымъ, понимать и слушать команду вахтеннаго и чувствовать себя полезнымъ и нужнымъ на своемъ мѣстѣ — отдать брамъ-фалъ, взять кли-

---

чаемъ слово это также у Посошкова (новгородца); оно означаетъ: отдѣлываться отъ обязанности своей, не исполнять ея, не быть на-лицо, гдѣ должно.

веръ на гитовы, по командѣ, или даже спустить за-словомъ флагъ или гюйсъ,—а наконецъ, объѣдаться изюмомъ, орѣхами, пряниками, всегдашнею морскою провизіею гардемариновъ, ходить въ рабочей, измаранной смолою, рубахѣ, подпоясавшись портупейкой, въ фуражкѣ на ремешкѣ или цѣпочкѣ, чтобы ея не сорвало вѣтромъ; купаться, кататься на гребномъ суднѣ, не ходить цѣлый мѣсяцъ въ классы и двигать руками и ногами на свободѣ — о, это знаетъ только тотъ, кто это испыталъ.

Но послѣ одного раздольнаго и разгульнаго мѣсяца, слѣдуетъ одиннадцать однообразныхъ, затворническихъ. Малодушіе опять беретъ верхъ и, засыпая и просыпаясь, трехъкампанецъ досчитывается уже по пальцамъ дня или по крайней мѣрѣ мѣсяца выпуска. Легко сказать, вольный казакъ — офицеръ, самъ себѣ господинъ, въ эполетахъ — съ саблей — никто не смѣетъ высѣчь — легко сказать, а воля ваша, голова закружится отъ этого внезапнаго перехода. Право немудрено, что многіе, въ неистовой, необузданной радости своей, кидаются въ крайности и распоряжаются, какъ новые, неопытные хозяева, свободою своею довольно дурно. Нашего Поцѣлуева въ этомъ упрекнуть было нельзя; онъ опьянѣлъ, когда надѣлъ мундиръ и пошелъ свободно, безъ провожатаго по Невскому проспекту, и юнкера передъ нимъ вытягивались и весь міръ передъ душою его раскрылся на всѣ четыре стороны; но упоительныя мечты унесли его въ одну только, самую невинную крайность: онъ видѣлъ все, весь міръ въ радужныхъ цвѣтахъ и розовой оболочкѣ и сдѣлался, на первый случай, поэтомъ.

ГЛАВА VI.

БАРОНЪ АДЕЛЬ-ФОНЪ-АДЕЛЬСБУРГЪ.

Баронъ Губертъ Рудольфовичъ Адель-фонъ-Адельсбургъ былъ сынъ — отца своего, барона древней германской отрасли, коего предки съ давнихъ временъ поселились въ Курляндіи. Старый баронъ, въ молодыхъ лѣтахъ еще, разорился, утратилъ довольно значительное имѣніе свое въ залогѣ по виннымъ откупамъ сосѣднихъ губерній, и перенесъ жестокій ударъ этотъ съ твердостію; но онъ не хотѣлъ уже оставаться на родинѣ и служить у равныхъ или даже низшихъ, по роду и родословной, и пошелъ управлять имѣніемъ русскаго боярина, въ южную Россію. Тамъ жилъ онъ спокойно, покинувъ всѣ затѣи и высокомѣрные замыслы, и женился въ Екатеринославской губерніи на внучкѣ сербскаго выходца Екатерининскихъ временъ, взялъ въ приданое бѣдную деревеньку, зажилъ было опять кой-какъ помѣщикомъ, но вскорѣ умеръ.

Вотъ почему нашъ кавалеръ бронзовой медали былъ баронъ, прозывался Адель-фонъ-Адельсбургъ, и между тѣмъ, по матери, исповѣдывалъ православный законъ, а по мѣсту рожденія, по воспитанію, природному языку, былъ русскій, и еще екатеринославецъ, то есть землякъ Смарагда. Смуглое, сухощавое лицо, рѣзкія черты, каріе, острые глаза, изобличали въ немъ кровь южныхъ славянъ; высокій ростъ, величавая, медленная поступь и рыцарскій духъ — нѣмецкаго барона древняго поколѣнія. Онъ служилъ, какъ всѣ бароны

у насъ, въ гвардіи, а какъ украинецъ въ конницѣ; былъ переведенъ за поединокъ въ армейскій пѣхотный полкъ тѣмъ же чиномъ, перенесъ этотъ ударъ судьбы, по примѣру отца, безъ ропота, безъ жалобы, признавалъ судъ надъ собою справедливымъ, но и себя въ дѣлѣ своемъ правымъ. Гербъ Губерта изображалъ: на бѣломъ полѣ обнаженный мечъ и кровавую полосу поперекъ; по четыремъ угламъ цвѣли: роза, незабудка, лилія и фіалка. Истолковавъ и пояснивъ по произволу гербъ этотъ, баронъ признавалъ себя и мечъ свой урожденнымъ защитникомъ невинности, бѣлаго цвѣта, и видѣлъ въ четырехъ цвѣткахъ иносказательное изображеніе пола, которому считалъ святымъ долгомъ посвятить всю жизнь свою. Это былъ баснословный рыцарь среднихъ вѣковъ, ожившій и олицетворившійся дивнымъ образомъ въ прозаическія времена паркетнаго шарканья мундировъ съ перехватами и лайковыхъ бальныхъ перчатокъ, — переродившійся, обрусѣвшій нѣмецкій баронъ, Баярдъ въ русскомъ пѣхотномъ мундирѣ, словомъ — *рыцарь* Губертъ Рудольфовичъ! Въ первый разъ слышу, что рыцарей тоже зовутъ по имени и отчеству. Онъ носилъ на груди мѣдное, древнее распятіе вершка въ четыре; никогда не ходилъ безъ дворянской медали; на часовой цѣпочкѣ его висѣли три гербовыя печати разныхъ величинъ; на указательномъ лѣвомъ пальцѣ былъ у него огромный перстень съ рѣзнымъ гербовымъ камнемъ; въ фуражкѣ, въ шляпѣ его и на всѣхъ вещахъ, даже на визитныхъ карточкахъ — былъ наклеенъ отпечатанный съ мѣдной дощечки гербъ его съ раскинутою повязкой, на

которой можно было прочитать: *Мой мечъ твой щитъ*. Лишившись, съ переводомъ въ пѣхоту, сабли и шпоръ, о чемъ очень скорбѣлъ, баронъ носилъ, покрайней мѣрѣ въ дорогѣ, огромный, рыцарскій мечъ, передѣланный по наружности на кирасирскій палашъ, а привѣшивалъ его всегда къ поперечней портупеѣ золоченою цѣпью. Со шлемомъ предковъ своихъ, парою разрозненныхъ налокотниковъ и круглымъ щитомъ, на которомъ былъ когда-то расписанъ красками гербъ бароновъ, и, съ серебряными, древними запястьями праматери своей, Гертруды, Адель-фонъ Адельсбургъ никогда не разставался, а таскалъ вещи эти на всѣхъ домашнихъ походахъ и стоянкахъ съ собою, и развѣшивалъ ихъ на каждомъ привалѣ и ночлегѣ надъ изголовьемъ своего ложа.

При всѣхъ странностяхъ этихъ, баронъ былъ добрѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ, былъ готовъ принести себя на жертву всякому доброму дѣлу; но на бѣду принимался за это обыкновенно очень не впопадъ и не кстати, не въ ладъ и не въ мѣру, и, вмѣсто одолженія, надоѣдалъ и докучалъ всякому. Поединокъ, напримѣръ, за который онъ былъ исключенъ изъ гвардіи, завязался вотъ съ какого повода: прогуливаясь вечеромъ, поздно, по Невскому, благородный баронъ встрѣтилъ офицера, который заговаривалъ очень незастѣнчиво съ красавицею, слѣдуя за нею по пятамъ. Если бы баронъ сколько нибудь удостоилъ разобрать дѣло пообстоятельнѣе, то онъ бы безъ труда убѣдился, что здѣсь каждый третій человѣкъ былъ лишній, что бесѣдующіе вовсе не нуждались въ третейскомъ судѣ; но ба-

ронъ былъ тогда особенно въ духѣ видѣть угнетенную невинность, разгорячennное воображеніе его подстрекнуло, онъ ввязался въ дѣло, объявилъ себя заступникомъ прекраснаго пола; и наконецъ, не могши вынести обиднаго отвѣта встрѣчнаго фоблаза, принужденъ былъ его вызвать. Такимъ образомъ попадался баронъ уже не въ первый разъ; но, какъ рыцарь кровью и душой, не исправлялся, не измѣнялся, а продолжалъ спасать и воевать и заступаться тамъ, гдѣ его никто объ этомъ не просилъ, и называлъ людей, которымъ надоѣдалъ и докучалъ, неблагодарными.

Этотъ нравъ обозначался въ наружности, въ станѣ и во всѣхъ пріемахъ барона, вырѣзался на замѣчательномъ лицѣ его, какъ семейный гербъ, служившій вывѣскою и клеймомъ книжки барона, фуражки, пистолета, собаки, даже стола и стула, если только барону случалось обзаводиться ими, какъ своею собственностью. Баронъ былъ тощъ и сухъ, расхаживалъ какъ на ходуляхъ, подбоченивался, задумывался и забывался на каждомъ шагу, Богъ вѣсть о чемъ; удивлялся всему, подозрѣвалъ всѣхъ и все, морщился, хмурился, сводилъ и разводилъ сербскія брови свои, и вѣчно глядѣлъ грознымъ перуномъ, между тѣмъ какъ онъ, если его ничто не раздражало, былъ кротокъ какъ дитя и добръ какъ пятнадцати-лѣтняя дѣвица. Но гдѣ только касались слабой его струны, рыцарства, тамъ онъ былъ неукротимъ какъ левъ и готовъ былъ стрѣляться десять разъ въ одинъ день.

ГЛАВА VII.

ПОРТОВЫЙ ЗАШТАТНЫЙ ГОРОДЪ.

Сидя рядомъ на тележкѣ, попутчики наши почти во всю дорогу молчали; баронъ дичился, а мичманъ не смѣлъ его безпокоить. Послѣдній однакоже узналъ отъ молчаливаго, угрюмаго товарища своего, что этотъ посланъ въ Николаевъ съ двумя пѣхотными унтеръ-офицерами, которые ѣдутъ сзади, для обученія матросовъ фронтовой службѣ. Маловажное, повидимому, обстоятельство это еще болѣе напугало робкаго мичмана — фронтовая служба была въ то время во флотѣ — не приманкою, и еще особенно для черноморскаго флота. Старые, заслуженные офицеры, съ трудомъ только привыкали къ вытяжкѣ и выправкѣ; а молодежь, глядя на нихъ, также кряхтѣла и пугалась премудрости этой. Нынѣ уже не тѣ времена: офицеры и матросы наши показали подъ Варною, и особенно подъ Ананою, что они хорошіе пушкари и бомбардиры и смѣлые охотники на приступѣ. — Но въ то время было не то: сказываютъ, что когда баронъ нашъ, для перваго опыта, вздумалъ сдѣлать, по обязанности своей, одному экипажу батальонное ученье, а въ послѣднемъ взводѣ не оказалось даже двухъ человѣкъ, которые бы шли въ ногу, да сверхъ того еще штыки надъ головами крестились и цѣплялись одинъ за другой, и благородный баронъ, въ неукротимомъ порывѣ отчаянья, заломивъ руки, воскликнулъ: «Боже мой! это что за народъ?» то крайній матросъ въ задней шеренгѣ,

порываясь попасть въ ногу и стоптавъ уже тремъ передовымъ своимъ всѣ закаблучья, придерживая лѣвою рукою прикладъ ружья, снялъ фуражку и, оборотившись къ вопрошающему, отвѣчалъ съ незлобною улыбкой: «мы съ глубокой пристани, Очаковскіе, ваше благородіе!»

— «Боже мой, подумалъ кавалеръ бронзовой медали, — какъ времена перемѣнчивы! Очаковскіе! Какое громкое, звучное, славное имя! Очаковскіе! такъ изводится родъ человѣческій; и возьмите названіе, какое угодно, самое громкое и блестящее встарину, славное, великое, напримѣръ названіе какого нибудь знаменитаго, неприступнаго замка, и назовите нынѣшнихъ жителей его этимъ именемъ, и припомните въ тоже время старину, — не горькая ли это насмѣшка надъ славою прадѣдовъ?»

Такъ мечталъ и заносился угрюмый Губертъ Рудольфовичъ, глядя съ презрѣніемъ на нынѣшнее недостойное ополченіе Очакова, между тѣмъ какъ попутчикъ его ходилъ по богохранимому граду Николаеву, распахнувши врата сердца своего настежь, и приговаривая встрѣчному и поперечному, съ улыбкою на устахъ и глазахъ: «милости просимъ!» Смарагдъ былъ неутомимъ въ визитахъ, въ засвидѣтельствованіи почтенія, искалъ знакомства въ каждомъ домѣ, гдѣ было болѣе трехъ оконъ на улицу; принималъ каждое свѣтское приглашеніе: «прошу быть знакомымъ» — въ буквальномъ смыслѣ, и являлся, беззаботно и безпечно, на другой же день, къ обѣду или къ вечеру; а если въ домѣ была милая хозяйка, или еще, упаси Богъ, дочери, то Смарагдъ обживался тамъ въ сутки, а много въ

двои, и былъ какъ дома, хотя и сохранялъ всегда врожденную живому нраву его скромную говорливость, вѣжливость и услужливость. Его любили вездѣ; пожилые семейные люди, считая себя всѣ нѣкоторымъ образомъ начальниками его, потому что всѣ они были морскаго вѣдомства, говорили ему привѣтливо: ты; маменьки этого города — въ то время по крайности — очень любили проворныхъ и обязательныхъ молодчиковъ, всегда готовыхъ на любую услугу; а Смарагдъ безотказно готовъ былъ сбѣгать десять разъ на день съ образчикомъ ленты или тафты въ лавки; попросить компаснаго мастера, чтобы велѣлъ починить расклепавшіяся ножницы; конопатнаго, чтобы, при вставкѣ двойныхъ рамъ, прислалъ законопатить о́кна; фонарнаго, чтобы починить въ каретѣ фонари; а столярнаго, чтобы велѣлъ надѣлать сотни двѣ вилочекъ, для пришпильки бѣлья, которое безъ этого срываетъ вѣтромъ и валяетъ на-земь. Смарагдъ съ особеннымъ жаромъ схватывалъ шапку свою и пристегивалъ кортикъ, не длиннѣе, если не короче, вязальнаго прутка, когда просили его проводить семейство вечеромъ на прогулку, на знаменитый бульваръ, позади Адмиральской улицы, надъ Ингуломъ; не отходилъ ни на мигъ, если просили его состоять при свитѣ, по случаю какого-нибудь сборища, напримѣръ спуска корабля, или театральнаго представленія штурманскихъ учениковъ — поняньчиться къ платкомъ или шалью, и прочее.

Баронъ былъ совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ къ обществу. Онъ соблюдалъ все, что хорошій тонъ можетъ требовать отъ степеннаго человѣка, но онъ не искалъ ни-

какого знокомства, рѣдко бывалъ въ домахъ, хотя и не пропускалъ ни одного собранія большаго общества. Онъ никогда не улыбался, глядѣлъ зорко, пристально, сложивъ руки, подбирался и вытягивался, подходя къ барынѣ или дѣвицѣ, и отпускалъ обдуманныя, изысканныя и тяжеловатыя учтивости. На него смотрѣли всѣ какъ на чудака; предубѣжденіе урожденныхъ флотскихъ и портовыхъ противу армейщины здѣсь ничѣмъ не опровергалось; дѣвицы пугались угрюмой молчаливости барона, когда онъ молчалъ, и боялись еще болѣе важнаго, рѣшительнаго и привлекающаго общее вниманіе приступа барона, когда онъ, расшаркиваясь, подходилъ, какъ на театрѣ, и отпускалъ затверженныя пошлости. Я не говорю, чтобы барышни наши въ то время слушали охотно однѣ только не пошлыя учтивости; но по крайней мѣрѣ — есть на все сноровка и ухватка, образъ и способъ; можно сказать одно и то же, одни и тѣ же слова, такъ и этакъ; можно шепнуть что-нибудь во время кадрили — не французской, которой тогда еще не довезли до заштатныхъ городовъ, а простой — можно шепнуть что-нибудь, какъ будто оно вырвалось у васъ невольно, невзначай, и можно, или лучше сказать, *нельзя* возгласить то же самое во всеуслышаніе, расшаркавшись, какъ голландскій пѣтухъ, и обративъ смѣшными пріемами своими на себя и на того, съ кѣмъ говоришь, вниманіе цѣлаго общества. Но отказные враги барона были — всѣ тѣ, которые принадлежали не къ первой шеренгѣ общества, хотя они и втирались туда частенько, и даже похитили въ ней, нѣкоторые по крайней мѣрѣ, право граж-

данства. Это были именно мастеровые чины адмиралтейства: блоковый, канатный, парусный, столярный, конопатный, фонарный, токарный, котельный, шлюпочный, компасный, и Богъ вѣсть какіе еще мастера́, впрочемъ люди въ чинахъ, въ почетныхъ званіяхъ — и главное — съ весьма хорошимъ достаткомъ. Жалованье ихъ было, конечно, очень небольшое; но они жили хорошо, иные довольно открыто, давали за дочерьми весьма порядочное приданое, на худой конецъ домикъ съ полнымъ хозяйствомъ; кромѣ того, въ цѣломъ городѣ рѣшительно не было мастероваго, за исключеніемъ имъ подчиненныхъ; и особенно не было такого, который сдѣлалъ бы все, что угодно, даромъ. — Всѣ эти обстоятельства, согласитесь сами, уже достаточны для того, чтобы дать господамъ этимъ почетное мѣсто въ обществѣ, которое безъ нихъ не можетъ существовать.

Но баронъ Адель фонъ-Адельсбургъ не признавалъ ихъ годными и достойными; онъ строго держался своего рыцарства и дворянства, и если благородство, въ смыслѣ чести, было для него неотъемлемою принадлежностію дворянина, то баронъ, наоборотъ, не всѣхъ благородныхъ, то есть чиновныхъ, признавалъ дворянами; по крайней мѣрѣ онъ мысленно исключилъ изъ бархатной книги своей всѣхъ господъ фонарныхъ, котельныхъ и компасныхъ — и чрезвычайно ловко и тонко, съ разборчивостію кавалера лучшаго свѣта и тона, умѣлъ показать это даже и въ обращеніи съ женскимъ поломъ мастероваго сословія.

ГЛАВА VIII.

ПОЦѢЛУЕВЪ ИЩЕТЪ ПОЦѢЛУЯ.

Баронъ полюбилъ на бѣду молодаго, откровеннаго земляка своего; сверхъ того, это было первое и сначала почти единственное его знакомство въ Николаевѣ — и благородный баронъ, воображая себя всегда защитникомъ и заступникомъ слабѣйшаго и почитая Поцѣлуева ребенкомъ, которому еще нуженъ дядька, предложилъ ему жить вмѣстѣ. Бѣдный Смарагдъ, не смѣя противиться волѣ своего грознаго, по виду, опекуна, потупилъ очи и — согласился. Смарагдъ вздыхалъ объ этомъ уже напередъ, вспоминая, изъ второй части теоріи и практики кораблевожденія Гамалѣя, что повитый лаврами мечъ *) и беззаботная лира, хотя и находятся въ одномъ и томъ же сѣверномъ полушаріи, но раздѣлены на вѣки вѣчные млечнымъ путемъ и сойтись не могутъ, развѣ быть свѣтопреставленію. Несмотря на это, они наняли общую квартиру, неподалеку вѣчнозеленой казенной аптеки, и расположились жить вмѣстѣ. Почему не такъ: были же времена, когда мечъ и цѣвница живали какъ братъ съ сестрой!

Баронъ далъ Смарагду лучшую изъ трехъ комнатокъ, и самъ занялъ какой-то получуланъ, въ которомъ господствовали всегдашніе сумерки. Щитъ, мечъ, гербъ, огромныя перчатки, даже наручни прабабушки, заняли обычное

*) Friedrichs Ehre. Пусть его и не будетъ въ Гамалѣѣ, все равно.

свое мѣсто. Смарагдъ убралъ комнату свою тремя трубками, кисетомъ, шляпой, — клеенчатаго чахла или кивера, тогда еще не было, — саблей, кортикомъ, десяткомъ учебныхъ и другихъ книгъ, гдѣ опять незабвенный Гамалѣй, обнявшій въ сочиненіи своемъ, первый и доселѣ еще одинъ, всѣ отрасли сложной мореходской науки, занималъ первое почетное мѣсто; кромѣ того, Смарагдъ вскорѣ обзавелся шести-струнной, итальянской гитарой, которая, со временъ сенявинскаго похода, у насъ, въ черноморскомъ флотѣ, во всеобщемъ употребленіи. Скажемъ правду: Смарагдъ, въ первое время, по крайней мѣрѣ, поглядывалъ иногда, и то только невзначай, на корешокъ своего Гамалѣя, а далѣе въ него не углублялся: вольность, свобода, своя воля, самъ себѣ господинъ — вотъ что текло теперь по жиламъ Смарагда и составляло всю жизненную полноту тѣла его, то, что врачи собственно называютъ turgor vitalis. Душа блаженствовала и мечтала, не заботясь ни о чемъ. Смарагдъ помнилъ и понималъ себя въ одномъ только этомъ смыслѣ; грудь его дышала свободно, душа купалась въ какомъ-то блаженствѣ; онъ былъ счастливъ, самъ не зная — чѣмъ и отъ чего; онъ жилъ со всегдашнею улыбкой на устахъ, съ какимъ-то отблескомъ самодовольствія въ голубыхъ глазахъ; словомъ — онъ жилъ, и жилъ впервые. На укромномъ столикѣ его лежали въ порядкѣ всѣ письменныя принадлежности, и по крайней мѣрѣ на двадцати лоскуткахъ сдѣлано было начало какого-нибудь пылкаго или очень чувствительнаго стихотворенія. Баронъ былъ для Смарагда добръ, предупредителенъ, но — несносенъ. Губертъ

Рудольфовичъ сдѣлался не только хозяйственнымъ и нравственнымъ опекуномъ своего неравнаго товарища, но требовалъ отчета почти во всѣхъ помышленіяхъ его, не только въ поступкахъ. Если доблестный баронъ не былъ на ученьѣ, то Поцѣлуевъ обыкновенно бѣжалъ изъ дому; отчетность эта затрудняла его со дня на день болѣе; а сухость, суровость, положительное направленіе всѣхъ помышленій барона приводили Смарагда Петровича въ совершенное отчаяніе. Къ этому присоединилась еще какая-то темная, безотчетная ненависть моряка къ учителю фронтовой службы, тѣмъ болѣе, что учитель этотъ вздумалъ давать ученику своему дома, на досугѣ, частные уроки ротнаго и батальоннаго ученья, отъ которыхъ отчаянный ученикъ бѣжалъ безъ оглядки въ первый ближайшій знакомый ему домъ.

Повѣсть наша происходила въ тѣ времена, когда благоденствовали еще хозяйственная, исполнительная и казначейская экспедиціи; когда жилъ-былъ и капитанъ надъ портомъ, именуемый обыкновенно за-просто *портовымъ;* когда было много совѣтниковъ, которымъ нынѣ уже ни слуху, ни духу. И первый, ближайшій домъ, куда бѣжалъ Смарагдъ, принадлежалъ одному изъ совѣтниковъ адмиралтейства, который жилъ открыто, не хуже самого капитана надъ портомъ, и умѣлъ при этомъ пользоваться еще и тѣмъ неоспоримымъ преимуществомъ надъ послѣднимъ, что выростилъ, выкормилъ и образовалъ, сколько обстоятельства позволяли, двухъ премилыхъ дочерей. Поцѣлуевъ былъ въ домѣ этомъ свой, влюблялся черезъ день то въ Надю, то въ Наташу, и любилъ ихъ поочередно — страстно и жарко,

до первой встрѣчи съ какой-либо иной очаровательной дѣвицей, которыхъ было, какъ всюду, такъ и въ Николаевѣ, довольно: потому что и здѣсь, какъ вездѣ, Поцѣлуевы съ братіею многаго съ дѣвицъ не спрашивали, и не заботились ни о чемъ, кромѣ пригоженькаго ихъ личика. Изящный же вкусъ николаевской молодежи вѣрно не уступалъ въ этомъ отношеніи ни въ чемъ вкусамъ иногороднымъ; помнится, по крайней мѣрѣ, что и въ то время уже о воспитанности и образованности дѣвушекъ разсуждали изрѣдка одни только родители; о качествахъ и способностяхъ умственныхъ и нравственныхъ толковать было приторно и пошло. У поэта нашего, у Смарагда, при новыхъ отношеніяхъ его, давно уже родилась мысль, съ которою онъ ложился, засыпа́лъ, няньчился во снѣ, просыпа́лся и носился весь день, до новаго сна. Поэтъ самъ видѣлъ, что ему поэзія какъ-то не совсѣмъ еще далась, что чего-то недостаетъ, не хватаетъ, и онъ искалъ причины этому не въ себѣ, а въ отношеніяхъ внѣшнихъ. Первое, убійственное для дара его обстоятельство, было сожительство съ несноснымъ' барономъ; «надобно, думалъ Смарагдъ, чѣмъ-нибудь перевѣсить это, забыться; мнѣ нуженъ толчекъ, искра, и тогда — я чувствую, что все во мнѣ задышитъ полымемъ, я напишу что-нибудь сильное, могучее, даровитое, самобытное». Искру эту и толчекъ, электрическій ударъ этотъ Смарагдъ нашелъ въ воображеніи своемъ и теперь ухаживалъ уже съ мѣсяцъ времени самъ около себя, не зная какъ бы справиться съ собою, настроить себя и заставить выполнить, осуществить на дѣлѣ столь

желанную мѣру. Что же, вы полагаете, поэтъ нашъ выдумалъ? Бездѣлицу: ему хотѣлось добыть, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, какимъ бы то ни было способомъ, одинъ только поцѣлуй миловидной дѣвицы, дѣвы, какъ онъ ее называлъ, а потомъ бѣжать домой безъ оглядки, запереться отъ докучливаго барона и просидѣть ночь напролетъ надъ самодарнымъ твореніемъ своимъ, излить всѣ чувства свои въ какомъ-нибудь подражаніи Нелединскому-Мелецкому, Мерзлякову, Дмитріеву, даже Карамзину, котораго стихотворенія, новостію языка своего, тогда еще невольно поражали и восхищали. Пушкина еще не было; я думаю, что онъ бы свелъ съ ума нашего героя.

Съ тѣхъ поръ, какъ въ мечтательной головѣ Поцѣлуева родилась эта, потрясающая душу, мысль, улыбка расцвѣла на немъ вдвое ярче прежняго, а таинственная поволока придала голубымъ очамъ его какое-то страдальческое выраженіе. Смѣшно и забавно было видѣть, какъ Смарагдъ выходилъ день-за-день на ловлю поцѣлуя и какъ недовѣрчивый и неотступный дядька его, баронъ, слѣдилъ за воспитанникомъ своимъ шагъ за шагомъ, какъ бралъ его въ допросъ послѣ каждой прогулки и отлучки, какъ при этомъ горячая кровь Смарагда била ключемъ въ лицо и въ голову, а Губертъ Рудольфовичъ Адель-фонъ-Адельсбургъ хмурилъ брови, морщилъ губы въ жемокъ, поглядывалъ изподлобья, сложивъ руки, наклонивъ голову, закидывая плеча и потомъ, тряхнувъ головою и оставивъ *скрытнаго* недоросля своего на короткое время въ покоѣ, отправлялся въ свою каморку ходить взадъ и впередъ, по четыре

шага въ оба конца, и думать: «что бы это такое значило? Поцѣлуевъ не тотъ, что былъ; тутъ что-нибудь да кроется; мальчикъ молодой, легкомысленный, онъ можетъ влюбиться, надѣлать шалостей, погубить всю будущность свою — надо за нимъ присматривать; мнѣ его жаль.»

ГЛАВА IX.

НЕЗВАННЫЙ СВИДѢТЕЛЬ.

Баронъ въ самомъ дѣлѣ сдержалъ слово свое: онъ слѣдилъ за Поцѣлуевымъ почти неотступно, рѣшился даже знакомиться безъ обиняковъ въ домахъ, гдѣ тотъ бывалъ; всѣмъ стало это кидаться въ глаза; таинственный баронъ честилъ посѣщеніями своими людей, которыхъ прежде не хотѣлъ и знать; приходилъ всегда слѣдомъ за воспитанникомъ своимъ, мало говорилъ, по всегдашнему обычаю своему, но много ломался, хмурился, всему удивлялся, и зорко поглядывалъ на Смарагда, который алѣлъ и блѣднѣлъ отъ испытующаго взора опекуна своего и не зналъ куда дѣваться. Стали толковать объ этомъ болѣе и болѣе, стали допрашивать и Поцѣлуева, но не могли добиться никакого толку и заключили, что баронъ чудакъ, какихъ немного на бѣломъ свѣтѣ! Барону до этого всего было мало нужды; онъ дѣлалъ свое: утромъ занимался ученьемъ, послѣ обѣда ученьемъ, а къ обѣду и вечеромъ отправлялся отыскивать по городу камрада своего, отъ котораго сталъ уже требовать довольно настойчиво, чтобы тотъ говорилъ ему напередъ,

гдѣ будетъ обѣдать, гдѣ проводить вечеръ. Баронъ слѣдилъ неутомимо и дослѣдился.

Смарагдъ, какъ мы сказали, спасаясь отъ домашнихъ уроковъ батальоннаго ученья, схватилъ фуражку свою съ бѣлою выпушкой и полетѣлъ къ совѣтнику. Это было вечеромъ, и притомъ зимою; Ивана Ефимовича не было дома, а дѣвушекъ Смарагдъ засталъ за фортепіано. Вышла и мать; подали чай, пошли въ гостиную и, безъ дальнѣйшихъ околичностей, унесли туда и свѣчи изъ залы, гдѣ сдѣлались почти потемки, покрайней мѣрѣ болѣе чѣмъ сумерки. Смѣялись, шутили, бесѣда шла бѣглая, веселая; Надя и Наташа были очаровательны, особенно Наташа, на которую Смарагдъ теперь преимущественно полагалъ надежды свои; зашелъ споръ о томъ, сколь высоко идетъ напѣвъ какой-то пѣсенки, потомъ заспорили, до которой нотки Надя возьметъ тоненькимъ голосочкомъ своимъ; Надя увѣряла, Смарагдъ не вѣрилъ, и она вскочила и пошла въ залу, сѣла беззаботно за фортепіано, на которое частію упадалъ свѣтъ изъ дверей гостиной, стала перебирать однимъ пальчикомъ кости, выше да выше, и слѣдила за ними, попадая, какъ Богъ и учитель велѣли, звонкимъ голоскомъ своимъ.

Смарагдъ сталъ за стулъ, шепталъ Надѣ на ухо, что выигралъ закладъ, что она не достаетъ чисто какое-то *фа* или *соль*, та оправдывалась, силилась достать выше и выше. — Надя была мила, спорила, но казалась уступчивой и незлопамятной — разговаривала промежуткомъ вслухъ, съ маменькой и сестрой, которыя сидѣли въ гостиной. — Сма-

рагдъ не могъ упустить этотъ благопріятный случай и — исполнилъ давнишній обѣтъ свой, совершилъ подвигъ, отъ котораго въ немъ кровь мгновенно остыла, сердце заболѣло, очи ослѣпли. Надя пискнула едва слышнымъ голосомъ, взяла громкій и звучный аккордъ и сказала вслухъ, повысивъ голосъ: «Наташа, поди сюда, споемъ что нибудь вмѣстѣ». Наташа вошла со свѣчею въ рукахъ — и баронъ Адель-фонъ-Адельсбургъ, стоя у дверей въ переднюю, противъ фортепіано, важно и величественно съ нею расшаркивался.

Надобно вамъ сказать, что баронъ вошелъ въ переднюю въ то самое время, когда чета наша, занятая громкимъ споромъ, выходила изъ гостиной въ залу; баронъ вошелъ потихоньку, притаился въ потьмахъ у самыхъ дверей; ему было очень любопытно увидѣть, что изъ всего этого будетъ и чѣмъ это *глазъ-на-глазъ* въ потьмахъ кончится; баронъ прислушивался во всѣ уши, присматривался во всѣ глаза — и, если не могъ услышать всего, что говорено было шопотомъ, по промежуткамъ отводнаго разговора вслухъ, то по крайности слышалъ и видѣлъ довольно, гораздо болѣе, чѣмъ кому нибудь, на мѣстѣ Смарагда и Нади, могло бы быть желательно.

ГЛАВА X.

НЕЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ.

Баронъ, посидѣвъ у Ивана Ефимовича въ домѣ съ полчаса, въ самомъ угрюмомъ, дикомъ и отчаянномъ молча-

ніи, такъ что нагналъ тоску и страхъ на хозяекъ и на односума своего, на Смарагда, разсудилъ наконецъ и самъ, что видѣлъ довольно, что выжидать уже болѣе нечего, и отправился домой. Смарагдъ не зналъ, до какой степени баронъ проникъ въ тайны его, но какое-то волненіе и безпокойство томили его и гнали въ чистое поле. Оставшись еще на короткое время потому только, что баронъ ушелъ, Смарагдъ взялъ однакоже вскорѣ фуражку, вышелъ, снялъ съ себя шейный платокъ, накинулъ жиденькій плащъ на распашку и пошелъ пройтись по обширной адмиралтейской площади, мимо артиллерійской слесарни, до полуразрушеннаго каменнаго квартала казенныхъ домовъ, которыми съ этой стороны оканчивается городъ. Нахлебавшись вдоволь холоднаго вѣтру и прозябнувъ немного, Смарагдъ поворотилъ, прошелъ вдоль слободки до казенной аптеки и — робкою рукой отворилъ калитку своего жилья. Ему какъ-то очень тяжело было идти на свиданье съ доблестнымъ барономъ, который ложился всегда очень поздно, а потому и теперь еще сидѣлъ, закинувъ голову, скрестивъ ноги, курилъ огромную пѣнковую трубку свою, пускалъ клубы дыма подъ самый потолокъ и барабанилъ пальцами по кожаному дивану отбой или переправу; а повременамъ насвистывалъ егерскіе сигналы. Какъ ни старался Поцѣлуевъ войти потихоньку, скорѣе раздѣться, лечь и притвориться соннымъ, чтобы потомъ, на свободѣ и безъ помѣхи, излить тайкомъ на лоскуткѣ бумажки чудныя вдохновенія нынѣшняго вечера, — но баронъ его подстерегъ, вошелъ къ нему,

походилъ, опять вышелъ, опять вошелъ и наконецъ сталъ Наполеономъ въ дверяхъ и сказалъ;

— Я не охотникъ до объясненій, Смарагдъ Петровичъ, но отношенія мои къ вамъ заставляютъ меня дѣлать это иногда противъ воли. Я давно уже подозрѣвалъ, глядя на васъ, какія нибудь неумѣстныя связи; видѣлъ, что съ вами что нибудь да дѣлается; но то, что я видѣлъ своими глазами сегодня — того я отъ васъ, какъ отъ офицера и дворянина, не ожидалъ.

— Что же вы такое видѣли, баронъ? — спросилъ Поцѣлуевъ.

— Я видѣлъ, если вы непремѣнно хотите, чтобы я вамъ сказалъ это, отвѣчалъ баронъ: — я видѣлъ, что вы поцѣловали Надежду.

На одинъ только мигъ Смарагдъ было немного потерялся; вслѣдъ за тѣмъ, умилительное воспоминаніе возвратило ему языкъ, бодрость, веселость и шутливость. «О», сказалъ онъ, «кто не обнимаетъ, хотя въ мечтахъ, эту усладительную богиню, надежду! — Но — если вы это видѣли, Губертъ Рудольфовичъ, если вы не шутите, тогда вы, конечно, видѣли много, гораздо болѣе, чѣмъ вамъ видѣть слѣдовало, потому-что никому не позволяется видѣть то, чего нѣтъ и не было.

— Стой, молодой человѣкъ, — воскликнулъ баронъ, разставивъ вилами и руки, и ноги, и всѣ десять пальцевъ, — остановись, молодой человѣкъ, ты хочешь сказать неправду, ты хочешь играть истиной, честью — остановись: ты русскій дворянинъ, хотя и молодъ еще; что ты будешь отвѣ-

чать мнѣ, если я спрошу тебя, на дворянскую честь и совѣсть твою, правду ли я сказалъ или нѣтъ?

Поцѣлуевъ всталъ, принялъ такое рѣшительное, твердое положеніе, какого мы доселѣ еще за нимъ не видывали, и сказалъ: «послушайте, баронъ, если вы хотите, чтобы я не сердился на допросъ вашъ, то не сердитесь же и вы на мои отвѣты, а выслушайте меня спокойно: — Я молодой человѣкъ, это такъ; но я изъ опеки вышелъ; поэтому я бы могъ просто спросить васъ, по какому праву вы хотите меня опрашивать какъ ребенка? — но я — дайте мнѣ договорить, если угодно—я, вмѣсто этого, не отвѣчая вамъ на первый случай ни да, ни нѣтъ, спрошу въ свою очередь: какая же тутъ бѣда и что за несчастье и безчестье, если молодой человѣкъ, разъ или два на вѣку своемъ, позволитъ себѣ поцѣловать дѣвушку? что тутъ за бѣда? на что мнѣ жить на свѣтѣ, если нельзя ловить, хотя на лету, на перелетѣ быстрокрылыя услады, которыя даруютъ мнѣ на нѣсколько дней силу и крѣпость, и новую жизнь, и новую радость въ жизни? Здѣсь все зависитъ только отъ мѣста, времени и обстоятельствъ — нужна разборчивость, чувство приличія, чутье, чтобы все это вышло въ ладъ и въ мѣру и чтобы все покрыто было для цѣлаго свѣта непроницаемымъ покровомъ тайны. Поэтому тотъ, кто видѣлъ то, чего видѣть не должно, виноватѣе того, кто былъ при этомъ лицомъ дѣйствующимъ и неосторожно ввѣрился обманчивымъ обстоятельствамъ, не подозрѣвая тутъ соглядатаевъ. — Собственно же въ поцѣлуѣ я не вижу ни грѣха, ни безчестья. Вотъ вамъ, баронъ, мнѣніе мое о вопросномъ дѣлѣ;

что же касается, наконецъ, собственно видѣннаго вами, то я прошу васъ вѣрить, что вы ошиблись: вы ничего не видали; — я прошу васъ сообразовать съ этимъ и слова свои по тому же предмету, со мною ли, съ другимъ ли кѣмъ вы будете говорить; прошу васъ объ этомъ, не столько ради меня самого, какъ ради дѣвицы, которая не можетъ стать съ вами на одну доску, какъ я теперь, и объясниться. Оставимъ же дѣло это навсегда, будто его и не бывало.

Баронъ не могъ не признать въ этомъ отвѣтѣ Поцѣлуева что-то рыцарское, благородное; онъ подалъ руку молодому товарищу и, раздувъ ноздри, приподнявъ брови угловатымъ сводомъ и откинувъ плеча назадъ, сказалъ подъ наитіемъ какого-то восторга: «въ васъ течетъ благородная славянская кровь.»

ГЛАВА XI.

РАЗВОДНАЯ.

Этимъ кончилось дѣло на тотъ разъ; но, при первомъ случаѣ, оно опять возобновилось и не могло уже снова вполнѣ уладиться; а случайное обстоятельство окончательно разстроило принужденное согласіе нашихъ односумовъ; временная затишь миновалась, и порывъ бурнаго шквала разогналъ ихъ въ разные концы.

Баронъ самъ себѣ не могъ или не хотѣлъ отдать яснаго отчета въ чувствѣ, которое подстрекало его ссориться со Смарагдомъ за невинныя его волокитства; но это просто была ревнивая зависть. Поцѣлуевъ былъ всюду дома, вездѣ свой, съ барышнями обходился почти какъ съ ровнями,

потому-что совѣсть его была чиста и непорочна, и барышни ему отвѣчали, большею частію, по той же причинѣ, тѣмъ же. Напротивъ, баронъ нашъ, неуклюжею почтительностію своею и неумѣстною околичностію, никогда не успѣвалъ найти расположеніе и довѣрчивость своихъ богинь. Это раждало въ немъ скрытную досаду на счастливца, которому всѣ блага земли доставались шутя, играючи, и баронъ, черезъ нѣсколько дней, снова началъ пилить Смарагда поученіями и требовать отчетности въ дѣлахъ его и поступкахъ. То Смарагду непростительно было отбивать у такой-то дѣвушки женихов; то не шло волочиться за дочерью совѣтника, который дослужился до чиновъ изъ званія клерка или баталера и не былъ столбовымъ дворяниномъ; то не должно было ходить въ такой-то домъ, гдѣ не умѣли цѣнить людей, потому-что сухо приняли барона; то не слѣдовало бы навязываться прихвостнемъ такой-то дѣвицѣ, которой Смарагдъ, по мнѣнію барона, надоѣдаетъ; а знаться съ блоковымъ, паруснымъ и компаснымъ, хоть они и чиновные люди, не идетъ уже вовсе, и прочее и прочее. Нравоученія эти Смарагду такъ надоѣли, что онъ, оперившись уже однажды, раздумывалъ, какъ бы разстаться съ бароном по добру, выйти изъ этой несносной опеки, которою докучали ему въ насмѣшкахъ по цѣлому городу. Не прошло недѣли послѣ объясненія Смарагда съ барономъ по дѣлу о похищенномъ поцѣлуѣ, какъ въ домѣ капитана надъ портомъ намекнули нашему поэту слегка, промежду шутокъ, на это происшествіе. Не успѣлъ Смарагдъ нашъ раздумать и порѣшить, въ какомъ смыслѣ принять

намекъ этотъ, какъ въ другомъ домѣ случилось то же, и наконецъ мичмана, товарищи Поцѣлуева, разсказали ему, смѣясь, что вотъ-де, Смарагдъ Петровичъ, какіе въ городѣ носятся о васъ слухи. — Это уже взбѣсило нашего искателя поцѣлуевъ не на шутку, вывело его изъ терпѣнія, и онъ рѣшился разстаться съ барономъ, не говоря ему ни слова, на другой же день. Распустить слухи эти по городу было рѣшительно некому, кромѣ самого барона, потому-что ни одна душа болѣе ничего объ этомъ не могла знать.

Смарагдъ пришелъ надувшись домой, отыскавъ и нанявъ себѣ уже напередъ жилье, скромное, маленькое, но зато одинокое и еще съ угла на уголъ противъ дома конопатнаго мастера; потомъ на другое утро, когда баронъ ушелъ на ученье, Смарагдъ оставилъ ему малословную записку, что хочетъ жить одинъ; навьючилъ своего деньщика шляпой, саблей, гитарой и чемоданомъ, и перебрался. Тутъ вздохнулъ поэтъ нашъ посвободнѣе, настроилъ гитару, сыгралъ и спѣлъ, самъ для себя, старинную итальянскую арійку, которую выучилъ его одинъ, очень нѣжный, вѣковѣчный капитанъ-лейтенантъ, бывшій еще въ знаменитомъ корфинскомъ походѣ; положилъ гитару, и воспламенившись, по возможности, воспоминаніями минувшихъ дней, принялся сочинять посланіе къ надеждѣ, вѣрѣ и любви. Несносный, докучливый баронъ удушилъ было въ Смарагдѣ послѣднюю искру даровитости его, и даже намеднишнее приключеніе, котораго поэтъ нашъ такъ давно искалъ и жаждалъ, какъ вдохновенія самаго возвышеннаго и

могучаго, доселѣ еще не имѣло никакихъ послѣдствій. Пытка барона словно окатила Смарагда ведромъ студеной воды. Надобно было наверстать, по возможности, утраченное.

Адель-фонъ-Адельсбургъ возвращался домой съ твердымъ намѣреніемъ сказать малолѣткѣ своему краснорѣчивое, обстоятельное и убѣдительное слово о существенной пользѣ высшей и низшей практики, подразумѣвая въ послѣдней собственно искусство маршированія, — воинственный, рыцарскій духъ барона и изъ этой прозы извлекъ для себя свою поэзію — и такъ баронъ вошелъ, изготовивъ назидательную рѣчь свою, когда услышалъ, что Смарагда уже нѣтъ, и нѣтъ гитары его, ни чемодана. Баронъ изумился и глядѣлъ съ четверть часа на деньщика своего глазами съ большую помадную банку; а деньщикъ, знакомый уже давно съ этимъ безсмысленнымъ взоромъ, продолжалъ преспокойно обстоятельный разсказъ свой о случившемся, и въ заключеніе подалъ оставленную Поцѣлуевымъ записку. Баронъ прочелъ ее молча, походилъ сокрушительными шагами по комнатѣ и разразился въ проклятіяхъ на людскую неблагодарность.

Между тѣмъ надобно отдать каждому должное; не баронъ распустилъ слухъ, который не безъ причины огорчилъ столько нашего поэта: деньщикъ Аделя-фонъ-Адельсбурга слышалъ весь разговоръ барина своего съ Поцѣлуевымъ, и былъ прямой виновникъ распущенныхъ сплетень. — Кирюшка, ловкій, молодой парень изъ господскихъ, былъ отданъ бариномъ въ солдаты, если вѣрить словамъ разсказчика, собственно за *вольность* противу женскаго пола; вотъ

почему все, относящееся къ этой статьѣ, его очень занимало; онъ наострилъ уши, когда рѣчь пошла по этой части, разсказалъ потомъ все, что слышалъ, пріятелю своему, кучеру *портовaго*, какъ его обыкновенно въ Николаевѣ называли, то есть капитана надъ портомъ; кучеръ, при случаѣ, во время общаго сбора въ людской за ужиномъ, разсказалъ тоже горничнымъ, а отъ этихъ немного дорóги осталось и до барыни и до барышень. — Такимъ образомъ вѣсть эта побѣжала, махнувъ хвостомъ какъ брыкливая кобыла, по цѣлому городу и дошла наконецъ до самого Смарагда, съ замѣчаніемъ, что баронъ Адель-фонъ-Адельсбургъ все это *самъ видѣлъ*. Послѣднее обстоятельство совершенно убѣдило Поцѣлуева, что баронъ былъ вѣстовщикомъ; иначе кто бы могъ знать, что онъ самъ все это видѣлъ. — Вотъ вамъ образчикъ того, что называютъ сплетнями, отъ которыхъ бываетъ на свѣтѣ столько бѣдъ и горя, и которыя родятся и плодятся словно мыши въ подполье и прусаки за печкой.

ГЛАВА XII.

ПРИВѢСОКЪ ИЛИ НЕДОВѢСОКЪ.

Глава, которую можно и не читать.

А дивное это дѣло, братья и сестрицы, какъ мы пилимъ сами себя и другъ друга причудами своими, обмолвками, недомолвками, догадками, сомнѣніями, сплетнями, мелочною, бездѣльною неуступчивостью! Тебя томитъ и гложетъ какое-то безпокойство, ты самъ собою недоволенъ, самъ

на себя сердитъ, а пеняешь и гнѣваешься на людей; ты, можетъ статься, и самъ видишь, что оно неладно, и это тебя раздражаетъ еще болѣе, ты совладать съ собою не умѣешь, подавить сердца своего не можешь, сознаться, что ты виноватъ, самъ въ дуракахъ, не хочешь, — а коли тебѣ быть правымъ, такъ надо виноватить другаго. Бѣдовое это дѣло, ей-богу, бѣдовое! Знаю я это по себѣ и по другимъ, и знаетъ, чай, всякій, кто побольше, кто поменьше, да не каждый признается, а скажетъ опять-таки: не я виноватъ, а люди. Да оно такъ и выходитъ; всѣ говорятъ: люди виноваты — мы указываемъ на другихъ, другіе на насъ — круговая порука. Эти-то отношенія мутятъ чистый источникъ нашей жизни, отравляютъ каждую насущную кроху и каплю. Эти мелочи, бездѣлки суетной жизни, въ быту нашемъ важнѣе и полновѣснѣе всякой большой бѣды и всякаго зла и горя. У меня умретъ сынъ, отецъ, жена, сгоритъ домъ, пропадетъ имѣнье, я обнищаю — и во мнѣ, вслѣдъ за бѣдою, родится смиреніе: Богъ далъ, Богъ и взялъ, говорю я, поплачу за сыномъ, погрущу за женой, призадумаюсь и надъ своимъ послѣднимъ часомъ, вздохну, и съ умиленіемъ приступаю вновь къ смиренной жизни своей! Въ самой неутѣшной скорби этой есть что-то усладительное, чувство любви и привязанности къ тому, кого я положилъ въ могилу. Домъ сгорѣлъ — и я, сосчитавъ своихъ, благодарю горячею молитвою Создателя, что онъ пощадилъ ихъ, покорюсь волѣ Его, начинаю жить и дышать снова — и жизнь мнѣ вдвойнѣ дороже: домашній кругъ мой смыкается тѣснѣе, ближе, и я въ душѣ, можетъ

статься, такъ счастливъ, какъ не бывалъ и прежде, когда жилъ въ избыткѣ.— Итакъ, большое горе забыто; я пересилилъ его, перемогся, вынесъ, на душѣ легче, въ головѣ свѣтлѣе, въ груди у меня спокойнѣе — иногда и самолюбіе мнѣ льститъ; я тайно и втихомолку называю себя полумудрецомъ, который превыше всѣхъ ударовъ рока, но.... ежедневныя бездѣльныя дрязги, шершавая сторона жизни, соръ и осадокъ обусловленнаго быта нашего, взаимныя пренія, пустячныя, мелочныя, недостойныя, пресмыкающіяся.... о, онѣ гложутъ, точутъ какъ червь, и мукамъ этимъ нѣтъ конца. Съ утра и до вечера, на каждомъ шагу все то же и то же — и если бы въ суткахъ было 36 часовъ, и тогда было бы тоже, и вздору этого стало бы на то, чтобы отравить мнѣ 36 часовъ, какъ нынѣ 24.

Безсильный, слабый, ничтожный! такъ; плоть возьметъ свое, разсуждай какъ хочешь, умудряйся какъ знаешь! Духъ твой силенъ и могучъ, тамъ, гдѣ онъ проснется, гдѣ громкое событіе, могучій толчокъ, заставятъ его бодрствовать: тамъ онъ мужаясь встанетъ и несетъ, не упадая, тяжкое бремя свое; но мелочныя дрязги житейскихъ заботъ утомляютъ его и сокрушаютъ, и плоть торжествуетъ. Тогда человѣкъ бываетъ иногда несносенъ, покуда наконецъ не выведетъ изъ терпѣнія и себя, и другихъ; туча разразится, хлынетъ дождь и градъ, и — брюзга опомнится, очнется, проглянетъ солнышко, настанетъ ведро. Ведро и ненастье — ненастье и ведро — чередуются во всей природѣ и — въ душѣ человѣка также.

А время летитъ — о, летитъ! покуда мы мечемся моты-

лями и мотыгами во всѣ стороны, забываемся, ни о чемъ не думаемъ — все хорошо и гладко; а какъ опомнишься, станешь да призадумаешься, да еще оглянешься назадъ — куда какъ летитъ оно!

ГЛАВА XIII.

СѢЛЪ ДА ПОѢХАЛЪ.

Въ первый разъ отъ роду Поцѣлуевъ поссорился и разошелся съ человѣкомъ такимъ образомъ: но опытность достается намъ не даромъ. Въ Смарагдѣ осталось какое-то непріятное воспоминаніе, котораго онъ долго не могъ выжить, сколько ни увѣрялъ себя, что онъ поступилъ хорошо, что иначе нельзя было кончить дѣло, что всему виноватъ одинъ баронъ и больше никто. Къ этому пристало вдобавокъ еще другое, не менѣе тревожное чувство: Смарагдъ въ первый разъ еще увидѣлъ себя предметомъ общаго разговора въ городѣ: судили, рядили, осуждали, оправдывали, обвиняли — каждый пересказывалъ дѣло по своему; мало при томъ щадили и бѣдную Надежду, и это вдвойнѣ оскорбляло добраго Смарагда. Онъ поневолѣ сталъ менѣе показываться въ люди; товарищи приставали къ нему, допрашивали его, зачѣмъ онъ разошелся съ барономъ, зачѣмъ вдругъ сталъ жить затворникомъ, когда бывало облетывалъ день за день десять, пятнадцать домовъ? Все это досаждало, докучало Смарагду, огорчало его до того, что онъ сталъ искать временной командировки и съ радостнымъ сердцемъ поскакалъ на почтовыхъ въ Севастополь,

чтобы, при первомъ открытіи судоходства, занять должностное мѣстечко на фрегатѣ «Россіянка» и отправиться на немъ въ Сухумъ-Кале, крѣпостцу нашу на абхазскомъ, восточномъ берегу Чернаго моря.

Легче вздохнулось Смарагду, когда онъ выѣхалъ изъ *все*-восточной заставы николаевской, какъ называютъ ее наши ефрейторы, при утреннихъ рапортахъ своихъ: на этомъ мѣстѣ мысъ, на которомъ городъ стоитъ между двумя рѣками, Бугомъ и Ингуломъ, перехваченъ, во время чумы 1812 года, рогатками, и съ того же времени существуетъ восточная застава. — По этой дорогѣ Смарагдъ скользилъ черезъ Херсонъ и Перекопъ по ровной, гладкой, однообразной степи, не видавъ ничего, кромѣ вьюги и мятели; но въ Симферополь прикатили его уже на колесахъ, хотя только январь былъ на исходѣ. — Когда же Смарагдъ переправлялся въ Севастополь, черезъ Сѣверную бухту, то былъ пріятно изумленъ: городокъ лежитъ довольно живописно, на склонѣ горы, упирающейся въ зеленое море; кровля виситъ, уступами, надъ кровлей, а прихотливое воображеніе расписываетъ за горой этой — горы и долины, водопады, кизилевыя рощи, величественный Чатыръ-дагъ и южный берегъ Крыма, со всѣми чарами и прелестями его. Поцѣлуевъ снова распростеръ объятія и готовъ былъ обнять цѣлый міръ — не исключая даже и будущаго начальника своего, командира «Россіянки», довольно несноснаго грека, котораго зналъ уже понаслышкѣ.

ГЛАВА XIV.

АРХОНТЪ.

Прибывъ въ Севастополь, Поцѣлуевъ отыскалъ себѣ комнату во второмъ этажѣ, напился чаю и какъ это было уже довольно поздно, то и легъ отдохнуть съ дороги, съ тѣмъ, чтобы утромъ пораньше отправиться для явки къ флотскому начальнику и своему капитану.

Утромъ, когда Смарагдъ началъ одѣваться и деньщикъ его вытеребилъ изъ чемодана за хвосты шитый съ якоремъ мундиръ, вошелъ хозяинъ дома, плотный, черноглазый грекъ, въ широкихъ черныхъ шароварахъ и черной курткѣ. «Вы меня знаете?» — спросилъ онъ безъ обиняковъ, и на отрицательный отвѣтъ Поцѣлуева, очень изумился и началъ объяснять ему бѣглымъ, но ломанымъ языкомъ, растопыривая пальцы обѣихъ рукъ по два и по три, что онъ вотъ такой-то *Пуло* или *Муло*, родной братъ командира фрегата «Россіянки», капитанъ-лейтенанта, хотя этотъ и признаетъ его въ людяхъ только братомъ двоюроднымъ; что они съ братомъ точно и дѣйствительно происходятъ прямымъ трактомъ отъ архонта древней Греціи, славнаго Евридипа, и что они, дѣйствительно, братья родные — при этомъ Пуло поднялъ два пальца, развелъ ихъ и свелъ опять вмѣстѣ — но что братъ его Исократъ зазнается немного, а впрочемъ предобрый человѣкъ, и глазъ-на-глазъ съ нимъ, или въ своемъ обществѣ, братства не чурается. — Для Смарагда все это, правда, было немножко ново; онъ однакоже

попросилъ роднаго брата начальника своего сѣсть и занималъ его съ четверть часа, какъ гостя. — Потомокъ архонта разговорился до того, что разсказалъ уже почти всѣ дивные походы и похожденія свои по островамъ Средиземнаго моря, прикидываясь старымъ и бывалымъ морякомъ, когда вошелъ деньщикъ Поцѣлуева, тертый севастопольскій матросъ, и сказалъ безъ обиняковъ хозяину: «что сидишь тутъ да балагуришь? тамъ пришли за тобой, спрашиваютъ тебя въ лавочкѣ.» Будущій воитель за *свуя отечества*, за вольность Греціи, всталъ, раскланялся и ушелъ.

— Въ какую лавочку ты позвалъ хозяина, Никифоръ? — спросилъ Поцѣлуевъ, ничего не понимая.

— Да въ свою, — отвѣчалъ тотъ.

— Какъ въ свою? какая жь у тебя тутъ лавочка?

— У меня нѣтъ, да у него есть. У него своя лавочка подъ нами, тамъ его за чѣмъ-то спрашивали, прибѣгалъ оттолѣ малосольный гренонокъ.

— Чѣмъ же онъ торгуетъ?

— Да извѣстно, такъ, съ пуговки на петельку перебивается: изюмомъ, орѣхами, оливками, финиками, табакомъ, балыками. Есть у него и трубки, да дрянныя, смотрѣлъ я, стамбулокъ нѣтъ; вотъ у сосѣда есть настоящія.

— Вотъ въ какую я землю заѣхалъ, — подумалъ про себя Поцѣлуевъ, одѣлся и пошелъ явиться. — Проходя мимо лавочки своего хозяина, потомка знаменитаго архонта Евридипа, Смарагдъ видѣлъ, какъ тотъ обвѣшивалъ жидапортнаго на двухъ золотникахъ чернаго шелку и спорилъ и кричалъ, между тѣмъ какъ жидъ бранилъ его и увѣрялъ

всякаго, кому угодно было послушать, что онъ поймалъ этого мошенника уже въ другой разъ на обвѣсѣ. Усатый плутъ, увидѣвъ Смарагда, звалъ его въ свидѣтели; но тотъ спѣшилъ скорѣе пройти и убраться.

ГЛАВА XV.

ПОЦѢЛУЙ № 2-й.

Архонтъ — такъ мы будемъ называть отца и командира «Россіянки», а имя его, которое оканчивалось, какъ сказалъ я, на *пуло* или *муло*, оставимъ въ покоѣ — Архонтъ принялъ Смарагда, какъ николаевскаго, повѣжливѣе обыкновеннаго; шепеляя, или собственно *присусыкивая*, онъ сказалъ ему нѣсколько снисходительныхъ словъ: «оцень радъ, сто будемъ слузыть вмѣстѣ», — и тому подобное. — Смарагдъ думалъ видѣть почтеннаго хозяина своего, только безъ усовъ и въ мундирномъ сюртукѣ; такъ схожи были оба брата.

Смарагду пришлось пожить въ Севастополѣ, по случаю разныхъ задержекъ въ отправленіи «Россіянки», добрыхъ два мѣсяца. Не слишкомъ гонялись за входомъ въ свѣтское общество, Поцѣлуевъ замѣтилъ однакоже вскорѣ большую разницу между бытомъ въ Николаевѣ и въ Севастополѣ. Тамъ молодыхъ офицеровъ было не слишкомъ много, въ нихъ даже иногда нуждались, въ наши времена отчаянной пляски и, сверхъ того, это были, большею частію, матушкины дѣтки; тутъ, напротивъ, въ Севастополѣ, городокъ былъ заваленъ мичманами, и для нихъ, кромѣ избранныхъ,

въ гостиныхъ лишняго мѣста не было; женатые моряки, какъ люди большею частію безъ достатка, жили очень скромно, уединенно; у портовыхъ былъ уже свой знакомый кругъ, а шаловливой холостежи столько, что семейные люди были здѣсь разборчивы и осторожны. Жизнь первыхъ поневолѣ была скучная, одинокая и если не распутная, то, по крайности, безпутная. Занятій и развлеченій, кромѣ служебныхъ, почти никакихъ; знакомство и бесѣда почти только промежду собою; поживъ такимъ образомъ нѣсколько лѣтъ, молодому человѣку трудно остаться такимъ, чтобы онъ былъ опять на своемъ мѣстѣ, въ своей тарелкѣ, если пріобщить его снова къ хорошему, свѣтскому обществу; онъ отвыкнетъ, отстанетъ, одичаетъ; и пріемы не тѣ, и не то на умѣ. Просимъ замѣтить, что все это мы говоримъ о времени не нынѣшнемъ, а бываломъ.

Но со Смарагдомъ былъ въ Севастополѣ случай, о которомъ надобно упомянуть. Выпросивъ у капитана своего шлюпку, Поцѣлуевъ, съ двумя товарищами, отправился въ одно утро осмотрѣть Акерманъ, какъ его здѣсь обыкновенно называютъ, или Инкерманъ, какъ его называть должно. Расхаживая тамъ по обширнымъ пещерамъ, высѣченнымъ, какъ говорятъ, генуезцами въ известковой скалѣ, мичмана наши встрѣтили общество, гдѣ было нѣсколько женщинъ. Смарагдъ съ удовольствіемъ посмотрѣлъ нѣсколько разъ, мимоходомъ, на прекрасное лицо одной изъ дѣвицъ, въ которой необыкновенно правильныя черты, изящный погибъ носа и лбяной кости, особенно погибъ свода глазнаго, края его, бровь, рѣсницы и черныя очи

изобличали греческую кровь. Случилось, что общество это отправилось изъ Инкермана, водою же, вмѣстѣ съ нашими мичманами — а можетъ быть эти и не безъ намѣренія такъ подогнали и приноровили свой часъ отъѣзда. Общество усѣлось на шлюпкахъ и катерѣ, а наши молодцы отвалили вслѣдъ за ними. Красавица сидѣла съ теткою своею и другими на третьей шлюпкѣ. Шли подъ парусами почти въ полвѣтра; какой-то разудалый, отчаянный констапель, провожатый красавицы, управляя рулемъ, вздумалъ прикинуться старымъ и бывалымъ морякомъ, началъ командовать и распоряжаться, хотѣлъ обогнать передовыхъ и не успѣлъ оглянуться, какъ шквалъ ударилъ въ паруса, и шлюпка, очутившись вверхъ килемъ, накрыла нашего констапеля. Констапель констапелемъ, но тутъ были и другіе. Поцѣлуевъ успѣлъ только закричать матросамъ своимъ: «паруса долой!» схватить конецъ какой-то снасти и кинуться въ воду — какъ шлюпка его летѣла уже мимо самаго мѣста кораблекрушенія. Смарагдъ рванулся изо всѣхъ силъ, не упуская конца изъ рукъ, ухватилъ утопавшую незнакомку свою за платье и былъ вытащенъ матросомъ, за веревку, на яликъ, который въ тотъ же мигъ принесло и сбило вѣтромъ и волненіемъ въ сторону. Тогда только передовая шлюпка и тяжелый катеръ успѣли опустить паруса и выкинуть весла, чтобы спасать погибающихъ; но двое изъ нихъ утонули и въ томъ числѣ бѣдная тетка. Смарагдъ научился немного плавать у извѣстнаго дикаря-француза Кобри, который былъ вывезенъ однимъ изъ кругосвѣтныхъ плавателей нашихъ съ другаго полушарія

и состоялъ тогда учителемъ плаванія при морскомъ корпусѣ. Смуглое, расписанное синей краской лицо этого земноводнаго было въ странной противоположности съ нашимъ мундиромъ; но зато для Кобри вода представляла ту только разницу отъ земли, что была мокра; а жить, казалось, ему было одинаково хорошо и тутъ и тамъ.

Грѣшный я человѣкъ — а скажу правду: Смарагдъ при этомъ дѣлѣ покривилъ душой. Когда онъ кинулся въ море, несчастная тетка была у него всѣхъ ближе подъ руками; но онъ словно не видѣлъ предсмертной, судорожной борьбы ея съ соленою стихіею, словно не слышалъ отчаяннаго, дикаго крика — онъ проплылъ мимо, оставилъ ее въ трехъ шагахъ за собою и выхватилъ изъ полусомкнутыхъ уже челюстей страшной смерти молодую, очаровательную гречанку.

Смарагдъ, безъ сомнѣнія, сдѣлалъ это невольно, безъ самосознанія, безъ размышленія; покрайней мѣрѣ обдумывая послѣ, на свободѣ, какъ и что было, онъ не могъ отдать себѣ въ этомъ никакого отчета; — но все-таки онъ былъ виною смерти бѣдной тетки; онъ могъ спасти ее и далъ ей утонуть, испить эту горькую, соленую смерть, и предпочелъ старухѣ молодую за то только, что она была молода и хороша. Отчего это и почему? Какъ объяснить такой невольный порывъ и сколько правъ тутъ Смарагдъ и сколько виноватъ?

Отецъ молодой красавицы, на первый случай по крайней мѣрѣ, не пускался въ разборъ этого душесловнаго вопроса, хотя и видѣлъ, можетъ быть, какъ дѣло происхо-

дило. Онъ подоспѣлъ на катерѣ въ то самое время, когда мичмана укладывали дочь его на плащахъ своихъ и ими же ее накрывали. Онъ кинулся въ яликъ, дрожалъ, плакалъ, рыдалъ, цѣловалъ дочь, обнималъ всѣхъ, потомъ вынулъ бумажникъ и отдалъ его четыремъ гребцамъ мичманскаго ялика. Подняли паруса и спѣшили добраться до пристани и домой.

Отецъ этотъ былъ русскій, зажиточный помѣщикъ, переселившійся еще въ молодыхъ лѣтахъ въ Крымъ и занявшійся тамъ разводкою и обработкою винограда и шелка. Женившись на гречанкѣ, онъ былъ отцомъ спасенной Поцѣлуевымъ образцовой красавицы. Онъ не зналъ, чѣмъ доказать безконечную благодарность свою; отыскавъ на другой же день спасителя дочери, онъ плакалъ передъ нимъ какъ ребенокъ, становился на колѣни и умолялъ принять, въ знакъ благодарности, перстень съ ея руки и десять тысячъ рублей. Поцѣлуевъ съ жадностію ухватился за цвѣтной перстень, а отъ денегъ, по общепринятому у насъ предразсудку, рѣшительно отказался. Старикъ долженъ былъ наконецъ уйти, взявъ съ Поцѣлуева священное обѣщаніе, что онъ обратится къ тому, кому спасъ единственное дѣтище, при первой нуждѣ или потребности, что будетъ стараться дать ему случай отслужить, хотя бездѣльными услугами, благодѣяніе, на которое нѣтъ цѣны. Кромѣ того, Смарагдъ долженъ былъ явиться передъ спасенною имъ дѣвушкою лично, выслушать очаровательный лепетъ признательности ея, и принять, по настоянію отца, дѣв-

ственный ея поцѣлуй. Итакъ поэтъ нашъ наконецъ таки опять добился до вдохновеннаго поцѣлуя!

Можете себѣ представить, что Смарагдъ нашъ былъ совершенно счастливъ: онъ какъ-то чувствовалъ себя иначе, выросъ въ сутки на цѣлую четверть; и съ этой самой минуты началъ въ немъ совершаться переворотъ, переходъ отъ юноши къ мужу. Счастливое событіе въ Инкерманѣ много облегчило доброму Смарагду перенести, не унывая духомъ, не упадая, самый приступъ, начало этого критическаго перелома: оно озарило единожды навсегда розовымъ отблескомъ предстоявшій юношѣ горькій опытъ въ познаніи свѣта и людей, и если и не могло, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, предохранить Смарагда отъ этихъ порывовъ отчаянья, безотчетнаго внутренняго томленія и безпокойства, то по крайней мѣрѣ, воспоминаніе этого драгоцѣннаго дня услужливо расписывало ему всѣ предметы радужными цвѣтами, и онъ берегъ и цѣнилъ это завѣтное, граненое стеклышко свое, заглядывалъ въ него частенько и не безъ отрады.

«О поэзія!» подумалъ Смарагдъ, потирая руки, когда пилъ вечеромъ одинъ свой чай, «вотъ чистая поэзія! Вотъ гдѣ искать вдохновенія!» И сѣлъ, и написалъ безмѣрно пышный приступъ къ какой-то поэмѣ.

ГЛАВА XVI.

„РОССІЯНКА“ НА ПРОСТОРѢ.

Вскорѣ фрегатъ вытянулся на рейдъ, и Смарагдъ не считалъ себя болѣе жителемъ Севастополя: онъ былъ уже

гражданинъ «Россіянки». Тамъ его сабля, тамъ его койка, тамъ его записки и много начатыхъ стихотвореній. Тамъ гитара, тамъ онъ расхаживаетъ и самъ съ перстенькомъ на лѣвомъ мизинцѣ, и ему думается, что это золотая медаль на владимірской лентѣ, съ надписью: *за спасеніе погибавшихъ*.

Между тѣмъ насталъ и день отплытія. Въ 10 часовъ утра, капитанъ вышелъ на шканцы и приказалъ сниматься съ якоря. Старшій лейтенантъ принялъ команду; когда онъ взялъ со шпиля рупоръ, сунувъ его подъ мышку, то боцманъ выхватилъ дудку свою и, разставивши на ней пальцы, ожидалъ командnаго слова. Офицеры всѣ вышли, капитанъ расхаживалъ одинъ по правой сторонѣ шканецъ, старшій лейтенантъ скомандовалъ: *свищи на верхъ* — боцманскій свистокъ раздался надъ гротъ-люкомъ, а вслѣдъ за тѣмъ слова: «пошелъ на верхъ!»

Матросы выскочили бѣгомъ — ютовые на ютъ, шканечные на шканцы, баковые на бакъ, а марсовые стали по бортамъ, ухватившись одной рукой за ванты и провожая глазами лейтенанта.

Звучно раздавался ясный голосъ его, боцманское *есть!* вторилó ему, и кромѣ этихъ двухъ голосовъ, свистка и топота, не было слышно ни звука: изрѣдка только урядники вполголоса повторяли и передавали тутъ или тамъ команду лейтенанта и свистокъ боцмана — наконецъ «Россіянка», за словомъ боцмана: «всталъ якорь!» распахнула крылья свои, взмахнула ими, лейтенантъ скомандовалъ: «кливеръ подымай! на брасы, на лѣвую — право руля!» —

и красавица быстро и мѣрно покатилась подъ вѣтеръ, влѣво, описала полоборота и, по слову лейтенанта: «одерживай!» закачалась, будто бы у нея закружилась отъ быстраго оборота голова; потомъ двинулась впередъ, распахнула бизань, брамсели, и вода запѣнилась подъ водорѣзомъ, и рулевой уже поглядывалъ на компасъ, матросы прибирали снасти, вымбовки, а боцманъ, сидя верхомъ на кранбалкѣ, управлялся съ неповоротливымъ подчиненнымъ своимъ, господиномъ плехтомъ, въ которомъ было, по надписи, вѣсу 203 пуда. Онъ упрямо упирался желѣзными лапами своими въ бортъ, неохотно повинуясь неизмѣнной участи своей, быть посажену на цѣпь, до новой стоянки; но боцманъ его пересилилъ: повѣсилъ на пертулинь, подвелъ рустовъ, желѣзную цѣпь, и узникъ смирился.

Берега бѣжали, чайки вились, свинки играли, перекидывались черезъ голову, кудрявая волна гналась за волной — и «Россіянка» уже обогнула древній Херсонесъ, Балаклаву, уже быстро летѣла мимо Аю-дага, мимо южныхъ береговъ нашего Крыма. Смарагдъ, въ должности, стоялъ на бакѣ, облокотясь о лѣвый бортъ, и глядѣлъ на новую для него природу, на живописныя скалы, на синій Чатыръ-дагъ. Архонтъ ушелъ въ свою каюту; офицеры разбрелись, половина команды осталась на вахтѣ, другая половина ушла на низъ; свѣжій брамсельный вѣтерокъ игралъ въ снастяхъ и парусахъ, и только изрѣдка раздавался въ тишинѣ этой голосъ вахтеннаго: на *брамфалахъ стоять!* и Смарагдъ самъ отвѣчалъ: *есть!* и гордился отвѣтомъ этимъ и должностью своею, тѣмъ, что и онъ теперь уже

что нибудь да значилъ — у него стало на душѣ какъ-то тепло и отрадно, ему хотѣлось обнять прекрасную «Россіянку», такъ полюбилъ ее, гордую, пышную, смѣлую — онъ въ ту же минуту, не читавъ Саламандры, сравнилъ «Россіянку» свою съ дѣвой, которой придалъ всевозможныя качества и совершенства и, задумавшись, кивнулъ головою, въ знакъ согласія, когда самъ себя спросилъ, сколько лѣтъ дать дѣвицѣ этой? и самъ же себѣ отвѣчалъ: шестнадцать — и вслѣдъ за тѣмъ взглянулъ на голубое небо, улыбнулся и, положивъ записную книжечку свою на бортъ, написалъ:

Шестнадцать лѣтъ — магическое слово!
Отрадно вымолвить: шестнадцать лѣтъ;
О, какъ свѣжо, какъ молодо и ново
Звучитъ въ груди моей: шестнадцать лѣтъ!

Потомъ призадумался и положилъ книжечку въ карманъ.

Изъ этого читатели видятъ, что Смарагдъ прилежно читывалъ Карамзина и началъ было писать что-то въ родѣ тріолета.

ГЛАВА XVII.

СМЕРТЬ „РОССІЯНКИ.“

Вѣтеръ подулъ отъ запада, а слѣдовательно самый попутный для нашей «Россіянки», и на третьи сутки матросъ съ форсъ-марса, подъ вечеръ, закричалъ: «берегъ видѣнъ!» — Милая землячка наша доплыла до Абхазіи и на другой день бросила тяжелый плехтъ свой на сухумскомъ рейдѣ, то есть стала на якорь, противу крѣпостцы нашей Сухумъ-кале.

Какъ весело смотрѣть на это съ берега, когда величественный, изящный фрегатъ становится на якорь! Сначала все мертво и тихо на немъ, не видать ни души; — лебедь несется на широкихъ, бѣлыхъ крылахъ своихъ, рѣетъ по волнамъ, разсѣкаетъ ихъ, прилегаетъ на бокъ, какъ удалой вершникъ, который, избоченясь, несется во весь опоръ, — вдругъ вы слышите свистокъ, и реи полетѣли на низъ, паруса осѣли, — и вслѣдъ затѣмъ народъ, какъ муравьи, разползся по чернымъ снастямъ, — ёще свистокъ, еще и еще— нижніе углы и края парусовъ отдѣляются отъ реевъ, подымаются вверхъ, больше и больше; народъ разбѣгается по реямъ — и парусовъ какъ не бывало; «Россіянка» обратилась уже грудью къ вѣтру, какъ роскошная красавица, которая вышла подышать свѣжимъ воздухомъ; съ кормы развѣвается только флагъ нашъ съ андреевскимъ крестомъ, и гребное судно уже отваливаетъ и летитъ, подъ мѣрными ударами могучихъ гребцовъ, быстро къ берегу. Но — пора къ дѣлу.

Дней пять спустя, «Россіянка» все еще стояла на томъ же мѣстѣ, противъ Сухумъ-кале, а юго-западный вѣтеръ завывалъ не на шутку, и по тому же направленію небосклонъ темнѣлъ болѣе и болѣе. Старшій лейтенантъ докладывалъ уже дважды капитану, что давно бы пора сняться съ якоря и отойти отъ береговъ, которые не обѣщаютъ «Россіянкѣ» нашей никакой защиты; но фрегату нуженъ былъ лѣсъ на разныя подѣлки, и Архонтъ, въ этотъ самый день, послалъ уже съ разсвѣтомъ небольшую команду въ горы, вырубить и привезти нѣсколько орѣховыхъ

кряжей. Поэтому ему и не хотѣлось отойти отъ береговъ; онъ поджидалъ каждую минуту команду свою съ орѣхомъ и утѣшалъ этимъ вахтеннаго лейтенанта.

Итакъ, «Россіянка», почуявъ бурю, спустила и убрала верхніе реи и стеньги, какъ улитка, которая вбираетъ рожки свои, при малѣйшемъ прикосновеніи; вытравила еще сажень двадцать канату и готовилась встрѣтить непріятеля грудью.

Время было за полночь. Страшно завывалъ ураганъ; «Россіянка» вздрагивала всѣмъ тѣломъ при каждомъ ударѣ разъяренныхъ валовъ; уцѣпившись желѣзными перстами въ дно морское, казалось, напрягала она всѣ силы свои, чтобы удержаться, какъ человѣкъ, висящій на рукахъ своихъ надъ бездной. Вахтенный лейтенантъ ходилъ взадъ и впередъ и покрикивалъ: на лотѣ, не дремать! *Есть*— отвѣчалъ лотовой, держа въ рукахъ конецъ веревки, на которой опущено было на дно морское 36 фунтовое ядро:—*есть!* и вслѣдъ затѣмъ заревѣлъ дикимъ голосомъ: «дрейфитъ, дрейфитъ!»

«Трави канатъ!» раздался громовой голосъ лейтенанта, «трави канатъ! Смарагдъ Петровичъ, бѣгите скорѣй, торопите ихъ, да приглядите, чтобы не засучило канатъ, чтобы травили черезъ битенгъ!»

И когда глухой, непрерывный и пронзительный стукъ каната по битенгу и обитому свинцомъ клюзу раздался, и дрожь пробѣжала по всѣмъ членамъ и суставамъ фрегата, а къ этому еще рѣзкій голосъ лейтенанта и шопотъ команды внизу и вверху, на палубѣ и на шканцахъ — то

капитанъ, догадавшись въ чемъ дѣло, наскоро одѣлся и вышелъ.

Вытравили еще саженъ 20 канату, лейтенантъ стоялъ вплоть у лотоваго и смотрѣлъ на лотъ: казалось, якорь опять забралъ. «Россіянка» размашисто качалась во всю длину свою, носъ и корма поочередно ныряли и воздымались; но фрегатъ стоялъ на мѣстѣ, глухо стоналъ отъ страшныхъ, богатырскихъ ударовъ водяныхъ исполиновъ, и не могъ даже всплывать, по обычаю своему, полною грудью на хребты этихъ движущихся громадъ: огромный валъ за валомъ ударялъ въ «Россіянку»; она усиленно пыталась каждый разъ подняться, перелетѣть этотъ встрѣчный хребетъ, и задержанная толстымъ, въ перехватъ, канатомъ, сильно вздрагивала всѣмъ тѣломъ своимъ и, казалось, готова была нырнуть, пропустить валъ черезъ себя; огромные всплески обмывали всю поверхность страдалицы; отъ гальюна до самаго гака-борта не было уже сухаго мѣста. Борты давно были закрыты, люки также — но ураганъ свирѣпѣлъ съ минуты на минуту, и лотовой опять уже завывалъ: «дрейфитъ!»

Когда вытравленъ былъ весь канатъ, брошенъ другой якорь, спущены стеньги, и бѣдная «Россіянка» все еще не могла удержаться на мѣстѣ, а выбившись изъ силъ, дрожала и стонала громче и громче; тогда оставалось одно: рубить канатъ и бороться съ ураганомъ подъ нижними парусами. Свистокъ боцмана и краткое *авралъ* раздались надъ люкомъ, и вся команда, деньщики и мастеровые, офицеры и самъ капитанъ не сходили уже съ верху. Отру-

били канаты, поставили, съ величайшимъ трудомъ, нижніе стаксели, штормовую бизань и зарифленный фокъ, чтобы нести сколько можно болѣе парусовъ, четыре лучшихъ рулевыхъ стали на свое мѣсто и лейтенантъ безпрестанно покрикивалъ, глядя на паруса: «придерживайсь — держи круче — клади больше руля, клади смѣлѣй!»

Свободнѣе вздохнула «Россіянка» на просторѣ, смѣло легла на бокъ, взлетала на хребты и спускалась въ пропасти — но не долго могла бороться со свирѣпымъ противникомъ. Бѣдная «Россіянка»! Послушная, бывало, рулю, она катилась, описывая дугу по небосклону, когда старый рулевой клалъ только опытную руку свою на рукоять штурвала; а теперь — руль на бортѣ, фокъ-стаксель убранъ, фокъ изорванъ въ мохры, а она стонетъ, и ныряетъ, и всплываетъ, и летитъ стрѣлой, все по одному направленію забыла отъ страха все, и самую дисциплину, и не идетъ къ вѣтру, не слушаетъ руля!

Когда разсвѣло, «Россіянка» все еще боролась, все еще билась — но ее уже прижало къ приглубому берегу, и нѣтъ надежды на спасенье! Бѣдная! какъ она за ночь измѣнилась! Гдѣ прекрасный, стройный рангоутъ ея, который такъ гордо и смѣло высился подъ небеса? — убранъ, спущенъ, или поломанъ: его уже нѣтъ. «Россіянка» изнемогаетъ, испускаетъ только отъ времени до времени послѣдніе, отчаянные стоны и говоритъ дымящимся жерломъ двадцати-четырехъ-фунтовой каронады: «я погибаю! спасайте, спасайте!» А когда хищныя толпы горцевъ натекли со всѣхъ сторонъ съ высотъ валунами на берегъ, изъявляя неисто-

выми криками радость свою и надежду на богатую добычу, когда толпа эта стала забавляясь стрѣлять въ бѣдствующій фрегатъ, хотя пули и не могли долетать до мѣты, тогда «Россіянка» боролась, какъ разъяренная, издыхающая отъ ранъ львица, въ предсмертныхъ судорогахъ, со стихіями и, въ то же время, грозно мстила дерзкимъ оскорбителямъ своимъ: стоная, изрыгала она огонь и смерть; рыкая какъ звѣрь пустынь африканскихъ, посылала она боевые заряды свои; выстрѣлы раздавались чаще и звучнѣе и, разогнавъ въ одну минуту хищниковъ, казалось, она просила еще убѣдительнѣе прежняго: спасите, спасите! «Россіянка» молитъ и умоляетъ о спасеніи дѣтей своихъ, не о себѣ!

Наконецъ, силы доблестной землячки нашей истощились; страшное волненіе, которое развело западнымъ вѣтромъ во всю ширину бездоннаго моря, на которомъ нѣтъ ни одной отмели, ни одного острова, за исключеніемъ развѣ одного только островка у западныхъ береговъ, извѣстнаго подъ именемъ Змѣинаго, — страшное, громадное волненіе бездонной влаги этой образовало такой прибой къ открытымъ восточнымъ берегамъ, что уже ничего не оставалось, какъ отдаться на произволъ судьбы и думать только о собственномъ своемъ спасеніи.

Надобно отдать нашему Архонту справедливость: онъ былъ хорошій морякъ и офицеръ съ духомъ. Когда гибель сдѣлалась неизбѣжной, онъ самъ принялъ команду, самъ подавалъ примѣръ хладнокровія и разсудительности, и до послѣдней минуты все на фрегатѣ было въ величайшемъ

порядкѣ. Старшій лейтенантъ былъ одинъ изъ тѣхъ страстныхъ моряковъ, которые бываютъ дома только на шканцахъ; земля подъ ногами досаждаетъ этимъ людямъ на каждомъ шагу; если завезти ихъ за сто верстъ отъ портоваго города, то съ ними дѣлается удушье, они погибаютъ, какъ бурная птица, которая тогда только живетъ и дышитъ, когда подъ ревомъ бури скользитъ на распашныхъ крыльяхъ своихъ по зыбучему косогору исполинской волны. Все это много послужило къ чести русскаго флага, къ порядку и повиновенію экипажа, но не могло уже спасти фрегатъ отъ крушенія. Нѣсколько матросовъ вздумали было, по обычаю своему, надѣвать встрѣчу смерти чистыя рубахи; но голосъ старшаго лейтенанта, которому всегда и все повиновалось, не измѣнилъ ему и на этотъ разъ: всѣ возвратились снова къ работѣ. Пушки, якоря и всѣ подручныя тяжести были скинуты въ море, самъ капитанъ наложилъ руку на мачты, и онѣ, въ одну минуту, подъ ударами топоровъ, полетѣли въ море. Боцманъ все еще стоялъ на своемъ мѣстѣ, на бакѣ, и держался одною рукою за обрубокъ мачты своей, а другою за дудку, хотя уже не было подчиненныхъ его, ни фокъ-мачты, ни кливера, ни господина плехта или дагликса, какъ самъ онъ честилъ подвѣдомственные ему якоря; штурманъ стоялъ еще на ютѣ, какъ будто ожидалъ приказаній, между тѣмъ какъ осколки штурвала и румпеля лежали у него подъ ногами; руль скрипѣлъ и разгуливалъ вольно на петляхъ своихъ, и совладать имъ было не чѣмъ. Наконецъ, бѣдную «Россіянку» прижало, выкинуло, повалило на бокъ, и она уже глухо стонала подъ залив-

ными ударами пловучихъ водяныхъ горъ! Смирно и покорно лежала она, предавшись волѣ судьбы, замолкла, не взывала даже болѣе о помощи.

Изъ Сухума увидѣли съ разсвѣтомъ гибель фрегата и пѣхотный батальонъ выступилъ и пошелъ по берегу, на помощь бѣдствующимъ, съ тѣмъ, чтобы по крайней мѣрѣ защитить ихъ отъ ножа абхазцевъ. Русскіе шли на выручку русскихъ — горцы дрались отчаянно, каждый кустъ, каждый камень надобно было брать штыкомъ; обагрила тутъ кровь русская бѣлое тѣло и канула на землю, на черной матери сырой землѣ сливалась съ кровью абхазскою. Батальонъ пробился до мѣста, сталъ на берегу противъ фрегата, разсыпалъ вокругъ цѣпь стрѣлковъ, глядѣлъ спокойно и ожидалъ конца. Пособить было нечѣмъ.

Тогда только капитанъ, собравъ напередъ вокругъ шпиля наскоро военный совѣтъ изъ всѣхъ наличныхъ офицеровъ, — коимъ единодушно было опредѣлено то, что послѣ увидимъ, проревѣлъ глухимъ и сиплымъ голосомъ своимъ: *спасайся!* — самъ же сидѣлъ онъ неподвижно на сѣткахъ, потому-что фрегатъ лежалъ вовсе на боку, и къ счастью еще не вплоть у берега; каждый налетный валъ приподымалъ, подмывалъ его и, отхлынувъ, кидалъ громаду, всею тяжестію ея, на твердый песокъ и камень. Каждый изъ валовъ этихъ окачивалъ съ ногъ до головы всѣхъ; каждый ударъ сбивалъ съ ногъ весь экипажъ, отъ юнги до капитана. За словомъ: спасайся, молодые матросы стали кидаться прямо въ море и пробиваться къ берегу; старые большею частію надѣвали поспѣшно бѣлыя ру-

бахи и потомъ, перекрестившись и выждавъ отступленіе вала, пускались туда же. Старшій лейтенантъ молча кинулъ рупоръ за бортъ и спокойно глядѣлъ вокругъ себя, не нагибаясь даже при налетѣ громадной и отвѣсной, какъ стѣна, волны.

Уже весь экипажъ «Россіянки», до послѣдняго человѣка, выбрался, болѣе или менѣе благополучно, на берегъ: — первые — просто на своихъ ногахъ, а послѣдніе уже съ помощію протянутаго съ фрегата леера, веревки, — а капитанъ, старшій лейтенантъ и Поцѣлуевъ, вызвавшійся охотникомъ, всѣ вмѣстѣ спустились въ гротъ-люкъ. У лейтенанта былъ въ рукахъ артиллерійскій фитиль съ жестяной огневкой, которая уцѣлѣла еще послѣ отчаянной пальбы гибнувшей «Россіянки»; капитанъ, помогая двумъ товарищамъ своимъ стаскивать матросскія койки и что было подъ рукою въ одну кучу, приговаривалъ: «по крайней мѣрѣ голоднымъ волкамъ этимъ не достанется добычи». Затѣмъ, раздули, съ большимъ трудомъ, огонь и зажгли фрегатъ въ трехъ или четырехъ мѣстахъ. Кончивъ дѣло, всѣ трое подумали о собственномъ спасеніи. Капитанъ спустился съ фрегата послѣдній.

Кто не испыталъ неимовѣрной силы прибоя, тотъ не знаетъ, какъ трудно человѣку выбиться на берегъ тамъ, гдѣ, не успѣвъ пройти, по поясъ въ водѣ, десяти шаговъ, онъ снова бываетъ настигнутъ исполинскою волною, залитъ, сбитъ съ ногъ и отнесенъ опять на такое же разстояніе назадъ. Капитанъ и старшій лейтенантъ добились наконецъ кое-какъ до берега; но Смарагда, коего молодыя силы

истощились, разбило подъ самымъ берегомъ о скалы и камни, и матросы вынесли его уже замертво на рукахъ. Нѣсколько матросовъ сами были въ такомъ же состояніи.

Батальонъ выступилъ снова, и снова прокладывалъ себѣ и безоружнымъ товарищамъ своимъ дорогу пулей и штыкомъ. Горцы неотвязчиво и дерзко преслѣдовали отрядъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, почти до самыхъ воротъ крѣпости. Каждый кустъ и каждый камень былъ снова занятъ, и снова надлежало выбивать отчаяннаго непріятеля изъ каждой ямки штыкомъ.

Часто оглядывались моряки наши на дымящіеся остатки своего фрегата! гуще и гуще разстилался дымъ клубомъ, и наконецъ страшный, потрясающій взрывъ возвѣстилъ о кончинѣ и разрушеніи его. «Россіянки» уже нѣтъ; но она умерла геройскою смертію, умерла какъ нѣкогда мать Москва наша, нашъ фениксъ, кинувшись въ ярое пламя. Съ злобною местію горцы усилили натискъ непосредственно послѣ взрыва—но крѣпостныя ядра разсѣяли толпы дерзкихъ хищниковъ, ворота растворились и приняли гостепріимно бездомныхъ скитальцевъ.

ГЛАВА XVIII.

СУХОЖИЛЬНОЕ ПРИВИДѢНІЕ.

Въ Николаевѣ нашего Поцѣлуева начали уже забывать тѣмъ болѣе, что баронъ, этотъ неотступный дядька его, и самъ, вслѣдъ за Смарагдомъ, какъ мы это вскорѣ увидимъ,

уѣхалъ. Вспоминала о Смарагдѣ, какъ говорятъ, Надя, и то про себя, да вспоминали кой-какія маменьки, покуда не обзавелись новымъ адъютантомъ, провожатымъ и подручникомъ. Сплетни уснули. Въ Севастополѣ, напротивъ, гдѣ Смарагдъ мелькнулъ падучею звѣздою, гдѣ его въ домахъ почти не знали и не видали, между тѣмъ какъ молва разгласила, менѣе чѣмъ въ сутки, по цѣлому городу геройскій подвигъ его, — въ Севастополѣ онъ былъ и за глаза въ чести и въ славѣ, и всѣ хотѣли его видѣть. Дѣвица, которую онъ спасъ, была въ то время царицей тогдашняго севастопольскаго общества; все кружилось въ свѣтскомъ вихрѣ у подножія престола ея; походный жертвенникъ воздвигался передъ нею всюду, гдѣ бы она ни явилась, куда бы ни пошла — и ѳиміамъ на немъ не угасалъ; жрецовъ неутомимыхъ было много. Поэтому и не мудрено, что происшествіе надѣлало много шуму въ городѣ; а какъ никто въ своей землѣ пророкомъ не бываетъ, то Смарагду очень кстати пришлось явиться передъ подвигомъ своимъ съ чужой стороны и отплыть опять за море. Кто онъ? откуда? каковъ онъ собой? на кого похожъ? — это составляло любимую бесѣду севастопольскаго общества, въ теченіе первыхъ двухъ недѣль; прекрасная незнакомка наша, алѣя и краснѣя, должна была сто разъ на день давать объ этомъ отвѣтъ и отчетъ любопытнымъ. Впрочемъ, темная молва о похищенномъ поцѣлуѣ разнеслась даже и до Севастополя; но это придавало молодому мичману, въ глазахъ многочисленныхъ партизанокъ его, еще болѣе занимательности.

Между тѣмъ какъ его забывали въ Николаевѣ и припо-

минали въ Севастополѣ, нашего Смарагда внесли въ Сухумскія ворота на солдатскомъ плащѣ; молодой мичманъ все еще былъ безъ памяти. Много народу, по крайней мѣрѣ для Сухума, гдѣ праздной толпы почти нѣтъ — много людей сошлось у крѣпостныхъ воротъ, — встрѣтить бѣдствующихъ. Тутъ же стоялъ и старикъ, высокій, благовидный, въ весьма потертомъ мундирномъ сюртукѣ, безъ эполетъ или погоновъ, съ лицомъ выразительнымъ и благороднымъ. Въ общности, осанка его бросалась въ глаза и располагала очень въ его пользу; въ частности, какая-то отличительная черта по обѣ стороны сомкнутыхъ губъ, по угламъ устъ, придавала лицу его выраженіе умнаго, разсудительнаго, честнаго человѣка, сильнаго духомъ и покорнаго судьбѣ. Замѣчу мимоходомъ, что черта эта въ особенности свойственна русскому лицу подобнаго покроя.

Когда четыре мушкатера, несшіе Поцѣлуева, поровнялись съ незнакомымъ старикомъ этимъ, онъ вздохнулъ глубоко, снялъ фуражку, перекрестился и спросилъ ихъ: «живъ?» — Живъ, никакъ, — отвѣчали мушкатеры, — только ошибъ обморокъ. — Старикъ подошелъ скорыми шагами къ стоявшему тутъ же коменданту, снялъ передъ нимъ фуражку, и, не накрываясь во все время разговора, просилъ позволенія принять на руки и въ домъ этого раненаго офицера. Получивъ на это позволеніе, онъ догналъ мушкатеровъ и воротилъ ихъ во второй или въ третій домишко съ краю отъ крѣпостныхъ воротъ.

— Спаленку очистить, Груша, — сказалъ онъ вошедши женѣ своей, — я постояльца привелъ! Оленька, — продол-

жалъ онъ, обратившись къ дѣвочкѣ лѣтъ двѣнадцати, — бѣги, Оленька, къ кумѣ, къ сосѣдкѣ, проси, чтобъ скорѣе велѣла отыскать кума, Ивана Дмитрича; скажи, что человѣкъ умираетъ: пусть не мѣшкаютъ.

Поцѣлуева положили на постель, раздѣли, обмыли съ него кровь; Иванъ Дмитричъ, штабъ-лекарь, явился тотчасъ на зовъ кума и сдѣлалъ все какъ умѣлъ, худо ли, хорошо ли, какъ учили его въ былое время каѳедральные заклинатели жизни и смерти. Смарагдъ пришелъ въ себя, и первое лицо, на которое вслѣдъ затѣмъ упали тусклые взоры его, было блѣдное, худощавое и темножелтое лицо — знакомаго намъ человѣка: барона Губерта Рудольфовича Адель-фонъ-Адельсбурга; онъ опять уже стоялъ Наполеономъ у изножья кровати, морщился, хмурился, стягивалъ губы въ жемокъ и съ участіемъ глядѣлъ на бывшаго своего односума. Смарагдъ невольно опять зажмурился и старался сообразиться и опомниться; но Николаевъ, Севастополь, «Россіянка» и Сухумъ — сливались для него вмѣстѣ; милая, незлобная Надя — и несносный, незванный свидѣтель, очаровательная, черноглазая гречанка — и страшное привидѣніе утопленницы, несчастной тетки ея, которую Смарагдъ видѣлъ въ безпамятствѣ своемъ; рѣзвая и могучая среди необъятнаго, зеленаго моря «Россіянка» — и неистовый ревъ урагана, оглушительный гулъ водяныхъ громадъ, и мѣрный, потрясающій душу стукъ киля о твердое дно морское; — наконецъ мягкая постель, которая не качается качелями и стоитъ на своихъ ногахъ; общая тишина и спокойствіе, и тутъ же ненавистное лицо рыцаря въ пѣхотномъ мун-

дирѣ — все это слилось для Смарагда въ какую-то несвязную грезу; предавшись волѣ судьбы, онъ зажмурился и спокойно ожидалъ развязки.

ГЛАВА XIX.

КОМИССАРЪ 13 КЛАССА СУХОДОЛЬНЫЙ.

Лѣтъ тому семьдесятъ, и десяткомъ больше или меньше, было время знаменитое. Двѣ войны съ Польшей и возвращеніе Россіи шести нынѣшнихъ губерній, населенныхъ не поляками, а русскими; двѣ войны съ Турціей, и тутъ опять расширеніе предѣловъ на югъ и подчиненіе Крыма; война со Швеціей, война съ Персіею; Суворовъ, Румянцевъ, Орловъ, Потемкинъ, Державинъ; новые *наказы: уложенія, учрежденія* — основаніе академій, введеніе ассигнацій; а между тѣмъ надобно было смирять и внутреннія смуты: Пугачева, яицкихъ казаковъ, чуму; обо всемъ этомъ много разсказывалъ Иванъ Степановичъ Суходольный, который охотнѣе всего разговаривался, когда его звали за-просто старикомъ, дѣдушкой, не поминая ни родомъ, ни племенемъ, ни званіемъ.

Иванъ Степановичъ былъ на вѣку своемъ и совѣстнымъ судьею, завѣдывалъ и приказомъ призрѣнія, когда всѣ заведенія эти и опекунскіе совѣты только-что учредились; былъ онъ потомъ и намѣстникомъ одной изъ понизовыхъ губерній; и наконецъ, важивалъ, въ свое время, умную и громкую рѣчь и въ сенатѣ, когда только-что раздѣлили его на департаменты; словомъ, Иванъ Степановичъ былъ

на свой вѣкъ человѣкомъ. Но нашлись люди, которые не взлюбили громкую и сильную рѣчь его и прямиковое слово: стали подыскиваться подъ Суходольнаго, очернили его; кровь въ немъ закипѣла ключомъ — Иванъ Степановичъ сталъ оправдываться горячо, можетъ быть гораздо жарче, нежели слѣдовало, и кончилъ тѣмъ, что далъ оплеуху такому человѣку, который битъ по щекамъ еще не бывалъ. Разумѣется, что тутъ не могло уже быть никакого оправданія. Суходольнаго услали на жительство въ Березовъ; — пусть-де его тамъ горячится, помаленьку простынетъ.

Но Иванъ Степановичъ не простылъ и не остылъ, хоть и зябъ иногда, сказываютъ, въ земляникѣ своей. Никогда и ни на кого не пенялъ онъ за участь свою; онъ говорилъ напротивъ, что ему было бы больно за правосудіе отечества своего, если бы онъ не былъ наказанъ. Но Иванъ Степановичъ и на восьмидесятомъ году говорилъ съ тѣмъ же жаромъ, рѣзалъ такую же отчаянную правду; глаза у него все еще сверкали звѣздочками, кровь вступала въ лицо, когда начиналъ онъ разсказывать, какъ что было, и какъ бы, по его, чему быть слѣдовало.

Отъ первой, скончавшейся жены, у Ивана Степановича дѣтей не было; онъ нашелъ себѣ сибирячку, рослую, здоровую, умную, женился на 50 году и прижилъ сына. Иванъ Степановичъ жилъ съ хозяйкою своею и сыномъ трудами рукъ своихъ: бѣдно, скудно, но жилъ не кланяясь никому; отказавшись навсегда отъ головоломной работы, отъ всѣхъ затѣй, надеждъ и замысловъ, желая быть тѣмъ, чѣмъ его теперь сдѣлали, Иванъ Степановичъ взялъ топоръ въ

руки, и, по примѣру знаменитаго предшественника своего въ Березовѣ, сдѣлался плотникомъ. Суходольный, дѣйствительно, на старости лѣтъ, топоромъ своимъ заработывалъ себѣ и своимъ насущный хлѣбъ. Пусть читатель заключитъ изъ этого о силѣ духа и твердости воли Суходольнаго.

Рожденный, вспоенный и закаленный въ бѣдствіяхъ, сынъ его Степанъ немногимъ чѣмъ развѣ отсталъ отъ отца. Когда же милостивое прощеніе дошло изъ отдаленной столицы до концесвѣтнаго Березова, то Суходольный лежалъ уже на одрѣ смерти; но онъ сказалъ, заливаясь слезами, сыну: «— Видишь ли, Степанъ, что русскіе цари старыхъ слугъ своихъ, и виноватыхъ, не забываютъ? Ступай, когда схоронишь меня, да служи: руки, ноги у тебя здоровыя, далъ Богъ и голову на плечахъ не хуже чѣмъ у людей, а инаго, Степанъ, мы съ тобою и за поясъ заткнемъ; ступай да служи, отслуживай за меня, я остался въ долгу. Большимъ человѣкомъ не быть тебѣ, есть тамъ безъ насъ, и съ именемъ, и съ чинами; да и не въ томъ сила: свой кругъ данъ всякому; гдѣ Государь указалъ быть мѣсту, тамъ нуженъ и человѣкъ: надолбу не поставишь и въ повытчики. Мать-государство наше разростается во всѣ концы: гдѣ были степи, тамъ стоятъ города — вездѣ нужны люди; а ты, Степанъ, будешь человѣкомъ, это могу сказать тебѣ теперь потому, что съ того свѣта уже не отзовусь. Ступай и служи; иди противъ неправды, ѣшь хлѣбъ, къ которому ты, благодаря Бога, уже привыкъ, да запивай его водой, а за правду стой; но не бери примѣра съ отца, не горячись: гдѣ силъ твоихъ нѣтъ, тамъ терпи да молчи.»

Недѣли черезъ двѣ, Степанъ положилъ отца въ могилу, въ мерзлую землю, которая во вѣки вѣковъ на глубинѣ не отходитъ, потому что морозъ прохватываетъ ее глубже, чѣмъ тепло солнечное. Матери Степана, вдовѣ, не хотѣлось заѣзжать въ Россію, какъ сибиряки называютъ нашу, европейскую половину государства, и Степанъ отправился одинъ, — *служить* по завѣщанію отцовскому, гдѣ случится.

Что же сдѣлалъ Степанъ нашъ и гдѣ и какую онъ сыскалъ себѣ службу государеву? Ему было уже 38 лѣтъ: онъ не зналъ, да и не заботился о томъ, осталось ли за нимъ родовое дворянство отцовское, или было оно утрачено ссылкою; трудовая, рабочая жизнь его, — а отецъ поставилъ уже и Степана въ хорошіе плотники, — жизнь эта была въ разладицѣ съ приказной строкой; Степану больно не хотѣлось упражняться съ утра до поздней ночи въ чистописаніи; думалъ онъ было идти въ солдаты, да вспомнилъ про новые города, о которыхъ говорилъ ему отецъ, пошелъ въ услуженіе къ чиновнику, который ѣхалъ изъ Казани въ Херсонъ, и тамъ записался охотою въ матросы.

Это была жизнь по немъ; жизнь работящая, ѣда плотная и сытная; будь проворенъ, будь расторопенъ, держи ухо на чекѣ, да и думай о томъ что дѣлаешь. и смекай; держи въ головѣ и помни сорокъ сороковъ галсовъ, шкотовъ, гитовыхъ и буленей, мечись за словомъ какъ угорѣлый, да дѣлай дѣло съ толкомъ; самого чорта не бойся, полѣзай въ него, коли велятъ, страсти не знай, да зато уже о горохѣ, кашѣ, солонинѣ и чаркѣ водки не заботься,

есть всегда. Это Степану Суходольному полюбилось; черезъ годъ со днемъ сталъ онъ матросъ отличный; бывало, летомъ летитъ по вантамъ, бѣгомъ по рею, и верхомъ на нокъ, къ штыкъ-боуту, и сидитъ и управляется вольно и смѣло, что̀ казакъ на конѣ. Произвели его въ первую статью, потомъ, какъ грамотнаго и бывалаго, сдѣлали рулевымъ, произвели и въ квартирмейстеры, въ боцманъ-маты, въ боцманы, а наконецъ, въ 14 классъ и перевели въ комиссары. Нынѣ Степанъ Суходольный все еще служилъ, въ чинѣ 13 класса, комиссаромъ при черноморскомъ флотѣ. Ему уже было лѣтъ подъ шестьдесятъ.

ГЛАВА XX.

ПОЦѢЛУЙ № 3-й.

Когда Поцѣлуевъ отдохнулъ немного, выпилъ чаю и опомнился, сталъ онъ наконецъ спрашивать, гдѣ онъ и что съ нимъ? — и услышалъ, что онъ въ Сухумѣ, у комиссара 13 класса Суходольнаго. Первая мысль затѣмъ была: а баронъ? какъ онъ сюда попалъ, если я лежалъ не въ бреду? Но Степанъ Ивановичъ могъ сказать только то, что капитанъ фонъ-Адельсбургъ былъ переведенъ въ здѣшній гарнизонъ недавно и прибылъ всего съ мѣсяцъ, на транспортномъ суднѣ «Грузный», приходившемъ въ Сухумъ прямо изъ Николаева съ разными снарядами и припасами. Мы знаемъ больше, и не утаимъ дѣла: послѣ командировки почтеннаго рыцаря въ Николаевъ, на него взвели еще новую пеню: открылось, что у него былъ въ

Могилевѣ опять какой-то поединокъ, по поводу мнимой или дѣйствительной обиды, нанесенной какимъ-то прапорщикомъ одной изъ могилевскихъ дѣвицъ. За эту новую неугомонность свою, баронъ былъ переведенъ, вскорѣ по отъѣздѣ Смарагда изъ Николаева, въ Сухумъ, куда и поспѣлъ прежде его. Узнавъ въ принесенномъ на плащѣ мичманѣ бывшаго камрада своего, благородный баронъ поспѣшилъ за нимъ, помогалъ его раздѣвать и укладывать, и предлагалъ хозяину, Суходольному, всѣ возможныя услуги и помощь свою. Онъ въ эту минуту воображалъ, что соединяетъ въ себѣ, въ одномъ лицѣ, рыцаря и сестру милосердія.

Поцѣлуеву не только довелось перелѣтовать въ Сухумѣ, но онъ жилъ тамъ до слѣдующей весны. Вѣсть о гибели фрегата дошла въ Севастополь не скоро, такъ какъ сухимъ путемъ сообщенія съ Сухумомъ нѣтъ; а позднею осенью посылать суда къ абхазскому берегу опасно, потому-что рейдъ, стоянка, вовсе открытый, и защиты отъ вѣтровъ нѣтъ. Такимъ образомъ одинъ только капитанъ, съ нѣсколькими офицерами, перевезены были въ Севастополь на люгерѣ или тендерѣ, зашедшемъ въ Сухумъ съ бумагами, а остальная часть экипажа, и въ томъ числѣ Поцѣлуевъ, остались тамъ зимовать.

Команда и офицеры исправляли въ крѣпости гарнизонную службу. Въ этомъ отношеніи десять или одиннадцать мѣсяцевъ протекли довольно однообразно, за исключеніемъ вылазки или поиска въ горы, гдѣ задавали небольшой урокъ дерзкимъ сосѣдямъ, угонявшимъ скотъ изъ-подъ

самой крѣпости. Такая наука всегда помогала на нѣсколько мѣсяцевъ, а потомъ надобно было опять напомнить прошлое. Поцѣлуевъ при семъ случаѣ узналъ нѣсколько этотъ родъ войны и самихъ горцевъ, тѣмъ болѣе, что дѣло не кончилось выжегомъ нѣсколькихъ ауловъ: сильныя толпы стеклись для нападенія на небольшой отрядъ; завязывалась нѣсколько разъ рукопашная драка, и Смарагду удалось влѣзть съ матросами своими въ завалъ, отъ котораго отчаянные горцы, съ ножами въ рукахъ, съ неистовымъ крикомъ, уже дважды сряду отбили отчаяннаго барона. Какъ баронъ, такъ и Поцѣлуевъ, оба были ранены при этомъ; баронъ тяжело, пулею въ грудь, а Смарагдъ легко, но славно: обоюдоострымъ кинжаломъ въ плечо на-вылетъ. И когда, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, напечатано было въ «Инвалидѣ»: «за отличіе въ сраженіи противъ горцевъ, мичманъ Поцѣлуевъ, орденомъ св. Анны 4-й степени», то Смарагдъ, привинчивая крестикъ свой къ саблѣ, поцѣловалъ его безъ всякаго ханжества. Поэтъ нашъ чувствовалъ, что заслужилъ кровью своею эту награду, и потому она была ему дорога.

Но все это въ разсказѣ нашемъ не главное; главное и существенное для насъ то, что Смарагдъ спознался коротко съ почтеннымъ, въ полномъ смыслѣ слова, хозяиномъ своимъ, у котораго былъ во все время, и долженъ былъ его глубоко уважать. Безкорыстная и беззаботная къ себѣ самому душа, онъ только и дышалъ службою, былъ вѣренъ какъ замокъ, честенъ какъ добрая сума, изъ которой, что положишь, то и вынешь; праводушенъ, какъ

олицетворенная истина. Комендантъ самъ сказалъ однажды въ разговорѣ съ Поцѣлуевымъ: «Хотя Суходольный и не нашего, т. е. не армейскаго, вѣдомства, но у меня здѣсь нѣтъ человѣка, на котораго я бы могъ положиться, какъ на него; я не могу и самъ себѣ приказывать такъ, какъ ему, и поручаю Суходольному многое, болѣе, чѣмъ слѣдовало бы по званію его.»

Главное также, что Смарагдъ не менѣе того уважалъ и хозяйку свою, урожденную лезгинку или кахетинку, взятую двухлѣтнимъ ребенкомъ на одномъ изъ дальнихъ поисковъ соединенныхъ отрядовъ внутри земель и съ приморья. Только лицо и станъ напоминали въ ней горскую кровь; сама она обрусѣла совершенно, выросла въ домѣ у зажиточнаго отца семейства и получила очень порядочное образованіе. Природа одарила ее умомъ и сердцемъ, воспитаніе дало тому и другому хорошее направленіе; таковъ человѣкъ: между Ньютономъ и дикаремъ-людоѣдомъ, который считаетъ только до семи, вся разница, все различіе въ одномъ воспитаніи; обмѣните ихъ въ колыбели, и одинъ легко могъ бы сдѣлаться другимъ.

Главное еще, что ребенокъ Ольга необыкновенно привязалась къ Смарагду, а онъ не менѣе того къ ней. Она была ученицей его, и время, годъ этотъ, не пропалъ ни для него, ни для нея. Начиная съ гитары своей и почти до теоріи и практики кораблевожденія Гамалѣя, Смарагдъ передалъ Ольгѣ все, что зналъ самъ. У коменданта нашелся очень порядочный подборъ книгъ; почти все было перечитано въ теченіе длинныхъ зимнихъ вечеровъ, ко-

торые хотя въ Сухумѣ гораздо короче нашихъ петербургскихъ, но все еще довольно длинны, если сидѣть взаперти въ крѣпостныхъ стѣнахъ. Смарагдъ не ходилъ почти никуда; ему дома было такъ хорошо, такъ укромно, пріютно, весело, что онъ не хотѣлъ болѣе ничего, какъ сидѣть съ Оленькою, да иногда еще побесѣдовать съ матерью ея и старикомъ Суходольнымъ. Старикъ и жена его, Анна Ивановна, полюбили Смарагда какъ сына; и если не было на свѣтѣ мичмана, который бы смотрѣлъ съ такимъ внутреннимъ благоговѣніемъ на комиссара 13 класса, то вѣрно не было на свѣтѣ и другаго комиссара 13 класса Суходольнаго.

Баронъ, правда, опять было пытался нѣсколько разъ отклонить Смарагда отъ неприличной связи съ семействомъ комиссара 13 класса. — 13 класса! — восклицалъ баронъ, и волосъ на немъ подымался дыбомъ; — 13 класса! — я самъ спрашиваю, что это такое? Но Смарагдъ уже болѣе барону не поддавался, былъ съ нимъ холоденъ, малословенъ и дѣлалъ, что хотѣлъ. Баронъ наконецъ понялъ это, горько самъ себѣ плакался на неблагодарность людскую и оставилъ Смарагда въ покоѣ.

Когда, на слѣдующую весну, Смарагдъ спускался вечеркомъ съ небольшою командою дровосѣковъ, вооруженныхъ ружьями и полнымъ числомъ боевыхъ патроновъ, съ приморскихъ горъ, и вдругъ услышалъ радостные клики матросовъ: — Гляди-ка, пришелъ фрегатъ! и то пришелъ? это за нами небось! да это никакъ Лександра», — то есть Александра — когда Смарагдъ услышалъ это и, глянувъ, уви-

дѣлъ передъ собою необъятное, безконечное море и флагъ съ андреевскимъ крестомъ по бѣлому полю на сухумскомъ рейдѣ—то призадумался, хотя, по совѣсти, самъ не зналъ о чемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что ему хотѣлось выдти наконецъ изъ Сухума, гдѣ ему вѣкъ вѣковать не приходилось; но ему что-то взгрустнулось.

Сколько неисправимый, до времени, поэтъ нашъ призадумался тутъ самъ надъ собою, надъ тѣмъ, что было съ нимъ и что будетъ; и сколько была тутъ виновата Оленька, которой, впрочемъ, всего только на-дняхъ минуло, вѣрнымъ счетомъ, столько же лѣтъ, сколько на отцѣ ея было класнаго чину — этотъ вопросъ и рѣшить не возьмусь. Привязанность была дѣтская, братская, но запала Смарагду въ душу глубоко; прощаясь съ Оленькою, онъ поцѣловалъ ее, въ присутствіи родителей, и отдалъ ей на память—завѣтный перстенекъ спасенной имъ Маріи.

ГЛАВА XXI.

ОПЯТЬ ТОСКА.

Въ этой главѣ и въ слѣдующей мы захватимъ, для ровнаго счету и сравнительнаго соображенія, по три года жизни Смарагда, потому что пишемъ не дневникъ его, а только перечень извѣстнаго участка его жизни.

Когда Смарагдъ нашъ воротился въ Николаевъ, то онъ былъ, правда, еще нѣсколько времени въ этомъ вдохновенномъ состояніи, искалъ еще на пути своемъ вправо и влѣво розъ и незабудокъ, лилій и фіалокъ — но даже и

эти невинные цвѣточки напоминали ему докучливый щитъ и гербъ несноснаго барона, и юношескаго пыла хватило не надолго; Смарагдъ иногда не доискивался цвѣтнаго стеклышка своего, а иногда оно было мутно и тускло и плохо ему служило.

Смарагдъ вошелъ на 22 году въ тѣ лѣта, въ которыя вступаютъ иные раньше, иные позже, но которыхъ человѣку съ душой ни обойти, ни объѣхать: это неминуемое послѣдствіе нашего образованія и воспитанія, ставящее насъ ножемъ къ ножу и зѣвъ въ зѣвъ со свѣтомъ, гдѣ доводится жить. Мечта, которая поддерживается и развивается въ насъ воспитаніемъ, и сущность, которую находятъ въ свѣтѣ, вмѣсто мечты своей,—это собака съ кошкой: имъ ужиться нельзя, тѣмъ болѣе, что они щенкомъ и котенкомъ не свыклись, а сходятся въ первый разъ, собака—когда уже перегодовала, а кошка—старымъ и третьимъ котомъ. И кошка беретъ верхъ: не силою своею, а когтями, которые всегда держитъ про запасъ въ пушистыхъ своихъ рукавичкахъ.

Смарагдъ не ходилъ уже, какъ бывало прежде, безъ разбору во всѣ дома, гдѣ только крылечко усыпано песочкомъ и хозяинъ или хозяйка говорятъ всякому: «милости просимъ»; Смарагдъ не обнималъ уже болѣе встрѣчнаго и поперечнаго со слезою блаженства на глазахъ, а цѣловался съ людьми только въ Пасху, и то потому, что это такъ заведено; Смарагдъ давно уже пересталъ искать вдохновительнаго поцѣлуя, давно уже не высыпалъ всей сокровищницы сердца своего передъ всякимъ, кто подаетъ ему

улыбаясь руку; Смарагдъ видѣлъ уже въ начальникѣ своемъ только начальника, въ смыслѣ служебномъ — и прочее. Кромѣ того, жизнь его поневолѣ походила на жизнь азіятца, то-есть была тупа, бездѣйственна и тунеядна. Но то, съ чѣмъ или при чемъ благоденствуетъ турокъ, убиваетъ европейца, коего душа требуетъ дѣятельности. Самые даже итальянцы бѣгаютъ отъ нечего дѣлать по улицамъ и кричатъ другъ другу во все горло: fa fredo, signore, или fa caldo. Смарагдъ жаждалъ познаній, душа его требовала постоянныхъ, урочныхъ и полезныхъ занятій — а между тѣмъ онъ носилъ ее съ собою въ караулъ, на знаменитую гауптвахту въ молдаванскомъ домѣ, иногда на перекличку въ казармы у вольнаго дока, носилъ какъ гостью, какъ чужую, и самъ видѣлъ, что этой пищи для нея было недостаточно. Вотъ почему поэтъ нашъ годъ съ небольшимъ пробился, а тамъ начала его одолѣвать тоска, сердце стало изнывать, не зная по комъ и по чемъ, душа надсѣдалась, умствуя, утѣшая и болѣя сама; и бѣдный Смарагдъ не зналъ куда самому отъ себя дѣваться.

Въ это время на него находили полосами, шквалами, минуты отчаянья, кои, послѣ безсонницы, оканчивались общимъ изнеможеніемъ и отраднымъ сномъ; находили полосами дни и недѣли, въ которыя онъ мечталъ быть то опять-таки поэтомъ, то математикомъ, то живописцемъ, то хотѣлъ сдѣлаться, по призванію, филологомъ и начиналъ учиться по-гречески и по-латыни; а наконецъ, совершенно отчаявшись во всякой способности своей, во всякомъ успѣхѣ, вспомнилъ Степана Ивановича Суходольнаго и разсказъ

про отца его, пошелъ въ науку къ столяру, съ тѣмъ, чтобы дослужить казенные годы, выдти въ отставку, бросить все и сдѣлаться столяромъ. Послѣднее вамъ покажется нелѣпо; вы скажете: надобно съ ума сойти, чтобы такая мысль зашла въ голову; а я и вамъ и всякому другому, кто только увидитъ себя въ такомъ состоянiи, какъ былъ тогда Смарагдъ, отъ души посовѣтую послѣдовать его примѣру. Утомленiе тѣлесныхъ силъ всего скорѣе и лучше выручитъ васъ изъ этого гибельнаго состоянiя, съ которымъ вамъ придется бороться долго, если захотите пересилить его однимъ только разсудкомъ. А что вы будете знать столярную работу, такъ это вамъ уже конечно нигдѣ и ни въ чемъ помѣхою не будетъ.

Смарагда, при нынѣшнемъ положенiи его, сильно подмывало на какое-нибудь путешествiе, куда бы то ни было, только бы подальше и надолго; но у него не было ни средствъ, ни возможности исполнить мечты свои и онъ поневолѣ довольствовался тѣмъ, что сходилъ въ одно лѣто на канонерской лодкѣ въ Измаилъ и Килiю; а въ другое,— простоялъ на очаковской брантвахтѣ и стрѣлялъ съ отчаянья куликовъ и утокъ на кинбурнской косѣ. Зиму проводилъ онъ, какъ описалъ я выше.

Между тѣмъ, случилось вотъ что: Поцѣлуевъ былъ на званномъ вечерѣ у капитана надъ портомъ, гдѣ хозяйка, отъ нечего дѣлать, спросила у только-что возвратившагося отъ абхазскихъ береговъ лейтенанта, что подѣлываетъ въ Сухумѣ этотъ вытяжной чудакъ, баронъ, котораго мудреное прозванiе она никогда не могла упомнить. «Знаю», отвѣ-

чалъ лейтенантъ, «Адель-фонъ-Адельсбургъ; онъ, бѣдняжка, совсѣмъ состарѣлся, сморщился пуще прежняго, страдаетъ отъ тяжелой раны, съ которою няньчится уже года съ два, и съ горя вздумалъ нынѣ жениться — и на комъ бы вы думали, сударыня? этотъ пышный, великолѣпный баронъ, женится на дочери коммисара 13 класса!»

Слушатели заохали и заахали со всѣхъ сторонъ. Смарагдъ вспыхнулъ, потомъ обомлѣлъ, но собрался съ духомъ и спросилъ тутъ же: «а кто таковъ этотъ коммисаръ и какъ его зовутъ, вы не знаете?» — Суходольный, — отвѣчалъ лейтенантъ. — Это человѣкъ замѣчательный; вы вѣрно слышали объ немъ, когда зимовали въ Сухумѣ; мудрецъ въ своемъ родѣ, если хотите, и не только на словахъ, а на дѣлѣ; но человѣкъ немножко безпокойный, и потому его держатъ отъ себя подальше. Отецъ его былъ извѣстный вельможа Екатерининскихъ временъ, столбовой дворянинъ, и былъ, кажется, сосланъ. Нашъ баронъ, доискавшись этого родоваго дворянства Суходольнаго, ухватился за него, какъ стаксель за свой лееръ: по немъ подымается, по немъ и спускается; хочетъ, видно, дожить остальной вѣкъ свой рука объ руку съ милой подругой; а невѣста, въ самомъ дѣлѣ, очень хороша, хотя еще почти ребенокъ; мать ея лезгинка, и у дочери горскій складъ и станъ. Баронъ, кромѣ того, за одинъ разъ хочетъ спасти честь погибавшаго дворянскаго поколѣнія и принять, если дозволятъ, прозваніе: Адель-фонъ-Адельсбургъ-Суходольный.

Смарагдъ, самъ не зная отчего и зачѣмъ, такъ былъ встревоженъ этою вѣстью, что провелъ ночь въ безсонницѣ.

Онъ не зналъ куда дѣвать голову и сердце свое, на него нашелъ какой-то тупикъ, столбнякъ, дурь, хандра, когда услышалъ онъ случайно, что капитанъ-лейтенантъ Балтійскаго флота Кожинцовъ назначенъ командиромъ шлюпа «Благодатный» и отправляется на немъ, весною, вокругъ свѣта. Кожинцовъ служилъ прежде въ морскомъ корпусѣ и былъ учителемъ Поцѣлуева, преподавая въ то время *высшую теорію и морскія эволюціи*. Смарагдъ рѣшился писать къ нему съ первою почтою, напомнить о себѣ скромненько и просить убѣдительно службы и мѣста на «Благодатномъ».

Не прошло шести недѣль, какъ Смарагдъ получилъ лестное письмо отъ добраго, благороднаго Кожинцова и вслѣдъ за тѣмъ состоялся приказъ по Черноморскому флоту о переводѣ Поцѣлуева въ Кронштадтъ, съ назначеніемъ на отправляющійся въ *дальній вояжъ* шлюпъ «Благодатный».

ГЛАВА XXII.

ОГЛЯНУЛСЯ.

Вотъ вамъ и три года; а другіе три протекли съ такою же неуловимою быстротою, покуда Смарагдъ пріѣхалъ въ Кронштадтъ, покуда шлюпъ собрался, вооружился, отплылъ, обошелъ много земель и морей, материковъ и острововъ, и снова воротился.

Счастливъ былъ Смарагдъ, когда страстныя желанія его сбылись, когда онъ поскакалъ безъ оглядки изъ пыльнаго или грязнаго Николаева;— когда ходилъ гордо въ военную

гавань въ Кронштадтѣ, на *вооруженіе* своего шлюпа, когда наконецъ шлюпъ вытянулся на рейдъ, угостилъ на себѣ знать кронштатскую и тутъ же снялся съ якоря; взмахнулъ крылами, отдалъ Кронштоту громогласно честь—и полетѣлъ на долгое-долгое плаваніе, по чужимъ морямъ, по чужимъ землямъ. Счастливъ былъ, говорю, Смарагдъ, когда перевелъ духъ на свободѣ: покинувъ за собою всю суету суетъ, забывъ на время и сокрушавшее его горе; но счастливъ только въ мечтахъ, заглушивши, такъ сказать, временно вопіющій голосъ пробудившейся души своей; но когда Смарагдъ воротился, когда на третье лѣто послѣ отплытія своего, «Благодатный» самъ себя поздравилъ, огибая опять Кронштотъ, съ благополучнымъ прибытіемъ на родину, тогда уже нашъ Смарагдъ былъ не тотъ; онъ былъ счастливъ въ душѣ, по опыту, по убѣжденію. Да, Смарагдъ вступилъ на «Благодатный» молодымъ, по опыту въ жизни, мичманомъ, а сошелъ съ него старымъ, опытнымъ, бывалымъ лейтенантомъ, который пріобрѣлъ себѣ уже имя, славу отличнаго моряка, пріобрѣлъ вѣсъ и значеніе между товарищами, общее уваженіе между младшими, старшими и равными, какъ человѣкъ умный, свѣдущій, добрый и вполнѣ благоразумный. Въ продолженіе этихъ трехъ лѣтъ, Смарагдъ спознался самъ съ собою и съ людьми, примирился опять со свѣтомъ, нашелъ точку, гдѣ держался въ равновѣсіи со внѣшнимъ міромъ и стоялъ твердо, увѣренно, самобытно. Въ это же время Смарагдъ вовсе пересталъ писать стихи, но принялся съ особенною охотою за прозу; онъ увидѣлъ, что въ немъ не было настоящаго призванія

къ поэзіи, что все это была одна только вспышка молодости, и онъ взялся за прозу. Прозой писать хорошо, ясно и четко долженъ умѣть всякій образованный человѣкъ; за стихи не берись никто, кромѣ урожденнаго поэта.

Смарагдъ испыталъ и пріобрѣлъ на перепутьи этомъ, въ теченіе трехъ лѣтъ, друга, коимъ онъ, по всей справедливости, гордился, въ которомъ онъ души не чаялъ, любилъ и уважалъ самого себя только въ немъ. Это былъ именно академикъ Темниковъ, отправившійся на «Благодатномъ» для ученыхъ изслѣдованій. Въ молодомъ человѣкѣ этомъ обширныя свѣдѣнія по всѣмъ почти частямъ и отраслямъ наукъ слиты были, если посмѣю такъ выразиться, съ умнымъ сердцемъ и чувствительнымъ умомъ; то есть, въ самомъ умѣ его было что-то нравственное, было чувство, а не одна только холодная, отвлеченная ученость; а въ чувствахъ, въ игрѣ страстей, что-то думное, разсудительное. Они сошлись со Смарагдомъ по взаимному влеченію, и когда обнялись въ первый разъ и подали одинъ другому руку на братство, то оба прослезились; оба, съ какимъ-то страннымъ смѣшеніемъ уничиженія и чувства собственнаго достоинства, молча пожали другъ другу руку и не умѣли высказать, что было на душѣ.

Смарагдъ не только въ эти три года пріобрѣлъ отъ друга своего хорошія и основательныя свѣдѣнія по многимъ отраслямъ науки, но, что еще важнѣе, онъ научился быть человѣкомъ, научился уважать себя самого; а безъ этого, хоть и выйдешь въ люди, да человѣкомъ быть нельзя. Смарагдъ видѣлъ свѣтъ, въ буквальномъ смыслѣ, потому

что обошелъ его изъ конца въ конецъ, кругомъ; опытность, пріобрѣтаемая только путешествіями, и дружба Темникова поселили въ Поцѣлуевѣ какую-то людскость, обходительность, ладъ и мѣру въ житейскомъ быту, которую нельзя передать на словахъ, и которую даже не всякъ способенъ перенять на дѣлѣ.

Поцѣлуевъ часто разсказывалъ Темникову объ этомъ дивномъ явленіи, коммисарѣ 13 класса Суходольномъ, о связяхъ съ нимъ, о заботливости хозяевъ своихъ, въ то время какъ онъ, Поцѣлуевъ, лежалъ у нихъ больной; прибавилъ еще, что когда онъ нанялъ у нихъ комнатку, со столомъ и отопленьемъ, то старикъ Суходольный, при всей бѣдности своей, ни подъ какимъ видомъ не согласился зачесть срокъ найма со дня прибытія Поцѣлуева въ домъ его: «бойтесь Бога, говорилъ старикъ обиженнымъ голосомъ, бойтесь Бога, Смарагдъ Петровичъ; первое время вы у насъ были гостемъ, это къ счету не идетъ; вы извольте считать съ 1 августа, когда порядились, а что было до этого, то считать намъ будетъ обидно». Говорилъ Смарагдъ и про Оленьку, и смѣялся страстной привязанности своей къ тринадцатилѣтнему ребенку; но при всемъ томъ не могъ нахвалиться ею и говорилъ откровенно, что дорого бы далъ, если бы могъ налюбоваться ею — не замужемъ за барономъ, а взрослой, расцвѣтшей, девятнадцатилѣтней дѣвицей.

— Зачѣмъ же ты хочешь забыть такихъ добрыхъ людей?— сказалъ Поцѣлуеву однажды Темниковъ: — напиши или прямо къ Суходольному, или, если думаешь, что письмо его уже

не застанетъ, можетъ быть, въ Сухумѣ, то напиши къ кому нибудь и освѣдомься объ этомъ семействѣ; тебѣ отрадно будетъ услышать, гдѣ и что оно теперь.

Смарагдъ подумалъ — къ кому писать? товарищи вѣтрогоны или станутъ смѣяться дружбѣ Поцѣлуева съ коммисаромъ 13 класса, или покрайней мѣрѣ не возьмутъ на себя труда узнать и написать обо всемъ обстоятельно. «Дай, напишу къ Пименцову; онъ меня, чай, не забылъ и сослужитъ мнѣ эту службу».

Пименцовъ былъ тотъ самый крымскій помѣщикъ, которому Поцѣлуевъ, на обратномъ пути изъ Инкермана, спасъ дочь и утопилъ троюродную по женѣ сестру. Съ первою обратною почтой Смарагдъ получилъ отвѣтъ, который отпечатаемъ здѣсь отъ слова до слова; тутъ выкидывать нечего.

ГЛАВА XXIII.

ПИСЬМО ПИМЕНЦОВА СЪ ПРИПИСКАМИ.

«Получивъ письмо ваше, безконечно уважаемый благодѣтель мой, Смарагдъ Петровичъ, я отъ радости созвалъ весь домъ свой и прочиталъ имъ всѣмъ вслухъ все, что вы пишете, отъ начала до конца; скажу вамъ напередъ, что его слушала тутъ и Оленька, Ольга Степановна, потому что и она принадлежитъ теперь къ моему семейству. Желаю, чтобы я всегда могъ съ такою точностію исполнять, къ сожалѣнію слишкомъ скромныя, ваши до меня требованія: я могу вамъ безъ труда отдать подробнѣйшій отчетъ

обо всемъ, о чемъ вы у меня изволите освѣдомляться. Позвольте поблагодарить васъ отъ всей души, что вы насъ не забыли, и затѣмъ приступить къ разсказу.

«Слишкомъ два года тому, какъ тогдашній женихъ дочери моей, которая теперь замужемъ и сама кормитъ сыночка, названнаго по васъ Смарагдомъ,— два года тому, какъ женихъ моей Маши купилъ случайно гдѣ-то перстенекъ и принесъ его ей въ подарокъ: перстенекъ не мудрый, да въ немъ было пять камешковъ подрядъ: малахитъ, алмазъ, роговикъ, изумрудъ и яхонтъ—и начальныя буквы названій этихъ составляютъ имя дочери моей: ***Марія***. Вотъ почему зять принесъ ей это колечко. Она, какъ глянула, узнала тотъ самый перстенекъ, который, снявъ съ руки своей, отдала вамъ, своему спасителю. Я въ происшествіи этомъ не видалъ ничего чрезвычайнаго; но дочь— вѣроятно по свойственному полу ея во всѣхъ мелочахъ любопытству, хотя она и хвалится теперь, что сдѣлала это по предчувствію — дочь просила жениха своего неотступно— узнать, откуда и какимъ путемъ перстенекъ достался продавцу, и дослѣдиться, кто получилъ его отъ васъ. Открылось, что вы подарили его дочери человѣка, который вамъ сдѣлалъ добро; и лицо доброй Маріи моей прояснилось умиленіемъ и радостію, когда она узнала, какое вы сдѣлали употребленіе изъ бездѣльнаго подарка ея: она думала видѣть въ этомъ доказательство, что вы цѣнили и уважали этотъ знакъ безпредѣльной ея признательности. Но при этомъ открылось еще другое обстоятельство: старикъ Суходольный, который былъ, какъ видно по всему, дивный

человѣкъ, погибъ въ Сухумѣ на пожарѣ госпиталя, вынесши на плечахъ своихъ уже семь человѣкъ и кинувшись въ пламя за осьмымъ. Потолокъ обрушился, и вѣрный слуга Государя своего, доблестный гражданинъ въ быту частномъ, нашелъ достойную себѣ смерть. Итакъ объ немъ печалиться нечего; всѣ тамъ будемъ, кто раньше, кто позже; дай Богъ всякому пройти туда черезъ такое чистилище, какъ Суходольный: быть не можетъ, чтобы за это не было достойнаго возмездія! Но семейство его, жена и дочь, остались безъ насущнаго хлѣба. У Суходольнаго было на рукахъ много; кинулись по смерти его описывать да опечатывать домишко его, столы да стулья, боялись какой нибудь утраты; но у Суходольнаго нашлись всѣ дѣла въ такомъ порядкѣ, что не могли этому надивиться. Суммы, большія и малыя, всѣ налицо, съ ярлыками; казенныя вещи, до послѣдняго, хозяйственно-сбереженнаго лоскутка сукна—также; шнуровыя книги, со строгою и ясною отчетливостію, ведены—не на черновыхъ лоскуткахъ, а прямо на бѣло, по самый часъ смерти: послѣдняя статья внесена была поздно вечеромъ, когда уже ударили въ набатъ и закричали пожаръ. Анна Ивановна, жена его, говоритъ: кинувъ перо второпяхъ, Степанъ Ивановичъ закапалъ книгу чернилами и потому оставилъ ее на столѣ раскрытою; капля эта еще не засохла, когда пришли и сказали Аннѣ Ивановнѣ, что мужъ ея погибъ.

«Итакъ, вдова и сирота остались безъ куска хлѣба; за казну Суходольный позаботился на своемъ вѣку, а за себя нѣтъ. Онъ говаривалъ, бывало: «Не пропадете, ма-

тушка Анна Ивановна; на сегодня будетъ, а что день, то и сегодня. Найдется человѣкъ, что вспомнитъ меня, и хоть не ради меня, а ради себя, позаботится и о васъ». И доблестный старикъ не обманулся, нашелся такой человѣкъ, и человѣкъ этотъ вы, Смарагдъ Петровичъ. Доискавшись по перстеньку семейства Суходольнаго, которое переѣхало, продавъ домишко въ Сухумѣ, сюда въ Севастополь, мы вашимъ именемъ сдѣлали что могли. Вы не хотѣли принять отъ насъ ничего; пусть же люди, которые вамъ сдѣлали добро, приняли васъ въ домъ полумертвымъ, молятъ Бога за васъ, какъ и мы за васъ же; и если вы скажете намъ за это спасибо, то мы готовы заплакать отъ радости, что сдѣлали угодное вамъ. Похвалюсь передъ вами, я ничего не жалѣлъ для Суходольныхъ: почтенная Анна Ивановна не захотѣла быть праздною и нашла себѣ для меня очень полезное занятіе по шелководному хозяйству моему; а моя милая, неоцѣненная Оленька замѣнила намъ убылую дочь, Машу. О, Смарагдъ Петровичъ, это дитя неоцѣненное: въ два года, что она у насъ въ домѣ, она воздала намъ сторицею за всѣ заботы и попеченія наши; радости было намъ отъ нея много, очень много, а печали не бывало.

«Изъ всего этого вы видите, что Оленька не выходила замужъ ни за кого, а и того менѣе за барона фонъ-Адельсбурга, какъ вы, судя по письму вашему, полагаете. Баронъ дѣйствительно сватался на ней очень настойчиво, и возобновилъ даже сватовство свое, когда былъ сдѣланъ, вскорѣ по отъѣздѣ вашемъ, плацъ-маіоромъ въ Сухумѣ; Суходольный сказалъ ему съ самаго начала, что я-де не

прочь отъ этого, если Оленька согласна; и вотъ откуда взялась, вѣроятно, дошедшая до васъ молва. Но Оленька рѣшительно не хотѣла его знать, равно какъ и многихъ другихъ жениховъ, которые сватались на ней уже здѣсь: въ томъ числѣ отказала она также наотрѣзъ человѣку, котораго я бы желалъ называть зятемъ — я Оленьку, какъ видите, считаю дочерью своею — человѣку доброму и хорошему, не говоря уже о почетномъ званіи его и достаткѣ. Но я не только неволить ее, и уговаривать не стану: какъ знаетъ и хочетъ: мнѣ и безъ того тяжело будетъ съ нею разстаться, пусть еще поживемъ вмѣстѣ! А отчего она всѣмъ такъ положительно отказываетъ — этого я вамъ не скажу; есть вещи, Смарагдъ Петровичъ, которыя вслухъ не говорятся, а и того менѣе пишутся на бумагѣ; грамотныхъ много, а сердце дѣвушки государственная тайна; это священно. Скажу вамъ, однако же, что перстенекъ вашъ, послѣ всѣхъ приключеній своихъ, возвратился нынѣ въ ту же сокровищницу, или въ собственность того же сокровища, которое судьба дала вамъ отыскать, въ одинокомъ, отгороженномъ отъ цѣлаго свѣта уголку азіятскаго материка. Перстень былъ проданъ въ крайней нуждѣ, для доставленія больной матери пособія и пищи. Не хочу сокрушать сердца вашего описаніемъ этой картины: все это давно прошло и миновалось. Теперь мы счастливы и довольны. Если же кому нибудь изъ насъ, изъ нынѣшней семьи моей, и приходитъ, можетъ статься, въ сердце или въ голову, какъ говорятъ обыкновенно, что счастье это могло бы сдѣлаться еще полнѣе и совершеннѣе, то на это

невольно отвѣчаешь себѣ пошлымъ и обмолоченнымъ, но не менѣе того истиннымъ изреченіемъ: на землѣ нѣтъ счастья и нѣтъ совершенства!

«Жена моя много кланяется вамъ и проситъ извинить: она, по-русски, безграмотна; прочіе же члены семейства моего припишутъ къ вамъ нѣсколько строкъ сами.

Н. Пименцовъ.

«Если вы не забыли еще той дѣвицы, которую, почти семь лѣтъ тому, 5 мая, спасли отъ ненавистной ей смерти— потому что я хотѣла пожить еще и тогда, хочу и теперь— то позвольте счастливой супругѣ и матери увѣрить васъ, что она, въ продолженіе этихъ семи лѣтъ, ни разу не позабывала включить васъ въ вечернюю молитву свою.

Марья Ногашева.

«Пріѣзжай къ намъ, дяденька, у насъ хорошо, и я скажу тебѣ спасибо за то, что ты далъ мнѣ маменьку мою. Я самъ писать не умѣю; мнѣ водила маменька руку.

Смарагдъ Ногашевъ.

«Итакъ, мы наконецъ доискались васъ, Смарагдъ Петровичъ — или правда, мы сидѣли на одномъ мѣстѣ, а вы сами случайно подали о себѣ вѣсточку. Я вспомнила при этомъ басенку, которую вы когда-то мнѣ читали, какъ двое пошли искать счастья, третій сидѣлъ дома, сложа руки, а оно къ нему само и навѣдалось! Помните ли вы еще это время, когда мы читали басенку эту? Да нѣтъ; вамъ теперь

не до того, вы обошли весь свѣтъ, вамъ не до темныхъ, никому неизвѣстныхъ обитателей бѣдной сухумской лачужки! Но за что же я такъ на васъ злословлю: вы вспомнили о насъ, написали къ намъ, спрашивали обо всѣхъ, и обо мнѣ! Благодарю васъ за это; я смѣло могу вамъ писать сама, вы мой учитель и наставникъ. О, прошлое время; какъ оно было хорошо! но я тогда была еще мала и глупа. Нынѣшніе благодѣтели наши благодарности отъ насъ не принимаютъ, отсылаютъ къ вамъ; а вы, къ кому вы насъ отошлете?

«Ольга Суходольная.»

ГЛАВА XXIV.

ОЛЬГА.

Когда Смарагдъ получилъ въ Кронштадтѣ письмо это, тогда онъ, сложивъ руки и поднявъ очи къ небу, въ первый разъ отъ роду сказалъ самъ себѣ: «ты баловень судьбы, Смарагдъ Петровичъ, и другаго такого баловня у нея не было и не будетъ!»

Онъ побывалъ тотчасъ же въ Петербургѣ, отправившись туда на сенатскомъ катерѣ, потому-что пароходовъ о-ту-пору еще у насъ не было; побывалъ только для того, чтобы пасть стрѣлой въ рабочую комнату Темникова, обнять его, подушить въ сильныхъ рукахъ своихъ, помучить съ полчаса, заставляя отгадывать содержаніе полученнаго отъ Пименцова отвѣта, и потомъ молча отдать другу своему письмо, сѣсть на диванъ и смотрѣть чтецу прямо въ

глаза, разгадывая, что дѣлается у него на душѣ и на сердцѣ.

Потомъ Поцѣлуевъ воротился въ Кронштадтъ, съ трудомъ выждалъ отпуска, сѣлъ и поскакалъ безъ оглядки въ Севастополь. Здѣсь ждали и не ждали отвѣта на письмо, а тутъ — глядь — растворилась дверь и входитъ онъ самъ!

Семейство Пименцова было въ сборѣ, за вечернимъ самоваромъ. Расписывай себѣ всякъ свиданіе это, кто какъ умѣетъ: Ольгѣ, въ первый разъ отъ-роду, сдѣлалось дурно. Въ приписке своей къ Поцѣлуеву была она, какъ мы видѣли, смѣла и шаловлива, воображая его вѣроятно все еще тѣмъ же молоденькимъ мичманомъ, товарищемъ дѣтства ея; но когда складный и стройный мужчина съ густыми бакенбардами вошелъ, какъ съ неба свалившись, въ комнату и всѣ кинулись обнимать его и честить Смарагдомъ Петровичемъ—тогда Ольга подъ собою земли не взвидѣла, души не послышала и языка не доискалась.

— Нѣтъ, — сказалъ Пименцовъ, когда, не болѣе трехъ дней послѣ пріѣзда Поцѣлуева, шла уже рѣчь о приданомъ Ольги: — нѣтъ, Смарагдъ Петровичъ, ужь въ это дѣло вы не мѣшайтесь; это до васъ не касается. Ольга — дочь моя, и моя забота одѣть и обуть ее, припасти ей денежку про черный день и благословить на новый путь жизни!

Смарагдъ отыскалъ также бывшаго односума своего, барона, въ Севастополѣ, и нашелъ его въ самомъ жалкомъ положеніи. Тяжкія раны и сухумская лихорадка истощили жизненныя его силы: онъ принужденъ былъ покинуть плацъ-маіорское мѣсто свое, перенести щитъ и мечъ свой,

шлемъ и наручни праматери Гертруды въ Севастополь, въ первый и ближайшій портъ, и лежалъ въ тѣсномъ, маленькомъ жильѣ уже почти на одрѣ смерти. Щитъ съ налокотниками и прибором висѣлъ уже не въ головахъ, а въ ногахъ барона, потому-что голова у него кружилась, когда онъ взглядывалъ на сокровища эти назадъ, черезъ себя. Баронъ сдѣлался слабоуменъ, почти помѣшался на любимыхъ игрушкахъ своихъ; деньщикъ его, знаменитый Кирюшка, запилъ, покинувъ барона на произволъ судьбы; словомъ—Поцѣлуевъ и тутъ явился спасителемъ и утѣшителемъ, пристроилъ сидѣлку къ бѣдному барону и доставилъ ему, на все время болѣзни, столъ отъ Пименцова. Гордость барона этимъ не оскорбилась: онъ воображалъ, что все это дѣлается на собственный его счетъ, и благодарилъ только Поцѣлуева за хлопоты его и безпокойство. Баронъ былъ очень счастливъ, что нашелъ наконецъ въ Поцѣлуевѣ благороднаго, признательнаго человѣка; такъ толковалъ по крайней мѣрѣ Губертъ Рудольфовичъ заботы о себѣ Смарагда. Между тѣмъ, все основалось на томъ, что Поцѣлуевъ открылъ случайно настоящій источникъ и виновника николаевскихъ сплетней, относительно извѣстнаго похожденія съ Надей, въ домѣ у совѣтника; жалѣлъ о томъ, что слишкомъ торопко оскорбилъ барона, не узнавши наперед дѣла, и хотѣлъ это чѣмъ нибудь вознаградить.

Подвѣнечное бѣлое платье и фата были Ольгѣ необыкновенно къ лицу. Списать съ нея поличіе, особенно, чернилами и тупымъ перомъ своимъ, — которое я, мимоходомъ сказать, въ продолженіе этой послѣдней главы повертываю

уже въ третій разъ съ боку на бокъ,на себя и отъ себя очинкой,—списать съ нея поличіе не берусь; скажу однако же, что хотя она была почти также темноволоса и черноброва какъ Марія, вовсе однакоже на нее не походила. Ольга, какъ дѣва горъ, была выше, стройнѣе; въ ней не было и слѣда этой плотности, чтобы не сказать тучности стана, которую найдете, болѣе или менѣе, у всѣхъ гречанокъ, особенно у замужнихъ. Лицо у нея было болѣе круглo-продолговатое, безъ всякой остроты подбородка; голова вообще какъ-то круглѣе, общая полнота, въ высшей степени соотвѣтственная стану, складу и росту. Маленькія ножки надоѣли мнѣ, господа, во всѣхъ описаніяхъ вашихъ, и потому я объ нихъ, о маленькихъ ножкахъ, говорить не стану.

Въ тотъ самый день, когда Ольгѣ исполнилось 20 лѣтъ, подруги ее убирали къ вѣнцу. Смарагдъ былъ семью годами старѣе; онъ одѣлся просто въ мундиръ, не припасъ даже шелковыхъ чулокъ и башмаковъ, не надушился и не завился. Пименцовъ былъ посаженымъ отцомъ, Маша вдѣвала невѣстѣ серьги, а женихъ, сказываютъ, ступилъ въ церкви первый на подстилку.

ВАКХЪ СИДОРОВЪ
ЧАЙКИНЪ

или

РАЗСКАЗЪ ЕГО О СОБСТВЕННОМЪ ЖИТЬЁ-БЫТЬЁ,

ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ЖИЗНИ СВОЕЙ.

Не думаю, чтобы жизнь моя и большая часть того, что относится къ личности моей, заслуживали большаго вниманія; но увѣренъ, что уроки, коими надѣляла меня судьба, постоянно въ теченіе 30 лѣтъ, считая съ самаго дня рожденія моего, могутъ быть поучительны не для одного меня а для всѣхъ, если бы только они могли врѣзаться другому въ голову и въ сердце, какъ мнѣ; увѣренъ также, что сознаться съ людьми, коихъ случилось мнѣ разсмотрѣть очень близко, никому не мѣшаетъ, а многимъ будетъ и очень кстати. Первыя 30 лѣтъ жизни моей были рѣзки въ очеркахъ и пестры красками, хотя и самъ я человѣкъ темный, какъ вы сейчасъ это увидите; но не ищите, въ запискахъ

живаго человѣка повѣсти или романа, т. е. сочиненія; это рядъ живыхъ картинъ, изъ коихъ немногія только по пословицѣ: *гора съ горой*,— въ связи между собою и съ послѣдующими.

ГЛАВА I.

ОТЪ СОТВОРЕНІЯ МОЕГО И ДО БАРСКОЙ ПЕРЕДНЕЙ.

Я сынъ приписнаго по ревизскимъ сказкамъ, по народной переписи, комлевскаго мѣщанина, и остался безъ званія и мѣста, когда отецъ мой скончался, покинувъ меня голосистымъ крикуномъ, но еще безсловеснымъ. Мать моя поѣхала, съ какими-то попутчиками, отыскивать отца, который, отправившись по торговлѣ или промыслу своему — онъ былъ барышникомъ, какъ у насъ говорятъ, т. е. торговалъ лошадьми — отправившись на лебедянскую ярмарку, пропадалъ, не знаю сколько времени, безъ вѣсти, — поѣхала и меня повезла съ собою; на пути захворала, сердечная, попутчики покинули ее въ чужомъ мѣстѣ, она умерла, а я остался круглымъ сиротой, не научившись еще и самой необходимой на свѣтѣ вещи: ѣсть хлѣбъ. Село было господское; мужикъ, у котораго въ избѣ скончалась мать моя, а я остался на рукахъ, пошелъ съ жалобой на бѣду эту къ барину;— тотъ, выбранивъ мужика порядкомъ за такую непріятность, велѣлъ взять меня во дворъ, кормить, поить и ростить. Вотъ все, что я впослѣдствіи слышалъ отъ людей господскихъ о томъ, кто я таковъ и откуда.

Когда я сталъ знать и помнить себя, то было мнѣ, видно, года четыре: названная мать моя, скотница въ барскомъ домѣ, колотила меня кулакомъ въ спину, приговаривая: «молись, молись, молись, не ложись спать какъ собака». Эти слова остались въ памяти моей, и это первыя мои воспоминанія. Потомъ, года черезъ два, помню разительную перемѣну: барскіе покои; я попалъ туда со скотнаго двора по замѣчательному случаю. Одинъ изъ барченковъ сшалилъ что-то, и баринъ велѣлъ привести со двора какого нибудь мальчишку и высѣчь въ барскихъ покояхъ при виноватомъ, въ острастку; на это, какъ безроднаго сироту, избрали меня. Помню, какъ большой, плотный дворецкій пришелъ, схватилъ меня за руку и потащилъ по двору, по лѣстницѣ; въ покояхъ поразилъ меня крикъ, шумъ, плачъ— это баринъ сердился, бранилъ барченка; барыня заступалась за него, а тотъ ревѣлъ. Я глядѣлъ на все это довольно спокойно, ничего не понимая, покуда наконецъ меня вдругъ, ни съ того ни съ сего, схватили, растянули и высѣкли. И я, и три барченка, мы всѣ выли въ голосъ, баринъ кричалъ, и все грозилъ одному изъ нихъ и приговаривалъ; а барыня объ эту пору уже успокоились немного и отошли. Когда все это кончилось, баринъ спросили: «чей это головорѣзъ?» И услышавъ, что я скотницынъ пріемышъ, которая уже вбѣжала въ переднюю, также ревѣла во всю глотку и кинулась барину въ ноги, то онъ, сказавъ: «а ты чего тутъ ревешь, тебѣ какое дѣло? что онъ сынъ что-ли твой? Ты чего пришла заступаться? Дура!»—приказалъ оставить меня въ покояхъ: пусть-де привыкаетъ, наука эта не

мѣшаетъ ему, пригодится, онъ будетъ бояться теперь и станетъ слушаться; потомъ пригрозилъ мнѣ и, притопнувъ ногой, выслалъ въ переднюю. Названная мать вынесла меня на рукахъ, обмыла, одѣла, успокоила и опять понесла въ барскіе покои: я снова ревѣть, на чемъ свѣтъ стоитъ; и тутъ уже поколотила меня и сама Катерина. Заглушивъ кулаками страхъ мой, она передала меня холопамъ въ переднюю.

ГЛАВА II.

ОТЪ БАРСКОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДО ФРАНЦУЗА СЪ ОТМОРОЖЕННЫМИ НОГАМИ.

Первое время думалъ я, что меня прикомандировали въ переднюю для одной только нужды: чтобы щелкать колодой картъ по носу. Я сидѣлъ тутъ безвыходно, холопы играли въ три листа или подкаретную, и при этомъ били меня за всѣхъ по носкамъ. Это продолжалось однако недолго: вслѣдъ за тѣмъ помню я себя вдругъ за однимъ учебнымъ столомъ съ баричами, и почти за панибрата съ ними.

Это покажется иному странно. Надобно узнать однако же Ивана Яковлевича Шелоумова, моего отца и благодѣтеля, чтобы понять сколько нибудь такую перемѣну. Иванъ Яковлевичъ Шелоумовъ былъ человѣкъ до такой степени странный, что иные называли его помѣшаннымъ. Особенностей въ немъ была такая бездна, что никто въ мірѣ не могъ бы, въ какомъ бы то ни было случаѣ жизни, угадать, что дѣлаетъ теперь Иванъ Яковлевичъ, какое выведетъ заключеніе, на какой родъ дѣйствій рѣшится. Нравъ его былъ

необъяснимъ. Казалось, онъ по днямъ, по часамъ, по недѣлямъ принималъ на себя временно и поочередно всѣ возможные нравы и былъ сегодня не тотъ человѣкъ, что вчера, иногда вовсе не тотъ, что часъ тому назадъ; утромъ скупъ до невозможности, къ обѣду благоразумный хозяинъ, къ вечеру мотъ; въ понедѣльникъ сердитъ и брюзгливъ, во вторникъ насмѣшливъ, въ среду отчаянно веселъ, въ четвергъ ученъ, глубокомысленъ, въ пятницу богомоленъ, въ субботу страстный игрокъ, въ воскресенье затѣямъ нѣтъ конца, и весь домъ выворотитъ вверхъ дномъ и на изнанку. Онъ какъ будто всегда разыгрывалъ какую нибудь роль, но, казалось, безъ намѣренія, не зналъ и не замѣчалъ этого самъ, а слѣдовалъ житейскимъ правиламъ своимъ, на этотъ разъ составленнымъ, и готовъ былъ, въ каждую минуту, отдать вамъ отчетъ въ нынѣшнихъ дѣлахъ своихъ — но, замѣтьте, только въ нынѣшнихъ — излагая передъ вами цѣлую вереницу опытной премудрости своей. Онъ, казалось, дѣйствовалъ всегда по душевному убѣжденію и не ханжилъ, но убѣжденіе это мѣнялось не только съ видами луны, а иногда и съ высотою солнца. Дома онъ обыкновенно корчилъ строгаго, но справедливаго отца семейства; если тутъ случался въ такую минуту кто нибудь посторонній, то Шелоумова рѣчь изобиловала безконечными поученіями, онъ былъ нравоучителенъ до приторности; съ дворовыми и крестьянами былъ онъ то крайне ласковъ, шутливъ, словоохотливъ, снисходителенъ; то опять вдругъ приходило ему въ голову, что надобно ихъ взять въ руки, и онъ былъ крикливъ, шумливъ, драчливъ, до нестерпимости;

то опять хотѣлъ достигнуть всего однимъ путемъ убѣжденія: тогда наставленія, поученія, мысли вслухъ у краснаго крыльца, сочиненія Ивана Яковлевича, читались по цѣлымъ часамъ собраннымъ въ одну кучу крестьянамъ, какъ приказъ земскаго суда. Послушайте его въ такой часъ, и вы найдете живаго Стародумова или Прямикова, лица, которыя, какъ мы полагали, могутъ жить только въ скучныхъ монологахъ отжившей вѣкъ свой драмы. Докучая всѣмъ до невѣроятности, когда находила на него эта полоса премудрости, онъ самъ былъ собою доволенъ и счастливъ; послушать его, такъ онъ преобразовалъ весь околодокъ, изъ крестьянъ своихъ сдѣлалъ умныхъ, разсудительныхъ, добрыхъ и послушныхъ людей — а поглядишь на дѣлѣ, безтолочь такая же, какъ и всюду: та же безсмертная овца, тѣ же та́льки, самосидныя яйца, утиральники и пени съ новоженцевъ *).

*) Для нѣкоторыхъ читателей надобно, вѣроятно, пояснить это мѣсто. *Безсмертный баранъ* или овца дается молодому крестьянину, когда его женятъ, на обзаведеніе хозяйства; крестьянинъ обязанъ прокормить эту даровую овцу, и подносить барину каждогодно по ягненку; жива ли, нѣтъ ли овца, никто не спрашиваетъ; она числится безсмертною. *Та́льками* называются уроки, задаваемые бабамъ на зимнія ночи, когда ихъ заставляютъ прясть ленъ; здоровыя бабы ходятъ на другую барскую работу, а хворыя, косолапыя, сидятъ при нагорѣлыхъ лучинахъ и прядутъ свои тальки. Бабы, въ одномъ мнѣ извѣстномъ случаѣ, не могли или не хотѣли откупиться отъ работы этой за 60 к. въ зиму, а между тѣмъ плачутъ за нею горько и просятъ освободить отъ нея. *Самосидныя яйца* — раздаются по парѣ во всѣ крестьянскіе дворы, и бабы обязаны высидѣть и представить за нихъ весною цыплятъ. Шитые

При людяхъ, которые мало знали Ивана Яковлевича, или пріѣзжали въ первый разъ, онъ нерѣдко вдругъ прикидывался хватомъ, молодцомъ, силачемъ, отчаяннымъ ратникомъ на поприщѣ спасенія погибающихъ — и все, что онъ желалъ, можетъ быть, когда нибудь сдѣлать, все это являлось у него уже готовымъ, дѣйствительно исполненнымъ и сдѣланнымъ, и онъ лгалъ и вралъ тогда безъ всякаго зазрѣнія совѣсти. Иногда находила на него неодолимая охота потѣшить присутствующихъ русскими пѣснями, даже пляской, и тогда онъ пускался во всѣ нелегкія, кстати ли, не кстати, ему все одно. Иногда ломалъ онъ немилосердо, и по цѣлымъ днямъ, русскій языкъ, передразнивая нѣмца, англичанина, итальянца — и тогда уже ни съ кѣмъ не говорилъ иначе; въ другое время порывался говорить по-украински, по-польски; то начиналъ пріучать себя говорить самымъ отборнымъ, книжнымъ русскимъ языкомъ, то хотѣлъ поддѣлаться подъ нарѣчіе крестьянское — то корчилъ заику, косноязычнаго и наконецъ звѣря или птицу. Иванъ Яковлевичъ напримѣръ нерѣдко, сидя у себя одинъ, упражнялся въ томъ, чтобы кричать пѣтухомъ, теленкомъ, кошкой или выть волкомъ; свои къ этому привыкли, и если вдругъ страшный вой раздавался по цѣлому дому, то никто на это не обращалъ вниманія. Разъ только странный волчій

утиральники и по десяти рублей собираются со всѣхъ новоженцевъ, въ пользу господъ, когда молодымъ дается позволеніе вступить въ бракъ. Все очень полезныя и крайне хозяйственныя заведенія.

вой переполошилъ весь домъ, потому-что дѣло происходило ночью. Иванъ Яковлевичъ самъ перепугался этой тревоги: мать охала, стонала и дрожала, дѣти ревѣли въ голосъ, дѣвки и холопы сбивали другъ друга съ ногъ, дворня сбѣжалась, потому что уже и ночной сторожъ, думая, что въ домѣ рѣжутъ, колотилъ во всю мочь деревяннымъ клепаломъ и оралъ во всю глотку: караулъ! Ивану Яковлевичу, какъ они тогда сказывали, показалось, что уже должно быть утро, и они хотѣли только напугать проспавшихъ холоповъ. Я помню также, какъ Шелоумову вздумалось непремѣнно выучиться ржать по-конски; это стоило большаго труда, и за этимъ привозили изъ сосѣдства учителя, какого-то цыгана или татарина. Обыкновенно Иванъ Яковлевичъ подражалъ по наружности во всемъ такому человѣку, котораго недавно видѣлъ, если человѣкъ этотъ особенно понравился ему, или онъ хотѣлъ его осмѣять.

Вотъ вамъ отецъ мой и благодѣтель на-лицо; послѣ этого не мудрено, если онъ, вспомнивъ вдругъ, что я несчастный сирота, приказалъ вымыть, вычесать меня, одѣть въ старое платье барченка, призвалъ, говорилъ очень долго и назидательно — хотя я и ровно ничего не понималъ — и велѣлъ мнѣ учиться, вмѣстѣ съ барчами, у священника, у отставнаго протоколиста, котораго не велѣно было принимать никуда на службу, и у взятаго для ученья въ домъ француза съ отмороженными ногами, который остался въ томъ краю, когда всѣ товарищи его, плѣнники съ ногами, отправились домой.

ГЛАВА III.

ОТЪ ЗАМОРОЖЕННАГО ФРАНЦУЗА ДО ЗЕЛЕНОЙ КУРТКИ ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА.

Этому французу и священнику я обязанъ многимъ; они меня всему доброму выучили, что я знаю и что во мнѣ есть; протоколистъ училъ насъ только, вмѣсто всемірной и россійской исторіи, быть всемірными и россійскими негодяями, воровать для него у барина табакъ, а у барыни сахаръ, нитки, иголки; лучшее, чему онъ насъ выучилъ, это играть въ козны, въ свайку и ловить разными силками и западочками пѣвчихъ птицъ. Случай, по которому онъ наконецъ лишился хлѣба у Ивана Яковлевича, стóитъ того, чтобы объ немъ упомянуть: человѣкъ этотъ, какъ я сказалъ, таскалъ домой все, что только попадалось ему подъ руку, и между прочимъ, завелъ очередь между учениками своими, и отпарывалъ каждый день у одного по пуговкѣ, роговой или мѣдной, какая случалась, — а обтяжныхъ впрочемъ не трогалъ. Дѣтямъ велѣлъ онъ всегда говорить, что пуговка оторвалась и потерялась. Но какъ въ этомъ домѣ никто много объ одеждѣ нашей не заботился, а протоколистъ день за день продолжалъ промыселъ свой, то баринъ и замѣтилъ вдругъ за обѣдомъ, что на баричахъ ни на одномъ нѣтъ ни одной пуговицы. Дѣло пошло на разбирательства, а какъ я уже вовсе не желалъ, чтобы меня опять посѣкли въ примѣръ и страхъ другимъ, то я и открылъ въ ту же минуту всю продѣлку. Протоколиста комнатку,

черезъ дворъ, въ пристройкѣ, освидѣтельствовали, нашли цѣлый вьюкъ краденыхъ бездѣлушекъ, надѣли ему на шею низку пуговецъ, низку изъ кусочковъ сахару — помню, что большаго труда стоило нанизать сахаръ этотъ, но Иванъ Яковлевичъ настоялъ на своемъ — напутали на протоколиста нитокъ, шелку, булавками да иглами прикололи къ сюртучишку краденые листки бумаги, ленточки, всякую дрянь, и выводивши его въ этомъ нарядѣ по двору и по всему селу, вывели за околицу и пустили по дорогѣ. Помню, что протоколистъ просилъ жалобно: «что угодно извольте дѣлать надо мной, хоть плетьми прикажите наказать, только чести не лишайте, не изгоняйте изъ дому своего безъ куска хлѣба». Но всѣ просьбы не помогли, протоколиста не стало.

У священника выучился я по-русски и еще кой-чему; французъ настроилъ меня на такой ладъ, что меня забрала страстная охота учиться всему на свѣтѣ. У него безъ пути не проходило ни одного часу: сидитъ за чаемъ, разговариваетъ съ тобой обо всякой всячинѣ и шутя пріохочиваетъ ребенка разспрашивать и слушать; какую вещь ни возьметъ въ руки, придерется къ ней и разскажетъ, какъ дѣлается, гдѣ, куда и для чего годится, когда изобрѣтена и прочее. Пойдетъ гулять съ тобой на костыляхъ — ни цвѣтка, ни листика, ни букашки не пропуститъ, чтобы не заучить, какъ называется она, въ какой разрядъ и порядокъ она слѣдуетъ, и почему, и куда, и для чего бываетъ пригодна. Отъ него я шутя выучился тремъ языкамъ. Онъ съ попомъ нашимъ былъ очень друженъ, —

умѣлъ ладить со всѣми, даже съ Иваномъ Яковлевичемъ, и, — за что я также вѣкъ буду ему благодаренъ, — не давая намъ никогда слоняться отъ бездѣлья изъ угла въ уголъ, занималъ столярной, токарной и картонной работой, и выучилъ немного чинить часы, замочки и прочее.

Такимъ образомъ минуло мнѣ уже 17 лѣтъ — да, теперь только вспомнилъ, что я ни слова не сказалъ о второй названной матери моей, Настасьѣ Ивановнѣ Шелоумовой. Грѣшно бы мнѣ забыть ее, когда выросъ я у нея въ домѣ, какъ сынъ. Она любила и уважала Ивана Яковлевича, какъ нельзя больше, до такой степени, что, примѣняясь каждый день къ личинѣ, которую онъ надѣвалъ на себя, разыгривая свои разнородныя роли, и сама того не замѣчая, также измѣнялась день за день, въ правилахъ, нравѣ, видахъ и намѣреніяхъ своихъ, и слѣпо шла ощупью за Иваномъ Яковлевичемъ. Отставала она отъ него, противилась, плакала, молила и кричала тогда только, когда онъ впадалъ въ крайности вредныя и дурныя, когда находило на него рвеніе преобразовать весь міръ плетью и палкой. И дѣйствительно, тогда Настасья Ивановна брала вскорѣ надъ нимъ верхъ, и побѣжденный, образумившись, перескакивалъ съ верхней ступени крайностей своихъ на вторую и третью, перестраивалъ ладъ дудки своей пониже, а иногда гласно и торжественно винился и повиновался супругѣ своей, проповѣдуя честь и славу и хвалу женщинамъ и признавая ихъ естественными наставницами и руководительницами нашими. Въ такую пору ничего въ домѣ и въ хозяйствѣ не дѣлалось безъ спросу Настасьи Ивановны: къ ней посылались и дво-

рецкіе и бурмистры, и конюшіе — до которыхъ ей, по принятому въ домѣ порядку, не было никакого дѣла, потому что она не входила и не мѣшалась ни во что. «Дочерей у меня нѣтъ,» говорила она обыкновенно, «Богъ не далъ; стало быть, нѣтъ и хозяйства, нѣтъ и дѣла, какъ только угождать на Ивана Яковлевича; а сыновья ростутъ у него на рукахъ, какъ себѣ знаютъ». И за тѣмъ она обыкновенно тяжело вздыхала, покачивала головой, а нерѣдко и плакала. Жалобы, слезы и вздохи были ея стихіей; безъ нихъ она, какъ казакъ безъ коня, какъ воинъ безъ шпаги. Всегдашній ея разговоръ, съ своими ли, съ чужими, это было благодареніе Богу за семейное благополучіе свое; но это дѣлалось такимъ плачевнымъ образомъ, что, не вслушавшись, можно бы подумать, не поминаетъ ли она какого нибудь покойника и жалобно ему причитываетъ. О четырехъ дѣткахъ своихъ она говорила точно такимъ образомъ, будто у нея всего одно только дитя за душой, да и то кто нибудь отрываетъ отъ груди ея; о любезномъ Иванѣ Яковлевичѣ, будто онъ разбитъ параличемъ и лежитъ уже на одрѣ смерти; о порядочномъ имѣніи, которое съ избыткомъ обезпечивало всѣ нужды семейства, будто сегодня Господь далъ насущную кроху, а будетъ ли завтра, кто знаетъ? По этой же причинѣ, она всегда говорила умалительными и уменьшительными словами: муженекъ, муженечекъ, дѣточки, дѣтушки, дѣтеныши, деньжоночки, мужички, домишко, огородишко, пашенка и проч. Она одѣвалась очень просто, всегда въ темное платье, но чернаго ни за что на

свѣтѣ не шила и не терпѣла: «Нѣтъ, батюшки свѣтики мои, ужь сама на себя лиху бѣду не накличу.»

Иванъ Яковлевичъ ходилъ, по обстоятельствамъ, въ разнородномъ домашнемъ платьѣ: иногда можно было, взглянувъ на него, отгадать, кто онъ таковъ сегодня, и чѣмъ или кѣмъ хочетъ быть. Когда онъ являлся въ халатѣ своемъ, то это значило, что онъ намѣренъ быть хозяиномъ, домосѣдомъ, отцомъ семейства; если выходилъ поутру прямо въ сюртукѣ, байковомъ или камлотовомъ, то это значило, что онъ будетъ человѣкъ крайне-дѣловой и занятой; если же въ коротенькой курткѣ, то это была одна изъ самыхъ дурныхъ примѣтъ, и очень походило на расправу со всей дворней; тогда уже холопы толкали другъ друга въ локоть, и отъ передней до скотнаго двора было извѣстно, что баринъ вышелъ кушать чай *въ курткѣ*. Если только Настасьѣ Ивановнѣ удавалось стащить съ плечъ Ивана Яковлевича куртку эту, которая-де прилична однимъ ребятишкамъ, тогда и гроза проносилась мимо. Но двѣ крайности: вовсе безъ верхняго платья, въ одной только разстегнутой настежъ жилеткѣ, или въ щегольскомъ убранствѣ — показывали, что баринъ будетъ отчаяннымъ молодцомъ, весельчакомъ. Щегольское убранство, впрочемъ, было въ ходу только при чужихъ, когда кто пріѣзжалъ погостить, и было двоякое: суконный сюртукъ, или даже фракъ, со всѣми къ нему принадлежностями, или же кофейнаго цвѣта венгерка, съ черными снурами и приборомъ. Очевидно, что въ первомъ случаѣ выходилъ свѣтскій щеголь, во второмъ — лихой рубака, спаситель всѣхъ утопающихъ и сгорающихъ. Тогда

и примѣрамъ самоотверженія Ивана Яковлевича не было конца, и онъ чистосердечно разсказывалъ, что представилъ было самъ себя къ медали за спасеніе погибающихъ, когда, съ отчаянною рѣшимостію, погасилъ руками загорѣвшійся ситцевый пологъ у постели спавшей жены своей; что не умѣютъ цѣнить достойныхъ, медали не дали; но умалчивалъ при этомъ случаѣ, что онъ самъ и поджегъ пологъ этотъ, заснувши и не погасивъ свѣчи. «Слѣдовалъ бы владимірскій крестъ,» прибавлялъ онъ, «да не совсѣмъ приходимся по статуту, такъ уже хоть бы золотую медаль на владимірской лентѣ дали: ну, нѣтъ!» Когда онъ выходилъ безо всего, то говаривалъ, охорашиваясь: «ничего тутъ нѣтъ мудренаго, что Суворовъ надѣвалъ ленту свою на рубашку, и такъ выходилъ — дайте мнѣ только ленту, и я ее надѣну такъ!»

Дѣти Шелоумовыхъ были не одинаковы; третій сынокъ былъ, кажется, въ мать, плаксивый мальчишка; четвертый — баловень отца и матери, упрямый и большой шалунъ; второй — мнѣ ровесникъ, былъ хорошій, умный мальчикъ, и одинъ изо всѣхъ охочъ къ наукамъ; съ нимъ мы ладили и жили дружно. Старшій былъ отъявленный негодяй, достойный ученикъ нашего общаго наставника, протоколиста. Онъ давно уже зналъ все и умѣлъ все, и въ ссорѣ съ братьями, тотчасъ козырялъ имъ старшинствомъ своимъ и тѣмъ, что онъ одинъ будетъ наслѣдникомъ отцовскаго имѣнія, а ихъ устранитъ и не признаетъ братьями. Отцу онъ не смѣлъ грубить, а матери сказалъ однажды въ глаза, что сожжетъ домъ надъ нею, если она станетъ такъ присматри-

вать за нимъ, какъ за маленькимъ, и не дастъ ему воли дѣлать, что хочетъ. «Вонъ, у васъ есть дитя,» сказалъ онъ, указавъ на младшаго, «а я по отцѣ въ домѣ старшій.» Съ нимъ-то, съ Сергѣемъ Ивановичемъ, жили мы очень не въ ладахъ, съ малыхъ лѣтъ. Меня звали Вашей, Вашкой или Ванюшкой, — онъ всегда перемѣнялъ букву *а* на *о*, и не смотря на всѣ ссоры и запреты, до послѣдняго дня никогда не звалъ меня иначе; если у меня было что нибудь съѣстное въ рукахъ, и близко никого изъ старшихъ не случалось, то Сергѣй Ивановичъ ужь непремѣнно выбьетъ у меня ломоть изъ рукъ и, толкнувъ его ногой, закричитъ собакѣ: пиль! Если я, подъ руководствомъ француза, склеивалъ и расписывалъ бумажный домикъ, строилъ деревянную мельницу, то бывало оглянуться не успѣю, какъ Сережа, наткнувъ избушку мою на длинную палку, бѣгалъ по улицѣ и кричалъ: «кому набалдашникъ!» — и наконецъ, выманивъ меня этимъ зловѣщимъ крикомъ, разбивалъ работу мою въ дребезги, не давъ добѣжать до него на нѣсколько шаговъ. Эта же знаменитая палка имѣла и еще другое назначеніе: Сергѣй Ивановичъ караулилъ гдѣ нибудь въ дверяхъ дѣвокъ, и подставлялъ имъ нечаянно палку, чтобы онѣ черезъ нее падали. На жалобу я какъ-то рѣдко рѣшался, драться самъ не смѣлъ, и если бы не костыль француза, то не было бы мнѣ иногда житья отъ Сергѣя. Раза два я ему однако же отомстилъ; я сдѣлалъ гласный доносъ на него: 1-е, за жестокіе побои одному крестьянскому мальчишкѣ, у котораго самъ же онъ отнялъ и задушилъ зайчонка, и 2-е, за покражу у старосты пол-

тинника. Оба раза Иванъ Яковлевичъ пришелъ мгновенно въ такое расположеніе духа, что цѣлыя сутки ходилъ въ курткѣ, и еще засучивъ рукава — самый отчаянный знакъ; оба раза Сергѣй Ивановичъ были наказаны, какъ наказываютъ только дворянъ малолѣтнихъ, и никакая мольба Наста сьи Ивановны — высѣчь лучше для примѣра одного изъ дворовыхъ мальчишекъ, которые вчера еще пролѣзли въ палисадникъ и рылись въ огородѣ, не помогла: Сережа наказанъ, и куртка еще цѣлые сутки нагоняла страхъ на Божій міръ въ селѣ Путиловѣ. Этого-то мнѣ Сергѣй Ивановичъ никогда не могъ простить; и когда мнѣ уже минуло 17 лѣтъ, какъ я упомянулъ, а ему 19, то онъ все еще твердо помнилъ угрозы свои, готовъ былъ вырвать у меня изъ рукъ послѣдній ломоть хлѣба и бросить его собакѣ.

ГЛАВА IV.

ОТЪ ЗЕЛЕНОЙ КУРТКИ ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА ДО ПОСЛѢДНИХЪ ФОКУСОВЪ ЕГО.

Итакъ, всѣ мы подросли; мнѣ минуло 17 лѣтъ — считая по именинамъ, — дня своего рожденія я не зналъ; но это сдѣлалось такъ незамѣтно, исподоволь, что мы все еще считались ребятами, и Иванъ Яковлевичъ говорилъ о томъ, куда намѣренъ пристроить сыновей своихъ на службу, какъ о вещи, еще весьма отдаленной. Въ одинъ вечеръ, когда у насъ съѣхались кой-кто изъ сосѣдей и навезли невѣстъ богатымъ женихамъ, Иванъ Яковлевичъ былъ необыкновенно въ духѣ, строилъ проказы на диво, надрывался, чтобы

утѣшить, насмѣшить и занять всѣхъ, и между прочимъ провизжалъ нечаянно такъ натурально щеночкомъ, что Настасья Ивановна, отъ жалости къ такой махонькой твари, даже прослезилась и, глубоко вздохнувши, покачала головой; потомъ Иванъ Яковлевичъ схватилъ меня съ необыкновеннымъ жаромъ, вытащилъ на средину комнаты, поставилъ передъ себя и, перебирая пальцами лѣвой руки мнѣ по лицу, пилилъ меня правой рукой поперекъ живота, подражая голосомъ чрезвычайно удачно контрабасу; эта шутка всѣхъ насмѣшила до слезъ; но Иванъ Яковлевичъ вдругъ, закашлявшись и какъ будто вздумавъ что-нибудь новое, опрометью побѣжалъ изъ залы въ свой кабинетъ. Все затихло въ ожиданіи; я также, стоя посреди комнаты, ждалъ приказанія, думая, что штуки будутъ еще продолжаться, и не смѣя сойти съ мѣста. Проходитъ нѣсколько минутъ, и все тихо — а въ кабинетѣ раздается какой-то глухой и дикій голосъ, всѣ считали обязанностію хохотать надъ этой шуткой хозяина, хотя никто еще не понималъ, что изъ этого будетъ; одна Настасья Ивановна упрашивала только мужа плаксивымъ голосомъ перестать, потому что это слишкомъ страшно, и предваряла гостей, что Иванъ Яковлевичъ собирается взвыть волкомъ. Голосъ затихъ, всѣ снова стали прислушиваться — послышалось сильное хрипѣніе: опять захохотали: нельзя же, хозяинъ тѣшитъ гостей, надо благодарить. «Вотъ, Настасья Ивановна», сказала одна гостья, «вамъ не въ угоду была та штука. Иванъ Яковлевичъ тотчасъ и другую нашелъ, заснулъ, экой проказникъ!» Затихло и хрипѣніе; ждали, ждали, больше ничего нѣтъ; На-

стасьѣ Ивановнѣ показалось сомнительно, что-де Иванъ Яковлевичъ долго тамъ дѣлаетъ и гостей покинулъ, пошла въ кабинетъ, и сама взвыла волкомъ. Иванъ Яковлевичъ лежалъ на диванчикѣ и простывалъ уже: съ четверть часа, какъ изволили скончаться.

Итакъ, бѣднаго Ивана Яковлевича сразилъ внезапно-кровяной ударъ, и ни слѣду жизни больше, ни тѣни надежды. Суматоха сдѣлалась въ домѣ страшная, всѣ тѣснились въ трехъ-аршинный кабинетецъ, толкали другъ друга — бабы подняли вой, истинный волчій, какого покойнику не удавалось за-живо подслушать; привезли запыхавшагося мельника, который, какъ около машиннаго дѣла ходитъ, умѣлъ также поставить рожки и бросить кровь; не пошла, но при этомъ случаѣ всѣ, кто былъ живой тутъ, убѣдились, что покойникъ приготовилъ было еще много штукъ на сегодняшній вечеръ. Подносли свѣчи, стали раздѣвать покойника, чтобы бросить ему кровь: всѣ тѣснились и зорко, пристально вглядывались — сняли перчатку съ лѣвой руки — на кулакѣ написана красками преуморительная рожа, нельзя не смѣяться, при всей жалости. Иванъ Яковлевичъ умѣлъ закутывать искусно и свивать расписанную такимъ образомъ руку, и у него выходилъ изъ этого плачущій младенецъ, котораго онъ качалъ и убаюкивалъ, и самъ же за него ревѣлъ. Сняли фракъ — другая штука на готовѣ: положена вдоль спины бѣлая полотняная рубаха — какъ будто зналъ, что она ему сегодня понадобится! — Это была завѣтная штука Ивана Яковлевича, которой онъ никому не разсказывалъ, только всѣхъ ею удивлялъ — смерть ему из-

мѣнила; теперь все вышло наружу! Иванъ Яковлевичъ ходитъ, будто ни въ чемъ не бывало, и заведетъ рѣчь, что можно-де съ кого угодно снять все бѣлье, а платья не трогать, оно останется сверху. Разумѣется, никто этому не вѣрилъ, но никто и не соглашался, при всемъ честномъ обществѣ, на пробу, а только спорилъ, что быть не можетъ. Тогда Иванъ Яковлевичъ говаривалъ: «ну, такъ ужь и быть, для такого дня, для такихъ гостей, извольте, я жертвую собой — и, снявъ шейный платокъ, развязывалъ обложенный изъ-за спины воротничекъ рубахи, разстегивалъ рукава ея, на бѣлыхъ нитяныхъ пуговочкахъ, — и приказывалъ кому нибудь ухватить на затылкѣ воротъ рубахи и тянуть смѣлѣе; къ общему ужасу и удивленію, рубаха вся выходила этимъ путемъ наружу, а фракъ оставался на плечахъ, и все платье на своемъ мѣстѣ и въ порядкѣ.

Но этимъ приготовленія Ивана Яковлевича еще не кончились: ногти среднихъ пальцевъ были у покойника покрыты слоемъ желтаго воску, для отличнаго фокуса съ серебряными пятачками; изъ кармана жилетки выкатился свистокъ, которымъ Иванъ Яковлевичъ бывало дразнилъ соловья; словомъ, покойникъ былъ этотъ день весь на фокусахъ, и глядя на все это, можно было усомниться, не фокусъ ли и это холодное чело, бездыханная грудь и сердце безъ боя?

Но нѣтъ, это былъ не фокусъ; «всѣ тамъ будемъ», какъ замѣтилъ при этомъ случаѣ староста,— «кто прежде, кто послѣ!» Мы осиротѣли, не успѣвъ и подумать о сбыточности такого горя, не испытавъ ни одного мгновенія страха, бо-

язни и надежды, у изножья его одра. Я плакалъ горько; соленая, ѣдкая слеза текла по щекѣ и растравляла царапину, которую провелъ тутъ невзначай живой Иванъ Яковлевичъ, когда игралъ на контрабасѣ; я потиралъ ее рукой, и плакалъ и оглядывался — мнѣ казалось, благодѣтель мой еще стоитъ за мною, и пилитъ меня по брюху, и царапаетъ пальцами по лицу — а трупъ его лежалъ уже передо мною!

Это былъ вообще первый покойникъ, котораго мнѣ, съ издѣтства, случилось такъ близко видѣть; я не могъ вѣрить, что благодѣтеля моего нѣтъ: онъ живой былъ еще слишкомъ близокъ ко мнѣ. Я остался при покойникѣ и прорыдалъ всю ночь; дьячки читали однообразнымъ, глухимъ полуголосомъ, французъ сидѣлъ въ углу на креслахъ, сложивъ руки на положенные поперекъ передъ собою костыли; дѣти Ивана Яковлевича плакали, кромѣ Сергѣя, который скоро утѣшился; Настасья Ивановна всю ночь пролежала на полу ничкомъ, вопила и выла, припоминая и причитывая все добро, которое видѣла отъ супруга своего, и оканчивала всегда вопросомъ: «а кто мнѣ теперь будетъ» — и прочее. Дворня, въ первую минуту, съ пронзительнымъ воемъ бросилась въ барскіе покои, но вскорѣ угомонилась, кромѣ нѣсколькихъ бабъ, которыя остались помощницами при Настасьѣ Ивановнѣ. Мужики приходили изъ села безпрестанно, входили тихо и чинно, вздыхали, крестились молча и опять уходили. Бабы всѣ любопытствовали только взглянуть на лицо покойника, посмотрѣть на него, больше имъ ничего не нужно было. На третій день были похороны,

къ коимъ вдругъ явился, откуда ни взялся опять, нашъ протоколистъ, котораго мы не видали уже нѣсколько лѣтъ. Онъ такъ ѣлъ за поминальной трапезой, будто онъ, во всѣ годы эти, не бралъ въ ротъ ни крохи, въ ожиданіи такого сытнаго случая.

ГЛАВА V.

ОТЪ ПОСЛѢДНИХЪ ФОКУСОВЪ ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА ДО КАЗЕННАГО ДОБРА, КОТОРОЕ НЕ ТОНЕТЪ И НЕ ГОРИТЪ.

Начинается правленіе Сергѣя Ивановича, старшаго наслѣдника, потому что, въ междуцарствіе, до назначенія и пріѣзда опекуновъ, прошло много времени; а во все это время правилъ дѣлами и хозяйствомъ онъ одинъ. Правленіе это ознаменовалось тѣмъ, что протоколистъ снова поселился въ домѣ и остался правою рукою новаго хозяина; что француза согнали со двора, а отца Стефана, который прежде бывалъ ежедневно, не стали пускать въ домъ. Все — примѣты хорошія. Въ первый разъ отроду пришла мнѣ въ голову мысль о томъ, что современемъ изъ меня будетъ? Какой мнѣ путь открытъ въ мірѣ, какое мое назначеніе? — Сильно овладѣла мною эта забота, отбивала ото сна и ѣды, и я пошелъ отвести душу къ французу, котораго взялъ къ себѣ въ домъ на время священникъ. Первый потрепалъ меня по щекѣ и сказалъ мнѣ, по-французски, то мѣсто изъ евангелія, гдѣ сказано, что каждому дню подобаютъ заботы свои; а отецъ Стефанъ, кивнувъ головой, прогово-

рилъ тоже по-славянски. Я просидѣлъ у нихъ долго, они утѣшали меня много — но не утѣшили; никто изъ нихъ не могъ рѣшить моего сомнѣнія, и сказать мнѣ что нибудь положительное. Я не думалъ тогда, что судьба печется обо мнѣ уже по своему, и что будущая участь моя рѣшается въ эту самую минуту въ барскомъ домѣ.

Протоколистъ шнырялъ всюду, наставлялъ и поучалъ Сергѣя Ивановича и, рывшись въ конторѣ, открылъ нечаянно — что покойный баринъ приписалъ меня, при послѣдней народной переписи, когда я былъ еще по другому году, въ свои крѣпостные и дворовые; съ этою вѣстію, съ ревизскою сказкою въ рукахъ, поспѣшилъ онъ къ нынѣшнему своему покровителю. Взявши меня круглымъ сиротою въ домъ, Иванъ Яковлевичъ, вѣроятно, нисколько не призадумался пристроить меня къ своей дворнѣ; ребенокъ взятъ еще сосункомъ, вскормленъ; — своихъ у него нѣтъ, здѣсь онъ чужой — куда же его больше дѣвать, какъ не въ дворовые? Когда же впослѣдствіи сдѣлали изъ меня полубарича, то Иванъ Яковлевичъ, какъ сказывала послѣ Настасья Ивановна, намѣренъ былъ дать мнѣ отпускную; но времени впереди казалось еще много, ребенку вѣдь все равно, куда онъ приписанъ и гдѣ числится, а выростетъ, успѣемъ отпустить. Такъ думалъ Иванъ Яковлевичъ, да не такъ вышло!

Не успѣлъ я воротиться отъ священника, какъ малый прибѣжалъ за мною — звать меня къ Сергѣю Ивановичу, который уже перебрался въ покои стараго барина. Въ углу стоялъ подобострастно протоколистъ; «дурная примѣта», по-

думалъ я — и не обманулся. Сергѣй Ивановичъ, назвавъ меня, въ первый разъ отроду, неисковерканнымъ именемъ моимъ, Вакхомъ, продолжалъ: «я привожу послѣ покойнаго батюшки дѣла въ порядокъ; и подумалъ также о тебѣ. Вотъ, видишь, ревизскія сказки, въ которыхъ ты значишься сыномъ тогдашней скотницы нашей, Катерины, и долженъ служить господамъ своимъ не хуже другаго. Полно тебѣ жить дармоѣдомъ, это стыдно и грѣшно. Надѣюсь, ты помнишь всѣ наши благодѣянія, и постараешься ихъ заслужить: я, на первый случай, не попомню тебѣ старыхъ твоихъ грѣховъ. Бывшаго старосту я смѣнилъ, а новый безграмотенъ, да и мало еще привыченъ къ дѣлу; будь же ты у него помощникомъ, да слушайся его во всемъ, а не то, если не подорожишь моею милостью, такъ будешь свинопасомъ. Ступай, жить можешь покуда въ конторѣ».

Все это меня такъ озадачило, что я опять въ ту же минуту пошелъ на судъ и совѣтъ къ отцу Стефану. Французъ стучалъ костылями въ полъ и грозилъ кулакомъ на воздухъ, а отецъ Стефанъ, выслушавъ все спокойно, пошелъ самъ въ контору за справкой. Она подтвердила все; меня приписали, 16 лѣтъ тому назадъ, забыли про это, или оставили безъ вниманія; такъ я и росъ, и никто объ этомъ маловажномъ обстоятельствѣ не заботился. Просьбы священника у Настасьи Ивановны не помогли, а разсердили Сергѣя, которому и мать не смѣла указывать; братья его и подавно были безгласны: онъ всѣхъ ихъ рвалъ за уши и грозилъ сѣчь; то же досталось и второму, Николаю, который ходилъ за меня просить. Такимъ образомъ, участь

моя была рѣшена. Французъ успокоился, когда нечего больше было дѣлать, и училъ меня переносить свою судьбу, удерживая отъ всѣхъ дурныхъ замысловъ и покушеній, которые иногда роились въ моей бѣдной головѣ, — какъ напримѣръ отъ побѣга, на который я однажды было почти рѣшился.

Быть крѣпостнымъ — это по себѣ еще не такъ велика бѣда: да мое-то положеніе было нестерпимое, и еслибъ не отецъ Стефанъ да не французъ, я бы себя погубилъ. На что же мнѣ дали это образованіе? приписали, такъ и оставили бы у Катерины, на скотномъ дворѣ, и я бы пасъ свиней, да плелъ бы лапти, не хуже другаго; а теперь тяжело. Какъ помощникъ старосты, записывалъ я бирки его, стоялъ по цѣлымъ днямъ и считалъ снопы, когда молотили для пробнаго умолота; объѣзжалъ пашни, околицу, стоялъ съ хворостиной, когда пахали не на урокъ, а по днямъ, и былъ вообще на посылкахъ, въ родѣ десятскаго; бывало въ темную, грязную ночь, идешь отъ избы до избы подъ окно, постучишь и наказываешь по наряду старосты, кому куда съ зарей на работу. Вотъ въ чемъ состояли занятія Вакха Сидорова Чайкина, попавшаго изъ полубаръ чуть не въ свинопасы.

Но всего этого Сергѣю Ивановичу было мало; онъ видно рѣшился доконать меня, сталъ налегать со дня на день больше. Немного все-таки совѣстно было ему передъ всѣми живыми людьми; дѣлалъ я все, что ни заставятъ, и ужь жалобъ на меня не было никакихъ — а я видѣлъ, чего ему хотѣлось: онъ таки не шутя хотѣлъ понемногу поднять

меня до чина свинопаса, и хотѣлось ему непремѣнно меня посѣчь. Французъ всегда умѣлъ меня утѣшить и успокоить, во всѣхъ обстоятельствахъ давалъ положительные совѣты, что дѣлать; но когда я ему предложилъ однажды послѣднее обстоятельство на разрѣшеніе, тогда онъ замолчалъ и стиснулъ только зубы, повелъ бровями и пожалъ плечами. Отвѣта я долго не могъ отъ него добиться; наконецъ онъ сказалъ: «дѣлай, что самъ знаешь», всталъ, и пошелъ раскачиваться по маленькой свѣтлицѣ на костыляхъ.

Но Господь сохранилъ меня и не допустилъ до этого; иначе, можетъ быть, теперь лежалъ бы на душѣ моей большой грѣхъ. Тутъ случилось вотъ что:

Какъ теперь помню, въ воскресенье поутру, когда мы выходили отъ обѣдни — а въ деревняхъ, какъ вы знаете, обѣдня и начинается, и оканчивается рано, — зазвенѣлъ вдругъ на концѣ села колокольчикъ, поднялась пыль, летитъ тройка. Ну, это ужь, конечно, никто, какъ исправникъ. Въ деревнѣ это событіе не послѣднее: исправникъ безъ дѣла не пріѣдетъ, всѣмъ, конечно, хочется знать, зачѣмъ онъ пріѣхалъ, и барскіе холопы всегда уже по два и по три стоятъ, упершись головою въ двери, и подслушиваютъ, о чемъ идетъ рѣчь. Я отъ обѣдни пошелъ съ отцомъ Стефаномъ къ нему на домъ, а чрезъ полчаса вдругъ шасть въ двери названная мать моя, старуха Катерина. Она вошла запыхавшись, и съ какимъ-то особеннымъ таинственнымъ видомъ помоливши, прокашлявшись и поздоровавшись, разсказываетъ въ отчаяньи, что исправникъ пріѣхалъ за мной, что меня берутъ въ солдаты. Долго не могли мы

добиться толку у старушки, которая едва успѣла отвести духъ, какъ залилась слезами, и начала причитывать по мнѣ, какъ по покойникѣ: «а ты радость моя, а ты ненаглядный мой, а ты красное солнышко мое»; и проч. Когда батюшка побранилъ ее и успокоилъ, а французъ въ нетерпѣніи прикрикнулъ, стукнувъ костылемъ въ полъ, то она также несвязно и безтолково, хотя во всей подробности, разсказала, что Андрюшка сталъ было подслушивать у дверей кабинета, куда баринъ ушелъ съ исправникомъ, да баринъ увидалъ и взялъ Андрюшку за чубъ, и ударилъ лбомъ о косякъ, и отбилъ Андрюшкѣ охоту подслушивать; тамъ Ефимка съ Ванькой подошли, немного погодя, на смѣну, и кой-что слышали-таки, да баринъ опять вдругъ выскочилъ и ухватилъ ихъ обоихъ за чубы, и долго колотилъ лобъ объ лобъ; между тѣмъ, однако же, Андрюшка отдохнулъ, оправился и снова подкрался, со щеткой въ рукахъ, на случай прикинуться, будто онъ подметаетъ; и всѣ они вмѣстѣ слышали, что исправникъ пріѣхалъ за мной и беретъ меня въ солдаты.

Какъ ни была для насъ троихъ, отца Стефана, француза и для меня, вѣсть эта непонятна, потому что нельзя было тутъ добиться никакого толку и смыслу, однако она насъ всѣхъ крайне обрадовала: это была одна изъ счастливыхъ минутъ жизни моей, и я не смѣлъ дать полной вѣры словамъ моей старухи. «Коли быть мнѣ битымъ», сказалъ я, «такъ пусть бьетъ меня государевъ чинъ, а не Сергѣй Ивановичъ». Французъ былъ просто внѣ себя отъ радости; батюшка поздравлялъ меня съ отдачею въ

солдаты, какъ поздравляютъ близкаго человѣка съ чиномъ генерала. Помню все это какъ теперь: я стоялъ среди комнаты, сложивъ руки, выставивъ ногу впередъ, и кажется, старался придать себѣ солдатскую осанку; батюшка передо мною, въ праздничномъ подрясникѣ своемъ, и положивъ правую руку на грудь, увѣрялъ меня въ искренней своей радости, въ милости Господней и непостижимости промысла Его, и косился немного на француза, который вскочилъ съ мѣста, стоялъ на одномъ костылѣ, другой вскинулъ на плечо, вмѣсто ружья, и потряхивая молодецки головой, пѣлъ изо всей силы: T'en souviens-tu, столь извѣстную военную французскую пѣсню. Между тѣмъ попадья выглядывала любопытно изъ-за перегородки, со сковородникомъ въ рукахъ, а старая Катерина выла отъ всей души и уже ни на кого болѣе не глядѣла.

И дѣйствительно, я въ тотъ же самый день вечеромъ сидѣлъ уже, съ писаремъ исправника, на особой тележкѣ и мчался въ уѣздный нашъ городъ. Мнѣ, какъ водится, хотѣли набить на ногу колодку, но отецъ Стефанъ упросилъ исправника, поручившись за меня и снабдивъ меня на дорогу пирогомъ матушкинаго печенья. Французъ простился со мной какъ солдатъ съ солдатомъ и далъ мнѣ три цѣлковыхъ — у меня, разумѣется, не было ни гроша. —Настасья Ивановна плакала, прощаясь со мной, вспоминая покойнаго своего сожителя, и благословила меня образочкомъ; Николай Ивановичъ также заплакалъ и обнялъ меня, Сергѣй же самъ не видался со мной, а велѣлъ только отобрать у меня платье и обувь, и дать сапоги и зипунишко поплоше, изъ домашняго сукна.

Я ужь было думалъ, что Сергѣй Ивановичъ меня отдалъ въ солдаты, хотя и не понималъ, для чего это сдѣлалось такимъ необыкновеннымъ порядкомъ; во всякомъ случаѣ, я благословлялъ судьбу свою. Никто не взялъ на себя труда объяснить мнѣ загадку эту; одинъ только Николай сказалъ мнѣ, что меня берутъ по указу губернскаго правленія. Что же я за важный человѣкъ, что обо мнѣ правленіе пишетъ указы, и почему, и за что? Я уже боялся ошибки, боялся, что меня опять обратятъ, когда писарь исправника, попутчикъ мой, объяснилъ мнѣ все дѣло.

Отецъ мой, какъ я сказывалъ, отправился изъ Комлева въ Лебедянь на ярмарку, и пропадалъ безъ вѣсти болѣе году. Я родился во время отсутствія его, вскорѣ послѣ отъѣзда, и мать сама поѣхала со мною отыскивать отца. Она, бѣдная, и не знала того, что ему тамъ давно уже лобъ забрили, и что она солдатка, а сынъ ея кантонистъ. На пути сказали ей знакомые, встрѣчные извозчики, что мужъ ея, слышно было, никакъ въ тюрьмѣ померъ; вслѣдъ за тѣмъ и сама она въ Путиловѣ Богу душу отдала, а я на грѣхъ остался. Казенное добро въ водѣ не тонетъ, на огнѣ не горитъ; черезъ 18 слишкомъ лѣтъ, меня доискались и велѣли поставить на службу. Какимъ случаемъ отецъ мой угодилъ въ солдаты, этого писарь не зналъ.

ГЛАВА VI.

ОТЪ КАЗЕННАГО ДОБРА, КОТОРОЕ НЕ ГОРИТЪ НЕ ТОНЕТЪ, ДО ПРЕГЛУПАГО ПОКРОЯ ПЛАТЬЯ.

Разсказалъ бы я, какъ еще одна добрая душа поплакала аз мною въ Путиловѣ, какъ она стояла на порогѣ избенки,

подъ мельницей, накрывъ глаза лѣвою рукою и ощипывая правою цвѣтную завязку на рубашкѣ своей,— да не хочу докучать читателямъ. Она же недавно тогда помогала отцу таскать порожніе мѣшки на мельницу, и вся, отъ головы до ногъ, припудрена была мукою. Огромное колесо ворочалось мѣрно, шумный стрежень воды прядалъ съ лопасти на лопасть, вся мельница дрожала, гулъ отдавался далече, и вблизи пѣтухъ, похлопывая крыльями, кричалъ во все горло, и его не было слышно; только было видно, что вытянулся и клювъ свой разинулъ. А колесу какое до чего дѣло? Оно знаетъ свое, служитъ мельнику вѣрно, покуда всѣ клепки не разсыплются. Пожалуй, хоть голову подставь, и ту измочалитъ, и все будетъ вертѣться попрежнему. Его не разжалобишь.

Въ первый разъ отроду увидалъ я, каковъ былъ свѣтъ за Путиловскою околицей; уѣздный городишко нашъ, съ каменными присутственными мѣстами, показался мнѣ столицей, а губернскій поселилъ во мнѣ такое уваженіе, что я легонько ступалъ по тропинкамъ улицъ его, не смѣя развязно и свободно ходить. Тутъ я получилъ письмо отъ француза, который писалъ мнѣ между прочимъ: что Катерина все еще не отчаявается исходатайствовать мнѣ свободу отъ службы, и что протоколистъ взялъ у нея, на этотъ предметъ, цѣлковый. Она шла своимъ путемъ — вѣрила только всякому вздору и обману, вѣрила протоколисту, а не слушалась совѣтовъ отца Стефана—не давать этому отъявленному мошеннику по-пустому денегъ.

Меня черезъ внутреннюю стражу сдали въ полкъ и при-

вели къ присягѣ. — Страшна показалась мнѣ присяга эта, и я перечитывалъ ее нѣсколько разъ послѣ. Слова: «не щадя живота своего, до послѣдней капли крови» — придавали мнѣ однакоже какую-то бодрость, и я расписывалъ воображеніемъ своимъ разные случаи, когда доведется мнѣ исполнить на дѣлѣ клятву эту. Полкъ вскорѣ выступилъ въ походъ, какъ слышно было, въ Италію, но все это оказалось ложною тревогой; войска размѣщены были въ южныхъ губерніяхъ на квартирахъ, и храбрость моя, не остывшая во время перехода 800 верстъ пѣшкомъ, съ ружьемъ и ранцемъ, начинала остывать теперь отъ скуки и бездѣлья. Между тѣмъ офицеры замѣтили меня и уже въ обращеніи своемъ нѣсколько отличали; а когда однажды рисуночекъ мой дошелъ случайно до полковника, то онъ призвалъ меня, поговорилъ со мною, разспрашивая обо всемъ, и наконецъ, въ угоду полковницѣ, которой рисунокъ этотъ по вкусу пришелся, такъ, что она много надъ нимъ смѣялась, велѣлъ мнѣ объяснить, что такое всѣ эти лица и гдѣ они? Оговорка моя, что это будетъ долгая сказка и въ связи съ прежними приключеніями моими, не помогла; полковница требовала непремѣнно моихъ поясненій, и сѣла на стулъ, какъ будто собиралась меня долго слушать. Я разсказалъ, что тутъ дворецкій приволокъ меня со скотнаго двора, а холопы подаютъ уже скамейку и розги, и меня собираются сѣчь за то, что третій сынокъ Ивана Яковлевича воткнулъ сальный огарокъ въ отцовскую пѣнковую трубку; четверо баричей стояли рядкомъ и лѣсенкой, одинъ подъ однимъ, вплоть у скамьи; Настасья Ивановна, отстоявъ дѣтенышей

своихъ, спокойно уходила изъ комнаты, принявшись уже за свою работу, за веретею; Иванъ Яковлевичъ стоялъ въ зеленой курткѣ своей, грозный, величественный, держалъ распущенный клѣтчатый платокъ въ рукѣ и указывалъ тою же рукой на третьяго сыночка своего, будто бы говорилъ: «Это, шельменокъ, слѣдовало бы тебѣ, принимай на свой счетъ, гляди, ужь я его не пожалѣю!» Всѣ четыре сыночка ревѣли, глядя прямо на отца и не закрывая лица руками, — такой ихъ объялъ страхъ, — а съ меня огромный дворецкій тащилъ налету и безъ того уже изодранные шароварышки, между тѣмъ какъ двое холоповъ наперерывъ старались уложить меня и поднять на воздухъ. Все это дѣлалось съ такимъ усердіемъ, что, казалось, они изорвутъ мальчишку на клочки, а Ивану Яковлевичу доведется сѣчь одну скамейку. Картинка эта всѣхъ много позабавила; полковникъ хохоталъ, полковница смѣялась почти до истерики, двѣ свояченицы также, и вдругъ всѣ стали говорить обо мнѣ между собою по-французски: сожалѣть обо мнѣ, хвалить пристойную наружность мою и умаливать полковника, чтобы онъ принялъ во мнѣ участіе. Мнѣ совѣстно было слушать все это, и я сказалъ полковнику, что разумѣю по-французски; это породило еще болѣе любопытства: со мною заговорили и заставили разсказать, на этомъ языкѣ, вкратцѣ похожденія свои. Всѣ обступили меня, стояли вокругъ меня, глядѣли во всѣ глаза, какъ на диво какое, на звѣря-тюленя морскаго, и не могли натѣшиться, надивиться, что человѣкъ говоритъ на двухъ, трехъ языкахъ и играетъ на фортепіано; а почему? потому, что чело-

вѣкъ этотъ стоялъ на вытяжку, въ солдатской шинели, не смѣя развести рукъ, и приговаривалъ за третьимъ словомъ: «ваше высокоблагородіе». Приди онъ въ какомъ угодно иномъ платьѣ, и все это не показалось бы нисколько удивительнымъ.

Съ этого дня судьба моя измѣнилась. Полковникъ, который принималъ у себя и юнкеровъ своего полка съ большою разборчивостію, вскорѣ велѣлъ мнѣ ходить къ себѣ обѣдать каждый день. — Я охотно занимался обученьемъ дѣтей его, тѣмъ болѣе что пріобрѣлъ тутъ же и еще ученицу въ рисованьѣ — ученицу, о которой поговоримъ послѣ. Отъ писарской должности я отказался, желая служить, коли служить, во фронтѣ, и ходилъ во всѣ наряды наравнѣ съ прочими солдатами, а свободное время проводилъ у полковника. Онъ приближалъ меня къ себѣ понемногу и съ большою осторожностію; видно было, что онъ хотѣлъ напередъ меня испытать, увѣриться, таковъ ли я, каковы были мои слова; но менѣе чѣмъ черезъ годъ, я былъ въ домѣ свой; а черезъ два, мнѣ нашили галуны. Полковникъ показалъ мнѣ представленіе, въ коемъ, не смотря на короткій срокъ службы моей, просилъ убѣдительно о производствѣ моемъ, въ томъ уваженіи, что въ полку-де не было ни одного офицера, каковъ этотъ рядовой. Пусть это и была одна только фигура убѣжденія, но она показываетъ, какъ любилъ меня полковникъ.

Положеніе мое, при всемъ этомъ, было очень странное: мнѣ, какъ солдату, всякій говорилъ *ты*, начиная отъ полковника и полковницы и до деньщиковъ; однѣ только гор-

ничныя были вѣжливѣе, называли меня всегда кавалеромъ, почтеннымъ и Вакхомъ Сидоровичемъ. Навытяжкѣ передъ каждой парою эполетъ, я съ дамами полковничьими былъ какъ со своими; — да лихъ не свои, и не въ свои сани сѣлъ.

Разъ какъ-то нарядили меня съ тремя рядовыми въ конвой, за пойманными бродягами, которыхъ отправляли въ земскій судъ. Дорогою одинъ изъ конвойныхъ пустился въ разспросы, кто изъ нихъ, изъ арестантовъ, откуда родомъ. Я только было оборотился назадъ, чтобъ велѣть солдату молчать и не разговаривать съ арестантами, какъ услышалъ, что одинъ изъ нихъ отвѣчалъ: изъ Комлева. «Изъ Комлева! съ родины моей!» Я подумалъ съ минуту и сталъ самъ его разспрашивать, и сколько помню, одинъ только этотъ разъ, во всю службу свою, погрѣшилъ я завѣдомо противъ присяги своей — каюсь, но не раскаяваюсь. Я спросилъ: зналъ ли онъ въ Комлевѣ мѣщанина Сидора Чайкина, или жену его Марью? «Какъ не знать,» отвѣчалъ онъ, «годовъ тому будетъ съ 20, я у нихъ сына крестилъ.» — Какого сына? — «Такого сына, какъ бываютъ они: Вакха. Сидоръ въ тѣ поры уѣхалъ по торгамъ, а мнѣ и наказалъ быть крестнымъ отцомъ, коли родится у него сынъ: оно такъ и сталось.» И комлевскій бродяга оказался — крестнымъ отцомъ моимъ: онъ сказалъ мнѣ, что я родился 1-го марта, а отецъ мой былъ отданъ въ солдаты того же года, во время самой лебедянской ярмарки, слѣдовательно, около Троицы или Покрова, т. е. во всякомъ случаѣ позже, лѣтомъ или осенью. Обстоятельство это,

повидимому пустое, было для меня довольно важно: если показаніе крестнаго отца моего справедливо, то я не кантонистъ, не солдатъ, а свободный человѣкъ.

Проводивши крестнаго отца своего въ кандалахъ, куда слѣдовало, и давши ему цѣлковый на дорогу, я, какъ воротился, пошелъ къ полковнику и объяснилъ все. Тамъ слушали меня съ большимъ участіемъ, полковникъ сказалъ разсмѣявшись: «видно тебѣ, братъ, чудеса такія на роду написаны, а между тѣмъ надобно списаться».

Полтора года послѣ этого случая, всего послѣ четырехъ лѣтъ службы моей, и на 22-мъ въ исходѣ отъ роду, получилъ я чистую отставку, какъ неправильно записанный на службу. Радъ ли я былъ отставкѣ, спросите вы? Да что же мнѣ было дѣлать? Тянуть лямку до прапорщика оставалось мнѣ еще 10 лѣтъ; склонность моя влекла меня къ наукамъ, а здѣсь, — конечно также наука, да не та. Ходить въ замкѣ, во взводѣ, я выучился, да это меня не тѣшило. Итакъ въ отставку; ружье и ранецъ въ сдачу каптенармусу, а фракъ — подарокъ доброй полковницы — на плеча. А вѣрите ли, когда пришелъ я въ аммуничникъ сдавать казенное добро, такъ ружье свое повертѣлъ въ рукахъ, и призадумался надъ нимъ; кажется, еслибы я съ нимъ сходилъ въ славный походъ, не на шутку тяжело было бы съ нимъ разстаться. Преглупымъ платьемъ показался мнѣ теперь нашъ фракъ, даже послѣ солдатской шинели: венгерка, куцая куртка моего покойнаго благодѣтеля — право гораздо толковѣе.

ГЛАВА VII.

ОТЪ ПРЕГЛУПАГО ПОКРОЯ ПЛАТЬЯ ДО ПОПУТЧИКА.

Куда мнѣ дѣваться теперь и что мнѣ начать, я еще не зналъ; небольшія деньжонки у меня были; житье у полковника мнѣ было веселое, ничего не стоило, и я сначала никуда не торопился. Я тѣшился вольной волей своей, и тутъ мнѣ было хорошо. Полковникъ и милыя хозяйки строили иногда со мною планы о будущности моей — все это казалось еще далеко впереди. Нѣтъ, далеко отъ насъ только прошлое.

Ученица моя, о которой я упомянулъ выше, была меньшая свояченица полковника, Груша. Видно, необыкновенныя похожденія мои, нынѣшнее званіе, конечно несогласное со степенью даннаго мнѣ образованія, и другія обстоятельства и случайности возбудили въ ней живое ко мнѣ участіе. Какъ дѣвица военная, она привыкла и ко всему быту этого сословія, къ подчиненности солдатъ ея полка, къ услужливости ихъ; но такой солдатъ, какъ я, ей, конечно, еще не попадался; немножко живое воображеніе ея расписало ей взаимное положеніе наше красками романическими; я былъ молодецъ вовсе неопытный по этой части, и коротко сказать, ничего не думалъ и ни о чемъ не думалъ, какъ едва не дожилъ до того, что и думать было поздно. Обыкновенно связь и дружба подобнаго рода, если она возрастаетъ до извѣстной степени, оканчивается тѣмъ, что молодые люди начинаютъ говорить другъ другу наединѣ *ты;*

здѣсь наоборотъ: Груша начала меня тѣмъ отличать, что говорила мнѣ, когда никто насъ не слышалъ, *см.* Я принялся жить, когда вышелъ на свѣтъ, за околицу Путилова, съ такимъ жаромъ и рвеніемъ; я видѣлъ столько прекраснаго впереди, и кромѣ хорошаго, видѣлъ иногда только смѣшное, а дурное забывалъ; я жилъ и дышалъ съ такою свободою и самоувѣренностію, не смотря на незавидный жребій, свой, съ такою простотою и недогадливостію, съ такою чистою совѣстью, что шелъ бодро и безъ оглядки впередъ, думая: все хорошо какъ оно есть; и беречься, остерегаться я не умѣлъ, тѣмъ менѣе могъ я уберечься отъ такой бѣды, какая мнѣ тогда грозила, попирать ландыши на пути ногами, когда, казалось, безгрѣшно могъ ими радоваться и утѣшаться. О послѣдствіяхъ не было у меня никакого понятія, мы съ Грушей только очень подружились. Не хотѣлось бы докучать вамъ, а не могу я отстать такъ сухо отъ этого завѣтнаго предмета.—Полковница, конечно, давно видѣла неумѣстную дружбу нашу, но ей насъ было жаль обоихъ, и она считала все это ребячествомъ.

Вслѣдъ за отставкой моей, одинъ изъ капитановъ того же полка посватался за Грушу; это надѣлало такой сумятохи въ домѣ, что тайна не могла остаться безъ объясненій. Разумѣется, я никогда не смѣлъ и подумать о бракѣ съ Грушей, и дѣйствительно, мысль эта никогда мнѣ въ голову не приходила; но она отказала жениху, которому, по всѣмъ соображеніямъ старшей сестры и зятя, отказывать не слѣдовало. Грушу никто не неволилъ, а хотѣли только допытаться о причинѣ отказа; но кромѣ слезъ

и заклятій, что она никогда замужъ не выйдетъ, отвѣта не добились. Все это, однако же, произвело во мнѣ и въ ней, безъ всякаго объ этомъ предметѣ разговора, такую видимую для всѣхъ перемѣну, что никому не трудно было разгадать загадку; полковница воспользовалась первымъ случаемъ, чтобы со мною объ этомъ переговорить.

Она сдѣлала это очень тонко и искусно, съ женскимъ умѣньемъ и изворотливостію, и спросила меня, что я объ этомъ думаю? — Никогда въ жизнь мою не испыталъ я такой пытки, и за себя и за Грушу. Въ эту минуту только очи мои прозрѣли. Я отвѣчалъ, наконецъ, что ничего не думаю и думать не въ состояніи, просилъ ее думать за меня и, безъ всякихъ обиняковъ, приказывать мнѣ, что теперь дѣлать: я готовъ на все, безо всякой оговорки или исключенія. «Кажется» прибавилъ я, «если я только въ этомъ омутѣ что-нибудь вижу, кажется, мнѣ должно ѣхать сегодня или завтра».

— Должно, — отвѣчала она: — чувства ваши, которыя васъ никогда въ жизни не обманывали, и теперь остались вамъ вѣрны. Не осуждайте насъ за это: поживите еще немного на свѣтѣ, такъ, чтобы вы могли оглянуться назадъ, на происшествіе это, и право вы насъ оправдаете.

Разумѣется, что отставной унтеръ-офицеръ свояченицѣ полковника своего не женихъ; объ этомъ, даже съ устраненіемъ всѣхъ свѣтскихъ предубѣжденій, толковать нечего. Въ ту же ночь я сѣлъ тайкомъ на нанятую двуконную подводу, оставивъ полковнику и полковницѣ по письму, и ускакалъ, по ближайшему пути, на почтовый трактъ. Мнѣ

и теперь еще больно, что я долженъ былъ оставить полкъ свой и домъ полковника, этотъ пріютъ мой, убѣжище и рай — такимъ безславнымъ образомъ. Зачѣмъ не могъ я разстаться съ этою семьей такъ, какъ послушное и доброе дитя, выходя на свѣтъ, покидаетъ домъ родительскій?

Отъ француза, съ которымъ я постоянно переписывался, получилъ я письмо передъ отъѣздомъ; въ Путиловѣ произошли большія перемѣны: тамъ давно уже наѣхали опекуны, приняли имѣнье, сдали его вскорѣ опять Сергѣю, за совершеннолѣтіемъ его, и наѣхали уже опять другіе, потому что имѣнье было отдано въ опеку, за дурное обращеніе помѣщика съ крестьянами. Добрый французъ мой нашелъ спокойное мѣсто у сосѣдняго помѣщика.

Выѣхавъ на столбовую дорогу, я поудержалъ прыть свою и не сталъ закладывать себѣ парныхъ подводъ, а сѣлъ и выжидалъ попутчика. Надобно однако же вамъ сказать, куда я ѣхалъ: послѣднее похожденіе мое заставило меня подумать толкомъ и основательно о будущности моей. Будь я безъ всякаго чина, просто ничто, такъ бы тутъ заботиться не о чемъ, какъ о деньгахъ; деньги есть — все будетъ, и жить на свѣтѣ можно. Но отставной унтеръ-офицеръ — это званіе отводило мнѣ мѣсто по чину въ харчевнѣ, въ кабакѣ, на толкучемъ и подъ качелями; а во всякое другое общество двери для меня не отворяются. Такъ ли я былъ воспитанъ, того ли могъ желать? Повторю еще разъ, оставь меня на скотномъ дворѣ, у Катерины, и я бы пасъ свиней и былъ бы счастливъ, когда у меня брюхо набито, и мнѣ бы въ голову не пришло искать и

желать иной участи: но если ужь разъ сдѣлали изъ меня человѣка съ другими понятіями, чувствами и потребностями, тогда я не могу, не въ силахъ довольствоваться панибратствомъ черни. Итакъ, что мнѣ дѣлать, какимъ родомъ сбыть этотъ камень преткновенія, чинъ? Идти служить — много воды, можетъ быть, утечетъ, пока дослужусь до перваго офицерскаго чина. Остается другое средство — идти учиться; учиться — я бы радъ былъ не только за чинъ, а отдалъ бы его, еслибъ онъ на мнѣ былъ; у насъ же даютъ за это чинъ въ прибавку, только выучись чему нибудь! Дѣло рѣшено, ѣду въ Питеръ, будутъ зарабатывать чѣмъ могу насущный хлѣбъ свой — живутъ же тамъ и другіе люди, и не всѣ же лучше и умнѣе меня,— и стану учиться въ академіи или университетѣ.

Комлевъ, родина моя, лежалъ отъ прямаго пути не болѣе сотни верстъ въ сторонѣ; чего бы мнѣ, казалось, тамъ искать? Ни своихъ, ни даже чужихъ, которые бы могли помнить меня. Да какъ же не взглянуть, хоть мимоходомъ, на колыбельку свою? Потянуло меня туда. Выѣхавъ на большую дорогу, сталъ я у крестьянина, обошелъ постоялые дворы, завернулъ и къ станціонному смотрителю, и обѣщалъ всюду на водку, если кто найдетъ попутчика, который бы согласился подвезти за сходную цѣну отставнаго служиваго. Узнаю, что на станціи впереди есть какой-то баринъ, который также ждетъ попутчика, и тотчасъ отправляюсь туда.

ГЛАВА VIII.

ОТЪ ПОПУТЧИКА ДО ЧЕМОДАНА, ВЪ КОТОРОМЪ ДОБРА НЕМНОГО.

Нахожу виднаго молодаго человѣка, который стоялъ, сложивъ руки въ карманы, передъ открытымъ окномъ, и напѣвалъ, звучно заливаясь: «соловей мой, соловей»; а вслѣдъ за тѣмъ перешелъ онъ къ vive Henri quatre. Смотритель обрадовался мнѣ, и просилъ увезти этого постояльца, который хозяйничаетъ тутъ уже дней десять и надоѣлъ ему горьше рѣдьки. «А я было думалъ, онъ меня подвезетъ?» сказалъ я. — Ну, тамъ какъ себѣ знаете, — отвѣчалъ тотъ, махнувъ рукой, — только убирайтесь пожалуйста отсюда.

Молодой человѣкъ, — лѣтъ ему было однако же подъ 40, — очень обрадовался товариществу моему, сказалъ было, что ему надо ѣхать въ Кіевъ, но въ ту же минуту согласился ѣхать со мною и на Комлевъ, увѣряя, что это ему все равно — хотя это было такъ же равно, какъ и направо и налѣво, назадъ и впередъ; мигомъ приказалъ закладывать лошадей, что смотритель исполнилъ съ отмѣннымъ удовольствіемъ и поспѣшностію; тотъ бросилъ въ телегу легонькій и крошечный чемоданчикъ и, взявъ порожнюю трубку въ зубы, сидѣлъ уже, поджавъ ноги, на телегѣ и распѣвалъ оперныя аріи. Всѣ обстоятельства, эти конечно, должны бы были надоумить меня, съ кѣмъ я связался, но, на бѣду, онъ спросилъ меня тотчасъ же: не говорю ли я по-французски; я, какъ отставной унтеръ-офицеръ, ду-

малъ повысить себя въ глазахъ его на чинъ, показавъ образованность свою,— и на этомъ-то лощеномъ языкѣ онъ такъ благородно и заманчиво умѣлъ убѣдить меня во всемъ, заставить встрѣчать всѣ желанія его съ предупредительною вѣжливостію, что я, не смотря на какое-то внутреннее безпокойство, былъ не въ силахъ ему въ чемъ-либо отказать, даже показать малѣйшую недовѣрчивость. Нѣтъ, по-русски онъ бы меня не надулъ, а по-французски обморочилъ, зачаровалъ. Это былъ такой тертый калачъ, какого мнѣ въ жизнь мою болѣе не случалось видѣть. Очень смуглое, сухое, но широкое лицо, черный щетинистый волосъ и брови, огромныя бакенбарды, огромные бѣлки, прямой, умѣренный носъ, рѣзкія черты и очень выразительная игра мышцъ и движеній въ лицѣ. Когда онъ улыбался иронически — скрививъ немного ротъ, насупивъ противоположную бровь и выглядывая изъ подлобья, — то нельзя было не смѣяться въ душѣ, не почувствовать привязанности и уваженія къ этому нѣмому проявленію ума и остроты. Широкія плеча и молодецкая осанка, какое-то ловкое умѣнье красоваться непринужденно, во всякомъ положеніи тѣла, и еще не знаю что, какая-то невидимая бездѣлица, сноровка въ простой дорожной одеждѣ его, придавали ему что-то благовидное, укрывали отъ глаза простаго зрителя, не наблюдателя, скудное состояніе крайне изношеннаго платья. Смотритель потребовалъ, кромѣ прогоновъ, сколько-то рублей съ копѣйками за кой-какіе съѣстные припасы, забранные попутчикомъ моимъ у него, въ первые дни квартированія; въ послѣдніе же, какъ видно, онъ хлебалъ

молоко въ долгъ въ разныхъ крестьянскихъ дворахъ, и три бабы явились у подъѣзда со своими требованіями. Попутчикъ мой, не обращая ни на кого изъ нихъ ни малѣйшаго вниманія, разговаривая со мною, досталъ свой бумажникъ, вынулъ оттуда маленькую картиночку и, подавая мнѣ ее съ повозки, сказалъ, все по-французски: «Вотъ этотъ городъ, гдѣ я былъ такъ счастливъ, l'alma citta di Roma, я его всегда ношу при себѣ; если вы охотникъ до хорошенькихъ очерковъ перомъ въ три тѣни, въ чемъ я не сомнѣваюсь, судя по образованности вашей, то возьмите листокъ этотъ себѣ, теперь я самъ скоро тамъ буду. Потрудитесь удовлетворить этихъ скотовъ; у меня въ бумажникѣ однѣ крупныя ассигнаціи, тутъ конца не будетъ разсчетамъ — сядемъ и поѣдемъ, пора, тамъ сочтемся».

Теперь я понялъ все; но попутчикъ мой былъ такъ милъ и развязенъ, что я не нашелся, какъ тутъ поступить иначе, а заплатилъ деньги, сѣлъ, поѣхалъ, и не смотря на всю любезность и разговорчивость продувнаго товарища своего, твердо рѣшился везти его не далѣе одной станціи. Я и самъ былъ такъ бѣденъ деньгами, что не отдалъ бы ихъ въ эту минуту и доброму человѣку въ нуждѣ, а тутъ — бросить въ воду!

Пріѣхали на станцію; попутчикъ очень зорко вглядывался въ меня, и все болталъ, не смотря на молчаливость мою, и закричавъ, чтобъ скорѣе закладывали лошадей, ухватилъ меня съ какимъ-то дружескимъ толчкомъ и урывкой подъ руку и повелъ скорыми шагами ходить; онъ все

болталъ, и, вдругъ покинувъ меня, извинился, сказавъ, что сію минуту будетъ, и ушелъ, повернувъ за уголъ, за ближній крестьянскій плетень. Я рѣшился сказать смотрителю, чтобы онъ вѣдался съ другимъ проѣзжающимъ, который велѣлъ закладывать, а я не поѣду на почтовыхъ; самъ же, похаживая взадъ и впередъ, ждалъ своего попутчика для объясненій.

Проходитъ четверть часа, полчаса, — его нѣтъ; иду его искать, — нѣтъ нигдѣ. «Тѣмъ лучше, подумалъ я, какая мнѣ нужда объ немъ заботиться», и пошелъ искать себѣ дешевую подводу или крестьянина-попутчика. Но оно вышло не къ лучшему; товарищъ укралъ у меня изъ кармана, видно, въ то самое время, когда подхватилъ меня довольно бойко подъ руку, мой бумажникъ, и пропалъ съ нимъ, какъ въ землю провалился, среди бѣлаго дня; всѣ поиски мои, всѣ старанія смотрителя, которому я обѣщалъ награду, остались тщетными; ямщики бѣгали по деревнѣ, скакали по всѣмъ дорогамъ: нѣтъ его. Онъ, видно, смѣтилъ уже по лицу моему, что я его далѣе везти не намѣренъ, и взялъ свои мѣры.

Не учиться стать было мнѣ идти пѣшкомъ: я надѣлъ заслуженную солдатскую шинель свою, продалъ смотрителю и содержателю постоялаго двора за безцѣнокъ три четверти пожитковъ своихъ, навьючился остальнымъ, и пошелъ, отвѣтивъ только смотрителю, который спросилъ, указавъ на чемоданчикъ попутчика моего: а это же что у васъ? — «это не мое». Вѣроятно, тамъ добра было немного. Я даже не оглянулся.

ГЛАВА IX.

ОТЪ ЧЕМОДАНА, ВЪ КОТОРОМЪ ДОБРА НѢМНОГО, ДО ФОРТЕПІАНЪ СЪ ТУРЕЦКИМЪ БАРАБАНОМЪ.

Мой паспортъ объ отставкѣ послужилъ мнѣ на пути, до самаго Комлева, вмѣсто бумажника; отставному солдату, который шелъ на родину, на пятистахъ верстахъ, не отказали въ пищѣ и ночлегѣ ни въ одной деревнѣ. Мало того: когда меня захватила на пути ранняя зима, то къ ночи и въ непогоду мужики не выпускали меня изъ села; «тамъ свалишься гдѣ-нибудь,» говорили они, «да замерзнешь, выпивъ на дорогу, а послѣ за тебя отвѣчай; ложись, служивый, да отдохни, сдѣлай милость; заутре накормимъ и отвеземъ тебя, нарядимъ подводу, только бы невредимо выпроводить изъ околотка. Мы и то теперь еще не оклемаемся съ третьяго году, какъ, спасибо, сосѣди черепановскіе кинули на нашу межу какое-то мертвое тѣло: словно вся деревня на два года къ земскимъ въ кабалу пошла. Тутъ приставили изъ села, въ рабочую пору, караулъ, ровно добро какое стеречи, да держали недѣли три; тутъ весь судъ выѣхалъ, и стали по квартирамъ, и корми ихъ курицами; тутъ заковали того, чья пашня на межѣ, гдѣ нашли покойника, да и всѣхъ по очереди перещупали, у кого была запасная скирда на гумнѣ. А чего, покойникъ этотъ ужь имъ больно знакомъ; его исправникъ изъ того уѣзда, ровно въ подарокъ, нашему прислалъ, перетащилъ черезъ границу, взявши тамъ, что пришлось съ мужиковъ; да вотъ съ веревкой на шеѣ таки, покуда не разсыпался весь, и

ходилъ все съ межи на межу. Ужь мы, братъ, наплакались тогда; такъ сиди, сдѣлай милость, служивый, и не пустимъ до утра, хоть какъ хочешь.»

Добрался я до Комлева; отлегло мнѣ вдругъ, отошло отъ сердца, ровно кладъ какой дался — а не все ли мнѣ равно тогда было, что Комлевъ, что Тамбовъ, что Ирбить? Чужой всюду; случай однако же послужилъ мнѣ не только отыскать, въ первый же день, домишко, въ которомъ я родился, но и поселиться въ немъ, у добрыхъ, хотя очень забавныхъ и странныхъ людей, и пожить съ полгода спокойно: безъ гроша нельзя было идти въ столицу, а въ Комлевѣ нашелъ я вскорѣ учениковъ, и сталъ учить всему на свѣтѣ. Горекъ хлѣбъ учительскій, да дѣлать было нечего; рублей двѣсти, за очисткой расходовъ, надо было заработать.

Хозяинъ мой былъ также учитель, музыкантъ, разумѣется единственный въ городѣ, какъ учитель и какъ бальный оркестръ. Голоса у него не было, онъ говорилъ осиплымъ шопотомъ, и разсказывалъ каждый день по нѣскольку разъ, что онъ голосъ потерялъ на пожарѣ; но за то игралъ онъ на всѣхъ инструментахъ въ мірѣ, не только поодиначкѣ и порознь, но и на всѣхъ вдругъ. На вечеринки являлся онъ за цѣлковый, обвѣшанный съ ногъ до головы цѣлымъ оркестромъ, и игралъ всю ночь напролетъ. Когда онъ упражнялся однажды дома на девяти инструментахъ вдругъ, перенявъ это отъ какого-то проѣзжаго фигляра, то сдѣлался пожаръ, домъ вдругъ обхватило пламенемъ; музыкантъ до того испугался, что выскочилъ на улицу съ де-

вятью инструментами, привязанными въ разныхъ мѣстахъ тѣла, бѣгалъ съ этой музыкой по улицѣ, и не могъ долго отъ нея отвязаться: бубны гремятъ, тулумбасъ за спиной стучитъ, потому что къ локтю привязана палка, тарелки между колѣнъ брянчатъ — словомъ, тревога страшная. Растерявъ по улицамъ всѣ инструменты свои, онъ надсѣдался два часа крикомъ на пожарѣ; былъ нѣсколько разъ окаченъ съ ногъ до головы водой, сильно простудился, и съ той поры остался безъ голоса. Человѣкъ этотъ былъ, казалось, природою назначенъ въ музыканты: ноги какъ флейты, губы, какъ раструбъ кларнета, руки ровно смычки, а самъ — настоящая віолончель. Притомъ — щеголь: коли въ праздникъ уберется, надѣнетъ жилетку съ разводами и стекляными пуговками, а голубой фракъ откинетъ — настоящій растегай, до которыхъ онъ былъ такой страстный охотникъ. Онъ всюду слышалъ и видѣлъ музыку: зазвенитъ ли стаканъ, брякнетъ ли серебряная ложка, онъ откликается, изъ третьей комнаты, октавой; знаетъ наизустъ звукъ всей домашней посуды своей по камертону, и мнѣ жаловался однажды, что у него одна кастрюля фальшитъ, если не долить ее водой до мѣтки, которую онъ нарочно въ ней сдѣлалъ. Коли вечеромъ дѣвки издали поютъ, а жуки пролетомъ гудятъ, то онъ, сидя на крылечкѣ, подбираетъ къ голосамъ дѣвокъ басы жуковъ; коли на зарѣ плотники рубятъ избу, и звонкій стальной топоръ звенитъ, — Сидоръ Еремѣевичъ откликается на скрипкѣ или на гитарѣ квинтой и квартой. Онъ, не смотря на безголосность свою, былъ большой знатокъ и рядитель музыки,

и замѣтилъ однажды, когда я разыгралъ ему кой-что изъ тогдашнихъ новыхъ оперъ Россини, что онъ это знаетъ; это хорошо, но это-де все выкрадено изъ гвардейскихъ маршей; Россини все такъ дѣлаетъ. Немножко онъ правъ, подумалъ я, хоть и не совсѣмъ.

Хозяйка моя, супруга музыканта, мастерски пекла растеганы, гладила каждый день манишку супруга своего и готовила на вечеръ бѣлый шейный платокъ, пила чай изъ даровой чашки, съ надписью золотомъ: «въ знакъ великодушія», и охотнѣе всего разсказывала исторіи болѣзней разныхъ знакомыхъ своихъ, въ родѣ слѣдующей: «Она, батюшка, ослѣпла на одинъ глазочекъ, окривѣла, такъ, ни съ чего; прикинулся ячмень, она и говоритъ бабамъ: бабы, покажите мнѣ кукишъ»; бабы показали кукишъ, а тутъ стало застилать туманомъ, и окривѣла. — Не слушаются добрыхъ людей, батюшка, отъ того и худо бываетъ; вотъ хоть бы у сосѣдки нашей, ребенокъ пошелъ было до году и сталъ ходить — говорили люди, что путы было перерѣзать *), какъ только пошелъ онъ въ первый разъ, такъ нѣтъ, ну и сѣлъ опять, и ползаетъ до трехъ годовъ.»

Добродушный Сидоръ Еремѣичъ, хозяинъ мой, не только не ревновалъ ко мнѣ, какъ къ сопернику въ промыслѣ своемъ, но съ истиннымъ безкорыстіемъ художника доставилъ мнѣ тутъ и тамъ случай давать уроки, посылалъ иногда вмѣсто себя, бралъ съ собою на вечеринки, и дѣлилъ со мною свой цѣлковый; цѣна была на это въ Ком-

*) Т. е. черкнулъ ножемъ по землѣ между ногъ.

левѣ искони одна, и болѣе никто не жаловалъ, хоть приди одинъ, хоть самъ-семъ. Сидоръ Еремѣичъ ихъ избаловалъ, отвѣчая одинъ за семерыхъ.

Въ Комлевѣ стояла пѣхота и былъ батальонный штабъ: одной помѣщицѣ понадобились показать холостымъ офицерамъ, какъ мило поетъ у нея дочь. Для этого тотчасъ же составили концертъ въ пользу бѣдныхъ, и всѣ ученики и ученицы Сидора Еремѣича и мои напѣвали, надували, насвистывали и наигрывали тутъ, кто во что гораздъ. Меня пригласили сопровождать пѣвицу на фортепіано. — Пробы дѣлались на однихъ фортепіанахъ, а къ концерту принесли другія, незнакомыя мнѣ дотолѣ, съ музыкой Сидора Еремѣича, т. е. съ фаготами, кларнетами, свистками, словомъ — съ цѣлымъ оркестромъ и даже съ турецкимъ барабаномъ. Извѣстно, что все это приводится въ движеніе, во время игры, особой подножкой; я полагалъ, не разсмотрѣвъ напередъ фортепіанъ, что педаль внизу обыкновенный, пожалъ его, во время концерта, на самомъ великолѣпномъ мѣстѣ аріи, въ которой переливалась сладкозвучная пѣвица, — и адскій шумъ всѣхъ возможныхъ звуковъ на разладъ, съ громовымъ стукомъ турецкаго барабана, огорошилъ испуганное ухо мое. Пѣвица чуть не обомлѣла, слушатели сначала вздрогнули, потомъ поднялся хохотъ, и этотъ несчастный случай едва не лишилъ меня всѣхъ учениковъ и учениць; мать пѣвицы, покрайней мѣрѣ, приложила къ тому неутомимое стараніе и оставалась до конца непримиримымъ моимъ врагомъ.

ГЛАВА X.

ОТЪ ФОРТЕПІАНЪ СЪ ТУРЕЦКИМЪ БАРАБАНОМЪ ДО КОЧЕРГИ И ЩЕТКИ.

Зима прошла, я свелъ счеты свои, и убѣдился, что хотя и преподавалъ въ Комлевѣ усердно всѣ искусства и науки, но не скоро заработаю себѣ кормовыя деньги на первые полгода столичной жизни. Мнѣ казалось выгоднѣе побыть съ годъ у какого-нибудь помѣщика, на всемъ готовомъ; тогда жалованье, хоть оно и не велико, можно бы было сберечь почти все. Сидоръ Еремѣичъ помогъ мнѣ и въ этомъ: помѣщикъ трехъ сотъ душъ — не шутка — Василій Ивановичъ Порубовъ, взялъ меня, на мѣсто прогнаннаго имъ нѣмца, въ домъ, за 400 р. въ годъ, на всемъ готовомъ. Я крайне обрадовался; въ годъ заработаю 400 р. и съ ними пойду въ Питеръ.

Василій Ивановичъ жилъ въ деревнѣ, верстахъ въ 15 отъ Комлева. Онъ былъ давно уже вдовъ, и радѣлъ о воспитаніи дочери и сына — ей 12, ему 15 лѣтъ. — Василій Ивановичъ, служивъ въ молодости въ военной службѣ, пришелъ однажды къ корпусному командиру, съ горькой жалобой на полковника, который-де не даетъ ему ходу, не представляетъ къ отличію, и просилъ униженно уважить просьбу его и представить къ кресту или чину. Корпусный командиръ спросилъ его: «Развѣ вы думаете, что довольно жить и быть здоровымъ, чтобы получать награды?» Василій Ивановичъ согласился безпрекословно, что, кромѣ этихъ случайностей, необходима и милость начальства, безъ

которой-де конечно трудно до чего-нибудь дослужиться. — Генералъ захохоталъ, выслалъ Порубова, а этотъ, пождавъ еще немного, и выждавъ только производство двухъ стоявшихъ подъ нимъ поручиковъ, разсердился, вышелъ въ отставку и, какъ говорится, насмѣялся начальству своему, потому что ему данъ былъ, при отставкѣ, чинъ штабсъ-капитана.

Когда я прибылъ къ Василію Ивановичу въ усадьбу, то встрѣтилъ его въ воротахъ барскаго дома, въ слѣдующемъ поѣздѣ: на старый, высокій каретный ходъ, тѣхъ временъ, когда еще вмѣсто рессоръ употреблялись пасы, ремни съ зубчатыми колесиками, были поставлены, для легкости, вмѣсто каретнаго кузова, ободранныя большія кресла, и въ нихъ сидѣлъ баринъ. На высокихъ козлахъ сидѣлъ малый, а позади хода привязана была большая деревянная лошадь, поставленная на колеса; на этой лошади сидѣлъ 15-ти-лѣтній Митенька, мой будущій ученикъ, и погонялъ плетью деревяннаго коня своего, между тѣмъ какъ тятенька его очень снисходительно со мною разговаривали, и обѣщавъ скоро воротиться, просили войти въ домъ. Василій Ивановичъ такимъ образомъ ѣздилъ каждый день съ сынкомъ покататься, и объѣзжалъ всѣ межи свои, всѣ межевые столбы и ямы. Вошедши въ домъ, откуда Василія Ивановича сейчасъ только выпроводили и, какъ видно было, въ эту минуту никого не ожидали, я встрѣтилъ въ первой комнатѣ еще поѣздъ другаго, не менѣе страннаго рода: барышня каталась, верхомъ же, на тучной здоровой дѣвкѣ, которая, съ ужаснымъ хохотомъ и крикомъ, прыгала курцъ-

галопомъ взадъ и впередъ, между тѣмъ какъ цѣлая стая дворовыхъ ребятишекъ и дѣвокъ, окружавшая потѣшное зрѣлище это, съ такимъ же неистовымъ крикомъ, скачками и взмахами обѣихъ рукъ, изъявляла душевное свое удовольствіе. Когда я вошелъ, то поѣздъ съ большою поспѣшностію удалился, холопы стали по угламъ и грызли ногти, а дѣвка подошла наконецъ ко мнѣ, удерживаясь всѣми силами отъ смѣха, и сказала: «барина дома нѣту-съ.» — «Это я вижу» — отвѣчалъ я. Дѣвка отвернулась, побѣжала, разсыпалась на пути неподдѣльнымъ заливнымъ хохотомъ, на который и холопы, и дѣвки, и вся дворня единодушно, со всѣхъ угловъ и закоулковъ, отозвалась тѣмъ же, и весь барскій домъ огласился дружнымъ, до половины заморенным хохотомъ. Я сталъ оглядываться: хохотуши всѣхъ родовъ и величинъ стояли и сидѣли, прижавшись подъ столами и дверьми, за шкафами, ширмами, словомъ — гдѣ только былъ свободный уголокъ.

Часа черезъ полтора Василій Ивановичъ воротился, принялъ меня очень милостиво и радушно, кончилъ напередъ всего со мною рядъ и уговоръ, представилъ мнѣ обоихъ учениковъ моихъ, и разсказалъ, за что прогналъ своего француза: онъ понемногу завелъ въ домѣ галантерейную и мелочную лавочку, которую и возилъ съ собою въ городъ, когда на зиму вся семья туда перебиралась, и образовалъ изъ воспитанниковъ своихъ пребойкихъ и изворотливыхъ сидѣльцевъ.

Василій Ивановичъ былъ человѣкъ очень веселаго нрава; вечеромъ къ нему съѣхались человѣка три близкихъ со-

сѣдей, и вышедшій нынѣ вовсе изъ моды пуншъ находилъ тутъ своихъ потребителей. Было много крику и смѣху: никто не хотѣлъ вѣрить, чтобы отставной служивый, какъ я, не пилъ пуншу, тогда какъ Митенька выпивалъ всегда стаканъ свой съ удовольствіемъ. Двое изъ гостей были мелкопомѣстные; по этому поводу завязались споры, шутки и перекоры. Василій Ивановичъ торжествовалъ; онъ не упустилъ случая разсказать любимую остроту свою, конечно, не собственнаго изобрѣтенія, что дворяне здѣшніе раздѣляются на три разряда: на великодушныхъ, — у коихъ болѣе ста душъ, и которые, слѣдовательно, имѣютъ полный голосъ на выборахъ, — на малодушныхъ, — у коихъ менѣе ста, — и на бездушныхъ, у коихъ нѣтъ ничего. Одинъ изъ малодушныхъ гостей принималъ невыгодныя отношенія свои очень къ сердцу и грозилъ весь вечеръ, стараясь перекричать собесѣдниковъ своихъ, что скоро, очень скоро прикупитъ къ своимъ 37 душамъ еще 63, и тогда у него будетъ сотня сполна, и онъ будетъ участвовать въ выборахъ, и уже дастъ себя знать: тогда избираться будутъ во всѣ мѣста и должности одни только достойные.

На другое утро Василій Ивановичъ занялся хозяйствомъ: онъ велѣлъ подать и отмѣрить при себѣ 20 аршинъ домотканой полосушки, собственно себѣ на халатъ; совѣтовался со мною, нельзя ли намъ завести своихъ пѣвчихъ, и спрашивалъ, не умѣю-ли я лечить собакъ; приказалъ отправить въ городъ къ извѣстному птицелову, Три-Ивана, четверть крупъ и мѣрку коноплянаго сѣмени, на которые вымѣнялъ у него перепела и щегленка: позвалъ Ваньку,

и требовалъ отчета, для чего онъ вчера былъ пьянъ? И когда Ванька повинился, оправдавшись тѣмъ, что ему надо было побить жену, и что онъ нарочно для этого только и выпилъ немного, то Василій Ивановичъ обратился съ вопросомъ къ Сидоркѣ: чего онъ смотритъ, и скоро ли рѣшится поучить также немного жену свою, которая нисколько не лучше Ванькиной? Наконецъ, распорядившись такимъ образомъ дома и приведя все въ порядокъ, Василій Ивановичъ поѣхалъ опять съ сынкомъ прокатиться на межу, въ тѣхъ же дѣдовскихъ креслахъ на каретномъ ходу, и подтвердилъ только, чтобы Митину лошадь привязали сзади покрѣпче, потому что она вчера на ухабѣ оторвалась, и Митя остался-было среди дороги, верхомъ на деревянномъ конѣ своемъ, и насилу докричался отца, который, какъ и кучеръ, не слышалъ крика его, за стукомъ экипажа.

Такимъ образомъ я опять съ утра остался въ домѣ съ тѣмъ же обществомъ, которое вчера такъ простодушно веселилось, во время отсутствія барина; и какъ я, чтобы не мѣшать, удалился въ свою комнату, а притомъ меня уже считали своимъ и не такъ передо мною чинились, то вскорѣ и раздался по цѣлому дому смѣхъ, визгъ и топотня босыхъ дѣвокъ, и я издали могъ отличить знакомую мнѣ побѣжку барышниной лошадки.

Въ своемъ покойчикѣ нашелъ я еще памятникъ француза: всѣ стѣны были исписаны, вѣроятно по недостатку или для сбереженія бумаги, счетами купленныхъ и проданныхъ вещицъ: колецъ, серегъ, пряжекъ, иголъ, пуговокъ, шелку и проч. Вечеромъ опять пріѣхали собесѣдники

и пили пуншъ, и Степанъ Степановичъ опять кричалъ громче всѣхъ и грозилъ, что скоро, очень скоро, прикупитъ онъ 63 души къ 37, и тогда объ немъ услышатъ; до того времени-де онъ молчитъ.

На третій день опять тоже; вся разница была та, что Василій Ивановичъ, послѣ коротенькаго, дѣловаго утра своего, пригласилъ меня ѣхать съ нимъ на межу, приказавъ мнѣ осѣдлать коня, не деревяннаго, а живаго. Тутъ я увидѣлъ, чѣмъ Василій Ивановичъ занимается на этихъ ежедневныхъ прогулкахъ своихъ: онъ объѣзжаетъ каждый день поочередно участокъ межи своей; лошади, затвердивъ путь этотъ наизустъ, останавливаются у каждой межевой ямы, у каждаго столба; Василій Ивановичъ выходитъ, осматриваетъ, любуется и ѣдетъ дальше, а потомъ домой. Онъ разсказалъ мнѣ годъ, число и обстоятельства, когда которая межа проведена и столбъ поставленъ, указывалъ всѣ урочища, по коимъ у него и у предковъ его бывали тяжбы, излагая начало, ходъ и конецъ ихъ, во всей подробности. Частію побѣдитель, а частію побѣжденный, Василій Ивановичъ оградился наконецъ, послѣ многолѣтнихъ и убыточныхъ тяжбъ, кругомъ и со всѣхъ сторонъ межевыми знаками, и съ этихъ-то поръ, уже лѣтъ девять, не можетъ нарадоваться ими, и ѣздитъ ежедневно услаждать ими зрѣніе и душу свою. Вокругъ всей межи проложена была торная дорога. На обратномъ пути опять оторвалась Митина лошадка; онъ насилу насъ докричался, заставилъ кучера тащить себя съ полверсты къ рыдвану, и стегалъ его плетью за то, что худо привязываетъ лошадку его. — Ва-

силій Ивановичъ успокоилъ однакожь сынка, сказавъ: «душа моя, Митенька, твоя лошадка бѣсится, оттого она и оторвалась»; и Митя расхохотался, и былъ доволенъ. Когда мы воротились домой къ обѣду и вошли въ покои, то пыль столбомъ и разгорѣвшіяся лица барышни и дѣвокъ, показывали, что онѣ и сегодняшнее утро, пользуясь отсутствіемъ барина, провели въ тѣхъ же пріятныхъ занятіяхъ.

Вечеромъ, на половинѣ Василія Ивановича, шло все по старому; собесѣдники и пуншъ явились въ урочный часъ; но въ дѣтской произошла небольшая перемѣна противъ прежнихъ дней. Митенькѣ здѣсь нельзя было ѣздить на деревянной лошади своей, привязанной къ каретному ходу, ни Вѣрочкѣ также на своей; поэтому они, какъ охотники до ѣзды, выдумали ѣздить по комнатѣ другъ къ другу въ гости. — Пріѣхала Вѣрочка къ Митенькѣ на стулѣ; онъ принялъ ее привѣтливо, освѣдомился, по настоянію толстой няни, о здоровьѣ супруга гостьи своей, и обѣщалъ къ ней быть съ женой. Она уѣхала, а онъ ѣдетъ къ ней верхомъ на щеткѣ и погоняетъ кочергой; послѣдняя была жена его. Но Вѣрочка не хочетъ признать ее родней, говоритъ, что это не жена, а кочерга; Митенька, обидѣвшись невѣжливымъ пріемомъ сестры, которая никакъ не хотѣла поцѣловаться съ женой его, ткнулъ сестру наконецъ кочергой въ зубы, и вышибъ ей оныхъ два.

За исключеніемъ такихъ, довольно рѣдкихъ, особенныхъ случаевъ, все шло день за день обычнымъ своимъ порядкомъ; французъ выучилъ малютокъ Василья Ивановича французской азбукѣ; къ русской у нихъ не было охоты,

и годъ прошелъ, когда мы остановились на раздорожицѣ, на *мыслете*. Василій Ивановичъ просилъ меня всегда только объ одномъ: не торопить и не принуждать дѣтей, идти исподволь, потихоньку. По окончаніи года, мнѣ плата выдана была сполна, и мы разстались съ Порубовымъ дружески, остались повидимому другъ другомъ довольны. Впродолженіе этого года, Василій Ивановичъ сдѣлалъ только одно умное дѣло: онъ скупилъ въ губерніи до двухъ сотъ мертвыхъ душъ, т. е. такихъ, которые значились налицо, по послѣдней народной переписи, но которыхъ уже не было; за покойниковъ этихъ Василій Ивановичъ платилъ по 5 и 10 р., приписалъ ихъ законнымъ актомъ къ лоскуточку болота, купленному рублей за 500, а потомъ заложилъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ имѣнье въ 200 душъ, на которое имѣлъ всѣ законные акты, по указной цѣнѣ, по 200 р. душу, и, взявъ 40 т. рублей, предоставилъ Совѣту вѣдаться съ болотомъ и покойниками. Не понимаю о-сю-пору, какъ Василья Ивановича на это стало.

На прощанье Митенька разсказалъ мнѣ, передразнивая голосомъ крикъ животныхъ, о коихъ говорилъ, прибасенку: жукъ летитъ и говоритъ: *убью;* гусь спрашиваетъ: *кого?* Теленокъ отвѣчаетъ: *меня*, а утка поддакнула; *такъ*, *такъ*, *такъ*, а коза подслушавъ: — *ме-э-э...!*

ГЛАВА XI.

ОТЪ КОЧЕРГИ И ЩЕТКИ ДО МЕТЛЫ СЪ ФОНАРЕМЪ.

Пріѣзжаю къ Сидору Еремеичу, чтобы снарядиться въ путь, къ окончательной цѣли своей, въ столицу. Хотя я и

видался съ нимъ нерѣдко, но онъ обрадовался мнѣ до крайности, обѣщалъ нынѣ же къ обѣду растегаи и *акуратное* пивцо, разсказалъ, что голосъ его все еще не поправляется; показалъ мнѣ вновь составленное имъ полное собраніе русскихъ музыкальныхъ инструментовъ: балалайку, гудокъ, рожокъ, поигралъ на каждомъ немного, замѣтилъ, что и гусли его и торбанъ принадлежатъ сюда же, и что онъ писалъ черезъ птицелова Три-Ивана, на Украйну, и просилъ убѣдительно прислать, при первой возможности, *рыле*, съ которою тамъ слѣпцы поютъ думы свои; супруга его только-было начала разсказывать, какъ засѣдатель, неосторожно подгулявши, пошелъ плясать въ сочельникъ, и что его за это скорчило, таки вотъ такъ,— и присѣла, словно сама хотѣла проплясать въ присядку,— какъ вдругъ двери растворяются, и входитъ самъ Иванъ Ивановичъ.

Одинъ почтенный нѣмецъ, который жилъ уже давненько въ Комлевѣ, никогда и никакъ не хотѣлъ вѣрить, чтобы человѣка, который къ намъ теперь вошелъ, звали Иваномъ Ивановичемъ Ивановымъ. — Нѣмецъ говорилъ, покачавъ головой: «одинъ Иванъ — это должно, два Иванъ — это можно; три Иванъ — никакъ невозможно»; и, не смотря на всѣ убѣжденія, считалъ это шуткой и ничего болѣе не слушалъ. Вотъ почему Ивана Ивановича Иванова звали въ Комлевѣ *Три-Ивана;* подъ этимъ прозваніемъ былъ онъ извѣстенъ цѣлому городу. Это былъ отставной и холостой чиновникъ лѣтъ 50, который уже годовъ 15 занимался только двумя промыслами: мирилъ тяжущихся и ловилъ пѣвчихъ птицъ Самъ онъ былъ миролюбивѣйшій человѣкъ въ мірѣ, а ми-

рилъ другихъ какъ по внутреннему побужденію своему, такъ и для выслуги, по статуту, анненскаго креста; ему недоставало для этого еще только двухъ мировыхъ, изъ коихъ одну онъ имѣлъ уже въ виду. — Пожелаемъ ему отъ души креста, который старика, повидимому, очень утѣшитъ; право, онъ его заслужилъ. Если бы у насъ хоть на десять ябедниковъ былъ всюду одинъ такой примиритель.

Три-Ивана былъ птицеловъ, голубятникъ и рыбакъ; и все это въ такой степени, до которой только можетъ развиться какая-нибудь страсть человѣческая. Добродушное, округлое, рябоватое лицо его сіяло, какъ воскресное солнышко, когда онъ заговорилъ о своемъ предметѣ, — а какъ онъ никогда и ни о чемъ болѣе не говорилъ, то и былъ постоянно веселъ и доволенъ. Остренькій носикъ, нѣсколько похожій на птичій, и каріе маленькіе глазки, настоящіе огневики, оживляли еще болѣе лучезарное благополучіемъ лицо, на коротенькомъ туловищѣ въ темнозеленомъ сюртукѣ, съ закинутыми на спину или опущенными въ задніе карманы руками; иначе Иванъ Ивановичъ не ходилъ; кожаный картузъ очень рѣдко надѣвался на лысину, а большею частію носился подъ мышкой, потому что вѣчно былъ набитъ разными птицеловными снарядами или живыми птичками, которыя у него не улетали даже изъ картуза,— такъ онъ умѣлъ съ ними ладить,—или, наконецъ, червями, рубленымъ мясомъ, для наживки удочки. Въ этомъ видѣ ходилъ Иванъ Ивановичъ, и притомъ вѣчно присвистывалъ сквозь зубы, манилъ чижа, щегла, снигиря или чечетку.

Три-Ивана жилъ въ своей, очень опрятной, избушкѣ,

построенной всего на 4-хъ и $4^1/_2$ саженяхъ; на конькѣ поставлены шесты съ вѣниками, а на нихъ повѣшены цапки или западочки; по угламъ забора, также на шестахъ, скворечницы; весь дворикъ представляетъ родъ садика, въ которомъ большая часть небольшихъ деревьевъ подложные, воткнутые сучья, обвязанные и обвѣшанные пучками разныхъ травъ и кустиковъ, для приманки птицъ. Посединѣ родъ бесѣдки, къ которой ведетъ узенькій, низкій крытый ходъ, прямо изъ дому, а по обѣ стороны бесѣдки *лучокъ* и *тайничокъ*, сѣтки, коими ловятъ птицъ и отъ коихъ шнуры проведены въ бесѣдку. Весь заборъ былъ кругомъ утыканъ вѣниками и метлами, волчцомъ и коноплями, и повсюду разставлены силочки; домъ и дворъ Ивана Ивановича былъ для птичекъ очарованный замокъ, изъ котораго, если онѣ только залетали, имъ улетать не удавалось. Иванъ Ивановичъ мастерски дразнилъ и подзывалъ всѣхъ, безъ изъятія, пѣвчихъ птицъ, гонялся иногда за какимъ-нибудь щегленкомъ, котораго признавалъ издали *шестерикомъ* или *осьмерикомъ* *), по цѣлому городу, лысый, руки въ карманахъ сюртука, и безъ картуза, и все насвистывалъ, и приводилъ-таки щегла наконецъ къ себѣ на дворъ, и подманивалъ подъ лучокъ. Домъ снутри и снаружи былъ рѣшительно покрытъ клѣтками всѣхъ родовъ и величинъ, работы самого Ивана Ивановича. Вы могли у него купить и промѣнять на что-угодно, по уговору, любую пѣвчую птичку,

*) По числу бѣлыхъ пятнышекъ на хвостѣ, состоящихъ, по словамъ знатоковъ, въ тѣсной связи съ голосомъ щегла.

кромѣ чернаго жаворонка, котораго держалъ онъ, какъ привозную рѣдкость, и берегъ пуще глазу:—ему не было цѣны; на двухъ концахъ двора стояли двѣ голубятни: въ одной водились *чистые*, въ другой *вертуны* или *турманы*. Избави Богъ, если одному изъ тѣхъ или другихъ вздумалось бы перелетѣть на другую голубятню: Три-Ивана бросался, завидѣвъ такой соблазнъ, какъ бѣшеный, прямо изъ окна, съ хворостиной на дворъ, загонялъ всѣхъ голубей по мѣстамъ и на цѣлые сутки запиралъ голубятни. Это дѣлалось, чтобы породы отнюдь не перемѣшались. За то, какіе были у Ивана Иваныча голуби! До него черные, чернолекіе, черногривые и чернопѣгіе вертуны не водились вовсе; вѣрьте мнѣ,— ни у кого въ Россіи не водились: онъ ихъ развелъ въ своемъ заводѣ, на своей голубятнѣ, и отъ него уже они разошлись, и теперь, конечно, не въ рѣдкость. Онъ завозилъ голубей своихъ за сотни верстъ, даже любимая шутка его была — подарить пріѣзжему охотнику голубка́, показавъ напередъ, каково онъ *ходитъ*, и пото́мъ отъ души насмѣяться легковѣрному, который увозилъ голубя съ большими хлопотами домой, и только и видѣлъ его, покуда держалъ взаперти: какъ выпустилъ — такъ и пошелъ прямымъ путемъ домой, въ Комлевъ, къ Ивану Ивановичу. Иногда Три-Ивана распродавалъ охотникамъ всю голубятню свою, и бралъ за пару рубля по два, по три и болѣе; черезъ двѣ, три недѣли опять всѣ дома; охотники бывало только похаживаютъ вкругъ очарованнаго забора Ивана Ивановича, да поглядываютъ; взять нечего. За то, какъ берегъ ихъ Иванъ Ивановичъ, какъ холилъ,

какъ ухаживалъ за бѣднякомъ, когда иной завертится и убьется;— а гоняетъ: безъ того нельзя, для чего же ихъ и держать? Но посмотрѣли-бъ вы, когда Три-Ивана взгонитъ *чистыхъ* своихъ! Тогда онъ отправляется обыкновенно на вышку, на бесѣдку, гдѣ на кровлѣ всегда стоялъ у него свѣтлый мѣдный тазъ съ водой: онъ чистился постоянно, по два раза въ недѣлю, по средамъ и по субботамъ. Тамъ-то стоитъ Иванъ Ивановичъ, превыше суетъ мірскихъ, и глядитъ не вверхъ, гдѣ голуби летаютъ, а внизъ, въ воду, въ тазъ, и видитъ все, видитъ, какъ они ходятъ на кругахъ, все выше да выше, и круга̀ дѣлаются все меньше да меньше; изрѣдка только, глядя въ магическое зеркало свое, покрикиваетъ онъ: «врешь, врешь, сбился», когда голубь выходилъ изъ кру̀га, но черезъ минуту все опять было въ порядкѣ. Если случалось, что какой нибудь изъ голубей, не смотря на благородство крови своей и приличное, данное ему воспитаніе, выходилъ не въ семью, безобразилъ поведеніемъ своимъ всю голубятню, посрамлялъ товарищей и хозяина, напримѣръ: козырялъ, хлопалъ крыльями на лету, рыскалъ, садился на чужія кровли, то Три-Ивана съѣдалъ его преспокойно, на другой же день, въ бѣломъ соусѣ. Верхъ торжества для Ивана Ивановича былъ, когда онъ успѣвалъ сманить и загнать чужаго голубя; но онъ никогда не позволялъ себѣ при этомъ какихъ нибудь неблагопристойностей, низостей, какъ другіе голубятники, напримѣръ: ловить голубей въ силки, или тому подобное;—нѣтъ, онъ дѣйствовалъ всегда на-чистоту, хоть самъ хозяинъ тутъ стой: подпускалъ своихъ, осаживалъ

ихъ исподволь, опять подганивалъ, если нужно, а какъ скоро только сѣлъ пріятель, то уже все равно, что въ рукахъ; Три-Ивана заганивалъ его прутомъ вмѣстѣ со своими въ голубятню, и тотъ уже не смѣлъ и подумать улетѣть, ровно невидимая сила его приковала, слушается, и идетъ! Но враги Ивана Ивановича (на которыхъ онъ былъ золъ, и могъ очень сердиться)—это были хорьки, ястребѣ и, въ особенности, кошки. «Я лучше дамъ себя укусить бѣшеной собакѣ», говаривалъ онъ, «чѣмъ позволю кошкѣ перелѣзть по моей крышѣ.» И онъ въ 15 лѣтъ успѣлъ убѣдить всѣхъ жителей Комлева въ непозволительности держать въ городѣ кошекъ, или успѣлъ перебить всѣхъ ихъ,— не знаю; но только въ Комлевѣ давно уже кошки перевелись: не было ни одной. Пожалуйтесь на крысъ и мышей, и Три-Ивана сію минуту задаритъ васъ мышеловками своей работы, только не держите, не разводите кошекъ. При всемъ неограниченномъ миролюбіи его, у него бывали ссоры и тяжбы съ сосѣдями за кошекъ; онъ настоятельно требовалъ, чтобы полиція запретила держать ихъ, подводя ихъ подъ статью о хищныхъ звѣряхъ, которыхъ пунктомъ такимъ-то держать въ городахъ запрещено. Не успѣвъ же въ этомъ дѣлѣ путемъ правосудія, успѣлъ онъ въ немъ путемъ убѣжденія и самовластія: билъ кошекъ всюду, гдѣ онѣ ему попадались, ловилъ ихъ въ капканы, платилъ мальчишкамъ за каждую убитую ими кошку, усовѣщевалъ жителей, при каждомъ удобномъ случаѣ, не держать этой подлой твари, которая бываетъ причиною всякаго зла на свѣтѣ: лихорадки, сухотки, родимца и вообще гнѣва Божія. Если же ястребъ,

коршунъ или сорокопудъ попадались въ руки нашему Три-Ивана, то онъ, добродушнѣйшій человѣкъ въ мірѣ, не довольствовался простою смертію хищника, а казнилъ его на маленькомъ лобномъ мѣстѣ, и долго мучилъ и терзалъ напередъ, съ разными поучительными наставленіями.

Весною и осенью Три-Ивана ловилъ пѣвчихъ пролетныхъ птицъ, какъ у себя дома, такъ и въ близкихъ рощахъ, куда уходилъ съ зарею на цѣлый день, со всѣми необходимыми снарядами; лѣтомъ ловилъ перепеловъ, накрывалъ жаворонковъ, и кромѣ того, рыбачилъ на удочку, чѣмъ занимался и въ теченіе цѣлой зимы. И это дѣло, какъ извѣстно, мастера боится: никто не умѣлъ сдѣлать крючокъ, вылить въ мѣлъ или кирпичъ грузильце и пригнать поплавокъ такъ, какъ Три-Ивана; ни у кого рыба не клевала какъ у него, и онъ разсказывалъ вамъ подробно, сколько въ которомъ изъ ериковъ и озеръ какой рыбы счетомъ, говорилъ объ ней какъ о дворовой птицѣ, какъ будто всѣ подгородныя воды составляютъ собственность его или сняты имъ на откупъ, и онъ всю рыбу бережетъ для себя одного. Часто слышали отъ него жалобу, въ родѣ слѣдующей: «плутъ этотъ, кривой Мишка, вытащилъ *у меня* изъ Грачева озера 13 окуней; что съ нимъ будешь дѣлать — пусть ѣстъ на здоровье; однако, видно, еще сотни съ полторы крупныхъ осталось.»

О молодости Ивана Ивановича разсказывали въ Комлевѣ два анекдота, не знаю выдуманныхъ или истинныхъ; говорятъ, что онъ, будучи въ то время еще страстнымъ охотникомъ до ружья и собакъ (охоту эту Три-Ивана впослѣд-

ствіи однако же бросилъ вовсе), просился изъ той губерніи, гдѣ служилъ, въ южныя губерніи Россіи, потому только, что суровый климатъ былъ не по здоровью любимой лягавой собакѣ его; и второе, что Ивана Ивановича въ молодости, еще въ чинѣ губернскаго регистратора или провинціальнаго секретаря, — не помню чиновъ, о коихъ нынѣ уже почти не слыхать — товарищи завели ночью въ овинъ воробьевъ бить: взяли по метлѣ, а ему дали въ руки фонарь, приперли ворота, и вмѣсто воробьевъ, его же бѣднаго самого гоняли по овину изъ угла въ уголъ метлами.

ГЛАВА XII.

ОТЪ МЕТЛЫ СЪ ФОНАРЕМЪ И ДО САМОГО ПОЛКОВНИКА И ДАЛЬШЕ.

Какъ бы то ни было, а Три-Ивана вошелъ къ пріятелю своему Сидору Еремѣичу, придерживая осторожно подъ мышкой картузъ, поздоровался, подошелъ къ ручкѣ супруги хозяина, опять запустилъ руки въ задніе карманы, повертывался на каблукахъ, разсказывалъ съ восхищеніемъ, какъ онъ казнилъ сегодня сорокопуда, который былъ до того дерзокъ, что хотѣлъ вытащить синичку изъ клѣтки; Сидоръ Еремѣичъ приказалъ подать для двухъ гостей своихъ самоваръ, хозяйка потчивала и угощала насъ усердно, и отвѣчала, когда Иванъ Ивановичъ, какъ человѣкъ вѣжливый, привсталъ съ мѣста и просилъ, чтобы она сама изволила выкушать чашечку, отвѣчала: «благодарю покорно, я одну посудинку выдержала, испродовольствовалась». Сдѣ-

лавъ должное и успокоивъ такимъ образомъ совѣсть свою, Три-Ивана обратился ко мнѣ и заговорилъ со мною какимъ-то горестнымъ, сострадательнымъ родомъ, жалѣя и соболѣзнуя о горькой участи моей и утѣшая меня тѣмъ, что Богъ не безъ милости. Я отвѣчалъ ему, что слава Богу кончилъ дѣла свои хорошо, и теперь ѣду въ Питеръ, куда такъ давно порывался. «Какъ ѣдете?» спросилъ онъ, «да вѣдь у насъ наборъ?» — Какая жь мнѣ нужда до набора? — «Помилуйте, да вѣдь васъ общество наше, мѣщане, отдаютъ въ рекруты; они тамъ высчитали, что очередь за вами?»

Три-Ивана не обманулъ меня: общество посылало уже за мною въ усадьбу Порубова и, не заставъ меня тамъ, въ тотъ же вечеръ отыскало въ домѣ Сидора Еремѣича, посадило въ кандалы и отправило съ отдатчиками въ губернскій городъ. Я отъ нечаянности этого происшествія такъ обезумѣлъ, что опомнился только въ губернскомъ городѣ, гдѣ засталъ уже письмо примирителя и птицелова, въ которомъ онъ, какъ законникъ, изъявилъ сильное сомнѣніе, вправѣ ли общество отдать меня, какъ отставнаго унтеръ-офицера, снова на службу, и совѣтовалъ объявить объ этомъ подробно въ присутствіи.

Одинъ изъ отдатчиковъ, ходившій хлопотать тутъ и тамъ о скорѣйшемъ пріемѣ нашемъ, воротился съ вѣстію, что подмазалъ вездѣ, гдѣ было можно: инспектору врачебной управы отдалъ самъ изъ рукъ въ руки и съ глазу на глазъ; прокурору, чрезъ одного изъ присяжныхъ, который по этимъ дѣламъ употреблялся; военному пріемщику, чрезъ

унтера его, и кажется все ладно. На другое утро меня повели. Солдатомъ я служилъ, какъ читатели помнятъ, но въ рекрутскомъ присутствіи не бывалъ, а отданъ прямо, черезъ бригаднаго командира кантонистовъ; нынѣ при всѣхъ продѣлкахъ, одно только не показалось мнѣ, что унтеръ-офицеръ сталъ толкать меня носками по голени, чтобы я подъ мѣркой вытягивался. Я и безъ того не присѣдалъ, а стоялъ солдатомъ; но онъ дѣлалъ это по всегдашней привычкѣ и обычаю.

Въ присутствіи, кромѣ прочихъ, былъ еще жандармскій штабъ-офицеръ и даже флигель-адъютантъ. Это не прежнія времена, и нынѣ при выборѣ всякую неправду выведутъ наружу. Надобно же быть еще такому случаю: военный пріемщикъ былъ прежній ротный командиръ мой; а знаете ли, кто былъ флигель-адъютантъ? Родной отецъ мой, полковникъ.

Ну, нечего по-пустому калякать: меня выслушали, призадумались, дѣло было сомнительное, хотя и казалось бы— отдавать отставнаго унтера въ солдаты нельзя; но никто не смѣлъ взять на себя рѣшеніе этого вопроса, случая необыкновеннаго, на который у насъ нѣтъ никакихъ постановленій, — и два мѣсяца прошло въ перепискѣ, на которую однако же послѣдовало рѣшеніе въ мою пользу. Я жилъ у полковника, разсказывалъ ему всѣ похожденія свои — онъ слушалъ съ любопытствомъ, и взялъ съ меня слово, что я напишу записки свои: вотъ онѣ. Полковникъ былъ здѣсь на короткое время и безъ семейства — Груша выходитъ замужъ и, какъ говоритъ полковникъ, очень счастливо.

Триста рублей полковничьихъ къ моимъ четыремъ сотнямъ, которыя я сберегъ въ цѣлости, итого 700,—сумма почти баснословная,—зашита была въ синій получекмень мой, и я отправился съ обозомъ извозчиковъ по пути въ Питеръ.

Что мнѣ докучать читателю, не только подробностями пути, но и самаго житья моего въ Питерѣ: я перебивался съ петельки на пуговку, съ корки на корку; для чужаго человѣка Питеръ — тотъ же лѣсъ, а люди, покуда не обживешься, не спознаешься съ ними, тѣ же дикари и звѣри. Не стану пересчитывать вамъ всѣ сотни тысячъ неудачъ, которыя встрѣчалъ я каждый день и на каждомъ шагу: но дайте разсказать мнѣ два-три примѣра. Менѣе всего помѣхъ встрѣтилъ я со стороны медико-хирургической академіи; тамъ только нашелъ я радушный пріемъ и поддержку. Всего труднѣе было мнѣ заработывать, во все время, свой кусокъ хлѣба и форменный мундиръ со всею къ нему аммуниціей. Учить дѣтей и переписывать съ листа — вотъ источники для нашего брата; я вовсе не прочь и отъ черной работы, но колкой дровъ и ноской воды болѣе какъ на хлѣбъ не заработаешь, а время убьешь все; мнѣ же можно было работать только по ночамъ, да междучасками.

Попалъ было я въ контору русскаго купца, съ уговоромъ, работать вечеромъ по два часа; но вскорѣ стали меня употреблять вмѣсто артельщика, давать кучу порученій на слѣдующее утро, когда мнѣ надо было быть на чтеніи. Я объяснился: это-де противъ уговора и сверхъ силъ моихъ, и уволенъ былъ съ такимъ аптекарскимъ счетомъ, по которому, слава Богу, съ меня ничего не взяли.

Попалъ я еще къ портному, для переписки всѣхъ счетовъ его на тисненной розовой бумагѣ голубыми чернилами, какъ любовныя записки — но онъ хотѣлъ также возложить на меня не только обязанность сборщика всѣхъ недоимокъ, но и отвѣтственность за нихъ: «вы самъ писалъ четъ,» говорилъ нѣмецъ, «вы долженъ отвѣчать; это мой правилъ».

Но самый замѣчательный въ этомъ родѣ случай былъ и съ замѣчательнымъ лицомъ; позвольте распространиться.

ГЛАВА XIII.

НЕЧЕТНАЯ И НЕДОБРАЯ, КАКЪ ТРИНАДЦАТЫЙ ГОСТЬ ЗА СТОЛОМЪ.

Въ началѣ семисотыхъ годовъ, когда у насъ можно было идти по самозванцы, что по грибы, когда Царевичемъ Димитріемъ не назывался развѣ только тотъ, кто не хотѣлъ; когда бѣдная отчизна наша, изнемогая отъ ранъ, едва въ силахъ будучи поднять, на болѣзненномъ одрѣ своемъ, отягченную уже оковами руку, и отмахивалась отъ лжецарей своихъ, какъ отъ шершней и оводовъ — въ это время услышали впервые про боярина Андрея Горипалаго, который былъ, по крайней мѣрѣ, пальцемъ на одной изъ удрученныхъ рукъ своего отечества. Горипалый не былъ самъ свидѣтелемъ убіенія Царевича Димитрія, но, будучи преданъ душой отчизнѣ своей и Богомъ даннымъ Государямъ, онъ вызвался для посылки къ первому тогда появившемуся самозванцу, убѣдился лично, что это не Димитрій,

котораго онъ видалъ, убѣдился даже, что самозванецъ этотъ былъ не русскій, и съ этой минуты Горипалый уже не давался болѣе въ обманъ, а убѣждалъ, кого могъ, сильнымъ словомъ своимъ, здравымъ умомъ и теплымъ сердцемъ, не вѣрить обманщикамъ, постоять за мать государство свое, за себя и за дѣтей и внучатъ своихъ, за кости дѣдовъ, бить поголовно незваныхъ пришельцевъ и грабителей земли русской, покуда они еще ссорятся промежъ собою; и наконецъ — онъ же, бояринъ Андрей Горипалый, какъ говоритъ темное преданіе, не послѣдній вразумилъ бояръ избрать на царство благодатный Домъ Романовыхъ.

Сынъ Андрея былъ въ числѣ осьмнадцати молодыхъ людей, посыланныхъ еще Борисомъ Годуновымъ за море для ученья, и бояринъ Андрей самъ просилъ Царя объ этой милости для сына своего, милости, которой въ тѣ времена другіе боялись и вовсе ея не искали.— Нисходя далѣе, находимъ потомка Андрея Горипалова при лучезарномъ дворѣ одной изъ славнѣйшихъ въ мірѣ Императрицъ; но знаемъ объ этомъ Горипаловѣ мало, почти только, что онъ уже прибавлялъ къ прозванію своему *овъ* вмѣсто *ый*, былъ искусный распорядитель пышныхъ празднествъ и пировъ; но человѣкъ съ головой, и выписалъ для сына своего чрезвычайно лощенаго, всезнающаго француза, въ шитомъ атласномъ кафтанѣ, съ рукавами въ натяжку.— Французъ этотъ поставилъ на ноги уже не такого чудака, какъ былъ Горипалый Андрей; — и этотъ, правда, также назывался Андреемъ, — чѣмъ знаменитый гофмаршалъ, отецъ его, хотѣлъ напомнить Государынѣ услугу и заслуги праотца

того же имени — но Андрей въ Андрея, какъ извѣстно, не удается; иной угодитъ въ родъ и племя, а иной свихнется. Впрочемъ, если въ этомъ Андреѣ и было еще что-нибудь, кромѣ лица человѣческаго, то уже въ сынѣ этого Андрея, въ Гаврилѣ Андреевичѣ Горипаловѣ, свѣтское воспитаніе нашего вѣка добилось наконецъ настоящаго первообраза своего, полновѣснаго вельможи. Довольно любопытно слѣдить такимъ образомъ, какъ мы теперь, за цѣлымъ поколѣніемъ, и видѣть, какъ природа постоянно бо́рется съ искусствомъ нашимъ, какъ порывается родить человѣка, но исподволь пересиленная, переспоренная воспитаніемъ нашимъ, нерѣдко наконецъ должна уступить ему и произвести на свѣтъ, въ третьемъ, четвертомъ колѣнѣ, настоящее животное. Тутъ, въ Гаврилѣ, кажется, уже нечего было ни чинить, ни портить, а онъ вылился съ самаго первоначала, какъ ему быть слѣдовало: ни толстъ, ни тонокъ, ни коротокъ, ни дологъ, а такъ, очень видный, рослый, плотный, хорошо сложенный мужчина. Лобъ у него былъ превысокій, уши плоскія, огромныя, брови густыя и морщины надъ ними очень благообразныя; глаза также большіе, но какіе-то междоумки: трудно было рѣшить, съ перваго взгляда, что въ нихъ сквозило, чѣмъ они блестѣли, тупеемъ ли, остріемъ ли, съ лица ли, или съ изнанки — но въ нихъ была какая-то важная остойчивость; а расходящаяся, отъ внѣшнихъ уголковъ глазныхъ къ вискамъ, связка мелкобороздыхъ морщинокъ, придавала даже иногда глазу Гаврилы Андреевича видъ какой-то прозорливости. Лицо его было вообще довольно окладистое,

черты всѣ очень соразмѣрныя, но что бросалось въ глаза, при первой встрѣчѣ съ Гаврилою Андреевичемъ, и чему завидовали всѣ сверстники и даже наголовники его, это было удивительное искусство, съ которымъ природа расположила на лицѣ его всѣ морщинки и складочки: онѣ были такъ правильны, такъ отчетисто и чисто подобраны, что нельзя было бы вытиснуть ихъ лучше зубчатымъ утюгомъ. Все это вмѣстѣ придавало лицу Гаврилы Андреевича, а слѣдовательно и ему самому, видъ чрезвычайно основательный, разсудительный, важный, дѣловой, а для нѣкоторыхъ даже умный; онъ и слылъ тонкимъ политикомъ.

Я въ одно время работалъ немного на Гаврилу Андреевича — не думайте однако же, чтобы я шилъ на него сапоги, нѣтъ: это было дѣло знаменитаго Аренса — я сдѣлалъ, по заказу, нѣсколько выписокъ изъ огромнаго тяжебнаго дѣла, и поэтому былъ разъ или два въ кабинетѣ этого вельможи, видѣлъ также, какъ онъ принималъ однажды поутру десятка два дѣловыхъ посѣтителей, большею частію по службѣ, и могу вамъ все это пересказать; разумѣется, что оно останется между нами. Съ этимъ же условіемъ я признаюсь вамъ также, за что я потерялъ довѣренность Гаврилы Андреевича, и почему, впослѣдствіи уже, кабинетъ его сдѣлался для меня столь же недоступнымъ, какъ гостиная его: мнѣ слѣдовало получить за труды мои 175 рублей, по уговору; я былъ такъ неосторожень, что деньги эти мнѣ понадобились, и какъ никто мнѣ ихъ не приносилъ, то я за ними осмѣлился придти самъ; съ тѣхъ поръ Гаврилы Андреевича, по нынѣшній день, все

нѣтъ да нѣтъ дома, и я ему уже не работникъ. Если бы вамъ можно было, при свиданіи съ Гаврилою Андреевичемъ — напримѣръ у князя Соломкина, я знаю, что вы тамъ бываете — если бы, говорю, можно было напомнить какъ-нибудь Гаврилѣ Андреевичу о нижайшемъ ожиданіи моемъ, то вы бы меня этимъ очень одолжили.

Дома, и одинъ про себя, Гаврила Андреевичъ жилъ по-своему и для себя, а у людей или при людяхъ по-большесвѣтски. Поэтому и надобно отличить въ немъ двухъ особъ, два лица: Гаврила Андреевичъ домашній, свойскій, себѣ на умѣ, и Гаврила Андреевичъ гостинный, свѣтскій, или какъ нынѣ сказали бы: салонный; домашній ходилъ въ лиловыхъ плисовыхъ сапогахъ, въ китайскомъ парчевомъ халатѣ, съ непокрытой головой, на которой сѣдые, не совсѣмъ рѣдкіе волосы, причесаны были просто, безъ всякихъ затѣй; въ правой рукѣ, у домашняго Гаврилы Андреевича, почти безвыходно жила большая золотая табакерка и двойной индійскій платокъ, то есть два платка, сложенные одинъ на одинъ, вмѣстѣ: это заведено было, ради всегдашняго затяжнаго насморка. Домашній Гаврила Андреевичъ всегда плевалъ въ серебряную чашку съ граненой и вызолоченой крышкой: всегда садился между двухъ зеркалъ, когда его причесывали, и откякивался, харкалъ и пыхтѣлъ, во все время этой продѣлки, особеннымъ, звучнымъ и величественнымъ образомъ, не спуская большихъ глазъ своихъ съ зеркала; домашній глядѣлъ всегда сухо, важно, былъ молчаливъ, угрюмъ, спрашивалъ, отвѣчалъ и приказывалъ всегда односложными словами: «да,

нѣтъ, ну, а?» И наконецъ, у домашняго нижняя губа всегда казалась нѣсколько отвислою, или по крайней мѣрѣ она выпячивалась немного впередъ. Въ гостиномъ большесвѣтскомъ Гаврилѣ Андреевичѣ всего этого слѣду не было; прическа изысканная, подчерненный помадой курчавый волосъ въ завиткахъ, чулки и башмаки, хотя уже короткихъ штановъ не носили; на пальцахъ богатые перстни, тонкій батистовый платокъ, и только два такихъ же про запасъ въ карманѣ; табакерка маленькая, осыпанная алмазами, съ изображеніемъ барскаго дворца и усадьбы села Прохорова, наслѣдья Горипаловыхъ; походка важная, но не спѣсивая, лицо привѣтливое; нижняя жь губа подбиралась всегда на свое мѣсто; притомъ, всегдашняя улыбка, шутливость и веселость. Изъ всего этого вы изволите видѣть, что хотя Гаврила Андреевичъ лобъ и уши свои носилъ безсмѣнно и въ гостяхъ, и дома, но что все это принимало, въ большомъ свѣтѣ, какъ-то иной видъ и образъ: тамъ праздничный, а тутъ будничній; въ свѣтѣ Гаврила Андреевичъ ходилъ на лицо, а дома сидѣлъ на изнанку, или можетъ быть наоборотъ, какъ угодно.

Утро у Гаврилы Андреевича было дѣловое, и я обѣщалъ вамъ разсказать занятія одного такого утра, въ которое мнѣ случилось простоять съ часъ-мѣста въ пріемной благодѣтеля моего.

Когда ударило одиннадцать, то Гаврило Андреевичъ вышелъ, въ коричневомъ сюртукѣ со звѣздой, и пошелъ сряду въ обходъ, приговаривая: «вы что? что?» или: «что вамъ угодно?» смотря по степени извѣстности ему дѣла или дѣло-

ваго просителя. Впрочемъ тутъ постороннихъ значительныхъ лицъ не было вовсе: это все почти были свои.

Первый чиновникъ подалъ списокъ и отчетъ по данному ему порученію, распорядиться приглашеніемъ половины столицы на вечеръ. Тутъ Гаврила Андреевичъ, развернувъ расположенный по азбучному порядку списокъ, съ перваго взгляду замѣтилъ, что на букву С кого-то недостаетъ; слѣдовало быть, какъ Гаврила Андреевичъ зналъ на память, девять человѣкъ, а тутъ только восемь. Чиновникъ, служившій, какъ видно, по этой части не первый день, далъ на это незапинаясь удовлетворительный отвѣтъ, объяснивъ, что одинъ С. изъ столицы, а слѣдовательно и изъ букваря Гаврилы Андреевича, выбылъ.

Другой чиновникъ, собою очень благовидный, поклонился, сказавшись чиномъ и прозваніемъ, и просилъ покорно какого-то незанятаго доселѣ мѣстечка, ссылаясь притомъ, относительно себя, на двухъ извѣстныхъ Гаврилѣ Андреевичу лицъ. Гаврила Андреевичъ заставилъ чиновника повторить трижды имя свое, сказалъ потомъ, прищурясь и приподнявъ голову, что какой-то однопрозванецъ просителя служилъ у Ивана Петровича, и былъ удаленъ *по неблагонадежности* своей, такъ уже не онъ ли это? И на отвѣтъ просителя, что онъ у Ивана Петровича не служилъ, и никогда и ни откуда удаляемъ не былъ, отвѣчалъ, кивнувъ головой и проходя далѣе: «да, ну объ этомъ надобно прежде обстоятельно узнать». Проситель поклонился и тутъ же вышелъ.

Еще чиновникъ принесъ, на выборъ и благоусмотрѣніе

Гаврилы Андреевича, печатные дѣловые бланки съ вычурными узорчатыми заголовками. Его превосходительство изволилъ разсматривать ихъ съ большимъ вниманіемъ, относя все дальше и дальше отъ себя, во всю длину руки, и закидывая назадъ голову, повертывалъ листъ въ рукахъ, сличалъ, сравнивалъ; но какъ очковъ у Гаврилы Андреевича при себѣ не было, а дѣло показалось ему слишкомъ важнымъ, чтобы рѣщить его такъ, на скорую руку, то и было чиновнику приказано обождать, съ тѣмъ, чтобы по окончаніи выхода заняться этимъ основательно и на досугѣ, въ кабинетѣ.

Наконецъ очередь дошла до низенькаго, черноволосаго чиновника съ анненскимъ крестомъ на шеѣ, на котораго я уже давно смотрѣлъ, не понимая, какія у него въ рукахъ разноцвѣтныя дощечки? Это, какъ оказалось, были образчики красокъ, для окраски половъ, дверей и оконъ въ департаментѣ. Это дѣло отвлекло Гаврилу Андреевича уже вовсе отъ остальныхъ докладчиковъ, и дѣловое утро тѣмъ кончилось. Сперва изволили разсматривать образчики отъ свѣту, къ себѣ и отъ себя, и съ боку, потомъ подошли къ окну, и дѣлали разныя замѣчанія на счетъ цвѣта, вида, цѣны, сравнивали, сличали, клали дощечки на полъ и отходили отъ нихъ и заходили со всѣхъ сторонъ, приказывали держать ихъ въ рукахъ, подымая выше головы и отходить и постепенно приближаться — а наконецъ изволили отправиться въ кабинетъ, унести съ собою образчики, и позвать туда же низенькаго чиновника съ анненскимъ крестомъ и еще другаго, съ извѣстными бланками.

Слышавъ своими ушами, какъ Гаврила Андреевичъ изволили приказывать чиновнику, который приходилъ съ зазывнымъ спискомъ для раута, чтобы на офиціантовъ справить къ этому вечеру бѣлые атласные жилеты и шелковые чулки, я уже нисколько не призадумался подойти къ его превосходительству съ покорнѣйшею просьбою, приказать выдать мнѣ мои 175 рублей, о коихъ конечно полѣнились-де доселѣ довести до его свѣдѣнія, между тѣмъ какъ они мнѣ, бѣдному человѣку, крайне нужны... Но видно я, отъ робости, говорилъ такъ тихо, что Гаврила Андреевичъ меня и не слышалъ; по крайней мѣрѣ они не обратили на меня никакого вниманія, а впослѣдствіи швейцаръ уже не пускалъ меня болѣе въ домъ, и должокъ остался за Гаврилой Андреевичемъ по сегодняшній день. Вотъ вамъ все.

ГЛАВА XIV.

ОТЪ ГЛАВЫ ТРИНАДЦАТОЙ И ДО ПЯТНАДЦАТОЙ.

Всѣхъ лучше и вѣрнѣе, какъ узналъ я на опытѣ, платятъ господа сочинители за перебѣлку сочиненій своихъ, особенно стихотворцы, если только угодишь ихъ вкусу размѣщеніемъ и пригонкой стиховъ и выборомъ прописныхъ буквъ. Разъ, помню, досталось мнѣ перебѣлять огромное предположеніе одного весьма извѣстнаго сановника, о томъ, чтобы для исправленія народной нравственности забить въ кабакахъ наглухо двери и сдѣлать только стойки въ окнахъ, прямо съ улицы. Разсужденіе это начиналось словами: «Въ предметѣ томъ, поелику, ибо и въ тѣхъ видахъ для соблюденія казеннаго интереса,» и проч.

Наконецъ попалъ я на колею, которая избавила меня отъ всѣхъ крайностей денежной нужды, но это было уже въ послѣдній годъ моего курса. Судьба свела меня съ журналистомъ, который сдѣлалъ изъ меня, какъ изъ многихъ другихъ студентовъ, если не писателя, то покрайней мѣрѣ писаку. Я писалъ по заказу обо всемъ, о чемъ писать меня заставляли, получалъ небольшія деньги всегда сполна, и видѣлъ послѣ статьи свои въ печати съ разными прикрасами и съ загадочными подписями двухъ буквъ, взятыхъ на выдержку изъ азбуки нашей.

Вотъ сколько я наговорилъ о побочныхъ и пустыхъ предметахъ, окружавшихъ меня во время четырехъ-годичнаго университетскаго курса, а не сказалъ ничего собственно о послѣднемъ, о занятіяхъ моихъ. Все шло чинно, мѣрно, тихо, и я получилъ наконецъ, — дѣйствительно заслужилъ и получилъ, — дипломъ лекаря первой степени. О, это стоило для меня всѣхъ первостепенныхъ звѣздъ на свѣтѣ! Давнишнія, завѣтныя мечты мои исполнились, я самъ себѣ заработалъ и пріобрѣлъ почетное мѣсто въ обществѣ, и теперь не стыдно было мнѣ назваться воспитанникомъ коровницы и отставнымъ унтеръ-офицеромъ; я напротивъ гордился этимъ, и охотно разсказывалъ всякому, кому угодно было меня послушать. Вслѣдъ за томительнымъ испытаніемъ, на которомъ мнѣ очень трудно было отвѣчать по заведенному порядку, наизусть отъ слóва до слóва и безъ собственныхъ разсужденій, я отправленъ былъ въ Алтыновскую губернію уѣзднымъ лекаремъ того же уѣзда.

На пути въ Алтыновъ былъ со мною странный случай:

судьба, казалось, хотѣла испытать на выѣздахъ, на первыхъ порахъ, рѣшимость молодаго врача, едва только вступив шаго въ это званіе. Уставши и простудившись немного, я рѣшился переночевать въ одной деревнѣ, тѣмъ болѣе, что я выѣхалъ изъ столицы сейчасъ послѣ назначенія своего, и противу поверстнаго срока опоздать не боялся. До свѣту еще сдѣлался въ избѣ шумъ и вопль; я вскочилъ, думая, что пожаръ, но оказалось другое: какой-то бродяга повѣсился на воротахъ у хозяина моего, и баба, идучи по воду, кинула ведра свои, бросилась въ избу и подняла страшный вой. Я снялъ немедленно висѣльника, не смотря на всѣ убѣжденія хозяина, и старался привести его въ чувство; но старанія мои были тщетны. Между тѣмъ мужики собрались, старосты и прочее деревенское начальство, и объявили мнѣ рѣшительно, что не выпустятъ меня изъ села покуда не пріѣдетъ исправникъ, даже поговаривали довольно громко, что меня должно посадить подъ караулъ.— Никакія убѣжденія и угрозы мои не помогли, меня стерегли, карауліли, не давали лошадей, и продержали трои сутки, до прибытія исправника. Къ крайнему удивленію моему, этотъ нашелъ не только распоряженія мужиковъ вполнѣ основательными, но, посадивъ-таки хозяина моего и сосѣдей его подъ караулъ и осуждая поступокъ мой, какъ крайне неблагоразумный и подозрительный, увѣрялъ, что никакъ не можетъ понять, какая мнѣ, постороннему человѣку, была нужда, мѣшаться въ такое *уголовное* дѣло, и требовалъ, чтобъ я ѣхалъ съ нимъ въ уѣздный городъ. Показавъ ему свою подорожную, я объявилъ положительно, что никуда бы

не поѣхалъ по подобному настоянію его, но что мнѣ дорога и безъ того лежитъ туда, и потому, милости просимъ, если угодно, ѣхать вмѣстѣ. Тамъ держать меня долѣе не посмѣли, взяли только отъ меня письменное показаніе во всемъ и напророчили бѣду неминучую. Бѣды конечно не было, но перепиской по этому дѣлу мучили меня болѣе году, и самъ инспекторъ управы очень былъ недоволенъ неумѣстнымъ рвеніемъ моимъ, и судилъ точно какъ коломенскій исправникъ: «на что мѣшаться и вязаться не въ свое дѣло?» — А если бы висѣльникъ былъ еще живъ? — возразилъ я. Но инспекторъ оставался при своемъ: «какое вамъ до него дѣло, на что въ такія непріятности мѣшаться?»

Прибывъ въ Алтыновъ и принявъ дѣла свои, я при первой поѣздкѣ для освидѣтельствованія какого-то мертваго тѣла, открылъ изобрѣтательную промышленность моего лекарскаго ученика, который, при покойномъ предмѣстникѣ моемъ, управлялъ врачебно-полицейскими дѣлами уѣзда и, съ большимъ умѣньемъ и знаніемъ всѣхъ обстоятельствъ и отношеній, обдѣлывалъ самыя щекотливыя и тонкія дѣлишки. Въ одномъ, довольно значительномъ селеніи, чрезъ которое мнѣ довелось ѣхать, въ сопровожденіи правой руки моего предмѣстника, крестьяне рѣшились отправить ко мнѣ въ избу цѣлое посольство, мимо низшей инстанціи, моего подручника, который, стоя въ сѣняхъ, старался выпроводить взашей незванныхъ гостей, спасибо неробкихъ: вытолкали ихъ въ дверь, они подошли къ окну, съ нижайшею просьбою, отсрочить имъ сборъ по 40 коп. съ дыму, который разложилъ моимъ именемъ расторопный ученикъ (только

право не мой) на все село, за прививаніе оспы. Я глядѣлъ на мужиковъ во всѣ глаза, но вскорѣ, смекнувъ въ чемъ дѣло, позвалъ ихъ къ себѣ, и все объяснилось. Это водилось, искони, такимъ образомъ: ученикъ отправляется прививать оспу; пріѣзжая въ деревню, коли можно въ рабочую пору, онъ разстанавливается какъ можно шире на квартирѣ, шумитъ, кричитъ, грозитъ, требуетъ на завтра подводъ, посылаетъ во всѣ дворы обвѣщать, чтобы всѣ бабы съ ребятами собирались, и раскладываетъ по столамъ и скамьямъ ножи, ланцеты, всякіе припасы, требуетъ бинтовъ, повязокъ, и чтобы все это на каждомъ дворѣ было готово по образцу. Затѣмъ и самъ вздыхаетъ тяжело, сожалѣя объ участи малыхъ ребятъ, которыхъ велѣно рѣзать ланцетомъ и прививать такимъ снадобьемъ, о которомъ-де въ священномъ писаніи ничего не говорится; бабы ревутъ, отстаиваютъ дѣтей, и мужики рады, если могутъ отдѣлаться умѣреннымъ взносомъ, котораго вѣдь и за труды, все одно, не миновать же. И десятскіе, послѣ разговора старосты съ оспопрививателемъ на особицу, бѣгаютъ по селу, стучатъ въ ставни и обвѣщаютъ сносить по гривнѣ съ дыму, такъ лекарь (то есть фельдшеръ) уѣдетъ и никого не тронетъ. На слѣдующій разъ онъ пріѣзжаетъ съ тѣмъ же, и еще съ новыми угрозами: подать жалобу, что уже и весною не давали привить дѣтей — и конецъ пѣсни тотъ же; наконецъ случится ѣхать уѣздному лекарю — не говорю уже о членѣ управы — тутъ уже всякій видитъ необходимость загладить прошедшее, кончить дѣло миролюбивой сдѣлкой, и староста опять повѣщаетъ о сборѣ. Такимъ

образомъ мой опытный помощникъ успѣлъ уже, по пріѣздѣ моемъ, принять, моимъ именемъ, необходимыя мѣры, и видно, у мужиковъ не стало терпѣнія, и они пришли просить меня объ отсрочкѣ. Къ этому должно прибавить еще три слова: я не могъ настоять, чтобы дѣло было обнаружено законнымъ порядкомъ и мой мошенникъ отданъ подъ судъ; его перевели въ другой уѣздъ, гдѣ онъ продолжалъ успѣшно службу.

Во время частыхъ разъѣздовъ моихъ по службѣ, мнѣ случилось также разглядѣть однажды близенько разъѣзды уѣзднаго землемѣра. Видѣли вы это? оно довольно потѣшно. Пріѣзжая однажды въ деревню, вижу безконечный поѣздъ: подводъ пятнадцать, въ томъ числѣ двѣ брички — и все это набито мѣшками, кулями, сундуками, нѣсколькими полупьяными, какъ видно по первому взгляду, выгнанными изъ службы чиновниками, и лицами женскаго пола, того разряда, которыхъ называютъ у насъ салопницами, и множествомъ ребятишекъ. Спрашиваю съ удивленіемъ, что это? «Землемѣръ», отвѣчаютъ мужики, снимая шапки, «ѣдетъ межевать луга наши; все спорное, сколько лѣтъ бьемся — и драки сколько было у насъ изъ-за нихъ, и казны сколько издержали — насилу вотъ Господь смиловался, велѣно отмежевать». — Какой же съ нимъ обозъ? — «Да это, батюшка, что проѣздомъ соберетъ—муки да крупы, да овса, такъ и складываетъ на подводы и возитъ съ собой все лѣто, а къ зимѣ домой. Вѣдь подводы ему ни почемъ; а во что онѣ намъ становятся, того ихъ милость не разсчитываетъ. Да Богъ съ нимъ, только бы дѣло покончилъ;

по рублю съ десятины взялъ уже съ весны, теперь видно по другому собирать придется». — Какой же народъ съ нимъ? — «Да это нахлѣбники, батюшка; извѣстное дѣло, куда пріѣдетъ, мужики кормятъ и его, и кто съ нимъ ѣдетъ, только не обижай насъ; ну онъ и наберетъ нахлѣбниковъ, они ему по цѣлковому, что-ли, платятъ въ мѣсяцъ, а онъ ихъ все лѣто и возитъ по губерніи, и разставляетъ по квартирамъ и кормитъ. Тутъ глядите, что будетъ: какъ только въ деревню, такъ всѣ и разбредутся по дворамъ, кричатъ, шумятъ, дерутся, давай того, давай сего — что дѣлать-то станемъ».

Я уѣхалъ; черезъ недѣлю возвращаюсь тѣмъ же путемъ, землемѣръ со свитой все еще празднуетъ именины свои въ той же деревнѣ, и мужики уже два раза посылали въ городъ за виномъ. Слишкомъ ведро опорожнили. Наконецъ раздается по селу радостная вѣсть: *землемѣръ отдалъ приказъ чистить астролябію;* значитъ скоро примется за работу. Между тѣмъ, рабочіе и понятые, наряженные изъ этой и сосѣднихъ деревень, все дожидаются, хотя конечно домашняя работа ихъ не ждетъ. Съ этою радостною вѣстію, что астролябія чистится, одинъ изъ понятыхъ поскакалъ верхомъ въ сосѣднюю деревню. Я уѣхалъ, и впослѣдствіи слышалъ только, что пьяный землемѣръ наставилъ межевыхъ столбовъ и вкривь и вкось, и отрѣзалъ не только мельницу, но и половину дворовъ одной деревни; а какъ столбы землемѣра неприкосновенны и губернскія власти не могутъ уничтожить дѣйствій его, то тяжба возобновилась, и пошла по наслѣдству съ поколѣнія на поколѣніе.

ГЛАВА XV.

ОТЪ ПЛОХАГО РАСПОЛОЖЕНІЯ ДУХА И ДО ХОРОШАГО.

При такомъ образѣ жизни, службы и мыслей въ Алтыновѣ, мнѣ иногда до нестерпимости трудно было жить и служить, и я не скоро обтерпѣлся. Всякая несправедливость казалась мнѣ дневнымъ разбоемъ, и я выступалъ противъ нея съ такою же рѣшимостію и отчаяніемъ, какъ противу человѣка, который бы душилъ подлѣ васъ кого нибудь, ухвативъ его за горло: гдѣ кричатъ караулъ, туда я бросался со всѣхъ ногъ. Но я большею частію оставался въ дуракахъ, заслужилъ только прозваніе *безпокойнаго человѣка*, а горю помогалъ очень рѣдко. Въ Алтыновѣ требовали, чтобы вы проходили спокойно своимъ путемъ и не мѣшались не въ свое дѣло, то есть не заботились бы о томъ, если подлѣ васъ рѣжутъ другаго, а только оберегали бы свой кадыкъ и свою голову. Управа наша, при каждомъ удобномъ случаѣ, ожидала отъ меня свой обычный азіятскій пишкетъ, ожидала, и со дня на день становилась нетерпѣливѣе, и, какъ видно было по всѣмъ пріемамъ ея, искала случая показать мнѣ, что долготерпѣніе ея истощилось.

Я былъ въ самомъ плохомъ расположеніи духа и раскаявался уже почти въ избранномъ мною званіи; я мечталъ принести столько пользы человѣчеству, а вмѣсто этого сидѣлъ теперь надъ срочными донесеніями всѣхъ родовъ, и сводилъ всѣми неправдами концы, отписывался и огрызался,

какъ могъ, на придирки, замѣчанія и выговоры; на важныя донесенія свои по разнымъ предметамъ, требующимъ немедленныхъ и самыхъ дѣятельныхъ мѣръ, не получалъ вовсе отвѣтовъ, а по пустымъ, которые не стоили и полулиста бумаги, заводились огромныя дѣла и нескончаемая переписка — словомъ, все это выводило меня вовсе изъ терпѣнія, и я началъ думать о томъ, какъ бы перейти врачемъ въ полкъ въ военную службу — тамъ, казалось мнѣ, все-таки не то; тамъ, дѣлай свое дѣло и тобою будутъ довольны; взятокъ не берутъ. Получаю, какъ нарочно, объ эту пору, три письма отъ академическихъ товарищей своихъ, которые пошли въ армію, и которымъ я писалъ недавно и плакался на горькую участь свою.

Что же они писали? Да одинъ писалъ вотъ что: «Полковникъ крайне мною недоволенъ, обходится со мной оскорбительно, грубо, а дѣваться мнѣ отъ него некуда; корпусный докторъ дѣлаетъ мнѣ строгія замѣчанія, грозитъ — отъ него подавно не уйдешь. Бѣда эта началась съ того, что съ одной стороны требуютъ и взыскиваютъ съ меня того, на что съ другой не даютъ средствъ, и наоборотъ; все это обрывается на мнѣ, и горькія, убѣдительныя просьбы и жалобы мои замираютъ въ самой глухой пустынѣ, въ лѣсу людей. Другая бѣда — которая еще, Богъ вѣсть, чѣмъ кончится — вотъ какая: дивизіонный и корпусный доктора требуютъ самымъ строгимъ и настоятельнымъ образомъ, чтобы мѣсячныя вѣдомости были доставляемы къ сроку. Это хорошо; но я ихъ не могу переслать по голубиной почтѣ, а могу только закончить послѣдняго числа

каждаго мѣсяца, и потомъ, благословясь, отправить. Но квартиры наши расположены такъ несчастливо, что вѣдомости мои не могутъ дойти, по обыкновенной почтѣ, въ въ дивизіонную квартиру прежде 4-хъ или 5-ти дней, а требуютъ, не принимая никакихъ отговорокъ, чтобы онѣ были на мѣстѣ, отнюдь не позже послѣдняго числа каждаго мѣсяца. Никакія представленія и убѣжденія не помогаютъ, никакихъ отговорокъ не принимаютъ: получаю выговоръ за выговоромъ, со строжайшимъ подтвержденіемъ въ общихъ словахъ: доставлять вѣдомости къ сроку. Я попытался закончить вѣдомость 25-мъ числомъ мѣсяца и отправить ранѣе — новый строжайшій выговоръ, циркулярно, по всей дивизіи: я отправлялъ уже нарочнаго на свой счетъ — но онъ мало опереживаетъ почту, и привозитъ мнѣ обратно тотъ же строжайшій выговоръ. Есть ли тутъ человѣческій смыслъ, любезный другъ, скажи Бога ради, и что мнѣ тутъ дѣлать?»

А другой писалъ вотъ что: «Показать искусство или познанія свои, въ чемъ, какъ полагали мы въ слѣпомъ невѣдѣніи своемъ, состоитъ обязанность и назначеніе врача — показать себя въ своемъ дѣлѣ, на это у меня о-сю-пору не было случая; старшіе чиномъ лечатся у старшихъ чинами, а о томъ, что дѣлается въ лазаретѣ, мои судьи судятъ конечно уже не по рецептамъ, какъ докажетъ тебѣ нижеслѣдующій примѣръ. Генералъ смотрѣлъ лазаретъ, и при первой встрѣчѣ со мною, окинувъ меня съ головы до ногъ, сдѣлалъ мнѣ строгій выговоръ: «Куда вы, сударь, правую руку завалили? Не умѣете стоять передъ началь-

ствомъ?» Далѣе: выговоръ за помятыя постели, выговоръ за поношенные халаты больныхъ, за оловянную посуду, по которой только видно было, что она въ ежедневномъ употребленіи, и выставлена не напоказъ; словомъ, ты видишь, тутъ рѣчь шла вовсе не о тѣхъ предметахъ, которые преподавали намъ въ академіи, и наука, братъ, наша пропала. Бывало, когда толковали намъ о рукахъ и ногахъ, такъ рѣчь шла о вывихахъ, переломахъ, о пульсѣ, кровопусканіяхъ или, какъ говоритъ фельдшеръ мой: венесекусахъ—тутъ не то. А знаешь ли, чѣмъ старался утѣшить меня костоправъ мой, фельдшеръ, когда генералъ ушелъ, посовѣтовавъ полковнику держать меня въ рукахъ? Онъ мнѣ объяснилъ загадку: «Мы маху дали, ваше благородіе,» сказалъ онъ, «да я не смѣлъ доложить вамъ, потому что вы сами изволили распоряжаться. Бывало, при Иванѣ Кондратьичѣ, поставимъ къ смотру больныхъ по кроватямъ, не по болѣзнямъ, а подъ ранжиръ; досчечки распишемъ почище, бѣлилами, которые на этотъ случай Иванъ Кондратьевичъ нарочно изъ городу выписывалъ; трудныхъ, которые не могутъ прифрунтиться, выведемъ вонъ, въ жидовскую корчму, либо въ баню, чтобъ на глаза не попадались; прочихъ выровняемъ, пригонимъ халаты, за сутки не велимъ ложиться, чтобы не помять постелей; оловянную посуду также всю напоказъ, подъ ранжиръ, и не марали ее, а кормили больныхъ, перечистивъ все, изъ черепковъ; аптеку также всю прибирали стклянку подъ стклянку, а невидное, неказистое прятали куда нибудь, уносили, а вы изволили приказать выдать больнымъ для нóски и туфли,

и халаты, и одѣяла, и простыни — ну, разумѣется, больной ходитъ, шаркаетъ, обобьетъ: ляжетъ — помнетъ; оно ужь и не въ такомъ порядкѣ. У насъ все это выдавалось бывало только къ смотру, и все было новое».

Какъ прочиталъ я два письма любезныхъ мнѣ товарищей по академіи — такъ чуть не подурачился, чуть не заплакалъ. Больно мнѣ было за нихъ, больнѣе еще за свою отчизну. Взялъ я шапку и пошелъ душу отвести къ человѣку, котораго я душевно уважалъ, познавъ благородство и честность его, при нищенскомъ состояніи кармана. Это былъ нашъ уѣздный стряпчій, Негуровъ. Онъ встрѣчаетъ меня весело и дружески — начинаю ему плакаться на горе свое, жалѣть, что избралъ эту часть, что не пошелъ служить куда нибудь по гражданской службѣ, «вотъ какъ ты, напримѣръ,» сказалъ я, пожавъ ему руку, «тебя всѣ любятъ, уважаютъ, ты и въ маломъ чинѣ и званіи своемъ полезенъ — а я?»

— Постой же, — сказалъ Негуровъ, — не торопись мнѣ завидовать; нѣтъ ли у тебя подставнаго на мое мѣсто, я могу уступить его.— «Что это значитъ?» — Какъ что значитъ, развѣ ты не слышалъ, что я сегодня уже подалъ въ отставку, и остаюсь, до времени, съ семьей безъ мѣста? Но Богъ милостивъ, а на Руси не безъ добрыхъ людей, найду другое.—«Да что это такое, разскажи Бога ради?»— Да вотъ что: ты слышалъ конечно, что къ намъ, вмѣсто умершаго, назначенъ новый прокуроръ; онъ человѣкъ намъ вовсе неизвѣстный, и можетъ быть бездѣльникъ, а можетъ быть и честный человѣкъ — не знаю, но во вся-

комъ случаѣ, принялся за службу свою, съ перваго дня, очень неудачно, и не только, какъ говорится, лѣвшой, но даже, такъ сказать, ногой. Пишетъ онъ ни съ того, ни съ сего, циркуляромъ ко всѣмъ уѣзднымъ стряпчимъ: «Предупреждаю всѣхъ стряпчихъ, чтобы они отнынѣ приняли за основаніе совсѣмъ иныя правила, чѣмъ доселѣ: я не потерплю злоупотребленій, которыя введены ими въ обычай, и прошу дѣйствовать отнынѣ иначе.» Каково это тебѣ нравится? Положимъ, что у него прямое и честное намѣреніе сдѣлать добро — хотя это право очень сомнительно и болѣе пахнетъ приглашеніемъ задобрить строгаго, неумолимаго начальника; но положимъ, говорю, что намѣреніе было честное. Развѣ это такъ дѣлается? Развѣ можно начать исправленіе частнаго зла тѣмъ, чтобы напередъ ошельмовать всѣхъ поголовно? Развѣ можно сказать человѣку въ глаза: ты воръ и бездѣльникъ,— если не знаешь и не видалъ человѣка этого въ глаза, и ничѣмъ опорочить его не можешь? Но не менѣе того, циркуляръ поѣхалъ во всѣ уѣзды, а мнѣ достался изъ первыхъ рукъ. Я въ тотъ же день отвѣчалъ: «крайне больно и прискорбно, что новый начальникъ нашъ, не узнавъ еще никого по дѣламъ и поступкамъ его, оскорбляетъ такимъ воззваніемъ всѣхъ подъ рядъ: и праваго, и виноватаго. Что же собственно до меня относится, то я и впредь буду руководствоваться тѣми же правилами, коихъ постоянно держался, въ теченіе осьмнадцати лѣтъ службы своей.» Прокуроръ обращаетъ мнѣ рапортъ мой, съ надписью на немъ: «предписаніе мое не требовало отвѣта; неумѣстныхъ разсужденій не люблю;

если г. Негурову угодно, можетъ объясниться со мною лично».

«Прихожу утромъ на другой день въ канцелярію прокурора, и застаю его тамъ, обще въ двумя его помощниками. «Что вамъ угодно?» — Я пришелъ по вашему приказанію съ вами объясниться. — «Какого рода объясненіе вамъ угодно? вы обидѣлись циркуляромъ моимъ? Можете обижаться: скажу вамъ вдобавокъ, что онъ въ особенности къ вамъ относится, и что я повторяю еще на словахъ приказаніе свое. Довольно вамъ этого, или еще что нибудь угодно?»

«— Довольно, — отвѣчалъ я, — даже черезчуръ много. Желаю вамъ служить и знаться всегда съ такими людьми, которые могутъ переносить подобныя выходки очень спокойно. — Вышелъ, и черезъ часъ прислалъ просьбу объ отставкѣ.».

ГЛАВА XVI.

ОТЪ СТРЯПЧАГО НЕГУРОВА ВПЛОТЬ ДО ДѢВИЦЪ КАЛЮЖИНЫХЪ.

Когда бѣдный Негуровъ разсказалъ мнѣ все это спокойно, какъ человѣкъ, привыкшій, въ теченіе долговременной службы своей, къ подобнымъ явленіямъ; когда я надивился спокойствію духа его и благородной рѣшимости, твердой вѣрѣ его въ Провидѣніе, то устыдился своего малодушія. Въ самомъ дѣлѣ, я человѣкъ одинокій, на мнѣ не лежитъ огромнаго семейства, о чемъ же мнѣ столько заботиться? Буду прать противу рожна, буду, пренебрегая всѣми мелочными дрязгами и кознями тщедушныхъ и происковъ лю-

дей, буду идти своимъ путемъ, *не щадя жизни своей, и до послѣдней капли крови*, какъ присягалъ я, а остальное предоставимъ Богу и Царю. Развѣ не удается иногда всякому изъ насъ, и самому незначительному человѣку, по мѣсту, чину и званію, сдѣлать добро, отстоять правду и посрамить бездѣльничество, заклеймивъ его презрѣніемъ благородныхъ? Что же мнѣ послѣ этого до мелочныхъ придирокъ, до злонамѣренныхъ покушеній повитыхъ неправдою и вскормленныхъ криводушіемъ людей? Они за себя отвѣтъ дадутъ, а мы за себя. И давно ли Негурову удалось сдѣлать доброе дѣло, и не стоитъ ли оно того, чтобы за него иногда потерпѣть? Развѣ присяга моя «до послѣдней капли крови» относится только для солдата, который буквально исполняетъ это, подставляя лобъ подъ пулю, а не до нашего брата, у котораго иная капля поту, переработанная изъ той же крови, стоитъ капли самой крови; у котораго забота не за свое, а за общее благо, и пря, война, единоборство за человѣчество и правду, избороздятъ чело преждевременными морщинами, изсушатъ боевую жилу алой крови въ сухожилье?

Да, и Негурову недавно еще удалось сдѣлать, въ тѣсномъ кругу своемъ, славное дѣло. Мы были вмѣстѣ у пріемки рекрутъ. Зрѣлище жалкое. Тутъ справедливость, строгая, святая справедливость, одна только можетъ оставить сколько-нибудь успокоительныя воспоминанія. Негуровъ не довольствовался тѣмъ, чтобы сидѣть съ судьей и городничимъ за краснымъ сукномъ и слушать, какъ предсѣдатель кричитъ поочередно: *лобъ и затылокъ*! онъ входилъ добросовѣстно самъ во все, что только до него каса-

лось. Онъ взялъ между прочимъ посемейные списки, сидѣлъ надъ ними каждый вечеръ за полночь — между тѣмъ какъ прочіе господа занимались, для отдыха отъ дневныхъ трудовъ, вистомъ—и сличалъ списки эти, во всей подробности, съ очередными списками волостныхъ правленій. Рано утромъ, входитъ однажды къ Негурову молодой франтъ своего рода, хватъ въ темносинемъ тонкомъ кафтанѣ, и раскланивается по-полубарски: «Я-де волостной писарь такой-то, прибылъ съ рекрутами и съ отдатчиками.» — Что же тебѣ надобно? — «Да къ вашей милости, много наслышаны объ васъ, просимъ покорнѣйше, позвольте поблагодарить васъ.» — Благодарить тебѣ меня не за что, я тебя въ глаза не видалъ, и ни худа, ни добра тебѣ не сдѣлалъ, прощай! — «Да ужь это такъ у насъ водится.» Ну, такъ у меня не водится; пришелъ не званъ, поди-жь не гнанъ; пошелъ! — Утромъ Негуровъ показываетъ предсѣдателю отмѣтки свои на спискахъ и между прочимъ говоритъ: «вотъ, извольте посмотрѣть, тутъ что нибудь да кроется; что это значитъ: Севрюгины — это семья *шестериковъ*, шесть мужиковъ въ семьѣ, а съ 1807 года не выставила рекрута, и нынѣ опять она не показана въ очередныхъ.» — Это я-съ, — подскочилъ молодой волостной писарь, — это наша семья-съ, батюшкина-съ, у насъ нѣтъ способныхъ. — «Да ты первый, любезный другъ, можешь въ гвардію идти, не говоря о другихъ!» Но — сынъ, какъ видите, волостной писарь, отецъ старикъ у него коштанъ, т. е. стряпчій, повѣренный и ходатай для міра, и притомъ очень зажиточенъ, такъ дѣло всегда кой-какъ и обходилось. И нынѣ вышло

чуть не то же: Негуровъ и я не дали подкупить себя; остальные — пусть Богъ ихъ судитъ, что и какъ у нихъ было, но только всѣ приняли сторону волостнаго писаря, и когда мы таки не безъ труда настояли на томъ, чтобы его раздѣли и осмотрѣли, то онъ былъ признанъ неспособнымъ, потому-что на лѣвомъ боку нашлась какая-то царапина, небольшой рубчикъ, который, по словамъ военнаго пріемщика, не дастъ ему стягивать мундира. Въ эту самую минуту вдругъ дверь растворяется, и входитъ флигель-адъютантъ, только-что прибывшій изъ сосѣдней губерніи. «Здравствуйте, господа, какъ у васъ идутъ дѣла?» Ему въ отвѣтъ тотчасъ представляютъ спорный случай и волостнаго франтика, который тутъ же и стоялъ нагишомъ на-лицо. Флигель-адъютантъ поглядѣлъ на военнаго пріемщика, осмотрѣлъ еще разъ неспособнаго, поговорилъ два слова со мной и попросилъ присутствіе принять этого молодца на собственную его, флигель-адъютанта, отвѣтственность. Малый вздрогнулъ, старикъ отецъ упалъ въ ноги — но *лобъ* раздавалось уже отъ дверей къ дверямъ, и пріятеля забрили. Отецъ покаялся послѣ, что всѣ эти продѣлки стоили ему, въ теченіе трехъ наборовъ, до 8-ми тыс. рублей, а слѣдовательно онъ, безъ стѣсненія, могъ бы давно уже поставить за сына, не только одного, но и двухъ и болѣе наемщиковъ; одна страсть ходить кривыми путями и болѣе на нихъ надѣяться, погубила его на этотъ разъ, гдѣ онъ наткнулся на честнаго человѣка. Негуровъ спасъ этимъ подставнаго *одиночку*, т. е. одного сына у вдовой матери.

Между тѣмъ время бѣжало, я жилъ и служилъ въ Ал-

тыновѣ уже слишкомъ годъ—но я еще ни слова почти не сказалъ о нашей общественной жизни. Замѣчательнѣйшее въ цѣломъ Алтыновѣ было, безъ всякаго сомнѣнія, семейство или домъ Калюжиныхъ. Этотъ первообразъ въ своемъ родѣ, повторяющійся съ безконечными измѣненіями (о, какъ природа разнообразна!) въ каждомъ губернскомъ городѣ, стоитъ того, чтобы имъ заняться пообстоятельнѣе. Скажу напередъ: меня звали туда, какъ гостя — я не пошелъ; меня зазвали, какъ врача, по обязанности моей, приняли какъ гостя, и несмотря на ничтожное положеніе и званіе мое — что такое уѣздный лекарь? — приняли почетно, заставили противъ воли быть гостемъ, быть своимъ, и едва-едва только отпустили душу мою на покаяніе; смерть была на носу. Изъ этого можете видѣть, какъ рѣдки и дороги въ Алтыновѣ женихи; а гдѣ неурожай, тамъ и голодъ; гдѣ голодъ — тамъ человѣкъ подымается на необыкновенныя хитрости и ухищренія, и даже — о ужасъ! — пожираетъ себѣ подобныхъ!

ГЛАВА XVII.

ОТЪ ДОМА КАЛЮЖИНЫХЪ И ДО ДОМА КАЛЮЖИНЫХЪ, ИЛИ СОБСТВЕННО ОБЪ ЭТОМЪ ПРЕДМЕТѢ.

Если вамъ только случалось жить въ какомъ нибудь губернскомъ городѣ, то вы, безъ всякаго сомнѣнія, знаете семейство Анны Мироновны. Примѣты его вотъ какія: живетъ оно довольно открыто; мужъ служитъ, въ порядочныхъ чинахъ, но объ немъ мало рѣчи, болѣе бываетъ разговору о супругѣ его Аннѣ Мироновнѣ, которая все знаетъ

всюду бываетъ и всюду первая изъ первыхъ. Она числится одной изъ почетнѣйшихъ барынь въ городѣ, вывозитъ на вечера́ по три, по четыре, даже по пяти взрослыхъ дочерей, и дочери эти пристраиваются одна за другою, по свѣтскому понятію, довольно выгодно, хотя онѣ, какъ говорится, ни съ рожи, ни съ кожи, всѣ болѣе или менѣе просты, чванны, собою очень посредственны, ходятъ въ люди въ блесткахъ, а дома — шлюхами. Домъ держится собственно Анной Мироновной, во всякомъ смыслѣ: она проситъ, принимаетъ и угощаетъ гостей, она и сама напрашивается куда слѣдуетъ въ гости, она же и добываетъ все необходимое для наружнаго блеска въ долгъ и въ счетъ, и взаймы и на прокатъ; говорятъ даже, что когда она благословляла вторую дочь свою подъ вѣнецъ, то довольно богатый образъ, въ золоченномъ окладѣ, былъ взятъ ею въ рядахъ съ бою, потому что, по доброй волѣ, ей никто въ долгъ не вѣрилъ. Между тѣмъ купцы формально отказать ей, въ безденежномъ заборѣ товаровъ, не смѣютъ; она слишкомъ почетное, слишкомъ извѣстное лицо въ городѣ; нравственное вліяніе ея слишкомъ велико. Это Наполеонъ своего рода, до изгнанія его изъ Россіи съ безчестіемъ, и всѣ языки должны ей покорствовать. А какъ ее, вѣроятно, никогда не изгонять съ безчестіемъ изъ Россіи, то изъ этого и слѣдуетъ, что она лучшій тактикъ, стратегикъ и политикъ, чѣмъ покойный Наполеонъ. Одна дочь у нея за генераломъ, или по крайней мѣрѣ за статскимъ совѣтникомъ. Въ домѣ у Анны Мироновны все очень порядочно, потому что домъ составляютъ первыя три комнаты: зала,

гостиная, столовая; далѣе не ходите, тамъ задній дворъ, гдѣ нельзя же требовать опрятности и порядка. Дочери показываются только около полудня, то есть въ полной походной и боевой аммуниціи, а если вы ихъ захватите врасплохъ, то онѣ, какъ маменькины ученицы въ военномъ искусствѣ, поспѣшно отступаютъ, уничтожая за собою всѣ переправы и затрудняя преслѣдованіе: то есть онѣ, бѣгутъ опрометью вонъ, захлопывая за собою двери. Какъ быть, домашній капотецъ скоро затаскивается, платчишко, если даже и его случится накинуть, также; а чѣмъ всю будничную аммуницію строить новую, такъ лучше поберечь деньжонки на выѣздное и щегольское платье. — Конечно, барышни наши не такія лютыя хозяйки, чтобы домашнее платье изнашивалось и маралось отъ хозяйскихъ трудовъ и работъ; о, нѣтъ! на это есть у нихъ, слава Богу, и Машка, и Сашка, и старуха Сидоровна; но вѣдь нельзя же и уберечься за всякій часъ: то придется напомадиться и обтереть обо что-нибудь близкое руки, то невзначай потрешься около шандала, либо плеснешь на себя чего нибудь; день за день, въ одномъ да въ одномъ, не набережёшься; и не къ чему, впрочемъ, признаться, это домашнее. Мыть бы можно платье это, конечно, но и тутъ встрѣчаются разныя помѣхи: не всегда есть подъ рукой бальные обноски, коими бы можно временно замѣнить будничное платье — а вѣдь не ходить же, какъ дѣлаютъ иногда служивые наши, когда моютъ бѣлье свое, такъ, ни въ чемъ; этого нельзя, это не водится, даже и въ самыхъ отдаленныхъ домашнихъ комнатахъ Анны Мироновны, хотя туда, кромѣ посвященныхъ

въ домашнія тайны, не заглянетъ ни одно человѣческое око. Кромѣ того, дѣвки заняты нужнѣйшимъ: то шьютъ наряды, то стираютъ, по необходимости, бѣлье, то штопаютъ чулочки, если они повредятся выше пятки и подошвы, на видномъ мѣстѣ, а въ противномъ случаѣ, собираютъ петельки на одну нитку, и затягиваютъ въ курчавенькій комочекъ. Еще и то сказать, привычка—та же природа: не хочется разстаться съ блузой, къ которой привыкнешь, и знаешь уже наизустъ, гдѣ недостаетъ пуговки, гдѣ оборвалась петелька, и привыкъ уже ко всѣмъ сподручнымъ ухваткамъ, какъ ее тамъ, безъ большаго труда, придерживать и прихватывать. А наконецъ зимою, когда барышни носятъ стеганые капоты, то ужь вы и сами знаете, что мыть такую вещь неудобно, и тутъ, по неволѣ, ходишь восемь мѣсяцевъ въ салѣ и во всякой всячинѣ.— А кто же виновать, что у насъ климатъ такой суровый и зима долгая? Говорятъ даже, что это и самому Наполеону было вредно, а вы хотите, чтобы такое обстоятельство осталось безъ вліянія на домъ Анны Мироновны!

Итакъ, если вы живали въ губернскихъ городахъ, то вы, конечно, домъ этотъ знаете.

И такое точно семейство жило въ Алтыновѣ. Герасимъ Степановичъ былъ старшимъ по чину и вліянію совѣтникомъ одной изъ палатъ, и ему, ни въ какомъ случаѣ, не слѣдовала казенная квартира; но Анна Мироновна съумѣла такъ устроить дѣла, что имъ данъ былъ довольно обширный казенный домъ, хотя, правда, нѣсколько въ ветхомъ состояніи; но зато постоянно отпускался ремонтъ, а Ге-

расимъ Степановичъ надѣялся овладѣть вскорѣ домомъ этимъ, по праву 10-ти-лѣтней давности своего въ немъ проживанія. Онъ надѣялся вскорѣ купить домъ съ молотка,— такъ, рублей за семь съ полтиной — домъ былъ уже, стараніемъ Анны Мироновны, удостоенъ въ негодность, освидѣтельствованъ, и донесено, что даже строительные припасы всѣ отъ ветхости пришли въ негодность. Всѣ въ городѣ были одного мнѣнія на счетъ Калюжиныхъ; всѣ знали, что Герасимъ Степановичъ не надсядется въ защиту какого-нибудь безгласнаго подсудимаго, да и, вообще, не станетъ подрываться куда нибудь безъ какихъ нибудь особенныхъ видовъ и нужды; — но у Герасима Степановича въ вѣдомостяхъ графа *состоитъ*, одного мѣсяца, соотвѣтствовала графѣ *состояло*, слѣдующаго мѣсяца, а итоги подъ суммами, дѣлами и арестантами всегда были вѣрны; всѣ знали, что онъ, не имѣя состоянія, нуждался въ подкрѣпленіяхъ постороннихъ, особенно при его родѣ жизни, и потому никто не удивлялся, если случай тутъ или тамъ раскрывалъ какое-нибудь обстоятельство, и молва пускала его, со всѣми околичностями, по бѣлу свѣту; это было въ порядкѣ вещей, и объ этомъ говорили только, какъ о всякой городской новости, какъ о томъ, что къ кущу Шугаеву привезенъ изъ Нижняго свѣжій товаръ, что Ѳома Ивановичъ даетъ вечеръ, а на Степанидѣ Семеновнѣ было опять новое платье, седьмое въ теченіе зимы. Иногда, правда, дивились изподтишка, отчего Герасиму Степановичу все съ рукъ сходитъ? 17 лѣтъ живетъ онъ въ этой должности въ Алтыновѣ, 17 лѣтъ всѣ знаютъ, все, что знать

можно, и по разу или по два въ годъ бываютъ яркіе разительные случаи, гдѣ весь городъ, наостривъ уши ждетъ, что-то будетъ теперь Герасиму Степановичу; неужели и это такъ пройдетъ? И проходитъ. Весь городъ знаетъ, и перечтетъ вамъ по пальцамъ, всю крайность домашнихъ обстоятельствъ Калюжиныхъ, странные и позорные происки ихъ, замѣчательныя и многосложныя соображенія и дѣйствія Анны Мироновны потайными пружинами и рычагами, въ разныхъ стѣснительныхъ обстоятельствахъ, и особенно, если нужно пристроить одну изъ дочерей-погодковъ: словомъ, Калюжины, составляли семью анекдотическую; но при всемъ томъ они занимали, по всѣмъ тремъ размѣрамъ пространства, въ длину, въ ширину и глубину, одно изъ первыхъ мѣстъ въ обществѣ. На всякой порядочной свадьбѣ въ городѣ, Анна Мироновна бываетъ посаженою матерью, или Герасимъ Степановичъ отцомъ: все купечество было помѣшано на томъ, что Анна Мироновна, какъ главнѣйшая половина счастливаго супружества, какъ одно изъ почетныхъ лицъ въ городѣ, должна вложить серьги невѣстѣ, когда ее повезутъ подъ вѣнецъ, а у каждой изъ дѣвицъ Калюжиныхъ было въ городѣ крестниковъ и крестницъ по пятнадцати.

За долги Анны Мироновны лавочникамъ и сидѣльцамъ расплачивались всегда посторонніе; это было такъ заведено искони, и Анна Мироновна не видѣла никакой причины измѣнять такой порядокъ. Расплата эта происходила двоякимъ образомъ: или собственно посредствомъ просителей, которые, по здравому разсудку своему, всегда уже являлись къ

Аннѣ Мироновнѣ съ росписками отъ купцовъ въ уплатѣ счетовъ ея; или же обыкновеннымъ и законнымъ порядкомъ, чрезъ алтыновскую коммисію погашенія долговъ Калюжиныхъ. Коммисію эту составляли всѣ наличные жители, весь городъ; купцы раскладывали на нихъ, по счетамъ своимъ, долги Анны Мироновны, и набавляли цѣну на товаръ, отчего и можно было сказать, безъ всякаго преувеличенія, что въ Алтыновѣ дешевле брать товаръ въ долгъ, если даже и платить за него, чѣмъ на наличныя деньги. Съ должниковъ своихъ купцы рады были получить хоть что нибудь а честнымъ и вѣрнымъ плательщикамъ не уступали ни гроша, а набавляли еще, говоря: «да съ кого же намъ, батюшка, выручить? Въ убытокъ торговать нельзя». Для пяти дочерей, которыхъ привыкли дома называть дѣтками, не было въ домѣ никакого особаго угла ни днемъ, ни ночью; онѣ болтались днемъ, отъ нечего дѣлать, между залой и дѣвичьей, то по окнамъ, то по печамъ, иногда съ полезной книгой въ рукахъ, какъ напримѣръ съ «Библіотекой», гдѣ есть такія милыя, острыя шуточки; изрѣдка передъ баломъ, съ какою-нибудь легонькою работой для накладки или оборки, а больше такъ, ни съ чѣмъ, въ ожиданіи вечера. Вечеромъ все какъ-то сноснѣе, и скука не такъ одолѣваетъ. Вечеромъ, если онѣ не выѣзжали сами, непремѣнно кто-нибудь пріѣзжалъ къ нимъ; большею частію любезная и милая молодежь, которой нравилось несвязное обращеніе въ домѣ Калюжиныхъ, и которая также, вставъ поутру, съ большимъ нетерпѣніемъ ожидала вечера, послѣ томительнаго, длиннаго на этомъ свѣтѣ и скучнаго дня. Въ этомъ отно-

шеніи молодежь вполнѣ сочувствовала дѣвицамъ Калюжинымъ. Тутъ были славные и завидные женихи: одинъ съ самыми длинными въ цѣломъ городѣ ногами и съ перехватомъ; онъ, чувствуя превосходство свое, всегда становился вилами посреди комнаты и, если можно, противъ зеркала; другой отлично хорошо говорилъ по-французски, и былъ мастеръ смѣшить до слезъ; этотъ всегда старался, занявъ нѣсколько времени и насмѣшивъ цѣлое общество, залучить на свой пай дѣвицу на-особицу, въ чемъ ему, какъ крайне образованному, благовоспитанному человѣку, никто и не думалъ мѣшать; кому же довѣрить дѣвушку, если не человѣку такой тонкой, высокой образованности, цвѣту столичнаго общества? Третій былъ не очень кизистъ, и ходилъ себѣ такъ, спустя рукава, говорилъ вслухъ мало, но такъ занимательно нашептывалъ и занималъ вполголоса, что — однимъ словомъ—бесѣда его, надобно полагать, была очень поучительна, потому что собесѣдницы, изъ дому Калюжиныхъ, слушали его съ большимъ удовольствіемъ; онъ же иногда приносилъ и книги,—въ другихъ домахъ съ осторожностію и съ оглядкой, а къ Калюжинымъ, гдѣ не было никакой цензуры, гдѣ не предстояло никакой опасности, чтобы родители полюбопытствовали узнать вкусъ услужливаго гостя,— безъ всякаго зазрѣнія совѣсти. Иногда Калюжинымъ удавалось подхватить гдѣ-нибудь подъ руки и посадить къ себѣ за столъ молодаго, холостаго помѣщика, особенно пріѣзжаго, и это былъ большой праздникъ. Если такого человѣка удавалось разъ подхватить подъ руки, то ·о обыкновенно съ рукъ не спускали, развѣ ужь нако-

нецъ самъ потянется да вырвется. Такимъ образомъ, вечеръ проходилъ довольно пріятно: можно было отдохнуть отъ дневной скуки и спокойно улечься около полуночи, съ увѣренностію, что до завтрашняго вечера осталось менѣе сутокъ. Ложились барышни наши тутъ и тамъ, въ повалку, гдѣ случалось; кроватей своихъ у нихъ не было, чтобы не занимать лишняго мѣста; простынь и одѣялъ также, потому что это лишній расходъ, а дѣло не видное; одна лежала на одномъ диванѣ, другая на другомъ, третья на стульяхъ, четвертая на полу, и этой доставалась обыкновенно перина; укрывались онѣ—которая старенькимъ одѣяльцемъ, немножко излохмоченнымъ, которая салопомъ своимъ, капотцемъ да мантономъ. Хлопчатая бумага—пренесносное вещество: гдѣ только подбой или покрышка продерется, то она такъ и лѣзетъ вонъ.—Впрочемъ одно изъ одѣялъ этихъ было въ домѣ извѣстно подъ названіемъ *атласнаго*, и за него было много несогласія; всякой хотѣлось одѣваться атласнымъ одѣяломъ. Атласу оставалось на немъ одна только память, да все-таки атласъ. Утромъ, всякая изъ дѣвицъ вставала со своего ложа и, завернувшись чинно въ салопецъ свой или одѣяльце, отправлялась къ завѣтной вѣшалкѣ, за ширму, сымала съ гвоздя или подымала съ полу домашнее платьеце свое, тутъ же надѣвала и отопочки, башмачки, но уже къ обѣду умывалась, чесала, закалывала распущенную косу, и проч. Все это дѣлалось чинно, спокойно, протирая со сна молча глаза; иногда только выходили маленькія непріятности, если младшая попадала ногами въ башмачки четвертой сестры, та—

въ слѣдующую за тѣмъ пару, и такъ далѣе, покуда наконецъ на долю старшей оставалась пара дѣтскихъ отопковъ, въ которые она никоимъ образомъ не могла вправить ноженьку свою. Пять паръ башмаковъ — не шутка; выходитъ десять штукъ; какъ станутъ разбирать изъ кучки, куда дѣвка ихъ всѣ свалила, подобравъ въ трехъ или четырехъ комнатахъ, то иногда такая запутанная вещь выходила, что въ продолженіе цѣлаго часа не могутъ барышни подобрать пару къ одному окаянному башмаку; другой не лѣзетъ на ногу, да и только. Между тѣмъ, всѣ уже разбредутся по занятіямъ своимъ, одна къ окну, одна къ печи, одна немножко растянется на диванъ, и дѣвка бѣгаетъ съ однимъ башмакомъ по цѣлому дому и, приговаривая: «барышня, пожалуйте-съ», ловитъ барышень за ноги и примѣриваетъ башмакъ. — Разумѣется, что та, которой достанется стоять босикомъ за ширмой и дожидаться этого розыску и слѣдствія, повышаетъ, отъ времени до времени, плачевный голосъ свой, и даетъ сестрамъ, въ отчаянномъ положеніи своемъ, приличныя поступкамъ ихъ названія. Впрочемъ, какъ выѣздные башмаки всегда поступали, въ свою очередь, въ будничные, а потомъ и въ утренніе, то въ общей суматохѣ, до одиннадцати часовъ утра, отнюдь не позже однакожь, можно было видѣть барышень нашихъ иногда въ одномъ розовомъ башмакѣ, въ другомъ голубомъ или зеленомъ. Случались иногда также маленькія неудовольствія и по тому поводу, что дѣвка, у которой были только двѣ руки и двѣ ноги, не могла чесать болѣе одной барышни вдругъ, между тѣмъ какъ утро уже нечаянно проскочило

сквозь пальцы, настало обѣденное время: долгоногій французъ и другіе милые посѣтители съ нетерпѣніемъ ожидали въ гостиной выхода и, подходя на цыпочкахъ къ дверямъ общей жилой комнаты, прислушивались къ пискливымъ и тоскливымъ напѣвамъ барышень, негодующихъ другъ на друга и на дѣвку, за остановку и проволочку. Тутъ слѣдовало-бы по справедливости положить пеню за проторы и убытки. При томъ же и гребень одинъ; не дюжинами-жь ихъ закупать для дому; и какъ ни бейся, а надобно выждать очереди. Сама ни одна изъ барышень не умѣла вычесаться, да оно кажется и неприлично: на это есть дѣвка. Бываетъ и то: гребень завалится куда-нибудь, за комодъ, въ рукомойникъ — ударитъ 10, 11 — и въ домѣ пойдетъ такая суматоха, крикъ, пискотня, плачъ, что даже жалостно слушать: ищутъ, дѣвки бѣгаютъ какъ шальныя, барышни ходятъ слѣдомъ гуськомъ и погоняютъ; пора выходить, а еще нѣтъ и гребня.

Но если и парная одежда, какъ башмаки, нерѣдко разрознялась въ домашнемъ быту дѣвицъ Калюжиныхъ, то непарная, какъ само собою разумѣется, ходила съ плечъ на плечи, безъ всякаго разбора, и къ этому разряду, въ особенности, принадлежало все бѣлье; маменька и дочки носили его сподрядъ и безъ всякаго различія. Вѣдь оно мягкое, убористое, можно по нуждѣ и стянуть, и распустить, и подобрать, и — однимъ словомъ — это не платье: какъ оно сидитъ, до того никому нѣтъ нужды. Обзавести каждую своимъ бѣльемъ — это не бездѣлица: полотно дорого, а никто изъ посѣтителей не удивится такой роскоши, и даже

не узнаетъ о томъ: предметъ, сами посудите, таковъ, что неловко похвалиться этимъ передъ кѣмъ нибудь въ глаза; оно какъ-то не приходится. Итакъ, бѣлье общее, и это новый источникъ домашнихъ непріятностей; не всегда доставало на перемѣну кругомъ, а нельзя же ходить всегда въ безсмѣнномъ, особенно лѣтомъ. Пора, когда барыни въ полномъ убранствѣ, по узкости облитаго платья, бѣлья не носили вовсе, миновалась, и безъ крайности не хотѣлось заводить такую моду. Еще поводъ къ разбору: подадутъ бѣлье — оно проношено или тесемочки выдернуты, виситъ такъ, что съ нимъ не справишься, а тутъ дѣло спѣшное; вотъ — и вскинется одна: «это ты, Настя, ужь сейчасъ видно, которая вещь на тебѣ была, это ты оборвала тесемочки»; а тутъ еще подхватитъ дѣвка: «нѣтъ-съ, барышня-съ, это онѣ на подвязки выдернули-съ...» ну и пойдутъ перекоры. Поэтому и бѣлье, всегда и во всѣхъ отношеніяхъ, было не слишкомъ исправно; спросить не на комъ, да и кому какая нужда объ немъ заботиться, только бы съ плечъ да съ ногъ долой, а тамъ—авось другой достанется, пусть носитъ, какъ знаетъ; не самой же, и въ самомъ дѣлѣ, заняться вычинкой бѣлья: это не дворянское дѣло; пожалуй, вонъ у Василья Адамовича, у директора гимназіи, говорятъ, дочери сами на себя башмаки тачаютъ; такъ это другое дѣло, на то они нѣмцы. Ужь гораздо же приличнѣе русской дворянкѣ, дочери значительнаго чиновника, ходить дома какъ нибудь, лишь бы въ люди показаться по-людски, чѣмъ работать на себя по-холопьи одежду. Рубахи цѣлой въ домѣ не было, это правда; ока-

зывалась также иногда крайняя нужда въ исподницахъ и чулкахъ, — но за-то наслѣдственный жемчугъ перенизывался по воскресеньямъ, для забавы; это дѣлалось въ гостиной, и называлось: *дѣти занимаются рукодѣльемъ*. Впрочемъ, не годится и наговаривать по-пустому: барышни иногда рукодѣльничали; онѣ, я думаю, могли вышить что нибудь по канвѣ, гдѣ стежка идетъ на готовую за стежкой и ни обузить, ни посадить нечего; а бѣлошвейная работа, ну, это конечно имъ не рука: на это есть дѣвки. Конечно, всѣ вещицы, которыя ходили тутъ и тамъ, подъ именемъ ихъ работы, принадлежали къ модным и самымъ безполезнымъ вещамъ въ мірѣ; но вы опять-таки хотите, чтобы барышни, дворянки русскія, были ремесленницами и работали что-нибудь годное, путное, полезное для дома! Въ этомъ-то и штука, чтобы выдумать такую вещь, которою бы вѣжливые гости могли любоваться, а между тѣмъ видѣть, по первому взгляду, что это сдѣлано для одной лишь забавы, не по нуждѣ, не для нужды, и даже вовсе не для употребленія. Когда Калюжина готовила одной дочери приданое, то справила ей, уже отдѣльно отъ сестеръ, полдюжины рубахъ, шесть шелковыхъ платьевъ, одно будничное ситцевое; но ни юбочки, ни кофточки, — а убрала за то постель, наволоки, простыни и парадное шелковое одѣяло кружевомъ. Да, позабылъ я сказать еще о носовыхъ платочкахъ: для общаго обихода было въ домѣ съ дюжину батистовыхъ платковъ, но уголки у нихъ всѣ были прорваны, даже оторваны на-прочь; это дѣлалось такимъ образомъ: въ мытьѣ ихъ связывали по-парно, чтобы удобнѣе

перекидывать, для просушки, черезъ веревку, а потомъ, когда приходилось катать или гладить, то для скорости развязывали узлы зубами, или просто растягивали въ ручную, и видно батистъ былъ плохъ; частенько зубъ прачки проходилъ въ узелокъ на-вылетъ, или кончикъ одного платка оставался въ затянутомъ узелкѣ другаго.

Съ этимъ превосходнымъ порядкомъ въ домѣ согласовалось, разумѣется, и самое воспитаніе дочерей: одно другому не уступало. Не думайте, чтобы мать ихъ баловала; нѣтъ: право, имъ, иногда, по цѣлымъ днямъ, житья не было отъ нагонаевъ, если онѣ въ чемъ-либо согрѣшали противу тактики Анны Мироновны, вынужденной обстоятельствами; онѣ, при посторонникъ, отвѣчали головою — которой доставалась порядочная мойка — за всѣ невыгодный послѣдствія поведенія, несогласнаго въ чемъ-либо съ планами матери. Но что дѣлалось за завѣтной ширмой, за перегородкой, или вообще въ домѣ, далѣе столовой, счетомъ третьей комнатѣ отъ передней, до этого разумѣется Аннѣ Мироновнѣ не было никакого дѣла: въ это она, какъ благоразумная и чадолюбивая мать, не мѣшалась, не стѣсняла волю дочерей ничѣмъ. Если напримѣръ Калюжины приглашены были на обѣдъ или вечеръ, то никакая головная боль, ни угаръ, ни тошнота, ни другія обстоятельства и невозможность одѣться, не спасали дочерей отъ корсета и выѣзда; вы согласитесь, что это также благоразумно и чадолюбиво, потому что оно дѣлалось собственно для нихъ же, для дѣтей — ихъ надобно было показать, гдѣ только есть къ тому случай. — Тогда не принималось никакой от-

говорки, должно было одѣться, ѣхать, улыбаться, глядѣть на всѣхъ весело, заманчиво, любезничать. Если носили въ домѣ на рукахъ женишка, то уже долгоногимъ не было пощады: и не гляди на него, и не говори съ нимъ теперь, влюбляйся тамъ на просторѣ и на свободѣ, когда никого нѣтъ, а теперь сюда держись, сюда носомъ, туда кормой, правь по компасу и не сбивайся съ румба, вотъ тебѣ маякъ. Если — что случалось впрочемъ очень рѣдко и, можетъ быть, всего раза два, три — если слишкомъ строгій порядокъ въ домѣ выводилъ наконецъ которую-нибудь дочь изъ терпѣнія, и она, наслышавшись отъ какой-нибудь подруги о томъ, какъ то или другое водится въ другихъ домахъ, пыталась завести какой-нибудь толкъ и порядокъ въ бѣльѣ-ли, въ чемъ-ли другомъ,— то Анна Мироновна останавливала ее въ ту же минуту и говорила: «вздоръ, чтобы я распоряженій твоихъ въ домѣ и не видѣла, и не слыхала; ты бы, сударыня, изволила напередъ позаботиться, чтобы порядочный человѣкъ къ тебѣ присватался да не покинулъ бы опять послѣ, по твоей же глупости, да тогда и распоряжайся у себя въ домѣ, какъ хочешь. Какъ жили донынѣ, такъ будемъ жить и впередъ».

ГЛАВА XVIII.

ОТЪ ДОМА КАЛЮЖИНЫХЪ И ДО КВАРТИРЫ ЧАЙКИНА ЕРЕЗЪ БОЛЬШУЮ УЛИЦУ И РЫНОКЪ, ЗА ВТОРЫМЪ ПЕРЕУЛКОМЪ.

Итакъ, вотъ вамъ этотъ знаменитый, хлѣбосольный домъ Калюжиныхъ, домъ, вамъ, конечно, уже знакомый, потому

что, повторяю, онъ есть въ каждомъ порядочномъ городѣ Руси.

Время было, о ту пору, какъ я прибылъ въ Алтыновъ, для Калюжиныхъ, надо думать, тяжелое, старшую дочь отдали благополучно за вице-губернатора, другую, съ помощію зятюшки, старались пристроить за одного изъ совѣтниковъ, который былъ уже поставленъ въ такое положеніе, что рѣшительно не зналъ, что дѣлать, и какъ быть, и съ горя запилъ, чего, говорятъ, съ нимъ прежде не бывало; этимъ счастливымъ обстоятельствомъ воспользовались, и когда Артемій Семеновичъ началъ приходить въ себя, то ему сказали, что онъ женихъ Марьи Калюжиной, и что вице-губернаторъ хлопочетъ о представленіи его къ награжденію землею по чину.

У Калюжиныхъ стояли на всѣхъ концахъ города махальные, которые извѣщали Анну Мироновну обо всемъ происходящемъ; кромѣ того, домъ Калюжиныхъ былъ угольный, окна во все лѣто растворены настежь, такъ уже и сквознымъ вѣтромъ заносило всѣ вѣсти, которыя летали безъ хвоста по городу. Изъ пяти домашнихъ караульныхъ, три, по крайней мѣрѣ, стояли постоянно на часахъ у оконъ, чтобы видѣть все, что дѣлается на улицѣ: кто прошелъ, кто проѣхалъ, куда,— кто кому кланяется, кто нѣтъ, и прочее. Вы видите, что тутъ недоставало часовыхъ и на двѣ смѣны, полагая три притина, но бѣдненькія барышни обмогались, какъ могли, и только по праздничнымъ днямъ *ставили за* ворота, въ помощь себѣ, передовой постъ, во-

дэтъ, состоявшій изъ двухъ дѣвокъ и человѣка: полныя и законныя три смѣны.

Всѣ вновь пріѣзжіе пользовались особенною милостію и привѣтливостію въ домѣ Калюжиныхъ. На другой, много на третій день пріѣзда новаго чиновника, его приглашали къ Калюжинымъ къ обѣду; при прощаньѣ приглашали запросто по вечерамъ, и на слѣдующій вечеръ, если онъ самъ не являлся, за нимъ посылали; при третьемъ посѣщеніи ему вручались пять альбомовъ дѣвицъ Калюжиныхъ, съ просьбою написать или нарисовать что нибудь, а потомъ уже дѣло шло обыкновеннымъ порядкомъ.

Я не хотѣлъ заводить въ Алтыновѣ обширнаго знакомства, отнѣкивался въ особенности, по слухамъ и какому-то предчувствію, отъ дома Калюжиныхъ, но меня наконецъ позвали туда, какъ врача. Разумѣется, что тутъ не было для меня никакого повода отговариваться: я пошелъ. Посѣщеніе это кончилось знакомствомъ моимъ въ домѣ; все было уже такъ искусно и мило подведено и подготовлено, что мнѣ и тутъ не осталось ни одной уловки, если я не хотѣлъ быть просто неучемъ и грубымъ. Вторымъ слѣдствіемъ этого приглашенія, гдѣ лекарское званіе мое служило только благовиднымъ предлогомъ, было то, что господа члены управы сильно противу меня возопіяли и требовали отъ меня отвѣта, какъ я смѣю втираться въ ихъ практику и принимать на себя чиновныхъ больныхъ, когда тутъ есть врачи постарше меня и сверхъ того еще мои начальники? Какъ я смѣю быть совмѣстникомъ непосредственнаго начальства моего? Это-де, при первомъ сно

путномъ случаѣ, можетъ обойтись подчиненному дорогонько. Между тѣмъ и третье слѣдствіе, необходимое при знакомствѣ въ домѣ Калюжиныхъ холостаго человѣка, не замедлило вскорѣ оказаться на дѣлѣ. — Не знаю, съ котораго конца начать быль эту — она какъ-то запутана. Повода я, право, не подалъ къ ней никакого, развѣ только тѣмъ, что также расписался и разрисовался въ пяти альбомахъ барышень; но что же вы будете дѣлать, коли вамъ ихъ подносятъ. — не сказать же: пишите сами!

Итакъ, я никакого грѣха не замышлялъ, ни о чемъ не думалъ, бывалъ разъ въ недѣлю у Калюжиныхъ, на ряду со множествомъ другимъ — вдругъ слышу, что меня не только пустили по городу женихомъ, но что даже у Анны Мироновны съ зятемъ, вице-губернаторомъ, вышла маленькая ссора изъ-за меня; онъ противится этому союзу, обѣщаетъ найти жениха почище меня и не желаетъ родниться съ отставнымъ солдатомъ, который угодилъ какъ-то въ уѣздные лекаря; а она настаиваетъ, хочетъ отдать за меня дочь, которой-де отъ счастья своего не бѣгать, а нынѣ время такое, что за женихами не набѣгаешься. Все это казалось мнѣ до времени очень забавнымъ, и я сталъ только бывать у Калюжиныхъ еще рѣже прежняго и только въ такіе дни, гдѣ собиралось тамъ много, и наконецъ почти отсталъ вовсе. Въ городѣ, гдѣ два дома разсорились за то, что одна барыня сказала: «ахъ, какой вы крѣпкій чай дѣлаете» — а другая отвѣчала сухо: «для гостей своихъ я ничего не жалѣю», — и слово за словомъ и разошлись и разъѣхались турухтанами; гдѣ кромѣ того, какъ из-

вѣстно, какой-то безплотный бѣсъ, въ видѣ вихря, носитъ по городу и перепутываетъ, на каждомъ перекресткѣ, городскія вѣсти и сплетни,—въ такомъ городѣ, подумалъ я, не уберешься отъ этихъ швей (прошу наборщика не сдѣлать въ этомъ словѣ опечатки) — пусть ихъ плетутъ. Но этимъ я не отдѣлался.

Я жилъ въ низенькомъ домикѣ безъ палисадника; улицы въ этой части города такъ широки, что бабы лѣтомъ черезъ улицу другъ другу въ окно горшки на ухватѣ передаютъ; передъ окнами моими нанесло огромный сугробъ снѣга, а его прикрыли еще пластомъ навоза; весна пришла, я растворилъ рано окна, а между тѣмъ по улицамъ не было еще проѣзду на колесахъ. Семейство Калюжиныхъ, маменька съ четырьмя дочками, сѣли въ огромный возокъ и отправились по этой распутицѣ съ визитами. Ѣдутъ онѣ по моей улицѣ, взобрались на знаменитый сугробъ мой, а оттуда кучеръ возьми да и вывали ихъ прямо ко мнѣ въ окно. Я сидѣлъ въ халатѣ за работой въ сосѣдней комнатѣ, но, услышавъ страшный крикъ въ окнѣ своемъ, успѣлъ еще во время подскочить, чтобы принять подъ руки незванныхъ и нежданныхъ гостей. Въ самомъ дѣлѣ, имъ нельзя было вылѣзть иначе изъ возка, какъ прямо ко мнѣ въ окно. Разъ, два, три, четыре, пятая сама Анна Мироновна—всѣ, слава Богу. Народъ сбѣжался, возокъ поставили на ноги, подали подъ крыльцо, и я гостей своихъ выпроводилъ: разъ, два, три, четыре — пятая сама Анна Мироновна; слава Богу, всѣ.

Это происшествіе, въ которомъ я, право, столько же ви-

новатъ, какъ и вы, разнеслось сейчасъ же по всему городу, надѣлало шуму, толковъ, а меня, который не бывалъ уже болѣе мѣсяца въ домѣ Калюжиныхъ, изъ благодарности пригласили къ обѣду и на вечеръ и взяли съ меня слово быть непремѣнно. Анна Мироновна разсказывала чудеса объ отчаянной неустрашимости моей, какъ я спасалъ ихъ изъ-подъ опрокинутаго возка — хотя, по правдѣ сказать, мнѣ оставалось только открыть окно свое и вся поклажа, весь грузъ вывалился бы въ мою комнату. Я былъ при этомъ лицо страдательное. Но странно, какъ нѣсколько дней сряду послѣ этого происшествія, весь городъ тѣснился болѣе обыкновеннаго въ гостиную Калюжиныхъ, какъ будто любопытствуя взглянуть на нихъ, послѣ визита уѣздному лекарю: тѣ-ли онѣ, какія были? А еще страннѣе, что г. вице-губернаторъ счелъ за нужное подослать ко мнѣ послѣ этого знакомаго со мной чиновника своего, съ объявленіемъ, чтобы я и не думалъ о невѣстѣ изъ дома Калюжиныхъ, что этому-де не бывать. Я глядѣлъ долго, вопросительнымъ знакомъ въ натурѣ, на пріятеля моего, и не зналъ, хохотать ли мнѣ или сказать пошлую грубость. Наконецъ я сдѣлалъ и то, и другое; я расхохотался и спросилъ его: «развѣ есть въ Алтыновѣ обычай,—сватать непремѣнно тѣхъ дѣвицъ, которыхъ кучеръ вздумаетъ вывалить къ вамъ въ окно?» Пріятель замѣтилъ однакоже, что я сватался на Прасковьѣ Герасимовнѣ и что я нынѣ возобновилъ предложеніе свое; я отвѣчалъ прямо, что это нагольная ложь; и когда тотъ увѣрилъ меня, что онъ объ этомъ самъ слышалъ отъ Анны Мироновны и былъ сви-

дѣтелемъ споровъ ея по сему предмету съ зятемъ, то я въ ту же минуту одѣлся и пошелъ къ вице-губернатору самъ.

«Что скажете, почтеннѣйшій?»

— Я пришелъ къ вамъ со страннымъ объясненіемъ; но какъ быть, извините меня. Вы приказывали сказать мнѣ подъ рукою, что не желаете, не допустите брака одной изъ свояченицъ вашихъ съ уѣзднымъ лекаремъ: свидѣтельствую передъ вами, что уѣздный лекарь этотъ никогда не думалъ льстить себя такой несбыточной надеждой, что онъ даже никогда не желалъ, не искалъ этого, и слѣдовательно ничѣмъ не угрожалъ вашему семейному спокойствію.

— Какъ?—спросилъ вице-губернаторъ, сблизивъ и нахмуривъ брови.

— Такъ, — отвѣчалъ я, — никогда не думалъ я объ этомъ, и первое слово слышу сегодня отъ пріятеля моего, почему и счелъ долгомъ лучше сейчасъ съ вами объясниться.

— Вы однакоже имѣли намѣреніе, т. е. желаніе, продолжалъ вице-губернаторъ,— и можетъ быть оставили его, какъ человѣкъ благоразумный, который...

— Который, — прервалъ я, — никогда объ этомъ не думалъ, никогда на свѣтѣ ничего подобнаго не говорилъ, никогда, сколько знаетъ, не подавалъ къ такимъ сплетнямъ ни малѣйшаго повода;— и только.

Его высокородіе походили взадъ и впередъ, заложивъ руки въ карманы, промычали раза два отрывисто букву *м*,

потомъ вдругъ обратились ко мнѣ съ просьбой, чтобы это все осталось между нами.

— Я въ дѣлѣ этомъ,—сказалъ я, человѣкъ посторонній, не спросите вы меня, и я бы ничего объ этомъ не зналъ, не только не говорилъ. Но что же теперь, когда сплетня получила, повидимому, такую гласность, прикажете мнѣ отвѣчать тѣмъ, которые заблагоразсудятъ спросить меня объ ней, съ такою же откровенностію, какъ вы?

— Послушайте, сказалъ вице-губернаторъ, — а какъ почтенное имя и отчество ваше, позвольте узнать?

— Вакхъ Сидоровъ.

— Виноватъ, извините меня. Послушайте-жь, любезный Вакхъ Сидоровичъ; сами вы изволите видѣть, дѣло щекотливое — рѣчь идетъ о доброй славѣ дѣвицы одного изъ первыхъ домовъ здѣшнихъ: скажите, что вамъ отказали; вамъ можно современемъ доставить покровительство; вы знаете, безъ этого молодому человѣку служить трудно.

Я поглядѣлъ нѣсколько времени на этого уѣзднаго лекаря изъ податнаго состоянія, передъ которымъ стоялъ вице-губернаторъ со звѣздой, въ видѣ какого-то просителя, и забылъ на время, что я самъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ этой комедіи. Я опомнился, когда вице-губернаторъ сталъ просить меня убѣдительнѣе и обѣщать, еще съ большимъ жаромъ, высокое покровительство свое.

— Не для того, Иванъ Степановичъ, сказалъ я наконецъ, —что вы обѣщаете мнѣ лестное покровительство свое, — я обходился безъ него и не при такихъ обстоятельствахъ, въ какихъ живу нынѣ, — не потому, что она дѣвица изъ пер-

ваго дома въ Алтыновѣ, а я изъ послѣдняго въ Комлевѣ, а просто такъ, безъ всякихъ причинъ — извольте, я сдѣлаю это: я буду говорить, что мнѣ отказали. Но потрудитесь уже взять на себя извинить меня передъ Анной Мироновной: я у нихъ въ домѣ болѣе бывать не могу.

Вице-губернаторъ облобызалъ меня и проводилъ до передней; чрезъ два дня вышла страшная сплетня, которую пересказать въ подробности не поворотится языкъ, да и не стóитъ того: изъ благодарности къ поступку моему, разсказывали обо мнѣ ужасныя и безпримѣрныя злодѣянія, ухищренія, происки, черные поступки всѣхъ родовъ, вслѣдствіе-де коихъ мнѣ и было вдругъ отказано не только отъ бывшей невѣсты моей, но и отъ дому Калюжиныхъ; предостерегали весь городъ не знаться и не водиться съ такимъ неблагодарнымъ злодѣемъ, который-де былъ принятъ въ домъ, обласканъ какъ свой, и прочее, и наконецъ отблагодарилъ такимъ чернымъ поступкомъ. Листки мои во всѣхъ четырехъ альбомахъ были, по приказанію маменьки, вырваны и преданы поруганію; наконецъ призывали тайно какую-то знахарку, кто говорилъ для привораживанья моего, кто говорилъ изъ мести, чтобы напустить на меня корчи и сухотку.

Я почти лишнимъ считаю прибавлять еще какое-нибудь поясненіе; наглая сплетня о сватовствѣ моемъ изобрѣтена и распущена была первоначально самою Анной Мироновной, съ тѣмъ: 1-е, чтобы въ городѣ заговорили о новомъ женихѣ въ семействѣ Калюжиныхъ — мѣра признанная издавна полезною и потому повторяемая у Калюжиныхъ,

какъ во-время оно чистительныя средства, около перваго числа каждаго мѣсяца; 2-е, чтобы понудить другихъ жениховъ приступить порѣшительнѣе къ дѣлу; 3-е наконецъ, чтобы приготовить себѣ, на всякій случай, убѣжище; если, то-есть мѣра, по первымъ двумъ статьямъ, оставалась бы недѣйствительною, то сдѣлали бы изъ подставнаго жениха заправскаго, настоящаго, постарались бы придать дѣлу такую степень гласности и запутать нареченнаго со всѣхъ сторонъ подосланными людьми и подведенными штуками, что бѣдняку въ самомъ дѣлѣ ничего бы не оставалось, какъ жениться, если онъ не хотѣлъ бѣжать съ этого свѣта куда-нибудь на другой, или по крайней мѣрѣ въ другую губернію.

Я далъ вице-губернатору слово принять все это на себя и сдержалъ его. Впрочемъ, вѣроятно и независимо отъ этого и противъ воли моей, вся вина упала бы на меня; одинокому и ничтожному, по чину и званію, человѣку, слишкомъ мудрено было-бы состязаться въ доброй славѣ и имени съ такимъ почетнымъ и хлѣбосольнымъ домомъ, каковъ былъ въ Алтыновѣ домъ Калюжныхъ.

Я отставалъ отъ общества все болѣе и болѣе, жилъ бѣдно и тѣсно однимъ жалованьемъ своимъ и посвятилъ все время свое, весь досугъ, книжнымъ и письменнымъ занятіямъ и больнымъ тѣхъ званій и сословій, которыя не легко находятъ необходимую для нихъ помощь и пособіе. Вся безмездная практика Алтынова и его окружности была у меня въ рукахъ.

ГЛАВА XIX.

ОБЪ ОГУРЦАХЪ, МОРКОВИ, ТЫКВАХЪ, КАРТОФЕЛѢ И ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТАХЪ РОСКОШИ.

Однажды утромъ ко мнѣ заходитъ Негуровъ, который, вышедши, какъ я сказывалъ, въ отставку, нашелъ давно уже очень хорошее и выгодное мѣсто, управлялъ большимъ имѣніемъ образованнаго и благомыслящаго вельможи, проживающаго въ столицѣ, и былъ доволенъ судьбой. Съ нимъ, съ Негуровымъ, я иногда отводилъ душу, и когда онъ бывалъ въ городѣ, то всегда меня навѣщалъ.

Негуровъ сдѣлался замѣчательнымъ хозяиномъ и его образъ мыслить, судить, образъ дѣйствій, смышленность истинно-русская, меня всегда чрезвычайно занимали и привлекали. Я слушалъ его по цѣлымъ часамъ, и здравыя сужденія, необыкновенно удачно приспособленныя къ обстоятельствамъ и выраженныя плавною, чистою русскою рѣчью, плѣняли меня, какъ ребенка. Помню, онъ говорилъ, въ этотъ достопамятный для меня день, о причинѣ упадка помѣстій и о нравѣ русскаго крестьянина.

«Большая часть хозяевъ и промышленниковъ нашихъ», говорилъ онъ, «двухъ родовъ: старовѣры и модники, выскочки. Первые тупы, упрямы, держатся за изувѣрствомъ безтолковыхъ учрежденій и распоряженій закоренѣлаго предразсудка; вторые изображены Крыловымъ очень удачно въ баснѣ «Огородникъ и философъ» — они выписываютъ мастеровъ и управителей изъ-за границы, въ полной увѣренности, что коли онъ нѣмецъ или французъ, такъ долженъ

все знать и все умѣть, и не замѣчаютъ того, что къ нимъ ѣдутъ изъ-за моря одни выжимки, соръ и бракъ, люди, которымъ тамъ уже некуда дѣваться. Другое, не менѣе важное обстоятельство: у отца 500 душъ и имѣніе въ порядкѣ; старикъ живетъ бариномъ, у него по обычаю 50 человѣкъ дворни, своя охота, свои пѣвчіе — тремъ сыновьямъ его достается каждому 166²/₃ души, а каждый изъ нихъ непремѣнно хочетъ жить, какъ жилъ отецъ. Они не привыкли жить иначе, по крайней мѣрѣ съ дѣтства привыкли слышать и думать, что въ свою очередь зажнвутъ барами — какъ отъ этой завѣтной мысли отказаться, допустить, чтобы всѣ сосѣди говорили: «старикъ жилъ не такъ, жилъ открыто, у него было то, другое, третье—у сыновей нѣтъ этого ничего, они живутъ мелкопомѣстно». И куда дѣвать имъ дворню эту, избалованную, гульливую, праздничную, не привыкшую къ работѣ, если бы они, сыновья, и вздумали жить похозяйственнѣе? Нашъ родъ хозяйства таковъ, что огромная дворня объѣстъ въ нѣсколько лѣтъ и богатаго помѣщика, какъ червь или кобылка, а помѣщика средней руки обглодаетъ кругомъ. Далѣе: кромѣ Демидова, у котораго вообще управленіе въ Тагилѣ можетъ назваться образцовымъ, у насъ мало въ Россіи помѣщиковъ, у которыхъ крестьяне были бы обезпечены надлежащимъ образомъ запасами, на случай голоднаго года; урожай — хлѣбъ продается за безцѣнокъ; неурожай— и бѣдѣ нечѣмъ пособить, вся выручка трехъ-четырехъ прошлыхъ лѣтъ не можетъ прокормить насъ въ теченіе одного бѣдственнаго года, потому что денегъ, если бы онѣ

и были еще на-лицо, ѣсть нельзя, и чѣмъ болѣе вы выпустите въ такой годъ денегъ, тѣмъ болѣе вздорожаетъ хлѣбъ; но его не сдѣлается болѣе: запасовъ не прибудетъ. Ясно, что достаточные запасы хлѣба съ году на годъ предупредили бы это бѣдствіе и могли бы поддерживать всегда уравнительныя, среднія цѣны, именно какъ это дѣлается въ Тагилѣ. Дешевъ хлѣбъ — не продавай его, а дорогъ — не набавляй чрезъ мѣру цѣны, и выгода все у тебя будетъ та же. Но хозяйство наше всегда устроено на однѣ сутки; мы искони перебиваемся съ весны на весну, и безъ наличной выручки къ сроку не можемъ прожить трехъ дней.

«Надобно также умѣть совладать съ мужикомъ нашимъ, надобно для этого научиться не только грамматикѣ и риторикѣ его, т. е. языку, но и логикѣ; да, у него логика своя; онъ готовъ повѣрить всякую минуту самому безсмысленному вздору, если вы подкрѣпите болтовню свою его логикой, и наоборотъ, не повѣритъ очевидной истинѣ, если не съумѣете его убѣдить. У насъ это большое горе, что не умѣютъ говорить съ чернью; говорятъ съ нею или свысока, такъ, что она не можетъ ничего понять, или какъ съ животными, со скотомъ. Мужикъ не вѣритъ предохранительной оспѣ, не вѣритъ пользѣ отъ картофеля и другихъ овощей, не вѣритъ никакому новому и лучшему порядку въ управленіи, а готовъ вѣрить, что предохранительную оспу пустилъ на свѣтъ антихристъ, что картофель—порожденіе сатаны, и отъ него не будетъ урожая на хлѣбъ; наконецъ, что всѣ господскія селенія отбираются

въ казну, а господа сами для этого жгутъ ихъ, что цѣлая губернія подарена какому-то небывалому сенатору Медвѣдеву, чему-де служатъ доказательствомъ гербы съ медвѣдями (т. е. со львами) на картузахъ жуковскаго табаку. Но такъ точно, какъ въ послѣднемъ случаѣ чиновникъ, котораго разъярившаяся чернь хотѣла разорвать на клочки за то, что нашла у него картузъ табаку съ гербомъ сенатора Медвѣдева, нашелся, успокоилъ и вразумилъ неистовыхъ простымъ замѣчаніемъ, что «какой же-де это медвѣдь, братцы; посмотрите, вѣдь медвѣдь куцый живетъ, а у этого долгой хвостъ» — такъ точно и въ другихъ обстоятельствахъ можно убѣдить и вразумить мужика, но у насъ рѣдко достанетъ на это терпѣнія, смышленности и находчивости; мы мало сродпились съ духомъ нашего народа.

«Впрочемъ, не спорю, есть случаи, гдѣ и самый благомыслящій человѣкъ потеряетъ терпѣніе и гдѣ, повидимому, нѣтъ никакого средства вразумить сумасбродовъ, кромѣ силы и страха. «Громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится», эту пословицу создали не мы, а самъ же народъ. «Мужикъ уменъ, да міръ дуракъ», «и если горбатаго исправитъ одна только могила», «то упрямаго исправляетъ дубина». Крестьяне одной изъ сосѣднихъ деревень здѣшнихъ, Агеевки, вдругъ взбунтовались: распусти ихъ всѣхъ на оброкъ. Помѣщикъ отказался, не видѣлъ никакой къ тому причины, не хотѣлъ бросить заведенное хозяйство свое и прогналъ мужиковъ на работу. Вмѣсто работы, они всѣ *собрались* въ одну кучу, отправились гурьбой въ уѣздный

городъ, къ исправнику на дворъ, и требовали настоятельно, чтобы ихъ распустить на оброкъ, что они работать барщины не хотятъ. Исправникъ разобралъ дѣло, поговорилъ съ пріѣхавшимъ вслѣдъ за ними помѣщикомъ; жалобъ никакихъ не было, одно настоятельное требованіе: распусти ихъ на оброкъ. Исправникъ поставилъ мужиковъ рядкомъ, толковалъ, говорилъ, усовѣщевалъ — нѣтъ: крикъ увеличивается, и слышно одно безтолковое требованіе: распусти ихъ на оброкъ. Исправникъ началъ съ праваго фланга и высѣкъ розгами сряду и поголовно всѣхъ; тогда мужики мои поблагодарили, по обычаю своему, за науку, поклонились въ поясъ, повинились, отвѣчали въ голосъ, что теперь поняли приказаніе исправника и обязанности свои, воротились чинно въ деревню и на другой же день принялись спокойно за работу. Мужики мои прошлись только взадъ и впередъ верстъ 35, за доброй наукой, расписались въ полученіи бани и, какъ разумные люди, опять успокоились.

«Я могу вамъ разсказать много подобнаго и изъ собственнаго опыта моего, изъ нынѣшняго моего хозяйства. И я колочусь съ ними иногда, какъ рыба объ ледъ. Напримѣръ: у насъ лошадей воруютъ у мужиковъ безпрестанно, а пастуха держать не соглашаются, лучше пускаютъ лошадей все-таки на авось. Овецъ гоняютъ въ одномъ стадѣ съ коровами, потому что держать особаго пастуха для овецъ стоитъ по 20 коп. съ овцы, чего крестьянинъ заплатить не согласенъ. Между тѣмъ коровы безпрестанно давятъ и топчутъ овецъ, особенно ягнятъ; не проходитъ

лѣтомъ двухъ недѣль, чтобы не задавили по крайней мѣрѣ одного — все это не наука, не убѣжденіе, все-таки всякій пускаетъ овцу свою на авось въ коровье стадо. Огородовъ нѣтъ у крестьянъ, бакчей нѣтъ; кромѣ хлѣба своего, не сѣютъ ничего и сѣять не хотятъ; мало этого, я сѣю овощей много, и чтобы заохотить крестьянъ, отдалъ имъ прошлаго году цѣлый загонъ готовой моркови и сотни двѣ тыквъ, сказавъ старостѣ, чтобы онъ раздѣлилъ это на всѣхъ. Что же вы думаете? морковь погнила вся въ землѣ, тыквы померзли и пропали: никто не потрудился воспользоваться этимъ, ни одинъ человѣкъ не поѣхалъ набрать тыквъ, не послалъ ребятишекъ набрать моркови — отъ лѣни и отъ упрямства. Но если вы думаете, что крестьяне мои не ѣдятъ тыквъ и моркови, то ошибаетесь: удѣльные крестьяне, по сосѣдству, сѣютъ много овощей всякаго рода и развозятъ ихъ по деревнямъ; когда къ моему мужику привезутъ подъ окна возъ моркови, то мужикъ беретъ ее не только за деньги, коли онѣ у него есть, но, что хуже того, беретъ мѣрку моркови за мѣрку муки; между тѣмъ морковь стоитъ 10 коп., а мука полтину — а этого вы мужику не растолкуете людской логикой; онъ говоритъ свое: отдалъ муку, такъ деньги дома. Крестьяне мѣняютъ такимъ образомъ и тыквы, и огурцы, и свеклу, а сами не разводятъ ихъ, все за недосугомъ. Они изъ барскаго огорода воруютъ картофель, дозрѣть ему не дадутъ; намедни ровно свиньи всѣ гряды перерыли; а заставьте ихъ развести свой — бѣда; готовы взбѣлениться за такое притѣсненіе, за насиліе и соблазнъ».

ГЛАВА XX.

ОТЪ ПРЕДМЕТОВЪ ХОЗЯЙСТВА И ДО САМАГО КОНЦА РАЗСКАЗА, СЪ ПОПУТНЫМИ ЗАМѢЧАНІЯМИ О ЧЕБОТАРНОМЪ РЕМЕСЛѢ.

Между тѣмъ какъ мы толковали съ Негуровымъ, вошелъ старикъ чеботарь, отставной солдатъ, который всегда въ Алтыновѣ на меня работалъ. Негуровъ поздоровался съ нимъ и прибавилъ, обращаясь ко мнѣ: «славный старикъ, тезка и однопрозванецъ твой,— я его люблю». — Какой тезка,— спросилъ я — это рѣдкость, я немного встрѣчалъ на Руси тезокъ, развѣ и тебя зовутъ Вакхомъ?—«Нѣтъ», отвѣчалъ тотъ, «Сидоромъ». А Негуровъ прибавилъ: «онъ однопрозванецъ твой, Чайкинъ».

Чайкинъ — и Сидоръ Чайкинъ — меня вдругъ будто обдало кипяткомъ съ головы до ногъ! «Да откуда ты родомъ?» спросилъ я робко, проглотивъ почти словечко *ты*.— Изъ Комлева, — отвѣчалъ старикъ, и принялся было снимать у меня съ ноги мѣрку, закусывая мѣтки зубами.

Изъ Комлева, и Сидоръ Чайкинъ! Вѣщее не даромъ во мнѣ вздрогнуло. Это точно былъ мой отецъ. Лѣтъ пять жилъ онъ уже въ Алтыновѣ, куда случай его занесъ, два года постоянно на меня работалъ, и теперь только объяснилось, что это былъ родной мой отецъ. 30-ти лѣтнія похожденія его были очень просты: онъ былъ отданъ въ Лебедяни въ солдаты, какъ бродяга; прибывъ на ярмарку, въ надеждѣ на-авось, безъ паспорта, и связавшись съ другимъ барышникомъ или, лучше сказать, конокрадомъ,

который поручилъ ему продажу лошадей, чего отецъ мой и не зналъ, онъ былъ запутанъ въ это дѣло. Прослуживъ законный срокъ, батюшка былъ уволенъ въ отставку, а какъ у него въ Комлевѣ не было никого изъ своихъ, то онъ и остался на перепутьи, въ Алтыновѣ, и заработывалъ хлѣбъ свой ремесломъ, которому выучился на службѣ. Старикъ никакъ не хотѣлъ вѣрить яснѣйшимъ доказательствамъ моимъ, что я точно сынъ его, дѣло казалось ему баснословнымъ; наконецъ онъ расплакался, какъ ребенокъ, и, утирая слезы, говорилъ безъ умолку, разсказывая всѣ похожденія свои, въ какомъ-то полу-нервическомъ раздраженіи чувствъ и духа.

Можете себѣ представить, какого это надѣлало шуму въ Алтыновѣ, когда разлилась вѣсть, что чеботарь Сидоръ оказался роднымъ отцомъ уѣзднаго лекаря! Одна изъ записныхъ вѣстовщицъ, до которой всѣ новости всегда доходили ранѣе, чѣмъ до всѣхъ прочихъ, разумѣется, задушевная пріятельница Анны Мироновны Калюжиной, пріѣхала къ этой, спустя не болѣе часу послѣ описаннаго случая: а какъ въ домѣ еще было рано, то она захватила всѣхъ врасплохъ, и между прочимъ застала въ передней дѣвку и лакея, сестру и брата, въ какой-то ссорѣ; гостья эта сдѣлала въ ту же минуту расправу, давъ имъ обоимъ по пощечинѣ и нѣсколько назидательныхъ уроковъ, и затѣмъ прошла, чреватая неожиданною новостію, прямо въ покои Анны Мироновны, гдѣ и разрѣшилась мгновенно и благополучно отъ бремени своего; только при прощаньѣ она, увидавъ опять ту же дѣвку, сказала мимоходомъ: «я у

васъ, матушка Анна Мироновна, разобрала и помирила людей; Ѳомка бранится вотъ съ сестрой и чуть не подрались — нѣтъ, не безпокойтесь, я уже покончила это дѣло».

— Видите, я всегда вамъ говорила, что этотъ Чайкинъ преподлый человѣкъ, — отвѣчала Анна Мироновна, когда она опомнилась отъ изумленія, и потомъ закричала: — дѣтки, дѣтки! подите сюда! — И когда барышни, пошаркивая отопочками своими и поддерживая и прихватывая, гдѣ надобность была, свои блузы и капоты, вошли, то она разсказала имъ происхожденіе мое съ какимъ-то видомъ наставленія и поученія, приказывала впередъ всегда остерегаться такихъ случаевъ, и еще разъ освѣдомилась, не осталась-ли какая-нибудь память обо мнѣ въ которомъ нибудь альбомѣ?

Инспекторъ управы, какъ ближайшій начальникъ и покровитель мой, призвалъ меня, когда вѣсть дошла до него, частнымъ образомъ, и глазъ-на-глазъ разспросилъ обо всемъ подробно, приговаривая: да какъ же это такъ — и пожимаясь то въ ту, то въ другую сторону, какъ будто его жгло то тутъ, то тамъ, или что-нибудь такое безпокоило; наконецъ, убѣдившись въ истинѣ дѣла, совѣтовалъ мнѣ, съ видомъ покровительства, отправить, коли ужь это такъ случилось, старика своего потихоньку домой на родину. Нашъ инспекторъ управы былъ также въ своемъ родѣ человѣкъ: онъ чернилъ искусно густые, сѣдые волосы свои, употреблялъ много притираній и разныхъ косметическихъ средствъ и снадобій, одѣвался и убирался каждое утро часа два, запираясь одинъ на замокъ, выступалъ очень важно

и величаво, любилъ цѣпочки, печатки, перстни, кольца и булавочки съ мушками и козявками, помѣстилъ самъ себя врачемъ при больницѣ, въ богадѣльнѣ, въ приказѣ, при гимназіи, въ семинаріи, словомъ—при всѣхъ заведеніяхъ въ Алтыновѣ, гдѣ только было хоть малое жалованье; доносилъ всегда подробно о своихъ обширныхъ занятіяхъ и въ круглый годъ не заглядывалъ ни одного разу никуда. По важности чина его и мѣста, это и дѣйствительно было бы неприлично; больнымъ уже легко было отъ того, что онъ тамъ числился. Тамъ всѣмъ завѣдывали фельдшера, и даже писали по формѣ скорбные листы и названія болѣзней на досечкахъ. Итакъ, онъ посовѣтовалъ мнѣ отправить отца скорѣе на родину его.

— Кому же онъ здѣсь мѣшаетъ? спросилъ я.

— Ну, оно, видите, неловко: какъ же вы хотите жить въ одномъ городѣ съ родственникомъ изъ такого сословія—разсудите, я совѣтую вамъ начальнически; это можетъ вамъ повредить, такъ сказать...

— Если бы я жилъ съ отцомъ и впередъ, какъ доселѣ, когда не зналъ его, врознь въ одномъ городѣ, продолжалъ я, — тогда, конечно, это могло бы дать невыгодное обо мнѣ понятіе; но какъ мы отнынѣ со старикомъ не разстанемся и будемъ жить вмѣстѣ, то я не вижу тутъ никакого неудобства.

Инспекторъ посмотрѣлъ на меня въ какомъ-то недоумѣніи, потомъ, приподнявъ брови, отвернулся, кашлянулъ два раза, и чихнулъ притворно, что онъ дѣлалъ, впрочемъ, съ большимъ искусствомъ, въ критическихъ положеніяхъ, когда хотѣлъ вдругъ перемѣнить или оторвать разговоръ.

Помолчавъ немного, я прибавилъ еще: «впрочемъ, во всякомъ случаѣ обстоятельство это не будетъ безпокоить никого, ни даже васъ, Сергѣй Сергѣевичъ, если только вы будете, по всегдашнему своему расположенію ко мнѣ, столь добры, что не задержите просьбы моей: я намѣренъ нынѣ же подать въ отставку».

У Сергѣя Сергѣевича отлегло много отъ сердца, когда онъ это услышалъ; ему съ меня, какъ съ козла, не было ни шерсти, ни молока, и это ему давно уже надоѣло; придиркамъ всѣхъ родовъ не было конца. Повременамъ только онъ снова мирился со мною, по какому-нибудь особому поводу, давалъ мнѣ много хорошихъ наставленій и надѣялся, что у насъ впередъ дѣла пойдутъ лучше; а впослѣдствіи, когда я, по недогадливости своей, не заправлялъ ихъ ничѣмъ, всегда возникали опять новыя неудовольствія.

Я вышелъ въ отставку вотъ по какому поводу: Негуровъ, учредивъ въ имѣніи порядочное управленіе, вскорѣ пріобрѣлъ довѣренность и уваженіе не только своего помѣщика, но и двухъ-трехъ сосѣднихъ; онъ устраивалъ въ селѣ при заводѣ больницу, и убѣдилъ сосѣдей въ пользѣ послѣдовать примѣру его и взять, на первый случай, на общій счетъ врача. Такимъ образъ онъ предложилъ мнѣ мѣсто это, которое вполнѣ обезпечивало меня на счетъ насущной жизни. Съ жаромъ принялся я тутъ снова за свою обязанность и впервые почувствовалъ себя на своемъ мѣстѣ: могъ жить и дѣйствовать свободно и благодѣтельно въ кругу своего званія, гдѣ никто не перечилъ мнѣ, не

искалъ случая сдѣлать мнѣ какую нибудь непріятность, не требовалъ одной только утомительной и безполезной письменной отчетности, какъ главнѣйшаго предмета, а гдѣ обращали вниманіе на труды, заботы и успѣхи мои въ пользованіи немощныхъ, гдѣ вникали во всякое благоразумное предложеніе и требованіе мое, и дали полную власть заботиться не только о больныхъ, но и о сохраненіи здоровыхъ. Такимъ образомъ сдѣлали распоряженіе, по коему всѣ женщины въ деревнѣ, на все время беременности своей, освобождались отъ работъ; выстроили бани, запретили мочить конопель въ озерѣ, изъ котораго всѣ берутъ воду, завели продажу говядины мѣною на хлѣбъ, чтобы дать всякому средство имѣть чаще мясную пищу; приняли множество мѣръ противъ смертности младенцевъ, и я надѣюсь, что въ теченіе немногихъ лѣтъ, старанія наши покажутъ, въ числительныхъ выводахъ, пользу всѣхъ этихъ распоряженій.

Вотъ подъ какими обстоятельствами, примѣтами и знаменіями праздновалъ я, въ кругу семьи Негурова, тридцатое рожденіе свое. Обѣщавъ разсказъ о жизни моей только за 30 лѣтъ, за первую половину, я бы долженъ былъ на этомъ закончить нынѣшнія записки свои; но для полноты дѣла, слѣдуетъ прихватить еще и часть 31 года, съ коего начинается вовсе для меня новая жизнь, новое лѣтосчисленіе.

Мой добрый безногій французъ, переходя изъ рукъ въ руки, попалъ между тѣмъ — куда бы вы думали?—въ домъ къ моему полковнику, у котораго дѣтки подросли и требовали воспитанія. Французъ всегда писалъ мнѣ отъ времени

до времени, и описалъ мнѣ съ особеннымъ жаромъ свой торжественный въѣздъ и входъ на костыляхъ въ домъ моего благодѣтеля. Вѣчно-юный сердцемъ старикъ описывалъ съ восхищеніемъ, какъ приняли, въ домѣ полковника, бывшаго учителя Ваҳка Чайкина, съ какимъ уваженіемъ съ нимъ обходились, какъ всѣ не могли имъ нарадоваться. «Да,» прибавилъ онъ, «отставной артиллеристъ большой арміи, отставной учитель Вашеньки — опять вступилъ на службу, но чувствуетъ, что вскорѣ будетъ отставленъ и уволенъ отъ службы и званія гражданина этого міра, скоро будетъ отставнымъ человѣкомъ. Старость не бѣда, но бѣда дряхлость, которая заставляетъ поглядывать иногда мимоходомъ въ готовую яму. Тамъ мое мѣсто, Ваша, тамъ, это я чувствую, и я бы давно остылъ уже, если бы меня не грѣли иногда воспоминанія. Здѣсь, Ваша, есть еще одно солнышко, которое ходитъ за мною, какъ дочь за отцомъ — и это въ честь тебѣ, другъ мой, honneur aux braves! Груша кланяется тебѣ, и признаюсь тебѣ, сухой поклонъ этотъ по себѣ, безъ этого думнаго, спокойнаго личика — пустая фраза, а я таки когда-нибудь соберусь, и спишу ее и пришлю тебѣ на показъ темнорусую головку, которая, не можетъ быть, чтобы не оставила въ тебѣ какихъ-нибудь пріятныхъ воспоминаній.»

Приписка. «Письмо осталось на недѣлю, не попало на почту, и я посылаю тебѣ обѣщанное сокровище; видишь, я ребячусь, какъ школьникъ, и дѣлаю непозволительныя шалости — не выдай меня, не продай.»

Личико это было то же, какъ шесть, семь лѣтъ тому

назадъ, когда оно прожило на свѣтѣ всего лѣтъ 15 или 16—дѣтская рѣзвость его только смягчилась умнымъ и спокойнымъ взглядомъ, полнымъ души. Прежнее, былое пробудилось во мнѣ съ неимовѣрною силою, я заплакалъ какъ ребенокъ.

Я потребовалъ отчета у француза, какимъ образомъ Груша, которая давно замужемъ, жила опять въ домѣ у полковника? И французъ отвѣчалъ мнѣ, что она никогда замужъ не выходила; она была помолвлена нѣсколько лѣтъ тому, по настоянію сестры и зятя, но не смогла одолѣть отвращенія своего отъ замужества и, по личному объясненію съ женихомъ своимъ, осталась опять свободною.

Передумавъ нѣсколько времени и переработавъ въ головѣ и въ сердцѣ это, я объяснилъ своему французу все, сказавъ, кто я теперь, и чѣмъ могу располагать, и поручилъ ему сдѣлать развѣдку и опознаться на мѣстѣ, какъ и гдѣ разсудитъ, и увѣдомить меня, нѣтъ-ли для меня еще какой нибудь надежды? Переговоры эти кончились тѣмъ, что я поскакалъ туда самъ и привезъ съ собою въ столицу нашу, село Негожево, въ 60-ти верстахъ отъ Алтынова, молодую жену, Грушу. Француза мы оставили полковнику еще на время, съ тѣмъ, чтобы онъ пріѣхалъ умирать къ намъ, и онъ свято обѣщалъ исполнить это, и вскорѣ. Батюшка живетъ, разумѣется, съ нами, но не ѣстъ хлѣба даромъ: онъ еще свѣжъ и здоровъ и чеботаритъ преспокойно на весь домъ нашъ, потому-что ему сидѣть сложа руки — и грѣшно, и скучно.

БѢДОВИКЪ.

ГЛАВА I.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ ЕЩЕ НЕ ДУМАЕТЪ ѢХАТЬ ВЪ СТОЛИЦУ.

Въ одномъ изъ губернскихъ городовъ нашихъ, положимъ хоть въ Малиновѣ, настало воскресенье; Евсей Стахѣевичъ Лировъ, благовидный, хотя и не слишкомъ ловкій молодой человѣкъ, а по чину и званію своему. птица невысокаго полета, отстоявъ въ пятиглавомъ соборѣ обѣдню, пустился, по неизмѣнному мѣстному обычаю, въ объѣздъ по всѣмъ лакейскимъ и переднимъ, поѣхалъ развозить картотки за собственноручною подписью своею и расписываться у начальниковъ и старшихъ на засаленномъ листѣ бумажки.

Евсей Стахѣевичъ выросъ въ уѣздѣ, а нынѣ, и то недавно только, попалъ въ губернскій городъ; поэтому онъ и привыкъ уже съизмала ко всѣмъ обрядамъ и обычаямъ, вошедшимъ въ губерніяхъ и уѣздахъ нашихъ въ законную силу; но Евсей при всемъ томъ никакъ не могъ поми-

риться съ этими заповѣдными объѣздами, къ которымъ необходимо было приступать снова каждый воскресный и табельный день, то есть до 75-ти разъ въ году, если не болѣе. Онъ свято исполнялъ этотъ обрядъ; но каждый праздникъ, доставая бѣлый воротничекъ и воскресную жилетку, пускался снова въ разсужденія о безполезности этого тунеяднаго обычая.

Евсея Стахѣевича безпокоило при этомъ всего болѣе то, что онъ не видѣлъ этому дѣлу никакого отраднаго конца: это бездонная бочка Данаидъ — и только; даже дѣтямъ и внукамъ нашимъ не будетъ легче отъ нашихъ объѣздовъ съ почтеніемъ: мы ихъ работы не переработаемъ, а имъ придется начинать, на свой пай, съизнова. Не успѣлъ покончить сегодня, отдохнуть день, другой, поработать — принимайся опять за то же, и такъ до скончанія вѣка. «А кто поблагодаритъ меня за это, думалъ Евсей Стахѣевичъ: — кому отъ визитовъ моихъ легче и теплѣе? ни посѣтителю, ни посѣщаемому, ни гостю, ни хозяину; а между тѣмъ нельзя и отстать. Я самъ намедни слышалъ, какъ прокуроръ нашъ, напримѣръ, попенялъ, очень недвусмысленно, одному изъ подчиненныхъ своихъ, за невнимательность эту по службѣ: «Вы, сударь,» сказалъ прокуроръ, «съ супругою своею подъ ручку разгуливаете, это мы видимъ; а начальства своего по воскресеньямъ не уважаете»..... Что же тутъ станешь дѣлать? поѣдешь, поневолѣ.»

Такъ разсуждая, Лировъ побывалъ уже у губернатора, вице-губернатора, у начальника своего, предсѣдателя гражданской палаты, и былъ на пути къ предсѣдателю уголов-

ной. Привычныя поѣздки эти, отвѣты: у себя, принимаютъ, или выѣхали-съ, не принимаютъ, а затѣмъ, столь выразительное шарканье, думное молчаніе или замысловатый разговоръ о погодѣ, поворотъ налѣво кругомъ, или молчаливая отдача въ лакейской своего добраго имени, все это нисколько не мѣшало Евсею Стахѣевичу продолжать разсуждать про себя, тѣмъ болѣе, что онъ былъ мастеръ своего дѣла, не визитовъ то есть, а мыслей и думы. Онъ продолжалъ круговую по цѣлому городу и продолжалъ себѣ думать, не занимаясь мыслями ни на одномъ порогѣ.

«И какъ это глупо, безтолково, безсмысленно, такъ думалось ему — ну, пусть бы уже раза два, три въ году, коли это необходимо, коли ведетъ къ чему нибудь, а то — каждое воскресенье, каждый Божій праздникъ.»

«Всякому, безъ сомнѣнія, глупость эта надоѣла не меньше моего, а каждый связанъ и опутанъ этими тенетами и пеленками условныхъ приличій; спрашиваю, можно ли принять съ повальнаго согласія общее правило и постановленіе, которое всѣмъ вообще въ тягость и никому не приноситъ пользы? Когда, бывало, учитель сѣкъ насъ въ уѣздномъ училищѣ, то увѣрялъ всегда и приговаривалъ во все время сѣкуціи: «не я бью, самъ себя бьешь». То же самое хочется мнѣ и теперь высказать иногда хозяину, къ которому случится пріѣхать не во-время. Онъ морщится, и я морщусь — а между тѣмъ, какъ быть? коли пойду на-перекоръ обычаямъ и заведеніямъ, я же буду виноватъ, потому что, по службѣ, нашему брату нѣтъ отговорокъ. И пусть бы еще нашъ братъ, мелочь, ѣздила къ начальникамъ съ

почтеніемъ да на поклонъ, чтобы на глаза показаться, чтобы не сказали: «вы по воскресеньямъ не уважаете начальства,» а то нѣтъ, и другъ-къ-другу, и къ равнымъ себѣ, и къ постороннимъ, къ знакомымъ и къ незнакомымъ, словомъ. гдѣ только есть ворота, да три окна на улицу, туда и заѣзжай спродрядъ. И этимъ-то мы занимаемся каждый праздникъ, отъ обѣдни и до самаго обѣда! А сколько тутъ еще бываетъ недоразумѣній, сколько толковъ, пересудовъ, начетовъ и недочетовъ, сколько причинъ къ неудовольствіямъ, обидамъ, сплетнямъ..... «Въ это время Евсей Стахѣевичъ, въ числѣ пяти другихъ чиновъ, привѣтливо и почтительно раскланивался и шаркалъ и нагибался передъ супругой предсѣдателя уголовной и продолжалъ себѣ, нисколько не смущаясь, думать:» напримѣръ, объѣдешь не по чинамъ, не по званію, какъ я прошлое воскресенье пріѣхалъ вотъ сюда, нобывавъ уже у полиціймейстерши, потому что туда было по пути заѣхать, гнѣваются; или напримѣръ, начальникъ не принимаетъ, да позабудешь записаться, какъ я же въ вербное воскресенье, такъ уже на тебя смотритъ эдакъ, приподнявъ нижнюю губу, де-скать не уважаетъ начальства, зазнается; да, есть съ чего нашему брату, подлинно! Или пріѣдешь попозднѣе, потому что какъ ни бейся, а ко всѣмъ вдругъ не поспѣешь, да запишешься въ концѣ листа, говорятъ: важничаетъ, пріѣзжаетъ по-барски, словно къ ровнѣ; а пріѣдешь пораньше, на починъ, да запишешься на листѣ въ самомъ заголовкѣ — такъ и это не по чину, того и смотри, что опять-таки неладно, а норови да попадай въ свою артель, Намедни, напримѣръ, нашъ совѣтникъ

пріѣхавъ къ губернатору, вымаралъ подпись мою и поставилъ ее подъ своею; да съ сердцовъ еще такъ черкнулъ меня бѣдняка, что только брызги посыпались. Что будешь дѣлать! или, напримѣръ, войдешь въ переднюю да кинешь второпяхъ плащъ на какую-нибудь прокурорскую шубу, какъ случилось это и со мною, опять-таки поперстамъ тебѣ разсчитаютъ, что съ умыслу, да и только. Или напримѣръ..... «Евсей Стахѣевичъ, распростившись съ уголовною, сидѣлъ уже опять на столбовыхъ дрожкахъ своихъ, какъ первый членъ межевой конторы, объѣзжая его на щегольской парѣ, поднесъ словно нехотя руку къ шляпѣ и закричалъ: «Что это вы опять дѣлаете сегодня, Евсей Стахѣевичъ? Вы развозите чужіе билеты!» Лировъ поглядѣлъ за нимъ вслѣдъ, опустилъ руку въ боковой карманъ, досталъ и развернулъ пучокъ билетовъ и крайне изумился, увидѣвъ, что передъ нимъ на-лицо, дѣйствительно, карточки чужія, всѣхъ цвѣтовъ и величинъ, съ разноцвѣтными каемочками, съ позолотою, съ цвѣточками, даже съ амурчиками и съ восклицательными знаками, по вкусу и выбору господъ хозяевъ. Этого мало: перебирая ихъ, Евсей увидѣлъ, что женскихъ билетовъ было почти на половину, и одинъ, между прочимъ, съ буквами внизу: р. р. с., pour prendre congé, которыя Стахѣевичъ, въ простотѣ своей, принялъ за русскія и истолковалъ словами: разъѣзжаю ровно сумасшедшая. Но наконецъ Лировъ опомнился и спросилъ кучера своего, который оотановился у подъѣзда одного изъ совѣтниковъ: «Власовъ! гдѣ ты взялъ билетики эти?» Корней Власовъ Горюновъ оглянулся спросилъ еще

разъ: «которы? эвти?» И на отвѣтъ: «да, эти, эти самые,» началъ разсказывать преоколичественную быль, какъ вице-губернаторскіе мальчишки, сосѣди Лирова, выбирали билетики изъ сору да стали было раскидывать ихъ по улицѣ; какъ Власовъ разогналъ пострѣловъ, подобралъ билетики, завернулъ и положилъ ихъ на окно барина, и наконецъ, видно невзначай, подалъ, ихъ сегодня, вмѣсто бѣленькихъ. Разговоръ этотъ у подъѣзда совѣтника продолжался бы вѣроятно, еще нѣсколько времени, если бы полковникъ Плаховъ не наѣхалъ сзади четверней и выносной мальчишка не взвизгнулъ пронзительнымъ голосомъ, которому кучеръ, съ высоты козелъ своихъ, вторилъ грубымъ и нахальнымъ басомъ. Корней Власовъ продернулъ скорёхонько до угла, а Лировъ соскочилъ тутъ и побѣжалъ назадъ къ подъѣзду.

Отпустивъ поклонъ и завѣтное поздравленіе съ праздникомъ, то есть съ еженедѣльнымъ воскресеньемъ, Лировъ стоялъ у косяка дверей въ переднюю, глядѣлъ во всѣ глаза на занимательную бесѣду прокурора съ полковникомъ, о здравіи его превосходительства господина губернатора и ея превосходительства супруги его; о наступающихъ новыхъ дворянскихъ выборахъ и ожидаемыхъ по этому поводу новыхъ стачкахъ, разладицахъ, сплетняхъ, ссорахъ и мировыхъ; объ открытомъ на дняхъ рекрутскомъ присутствіи; при чемъ полковникъ дѣлалъ кочковатыя и рѣзкія, топорной работы, замѣчанія, а прокуроръ съ простодушнымъ хохотомъ увѣрялъ: «Слава Богу, что эта часть до меня почти не относится, право, ей-ей, слава Богу; по крайности из-

бавленъ отъ всякаго грѣха и искушенія и совѣсть чиста и спокойна.» На всё это глядѣлъ Евсей Стахѣевичъ, но почти ничего не слышалъ; у него была привычка, принявшись въ раздумьѣ за какой-нибудь предметъ, вертѣть его во всѣ стороны, обходить его кругомъ, осмотрѣть внутри и снаружи, переминать его какъ жвачку, поколѣ не спознается съ нимъ какъ съ роднымъ братомъ. Поэтому Евсей продолжалъ думать, какъ въ пріемной прокурора, такъ и усѣвшись опять на столбовыя дрожки свои, такимъ образомъ.

«И слава Богу еще, что я — не членъ рекрутскаго присутствія—это таки само по себѣ; но слава Богу еще, что я не женатъ. Можно ли вынести равнодушно весь этотъ безсмысленный бытъ, эту убійственную жизнь нашего женскаго круга, этотъ великолѣпный житейскій пустозвонъ и пустоцвѣтъ!..... Визиты, съ большимъ разсчетомъ и разборчивостію, съ осмотрительностію, по чинамъ, по званію, по служебнымъ обстоятельствамъ и отношеніямъ мужей, и здѣсь также составляютъ почти всю лицевую сторону, хазовый конецъ пріятельскихъ и дружескихъ сношеній, то есть собственно внѣшнюю жизнь; на этомъ вертится все, этому одному посвящаютъ время и безвременье, досугъ и недосугъ, а остальную часть дня размышляютъ и совѣтуются о томъ, кому и какой визитъ отдать и когда поѣхать и сколько посидѣть. Вновь пріѣзжая барыня, или, какъ ее называютъ, дама, — а почему бы не краля? — обязана объѣхать всѣ 38 домовъ, составляющіе высшее общество города; младшія по чину, званію, богатству и значенію въ обществѣ, спѣшатъ на другой же день засвидѣтельствовать ей свое почте-

ніе и готовность служить, на первый случай, столикомъ, парою стульевъ, ухватомъ, кочергой; равныя побываютъ въ теченіе какой-нибудь недѣли, а чѣмъ барыня выше и почетнѣе, тѣмъ далѣе откладываетъ она обратное свое посѣщеніе. Между тѣмъ всѣ онѣ, другъ-другу, одна-одной и въ особенности новопріѣзжей, смотрятъ отвѣсно въ горшокъ и въ кастрюлю и чрезвычайно заботятся о томъ, когда у кого бываетъ ботвинье, когда щи, супъ или борщъ: это, такъ сказать, еще одни цвѣточки созерцательной жизни ихъ, а ягодки бываютъ впереди, когда изо всего этого выходитъ наконецъ огромный клубокъ или мотокъ сплетень, которыхъ не развяжетъ и не распутаетъ и самъ.... Виноватъ, «сказалъ Евсей Стахѣевичъ, взявшись среди улицы за шляпу и думая, что проговорился при людяхъ и вслухъ. Но какъ повидимому никто, ниже и самъ Горюновъ, не подслушали на этотъ разъ Евсея, то проказникъ нашъ, отправляясь съ крыльца на крыльцо, изъ передней въ переднюю, все еще продолжалъ разсуждать про себя: коренныя старыя жительницы не менѣе того обязуются объѣхать по крайней мѣрѣ на Святой недѣлѣ и въ Рождество, каждая, всѣ 38 домовъ и кромѣ того явиться и показаться въ первобытномъ видѣ своемъ, послѣ каждаго шестинедѣльнаго домашняго заключенія. Чѣмъ благосклонная посѣтительница выше саномъ, тѣмъ короче такъ называемый визитъ ея; иногда, въ буквальномъ смыслѣ, она успѣетъ войти, чмокнуться, присѣсть, встать, откланяться и уѣхать — въ полминуты, въ тридцать секундъ; намедни я видѣлъ это самъ, повѣривъ по часамъ своимъ визитъ вице-губернаторши.

Визиты эти дѣлаются вообще между 11-ти и 2-хъ часовъ; и въ это время, въ великоторжественные дни, четверка за четверкой, пара за парою, гонятся взадъ и впередъ, вдоль и поперекъ, по всѣмъ улицамъ и переулкамъ; всѣ встрѣчаются, здороваются, разъѣзжаются и спѣшатъ развозить билеты свои, покуда никого нѣтъ дома. Но если вы спросите у совѣтницы нашей, знакома-ли она съ предводительшей. то она вамъ скажетъ: «нѣтъ», не смотря на то, что онѣ обѣ честятъ и утѣшаютъ себя и другъ-друга взаимно визитами; знакомы тѣ только, которыя ѣздятъ другъ къ другу посидѣть. И это знакомство, посидѣлки, раздѣляется еще на два разряда: иныя навѣщаютъ другъ друга, по какому нибудь первопечально случайному обстоятельству, только по утрамъ, и говорятъ: «я была у такой-то посидѣть утромъ»; другія — и вотъ это уже пріятельницы настоящія, задушевныя — сидятъ одна у другой по вечерамъ; это связь самая короткая, тѣсная, которая обыкновенно обходитъ поочередно кругомъ весь городъ; мы знакомы; маленькая непріятность разстроитъ знакомство наше—мы спѣшимъ врозь, прижимаясь тѣснѣе каждая къ новой пріятельницѣ своей, съ разсказомъ страннаго поведенія бывшей подруги, которая не сказалась дома, или приняла меня холодно, или тамъ-то сказала обо мнѣ вотъ то-то; вѣсть о разводной обѣгаетъ въ сутки змѣйкой и молніей по всѣмъ 38-ми дымовьямъ и очагамъ, и на утро возвращается, съ привѣсками и отмѣтками на поляхъ, къ двумъ бывшимъ пріятельницамъ, о которыхъ теперь говорятъ: онѣ уже больше не знакомы. На другой и на третій день, послѣ каждой

подобной размолвки, вы можете держать закладъ, что у подъѣзда той и другой почтенной барыни стоитъ карета или коляска: это поступившія на упраздненныя мѣста поставныя подруги, это заботливыя искательницы, продружившіяся и поссорившіяся уже въ свою очередь съ уволенною нынѣ отъ службы и дружбы подругою; это торопливыя услужливыя новыя пріятельницы, утѣшающія одиночество и сиротство покинутыхъ и обманутыхъ. Новыя подруги эти спѣшатъ передать вчера только съизнова добытымъ пріятельницамъ, съ коими впрочемъ также когда-то уже были знакомы и опять незнакомы, въ пріязни, въ размолвкѣ и нынѣ вотъ опять въ самой тѣсной дружбѣ, — спѣшатъ передать, что говорятъ объ этомъ въ городѣ. Вотъ это я называю ягодками, потому что въ нихъ есть и сѣмечки, отъ которыхъ пойдетъ дремучій и непроходимый лѣсъ новыхъ вздоровъ, или по крайней мѣрѣ не одна добрая десятина заглохнетъ бурьянникомъ, репейникомъ и сорными травами.

«А именины?—подумалъ про себя Евсей Стахѣевичъ, вошедши въ низкую, грязную, тѣсную, заваленную всякими дорожными припасами комнатку состоятельнаго помѣщика Козьмы Сергѣевича Мукомолова, который только-что наканунѣ пріѣхалъ по домашнимъ дѣламъ въ городъ и уже щалъ теперь поздравителей нынѣшняго дня ангела своего.— «А именины? Это ужъ Богъ вѣсть что такое! Можно ли ввести во всеобщее употребленіе обычай—поздравлять весь городъ своевременно съ именинами и дать этому безтолковому, тунеядному обычаю силу житейскаго закона! Другое

дѣло, — продолжалъ Евсей про себя, раскланиваясь съ Мукомоловымъ и имѣя честь поздравить его съ днемъ ангела его: — другое дѣло, сходить и поздравить стараго пріятеля, съ которымъ я давно и коротко знакомъ, котораго люблю и уважаю; а какая мнѣ нужда до именинъ какихъ нибудь ста особъ и можно ли требовать отъ человѣка, если онъ не въ комитетѣ по утаптыванію мостовой, чтобы зналъ и помнилъ всѣ именины мужей и женъ и подростковъ, — чтобы маломальски порядочный человѣкъ занимался такимъ безсмысленнымъ вздоромъ? Неужели и въ самомъ дѣлѣ обзаводиться академическимъ календаремъ, для того только, чтобы знать, въ которомъ часу солнце заходитъ въ Петербургѣ, какого вѣроисповѣданія папа римскій, и чтобъ отмѣчать на пробѣлахъ: 10-го апрѣля гремѣлъ первый громъ; 11-го именины Кузьмы Панкратьевича, а 12-го, Макара Андреяновича? Какая мнѣ нужда, — проговорилъ Евсей Стахѣевичъ, забывшись, вслухъ, раскинувъ руки врозь, — какая мнѣ нужда до именинъ цѣлаго города и могу ли я ихъ знать и помнить?»

Проговоривъ это, Лировъ сталъ какъ вкопанный и не рѣшался даже поднять шляпу, которую въ испугѣ выронилъ; онъ потерялся и вовсе не зналъ, какъ отвѣчать въ ладъ и въ мѣру на приглашеніе расхохотавшагося хозяина хлѣбосола: *хоть закусить*. Лировъ подошелъ, не помня себя, къ треугольному столику, покрытому синею, измараннюю ярославской салфеткой, у которой четыре измятые продольными складками угла неоспоримо свидѣтельствовали, что она исправляла также должность дорожнаго чемодана;

робко взглянулъ на печатные ярлыки medoc S-t. Julien и Lafite, très-qualité, выпилъ рюмку желудочной и потогонной, которую поднесъ ему самъ хозяинъ, поклонился, схватилъ шляпу, растоптанную между тѣмъ вбѣжавшимъ спросонья человѣкомъ, выскочилъ безъ памяти на крыльцо, едва нашелъ ощупью и по слуху дрожки свои, едва проговорилъ: «домой!» и кряхтѣлъ, кашлялъ, морщился и отплевывался во всю дорогу, и дышалъ на вѣтеръ, и отворачивался, потому что Евсей Стахѣевичъ отроду въ первый разъ отвѣдалъ водки, и на этотъ первый разъ закатилъ полную большую рюмку *дорожной отрады* Мукомолова, у котораго Перепетуя Эльпидифоровна славилась хозяйствомъ своимъ по всему околодку, лечила по лечебникамъ Киліана и Енгалычева, какъ кто пожелаетъ, и сама перегоняла тайкомъ отъ откупщиковъ спиртъ, и дѣлала желудочную и потогонную, послѣ которой ину пору покрякивалъ и самъ Козьма Сергѣевичъ Мукомоловъ.

Такимъ образомъ кончились на этотъ разъ и визиты и размышленія нашего Евсея Стахѣевича.

ГЛАВА II.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ ДУМАЕТЪ ѢХАТЬ ВЪ СТОЛИЦУ.

Надобно однако же сказать вамъ, кто таковъ былъ Евсей Стахѣевичъ и какъ онъ попалъ въ Малиновъ и прочее.

Отецъ Евсея, или нѣтъ, лучше начнемъ съ дѣда,— дѣдъ Евсея былъ воронежскій мѣщанинъ, который нажилъ порядочное состояніе скорняжнымъ ремесломъ, выучился

въ зрѣлыхъ лѣтахъ грамотѣ у старовѣровъ и сталъ подписываться: *Онуфрій Рыловъ*, тогда какъ доселѣ прозваніе это, по воронежскому, полу-украинскому обычаю, изустно произносилось просто *Рыло*. Поколѣніе меньшаго, безграмотнаго брата, Михея, и понынѣ осталось при необлагороженномъ прозваніи своемъ *Рыло*.

Но человѣчество совершенствуется съ каждымъ шагомъ: у Онуфрія былъ сынъ Стахѣй, воспитанный во всей строгости раскольничьяго изувѣрства; да лихъ не пошло въ прокъ ни воспитаніе Онуфрія, ни даже нажитое отцомъ его добро; изъ Стахѣя вышелъ бойкій, разбитной дѣтина, который семнадцати годовъ уже, по грамотной части, заткнулъ за поясъ весь Воронежъ. Онъ пошелъ въ конторщики, наслѣдовалъ отцовскими тридцатью тысячами, былъ потомъ секретаремъ въ уѣздномъ магистратѣ, да одолѣла своекоштная болѣзнь, пошелъ пить запоемъ, мѣсяца по три, по четыре сряду, и держался на мѣстѣ своемъ, поколѣ не издержался; а когда онъ прокутилъ и прогулялъ все, то его устранили, и Стахѣй, съ чиномъ губернскаго, пытался было еще раза три пріютиться, но уже не могъ ни устоять на ногахъ, ни усидѣть на мѣстѣ; и потому, открывъ въ себѣ даръ сочинять просьбы и писать стихи, Стахѣй не удовольствовался тѣмъ, что давно уже подписывался не Рыловъ, а Рылевъ, — это казалось ему и приличнѣе, и благозвучнѣе, — а увѣрилъ себя къ тому еще, что прозваніе Рылевъ происходитъ отъ украинскаго: *Рыле*, а Рыле ничто иное, какъ искаженное *Лира*; поэтому Стахѣй и сталъ подписываться и именоваться впредь от-

нынѣ Лировъ; а послышавъ въ себѣ отъ пiитическаго прозванiя этого пiитическое призванiе, сталъ заниматься уже исключительно только вольнымъ письмомъ. И у него была, правда, привычка ставить точку каждый разъ, когда бывало захочется понюхать табаку или сказать слово постороннему человѣку, а принимаясь снова за перо, расчеркиваться прописною буквою съ закорючками; то же самое случалось иногда и посреди слова, если веселая мысль одолѣвала и душа просилась на просторъ; но все это не было помѣхой письменному краснорѣчiю Стахѣя, равно какъ не мѣшали этому и переносъ слова въ другую строку на любой буквѣ, перестановка буквъ *ять* и *есть*, излишнее употребленiе буквы ъ, которая встрѣчалась въ твореniяхъ Стахѣя каждый разъ послѣ буквы *в*, какъ неотъемлемая ея принадлежность; и наконецъ сплошное замѣненiе буквы фертъ ѳитою, потому-что *ф* была, по мнѣнiю Стахѣя, буква вовсе неблагопристойная. Стахѣй одѣвался по воскресеньямъ всегда очень чисто, писалъ по заказу просьбы, письма, сдѣлки и договоры, а нерѣдко и стишки въ родѣ слѣдующихъ:

Офицерикъ молодой
съ нею время препровелъ.

Писалъ, писалъ, гулялъ и женился наконецъ на дочери одной знаменитой проовирни, искавшей зятя, котораго бы можно было продержать первыя двѣ, три недѣли послѣ свадьбы въ безчувственномъ состоянiи. Сваха взяла отвѣтъ и страхъ на свою голову и поручилась за исполненiе

необходимой мѣры этой, и Стахѣй, сочинивъ самъ на свадьбу свою премилое поздравительное посланіе, былъ форменно учтивъ и вѣжливъ съ невѣстою своею, какъ на обрядѣ смотрѣнія, на смотринахъ, такъ и на помолвкѣ, и наконецъ послѣ вѣнца. Что было потомъ — это онъ запомнилъ; припоминаетъ однакоже, что у него болѣла голова.

Родился сынъ, былъ названъ Евсеемъ, росъ, обучался въ уѣздномъ училищѣ грамотѣ, поступилъ канцелярскимъ служителемъ въ земскій судъ, гдѣ и происходилъ чинами; велъ онъ себя отлично хорошо, зналъ дѣло и работалъ неутомимо; наконецъ, послѣ разныхъ приключеній, былъ онъ переведенъ, по ходатайству предсѣдателя, въ гражданскую палату. Отца Лирова, Стахѣя, тестя увезла, какъ необходимую домашнюю утварь, въ свой городъ, гдѣ онъ по слухамъ, дошедшимъ до бѣднаго Евсея, волею Божіею помре.

Виноватъ-ли былъ этотъ бѣдный Евсей, что онъ родился отъ такихъ родителей? Но свѣтъ этого не разбираетъ; у него какъ на визиты, которые Евсей нашъ такъ отъ души возненавидѣлъ, такъ и на все, свои обычаи, условныя приличія, уставы и обыкновенія. Свѣтскіе предразсудки, которые выростили, вспоили и вскормили насъ, такъ всесильны, что и читатели мои готовы откинуться отъ сына распутнаго магистратскаго секретаря и дочери просвирни, какъ будто онъ можетъ отвѣчать за грѣхи предковъ своихъ! Развѣ мало дѣла человѣку держать отвѣтъ за себя?

Евсей Стахѣевичъ былъ необыкновенно честный и трудолюбивый человѣкъ, то и другое по какому-то рѣдкому, врожденному свойству, въ которомъ не могъ отдать ни дру-

гимъ, ни себѣ самому отчета. За это благородное, безкорыстное направленіе духа онъ былъ обязанъ... но объ этомъ послѣ; довольно того, что мысль и чувство вложены были въ него природою, а развиты женщиною. Подъ всегдашнимъ гнетомъ судьбы и людей, въ неравной борьбѣ своей съ людьми и съ судьбою, Евсей, не смотря на здравый умъ свой и необыкновенное терпѣніе, былъ нѣсколько малодушенъ; онъ выросъ и возмужалъ въ какомъ-то униженіи: обстоятельства не дали развиться въ немъ силѣ и самостоятельности. Онъ былъ тихъ, скроменъ, потворчивъ, робокъ и до того снисходителенъ, что, казалось, не видѣлъ ничего тамъ, гдѣ присутствіе его могло быть для другихъ обременительно, не слышалъ ни слова, если около него происходилъ разговоръ, который могъ или долженъ бы ввести разговаривающихъ въ краску. Словомъ, Евсей былъ обыкновенно самый безвредный свидѣтель. Что онъ видѣлъ, слышалъ, то зналъ про себя, про себя объ этомъ и разсуждалъ, и не повѣрялъ никому на свѣтѣ чужихъ тайнъ. Онъ самъ былъ честенъ, благороденъ, добръ, но никогда не искалъ этихъ свойствъ и качествъ въ другихъ, никогда не удивлялся, если находилъ противное. Если онъ не проговаривался вслухъ, что случалось впрочемъ съ нимъ не слишкомъ часто, то никому ни въ чемъ не мѣшалъ и никогда не прекословилъ. Ко всему этому привыкъ онъ еще съ тѣхъ инстанцій, гдѣ вокругъ него нюхали табакъ, доставая тавлинку изъ-за голенища, и гдѣ, для хозяйственнаго сбереженія, должность клѣтчатаго платка нерѣдко исправляли бумажные обрѣзки.

Замѣтимъ, какъ дѣло у насъ на Руси не послѣднее, въ особенности коли рѣчь идетъ о чиновникѣ, что Евсей былъ человѣкъ грамотный; онъ писалъ самоучкой ясно, просто, гладко, коротко и даже довольно сильно. Если бы вы увидѣли его, какъ онъ робко и несмѣло подавалъ предсѣдателю своему для подписа бумаги своего письма, и если бы иногда прочитали одну изъ бумагъ этихъ, то изумились бы видимой наружной противоположности сочинителя и сочиненія. Но Евсей писалъ такъ же смѣло, какъ думалъ про себя, а вслухъ выговорить не осмѣлился бы и сотой доли того, что писалъ. При всемъ этомъ онъ не требовалъ и не ожидалъ отъ другихъ такой же грамотности. Съ неимовѣрнымъ благодушіемъ, читалъ и понималъ онъ донесеніе исправника, что «такой-то противозаконно застрѣлился, отъ чего ему отъ неизвѣстныхъ причинъ приключилась смерть; а при освидѣтельствованіи оказалось: зубы частію найдены близъ науличнаго окна, прочія-же челюсти какъ будто изъ головы вовсе изъяты и находятся на отверстіи лба; потолокъ, на второй половицѣ, простѣленъ дырою, имѣя при дѣйствіи своемъ напряженіе на сѣверъ, ибо комната эта имѣетъ расположеніе при постройкѣ на востокъ» *). Или что «такой-то, ѣдучи на телегѣ по косогору, при излишнемъ употребленіи горячихъ напитковъ, споткнулся и отъ нескромности лошади былъ разбитъ»; что «такой-то, отъ тяжкихъ побоевъ, не видя глазами зрѣнія, впалъ въ безпамятство;» что «въ такомъ-то уѣздѣ, статистичесмихъ

*) Для любопытныхъ, я храню донесеніе это въ подлинникѣ.

свѣдѣній не оказалось никакихъ, о чемъ и имѣетъ счастіе всепочтительнѣйше донести» — и прочая, и прочая, и прочія; все это, а иногда и хуже того, читалъ Евсей и понималъ по навыку; никогда вслухъ не жаловался на безсмыслицу и думалъ только иногда про себя, если не могъ вовсе добиться толку, а принужденъ былъ, не перекладывая такихъ рѣчей и оборотовъ на русскій языкъ, держаться однихъ безсмысленныхъ словъ и передавать ихъ въ этомъ же видѣ и порядкѣ, — думалъ только иногда: «Создатель мой! для чего люди не пишутъ запросто, какъ говорятъ *) и выбиваются изъ силъ, чтобы исказить и языкъ, и смыслъ! Почему и за что проклятіе безграмотства доселѣ еще тяготѣетъ на девяти десятыхъ письменныхъ, и какъ это объяснить, что люди, которые говорятъ на словахъ очень порядочно, иногда даже хорошо, покрайней мѣрѣ чистымъ русскимъ языкомъ, и разсуждаютъ довольно здраво, какъ будто перерож-

*) Евсей Стахѣевичъ, конечно, никогда не ожидалъ, что чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этой скромной думы, собственно ему принадлежащей, явится столь знаменитый поборникъ разговорнаго языка. Впрочемъ, хотя и тотъ и другой, одинъ мысленно, просебя, другой громко, гласно и всенародно, совѣтовали писать, какъ говоримъ, но понятія ихъ объ этомъ разговорномъ языкѣ, какъ видно, не совсѣмъ согласны. Смѣю поручиться, что Евсей Стахѣевичъ никогда не писалъ такъ, какъ пишетъ и даже печатаетъ знаменитый совмѣстникъ или соревнователь его; сей послѣдній смѣло можетъ приписать разговорный языкъ свой собственно себѣ, не уступая никому, ни даже Евсею Стахѣевичу, ни былинки, ни пылинки своего изобрѣтенія.

даются, принимаясь за перо, пишутъ безтолочь и безсмыслицу, не умѣютъ связать на бумагѣ трехъ словъ и двухъ мыслей и ни за какія блага въ мірѣ не могутъ написать самую простую вещь такъ, какъ готовы во всякое время пересказать ее на словахъ? Почему это общій нашъ недостатокъ, что мы пишемъ гораздо хуже, чѣмъ говоримъ, и исключенія изъ этого общаго правила такъ рѣдки? Отчего, не только люди маленькіе и темные, а порядочные, не глупые и дѣловые, не только засѣдатели, которыхъ Богъ проститъ, а напримѣръ и самъ даже», — Евсей оглянулся и продолжалъ думать тише прежняго, — а что, неизвѣстно: голова его сомкнулась, и мысль замерла въ ней, какъ дерзкая мошка въ цвѣткѣ недотрогѣ.

Намъ однако же за отрывистыми и уносчивыми думами Евсея Стахѣевича не угоняться; остается еще только сказать, сверхъ всего, о чемъ мы уже знаемъ, что бѣднаго Евсея преслѣдовала, казалось, съ давнихъ временъ какая-то невидимая вражья сила. Евсей, такъ къ этому привыкъ, что никогда бѣдѣ своей не удивлялся, никогда не равнялъ себя въ этомъ отношеніи съ прочими людьми, считалъ себя какимъ-то пасынкомъ природы и съ покорностію подставлялъ повинную свою мечу и сѣкирѣ: но тогда мечъ и сѣкира его щадили, и дѣло принимало обыкновенно болѣе смѣшной, забавный оборотъ. Есть же такіе бѣдовики-неудахи на свѣтѣ! Мелочныя отношенія суетной жизни, обычаевъ, обрядовъ и приличій безпрестанно сталкивались съ Евсеемъ — или онъ съ ними — локоть-объ-локоть и выбивали его изъ привычной колеи. Губернаторъ любилъ его

какъ работящаго, дѣловаго чиновника, употреблялъ его нерѣдко, когда онъ, Лировъ, служилъ еще въ губернскомъ правленіи; но и губернаторъ не понималъ его и, слѣдовательно не могъ оцѣнить. А къ какому роду изъ числа высшихъ гражданскихъ сановниковъ принадлежалъ и самъ губернаторъ, это видно изъ слѣдующаго происшествія, относящагося также къ числу неудачъ нашего Евсея. Лирову было однажды поручено слѣдствіе; онъ его окончилъ совѣстливо, разобралъ и очистилъ пресложное, запутанное дѣло и ждалъ спасиба. Но пронырливые ходатаи успѣли понаушничать напередъ, оборотить губернатора лицомъ въ лѣсъ, а затылкомъ въ чистое поле, и Лировъ, воротившись и пришедши съ донесеніемъ, встрѣтилъ угрюмое чело, въ которомъ одна знакомая ему продольная морщина, проходя косвенно къ правой брови, показывала *неудовольствіе*. Оно такъ и вышло. «Ваше прев—во», сказалъ Лировъ, чувствуя себя въ полной мѣрѣ правымъ и собравшись съ необыкновеннымъ духомъ, «ваше прев—во, позвольте мнѣ объясниться; отношенія мои къ вашему прев—ству всегда были доселѣ самыя откровенныя; я имѣлъ счастіе пользоваться...» — «Какія отношенія, сударь,» спросилъ губернаторъ, приподнявъ густыя брови на цѣлый вершокъ, «какія, сударь, отношенія? я думаю, рапорты!.....» — И бѣдный Евсей, вздохнувъ и прикусивъ языкъ, замолчалъ, не оправдывался, не объяснялся и вовсе даже не удивлялся этому неожиданному обороту *отношеній* своихъ къ губернатору; казалось, Евсей былъ уже готовъ всегда и во всякое время услышать это или что-нибудь подобное. Этотъ

случай разсказалъ я для примѣра, какъ судьба играла обыкновенно Лировымъ, и подобная неудача ожидала его на каждомъ шагу.

Между тѣмъ, предсѣдатель гражданской палаты выходилъ Лирова себѣ; здѣсь также шло довольно хорошо; Евсей былъ счастливъ, какъ вдругъ опять случилось вотъ что: гражданская палата, по малому числу дѣлъ, была соединена съ уголовною, какъ и донынѣ, напримѣръ, въ Астрахани; поэтому Лировъ, оставшись за штатомъ, былъ уволенъ въ отставку, съ выдачею ему единовременнаго годоваго оклада жалованья.

Лировъ носился мыслями Богъ вѣсть гдѣ, но сидѣлъ уже цѣлую недѣлю послѣ отставки въ Малиновѣ и не зналъ, на что рѣшиться. Въ такомъ положеніи были дѣла, когда дворянскій предводитель далъ вечеръ, по случаю избранія его на второе трехлѣтіе: событіе непосредственно связанное съ понятіемъ объ анненскомъ крестѣ; и предводитель созвалъ весь городъ, а въ томъ числѣ и отставнаго чиновника гражданской палаты — пригодится.

И онъ явился и сталъ скромненько въ углу, и опять, по всегдашней привычкѣ своей, молчалъ и обходилъ взорами кругомъ все собраніе и раскланивался и думалъ про себя такъ:

«Сошлись всѣ въ одно мѣсто, или съѣхались, потому что въ Малиновѣ ходятъ пѣшкомъ только прачки и кантонисты — съѣхались въ одно мѣсто, а глядятъ врознь. Да, люди — это настоящее китайское: *сложи да подумай*, casse-tête; казалось бы, и немудрено сложить да пригнать

полдюжины треугольничковъ, четыреугольничковъ — да нѣтъ; уголъ за уголъ задѣваетъ, ребро попадаетъ на ребро — не укладываются! Горе, да и только. Потомъ Евсей, у котораго, какъ у всѣхъ чудаковъ этого разбора, мысли и думы метались иногда съ предмета на предметъ, безъ всякой видимой связи или сношенія, вздохнулъ, окинулъ глазомъ собраніе, и еще подумалъ: «Давно сказано, что въ лицѣ и въ складкѣ каждаго человѣка есть сходство съ какимъ-нибудь животнымъ; но и по душѣ, по чувствамъ, по норову и нраву, всѣ мы походимъ на то, либо другое животное. Вотъ, напримѣръ, лошадь: коли кормишь ее овсецомъ да коли кучеръ строгъ, — работаетъ хорошо, везетъ; но лягается, если кто неосторожно подойдетъ, и обмахиваетъ мухъ и мотаетъ головой. Вотъ лягавая собака: знаетъ немного по-французски, боится плети, и поноску подаетъ, и чуетъ верхнимъ чутьемъ, и рыскать готовъ до упаду; вотъ — мое почтеніе, сказалъ Евсей, нижайше откланиваясь; мое почтеніе, Петръ Петровичъ, — и думалъ про себя: вотъ кошка! гладокъ, мягокъ, хоть ощупай его кругомъ, кланяется всѣмъ, даже и мнѣ, гибокъ и увертливъ, ластится и увивается и сладко разсуждаетъ хвостомъ — а когти въ рукавицахъ про запасъ держитъ..... а вотъ борзой: ни ума, ни разума, а какъ только возрится да увяжется, такъ уже не уйдешь отъ него на чистомъ полѣ, развѣ только въ лѣсъ: тамъ ударится объ пень головою да остановится. А вотъ настоящій быкъ: дороденъ, доволенъ и жвачку жуетъ, а работаетъ, словно возъ сѣна претъ, пьетъ по цѣлому чану вразъ.... а вотъ это хомячокъ — то и дѣло

въ свое гнѣздышко, въ норку свою запасецъ таскаетъ, все что ни попало—въ норку, да и самъ юркнулъ туда же, и слѣдъ простылъ. А вотъ и коршунъ: это сущая гроза крестьянъ, этотъ совѣтникъ казенной палаты; ни курица, ни утица не уйдутъ отъ него на мужицкомъ дворѣ — видитъ зорко и стережетъ бойко — это коршунъ..... А это скопá, иначе назвать его не умѣю; скопа онъ за то, что хватаетъ все и гдѣ попало: и съ земли, и съ воды, и рыбу, и мясо, гдѣ что найдется.

«Можно даже, подумалъ Евсей, взять одинъ извѣстный родъ или видъ животныхъ, богатый породами, и сдѣлать такое же потѣшное примѣненіе. Напримѣръ, не во гнѣвъ сказано или подумано — собаку. Вы найдете въ числѣ знакомыхъ своихъ мосекъ, меделянскихъ, датскихъ собакъ, ищейныхъ или гончихъ, найдете мордашекъ, которыя цѣпляются въ васъ не на животъ, а на смерть; таксика или барсучью, котóрая смѣло лѣзетъ во всякую норку и выживаетъ оттолѣ все живое; найдете дворняшекъ, псовыхъ, волкодавовъ, шавокъ и наконецъ матушкиныхъ сынковъ, тонкорунныхъ болонокъ; а лягаваго́ и борзаго мы, кажется, уже нашли: вотъ они, одинъ причуваетъ что-то, раздуваетъ ноздри, другой скучаетъ, застоялся сердечный, а гону нѣтъ».

Евсей Стахѣевичъ повелъ глазами по красному углу, по хазовому концу гостиной, гдѣ малиновскія покровительницы сіяли и блистали шелкомъ, блондой, золотомъ, тяжеловѣсами и даже алмазами, и еще подумалъ про себя: «а женскій полъ нашихъ обществъ, цвѣтъ и душу собраній,

надобно сравнивать только съ птицами: женщины такъ же нарядны, такъ же казисты, такъ же нѣжны, легкоперы, вертлявы и голосисты. Напримѣръ, вообразимъ, что это все уточки, и посмотримъ, къ какому виду этого богатаго рода принадлежитъ каждая: предсѣдательша наша — это кряковая утица, крикуша, дородная, хлѣбная утка: прокурорша — это широконоска, цареградская или такъ называемая саксонка; вотъ толстоголовая, бѣлоглазая чернеть, а вотъ чернеть красноголовая; вонъ докучливая лысуха, которая не стоитъ и заряда; вонъ кархалъ хохлатый, вонъ и гоголь, рыженькій зобокъ; вонъ остроносый нырокъ, или запросто поганка; вонъ красный огневикъ, какъ жаръ горитъ и водится, сказываютъ, въ норахъ, въ красной глинѣ; а это свистуха, и носъ у нея синій; а вотъ вертлявая шилохвостъ! Ну, а барышни наши — все равно, и это уточки; вотъ, напримѣръ, рябенькій темнорусый чирочекъ, вотъ золотистый чирокъ, въ блесточкахъ; вотъ миленькая крошечная грязнушка, а вотъ лутóчекъ, бѣленькій, шейка тоненькая, съ ожерельемъ самороднымъ, чистенькій, стройный, красавица-уточка; вотъ къ ней подходитъ и селезень, который за всѣ побѣды и удачи свои обязанъ гладенькимъ крылышкамъ да цвѣтнымъ зеркальцамъ, коими судьба или наслѣдство его надѣлили! Онъ беретъ грудью, какъ соколъ, потому что, независимо отъ вишнево-лиловаго фрака, жилетъ его—неизъяснимаго цвѣта, новаго, какого нѣтъ въ составѣ луча солнечнаго, и палевые къ нему отвороты и серебряныя пуговочки съ прорѣзью, составляютъ главнѣйшія наступательныя орудія разудалаго хвата. Конечно, ви-

хо́ръ и расчищенныя по головѣ дорожки, и изящная, отчаянная повязка бахро́мчатаго ошейника, не мало способствуютъ успѣхамъ его; но побѣдоносный знаетъ неодолимую силу своей жилетки, и поэтому ходитъ обыкновенно по заламъ—видите, какъ теперь, заложивъ большіе пе́рсты обѣихъ рукъ за окраины рукавныхъ жилеточныхъ проемовъ и придерживая очень искусно шляпу свою правымъ локоткомъ. Молва идетъ, что онъ и умывается даже въ перчаткахъ. И съ какимъ самоотверженіемъ и душевнымъ удовольствіемъ подаетъ онъ дружески руку свою, всегда первый, если, какъ теперь, встрѣчается съ человѣкомъ въ чинахъ и въ крестахъ! это не то, что напримѣръ Иванъ Ефимовичъ, совѣтникъ уголовной — тотъ всегда не довѣряетъ, кажется, и пріятелю, и глядитъ какимъ-то слѣдственнымъ приставомъ и протягиваетъ руку словно пистолетъ, вотъ этакъ...» Евсей Стахѣевичъ, забывшись, вдругъ протянулъ руку свою, какъ протягиваетъ ее Иванъ Ефимовичъ, и пырнулъ въ бокъ проходящаго со всего разгону лакея, съ огромнымъ подносомъ. Лакей повихнулся, едва не уронилъ подноса, съ удивленіемъ и недоумѣніемъ взглянулъ на Евсея Стахѣевича, который препочтительно передъ нимъ раскланивался и извинялся.

«Съ такими странностями мудрено служить въ губерніи», сказалъ какой-то острякъ вполголоса, «надобно ѣхать въ столицу, себя показать и на людей посмотрѣть». Евсей слышалъ это; нисколько не думая сердиться, онъ повторилъ про себя: въ столицу! и новая мысль блеснула молніей въ замысловатой головѣ его. «Въ столицу?» подумалъ онъ—«въ

столицу — нѣтъ, совсѣмъ не для того, чтобы чудаку или бѣдовику было мѣсто въ столицѣ, а такъ, просто, какъ ѣздятъ туда и живутъ тамъ другіе люди — что, если бы я съѣздилъ и нашелъ тамъ мѣстечко? что, если мнѣ тамъ повезетъ, если найду могучаго покровителя... вѣдь я теперь вольный казакъ, единовременнаго жалованья на прогоны станетъ—что если бы?»

Между тѣмъ, малиновскіе молодцы отплясали уже не одну французскую, охорашивались однакожь еще и выправляли плеча, между тѣмъ какъ дѣвицы, которыя, какъ вы знаете, всегда и вездѣ милы и любезны, стояли махровыми пучечками и прохаживались, сплетаясь цвѣтистыми, пестрыми вѣночками. Неужели жь, спросятъ можетъ быть, кромѣ дѣвицъ, которыя такъ милы и любезны, всѣ прочіе жители и служители Малинова были одни животныя, какими писало ихъ своенравное воображеніе Лирова? Совсѣмъ нѣтъ, друзья,—но дѣло въ томъ, что у насъ у всѣхъ, не только у малиновскихъ жителей, свои причуды, странности, недостатки и пороки — у одного болѣе, разумѣется, у другаго менѣе. Если вы, вошедши на этотъ разъ въ составъ китайской игры, о которой я упомянулъ, усаживаясь и размѣщаясь, попадете на бѣду локтемъ на локоть, упретесь колѣномъ въ колѣно, ребромъ въ ребро — ну, тогда бѣда; сосѣди ваши для васъ не годятся, какъ и вы для нихъ; а нѣтъ сомнѣнія, что можно бы размѣстить всѣхъ насъ и такъ, чтобъ углы за углы не задѣвали. Едва ли есть такой негодяй на свѣтѣ, которому бы не было приличнаго и сроднаго ему мѣста. Возьмите людей съ одного

конца, посмотрите на нихъ съ извѣстной точки — всѣ негодяи, всѣ животныя, одинъ — меньше, другой — больше! Подойдите съ другаго конца, разсмотрите съ иной точки,— всѣ люди, а иные, право, люди очень порядочные. Что же наконецъ собственно до дѣвицъ, то это статья иная; Евсей Стахѣевичъ, при всей видимой неловкости и нелюдскости своей, кой на что наглядѣлся и кой до чего додумался. Онъ былъ того мнѣнія, что дѣвицы всѣ милы, всѣ любезны, потому собственно, что онѣ дѣвицы; что на нихъ смотрѣть должно вовсе съ иной точки зрѣнія и на одну доску съ другими людьми не ставить; почему? — потому, что онѣ — ундины; свойства и качества придутъ современемъ, когда придетъ душа. Вотъ какой чудакъ былъ нашъ Евсей! Но онъ слышалъ или читалъ гдѣ-то финскую либо шведскую пословицу, которую припоминалъ часто и никакъ не могъ выбить изъ головы, хотя она нерѣдко ему досаждала. Пословица эта гласитъ: «Всѣ дѣвушки милы, всѣ добры— скажите жь, люди добрые, отколь берутся у насъ злыя жены?» А въ самомъ дѣлѣ, господа, откуда берутся у насъ злыя жены?

Поймавъ вовсе новую для него доселѣ мысль, о возможности поѣздки и службы въ столицѣ, гдѣ въ мечтахъ открывался ему новый міръ, Лировъ уже не разставался съ нею во весь вечеръ, и на что бы онъ ни глядѣлъ и что бы онъ ни говорилъ, а думалъ все одно и объ одномъ. Когда же наконецъ знаменитый съѣздъ кончился, пыльныя лица, мутныя съ поволокою очи, усталыя ноги, расклепавшіяся прически и помятыя кружева и блонды стали убѣ-

дительно проситься домой, на отдыхъ, то Лировъ накинулъ плащъ свой на-изнанку, забылъ и оставилъ въ прихожей калоши и подумалъ про себя: *ѣду*. Слово «ѣду», отозвалось такъ ясно и положительно во всемъ составѣ тѣла Евсея Стахѣевича, что онъ, испугавшись, оглянулся кругомъ; но повидимому слово это сказано было не вслухъ, или гостямъ было не до него: всѣ озабочены были одѣваньемъ и обуваньемъ; отрывистымъ, тонкимъ голосочкамъ: «мой салопъ, вашъ клокъ, платокъ», вторили теноромъ и басомъ: «шинель, плащъ, калоши»; лакеи у подъѣзда звонкимъ голосомъ запѣвали: «такого-то карету!» на улицѣ, то тутъ, то тамъ, подхватывали: «здѣсь!» А между тѣмъ уже кучера и выносные рѣзко и зычно кричали и заливались, отгоняя въ потьмахъ быстроногихъ пѣшеходовъ изъ-подъ лошадей. Спокойной ночи!

ГЛАВА III.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ ПОДМАЗАЛЪ ПОВОЗКУ.

Намъ надобно познакомиться тепе́рь съ новымъ чудакомъ, который связанъ былъ съ Евсеемъ узами дружбы и службы: это Корней Власовъ Горюновъ, который за 80 рублей на монету въ годъ, выговоривъ себѣ еще товару на двѣ пары сапогъ да го́ловы и подметки, служилъ Евсею Стахѣевичу вѣрою и правдой, какъ прослужилъ 25 лѣтъ въ Семиградскомъ пѣхотномъ полку. Корней ходилъ за бариномъ въ комнатѣ, варилъ ему щи да кашу, по воскреснымъ днямъ подавалъ и пирогъ, а иногда и битки, которые выучился готовить въ походахъ, по недостатку

поварскаго стола, на любомъ колесѣ, на шинѣ полковаго обоза. Корней ѣздилъ *за кучера*, какъ самъ онъ выражался, стиралъ бѣлье и отмѣчалъ сверхъ того мѣлкомъ подъ полкой всѣ расходы и приходы барина своего, который, въ этомъ отношеніи, былъ безграмотенъ и вѣрилъ всегда Власову на слово, когда этотъ, пересчитавъ и повѣривъ всѣ черточки свои по десяткамъ, приходилъ докладывать, что деньги всѣ и расходъ вѣренъ. И въ самомъ дѣлѣ, Корней Горюновъ былъ въ одно и то же время честнѣйшій человѣкъ, благороднѣйшая душа и плутъ, и мошенникъ. Онъ скорѣе готовъ былъ прибавить свою гривну, если никѣмъ неповѣряемый мѣловой счетъ подъ полочкой у него не сходился, чѣмъ утаить грошъ у барина своего; но обмануть посторонняго человѣка, обсчитать торговку, даже стащить что-нибудь на сторонѣ, при какой нибудь крайней нуждѣ,— этого онъ вовсе не считалъ за грѣхъ, не называлъ воровствомъ. Воръ и мошенникъ въ глазахъ его были люди презрѣнные, и Корней былъ-бы готовъ полѣзть съ вами въ драку, если бы вы стали увѣрять его, что и онъ бывалъ когда нибудь воромъ и плутомъ. Онъ самъ разсказывалъ, когда хвалился, что служилъ въ полку вѣрой и правдой, родясь не обманывалъ начальниковъ своихъ — самъ разсказывалъ, что считалъ непремѣнною обязанностію украсть на дневкѣ деревянную ложку или разбить горшокъ, если хозяинъ его дурно накормилъ. Но зато, напротивъ, разговаривалъ онъ съ мужикомъ, у котораго былъ на постоѣ, и особенно съ хозяйкою, чрезвычайно вѣжливо, нерѣдко

честилъ его «вы» и «почтенный», если хорошо кормили, и тогда уже старался угодить и отблагодарить чѣмъ могъ; и если ложка эта была ему необходима, то онъ отправлялся за нею на другой конецъ села. Кого Корней признавалъ другомъ, пріятелемъ, товарищемъ или начальникомъ своимъ, того берегъ и стерегъ пуще, чѣмъ себя самого и свое добро: но зато всѣхъ прочихъ признавалъ онъ непріятелями, въ военномъ смыслѣ, куда причитались нѣкоторымъ образомъ и всѣ чужіе и незнакомые ему люди. Съ этими-то понятіями согласовались и всѣ дѣйствія и поступки Горюнова.

Евсей Стахѣевичъ такъ привыкъ къ дядькѣ своему, что не могъ безъ него жить и ничего не дѣлалъ, ни за что не принимался, не посовѣтовавшись напередъ съ Корнеемъ Власовымъ. И Корней Власовъ никогда не призадумывался, всегда совѣтовалъ и подкрѣплялъ совѣты свои поучительными примѣрами и привыкъ держать барина своего въ рукахъ, хотя ни онъ, ни самъ баринъ этого не замѣчали. Вотъ почему необыкновенная рѣшимость Евсея Стахѣевича, которая, казалось, низошла на него вчера вечёромъ какимъ-то наитіемъ, поколебалась; онъ почувствовалъ, что надобно сперва посовѣтоваться съ Корнеемъ Власовымъ, который тогда только безпрекословно соглашался съ предположеніями барина своего, когда они непосредственно относились къ уменьшенію расходовъ и сбереженію барской казны: въ противномъ случаѣ Корней Горюновъ объявлялъ безъ обиняковъ, что это «пустяки, сударь», и подкрѣплялъ рѣшительный отказъ свой присказками и разной бывальщи-

ной. Такъ онъ недавно еще не пустилъ барина своего на какую-то загородную пирушку или гулянье, куда былъ приглашенъ и Лировъ; не пустилъ потому, что и это также были «пустяки», на которые требовалось изъ казны вѣдомства Корнея пять рублей. Власовъ въ продолженіе шести-лѣтней службы своей при Лировѣ, могъ бы, казалось, убѣдиться, что баринъ его не только никогда не пьетъ лишней рюмки вина, но что обыкновенно не пьетъ его вовсе; несмотря однакоже на это, Горюновъ всегда увѣщевалъ барина своего не пить, понималъ слова: гулянье, пирушка, вечеръ, по-своему и говорилъ: «что толку въ гуляньѣ этомъ? только что деньжонки разсоришь, тамъ еще завтра и голову разломитъ, а надо идти на службу». Такъ разсуждалъ Горюновъ и тотчасъ же подводилъ примѣры: «вотъ у насъ въ полку былъ такой-то и сдѣлалъ то-то» и прочее. Если же самому Власову, раза два, три въ годъ, дѣйствительно случалось погулять, то онъ винился уже безпрекословно и вслѣдъ за тѣмъ предлагалъ барину своему повеселиться съ товарищами и пріятелями, увѣряя, что денегъ еще осталось довольно, а треть на исходѣ и скоро будутъ выдавать жалованье. Корнею нужды мало до того, что баринъ его во всѣ шесть лѣтъ службы при немъ, Корнеѣ, не веселился съ товарищами и пріятелями ни одного раза; что онъ никогда не бывалъ на попойкахъ и велъ, безъ всякаго принужденія, самую трезвую и воздержную жизнь. Корней обо всемъ держался своихъ понятій и думалъ: «ну, благодаря Бога, вчера не пилъ и нынѣче не пьетъ, а что завтра будетъ — Богъ вѣсть!»

Когда же Лировъ журилъ порядкомъ старика, даже и за то, что этотъ изрѣдка погуливалъ, журилъ и спрашивалъ: «какъ же ты въ полку служилъ, Власовъ, неужели ты и тамъ также пилъ?» и на отвѣтъ: «всяко бывало», продолжалъ: «да какъ же ты, старый хрычъ, не боялся, вѣдь тамъ бьютъ за это?» то Корней Горюновъ объяснялъ безстрашіе свое такимъ образомъ: «первую выпьешь — боишься; вторую выпьешь, боишься; а какъ третью выпьешь, такъ и не боишься».

Но у Корнея Власова была одна еще слабость, на которую Евсей Стахѣевичъ, при нынѣшнемъ предпріятіи своемъ, крѣпко надѣялся: страсть къ походамъ и разъѣздамъ. Корней не любилъ засиживаться на одномъ мѣстѣ и, въ былое время, охотно снарядилъ барина своего въ путь изъ уѣзда въ уѣздъ, а наконецъ и въ губернскій городъ. Рыба ищетъ, гдѣ глубже, человѣкъ — гдѣ лучше, это была любимая поговорка Горюнова; мы, слава Богу, не мужики, не приросли къ землѣ да къ избѣ, а видывали свѣту, не только что въ окнѣ. Поэтому Евсей и предложилъ ему смѣло и прямо умыселъ свой и вотъ какимъ образомъ и съ какимъ успѣхомъ:

Лировъ. А что, Власовъ, поѣдемъ въ столицу?

Власовъ. Куда, сударь? въ Питеръ? извольте, поѣдемъ; извѣстно, человѣкъ ищетъ гдѣ глубже . . . . . тово, рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ гдѣ лучше. А знатный городъ, ужь сущая, сударь, столица. Мы и сами ѣздили съ покойнымъ баріномъ, какъ послѣдніе четыре года службы жилъ я въ деньщикахъ, такъ стояли мы тамъ, въ Пйтерѣ

по набережной; вотъ этакъ начальствующіе генералы, этакъ мы, а вотъ этакъ прочіе господа.

Лировъ слышалъ только: въ Питерѣ, а болѣе ничего не слыхалъ. Одно слово это сбило его съ пути и съ ладу; онъ по привычкѣ своей пустился думать и позабылъ уже, о чемъ было заговорилъ; а Власовъ, которому обычай барина, не мѣшать старику разговаривать, чрезвычайно нравился, Власовъ долго еще продолжалъ разговоръ свой одинъ.

Въ Питерѣ — подумалъ про себя Евсей, стараясь доискаться, почему слово это его такъ озадачило, и наконецъ опомнился и успокоился, когда сообразилъ. что онъ о Питерѣ и не думалъ, а думалъ только о Москвѣ. Въ Питеръ! почему же не такъ? «А развѣ въ Питерѣ,» спросилъ онъ Власова, «развѣ тамъ лучше, чѣмъ въ Москвѣ?»

Власовъ. Какъ же, сударь, не лучше! Въ Москвѣ только что купцы богатые живутъ да дворяне, а въ Питерѣ всѣ большіе господа. Да и лавочки, напримѣръ, въ Питерѣ мелочныя и овощныя лавки, почитай что въ каждомъ домѣ есть, все что угодно, все найдешь, дальше угла и не ходи, и пожалуй еще на фатеру тебѣ принесутъ: а въ Москвѣ ужь этого нѣтъ; тамъ далече до всего, и все посылаютъ вишь въ городъ; а это что самая ни-на-есть Москва, это у нихъ, стало быть, и не городъ.

Лировъ. Да въ Питерѣ, говорятъ, трудно добиться до мѣста.

Власовъ. Отчего трудно? пустяки. Вотъ у насъ въ полку маіоръ вышелъ въ отставку, поѣхалъ, и ничего, и слава Богу живетъ. Вотъ и капитана одного у насъ изъ полка

перевели въ Образцовый полкъ; какъ пріѣхалъ, такъ и опредѣли-ли его и служилъ себѣ. Тамъ только обыкновенно, уже извѣстно, коли пріѣдетъ кто, коли изъ военныхъ, такъ въ ордонансъ-гаузъ, къ коменданту, отбираютъ подорожную, ужь тамъ ее и ищи; а коли изъ гражданскихъ, такъ туда, въ канцелярію генералъ-губернатора, тамъ ужь и будетъ.

Лировъ. Я говорю, Корней, что въ Питерѣ нашему брату трудно добиться до чего-нибудь, коли не привезешь съ собою какихъ писемъ да не заступится большой человѣкъ.

Власовъ. Да ужь на это, сударь, нѣтъ чуднѣе Москвы: тамъ, ужь и самъ нашъ полковой аудиторъ сказывалъ, а онъ изъ писарей былъ пожалованъ, и сказать ужь, что грамотный человѣкъ и свѣту повидалъ; такъ онъ вишь сказывалъ, что чужому человѣку въ Москвѣ нѣтъ и ходу; все одни племяннички, говорятъ, служатъ; «и на мое, говоритъ, мѣсто опредѣлили какого-то цыганенка, аль калмыченка что ли, что вышелъ отъ большихъ господъ; такъ и опредѣлился, говорятъ, съ собаченкой, которая табакъ нюхала; такъ, говоритъ, нюхала, что бывало покою не дастъ, поколѣ ей не отсыплешь. Шавка, говоритъ, была бѣлая вся.

Такой неожиданный оборотъ дѣла поставилъ Евсея въ крайне затруднительное положеніе, онъ не зналъ на что рѣшиться. Мысль объ одной Москвѣ уже кружила ему голову, такъ что, когда Корней подалъ щи да кашу, а Лировъ досталъ безъ всякой надобности часы изъ кармана и поглядѣлъ на нихъ, не замѣтивъ вовсе, который часъ, то вслѣдъ за тѣмъ поднесъ было часы эти ко рту и едва не

перекусилъ ихъ пополамъ, воображая, что держитъ въ рукахъ ломоть хлѣба. А теперь двѣ столицы, какъ два сказочныя видѣнія, обѣтованные призрака, манили его направо и налѣво, и обѣ таили подъ золотыми сводами и росписными потолками своими грядущую судьбу нашего добраго Евсея.

Разложивъ передъ собою карту и водя пальцемъ взадъ и впередъ, между Питеромъ и Москвою, смотря потому, куда переносился мысленно, Евсей Стахѣевичъ остановился, съѣздивъ уже разъ десятокъ взадъ и впередъ, на Твери,— взглянулъ влѣво, на Малиновъ, и опять уже, какъ это такъ часто съ нимъ случалось, напалъ на богатую мысль. Онъ рѣшился выѣхать на Тверь, подумать дорогою, сообразить дѣло въ Твери и своротить направо или налѣво—въ Москву или въ Питеръ, по обстоятельствамъ. Рѣшено и сдѣлано; хотя впрочемъ и не совсѣмъ, какъ мы увидимъ это послѣ.

Выходивъ согласіе и одобреніе Корнея Власовича, Евсей собрался и снарядился въ походъ. Когда пришлось ѣхать однакоже, то онъ разстался не безъ грусти даже и съ Малиновымъ. Правда, у него оставался теперь тамъ одинъ только домъ, въ которомъ онъ былъ дома, а именно: собственное его жилище; семейство, къ которому онъ было пріютился и привязался, оставило Малиновъ навсегда уже за нѣсколько передъ этимъ времени. Но Евсей при всемъ томъ, уѣзжая навсегда изъ города, гдѣ жилъ нѣсколько лѣтъ, немножко призадумался. «Если бы только,— подумалъ онъ про-себя тихонько,—если бы люди эти были немножечко, чуть-чуть иначе, если бы не видѣть своими гла-

зами на каждомъ шагу, какъ всякая правда живетъ подчасъ правдою, да кабы они еще немножко поменьше сплетничали и надоѣдали и себѣ, и другъ другу, — такъ можно бы и жить и служить съ ними; а этакъ ей-богу трудно. Былъ у насъ предсѣдатель такой, что бралъ; нынѣшній, можетъ быть, не беретъ, а все-таки правда наша держится только на убѣдительныхъ доводахъ за подписью кн. Хованскаго, и выходитъ одна только путаница, что ину пору не знаешь, куда оборотиться, кому кланяться, кого просить и куда идти.

Такъ думалъ про-себя Евсей и объѣхалъ, по способу малиновскихъ прачекъ и кантонистовъ, всѣ 38 домовъ, потому-что онъ кобылку свою уже продалъ. Онъ прощался со всѣми и благодарилъ всѣхъ чистосердечно и отъ души: а прощаясь съ предсѣдателемъ своимъ, черезъ силу перекусилъ и подавилъ упрямую слезинку. Правда, что прощаніе это и въ самомъ дѣлѣ кончилось нѣкоторымъ образомъ плачевно; предсѣдатель изволилъ кушать чай на крыльцѣ, въ холодкѣ, а Евсей, собираясь встать, все отодвигался со стуломъ своимъ назадъ, покуда, наконецъ, не полетѣлъ, вмѣстѣ со стуломъ, тычкомъ и навзничь, съ крыльца, передушивъ съ полдюжины поросятъ, которые въ Малиновѣ пользуются полной свободой и довольствуются подножнымъ кормомъ. Предсѣдательша впрочемъ успокоила испуганнаго Евсея въ то же время, сказавъ: «ничего, ничего, это не наши, это Пелагеи Ивановны, и я давно ей говорила, чтобъ она не распускала поросятъ своихъ по *всѣмъ дворамъ* и по цѣлому городу, а велѣла бы дворо-

вымъ ребятишкамъ пасти ихъ по пустырямъ». Перепетуя Эльпидифоровна, о которой упомянули мы выше, случилась тутъ же, въ гостяхъ, и сдѣлала также съ своей стороны все, что могла, въ пользу нашего бѣдовика: она совѣтовала ему, если хочетъ лѣчиться по Киліану, натереть ушибъ запросто пѣнникомъ и тереть байкой досуха; если же онъ болѣе довѣряетъ Енгалычеву, то положить по равной части вина и уксуса и прибавить щепоть свинцоваго сахара.

ГЛАВА IV.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ ПОѢХАЛЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

Евсей Стахѣевичъ, укладываясь и усаживаясь въ дорогу, былъ необыкновенно досуженъ, толковъ и распорядителенъ и заботился о вещахъ, которыя бывало лежали вовсе внѣ круга его заботъ. «Не будетъ ли трястись», спросилъ онъ у Власова, «крѣпко-ли уложилъ ты съѣстной кузовокъ свой?» Власовъ тряхнулъ его раза два и съ замѣчаніемъ: «Малое толико движеніе даетъ» — поставилъ опять на мѣсто, и приткнулъ сбоку дорожнымъ, розовой лайки, кисетомъ своимъ, на которомъ изображенъ былъ какой-то вершникъ въ латахъ и гора горой головы зрителей, съ подписью: *турнилъ*. На художническомъ произведеніи, на кисетѣ этомъ, не взыщите за отступленіе, употреблено было всуе имя одного почтеннаго московскаго цензора.

Перепетуя Эльпидифоровна, разсудивъ, что молодой человѣкъ можетъ пострадать по легкомыслію своему и отъ

небреженія, прислала Лирову двѣ бутылки съ примочками. Власову, который отвѣдалъ ту и другую, Киліановская показалась гораздо лучше: Енгалычевская кисловата и вяжетъ ротъ, Киліановская, по мнѣнію Власова, была родомъ изъ турецкой крѣпости Киліи, во уваженіе чего, онъ и нашелъ ей мѣсто между кузовочкомъ и кисетомъ. Въ это самое время, Козьма Сергѣевичъ Мукомоловъ вспомнилъ и разсказалъ супругѣ своей, заливаясь хохотомъ, какъ Евсей Стахѣевичъ поздравилъ его намедни съ именинами, объяснившись при этомъ на чистоту, что ему нѣтъ никакой нужды до чужихъ именинъ; и Перепетуя Эльпидифоровна въ ту же минуту Елеську бѣгомъ, догонять посланнаго съ примочками Ваньку и воротить его. Но Елеська опоздалъ; бутылки были уже вручены. Посланцы, и тотъ и другой, стояли снявъ шапки поодаль отъ повозки Лирова и перешептывались, не зная какъ тутъ быть? наконецъ рѣшились они просить Корнея Власовича возвратить имъ примочки. Горюновъ охотно отдалъ имъ Енгалычевскую, но съ Киліановскою разстаться не хотѣлъ, а потому и объявилъ, что она уже *истерлась* и почитай вся. Перепутая Эльпидифоровна разсуждала объ этомъ происшествіи очень много, и разсказывала и трезвонила по цѣлому городу, между тѣмъ какъ нашему бѣдному Евсею икалось отъ какой-то поганой окрошки уже за Вязьмой. Пелагея Ивановна, супруга командира гарнизоннаго батальона въ Малиновѣ, прислала однакоже фельдфебеля своего еще во время: Евсей только-что заносилъ другую и послѣднюю ногу свою въ телѣгу. Пелагея Ивановна приказала кланяться, велѣла просить цѣль-

ковый за два искалѣченныхъ поросенка. Не удивляйтесь этому: Пелагея Ивановна, какъ извѣстно цѣлому городу, не задолго до этого взыскала три рубля безъ вычету, на ассигнаціи, съ неосторожнаго сосѣда своего, за хохлатую и мохноногую курочку, которую задушила его борзая. Лишь только Евсей досталъ худощавый кошелекъ свой и запустилъ туда пальцы за цѣлковымъ, какъ запыхавшійся слуга дворянскаго предводителя, въ ливреѣ, безъ шапки, подалъ, кланяясь и улыбаясь и желая счастливаго пути, вычищенные въ лоскъ, старые, истоптанные колоши, которые Лировъ позабылъ намедни послѣ балу. Все это происходило на счетъ выданнаго Евсею единовременнаго годоваго жалованья. Корней ворчалъ вслухъ, а все-таки нашелъ мѣсто и колошамъ, а именно: между кузовочкомъ, кисетомъ и примочкой. Наконецъ Корней Горюновъ взлѣзъ на телѣгу, сѣлъ, перекрестился, надѣлъ шапку, ямщикъ свиснулъ, трехнулъ возжами — и колокольчикъ зазвенѣлъ.

Всѣ жители Малинова, вдоль Песчаной улицы, какъ значилась она на чертежѣ, или Вице-Губернаторской, какъ обыкновенно ее называли, ложились въ растворенныя окна и высовывались по самыя чресла, чтобы посмотрѣть кто поѣхалъ или пріѣхалъ. Кто не поспѣвалъ на зовъ колокольчика во-время къ окну, или не могъ признать Лирова въ лицо, посылалъ тотчасъ же за справкою къ сосѣдямъ или на почту. Вице-губернаторъ совѣтовалъ супругѣ своей, которая ожидала въ это время сына въ отпускъ изъ арміи и очень испугалась, нечаянно послышавъ колокольчикъ,—совѣтовалъ было послать за инспекторомъ врачебной управы;

но она, то есть вице-губернаторша, предпочла написать Перепетуѣ Эльпидифоровнѣ французскую записку, которую ни самъ Мукомоловъ, ни супруга его не могли разобрать, потому-что они оба вмѣстѣ и каждый порознь не знали ни слова по-французски. Перепетуя Эльпидифоровна однакоже, съ помощію ближняго, дозналась, что вице-губернаторша проситъ капель *отъ испуга*, и сама отвезла ей Киліановы мятныя и Енгалычева эѳирныя капли. Мокрида Роховна или Роговна, какъ ее обыкновенно звали, полу-полька, супруга инспектора врачебной управы, узнала объ этомъ событіи, и при первомъ случаѣ не оставила кольнуть, какъ вице-губернаторшу, такъ и въ особенности лѣкарку, Мукомолову; -та сказала гдѣ-то въ оправданіе свое, что инспекторъ управы переморилъ уже болѣе людей, чѣмъ у него сѣдыхъ волосъ на головѣ, что опять въ свою очередь дошло до Мокриды Роховны, и вотъ съ чего обѣ дамы эти разошлись очень нехорошо, такъ что, не говоря уже о бывалыхъ вечернихъ посѣщеніяхъ, полтора года сряду не почтили даже другъ друга визитомъ и помирились только по вновь предстоявшему рекрутскому набору. Кто загадки этой не понимаетъ, тому надобно напомнить, что Мукомоловъ зажиточный помѣщикъ; а инспекторъ врачебной управы не послѣднее лицо при пріемѣ рекрутъ; въ нынѣшній наборъ, который на бѣду случился вскорѣ послѣ ссоры дамъ, Перепетуя Эльпидифоровна дорого поплатилась: и очередные и подставные, всѣ съ забритыми затылками воротились во-свояси, и Кузьма Сергѣевичъ всѣхъ мужиковъ своихъ возилъ поочередно за полтораста верстъ на выборъ въ

рекрутское присутствіе. Инспекторъ управы, обрусѣвшій венгерецъ, былъ одинъ изъ тѣхъ людей, у которыхъ такъ называемая голова была особеннаго устройства: гдѣ ѣдятъ — пошире, а гдѣ думаютъ — поуже; собственно жь голова его, не въ переносномъ, а въ прямомъ смыслѣ, заключалась, какъ у рака, въ желудкѣ. Несмотря на это, однакожь, какъ мы это сейчасъ видѣли, его на управленіе своею частію доставало.

Что подумалъ и заговорилъ Малиновъ о Евсеѣ Стахѣевичѣ по отъѣздѣ его? Евсей былъ не великой спицей въ колесницѣ, но все-таки отъѣздъ его изъ Малинова составляетъ нѣкоторымъ образомъ событіе, потому-что въ тѣсномъ кругу стѣсняются и мысли; политикой мои малиновцы не занимались вовсе, за что я ихъ отъ души похвалю; а между тѣмъ, каждый Божій день, надобно жь было о чемъ нибудь поговорить! Общаго во мнѣніяхъ и разговорахъ объ этомъ предметѣ было только то, что Евсей былъ всегда чудакъ, и это безъ всякаго сомнѣнія вина виноватая. Но къ этому прибавляли разные разное: губернаторъ сказалъ какъ-то, что Лировъ былъ хорошій чиновникъ, но иногда забывался. Не знаю какъ понять это выраженіе: если его отнести къ забывчивости и разсѣянности Лирова, то и это нѣкоторымъ образомъ справедливо; если же почтенный губернаторъ хотѣлъ намекнуть на недоразумѣніе, возникшее когда-то по поводу отношеній и рапортовъ, то губернаторъ опять-таки правъ, потому что Евсей, видно, въ *отношеніяхъ* своихъ горько ошибался. Инспекторъ врачебной управы говорилъ, что это такой человыкъ, съ которымъ

нельзя ни связываться, ни знаться. Совѣтники поглядывали съ недоумѣніемъ другъ на друга и на подчиненныхъ, какъ будто кого-то не доискивались. Души, крещенныя въ чернилахъ, повитыя въ гербовой бумагѣ, молчали, и кажется даже ничего не думали. Мы отплатимъ имъ тѣмъ же. Только предсѣдатель гражданской палаты, служившій по выборамъ и уѣзжавшій теперь опять въ свои помѣстья, говорилъ: «да, еслибы я оставался на службѣ, я бы этого человѣка не упустилъ.» Для барынь, Евсей Стахѣевичъ былъ какой-то неловкій, темный молодой человѣкъ, который самымъ неприличнымъ образомъ и безъ всякихъ обиняковъ бѣгалъ отъ партіи, то есть не отъ виста — къ этому уже привыкли и было много охотниковъ и безъ него — но отъ пары, отъ невѣстъ, а и пуще того отъ свахъ. Для дѣвицъ, которыя, какъ вы уже знаете, всегда и вездѣ очень сострадательны, Лировъ былъ какой-то жалкій молодой человѣкъ, но не противный. Изо всего этого вы ясно видите, что думы свои Лировъ берегъ, большею частію по крайней мѣрѣ, про себя и увезъ ихъ съ собою; иначе вѣроятно былъ бы онъ помянутъ не тѣмъ и не такъ.

Теперь, когда мы уже знаемъ, что именно малиновцы думаютъ о Евсеѣ Стахѣевичѣ и что думаетъ Евсей Стахѣевичъ о малиновцахъ, можно послѣднихъ оставить на нѣсколько времени въ покоѣ и заняться опять первымъ. Я вамъ могу сказать приблизительно напередъ, по мѣстнымъ соображеніямъ, что между тѣмъ сбудется и произойдетъ въ Малиновѣ. Единственный въ городѣ булочникъ, который пекъ сухари и такъ называемый французскій хлѣбъ, вскорѣ

уѣзжаетъ, и потому оборотливое предпріятіе Перепетуи Эльпидифоровны, посадить въ Малиновѣ своего хлѣбника, обучавшагося въ Москвѣ, увѣнчается полнымъ успѣхомъ; во вторыхъ новый чепецъ, или если не ошибаюсь наколка, которую выписываетъ вице-губернаторша прямо изъ Петербурга, дорогою растряслась, ящикъ разбитъ и наколка пріѣдетъ въ самомъ отчаянномъ положеніи. За это почтмейстершѣ не миновать разныхъ колкостей; тутъ уже, не входя ни въ какія разбирательства и не принимая никакихъ отговорокъ, стануть бранить въ глаза и за глаза губернскаго почтмейстера, или, что еще основательнѣе, его супругу. А наконецъ, полиціймейстерша вѣроятно вскорѣ раззнакомится съ супругою перваго члена межевой конторы; покрайней мѣрѣ я такъ догадываюсь, судя по слухамъ, дошедшимъ до меня черезъ губернскую повивальную бабку, которая одарена въ высшей степени прозорливостію и соображеніемъ и знаетъ многое, чего мы не знаемъ. Аптекарша наша не такъ основательна: заключенія и выводы ея нерѣдко бываютъ опрометчивы, потому-что она все прикидываетъ на свой ревельскій аршинъ.

О поѣздкѣ Евсея отъ Малинова до Твери занимательнаго можно сказать немного: чѣмъ ближе подъѣзжалъ онъ къ Московской большой дорогѣ, тѣмъ чаще доставалъ кошелекъ, тѣмъ дороже обходился каждый привалъ и перегонъ; а наконецъ, если не ошибаюсь, въ Борисковомъ, гдѣ прождалъ онъ часъ лошадей, не спросивъ ничего, кромѣ стакана воды, заплатилъ хозяйкѣ четвертачекъ за *безпокойство*. До самой Твери, потѣшливая судьба, казалось, по-

теряла изъ виду всегдашнюю игрушку и забаву свою, бѣднаго Евсея; но въ самой Твери она опять выслѣдила его, привела голоднаго и усталаго въ изрядную гостиницу и заставила съѣсть какой-то битокъ, который подается, сказываютъ, въ оберткѣ — совсѣмъ съ бумажкой. Евсею никогда не случалось видѣть блюдо это; онъ привыкъ ѣсть сплошь и подрядъ все, что ему ни подавали, и заканчивалъ обыкновенно на томъ блюдѣ, которое заставало его сытымъ; и если бы котлетку эту подали не только въ оберткѣ, но даже въ корешкѣ и въ переплетѣ, то онъ вѣроятно искрошилъ, изрѣзалъ и съѣлъ бы ее также точно, какъ и теперь. Но случай этотъ заставилъ много хохотать притомныхъ свидѣтелей, нѣсколько молодыхъ офицеровъ. Черезъ двѣ минуты вся дивизія, съ кіями и трубками и стаканами въ рукахъ, входила поочередно изъ биліардной и разсматривала заѣзжаго уѣзднаго чудака, который съѣлъ котлетку съ бумажкой. Подученный офицерами слуга, перемѣняя тарелку, объяснилъ Евсею съ лакейскою вѣжливостію и пріемами, что онъ изволилъ скушать бумажку. Евсей слушалъ его преспокойно, уставивъ на него выразительные черные глаза свои, и сказалъ только наконецъ: «Такъ сдѣлай милость, братецъ, подавай мнѣ, покуда я голоденъ, одно съѣдомое: бумагами сытъ не будешь, это я уже знаю давно.» Между тѣмъ рядомъ, въ биліардной, раздавалось только, сквозь шумъ и говоръ и хохотъ: 7 и 21; 9 и 25, да остроты преусатаго корнета, который замѣчалъ каждый разъ, когда билія не была сдѣлана: «а, этотъ широкъ въ плечахъ, не полѣзъ въ лузу»! Въ промежуткахъ же, то одинъ, то другой.

заглядывали опять въ боковую дверь на уморительнаго чужестранца, не утомляясь однѣми и тѣми же чередными остротами на счетъ бумажной котлетки. Евсей почувствовалъ, что онъ какъ-то не въ своей тарелкѣ, опомнился и разсудилъ, что ему въ Твери искать вовсе нечего, и велѣлъ закладывать.

По Московской дорогѣ въ лошадяхъ остановки не бываетъ никогда, даже и безъ подорожной, а платятъ тогда только, вмѣсто восьми, по десяти копѣекъ съ версты и съ лошади; но староста спросилъ Корнея Власова, куда ѣхать? потому что изъ Твери лежитъ въ разныя стороны шесть почтовыхъ дорогъ, и чередныя права ямщиковъ требуютъ этого свѣдѣнія. Горюновъ, ни на одну минуту не призадумавшись, отвѣчалъ: «куда? Разумѣется въ Питеръ». Староста, оборотясь къ ямщикамъ, сказалъ: «на Мѣдное». Повозку заложили, Евсей сѣлъ и поѣхалъ, и тогда только вспомнилъ, что онъ, изъ-за бумажной котлетки, которая столько ему досадила, не опомнился еще и не успѣлъ рѣшиться, ѣхать ли въ Москву или въ Петербургъ. На вопросъ его: «куда же мы поѣхали»? Власовъ отвѣчалъ также спокойно, какъ и прежде: «куда? Разумѣется, что въ Питеръ», и Евсей замолчалъ, рѣшась предоставить участь свою судьбѣ и Корнею Горюнову.

ГЛАВА V.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ ПОѢХАЛЪ ВЪ МОСКВУ.

Лировъ впервые ѣхалъ по Московской дорогѣ и испыталъ почти всю тягость своевольныхъ и крайне безтол-

ковыхъ ямщичьихъ обычаевъ и условныхъ постановленій. *Почти* всю, потому что Лировъ ѣхалъ на перекладныхъ, а слѣдовательно нельзя было ни впрягать лишнихъ лошадей, ни обступивъ толпою коляску, отвертывать и раскачивать винты и гайки, чтобы потомъ указать барину: вотъ тутъ у васъ видно винтъ-этъ потерянъ — и заставить заплатить цѣлковый за ту же самую, перекаленную только въ огнѣ, гайку.

Неопытному ѣздоку на Московской большой дорогѣ бѣда: дорога эта предверье обѣихъ столицъ, мужики и ямщики на этомъ огромномъ распутьѣ сдѣлались уже какими-то прощалыгами и мастерски обираютъ и осудариваютъ проѣзжихъ. Даже весь порядокъ на ямáхъ, эти запутанныя очереди или кругá, какъ называютъ ихъ ямщики, потомъ безконечные спóры, крикъ, шумъ, жеребьи, кусанные или мѣченные гроши и мѣрянье по постромкамъ, передачи или столь извѣстные *слазы*, которые состоятъ въ томъ, что при каждомъ колокольчикѣ сбѣгаются десятка два, три ямщиковъ и, рѣшивъ послѣ долгаго спора, за кѣмъ очередь, начинаютъ торговаться, продавать и покупать сѣдока,— все это можетъ истощить терпѣніе самаго кроткаго, миролюбиваго человѣка. Покуда безконечныя сдѣлки и продѣлки эти не кончились, вамъ лошадей нѣтъ, хотя ихъ на ямý можетъ быть стоитъ до сотни троекъ; при каждомъ пріѣздѣ и на каждой станціи открываются при васъ снова эти торги и переторжки, и тутъ уже не дѣйствуютъ ни просьбы ваши, ни угрозы, ни даже волшебное въ другихъ обстоятельствахъ «на водку», потому что по-

куда не рѣшено еще кому ѣхать, никто гривенникомъ вашимъ не прельстится. Его взять возьмутъ, но дѣло оттого впередъ не подвинется. Спрашивайте сто разъ старосту—и его не выдаютъ: онъ стоитъ тутъ же—въ этомъ вы можете быть увѣрены—и кричитъ громче всѣхъ; но вамъ отвѣчаютъ, что онъ пошелъ наряжать ямщиковъ и что его нѣтъ. Смотрители не хотятъ да и не могутъ совладать съ этими нахальными горлодраями и не имѣютъ обыкновенно никакого на нихъ вліянія. Прибавьте къ этому еще, что у нихъ идутъ всегда какія-то двѣ очереди вдругъ, и есть кромѣ того какой-то вольный, передаточный кругъ, отъ котораго васъ да избавитъ Богъ, и вы согласитесь, что это безтолковщина и путаница въ высшей степени.

Евсей Лировъ попадалъ въ ловушку на каждомъ шагу, несмотря на всѣ старанія и хлопоты Корнея Горюнова, который наконецъ уже и самъ выбился изъ силъ, спасовалъ и пошабашилъ, потому, какъ увѣрялъ онъ, что не военному и еще не по казенной надобности, ѣздить не годится. Евсея передавали съ рукъ на руки, торговались и продавали на каждой станціи, послѣ каждаго перегона сызнова, рядились всегда до какого нибудь города, выманивали и выманивали хотя половину прогоновъ напередъ, чтобы его не безпокоить ночью къ разсчету, а послѣ заставляли уплачивать сверхъ прогоновъ всѣ привѣски и недовѣски, которые, по взаимнымъ разсчетамъ, скоплялись на послѣдней станціи, и, увѣряя нахально въ глаза, что это было по ряду и въ уговорѣ, не везли дальше, между

тѣмъ какъ тотъ, съ кѣмъ Евсей рядился, покинулъ его на томъ же мѣстѣ, продалъ, взялъ слазу, и послѣ того смѣнилось уже на томъ же основаніи пять или шесть человѣкъ.

Такимъ образомъ Евсей Стахѣевичъ наконецъ добился до Чудова, за пять только станцій отъ Петербурга, какъ вдругъ проняла его дрожь, когда прочиталъ онъ на столбѣ, что осталось всего 111 верстъ. Страшно было подумать нашему Евсею, что чрезъ какіе-нибудь полсутки будетъ онъ въ столицѣ, въ этомъ вихрѣ, водоворотѣ, въ этомъ исполинскомъ смерчѣ кипучей жизни, гдѣ все и всѣ ему чужіе, всѣ, отъ перваго до послѣдняго. Куда тамъ пріютиться, какимъ путемъ начать искать мѣсто, куда, къ кому обратиться... «Стой, подумалъ Евсей, надобно пособраться съ силами и съ духомъ, приготовиться да сообразиться, дѣла этого рода такъ не вершатся. Я думалъ ѣхать въ Москву, меня повезли въ Петербургъ, и я не успѣлъ еще опамятоваться.» И покинувъ повозку свою у чудовскаго почтоваго дома, и вѣрнаго стража, неизмѣнное копье свое при ней, отправился онъ пѣшкомъ, куда глаза глядятъ, пройтись и подумать.

Корней Горюновъ выспался, потомъ всталъ, умылся, набилъ трубченку свою, присѣлъ у подъѣзда, началъ преобширный разговоръ съ ямщиками и разсказалъ имъ почти всю службу свою, сначала и до конца. Началось тѣмъ, что слуга гостиницы спросилъ, гдѣ ночевали, а Власовъ отвѣчалъ преспокойно и не оглядываясь: подъ шапкой; потомъ разговорились зачѣмъ и куда ѣдутъ, и вотъ Корней Вла-

совичъ уже разсказываетъ слушателямъ своимъ, что прежнія времена не нынѣшнія; что прежде бывало много дивнаго; а нынче—что, и прочее.

Между тѣмъ однако же насталъ вечеръ, смерклось, Корней Власовъ давно уже покончилъ разсказы свои, а барина его нѣтъ. Стемнѣло вовсе, и Власовъ начинаетъ уже крѣпко безпокоиться: «это, говоритъ, дивное дѣло! о-сю-пору, хоть бы и потонулъ, прости Господи, гдѣ-нибудь, такъ бы ужь давнымъ давно на воду всплылъ; а его таки все нѣтъ да нѣтъ; диковина да и только!»

Но диковина, какъ это почти всегда случается, объяснилась очень просто. Евсей задумался тугою думой, пустившись по дорогѣ направо, въ село Грузино, шелъ да шелъ и все думалъ да думалъ. Ему какъ-то тѣсно стало на чужбинѣ; онъ вспомнилъ о семействѣ, къ которому было такъ крѣпко привязался, сталъ припоминать все былое и минувшее, хотѣлъ забѣжать и заглянуть впередъ, что будетъ, чего ожидать — наткнулся мысленно опять на всегдашнюю участь свою, не блестящую, не завидную, и догадался, что онъ просто бѣдовикъ, которому видно на роду написано маяться и перебиваться до послѣдняго дня своей жизни. Хорошо, еслибы намъ дозволялось заглядывать такимъ образомъ иногда впередъ, въ конечныя страницы таинственной книги судебъ; хорошо, а можетъ быть и очень худо, еслибы можно иногда предугадывать назначеніе свое и участь; но, какъ бы то ни было, а Лировъ думалъ, что завѣтная тайна передъ нимъ раскрылась, что ему почти нечего искать, нечего ожидать. Эту грустную

думу донесъ онъ наконецъ до села Грузина, куда дошелъ безъ умысла, безъ намѣренія; но дошедши туда и оглянувшись, и услышавъ что это село *Грузино*, Евсею, согласитесь сами, можно было и подумать и призадуматься. У него въ головѣ стало тѣсно, въ груди душно. Утомившись до крайности, нашелъ онъ наконецъ, на обратномъ пути своемъ, мужика, который его подвезъ до мѣста; и вотъ почему Лировъ явился въ Чудовѣ уже близко полуночи.

Около того же времени, приходитъ въ Чудово и петербургскій дилижансъ. Когда Лировъ возвратился, два дилижанса, четыремѣстная карета и огромная шестимѣстная колымага, стояли подъ крыльцомъ почтоваго дома, а ямщики закладывали. Погода была очень тепла и хороша; мѣсяцъ на убыли взошелъ съ часъ тому назадъ и три женщины прогуливались взадъ и впередъ мимо крыльца, въ ожиданіи запряжки. Лировъ остановился рядомъ съ верстовымъ столбомъ, и отнынѣ, болѣе чѣмъ на четверть часа времени, у Чудовой станціи стояли не одинъ, а два столба. Мы знаемъ уже обычай Лирова, созерцательную способность его стоять и глядѣть во всѣ глаза и думать про себя и больше ни о чемъ не заботиться; поэтому насъ два столба эти не удивятъ: ни тотъ, который стоитъ уже многіе годы въ неизмѣнномъ пѣгомъ кафтанѣ своемъ и не думаетъ, вѣроятно, ни о чемъ, ниже другой, въ черномъ сюртукѣ, съ острыми карими глазами, который столько досаждаетъ и себѣ и другимъ, всѣми странностями своими и затяжною думою.

Наконецъ мужчина среднихъ лѣтъ, со звѣздой, подошелъ звать барынь въ карету и взглянулъ при этомъ на притаившагося сосѣда своего, на Лирова, такъ незастѣнчиво, что недоставало къ этому только вопроса: «а тебѣ чего тутъ надобно?» Потомъ, оборотясь къ попутчицамъ своимъ, спросилъ по-французски: не попросить-ли и его также въ карету? Въ это самое время Корней Власовъ, не видя еще въ потьмахъ барина своего, и приложившись съ отчаянья и нетерпѣнья къ Калiановской, разсказывалъ ребятамъ, что бывало въ походѣ идутъ они, то есть пѣхота, въ страшную слякоть, въ дождь, да мѣсятъ грязь по колѣно, а конница — и пуще того кирасiры, обходятъ ихъ подбоченясь, да только знай покрикиваютъ на нихъ: «не пылить, ребята, не пылить!» Бѣдный Евсей вздохнулъ втихомолку и примѣнилъ разсказъ стараго служиваго къ себѣ и къ надменному, насмѣшливому звѣздоносцу. «Что я ему мѣшаю? Развѣ и солнце и луна не для всѣхъ насъ равно свѣтятъ, куда бы лучъ ихъ ни упалъ? Развѣ природа освѣщаетъ лучемъ этимъ предметы исключительно для какихъ нибудь избранныхъ любимцевъ и баловней своихъ, а не ради всякаго, кому чадолюбивая дала зѣницу ока? Неумѣстная зависть и горькая, несправедливая насмѣшка! — Что трудовой и бѣдовой пѣхотѣ отвѣчать на это надменное: «не пылить?»

Такъ-то заносился думами нашъ Евсей Стахѣевичъ и все еще стоялъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, когда и карета, и кавалеръ ордена звѣзды, и предметъ, на которомъ Лировъ созерцалъ такъ благоговѣйно отражающійся лунный лучъ, давно уже умчались изъ вида. Колымага еще стояла все

тутъ же; одна барыня, изъ числа клади, занемогла и упросила сопутниковъ своихъ дать ей часа два отдыху и покою.

Власовъ непритворно обрадовался, увидавъ наконецъ своего барина, и разсказамъ и объясненіямъ Корнея не было конца. Разъ десять принимался онъ разсказывать, какъ онъ дивился и дивовался, что нѣтъ барина; что за пропасть, фу ты пропасть — эка подумаешь, и прочее. Евсей отвѣчалъ на все это мало, почти ничего и, задумавшись, пустился было опять, по образу пѣшаго хожденія, какъ изъяснялись въ Малиновѣ, и пустился прямо по дорогѣ туда, куда покатила карета. Но Власовъ поймалъ его за полу, снялъ передъ нимъ шапку и побожился, что не пуститъ его болѣе никуда; потомъ выпустилъ изъ правой руки полу и перекрестился, побожившись еще разъ, что не пуститъ, а послѣ всего этого уже сталъ увѣрять и божиться, что пора ѣхать, что ихъ въ Питерѣ чай давно уже ожидаютъ и такъ далѣе. Не знаю, повѣрилъ ли Евсей послѣднему обстоятельству, но покрайней мѣрѣ онъ не могъ противиться рѣшительнымъ мѣрамъ Корнея Горюнова; понялъ слова: «ей-Богу не пущу, вотъ-те Христосъ не пущу», и воротился назадъ. А вошедши въ гостиницу, онъ и самъ не мало изумился, когда одинъ изъ старыхъ и давнишнихъ знакомыхъ его, о которомъ поговоримъ послѣ, вскочилъ со стула и внѣ себя отъ радости обнялъ и облобызалъ его съ восторженными восклицаніями и изступленными возгласами. Малиновъ, Москва, Петербургъ, Грузино, карета, луна на ущербѣ, новый пріятель — все это сбилось и смоталось въ головѣ

Лирова въ огромный клубокъ, которымъ, казалось, голова его набита туго-на-туго, такъ что ни для какой думы не было болѣе мѣста, иначе Евсей Стахѣевичъ былъ-бы почти готовъ подумать хорошенько. Власовъ-ли, или ужь не самъ-ли онъ, Лировъ, приложился сегодня съ горя къ Киліановской? Между тѣмъ, чтобы говоривши долго да коротко кончить, все это вмѣстѣ, и Чудово, и Питеръ, и Москва, и Малиновъ, и Грузино, и карета, и луна, и дилижансъ, и новый пріятель—все это снова распуталось и приняло въ умѣ и памяти Лирова настоящій толкъ и смыслъ, когда онъ, Лировъ, уже около разсвѣта, сладко дремалъ, сидючи въ томъ же самомъ дилижансѣ, который стоялъ передъ Чудовымъ почтовымъ домомъ, а теперь ѣхалъ въ Москву. Итакъ, Корней Власовичъ, поворачивай оглобли, да поѣзжай въ Москву; а въ Питерѣ еще подождутъ.

ГЛАВА VI.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ ПОѢХАЛЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

Вотъ изволите-ли видѣть, какъ дуренъ этотъ обычай, дѣлать напередъ уже надпись или заголовокъ передъ каждой главой! Евсей Стахѣевичъ только что отправился съ дилижансомъ и старымъ пріятелемъ своимъ въ Москву, а тутъ, вслѣдъ затѣмъ, уже поневолѣ пророчишь, что онъ опять поѣдетъ въ Петербургъ. Надобно однакожь пояснить еще первое обстоятельство; и вотъ какъ все это случилось:

Евсей Стахѣевичъ вошелъ въ первую комнату гости-

ницы Чудовой, какъ вдругъ невысокій черноволосый мужчина, въ зеленомъ мундирномъ сюртукѣ съ желтыми пуговицами, съ дорожною трубкою въ рукахъ, кинулся его обнимать. Лировъ узналъ стараго своего сослуживца тѣхъ инстанцій, о которыхъ мы уже говорили, упомянувъ о тавлинкахъ и бумажныхъ платкахъ. Это былъ запросто Иванъ Ивановичъ, и даже по прозванію только Ивановъ, бывшій писецъ и безчиновный — чтобы не сказать безчинный — служитель Жировскаго Земскаго Суда. Ивану Ивановичу стало тѣсно въ Земскомъ Судѣ, — да признаться ему и письмо какъ-то не давалось; онъ вышелъ на просторъ, пошелъ искать счастья по бѣлому свѣту, и попалъ, какъ видно, на большую дорогу. Лировъ съ тѣхъ поръ потерялъ его изъ глазъ и изъ памяти; встрѣча эта при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, все-таки обрадовала Евсея; по крайней мѣрѣ знакомое лицо, если смѣю назвать такъ Иванова; а Евсею уже тяжело становилось на чужбинѣ и грустно. Онъ разумѣется полюбопытствовалъ узнать званіе и мѣсто бывшаго сослуживца своего, которой разъѣжалъ себѣ такъ важно въ дилижансѣ между обѣими столицами, такъ развязно, такъ ловко принялъ стараго знакомца и распоряжался въ почтовомъ домѣ, какъ дома, приказавъ уже подать, на радости, бутылку лучшаго вина — слово за словомъ, и Евсей услышалъ собственными своими ушами, что Иванъ Ивановичъ, котораго онъ считалъ, по виду, по осанкѣ, по обращенію, покрайней мѣрѣ титулярнымъ совѣтникомъ, если не коллежскимъ ассесоромъ, что Иванъ Ивановичъ просто-за-просто, кондукторъ, проводникъ дилижанса. «О, по-

думалъ Евсей про-себя, при всемъ уваженіи моемъ ко всякому состоянію и ремеслу, даже и къ званію проводника дилижансовъ... но если попытка уѣзднаго жителя видѣть свѣтъ и служить въ столицѣ сулитъ такое или подобное этому блестящее поприще, тогда..... тогда.... «Но Иванъ Ивановичъ тряхнулъ Лирова за локоть, которымъ этотъ подперся было, повѣсивъ голову — тряхнулъ, раскачалъ и растолкалъ его дружески, понуждая выпить чудное вино. Но Лировъ замѣтилъ презрительную улыбку старика трактирщика, колченогаго голштинца, въ отвѣтъ на запросъ Иванова, и прочелъ на ярлыкѣ, хотя и мало смыслилъ толку въ винахъ, что цѣна этому чудному вину назначена была восемь гривенъ. Между тѣмъ Ивановъ, не спросивъ даже того, за чье здоровье опорожнилъ уже полбутылки этого краснаго ротвейна, то есть Лирова, куда и зачѣмъ онъ ѣдетъ, гдѣ служитъ, какъ служилъ доселѣ и прочее, принялся самъ разсказывать ему о кунстъ-камерѣ, которую теперь къ сожалѣнію разорили, и о грановитой палатѣ, которую привели въ положеніе; о памятникѣ Петру Великому, Минину и Суворову съ Пожарскимъ; о самородковомъ столпѣ Александра Благословеннаго; о царь-колоколѣ, выставленномъ недавно на фундаментъ, и объ англійской набережной, на которой лежатъ двѣ свинки, огромныя, какъ значится и въ самой на нихъ надписи; о Красной площади и объ Эрмитажѣ — и вездѣ онъ былъ, и все видѣлъ, и вездѣ принятъ какъ дома. Онъ продолжалъ въ этомъ духѣ, покуда наконецъ староста пришелъ доложить, что ямщики не хотятъ долѣе дожидаться и просятъ позволенія, коли

господа не поѣдутъ, отпрячь лошадей. — Между тѣмъ и Власовъ доносилъ, что повозка давнымъ давно-заложена и что пора, ей-богу пора ѣхать. Ивановъ вскочилъ, побѣжалъ опрометью и прилетѣлъ съ извѣстіемъ, что больной барынѣ полегче и что она собирается въ походъ. Лировъ сталъ прощаться, но Ивановъ не хотѣлъ этого слышать. «Сошлись, говорилъ онъ, черезъ восемь лѣтъ и старые товарищи и пріятели, а теперь разбѣжаться врознь! на что это похоже?» И при этихъ восклицаніяхъ размахивалъ онъ руками, словно мельница, и сшибъ со стола кожанымъ картузомъ своимъ порожнюю бутылку. Лировъ невольно отскочилъ и наступилъ на ногу содержателю гостиницы, старому подагрическому нѣмцу, который подкрался было къ столу, чтобы прибрать роковую бутылку эту, и теперь раскричался, разохался и разстонался, какъ будто насталъ его послѣдній часъ. А бѣдный Евсей уже стоялъ и кланялся и просилъ и извинялся. «Ну полно, полно, продолжалъ Иванъ Ивановичъ, вѣдь Иванъ Ивановичъ не сердится, я его знаю, онъ тезка мой и старый пріятель! Послушай же меня, Стахѣй Сергѣевичъ, такъ кажется зовутъ тебя? не откажи другу, поѣдемъ вмѣстѣ!» — Да послушай же и ты, — отвѣчалъ Лировъ, — я ѣду въ Петербургъ, а ты въ Москву; какъ же намъ ѣхать вмѣстѣ?

«Да зачѣмъ же ты ѣдешь въ Петербургъ?»

— Искать мѣста, хочется попытаться, не удастся ли пристроиться.

«Гдѣ? въ Петербургѣ? мѣсто? пристроиться? да какія тамъ въ Петербургѣ мѣста?»

— Какое найду; побьюсь, поколочусь, мнѣ не привыкать стать; авось добьюсь.

«Гдѣ, въ Питерѣ? Да какія тамъ мѣста, говорю я тебѣ, какія мѣста въ Питерѣ? Нѣтъ ни одного; кто жь тамъ у тебя есть, дядя сенаторъ, что-ли?»

— Хоть-бы лавочникъ какой былъ, такъ я бы и за то спасибо сказалъ; было-бы у кого пристать. Нѣтъ, я такъ ѣду, на вывези Господь; у меня нѣтъ тамъ никого.

«Шутъ ты прямой, да и только! и нашелъ же гдѣ искать мѣста, въ Петербургѣ! Стало быть у тебя нѣтъ тамъ никакого дѣла больше, никакой нужды?»

— Да, никакой больше, дай Богъ и съ этой одной управиться.

«Такъ полно бредить, коли такъ, поѣдемъ вмѣстѣ, у меня въ моемъ дилижансѣ и четвертыя мѣста оба порожнія; садись да поѣдемъ, все равно, чѣмъ ѣхать порожнякомъ, подвезу, да ужь за то на выборъ дамъ тебѣ мѣсто въ Москвѣ, какое захочешь. Да! въ Питерѣ нашелъ мѣсто!»

Евсей подумалъ: «вретъ-то онъ, вретъ, что мѣсто дастъ, это я знаю; коли самъ въ проводникахъ, такъ видно и у него нѣтъ дяди въ сенаторахъ; да вѣдь, правду сказать, мнѣ что Москва, что Петербургъ — оба равны; коли человѣкъ беретъ съ собою и еще даромъ, и познакомитъ мѣня можетъ статься хоть съ кѣмъ нибудь въ Москвѣ — почемужь не ѣхать? А говорятъ, дѣйствительно трудно найти мѣсто въ Питерѣ, да я и самъ говорилъ это напередъ Власову; сверхъ всего этого, мнѣ какъ-то душа говоритъ, что мнѣ надо-бы ѣхать въ Москву.....» Тутъ луна на ущербѣ,

и что-то темное, неясное, несвязное мелькнуло въ воображеніи Лирова, но онъ рѣшительно ничего объ этомъ не думалъ, не разсуждалъ, а сказавъ самъ себѣ: «нѣтъ, все это вздоръ; доѣхавъ за сто верстъ до Петербурга, было бы слишкомъ смѣшно и глупо воротиться въ Москву, когда и тутъ и тамъ виды и надежды мои одинаковы: поѣду въ Питеръ.» — Сказавъ это самъ себѣ, спросилъ онъ только Иванова, вовсе самъ не зная, что говорилъ: «да какъ же быть, у меня телѣга заложена и со мною человѣкъ.....» — О, объ этомъ не заботься, это мое дѣло. Это мигомъ уладимъ. — И Лировъ не успѣлъ ни опомниться, ни очнуться, какъ Ивановъ велѣлъ отложить телѣгу его, далъ Власову какую-то записку на мѣсто въ *сидѣйкѣ*, которая должна была придти, по словамъ г-на кондуктора, черезъ часъ или полтора, обнялъ и усадилъ Евсея съ задняго крыльца въ рыдванъ свой, и кони уже мчали его на Спасскую Полисть, въ Москву.

Евсей распустилъ на досугѣ поводья вольной вольницѣ своей, этой докучливой для насъ уносчивой думѣ, прищурилъ глаза и послѣ проходки въ Грузино и безпокойной ночи, заснулъ на зыбкомъ рыдванѣ мертвымъ сномъ и проспалъ два или три перегона, до самаго Новагорода. Въ крѣпкомъ и продолжительномъ снѣ, прошелъ онъ снова всѣ инстанціи своего служенія, подавалъ секретарю и членамъ огня и набивалъ трубки, наливалъ чернилъ, между тѣмъ какъ сторожъ отбиралъ у двухъ товарищей его, по приказанію секретаря, сапоги; потомъ перепечатывалъ, какъ наборщикъ, бумаги, глухо и слѣпо, не заботясь о содержа-

ніи ихъ; потомъ сидѣлъ уже самъ за зеленымъ сукномъ, и такъ далѣе. Но все это было озарено какимъ-то новымъ, таинственнымъ свѣтомъ; вездѣ и всюду видѣлъ онъ теперь въ углу, въ кіотѣ, на обычномъ мѣстѣ, какую-то ангельскую головку, которая завѣсила душеспасительныя очи свои темными рѣсницами; Лирову хотѣлось помолиться, но откуда онъ къ ней ни заходилъ, никакъ головка эта не хотѣла на него взглянуть, упорно потупивъ взоры. Вотъ около чего вертѣлись грезы его во всю ночь. Спросите, пожалуйста, снотолковательницъ вашихъ, что значитъ этотъ сонъ?

Дилижансъ остановился въ Новгородѣ, и Евсей, проснувшись и потянувшись, сталъ ощупываться и оглядываться, припоминая все, что надъ нимъ сбылось: казалось, все было хорошо и благополучно, а между тѣмъ Евсею какъ-будто чего недоставало, было что-то неладно или нездоровилось. Для приведенія этого обстоятельства въ ясность, онъ объяснился самъ съ собою откровенно, и по справкѣ оказалось, что онъ былъ просто-за-просто голоденъ. Итакъ, онъ позавтракалъ въ гостиницѣ, а доставая деньги на расплату, увидѣлъ, что съ нимъ была только одна мелочь, а бумажникъ хранился у казначея, Корнея Горюнова. Надобно, подумалъ Евсей, разсчитать, чтобы стало до Москвы. Въ Валдаѣ однакоже довольно пригожая дѣвушка уговорила его еще купить колокольчикъ съ надписью: «купи, денегъ не жалѣй, со мной ѣздить веселѣй; а другая, съ приговорками: ты мой баринушка, красавчикъ мой», втерла на двугривенный баранокъ. Отроду въ первый разъ Евсея назвали красавцемъ; ему это показалось такъ забавно, что онъ купилъ баранки

и грызъ ихъ дорогою, улыбаясь выдумкѣ затѣйливой продавщицы. Но въ Вышнемъ-Волочкѣ Евсей пожалѣлъ уже о своемъ мотовствѣ, потому что вспомнилъ еще одно непріятное обстоятельство: гдѣ найдетъ его Корней Горюновъ въ Москвѣ и скоро ли еще до нея доволочется? Власову вовсе не сказано было, гдѣ искать барина, да и баринъ еще самъ этого не зналъ. Поэтому Лировъ проѣхалъ Торжокъ не торговавшись, а притворясь спящимъ, не купилъ ни одной пары гнилыхъ, бараньихъ сапожковъ, хотя они продавались за козловыя и были ему очень нужны. Лировъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые иногда цѣлый годъ не думаютъ мотать, даже не рѣшаются купить и необходимое; но зато, пустившись однажды въ покупки, готовы закупить все, что ни видятъ глазами. Въ Твери Евсей забылъ вовсе о бумажной котлеткѣ, вошелъ въ гостиницу и спросилъ было поѣсть. Но когда въ биліардной раздалась во всеуслышаніе вѣсть, что: «уморительный чужестранецъ, который съѣлъ бумажку, опять прибылъ»—то Лировъ воротился въ дилижансъ и завалился спать. Долго слуга гостиницы ходилъ и высматривалъ и искалъ барина, который спрашивалъ закусить; но Евсей самъ себя не выдавалъ и поѣлъ уже въ Городнѣ.

Въ Черной Грязи, то есть на послѣдней станціи къ Москвѣ, словоохотливый Ивановъ наконецъ счелъ нужнымъ объясниться съ Лировымъ. Взявъ его подъ руку и отошедъ въ сторону, сказалъ онъ:

— Послушай, дружище, я взялъ тебя такъ, на свой страхъ — понимаешь, не на счетъ конторы, а отъ себя, по

дружбѣ и на порожнее мѣсто: такъ ужь ты, сдѣлай милость, въ Москвѣ гдѣ нибудь по дорогѣ слѣзь, а въ контору нашу не ѣзди, или не останешься ли можетъ статься здѣсь, въ Черной Грязи? Смотритель мнѣ человѣкъ знакомый, да отселѣ и недалече, попадешь въ Москву, когда захочешь.

Пріятное предложеніе, подумалъ Лировъ, и самое пріятельское! «Да помилуй, не ты ли сулилъ мнѣ, не только довезти меня до Москвы, но пристроить къ мѣсту? Покрайней мѣрѣ сдержи хоть первое обѣщаніе, да довези; вѣдь я не напрашивался, а ты самъ меня угостилъ!»

— Ну, не вдругъ же все, любезный; не горячись; мѣсто— это легко сказать, да и мѣсто мѣсту рознь. Пожалуй, мало-ли мѣстъ, и даромъ даютъ да никто не беретъ, что въ нихъ? Будетъ тебѣ и мѣсто, и все, только погоди; я вѣдь, видишь, по службѣ, по должности своей, всегда разъѣзжаю взадъ и впередъ промежду столицъ, Москвы то есть и Питера, и есть у меня основательные друзья и тутъ и тамъ,—и я тебя не позабуду; но разсуди самъ, какъ же мнѣ везти тебя въ контору свою? Тогда всѣ труды и безпокойство мое пропадутъ задаромъ, тамъ съ тебя сорвутъ, а ужь мнѣ ничего не достанется; а не двѣ же шкуры съ тебя сымать!

«Эге, подумалъ Евсей, да какъ же онъ вытерся и наметался!— А гдѣ же я найду послѣ всего этого человѣка своего, спросилъ онъ:—помилуй, что ты со мною дѣлаешь?»

— Человѣка? Э, онъ не пропадетъ! языкъ до Кіева доведетъ, да и окромѣ того, братецъ, вѣрь, по запискѣ

моей — вѣдь сидѣйки отъ насъ же ходятъ — по запискѣ моей его на рукахъ принесутъ, свяжутъ да привезутъ, коли заупрямится, а на мѣстѣ будетъ, объ этомъ не заботься.

«Да мѣсто-то велико: гдѣ я его найду въ Москвѣ?»

— Да, въ Москвѣ! ну то-то, видишь, поэтому тебѣ и лучше выждать его здѣсь; съ нимъ вмѣстѣ и отправишься! —

«А, такъ мнѣ сидѣть ночь и день на перепутьѣ и выжидать сидѣйки, чтобы не проглядѣть ее! Хорошо и это! Спасибо, другъ Иванъ Ивановичъ! ну, а что, если я тебѣ еще скажу, что при мнѣ теперь на лицо состоитъ только два двугривенныхъ, коли еще не одинъ пятиалтынный — не видать точекъ — и что деньги мои остались у человѣка?»

— Экой же ты шутъ подновинскій, ей-богу шутъ! Да кто же этакъ ѣздитъ? Ты думаешь проѣхать отъ Жирова до Малинова? Нѣтъ, братъ, тутъ безъ рубля нѣтъ и копейки, не какъ тамъ, безъ копейки рубля! Ну хорошо, что наткнулся ты на стараго пріятеля, на товарища, а другой-бы на это не посмотрѣлъ...

Евсей Стахѣевичъ уставилъ, по привычкѣ своей, глаза на Ивана Ивановича, сложилъ руки и началъ думать, такъ про себя; а отвѣчать не отвѣчалъ уже болѣе ничего. Но онъ этимъ не отдѣлался отъ стараго пріятеля и товарища: Ивановъ полѣзъ шарить съ задняго крыльца въ дилижансъ, вытащилъ оттуда старый плащъ Лирова и колокольчикъ, то есть все что тамъ было, сталъ развертывать и разглядывать, сперва плащъ, и замѣтилъ вслухъ, что онъ уже очень поношенъ: «Такъ ужь отдай мнѣ, Евсей Стахѣевичъ, продолжалъ Ивановъ, отдай до времени на дорогу хоть шине-

лишку эту, я поберегу тѣмъ часомъ свою отъ пыли, вѣдь моя стоитъ безъ малаго сто рублевъ!» И не выжидая отвѣта, сложилъ онъ плащъ и перекинулъ его на лѣвую руку, а правою поднялъ повыше колокольчикъ и прочиталъ по складамъ: «купи, денегъ не жалѣй, со мною ѣздить веселѣй», позвонилъ, прислушался и продолжалъ: «Экой проказникъ, Стахѣй Евстигнѣевичъ! да съ какой погудкой выбралъ, да заунывный какой! На чорта жь онъ тебѣ? Теперь чай ужь и безъ колокольчика доѣдешь, недалече, отдай мнѣ ужь и его, нашему брату, дорожному человѣку, пригодится!»

Замѣтивъ, что Евсей Стахѣевичъ на все это повидимому соглашается безпрекословно, что онъ былъ тихъ и смиренъ и кротокъ, и въ лицѣ у него «ни тѣни злобы», Ивановъ подошелъ къ нему, попотчивалъ его трубкой, убравъ уже на мѣсто и плащъ и колокольчикъ, и въ отвѣтъ на отказъ Лирова, который сказалъ, что не куритъ, заглянулъ какъбы мимоходомъ Евсею за воротникъ и спросилъ: «Да сертучишко у тебя никакъ сверхъ фрака надѣтъ, — аль нѣтъ?

— Нѣтъ, любезный товарищъ и дорогой пріятель, отвѣчалъ Лировъ довольно положительно, — не двѣ же шкуры съ меня сымать, какъ самъ ты сказалъ; сюртука я тебѣ не дамъ.

«Экой чудакъ!» сказалъ Ивановъ, захохотавъ, прикусивъ роговой наконечникъ пружиннаго чубука своего, свернутаго узломъ, и почесывая затылокъ, «экой чудакъ! Да кто же объ этомъ говоритъ? Ты ужь сейчасъ и Богъ знаетъ что подумалъ! Полно горевать», продолжалъ онъ, потрепавъ его

по плечу, «пріѣзжай-ка въ Москву, такъ гляди какъ зажи-вемъ, и мѣстечко найдется, да еще и служить будемъ вмѣстѣ; что ты задумался, а?»

И затѣмъ Ивановъ раскланялся дружески съ Лировымъ, обнялъ его, полѣзъ въ кожаный мѣшокъ свой подлѣ козелъ—и дилижансъ покатился. А Лировъ остался въ Черной Грязи.

ГЛАВА VII.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ ДѢЙСТВИТЕЛЬНО ПОѢХАЛЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

И потому еще нехорошо угадывать напередъ, въ заголовкѣ каждой главы разсказа, содержаніе ея, что не всегда угодишь да утрафишь; шестую главу, напримѣръ, помѣтили мы: «Евсей Стахѣевичъ поѣхалъ въ Петербургъ», а выходитъ, онъ не поѣхалъ, а сѣлъ въ Черной Грязи; поѣдетъ же, коли поѣдетъ,—въ седьмой.

Евсея, въ нынѣшнемъ безотрадномъ, истинно отчаянномъ положеніи его, безотчетно тянуло въ Москву, и онъ-бы вѣрно отправился туда, по способу Малиновскихъ прачекъ и кантонистовъ; но что будетъ съ Корнеемъ Горюновымъ? Евсей просилъ смотрителя убѣдительно сказать ему, если-бы ночью пришла сидѣйка, но получилъ отвѣтъ, что сидѣйки останавливаются на селѣ, у ямщиковъ, и что ухараулить ихъ трудно. Оказалось также, что все знакомство Иванова со смотрителемъ Черной Грязи ограничивалось тѣмъ только, что Ивановъ занялъ у него въ намеднишній

проѣздъ свой полтинникъ и теперь отдалъ, въ уплату долга, отнятый у Лирова колокольчикъ.

Чтобы не терять времени попустому, Евсей пустился думать, прохаживаясь по Черной Грязи; потомъ, опомнившись, пошелъ добиваться толку у ямщиковъ, гдѣ пристаютъ сидѣйки, потомъ, не добившись толку, потому-что сидѣйки разныхъ хозяевъ приставали въ разныхъ дворахъ, пошелъ опять думать. Такъ время шло незамѣтно, между дѣломъ и бездѣльемъ, и, судя по извѣстной пословицѣ, Евсей Стахѣевичъ развѣ отъ этого только не сошелъ съ ума, потому что положеніе его было въ самомъ дѣлѣ крайнее. Онъ заложилъ уже у содержателя гостиницы часы свои, которыхъ Ивановъ видно не доглядѣлъ, и все еще не зналъ какъ, гдѣ и когда сойдется съ вѣрнымъ своимъ Корнеемъ.

На третье утро, Лировъ сидѣлъ на крыльцѣ и думалъ: «такъ, такъ! я знаю, что я бѣдовикъ, и знаю, что мнѣ суждено, можетъ статься, для назидательнаго примѣра другимъ, терпѣть и пить горькую чашу весь свой вѣкъ. Чѣмъ же я провинился и за что все это валится на мою бѣдную головушку? Говорятъ, въ Испаніи или Португаліи, во время народныхъ зрѣлищъ, въ театрахъ, бьютъ негра палкой по головѣ, чтобы сосѣдъ его, дворянинъ, оглянулся, и тогда говорятъ этому вѣжливо: «Извольте сидѣть чинно». Можетъ быть и я родился на свѣтъ, чтобы служить такимъ же назидательнымъ примѣромъ для другихъ. При всемъ томъ — нечего дѣлать, мнѣ не учиться стать терпѣть; выждемъ конца; любопытно увидѣть, чѣмъ все это кончится, какія

искушенія суждены еще бѣдному потомку воронежскаго скорняка и какими путями приведетъ его судьба на общую сборную точку бѣдовиковъ и баловней своихъ, въ этотъ знаменитый ларецъ Фамусова, на свиданіе... да съ кѣмъ?»

Такъ размышлялъ Лировъ на свободѣ, носился отъ нечего дѣлать, закусивъ повода, и смирялся поневолѣ, какъ еще одинъ дилижансъ прибылъ изъ Петербурга-же въ Черную Грязь. Глядя на расторопнаго кондуктора, который званіемъ и мундирнымъ сюртукомъ своимъ рождалъ непріятныя для Евсея воспоминанія, онъ услышалъ, что тотъ освѣдомлялся, когда прошелъ дилижансъ № 7 и не было ли тамъ Лирова? Этотъ всталъ, подошелъ и къ неизъяснимой радости своей получилъ записку отъ Корнея Власова. Горюновъ писалъ чужою рукою, потому что былъ безграмотенъ, вотъ что:

«Ваше благородіе Евсей Стахѣевичъ! Связались вы, сударь, Богъ вѣсть съ кѣмъ, а старика своего и вѣрнаго слугу покинули на распутьѣ. Обманулъ онъ меня, обманетъ и васъ. А на сидѣйку въ Чудовѣ не приняли меня по запискѣ его, говорятъ, мы его и знать не хотимъ, а заплатить 25 рублей я не посмѣлъ, такъ отправился за вами пѣшкомъ, а чемоданъ и вещи всѣ покинулъ въ Чудовѣ, у смотрителя, въ чемъ и взялъ съ него росписку, что не станетъ требовать за это съ вашего благородія ничего, а взялъ по своей волѣ, изъ чести. Такъ ужь побойтесь Бога, да обождите меня старика, а мнѣ васъ, сударь, не нагнать; и ноги не тѣ, да и спина не служитъ; либо ужь накажите кому нибудь подъ Москвой, на послѣдней станціи, либо оставьте

записку, гдѣ наша будетъ фатера. Москва не Малиновъ, и такихъ какъ мы съ вами, сударь, тамъ много. А деньги ваши всѣ цѣлы; несу съ собою, чай по нихъ соскучились; да не сказывайте, сударь, никому объ деньгахъ, чтобы меня старика какой нибудь гуртовщикъ за нихъ не уходилъ; за тѣмъ остаюсь, вашего благородія — и прочее.»

Вотъ какую вѣсть свѣжій дилижансъ привезъ Лирову: легче ли стало ему отъ нея? Что тутъ было дѣлать и какъ быть? Чемоданъ и вещи въ Чудовѣ — Корней Горюновъ Богъ вѣсть гдѣ, тащится съ деньгами пѣшкомъ, а Евсей Лировъ въ Черной Грязи, въ долгу какъ въ шелку... Искать Корнея, такъ какъ-бы съ нимъ не разминуться; сидѣть тутъ — долго просидишь, покуда старикъ отмѣряетъ безъ малаго пятьсотъ верстъ; что тутъ дѣлать? Евсей наконецъ рѣшался было ужь раза два ѣхать назадъ, искать старика своего, да за малымъ дѣло стало: и часы уже почти проѣлъ безъ хозяйки и казначея своего, а ни ѣхать, ни даже идти пѣшкомъ—не съ чѣмъ. Такъ просидѣлъ Евсей еще три дня; — три дня въ такомъ положеніи стоятъ иныхъ трехъ лѣтъ; не ручаюсь, чтобы Евсей, при всей безпечности своей и уносчивости воображенія, не посѣдѣлъ, на 28-мъ году отроду, если просидитъ тутъ еще съ недѣлю.

Но гдѣ нужда, тутъ и помощь; и удивляться этому, какъ дѣлаютъ многіе, вовсе не изъ-чего, потому что безъ нужды не можетъ быть и помощи. Изъ Москвы ѣхалъ одинъ изъ благородныхъ, доблестныхъ по сердцу бояръ нашихъ въ Питеръ; ѣхалъ съ семьею и нанялъ цѣлый дилижансъ. Прибывъ въ Черную Грязь, узналъ онъ черезъ сострада-

тельнаго смотрителя о положеніи Лирова, выспросилъ его въ подробности, пожалѣлъ и сжалился надъ нимъ отъ души, хотя въ тоже время не могъ удержаться и отъ смѣху, за что впрочемъ добрый Евсей вовсе не гнѣвался. Затѣмъ бояринъ выручилъ бѣдовика нашего изъ тисковъ: уплативъ незначительные должишки его, предложилъ онъ ему мѣсто въ дилижансѣ своемъ, и Евсей тѣмъ охотнѣе воспользовался снисходительнымъ предложеніемъ, что почтенное семейство ѣхало медленно, со всѣми путевыми удобствами, постоянно останавливаясь для ночлеговъ; поэтому опасность объѣхать Власова и разминуться съ нимъ значительно уменьшалась. Лирову указали было мѣсто въ самой каретѣ, рядомъ съ воспитательницею или такъ называемою гувернанткою; но онъ испросилъ позволенія сѣсть на порожнее открытое мѣсто впереди, потому что ему отсюда гораздо половчѣй было окидывать глазомъ всю дорогу впереди и стеречь своего дядьку. Лировъ былъ веселъ, доволенъ и совершенно счастливъ. Благодарное сердце его таяло въ безпредѣльной признательности къ этому благородному семейству, которое, удостоивъ Лирова однажды своего покровительства, обходилось съ нимъ уже какъ съ роднымъ и почти успѣло его увѣрить, что одолженіе тутъ было на его сторонѣ, а не на ихъ.

На одномъ изъ перегоновъ, неподалеку Вышняго Волочка, рано утромъ Евсей Стахѣевичъ, какъ дѣлалъ это уже во весь путь, не спускалъ глазъ съ безконечной, по шнуру отбитой дороги, какъ вдругъ закричалъ такимъ дикимъ голосомъ, что всѣ спутники и спутницы его вздрогнули. Ди-

лижансъ остановился, и—Корней Горюновъ стоялъ, снявъ шапку, и глядѣлъ недовѣрчиво на рыдванъ; потомъ вдругъ смуглая, старая, поношеннаго товара рожа его прояснилась краснымъ солнышкомъ, и онъ, узнавъ барина своего, не могъ надивиться, нарадоваться, наговориться. Лировъ хотѣлъ было тутъ-же вылѣзть и откланяться, заговаривая несвязно о вѣчной благодарности; но его попросили сѣсть теперь въ карету, а старика усадили на передокъ. Горюновъ такъ радовался неожиданной развязкѣ этой, что забылъ все прошлое горе свое, забылъ сколько бѣдовалъ и горевалъ на пути своемъ и, сидя рядомъ съ проводникомъ, разсказывалъ ему уже, какъ онъ бывало въ полку, когда молодые ребята, измаявшись на тяжкомъ переходѣ, начнутъ отставать, бралъ по ружью на каждое плечо, по ранцу на грудь и на спину и съ присвистомъ пускался впередъ по дорогѣ въ присядку. «Вотъ», говоритъ Корней, «каковъ я былъ; послужилъ я въ свое время Богу и Великому Государю; бывало кто отстанетъ-ли нѣтъ-ли отъ рядоваго 1-й мушкатерской роты Корнея Горюнова, а Корней Горюновъ уже отъ другихъ не отстаетъ. Теперь не то: одолѣла поясница.»

Воспитательница, съ которою сидѣлъ теперь Лировъ, была, къ удивленію его, русская, женщина умная и образованная, бывшая воспитанница одного изъ благодѣтельныхъ казенныхъ заведеній нашихъ. Кто-бы тогда подумалъ, что маловажное обстоятельство это, то есть что Лирова посадили въ карету, и именно на это самое мѣсто, независимо отъ спутниковъ и милой сосѣдки его, будетъ для него собственно такъ важно и богато послѣдствіями?

Вельможа дорогою познакомился съ Лировымъ побли́же, спознался съ нимъ и, узнавъ нужды, виды и желанія его, обѣщалъ ему въ самыхъ скромныхъ выраженіяхъ свою помощь. Лировъ возносился уже на седьмое небо, съ совершенною довѣренностію къ новому счастію своему, когда случилось вотъ что:

Доѣхавъ еще засвѣтло до роковаго Чудова, гдѣ Лировъ принялъ въ цѣлости всѣ вещи свои и, несмотря на росписку, представленную Власовымъ; отблагодарилъ услужливаго смотрителя тороватымъ полтинникомъ, покровитель Лирова рѣшился ѣхать далѣе, потому что погода была очень хороша и ночь свѣтла; а какъ прошло уже отъ извѣстнаго намъ похожденія въ Чудовѣ двѣ недѣли, то луна была на прибыли. Поѣхали. Евсей, колыхаемый зыбкими пружинами колымаги и упоительными грезами услужливаго воображенія, заснулъ на полпути до Померанья, спалъ сладко, натѣшился и упился досыта какими-то удивительными и небывалыми снами и вошелъ въ Помераньѣ въ гостиницу, съ намѣреніемъ опохмѣлиться, какъ русскій человѣкъ, послѣ этой неумѣренной, разгульной пирушки. Выпивъ полбутылки меду, Евсей воротился, въ потьмахъ, съ какою-то самодовольной улыбкой благополучія на устахъ и, почти не разводя обремененныхъ блаженными грезами вѣкъ, полѣзъ опять въ дилижансъ на свое завѣтное мѣстечко, приклонилъ головушку на правую сторонушку, и какъ ему показалось, что сопутница, отдѣленная отъ него только на ширину сидѣнья переборкою, почивала, то онъ, продолжая жмуриться и щуриться, сидѣлъ тише воды ниже травы.

Дилижансъ скоро покатилъ, и Евсей, который никогда еще не былъ такъ близокъ къ конечному исполненію своихъ надеждъ и желаній, мечталъ и уносился Богъ вѣсть куда, когда, послышавъ вдругъ людской говоръ и лай собакъ, раскрылъ глаза и увидѣлъ, или, лучше сказать, ничего не увидѣлъ, потому что молодая луна уже закатилась и онъ сидѣлъ въ непроницаемыхъ потьмахъ. Но вслѣдъ затѣмъ блеснула какая-то зарница и мелькнуло видѣніе, отъ котораго Евсей, въ сладостномъ изнеможеніи, не смѣя пошевелиться, сидѣлъ или почти лежалъ, какъ разбитый параличемъ. Съ полминуты спустя—еще разъ тоже: его обдало зарницей; Евсей быстро раскрылъ глаза и успѣлъ еще уловить мелькомъ, на лету, тоже самое неизъяснимо-милое видѣніе, котораго и самый слѣдъ исчезалъ скорѣе молніи.

Передъ сомкнувшимися очами Лирова играли во мракѣ какіе-то вьюны и змѣйки изъ едва-видимыхъ точекъ; бахромчатыя кисти распускались багровымъ макомъ и изумрудными махровыми цвѣтками, между тѣмъ какъ Евсей, не смѣя дохнуть, старался сообразить: что такое съ нимъ сталось? Съ полгодины сидѣлъ онъ, какъ дряхлый старикъ, съ онѣмѣлыми членами; наконецъ опомнился, приподнялся, перевелъ духъ тихо и протяжно, глядѣлъ во всѣ глаза и во всѣ стороны—и ничего не видѣлъ, ничего не понималъ. Все это ему казалось такъ странно, такъ непонятно, что онъ долго еще сидѣлъ съ открытыми глазами, прислушиваясь къ однообразному стуку колесъ и крику ямщика. Замѣтивъ, что сосѣдка его не спитъ, рѣшился онъ сказать ей что нибудь, и съ тѣмъ вмѣстѣ убѣдиться, живъ-ли онъ

еще, или покрайней мѣрѣ не спитъ-ли и самъ, и не видѣлъ ли то, что видѣлъ, во снѣ?

«Такъ вы, сударыня, воспитывались въ Смольномъ?» спросилъ онъ голосомъ провинившагося школьника и кромѣ того очень кстати.

— Нѣтъ-съ, въ Патріотическомъ институтѣ, — отвѣчалъ робкій, но послушный голосокъ.

Лировъ приподнялъ брови и уши почти на самую макушку, глядѣлъ на невидимку во всѣ глаза и опѣшилъ вовсе. Голосъ чужой и незнакомый, и вовсе не тотъ, которымъ говорила обыкновенно милая его сосѣдка, воспитанная, какъ онъ давно уже зналъ наизустъ, въ Смольномъ. Бѣдный Евсей сидѣлъ въ этомъ положеніи нѣсколько минутъ и наконецъ опять рѣшился спросить: «И давно вы уже оставили это заведеніе?» — Шестаго числа будетъ семь мѣсяцевъ, — отвѣчалъ тотъ же несмѣлый и покорный голосокъ.

Евсей опустилъ руки, поднялъ вверхъ голову, прислонился къ заспинкѣ и въ этомъ положеніи сидѣлъ, уже рѣшительно не смѣя дохнуть, до самаго Чудова, гдѣ надъ нимъ совершалось уже второе чудо. Какое-жь второе? спросите вы.—Да развѣ это не чудо, что, выѣхавъ изъ Чудова, онъ опять воротился въ Чудово? Дилижансъ остановился, подали фонари, и Лировъ увидѣлъ, къ величайшему изумленію своему, что двери рядомъ съ нимъ растворились и что вышелъ оттуда — тотъ же самый мужчина со звѣздой, который слишкомъ за двѣ недѣли, на этомъ же самомъ мѣстѣ, насмѣшливо спрашивалъ спутницъ своихъ:

«не попросить-ли этого товарища въ карету?» Такъ часто мы пророчимъ на свою голову, такъ часто сбывается неожиданное, неправдоподобное; неожиданное вчера, а сегодня сбыточное и вѣроятное! Думалъ-ли человѣкъ со звѣздой, что черезъ двѣ недѣли этотъ неказистый чудакъ въ изношенномъ сюртукѣ своемъ дѣйствительно будетъ сидѣть въ одномъ съ нимъ дилижансѣ, который былъ взятъ имъ весь, и слѣдовательно принадлежалъ ему, звѣздоносцу, исключительно? Думалъ-ли это и самъ Евсей? И наконецъ, думалъ-ли онъ же, когда сидѣлъ въ Малиновѣ и водилъ нерѣшительно пальцемъ по картѣ между Москвою и Петербургомъ, что ему суждено будетъ скитаться на самомъ дѣлѣ и не пальцемъ только, а всею особою своею, нѣсколько недѣль сряду туда и сюда, и наконецъ не побывать ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ?

ГЛАВА VIII.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ ПОѢХАЛЪ ВЪ МОСКВУ.

Увидѣвъ человѣка со звѣздой и вовсе незнакомаго кондуктора, который высаживалъ этого большаго барина подъ руки, услышавъ еще какъ звѣздоносецъ, оборотясь къ дверямъ, откуда вылѣзъ, сказалъ, взглянувъ на часы: «мы съ развѣтомъ будемъ въ Спасской Полисти»,—Евсей прижался въ уголъ, съ нетерпѣніемъ выждалъ только, чтобы кавалеръ звѣзды и проводникъ отошли подальше отъ кареты, отворилъ самъ дверцы свои, выскочилъ и отбѣжалъ, не оглядываясь, шаговъ на сто; потомъ остановился онъ и на-

чалъ опять медленно подходить, какъ посторонній человѣкъ, который любопытствуетъ посмотрѣть на новопріѣзжихъ. Евсей вглядывался и всматривался, сколько темнота ночи позволяла, въ дилижансъ, въ окружающихъ его людей, въ почтовый домъ, въ кондуктора, въ смотрителя, и убѣдился наконецъ, что опять стоялъ въ Чудовѣ; дилижансъ, въ которомъ онъ пріѣхалъ, отправлялся въ Москву; женщины не выходили, но вѣдь онъ видѣлъ самъ,—во снѣ или наяву?— видѣлъ два раза мелькомъ ту же самую ангельскую головку, которая озадачила его уже разъ, здѣсь же, въ Чудовѣ, и потомъ опять являлась ему въ грезахъ, за кіотами, въ покояхъ разныхъ степеней его служенія; мужчина же былъ явно тотъ самый, который, проѣзжая Чудово, недѣли двѣ тому слишкомъ, повстрѣчалъ здѣсь Лирова и обошелся съ нимъ такъ по-господски — и еще, помните? похитилъ въ глазахъ его эту ангельскую головку, закинутую немного назадъ, когда разглядывала она луну на ущербѣ, а Лировъ, въ то же время, расположился еще, какъ противень или дружка, рядомъ съ верстовымъ столбомъ. Успѣлъ-ли, нѣтъ ли нашъ бѣдный Евсей дослѣдиться до горестнаго для него заключенія, что онъ сѣлъ въ Померанье не въ свои сани, во встрѣчный дилижансъ, на случайно порожнее мѣсто, второе съ лѣвой стороны, т. е. тоже самое, которое досталось ему по отводу въ дилижансѣ московскаго покровителя его; не успѣлъ онъ, говорю я, сообразить все это, какъ кавалеръ звѣзды сѣлъ уже снова въ карету и она покатилась на Спасскую Полисть. Тогда только, и то исподволь, густой туманъ въ головѣ Стахѣевича сталъ по-

немногу проясняться. Бѣдовикъ нашъ, догадавшись въ чемъ дѣло, счелъ уже почти излишнимъ удивляться этому довольно странному приключенію, убѣдившись только еще положительнѣе, что норовистая судьба также нашла дорогу изъ Малинова до московской дороги, на которой теперь снова такъ жестоко и неотвязчиво преслѣдовала свою игрушку.

«Что я стану дѣлать, Создатель мой?» подумалъ Евсей, сложивъ руки, повѣсивъ голову и стоя въ потьмахъ на распутьѣ; «что я стану дѣлать? Здѣсь, въ Чудовѣ, мнѣ нельзя и показаться; подумаютъ, что я рехнулся; да притомъ зачѣмъ и къ чему показываться? Что мнѣ здѣсь дѣлать, чего искать тутъ? А что между тѣмъ подумаетъ благодѣтель мой, и какъ разгадаетъ куда я дѣвался? — И что теперь дѣлаетъ мой Власовъ, и гдѣ онъ? Ну, что, если его увезли въ Питеръ, а я опять остался съ двумя двугривенными, изъ которыхъ можетъ быть одинъ даже пятиалтынный?»

Такъ бродило долго въ головѣ Лирова; десять разъ подходилъ онъ украдкою къ почтовому дому и глядѣлъ на сальный огарокъ, въ окно; наконецъ разсудилъ, однакоже, что не сидѣть же въ Чудовѣ, въ ожиданіи третьяго чуда, поглядѣлъ вокругъ, вздохнулъ и отправился, по образу пѣшаго хожденія, впередъ, въ Померанье.

Онъ шелъ, заложивъ руки въ карманы, повѣсивъ голову, потупивъ очи, потому что смотрѣть въ потьмахъ было не на что, думалъ, и наконецъ сталъ вовсе въ тупикъ; остановившись, поднялъ онъ голову, началъ припоминать видѣніе свое и дрожь пробѣжала по всѣмъ хребто-

вымъ позвонкамъ его, какъ неразумные пальцы какого-нибудь малоумнаго по костянымъ клавишамъ фортепіано. Евсей помоталъ головой, пожалъ плечами и пошелъ впередъ. Теперь только ему пришло въ голову, что онъ могъ-бы по крайней мѣрѣ справиться у проводника, кто таковъ этотъ загадочный сановитый кавалеръ звѣзды, и какія съ нимъ ѣдутъ барыни, а слѣдовательно и узнать.... Но глубокій и трепетный вздохъ остановилъ дерзкую думу эту, и Евсей опять уже былъ готовъ сойти съ ума, при одной мысли о неизъяснимомъ видѣніи своемъ.

А видѣніе это явилось такъ просто, такъ естественно, какъ дѣлается все на свѣтѣ; и Лировъ также точно плуталъ, какъ люди обыкновенно дѣлаютъ при подобныхъ случаяхъ. Въ дилижансѣ, изволите-ли видѣть, противъ каждаго мѣста придѣлано зеркало; проѣзжая въ темную ночь селеніе, свѣтъ изъ окна избы иногда ударяетъ прямо въ зеркало противъ васъ: тогда обдаетъ васъ зарницей, и если вы во-время взглянете въ зеркало и приняли притомъ надлежащее положеніе, то можете увидѣть призракъ вашего сосѣда, отдѣленнаго отъ васъ только полупереборкой; а если сосѣдъ этотъ или сосѣдка безконечно мила и дремлетъ, закинувъ головку на подушку и разметавъ кудри свои, то все это явится вамъ и въ видѣніи, которое промелькнетъ только молніей и исчезнетъ. Если вамъ случится ѣхать въ такомъ зеркальномъ дилижансѣ, то можете испытать все это на дѣлѣ. Итакъ, Евсей сидѣлъ рядомъ съ существенностію этого видѣнія; просидѣлъ рядомъ въ темную ночь и глазъ-на-глазъ часа три, и успѣлъ только узнать, что

она институтка и что шестаго числа будетъ семь мѣсяцевъ какъ она увидѣла свѣтъ — не въ томъ смыслѣ, какъ говорится это о новорожденномъ, не лучи солнечные, а міръ, то есть не тишину и спокойствіе, а напротивъ суету свѣтской жизни, пыль, дымъ и чадъ. Да, всего этого не знала и не вѣдала она, когда сидѣла неоперившимся птенцомъ, въ пушку, подъ заботливымъ крылышкомъ своей доброй *maman*, въ Патріотическомъ институтѣ, на Васильевскомъ острову, противъ Морскаго кадетскаго корпуса, гдѣ прозябали и мы когда-то, давно—а русская пословица стараго поминать не велитъ. Итакъ, Лировъ только это и узналъ, и въ продолженіе таинственной поѣздки своей больше ничѣмъ не воспользовался.

Между тѣмъ Евсей все шелъ да шелъ и все думалъ — и наконецъ сказалъ вслухъ: «И возможно-ли, сбыточное-ли это дѣло, чтобы я просидѣлъ съ нею рядомъ цѣлую ночь и догадался и узналъ объ этомъ уже тогда, какъ тащусь голодный, усталый и измученный цѣлый перегонъ пѣшкомъ, и съ каждымъ шагомъ вдвойнѣ отъ нея удаляюсь! Неужели все это истина и я не сплю, не во снѣ, не въ бреду и не сошелъ съ ума? Или весь свѣтъ оборотился вверхъ дномъ и обрушился на меня, бѣдовика?» Это проговорилъ онъ вслухъ, да некому было подслушать его: все вокругъ мертво, темно и тихо!

Да, Евсей Стахѣевичъ, еслибы вы подстерегали, что теперь говоритъ вѣрный слуга и сподвижникъ вашъ Корней Власовъ, такъ вы-бы опять присказку его примѣнили къ себѣ, какъ намедни, когда онъ, ломая изъ себя кирасира,

подбоченился и кричалъ презрительно: не пылить пѣхота, не пылить!

А Корней Власовичъ, сидя въ раздумьѣ въ Помераньѣ и разсуждая о томъ, что онъ потерялъ барина своего и что не надо было пускать его ни на шагъ, ни на пядь отъ кареты, что такъ всегда русскій человѣкъ бываетъ крѣпокъ заднимъ умомъ, прибавилъ еще къ этому вотъ что: мужикъ видѣлъ во снѣ горячій кисель, да не случилось ложки, нечѣмъ было похлебать; на другую ночь мужикъ догадался: легъ спать да взялъ съ собою ложку, такъ ужь не видалъ киселя. И вотъ эту-то присказку Евсей Стахѣевичъ примѣнилъ-бы теперь, можетъ статься, къ себѣ, если-бы ее услышалъ. Но присказка говорилась съ вечера, а Лировъ пришелъ уже въ Померанье, выбившись почти вовсе изъ силъ, часу въ десятомъ утра; смотритъ, у подъѣзда, гдѣ всегда становятся дилижансы, все пусто, ни колеса, ни полоза; одинъ только Корней Горюновъ сидитъ подгорюнясь на крыльцѣ почтоваго дома и вздыхаетъ тяжело и глубоко, будто везетъ на себѣ возъ сѣна, и охаетъ и крестится, поминая безъ вѣсти пропавшаго барина своего, съ которымъ, то есть съ пропавшимъ, не зналъ какъ быть и что дѣлать.

Лировъ узналъ, что дилижансъ ушелъ уже съ разсвѣтомъ; бояринъ, принявшій такое родное участіе въ судьбѣ Евсея, очень по немъ заботился и безпокоился, прождалъ до разсвѣту, разсылалъ верховыхъ во всѣ стороны, но наконецъ разсудивъ, что человѣкъ, въ своемъ умѣ, не можетъ же провалиться сквозь землю, и выслушавъ разсказъ

Власова, что баринъ его и намедни выкинулъ было такую же штуку, отправившись ни съ того ни съ сего пѣшкомъ въ Грузино — сказалъ: съ такимъ чудакомъ, а можетъ быть и полоумнымъ, мудрено будетъ справиться, да и ждать его мнѣ право недосугъ; и затѣмъ уѣхалъ. Корней Горюновъ, теряясь въ догадкахъ, разсказалъ, правда, для примѣра, быль, что у нихъ въ полку солдатъ пропалъ, было безъ вѣсти, да отыскали его въ передней на лавкѣ, гдѣ онъ былъ заваленъ съ ногъ до головы шинелями; онъ былъ хмѣленъ, говоритъ Власовъ, да прилегъ, его въ потьмахъ и завалили; — но примѣръ этотъ не слишкомъ утѣшилъ нашего боярина, который думалъ еще, можетъ быть, видѣть въ этомъ намекъ на незнакомую ему доселѣ слабость Лирова. Вотъ какъ нашъ Власовъ поправляется изъ кулька въ рогожу, и вотъ что называется по-русски: простота хуже воровства.

Лирову стало такъ совѣстно передъ благороднымъ человѣкомъ, которому былъ столько обязанъ, такъ совѣстно, что онъ уже никакъ не могъ рѣшиться ѣхать за нимъ вслѣдъ въ Петербургъ; Евсею казалось, что происшествіе это должно было, какъ блаженныя памяти во градѣ Малиновѣ, надѣлать въ столицѣ столько шуму и тревоги, что его, Лирова, вѣрно ожидаютъ уже у Московской, въ Петербургѣ, заставы и отъ самой заставы этой по всѣмъ улицамъ и переулкамъ будутъ встрѣчать и провожать любопытные съ насмѣшливой улыбкой и поклонами. Сверхъ этого, какъ показаться на глаза благодѣтелю своему, и опять, какъ, будучи въ Питерѣ, не показаться? Словомъ, онъ изъ этой ловушки

не видѣлъ лазейки, и несмотря на волчій голодъ свой, принялся за поданный ему завтракъ въ самомъ отчаянномъ расположеніи духа. Смотритель, какъ человѣкъ опытный, наглядѣвшійся на проѣзжихъ всякаго покроя, тотчасъ угадалъ, что этотъ не погнушается вступить съ нимъ въ бесѣду; подсѣлъ, началъ мотать разговоръ на свой ладъ и разсказавши, что прослужилъ въ незапамятныя времена девять лѣтъ вахмистромъ, что былъ потомъ въ Москвѣ квартальнымъ поручикомъ, поймалъ въ 1812 году семь возовъ міродеровъ, то есть мародеровъ, съ семью возами клади, что за это не поровну досталось, а кому чинъ, кому блинъ, а ему, квартальному поручику, клинъ; что онъ, не клинъ то есть, а квартальный, былъ во всѣхъ сраженіяхъ и въ разныхъ командировкахъ, не разъ жизнь терялъ, и прочее, и прочее,—нашатнулся случайно опять на бѣду бѣдовую Евсея Стахѣевича и никакъ не могъ понять, какимъ образомъ это могло приключиться, такое происхожденіе — и въ десятый разъ сталъ допытываться: «по знакомству-ли Евсей Стахѣевичъ пересѣлъ въ другой дилижансъ, или отъ погрѣшности?» И Лирову теперь только вошло въ голову спросить смотрителя, не знаетъ ли онъ, кто таковы были проѣзжіе, къ которымъ бѣдный Евсей подсѣлъ незваннымъ гостемъ. «Кому же знать, коли не намъ,» отвѣчалъ смотритель самодовольно: «генералъ этотъ высокородный, по нашему по старинному бригадиръ, а по фамиліи прозывается онъ господинъ Оборотневъ. Ужь онъ вотъ на одномъ мѣсяцѣ другой разъ взадъ и впередъ проѣхалъ, видно по дѣламъ какимъ; а онъ, говорятъ, опекуномъ у барынь этихъ, да ни-

какъ еще и женихъ, какъ сказывалъ намедни человѣкъ его, такъ съ ними вотъ все и ѣздитъ.» Долго мялся и таился Евсей, но наконецъ, раздумавъ и разсудивъ основательно, что чинъ и прозваніе опекуна и жениха никакъ не могутъ вести къ заключенію о званіи и прозваніи опекаемыхъ, то есть находящихся у него подъ опекою, рѣшился, да, рѣшился налить полный стаканъ квасу, поднести его вплоть ко рту, спросить скороговоркою, упершись глазами въ стаканъ: «а кто таковы барыни эти, вы, чай, не знаете?» и вслѣдъ за этимъ осушить бычкомъ, безъ разстановки, весь стаканъ. Когда же смотритель объявилъ съ прежнимъ самодовольствіемъ, что эта была помѣщица Голубцова съ дочерьми,—то я уже то неожиданное обстоятельство, что стаканъ не выкатился изъ рукъ Лирова и не расшибъ стоявшей подъ нимъ тарелки, приписываю тому, что преслѣдующая Лирова злая судьба едва-ли не натѣшилась надъ бѣдовикомъ нашимъ до-сыта, и едва-ли не хочетъ уже нынѣ исподволь надъ нимъ смиловаться. Въ самомъ дѣлѣ, удивленіе Лирова, изумленіе, испугъ и пораженіе его были свыше всякаго описанія; Евсей такъ быстро измѣнился въ лицѣ, что даже и смотритель привсталъ со стула своего и не договорилъ послѣдняго слова. Лировъ повторилъ тотъ же вопросъ, едва не заставилъ старика смотрителя присягнуть, не только побожиться, далъ ему за неожиданную и повидимому добрую вѣсть цѣлковый; потомъ походилъ взадъ-и-впередъ по комнатѣ, схватилъ съ карниза печки лучинку, остановился, разглядѣлъ ее пристально, будто еще колебался какъ съ нею быть; лицо его загорѣ-

лось; въ немъ сильно выразился переходъ къ какой-то геройской рѣшимости: быстрымъ и сильнымъ движеніемъ рукъ Евсей переломилъ завѣтную лучинку на двое, развелъ концы, поглядѣлъ на нихъ, кинулъ и вдругъ объявилъ съ твердостію, которая совсѣмъ къ нему не шла, что онъ ѣдетъ назадъ, въ Москву. Вслѣдъ за тѣмъ началъ онъ торопить смотрителя, преслѣдуя его шагъ за шагомъ, пуще всякаго фельдъегеря. Смотритель, повторяя на ходу: «сейчасъ, сейчасъ», поглядывалъ искоса на Лирова, какъ глядятъ на человѣка, у котораго на вышкѣ обстоитъ неблагополучно, или покрайности сомнительно, а краснорѣчиво-могучее: *пустяки, сударь*, которымъ Корней Горюновъ хотѣлъ угомонить и озадачить барина своего, ударило какъ горохъ въ стѣну и не удостоилось даже отвѣта. Это въ свою очередь озадачило и сбило съ толку Власова; получивъ повторительное приказаніе укладываться, онъ уже не нашелся, особенно когда сѣрые, вопросительные глаза его встрѣтились съ положительнымъ отвѣтомъ темно-карихъ очей Лирова. Власовъ, вздохнувъ, вышелъ укладывать аммуницію барина въ повозку, и ворчалъ при этомъ вслухъ: «вяжи да путай, верти да кутай, мотай да плутай — авось до чего нибудь доѣздимся. Пожалуй! мнѣ все равно: я не пропаду, завези меня куда хочешь; да ужь пѣшкомъ не пойду его искать въ другой разъ по бѣлому свѣту, хоть тони, хоть гори!» И въ сердцахъ выкинулъ порожнюю бутылку отъ Киліановской примочки, чего-бы въ полномъ и здравомъ умѣ своемъ конечно никогда не сдѣлалъ. Видно, оба они повихнулись: и хвостъ и голова, и баринъ и слуга, или оба добились до ума.

Телѣгу подали, Евсей сѣлъ, поскакалъ и гналъ и въ хвостъ и въ голову.

ГЛАВА IX.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ ДО ЧЕГО-НИБУДЬ ДОѢЗДИЛСЯ.

Поведеніе Лирова передъ отъѣздомъ его изъ Померанья въ самомъ дѣлѣ было очень странно. Что какая нибудь нечаянная и неожиданная вѣсть его изумила, что онъ, опомнившись и сообразившись, вдругъ рѣшился ѣхать назадъ и догонять, во что бы ни стало, дилижансъ, изъ котораго самъ наканунѣ выскочилъ и бѣжалъ какъ отъ огня — все это еще понять и объяснить кой-какъ можно; хотя при всемъ томъ весьма сомнительно, чтобы онъ догналъ на шестистахъ верстахъ дилижансъ, который ушелъ уже верстъ за сотню впередъ; но что значитъ гаданье это или ворожба на лучинкѣ, и можно-ли было предполагать въ Лировѣ, съ которымъ мы ознакомились уже довольно коротко, такое ребячество или суевѣріе? Но объ этомъ послѣ; поспѣшимъ теперь за Лировымъ: онъ скачетъ сломя голову, и если мы отъ него отстанемъ, то можетъ быть намъ также трудно будетъ догнать его, какъ и ему теперь ушедшій отъ него таинственный дилижансъ.

Корней Горюновъ молчалъ или ворчалъ про-себя и далъ барину своему уходиться, проскакавъ съ нимъ во всю ивановскую безъ одной двадцать станцій, то есть до самаго Клина, и дивился только и смотрѣлъ, откуда взялась рысь! Прежде бывало, коли Власовъ не придетъ доложить, что

лошади готовы, такъ баринъ просидѣлъ да продумалъ-бы пожалуй хоть до вечера; а теперь — и мечется и суетится и упрашиваетъ и бранится, да еще и соритъ деньгами; что это за диво? Этакъ, пожалуй, проскакать можно еще разъ пятокъ отъ Клина до Померанья, коли хватитъ единовременнаго жалованья, да чтожь въ этомъ будетъ проку? На каждой станціи Власовъ собирался требовать въ этомъ отвѣтъ и отчетъ у барина своего; но этотъ былъ всегда такъ неусидчивъ и недосуженъ, что ни разу не дослушалъ и половины предисловія Власова, когда этотъ подходилъ, прокашлявшись, и начиналъ: «Евсей Стахѣевичъ! служилъ я вѣрой и правдой Царю Государю своему 25 лѣтъ»..... или «у насъ, сударь, въ полку былъ».. и прочее. Поэтому Власовъ заглянулъ еще разъ въ бумажникъ и въ кошелёкъ, рѣшился и положилъ, чтобы барину его Клинъ клиномъ пришелся, чтобы тутъ кончить и развязать дѣло, во что бы то ни стало. А потому, когда Евсей легъ потянуть разбитые хрящи и кости свои на столь знакомый всѣмъ проѣзжимъ кожаный диванъ, на которомъ днемъ можно еще лежать довольно безопасно, то Власовъ, проворчавъ предисловіе свое на дворѣ и на крыльцѣ, вошелъ и началъ прямо съ дѣла, такъ: «А что, сударь Евсей Стахѣевичъ, долго мы будемъ еще этакъ ловить чорта за хвостъ, гоняться безъ толку промежъ Питера и Москвы, словно насъ кто съ тылу жегаломъ ожегъ?»

Лировъ. Недолго. Поди спроси, давно ли проѣхалъ дилижансъ съ Оборотневымъ.

Власовъ. Чего, сударь, спрашивать, помилуйте, да онъ

давно въ Москвѣ; и ямщики всѣ говорятъ, и смотритель говоритъ, что давно въ Москвѣ. Власть ваша, Евсей Стахѣевичъ, а это, сударь, пустяки, ей-богу пустяки!

Лировъ. Не ворчи же, старый хрычъ, ты мнѣ надоѣлъ; вотъ тебѣ полтинникъ, поди выпей да лягъ въ телѣгу и спи.

Власовъ. Не видалъ я, сударь, вашего полтинника! Да я, сударь, украду его у чужаго человѣка, а отъ васъ не возьму даромъ; полтинникъ! да вы, сударь, ужь 17 рублевъ съ полтиной моихъ проѣздили, такъ что мнѣ полтинникъ вашъ.

Лировъ. Какъ — твоихъ проѣздилъ?

Власовъ. Да такъ, сударь, проѣздили, да и только. Я еще въ Твери докладывалъ вамъ, что деньги всѣ, а вы знай молчите; чтожь я стану дѣлать? Тутъ дѣло дорожное, помѣчать негдѣ, а ужь я ихъ не укралъ, мнѣ вашего не надо. Тутъ вы думаете по нашему? Нѣтъ, сударь, двугривенный за миску щей, а щи хоть портянки полощи, да еще и хлѣба не даетъ, собака, и никому даже не уважаетъ!

Лировъ. Какъ, всѣ, братецъ? Неужто—не деньги-мелочь, а что было въ бумажникѣ — неужто онѣ всѣ!

Власовъ. Да вотъ онъ, сударь, бумажникъ: извольте считать, много-ли найдете! У меня своихъ никакъ рублевъ со сто шестьдесятъ наберется — и будемъ ѣздить, поколѣ до чего нибудь не доѣздимся; ваша власть.

«Кой-чортъ, моя власть», подумалъ Лировъ, вскочилъ съ дивана и принялся ходить по комнатѣ. Да, подлинно въ Клинѣ ему свѣтъ клиномъ сошелся, въ Черной Грязи по-

сидѣлъ онъ въ грязи; одно только Чудово озарило его чудомъ, да и то не знаетъ еще чѣмъ оно кончится и куда потянетъ, не то опять въ грязь, не то на чистую воду — а Евсей, чай, боится и того и другаго.

Евсей нашъ думалъ, думалъ, думалъ — и ничего не выдумалъ. Теперь уже все равно, разсудилъ онъ наконецъ, торопиться некуда, ужь я ихъ не нагоню; переночую — а видно нечего больше дѣлать, какъ пуститься искать ихъ въ Москвѣ. Искать! а гдѣ искать? и чѣмъ доѣхать и чѣмъ тамъ прожить? Стало смеркаться. Евсей не смѣлъ спросить чаю, а велѣлъ подать стаканъ воды. Власовъ поставилъ его на окно и вышелъ; а баринъ его, походивши, хотѣлъ выпить воду эту, да хлебнулъ фонарнаго масла и чуть не подавился поплавкомъ ночника, который былъ устроенъ въ стаканѣ же, и стоялъ на окнѣ, рядомъ со стаканомъ воды. Евсей выплюнулъ, запилъ водою и пошелъ на крыльцо; а здѣсь одна изъ почтовыхъ красавицъ, поигрывая какъ кошка въ сумерки, лукнула поперекъ крыльца въ ямщиковъ метлой, и бѣдный Евсей, подвернувшись, не успѣлъ даже закрыться отъ нея рукой. Изо всего этого Евсей заключилъ, что недобрый, который обошелъ его видно при самомъ рожденіи, все еще его не покинулъ, и что надобно, собравшись съ духомъ, выжидать конца, утѣшаясь поговоркою нашихъ калмыковъ, которые говорятъ, въ такомъ случаѣ, только: «что дѣлать, она ево такъ не будишь, она ево какъ нибудь да будишь». Евсей зналъ по опыту, что всякая большая бѣда сказывалась ему напередъ бездѣльными досадами и непріятностями и наоборотъ, всякое несчастіе отзывалось

еще нѣсколько времени докучливыми мелочными перекорами; поэтому онъ и былъ увѣренъ, что все это дѣлается теперь или на новую бѣду, или въ поминъ старой, которая выпроводила его въ недобрый часъ на московскую большую дорогу, протаскала взадъ и впередъ, туда и сюда, и наконецъ отвела самый безтолковый ночлегъ въ Клинѣ, заставивъ издержать преждевременно всѣ поскребыши своей казны. А если бы Евсею теперь вздумалось сдѣлать заемъ, то вѣрно пришлось-бы, по примѣру Испаніи, обезпечить заемъ залогомъ и платить еще 49 со ста.

Передъ свѣтомъ прибыла на станцію изъ Москвы коляска, съ какимъ-то камеръ-юнкеромъ, и Евсей, проснувшись отъ возни и стуку, узналъ въ прислугѣ проѣзжаго пріятеля и сослуживца своего, отставнаго писца, а нынѣ отставленнаго кондуктора дилижансовъ, Иванова. Лировъ притворился спящимъ, но этимъ не отдѣлался; Ивановъ облобызалъ его соннаго, подсѣлъ и заговорилъ до смерти. Не станемъ повторять вслѣдъ за нимъ всѣхъ пошлостей, увѣреній въ любви и дружбѣ, обѣщаній ходатайства въ обѣихъ столицахъ, а наконецъ и простодушнаго предложенія, не угодно ли выкупить теперь плащъ свой — а перейдемъ къ главному: Ивановъ истязалъ и мучилъ бѣднаго Евсея до того, что этотъ, сколько ни отмалчивался, какъ ни отнѣкивался, а наконецъ высказалъ ему таки, что ѣдетъ въ Москву, отыскивать Голубцову.

«Голубцову? спросилъ Ивановъ; помилуй, братецъ, да она ужь Богъ вѣсть гдѣ: она теперь уже въ Крыму».

Лировъ за словомъ отворотился отъ пріятеля своего и

замолчалъ, но тотъ преслѣдовалъ его сыщикомъ, цѣплялся за него репейникомъ, увивался около него вьюномъ. «Да какъ ее зовутъ, Голубцову твою?» спросилъ онъ наконецъ, повторилъ вопросъ свой сто разъ, не отвязывался, не отставалъ, такъ что Евсею уже ничего не оставалось, какъ отвѣчать, что ее зовутъ Марьей Ивановной.

«Ну такъ и есть: чему же ты дивишься тутъ, я не понимаю, продолжалъ Ивановъ, коли я тебѣ говорю навѣрное, что Марья Ивановна Голубцова уѣхала съ дочерьми своими въ Крымъ?»

— Да помилуй, братецъ, она только-что пріѣхала изъ Петербурга, можетъ быть вчера, не прежде! —

«Ну да, знаю, и прямо проѣхала въ Крымъ. Чему же тутъ дивиться? Да коли не вѣришь и коли обстоятельство это для тебя важной относительности, такъ спроси поди вотъ у моего камеръ-юнкера, съ которымъ я поѣхалъ по пути; онъ знаетъ ее и знаетъ, что она уѣхала въ Крымъ».

Обстоятельство это было для Лирова точно важной относительности, говоря языкомъ Иванова; и Евсей рѣшился узнать лично отъ камеръ-юнкера, не вретъ-ли попутчикъ его. «Какая Голубцова? спросилъ тотъ, я, сколько помню, не знаю и не зналъ ни одной». Ивановъ подскочилъ, сорвалъ съ головы кожаный картузъ свой и пояснилъ: «та самая, ваше высокородіе, что еще на Ѳоминой недѣлѣ пріѣзжала просить, чтобы выхлопотать наскоро отпускъ племяннику, который служилъ у Ивана Петровича — изволите припомнить, въ черномъ платьѣ — я на ту пору слу-

чился у вашего высокородія съ извѣщеніемъ объ отбытіи дилижанса».

— А, помню, сказалъ камеръ-юнкеръ, да, я только не зналъ, какъ ее зовутъ. Да, она и просила объ отпускѣ племянника въ Крымъ. Помню.

«Коли такъ, подумалъ Лировъ, отступая почтительно и повиснувъ карманомъ своимъ на дверной ручкѣ или на ключѣ, — коли такъ, то видно я до чего-нибудь доѣздился, какъ пророчилъ мнѣ Власовъ. И на силу распутавъ карманъ свой, насмѣшилъ камеръ-юнкера, и пошелъ себѣ опять думать. Ему и въ голову не пришло спросить камеръ-юнкера, когда именно женщина въ черномъ платьѣ уѣхала съ племянникомъ своимъ въ Крымъ; Евсей услышалъ-бы, что этому уже три или четыре недѣли, а слѣдовательно Ивановъ вретъ начисто; но Евсея вѣсть эта такъ озадачила, что онъ пошелъ ходить и думать обо всемъ на свѣтѣ, только не о дѣлѣ. Судьба, подумалъ онъ, это одно пустое слово. Что такое судьба? Въ звѣринцѣ этомъ, на землѣ, все предварительно устроено и приспособлено для содержанія нашего; потомъ мы пущены туда и всякій бредетъ, куда глаза глядятъ и всякій городитъ и пригораживаетъ свои избы, палаты, чердаки и землянки, капканы, ловушки, верши и учуги, роетъ ямки, плететъ плетни, гдѣ кому и какъ вздумается. Кто куда забредетъ, тотъ туда и попадетъ. Міръ нашъ—часы, мельница, пожалуй паровая машина, которая пущена въ ходъ и идетъ себѣ своимъ чередомъ, своимъ порядкомъ, не думаетъ, не гадаетъ, не соображаетъ, не относитъ дѣйствій своихъ къ людямъ и жи-

вотнымъ, а дѣлаетъ свое, хоть попадайся ей подъ колесы и полозья, хоть нѣтъ; а кто сдуру подскочилъ подъ коромысло, того тяпъ по головѣ, и духъ вонъ. Коромысло этому невиновато, у него ни ума, ни глазъ; оно ходило и ходитъ взадъ и впередъ, прежде и послѣ, и ему нѣтъ нужды ни до живыхъ, ни до убитаго. Не для меня опредѣляла контора дилижансовъ выжимки эти, Иванова, въ проводники; не для меня его и протурила, чтобы онъ встрѣтился опять со мною въ службѣ камеръ-юнкера; не для меня Оборотневъ оставилъ порожнее мѣсто въ дилижансѣ своемъ, а я его занялъ самъ; я влѣзъ въ галиматью эту, проторилъ себѣ туда колею, и покуда не выбьюсь изъ нея, не кинусь въ сторону, вся бѣда эта будетъ ходить по мнѣ; отойди я, и все это пойдетъ тѣмъ же чередомъ и порядочкомъ, да только не по моей головѣ. Поэтому судьба пустое слово; моя свободная воля идти туда, сюда, куда хочу, и соображать и оглядываться, чтобы не подставлять затылка коромыслу.

«А если и коромысло и вся махина — невидимка, подумалъ про себя Лировъ, такъ что мнѣ тогда въ свободной волѣ моей и въ хваленомъ разумѣ, коли у меня звѣзды-путеводительницы нѣтъ, и я иду на-угадъ? А если сверхъ этого, при всемъ посильномъ стараніи и отчаянномъ рвеніи моемъ, куда бы я ни кинулся, всегда попадаю на шестерню, на маховое колесо, подъ рычагъ, на запоры и затворы или волчьи ямы? Тогда что, тогда какъ прикажете назвать причину неудачъ моихъ и плачевной моей доли?

«*Я просто* бѣдовикъ; толкуй всякъ слово это, какъ хо-

четъ и можетъ, а я его понимаю. И какъ не понимать, коли оно изобрѣтено мною, и повидимому для меня? Да, этимъ словомъ, могу сказать, обогатилъ я русскій языкъ, истолковавъ на дѣлѣ и самое значеніе его!»

Евсей все думалъ, и все-таки опять не могъ понять, какъ онъ просидѣлъ ночь напролетъ рядомъ съ головкой въ кіотѣ, въ одной каретѣ съ Марьей Ивановной и—и—и только. Но головка эта не давала ему покою: забывшись, онъ нѣсколько разъ обмахивался рукой и наконецъ проговорилъ въ совершенномъ отчаяньѣ: да отвяжись, несносная! Но она, видно, отбилась вовсе отъ рукъ и не думала слушаться его и Лировъ прибѣгнулъ къ крайнему въ такихъ случаяхъ, у него по крайней мѣрѣ, средству. Онъ принялся записывать какія-то отмѣтки на лоскуткѣ; потомъ всталъ, вышелъ, завернулъ въ бумажку эту камешекъ и закинулъ какъ можно дальше, черезъ тынъ. Хорошо, что никто продѣлки этой не видалъ: камешекъ угодилъ въ окно сосѣдней избы и расшибъ его въ дребезги. Когда стекло брякнуло, то Лировъ, при всей честности своей, ушелъ безъ оглядки въ комнату, потому-что ему и заплатить за окно было теперь нечѣмъ.

Надобно пояснить эту загадочную продѣлку: она, извольте видѣть, принадлежала къ одному разряду съ ворожбою на лучинѣ. Если Лировъ хотѣлъ окончательно и положительно рѣшиться на важное для него дѣло, если онъ хотѣлъ, чтобы дѣло это было кончено и рѣшено безъ всякихъ оглядокъ, рѣшительно и положительно, то онъ бралъ прутикъ, лучинку, щепку, и вообразивъ себѣ, что передъ

нимъ, въ видѣ лучинки этой, лежитъ нерѣшенное дѣло, вдругъ, съ усильнымъ напряженіемъ, ломалъ ее, или, еще лучше, рубилъ ее пополамъ; тогда, глядя на обломки или обрубки, онъ убѣждалъ самого себя, что измѣнить рѣшенія уже невозможно, передѣлать дѣла нельзя, также точно, какъ никоимъ образомъ нельзя уже обратить въ первобытное состояніе расколотую щепку. Прибѣгнувъ къ этому крайнему средству, Евсей уже былъ непоколебимъ и даже многосильное: «пустяки, сударь» Корнея Горюнова произносилось безуспѣшно. Если же у Лирова что-нибудь лежало слишкомъ тяжело на сердцѣ, удручало и мучило его, не давало ему покою, тогда онъ писалъ бѣду и горе свое загадочными словами на лоскуткѣ бумажки и, собравшись съ духомъ, напрягая воображеніе свое самымъ усильнымъ образомъ, бросалъ бумажку въ огонь или закидывалъ такъ, чтобы ее уже болѣе не видать. Это, по основанному на опытѣ убѣжденію, помогало; Евсей воображалъ, что скинулъ ношу свою съ плечъ, что закинулъ ее и уничтожилъ. Что же наконецъ до разбитаго окна, то это уже обстоятельство случайное, не входившее вовсе въ предначертаніе кабалистики Лирова.

Камень съ запиской надѣлалъ однакоже въ избенкѣ много тревоги, даже независимо отъ разбитаго окна: смотрителю принесли бумажку и просили прочитать; этотъ съ величайшимъ трудомъ разобралъ:

«Головка твоя съ плечъ моихъ, аминь»; потомъ еще нѣсколько таинственныхъ знаковъ — и только. Бабы побѣжали за какимъ-то знахаремъ, который отчитывалъ порчу,

потому что въ этомъ только смыслѣ могли понять содержаніе записки. Легко вообразить, въ какомъ страхѣ сидѣлъ и вертѣлся и прохаживался бѣднякъ Евсей, покуда все это кончилось и успокоилось и никто его не видалъ и не видалъ — не заподозрѣлъ и не подозрѣвалъ. Итакъ, Евсей попалъ въ кудесники; не даромъ по крайней мѣрѣ онъ поворожилъ!

ГЛАВА X.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ, ВЪ ОЖИДАНІИ БУДУЩИХЪ БЛАГЪ, СИДИТЪ НА ОДНОМЪ МѢСТѢ.

«У татарина, что у собаки, души нѣтъ, а одинъ только паръ,» говорилъ Корней Горюновъ, разсуждая съ кѣмъ-то, и Евсей, пустившійся, какъ мы видѣли, отъ нечего дѣлать въ размышленія и разсужденія, сталъ разбирать, самъ про себя, что такое душа? Онъ былъ уже очень близокъ къ окончательному выводу, когда Власовъ задалъ ямщикамъ другую загадку: «десять плечъ, пять головъ, а четыре души; десять рукъ, десять ногъ, сто пальцевъ, а ходитъ лежа, на восьми ногахъ; пойдетъ самъ-пятъ, воротится самъ-четвертъ: что за звѣрь?» Загадка эта мучила и пилила Евсея такъ, что онъ на время забылъ даже неотвязчивую головку, которую закинулъ въ окна сосѣда, забылъ все, бился и маялся, но не хотѣлъ спросить объясненія у Корнея, который сказалъ-бы ему, что это покойникъ, котораго несутъ вчетверомъ въ могилу. Въ такомъ положеніи мы можемъ на время оставить Евсея, потому что думы Стахѣевича бываютъ иногда довольно плодовиты — а дожидаться

конца ихъ долгонько; итакъ, отправимся на часъ мѣста въ Малиновъ. Я, признаться, нарочно заставилъ Корнея задать барину сперва вопросъ душесловный, а потомъ загадку: читатели увидѣли изъ этого, какъ легко Евсей нашъ уносился думою своею въ любую сторону и какъ упорно увязывался за всякимъ предметомъ, за которымъ пускалось уносчивое воображеніе его.

И въ самомъ дѣлѣ! Что дѣлаютъ между тѣмъ Малиновцы наши и каково-то они поживаютъ?

Все слава Богу; а происшествія были тѣмъ временемъ въ Малиновѣ разныя — чѣмъ богаты, тѣмъ и рады.

Вопервыхъ, тотъ самый коллежскій ассесоръ, котораго Лировъ называлъ лошадью, отправился намедни куда-то, гдѣ продавались оставшіяся послѣ умершаго вещи съ молотка. У лошади этой была похвальная, но не всегда умѣстная привычка, по́ходя спать; онъ весьма нерѣдко засыпа́лъ, сидя гдѣ нибудь на стулѣ, или прислонившись къ стѣнкѣ, къ печи. То же самое случилось и здѣсь; а когда стукнули въ послѣдній разъ молоткомъ, продажа кончилась, всѣ начали шаркать, шумѣть и расходиться, тогда Иванъ Ѳомичъ проснулся и спросилъ поспѣшно: «а что я выигралъ»? Онъ думалъ спросонья, что пришелъ на лоттерею.

Вовторыхъ, въ Малиновѣ было подано явочное прошеніе о бѣжавшемъ, гдѣ было сказано: «Въ каковой день означенный Колесниковъ самопроизвольно и неизвѣстно отлучился, не учиня впрочемъ ничего противозаконнаго: кромѣ того, что на немъ былъ поддѣвокъ сѣраго сукна, шаровары полосатые, да сапоги выворотные». А Жировскій городни-

чій, вслѣдствіе требованія губернскаго статистическаго комитета, отношеніемъ своимъ увѣдомлялъ, что по графѣ *нравственность*, въ статистическихъ таблицахъ, сдѣлано надлежащее распоряженіе, а именно: «какъ оной нравственности въ городѣ не оказалось, то и отнесенось къ исправнику, не окажется-ли таковой въ уѣздѣ.» Отношеніе городничаго было принято комитетомъ *къ свѣдѣнію*.

Въ третьихъ, съ Онуфріемъ Парфентьевичемъ, о которомъ Лировъ говорилъ, что онъ похожъ тѣломъ и душею на вола, сыграли шутку. У Онуфрія былъ старый сѣраго сукна сюртукъ, лѣтъ десять знакомый всѣмъ жителямъ Малинова. Сюртукъ этотъ, по случаю нездоровья Онуфрія Парфентьевича, провисѣлъ съ недѣлю на вѣшалкѣ. У Онуфрія былъ еще, кромѣ этого, какой-то племянничекъ, недавно прибывшій въ Малиновъ на попеченіе старика, вольношатающійся изъ дворянъ. Этотъ повѣса, воспользовавшись отдыхомъ сюртука, намочилъ ему воротникъ хорошенько водою, посѣялъ кресъ и поливалъ его очень прилежно два раза въ день. Разумѣется, что кресъ взошелъ, выросъ, и въ Малиновѣ разсказывали, будто Онуфрій Парфентьевичъ, со-слѣпу, не разглядѣлъ этого обстоятельства и явился въ присутствіе съ кресовымъ воротникомъ.

Затѣмъ соображенія мои и догадки повивальной бабки насъ не обманули; дѣло относительно извѣстнаго читателю хлѣбника или булочника пошло очень удачно, и у Перепетуи Эльпидифоровны былъ по этому случаю выходъ, гдѣ всѣ поздравляли ее съ вожделѣннымъ успѣхомъ и многіе увѣряли и божились, что посылаютъ за сухарями всегда къ

ея только хлѣбопеку; почтмейстершѣ также досталось порядкомъ за измятую наколку вице-губернаторши, тѣмъ болѣе, что торги на поставку вина были уже кончены, а наколка при этомъ вовсе упущена изъ виду. Замѣтимъ мимоходомъ, что вице-губернаторша всѣ наряды свои выписывала изъ Петербурга, потому-что въ Москвѣ господствуетъ какая-то пестрота и безвкусица. За это вице-губернаторша была рѣшительно первая барыня въ Малиновѣ.

Далѣе: полиціймейстерша дѣйствительно разошлась съ супругою перваго члена межевой конторы; это было на гуляньѣ, подъ Каменной горой: полиціймейстерша пошла въ одну сторону, а супруга перваго члена въ другую. Болѣе онѣ не встрѣчались, потому что полиціймейстерша наказала строго дочери своей, Оленькѣ, чтобы она быстрыми глазенками своими слѣдила неотступно супругу перваго члена, во все гулянье, и на другое и на третіе воскресеніе то же, и давала-бы знать матери, если непріятельница угрожаетъ съ которой нибудь стороны фланговымъ движеніемъ или нападеніемъ въ тылъ. Между тѣмъ, однакоже, губернаторша, предвидя грозу, сказала шутя полиціймейстеру: «Смотрите, Иванъ Осиповичъ, чтобы у васъ на гуляньѣ сегодня не вспыхнулъ пожаръ». Иванъ Осиповичъ, вскочивъ съ мѣста, вытянулся въ струнку, и спросилъ, не призадумавшись: «а не прикажете-ли, ваше превосходительство, привести пожарныя трубы»? и вслѣдствіе отвѣта разсмѣявшейся губернаторши: «о, это конечно было-бы гораздо безопаснѣе» — Малиновскія пожарныя трубы стояли смиренно, поникнувъ хоботомъ, на гуляньѣ подъ Каменной горой и ожидали по-

жару. Это крайне забавляло и утѣшало гуляющихъ; всѣ подходили поочередно смотрѣть и удостовѣриться собственными глазами, въ самомъ-ли дѣлѣ Иванъ Осиповичъ привезъ, въ ожиданіи пожара, трубы свои на гулянье; было много хохоту и смѣху, и всѣ потѣшались исправностію своего городничаго. Какъ бы то ни было, а трубы эти дѣйствительно предохранили вспышку и взрывъ между двумя озлобленными непріятельницами: до обѣихъ дошла стороною вѣсть о назначеніи пожарной команды; и обѣ, будто условились, кончили, какъ мы видѣли, тѣмъ, что разошлись въ разныя стороны. Говорятъ даже, будто полиціймейстерша прогнала было въ городъ брантмейстера, но Иванъ Осиповичъ, выѣзжая изъ городу верхомъ, встрѣтилъ его, воротилъ, и самъ въ полномъ парадѣ привелъ на гулянье. Говорятъ также, что у Ивана Осиповича пожарная команда въ самомъ дѣлѣ въ отличномъ состояніи, но что удачное ея употребленіе обыкновенно бываетъ, какъ и на сей разъ, дѣло слѣпаго случая.

Между тѣмъ, часу въ седьмомъ вечера, въ воскресенье-жь, на вечернемъ толчкѣ, на Малиновскомъ рынкѣ, толпилось довольно народу; кто покупалъ, кто только прицѣнялся, кто продавалъ, а кто просто толкался, потому что вечерній базаръ или толчокъ, этотъ настоящій, коренной источникъ всѣхъ новостей и слуховъ, составляетъ любимое гулянье значительной части Малиновскаго народонаселенія. Если, напримѣръ, губернаторъ думалъ ѣхать по губерніи, то на Малиновскомъ рынкѣ знали это уже тремя сутками ранѣе, чѣмъ въ губернскомъ правленіи. Этого мало: на рынкѣ

знали иногда такія вещи, которыя происходили наканунѣ за 500 или 1000 верстъ; такъ, напримѣръ, увѣряютъ положительно, что вѣсть о петербургскомъ наводненіи въ 1826-мъ году разнеслась по Малиновскому толчку, а потомъ и по цѣлому городу, на другой же день, ввечеру. Какимъ образомъ это дѣлается — объяснить не умѣю.

Итакъ, на вечернемъ толчкѣ въ Малиновѣ, стояла, словно долбленный рѣзной истуканъ, торговка обвѣшенная съ ногъ до головы всякими проказами. На головѣ офицерская шляпа, на ней чепецъ, къ нему приколоты съ боковъ ленты, перчатки, косынки, на плечахъ валеные чулки и носки; въ рукахъ канарейка въ клѣткѣ, изломанные счеты, Антенорово путешествіе, вторая часть, а за плечами—знаменитыя картины изъ романа «Павелъ и Виргинія», четыре времени года, четыре возраста въ лицахъ, Малекъ-адель; черезъ руки перекинуты платья, истасканные большіе платки, до которыхъ Малиновскія барышни, извините за отступленіе, большія охотницы, потому-что подъ большимъ платкомъ не нужно застегивать платья; — словомъ, на торговкѣ этой было все, какъ на украинской ярмаркѣ Грицька Основьяненка, даже охотничья сумка черезъ плечо, и въ сѣткѣ пѣнковая трубка и старый шандалъ.

Торговка эта стояла словно чучело и смиренно позволяла каждому прохожему перелистывать и разбирать разнородный товаръ свой, какъ подошла къ ней пожилая женщина въ довольно поношенномъ шелковомъ платьѣ, въ вишневыхъ атласныхъ башмакахъ, въ простой бумажной большой косынкѣ и въ нарядномъ чепцѣ, на которомъ широкія и

плотныя ленты явно изобличали подарокъ вице-губернаторши: покрайности знатокъ замѣтилъ-бы, что ленты были не московскія. Женщина эта поздоровалась съ торговкой, назвала ее по имени и отчеству, разсматривала, такъ изъ любопытства, товаръ ея и разспрашивала о новостяхъ. Судя по продолжительному разговору и по выраженію бездушнаго лица, она забранными вѣстями и справками осталась довольна. Простившись съ торговкой, подняла она неказистую голову свою, начала оглядываться кругомъ и, увидавъ въ крытыхъ дрожкахъ Перепетую Эльпидифоровну, которая, собираясь на гулянье, заѣхала сюда посмотрѣть, какъ идетъ пшеница ея, — женщина въ атласныхъ башмакахъ и въ чепцѣ вице-губернаторши стала кивать Мукомоловой привѣтливо головой, назвала ее по имени, протолкалась къ ней, низко поклонилась у приступка дрожекъ и, нагнувшись на ней, стала что-то разсказывать. Дѣло показалось Мукомоловой такъ любопытно, что она пригласила вѣстовщицу къ себѣ на дрожки, приказала кучеру ѣхать шагомъ, и на всю дорогу, до самаго жилища сопутницы своей, переговаривалась съ нею чрезвычайно дѣльно и прилежно. У низенькой лачужки дрожки остановились, одна вышла, а другая, раскланиваясь съ нею, говорила:

«Ну, спасибо вамъ, спасибо, Афимья Спиридоновна. Да что это вы, право, какія спѣсивыя, никогда не зайдете! ну хорошо, что я встрѣтила васъ теперь; а не попадись я вамъ, вѣдь вы бы и не подумали зайти да подѣлиться новостями, и весь городъ узналъ-бы прежде меня. Хоть пришлите, я давно призапасла для васъ мѣрочку пеклеванной

муки!» И съ тѣмъ, принявъ поклоны и благодарность записной наушницы и вѣстовщицы, которая извинялась тѣмъ, что всякому-де хочется послушать новостей, не всегда успѣешь зайти, куда бы и хотѣлось, — Мукомолова отправилась на гулянье подъ Каменную гору.

Запоздавъ немного, Перепетуя Эльпидифоровна прибыла на мѣсто въ самое то время, когда губернаторъ сказалъ громко, оборотясь къ полиціймейстеру: «Какой вы всегда вздоръ дѣлаете, Иванъ Осиповичъ, такъ ужь это право ни на что не похоже! Не повѣрите, какъ вы надоѣли мнѣ своею исправностію. Отпустите сейчасъ домой пожарную команду.» Иванъ Осиповичъ отвѣчалъ: слушаю-съ; прокомандовалъ звучно и громко: садись, шагомъ-маршъ — и брантмейстеръ, который состоялъ у Ивана Осиповича на правахъ эскадроннаго командира, отправился обратно въ городъ. «Видишь-ли, что я права, сказала полиціймейстерша супругу своему, и что ты всегда вздоръ дѣлаешь?» Иванъ Осиповичъ только прокашлялся, крякнулъ и сдѣлалъ движеніе, будто поправился въ сѣдлѣ, хотя шелъ рядомъ съ супругою своею пѣшкомъ.

Перепетуя Эльпидифоровна, встрѣтивъ мужа, погладила его по щекѣ, взяла подъ руку и принялась ему разсказывать. Онъ было захохоталъ во все горло, не сталъ вѣрить, но она побожилась, какъ Корней Власовъ, три раза сряду, и Мукомоловъ, переставъ смѣяться, подобралъ брылѣ, скорчилъ дѣловую рожу и пригнулъ голову на бокъ. Затѣмъ супруги разошлись, онъ пошелъ къ своимъ, она къ своимъ, и оба начали передавать вѣсть по принадлежности. Можетъ

быть, вѣсть эта и долго еще не дошла-бы до насъ, потому что Перепетуя Эльпидифоровна говорила все только шопотомъ, каждой барынѣ поодиначкѣ, часто даже на ухо; но Мукомоловъ не любилъ тратить словъ и времени по пустому, онъ зналъ одну только тайну и держалъ ее крѣпко, а именно: когда, кому и сколько и по какимъ процентамъ отдано было имъ денегъ. Все остальное говорилъ онъ вслухъ. Встрѣтясь съ нѣсколькими мужчинами, проревѣлъ онъ зычнымъ голосомъ: «Господа, поздравляю! Лировъ женится на Мелашѣ Голубцовой, и ѣдетъ назадъ, въ Малиновъ!» Затѣмъ слѣдовало удивленіе, хохотъ, споры, подробности, доказательства, опроверженія: одинъ вѣрилъ, другой не вѣрилъ, третій зналъ это напередъ, и вскорѣ подъ Каменной горой ни о чемъ болѣе не говорили, какъ о свадьбѣ Лирова съ Мелашей Голубцовой. Всякій судилъ, рядилъ, поздравлялъ, утѣшалъ и утѣшался, кто какъ могъ и умѣлъ.

Здѣсь остается еще пояснить, какое лицо или существо была женщина въ атласныхъ башмакахъ и бумажномъ платкѣ. Это, извольте видѣть, особенное сословіе малиновскихъ жительницъ, необходимое и полезное, какъ мха и рожки и сытовая роса для урожая, какъ червоточина въ яблокѣ. Это собственно такъ называемыя *вдовушки*, а иногда онѣ называютъ себя также *сиротами;* это вдовы бывшихъ чиновниковъ, женщины, принадлежавшія когда-то болѣе или менѣе къ свѣту, но утратившія вмѣстѣ съ мужемъ и доходное мѣсто, и честь, и славу, и вѣсъ, и значеніе. Онѣ теперь стараются быть *ехожими* кой-въ-какіе дома, чтобы сказать: была я у такой-то, пила чай у такой-то, и пріі-

обрѣтать, посильными трудами, подмогу бѣдности своей и подпору сиротству. Для этого имъ открыта вѣрная дорога: ходить изъ дому въ домъ и разносить вѣсти. Откуда вѣсти эти берутся—иногда право трудно разгадать; такъ, напримѣръ, спрашиваю васъ, откуда могло взяться извѣстіе о возвращеніи Лирова и о свадьбѣ его съ Голубцовой? Вы скажете, вѣроятно торговка слышала и передала слухи и толки эти Мукомоловой, — очень хорошо; но я спрашиваю, откуда взяла ихъ торговка? Чудное дѣло, ей-богу чудное! Отыщемъ поскорѣе своего Евсея, и убѣдимся, что на этотъ разъ малиновскія вѣстовщицы превзошли сами себя до нельзя; онѣ оставили далеко за собою всѣхъ ясновидящихъ цѣлаго міра, и Брюсовъ столѣтній календарь имъ въ подметки не годится.

ГЛАВА XI.

КОРНЕЙ ГОРЮНОВЪ НЕ СОГЛАСЕНЪ ЖЕНИТЬСЯ.

И въ самомъ дѣлѣ, посмотримъ да поглядимъ, что дѣлаетъ теперь Евсей Стахѣевичъ: если гдѣ-нибудь можно добиться толку, распутать и размотать слышанныя нами объ немъ въ Малиновѣ новости, то вѣроятно у него самого; надобно по крайней мѣрѣ полагать, что дѣлу безъ него не обойтись и что онъ знаетъ объ этомъ, если не болѣе, то покрайности и не менѣе Малиновской торговки, вдовушки или сироты и даже самой Перепетуи Эльпидифоровны.

Ну, а что же вы скажете, почтенные читатели, если я вамъ докажу на дѣлѣ, что Евсею Стахѣевичу вовсе ничего

объ этомъ неизвѣстно и что малиновцы наши, которые, говоря вообще, гораздо болѣе подходятъ къ породѣ лягавыхъ, нежели борзыхъ, потому что чуютъ верхнимъ чутьемъ, — что малиновцы наши дѣла этого рода знаютъ гораздо и весьма заблаговременно и всегда прежде тѣхъ, до кохъ они непосредственно относятся.

Итакъ отправляемся изъ-подъ Каменной горы, изъ Малинова, прямо въ Клинъ и навѣщаемъ Евсея въ ту самую минуту, когда Мукомоловъ, на вечернемъ воскресномъ гуляньѣ, побѣдоноснымъ голосомъ перваго вѣстовщика восклицаетъ: «поздравляю, господа: Лировъ женится на Мелашѣ Голубцовой и ѣдетъ обратно въ Малиновъ!»

Мы въ это мгновеніе застаемъ Лирова все въ той же гостиницѣ и въ той же комнатѣ; онъ расхаживаетъ себѣ взадъ и впередъ и разсуждаетъ про-себя, проговариваясь иногда вслухъ»: Чудное дѣло! не могу опомниться, не могу очнуться! кажется, я все еще дремлю въ потьмахъ, въ роковомъ дилижансѣ, и вижу передъ собою то, что видѣлъ тогда и чего увидать никогда болѣе не чаялъ; надобно же, чтобы я метался, какъ безумный, взадъ и впередъ по Московской дорогѣ, чтобы покинулъ невзначай благодѣтеля своего, чтобы избоина эта, Ивановъ, меня обманулъ, увѣривъ, что она уѣхала въ Крымъ — и все это, и сотня другихъ нежданныхъ, маловажныхъ и бездѣльныхъ случайностей сошлись и столкнулись надъ бѣдной моей головой, и чтобы изъ этого всего вышло и составилось событіе — да, событіе; въ тѣсномъ кругу жизни моей, это событіе, не менѣе важное, какъ потопъ и столпотвореніе для всемірной

исторіи. Гонимый судьбою, сидя въ крайнемъ бѣдствіи и самомъ отчаянномъ положеніи здѣсь въ Клинѣ, вдругъ встрѣчаю я боготворимую Марью Ивановну.,... Тутъ мечты стали играть въ головѣ Лирова такъ несвязно, уносчиво и съ такимъ отсутствіемъ всякой логики и послѣдовательности, что уловить и изложить ихъ не беремся. Евсей кинулся въ изнеможеніи на извѣстный намъ кожаный диванъ и закрылъ глаза рукою.

Корней Горюновъ входитъ, покашливаетъ, поглядываетъ, переступаетъ, какъ сторожевой журавль, съ ноги на ногу и говоритъ почесываясь: «А что, сударь, Евсей Стахѣевичъ, чай, что-нибудь да дѣлать надо; такъ не сидѣть же!»

Лировъ. Покуда само дѣлается, такъ не надо.

Корней. Пожалуй, дѣлается! Вотъ у насъ былъ одинъ такой въ полку: бывало загуляетъ, такъ пошелъ да пошелъ — и пропьетъ съ себя все, до рубашки; такъ будто это и хорошо?

Лировъ. Задача, Корней Власовичъ,—дай подумать! Ну что же, ты боишься, чтобы и я не сталъ пить? Не бось, не стану!

Корней. Нѣтъ, сударь, Богъ миловалъ покуда, что впередъ будетъ; а я, сударь, говорю только, что служилъ я Богу и великому Государю 25 лѣтъ вѣрой и правдой, и родясь начальства не обманывалъ; а это что такое, сударь, что вы дѣлаете, этого не видалъ и старикъ нигдѣ! Выѣхали на большую дорогу, да гоняемся, прости Господи, не знать за чѣмъ; и деньги всѣ проѣздили, и пѣшкомъ всю дорогу

исходили, да и сѣли и сидимъ теперь, да такъ видно, и будемъ сидѣть сиднемъ сидячимъ?

Лировъ. Коли сидѣть не будетъ намъ хуже нынѣшняго, такъ на что же и куда ѣхать, Корней? Дай Богъ посидѣть этакъ всякому!

Корней. Дай Богъ, сударь, сидѣть этакъ туркѣ да французу, да еще кто похуже того, а не намъ! Это, стало быть, ужь я знаю, Евсей Стахѣевичъ, стало быть, хотите жениться, да только все это пустяки, ей-богу пустяки!

Лировъ. Это ты откуда взялъ? Къ какой стати приплелъ ты тутъ женитьбу? — И за словомъ Евсей нашъ расхохотался.

Корней. Да ужь извѣстно, коли изволите говорить, что хорошо сидѣть этакъ, такъ хорошо вамъ, стало быть, подлѣ барышни; а пустяки это, сударь, все. Деньги прогуляли, ни Питера, ни Москвы въ глаза не видали, за чѣмъ поѣхали, позабыли — скоро, сударь, вѣдь и моихъ не станетъ — тогда что будемъ дѣлать? Я, сударь, не хочу попрекать васъ, избави меня Господь; мнѣ старику могила, а не деньги; гдѣ лягу — все равно, ужь мнѣ родина не тамъ, гдѣ родился, а гдѣ закопаютъ меня старика; да тогда что дѣлать станемъ съ вами..... Я, сударь, сами изволите знать, взятъ на службу изъ Сибири, шестнадцати годовъ отъ роду; сказали тамъ: «нужды нѣтъ, что онъ не великъ, поколѣ дойдетъ до мѣста, такъ подростетъ.» Покинулъ я молодую хозяйку, а дѣтей, признаться, еще не было. Прослужилъ я вѣрой и правдой 25 лѣтъ, только на послѣдніе четыре года, какъ уже поясница стала одолѣвать меня,

пошелъ я въ деньщики къ маіору, да и то, сударь, плакалъ, какъ съ ружьемъ да съ сумой пришлось разставаться, на безвремяньи словно, — и они по мнѣ и я по нихъ соскучился; а дай Богъ здоровье маіору — и маіоръ добрый былъ мнѣ господинъ, и вѣрилъ завсегда, бывало: ужь знаетъ, что я его не обману. Вышла мнѣ и чистая, такъ и тутъ, видно, согрѣшилъ я предъ Богомъ и великимъ Государемъ, что не пошелъ охотой на другой срокъ — и нашивку бъ дали, и таскалъ-бы ранецъ, поколѣ не задавилъ бы меня гдѣ нибудь; такъ ужь былъ-бы одинъ конецъ: а то одно то, что въ деньщикахъ ужь былъ, другое что спина не служила, да и домой таки захотѣлось: все думается дома лучше. Ну что жь, пошелъ, сударь, и домой — и въ другой разъ состарился, поколѣ дошелъ; годъ безъ малаго плелся, да ужь своего гнѣзда не засталъ: словно та же чужбина; только что тошнѣй прежняго стало. Изба, сударь, ужь не на томъ мѣстѣ стояла, не то чтобы ворота не на тѣхъ вереяхъ ходили; да и шапку нашелъ я, послѣ своей, на нашести чужую; у хозяйки моей шестеро ребятъ, трое переросли уже меня, и въ казакахъ всѣ они, да такіе молодцы, одинъ урядникомъ; и службу какъ у нихъ хорошо знаютъ, и всѣ построенія—даже ѣздятъ, сударь, на мундштукахъ; это не то, напримѣръ, Сибирскіе казаки наши, что Донскіе; это все равно что любой конно-егерскій полкъ, только что народъ еще порасторопнѣе будетъ да удалѣе. Что жь, извѣстно бабье дѣло, хозяйка ревѣть да цѣловать, да въ ноги; запѣла во всю улицу: «ты ненаглядный мой; ты мой ясный соколъ!» что народъ со

всего села сбѣжался — и все ужь казаки. И хозяинъ, новый вышелъ, и фуражку снялъ, поклонился мнѣ, старику, и стоитъ, сердечный, призадумавшись, словно виноватый какой. А меня, вишь, давнымъ-давно въ покойники записали они: гдѣ дескать жить ему, давно убитъ, чай, гдѣ-нибудь— за поминъ души отслужили, да и дѣло въ шапкѣ. Завопила, сударь, хозяйка: «ты мой ясный соколъ, ненаглядный ты мой»; а я, подумавши, и говорю: «нѣтъ, хозяюшка, наглядись ты на ненагляднаго своего, коли такъ честишь, да не безчести поминомъ яснаго сокола: былъ таковъ, поколѣ калена стрѣла да пуля свинцовая не подшибли летковъ молодецкихъ—а былъ, сударь, я раненъ и стрѣлой, на Кавказѣ—да поколѣ долгая година да непогодица не обломала перья правильныя! Теперь сталъ я сова куцая, ощипанная и глядѣть тебѣ, хозяюшкѣ моей, не на что!» Такъ я словно на побывку пришелъ, пожилъ съ недѣлю, да отдохнулъ, и внука еще крестилъ у втораго пасынка своего, у урядника, и крестъ тѣльной ему подарилъ, съ себя снявъ, который всю службу со мной служилъ и въ пятидесяти сраженіяхъ бывалъ и боронилъ меня отъ смерти, хоть и раненъ былъ я разъ шесть; такъ тутъ ужь и старики всѣ говорили, что будетъ-де крестникъ удалой казакъ, станетъ бить и киргизцовъ и куканцевъ. А самъ я, перекрестясь, и поѣхалъ оттуда назадъ въ Россію, съ бариномъ, который въ Сибирь нашу за чиномъ ѣздилъ да отправляйся опять въ Москву. Такъ вотъ, сударь, что проку жениться-то? Ничего нѣтъ толку, одни только пу-

стяки; только что грѣха, можетъ статься, на душу возьмешь и другаго на грѣхъ наведешь; а что проку?

Лировъ преспокойно выслушалъ старика своего до конца, чтобы увидѣть, чѣмъ все это кончится и куда его занесетъ; но потомъ спросилъ, привставъ съ дивана: «Да кто же тебя настроилъ, старикъ, и откуда ты взялъ вѣсти свои? Не говори ради Бога пустяковъ этихъ: вѣдь люди услышатъ, такъ подумаютъ, что тутъ есть какая-нибудь правда; откуда ты взялъ, что я сватаюсь?»

Власовъ. Да извѣстно, человѣкъ ищетъ гдѣ глубже..... тово, гдѣ лучше, рыба гдѣ глубже; да только пустяки все это, сударь, ей-богу!

Лировъ. Да пустяки же и есть; и я тебѣ говорю, что пустяки, и ты говоришь, что пустяки, такъ о чемъ же мы толкуемъ?

Власовъ. Ну, пустяки, такъ пустяки; ихъ въ сторону. Такъ пожалуйте, сударь, проситъ васъ къ себѣ барыня, Марья Ивановна, приходила отъ нея дѣвка.

Лировъ. Экой чудакъ ты, старый хрѣнъ, право, чудакъ! Что же ты мнѣ цѣлый часъ сказки сказывалъ, а не сказалъ какъ вошелъ, что меня зовутъ?

— Да я только хотѣлъ, то есть, доложить вамъ напередъ, — переминался Горюновъ, чтобы не вышло, то есть, оносля какихъ пустяковъ...

Лировъ вскочилъ и вышелъ.

— Послушайте — встрѣтила его Марья Ивановна — я хочу просить васъ вотъ о чемъ: мы поѣдемъ вмѣстѣ съ вами до Твери; а тамъ, какъ вамъ нѣтъ никакой надобности ѣхать

теперь же въ Москву, то вы и не откажетесь быть провожатымъ нашимъ до Малинова; не такъ ли?

Лировъ. Душою былъ бы радъ, матушка, еслибы я вамъ хоть на это пригодился, только...

Мар. Ив. Что только? — Нѣтъ, вы мнѣ въ этомъ не откажете. Дайте однакоже сказать вамъ еще другое слово— притворите-ка дверь, чтобы дѣти не слышали; мнѣ надо спросить васъ, не знаете-ли, откуда это вышло, будто вы сватаетесь на Мелашѣ?

Лировъ. Такъ и вы ужь объ этомъ слышали? Вы меня знаете, матушка, и повѣрите мнѣ, если я вамъ скажу, что сплетня эта меня за васъ очень огорчила, но что я знаю объ ней, вѣроятно, еще менѣе васъ; сейчасъ только старикъ мой разсказалъ мнѣ всѣ похожденія и приключенія свои, прежде чѣмъ позвалъ сюда, и вплелъ туда, Богъ знаетъ къ чему, предполагаемое имъ сватовство мое; болѣе я не знаю рѣшительно ничего. Я просилъ его убѣдительно не говорить такой вздоръ, но не могъ отъ него добиться— чьи это догадки и откуда онѣ взялись.

Мар. Ив. Ну, Богъ съ ними, оставимъ это; я только хотѣла высказать вамъ все, что у меня на душѣ. Слушайте же, я вамъ открою настоящее мое положеніе и буду ожидать отъ васъ помощи.

«Михайло Степановичъ, которому мы, какъ опекуну, много обязаны, человѣкъ, для меня по крайней мѣрѣ, самый непонятный. Безъ всякаго дурнаго намѣренія вѣроятно, онъ сдѣлалъ меня и дѣтей мучениками своими и у меня уже недостаетъ болѣе ни силъ, ни терпѣнія. Самъ же онъ, видно,

вовсе не понимаетъ, въ чемъ дѣло; его нельзя ни вразумить, ни убѣдить, ни умолить — онъ самъ оцѣняетъ услуги и одолженія свои и требуетъ за нихъ такую признательность, въ которой я должна была отказать ему на-отрѣзъ: счастіемъ дѣтей я жертвовать для него не могу. Онъ, какъ видно, давно уже рѣшилъ, что женится на Мелашѣ; онъ навѣщалъ дѣтей еще въ институтѣ, и къ несчастію, а можетъ быть и къ счастію, тамъ уже сдѣлалъ невыгодное на нихъ впечатлѣніе; онѣ объявили мнѣ объ этомъ съ самаго начала, принятымъ у нихъ довольно рѣшительнымъ выраженіемъ: «онъ такой злой, маменька, мы его презираемъ». Я пожурила ихъ за это, растолковала имъ, что, не зная его почти вовсе, имъ нейдетъ и осуждать его; что кромѣ того онъ у нихъ заступаетъ мѣсто отца. Мягкія сердца ихъ каялись уже въ слезахъ и почти собирались «обожать». Оборотнева, какъ этотъ, при нынѣшнихъ поѣздахъ своихъ съ нами изъ столицы въ столицу, гдѣ приводили мы въ порядокъ дѣла по опекунскимъ совѣтамъ, и въ другихъ мѣстахъ, самъ обращеніемъ своимъ все испортилъ и поставилъ меня въ самое затруднительное положеніе. Онъ, видите, такъ странно обходится съ ними, особенно съ Мелашей, что бѣдненькія стали вовсе втупикъ, не знаютъ что дѣлать и какъ показать ему свое дѣтское уваженіе и признательность; онѣ хотятъ видѣть въ немъ втораго отца, а онъ ухаживаетъ за ними, очень незастѣнчиво, женихомъ— и не щадитъ при этомъ никого. Я говорила объ этомъ съ нимъ не разъ, но онъ меня не понимаетъ или не хочетъ понять, и продолжаетъ мучить безпощадно бѣдныхъ дѣву-

шекъ. Я давно видѣла, что онъ ни въ какомъ отношеніи не можетъ быть парой для Мелаши, но не могла сказать ему это прямо, потому-что онъ доселѣ еще не сватался. Наконецъ нынѣшнее утро, Богъ послалъ намъ васъ; я узнала въ васъ сына, а Оборотневъ — соперника. Да, соперника; не знаю какъ и почему, но онъ приступилъ, съ часъ тому, ко мнѣ съ изъясненіемъ, и былъ такъ неосторожевъ, что даже началъ говорить объ этомъ при дѣтяхъ. Я выслала ихъ и принуждена была сказать ему, что вы, сколько мнѣ извѣстно, не угрожаете ему соперничествомъ своимъ, но что я доселѣ считала поведеніе его одною только загадочною шуткою; что я никогда не стану приневоливать дочери къ замужеству за немилаго, и что, даже и по моему мнѣнію, онъ — Мелашѣ, а она ему непара. Благодарность благодарностью, но этого я на душу не возьму. Теперь бѣдненькія сидятъ и плачутъ, а Михайло Степановичъ вышелъ отъ меня очень недовольнымъ; мы сидимъ и ждемъ, сами не зная чего, тогда какъ намъ давно бы пора ѣхать. Вѣроятно, онъ охотно съ нами разстанется, и мы прибѣгаемъ подъ ваше покровительство; вы довезете насъ домой.

Лировъ, поперхнувшись слезой, долго глядѣлъ молча на Марью Ивановну, которая спросила его еще разъ: «такъ вы поѣдете съ нами? мы остаемся однѣ, и вы насъ не покинете!»

— Не покину, матушка, отвѣчалъ Лировъ, проснувшись, если вы этого хотите; но нехорошо дѣлаю, что не покидаю, нехорошо, что не покинулъ уже раньше, нехорошо даже, что встрѣтился съ вами!

— Я васъ не понимаю, отвѣчала Марья Ивановна, глядя на Лирова, а это, вы знаете, рѣдко случалось; что это значитъ?»

— Это значитъ вотъ что, матушка: я — отъявленный бѣдовикъ; со мною никому не будетъ ни добра, ни радости, ни счастья; мой цвѣточный путь — еще и не засѣянъ, я привыкъ ходить босикомъ по отцвѣтшимъ незабудкамъ, а это, какъ вы знаете, однѣ колючки. Я боюсь, не перенести бы мнѣ къ вамъ, въ семейство ваше, мою судьбу-гонительницу, — а это бы меня убило!

— Послушайте, сказала Марья Ивановна, я не видала васъ никогда еще столько малодушнымъ, хотя знала васъ, какъ мнѣ кажется, гораздо въ худшемъ положеніи, чѣмъ нынѣ. Я воображаемаго вами несчастья не боюсь: покрайней мѣрѣ, если оно суждено мнѣ, то конечно не отъ васъ. Первое свиданіе съ вами, кромѣ душевнаго удовольствія, доставляетъ мнѣ еще, въ крайне-непріятномъ положеніи моемъ, помощь и спасеніе; вы меня можете выручить теперь....»

— О, не просите же меня такъ убѣдительно, матушка, отвѣчалъ быстро Лировъ; мнѣ совѣстно предъ вами и стыдно. Дѣлайте, что хотите, везите меня куда угодно: вашъ отвѣтъ, если... если...

— Что если? спросила Марья Ивановна, чтожь? вы покинули Малиновъ, гдѣ васъ знали, какъ хорошаго, честнаго и дѣльнаго человѣка; вы поѣхали Богъ знаетъ зачѣмъ, на чужбину, безъ средствъ, безъ пособій, даже безъ денегъ; можетъ быть, это и неблагоразумно, но я очень по-

нимаю и уважаю чувство, которое васъ къ этому побудило; и бѣды тутъ впрочемъ еще нѣтъ никакой; вы немного узнали свѣтъ, а это было вамъ нужно. Теперь вы воротитесь въ Малиновъ для меня, и сообразите тамъ въ другой разъ, ѣхать ли вамъ опять за бѣдой, или оставаться тамъ, гдѣ васъ знаютъ, и потому вѣрно всегда дадутъ вамъ мѣсто. Подумайте хорошенько, и вы согласитесь, что я говорю правду».

— Какъ всегда, матушка, такъ и теперь говорите вы совершенную правду, сказалъ Лировъ, поцѣловавъ руку Марьи Ивановны; я это вижу и понимаю; вижу также, что мнѣ нельзя не ѣхать съ вами; но, матушка, болѣе я не могу вамъ сказать ничего: я не могу еще опомниться, сердце у меня какъ-то сжимается, здѣсь въ горлѣ давитъ, промежъ глазъ, во лбу стучитъ — я чего-то боюсь, и очень боюсь — а самъ не знаю чего! Ѣду съ вами, ѣду; я вѣдь весь вашъ, давно уже сынъ вашъ, и Богъ мнѣ дастъ силу перенести все, не спотыкаясь, не обрушиваясь всею тяжестію этого бѣдоноснаго чела — ни на кого! О! отъ этого избави меня Боже и дай мнѣ силу и крѣпость.

Когда Лировъ, взволнованный темными, безотчетными чувствами, ушелъ, Марья Ивановна долго еще глядѣла молча за нимъ вслѣдъ, потомъ вздохнувъ подумала: «Добрая душа! я понимаю тебя, хотя и не смѣю тебѣ этого сказать. Нѣтъ, я этого не боюсь; я знаю тебя какъ сына и не пугаюсь тебя, что бы изъ этого ни вышло. То, чего ты, изъ скромности и уничиженія, боишься — было бы, можетъ статься, утѣшеніемъ моимъ, если бы было такъ угодно Богу; но я

въ дѣло это не мѣшаюсь: матери дозволено только устранять Оборотневыхъ, а что дальше будетъ—власть Господня.

ГЛАВА XII.

ЕВСЕЙ СТАХѢЕВИЧЪ НАѢЗДИЛСЯ И ВОРОТИЛСЯ.

Итакъ, любезные читатели, мы видѣли, что дѣлалось въ одно и то же время, въ воскресенье вечеромъ, въ Малиновѣ и за 500 верстъ отъ него, въ Клинѣ; спрашиваю еще разъ, какъ малиновскія вдовушки, торговки, или кто бы то ни былъ, могли знать то, что, какъ смѣтливые и прозорливые читатели мои, чай, догадываются, современемъ могло бы и случиться, но чего, покрайней мѣрѣ доселѣ, еще вовсе не было? Стало быть, малиновцы наши, какъ я вамъ и напередъ уже докладывалъ, были въ высшей степени одарены ясновидѣніемъ; стало быть, они видѣли и слышали изъ-подъ Каменной горы своей, или съ этого знаменитаго рынка, съ базару, все что дѣялось въ то же самое время въ Клинѣ и, какъ люди очень догадливые, вывели изъ этого свои заключенія; иначе я этого дива, ей-ей, истолковать не умѣю.

Марья Ивановна Голубцова была хозяйкой того самаго дома, о которомъ Лировъ вспоминалъ почасту во снѣ и наяву; онъ, если не ошибаемся, говорилъ какъ-то и въ разсказѣ нашемъ, что семейство, къ которому онъ было привязался какъ къ родному, давно уже оставило Малиновъ. Голубцова, овдовѣвъ, поѣхала въ Петербургъ за дочерьми, которыя были отданы уже прежде въ Патріотическій ин-

ститутъ; она не располагала было вовсе воротиться въ Малиновъ, но, приведя дѣла свои, обще со звѣздистымъ опекуномъ, въ порядокъ, не успѣла однакоже продать выгодно Малиновское имѣніе свое, передумала и рѣшилась основаться снова жительствомъ въ томъ же губернскомъ городѣ.

Лировъ зналъ Мелашу и Любашу дѣтьми и нашивалъ ихъ на рукахъ; онъ былъ въ домѣ свой, и Голубцова, почти можно сказать, воспитала Лирова, покрайней мѣрѣ образовала, перевоспитала его, хотя онъ былъ и въ то время уже не ребенокъ, руководила занятіями его, снабжала книгами и выучила двумъ языкамъ. Она любила его какъ сына, и онъ не называлъ ее иначе, какъ матушкой. Лировъ былъ ей одной обязанъ образованіемъ своимъ и лучшими, утѣшительными минутами безотрадной жизни своей, которая, особенно въ первыхъ степеняхъ его служенія, была горька и тошна. Можете себѣ вообразить радость нашего бѣдовика, когда, во время отчаяннаго сидѣнія его въ Клинѣ, вдругъ прикатила изъ Москвы карета, изъ которой, въ глазахъ его, вышла Марья Ивановна съ дочерьми. Оборотневъ, котораго тревожилъ и безпокоилъ одинъ видъ незнакомаго ему вовсе Лирова, взглянулъ было на него черезъ плечо: Евсей стоялъ опять уже, какъ будто на него нашелъ столбнякъ, когда Марья Ивановна первая его узнала, и радостямъ не было конца. Оборотневъ, хотя и былъ только, какъ выражался смотритель въ Помераньѣ, высокородный бригадиръ, со звѣздой св. Станислава второй степени, не зналъ однако, куда дѣваться отъ глупой надутой спѣси, ко-

торая играла у него на лицѣ во всѣхъ жилкахъ, отзывалась во всѣхъ ухваткахъ, въ каждомъ словѣ, даже въ чиханьѣ и кашлѣ... У этихъ господъ на все свои особые пріемы. Оборотневъ о-сю-пору былъ холостъ, потому-что выжидалъ съ благимъ терпѣніемъ извѣстное число чиновъ и крестовъ, чтобы уже выбрать невѣсту вполнѣ по желанію и вкусу, не стѣсняясь никакими условіями. Оборотневъ былъ совершенно убѣжденъ, что статскому совѣтнику благовидной наружности и важной осанки, да еще и со звѣздой, нѣтъ препоны, ни помѣхи, нѣтъ сопротивленія, ни отказу; всякая и каждая, вспыхнувъ ѳиміамомъ признательности и подъемля на неоцѣненнаго жениха взоры благодарности и умиленія, полетитъ съ отверстыми объятіями ему на встрѣчу; гдѣ честь, думалъ Михайло Степановичъ, тамъ и счастіе, а онъ въ завидной особѣ своей соединяетъ и то и другое. Между тѣмъ однако же *шпаковатость* — то есть скворцовая масть головы его, убѣдительно и настойчиво докладывала, что пора приступить къ дѣлу. Богъ знаетъ съ чего и почему, выборъ Оборотнева палъ на Мелашу, съ покойнымъ отцомъ которой онъ былъ довольно коротокъ. Но какая-то грубость, смѣшная самонадѣянность, глупая спѣсь, не прикрытая даже и видомъ приличія, ограниченность ума и очень неловкое обращеніе, отклонили отъ него заблаговременно чувства Мелаши, которая *обожала* или *презирала* всегда вмѣстѣ съ цѣлымъ классомъ. Оборотневъ, при частыхъ посѣщеніяхъ своихъ, сдѣлалъ такое непріятное впечатлѣніе на робкіе дѣвственные умы или чувства, что было положено цѣлымъ классомъ *презри-*

рать его, потому что онъ такой *недобрый*. И темное, безотчетное чувство, не руководимое ни опытомъ жизни, ни навычною прозорливостію, отгадало истину; потому что безотчетная пріязнь и ненависть также имѣютъ свое значеніе.

Оборотневъ былъ, по завѣщанію Голубцова, опекунъ осиротѣвшаго семейства его, хлопоталъ теперь въ Москвѣ и въ Петербургѣ по разнымъ его дѣламъ; ѣздилъ, какъ мы видѣли, съ Марьею Ивановною взадъ и впередъ и старался при этомъ сблизиться съ Мелашей, которую называлъ уже, въ глаза и за глаза, невѣстой своей. Не смотря на своекорыстную цѣль этой услуги, онъ цѣнилъ ее однако же такъ высоко, что позволялъ себѣ быть противъ Голубцовой грубымъ, взыскательнымъ и повелительнымъ; чего, конечно, мало-мальски порядочный человѣкъ никогда бы себѣ не позволилъ. Мы уже видѣли, чѣмъ все это кончилось: затѣмъ его высокородіе надулся, уѣхалъ, почти не простившись съ Голубцовой, въ Петербургъ, а Лировъ отправился съ нею и съ дочерьми ея въ Малиновъ, чего бѣднякъ, не безъ причины можетъ быть, столько боялся.

Что сказать вамъ теперь о дѣвицахъ, о Мелашѣ и Любашѣ Голубцовыхъ? Вѣроятно, вамъ случалось встрѣтить гдѣ-нибудь одно изъ этихъ милыхъ созданій, въ которыхъ, если говорить о каждой порознь, хотя и нѣтъ еще до времени души, — мы слѣдуемъ здѣсь душесловію Лирова — но которыя всѣ вмѣстѣ составляютъ одну душу? Вы знаете, что онѣ, въ Патріотическомъ институтѣ своемъ, всѣ сами зовутъ другъ друга *ангелами*, прибавляя къ этому только нумеръ на кровати, и даже пишутъ на записочкахъ: «Ми-

лый ангелъ 147, ангельчикъ 59 и прочее.» Если вы спросите у нихъ: «любите-ли вы своего почтеннаго законоучителя?» то онѣ отвѣчаютъ вамъ въ голосъ: «какъ можно-съ, мы его обожаемъ!» Если спросите: «а обожаете ли вы такого-то учителя?» то онѣ отвѣчаютъ: «нѣтъ-съ, мы его не обожаемъ, младшій классъ его обожаетъ». Если спросите: «плакали-ль вы сегодня, когда прощались съ такою-то классной дамой, которая отходитъ?» то онѣ, сложивъ руки на передничкѣ и глядя вамъ прямо въ глаза, отвѣчаютъ: «плакали-съ поутру и послѣ обѣда будемъ плакать». Таковы точно были и Мелаша съ Любашей; безплотныя жилицы блаженныхъ острововъ Макарійскихъ, какъ гласятъ народныя преданія наши, перенесенныя на эту грубую, плотскую и вещественную землю, на отжившую, обезсиленную почву большаго свѣта, въ которой нѣтъ уже ни соку, ни туку, на которую не канетъ благодатная капля дождя, а туманъ утренній стоитъ туманомъ и не разсыплется слезистою росою. Мелаша и Любаша слышали однажды о трудно-больномъ, который, будучи безнадеженъ, очень страдалъ; онѣ пришли передъ вечернею молитвой къ маменькѣ своей и просили, съ ангельскою улыбкой на устахъ, съ пречистою слезинкою въ очахъ своихъ: «какъ прикажете молиться, маменька, объ этомъ больномъ, чтобы онъ жилъ еще, или чтобы уже Богъ прекратилъ страданія его и взялъ его къ себѣ?» Вотъ каковы были онѣ, Мелаша и Любаша, чистыя, праведныя души, къ которымъ еще свѣтъ не прикасался грязными когтями своими, не отравлялъ еще младенческой непорочности тлетворнымъ не-

честивымъ дыханіемъ своимъ. О, какъ тяжело бываетъ иногда бѣдняжкамъ этимъ обжиться снова въ родительскомъ домѣ, который онѣ помнятъ только какъ несвязныя грезы о колыбельной пѣсенкѣ! Какъ тяжело иногда имъ пріурочить себя сызнова къ почвѣ и климату, въ которомъ нѣтъ и самаго отдаленнаго сходства съ благотворнымъ воздухомъ и тучнымъ черноземомъ родной имъ теплицы, гдѣ сквозь чистыя стекла такъ утѣшительно и такъ привѣтливо улыбалось имъ все: и небо, и земля, и люди, и громады дворцовъ, гдѣ сотни пріемышей жужжатъ пчелками вокругъ заботливой матки своей, не зная ни нуждъ, ни заботъ, ни потребностей, ни страстей!.... а выйдутъ въ свѣтъ — все станетъ иначе; вы жили въ мечтательномъ мірѣ, поживите жь теперь въ настоящемъ, и обживетесь съ нимъ, если умѣете.

Читатели мои сами видятъ, что поэтому большой разницы между обѣими сестрами быть не могло; но какъ у Творца нашего нѣтъ даже и двухъ совершенно однообразныхъ былинокъ, и все однородное основано на одномъ только подобіи, какъ, въ свою очередь, самое подобіе на разнообразіи, то и Мелаша съ Любашей, у которыхъ было столько общаго въ чертахъ, въ станѣ и въ пріемахъ, равно какъ и въ нравственныхъ и умственныхъ качествахъ, были два отдѣльныя существа. Лировъ нашъ въ этомъ отношеніи, конечно, судья не безпристрастный; но и я, какъ посторонній человѣкъ, гляжу на Мелашу какъ на созданіе болѣе полное и совершенное, въ которомъ уже все какъ-то болѣе пріуготовлено къ воспріятію ожидающей его души.

Можетъ быть, это потому только, что Любаша была еще полу-дитя, между тѣмъ какъ Мелаша болѣе дозрѣла, и, какъ по крайней мѣрѣ казалось, обѣщала понять современемъ чувство, о которомъ Любаша не имѣла ниже отдаленнѣйшаго понятія. Впрочемъ, не смотря на замѣчаніе это и не смотря на безконечную любовь Лирова, самое существованіе которой ангельская головка его еще долго, долго даже и не подозрѣвала—къ ней очень кстати можно примѣнить одну изъ любимыхъ присказокъ Корнея Горюнова: Слѣпой спросилъ зрячаго товарища своего: гдѣ былъ? Въ гостяхъ у кума. Что ѣлъ? кашу съ молокомъ. Что такое молоко, какъ оно бываетъ? Сладкое и бѣлое. Да какое-жь бѣлое? Да бѣлое, ровно гусь. А гусь что такое? какой онъ бываетъ? А вотъ такой, отвѣчалъ товарищъ: и согнувъ ему руку клюкой, представивъ изъ нея гуся,— вотъ какой бываетъ гусь. Слѣпой ощупалъ руку его кругомъ и сказалъ: а, теперь знаю. И если-бы вы меня спросили, какое понятіе есть въ Любашѣ объ этомъ загадочномъ чувствѣ, съ которымъ свѣтскія дѣвицы наши знакомятся такъ преждевременно, убивая цвѣтъ въ самой еще почкѣ, то я бы вамъ сказалъ: такое-же какъ и въ слѣпомъ Власова о молокѣ, котораго онъ не видалъ, не ѣдалъ, а слышалъ отъ товарища, что оно бѣлое какъ гусь, а гуся знаетъ только ощупавъ согнутую костылемъ руку. — И всякая неумѣстная попытка объяснить Мелашѣ, что такое любовь, кончилась бы присказкою Корнея Горюнова въ лицахъ. Оставимъ же ее бѣдняжку въ покоѣ; у нея есть теперь свой доморощенный учитель. Не долго стоять затиши

и подъ этимъ зыбкимъ челномъ — взволнуются и эти тихомирныя воды, и общая доля ихъ не минуетъ: одинъ мигъ чистаго блаженства и годы томительной суеты.

Затѣмъ, останется мнѣ только еще сказать вамъ, что Лировъ, примкнувши къ Голубцовымъ, повидимому не навлекъ на нихъ, какъ опасался, гнѣва потѣшавшейся доселѣ надъ нимъ судьбы; неукротимая, своевольная и своенравная, шаловливая, причудливая и всемогущая, обратила, видно, потѣшный самострѣлъ свой на кого-нибудь инаго, выслѣдила себѣ другую погремушку, другаго бѣдовика и, какъ казалось, причислила добраго Евсея по сказкамъ своимъ къ семейству Марьи Ивановны, на которомъ видимо почивала благодать Божія. По крайней мѣрѣ всѣ они доѣхали до Малинова безъ всякихъ лирическихъ похожденій, а новый предсѣдатель палаты, человѣкъ, вникнувшій во всѣ дѣла, съ безпримѣрною въ лѣтописяхъ Малинова прозорливостію и самостоятельностію, прочитывая отъ начала и до конца не одно безконечное *слушали* и *приказали*, часто спрашивалъ у совѣтника: «да скажите, Петръ Петровичъ, кто же у васъ писалъ, напримѣръ, вотъ этотъ докладъ?» и на отвѣтъ: «это бывшій чиновникъ гражданской палаты, Лировъ»,—продолжалъ, пожимая плечами: «Странное дѣло, что вы этого человѣка не умѣли удержать, тогда какъ теперь некому сдѣлать даже и самой простой выписки изъ журнальнаго постановленія, а приходится, по неволѣ разсылать во всѣ мѣста точные съ нихъ списки, толщиною въ цѣлую десть!»

Поэтому Лировъ не успѣлъ прибыть въ Малиновъ, какъ

предсѣдатель навѣстилъ его самъ, разспросилъ подробно обо всемъ и предложилъ ему мѣсто секретаря въ палатѣ, присовокупивъ, что ожидаютъ со дня на день новое положеніе о преобразованіи палатъ, по коему жалованье Лирова должно было значительно возвыситься. Благодѣтельное постановленіе это, какъ всѣмъ намъ извѣстно, дѣйствительно состоялось, и Лировъ можетъ теперь жить въ Малиновѣ не *мѣстомъ*, а *жалованьемъ*.

Представляю читателямъ потѣшаться мысленно истинно достойнымъ любопытства удивленіемъ малиновцевъ, ихъ шумными и нестройными возгласами, невольно напоминающими гагаканье гусинаго гурта, на столь знаменитомъ малиновскомъ базарѣ. Слышите-ли при этомъ побѣдоносные клики тѣхъ, которые все это пророчили и знали и видѣли напередъ? Слышите-ли гулъ извиненій и оправданій тѣхъ, которые сомнѣвались, спорили и не вѣрили? Слышите-ли также этотъ средній рѣзкій голосъ вѣстовщицъ и вѣстовщиковъ, которые не спорятъ о прошедшемъ, потому-что заняты до-нельзя и набиты, отъ пятокъ по самое темя, будущимъ и настоящимъ? Да, друзья мои, все это шло и прошло своимъ чередомъ; всѣ наконецъ свыклись съ нежданнымъ оборотомъ дѣла, потому-что старое уже не можетъ быть новостью; языки поуспокоились или пошли выплетать коймы да оборки къ новымъ слухамъ и новостямъ—и дѣла пошли опять своимъ чередомъ и порядкомъ.

А чтобы не упрекнули меня, будто я умышленно набралъ и выставилъ у позорнаго столба какихъ-то уродовъ и чудаковъ, и выказалъ одну только слабую сторону города

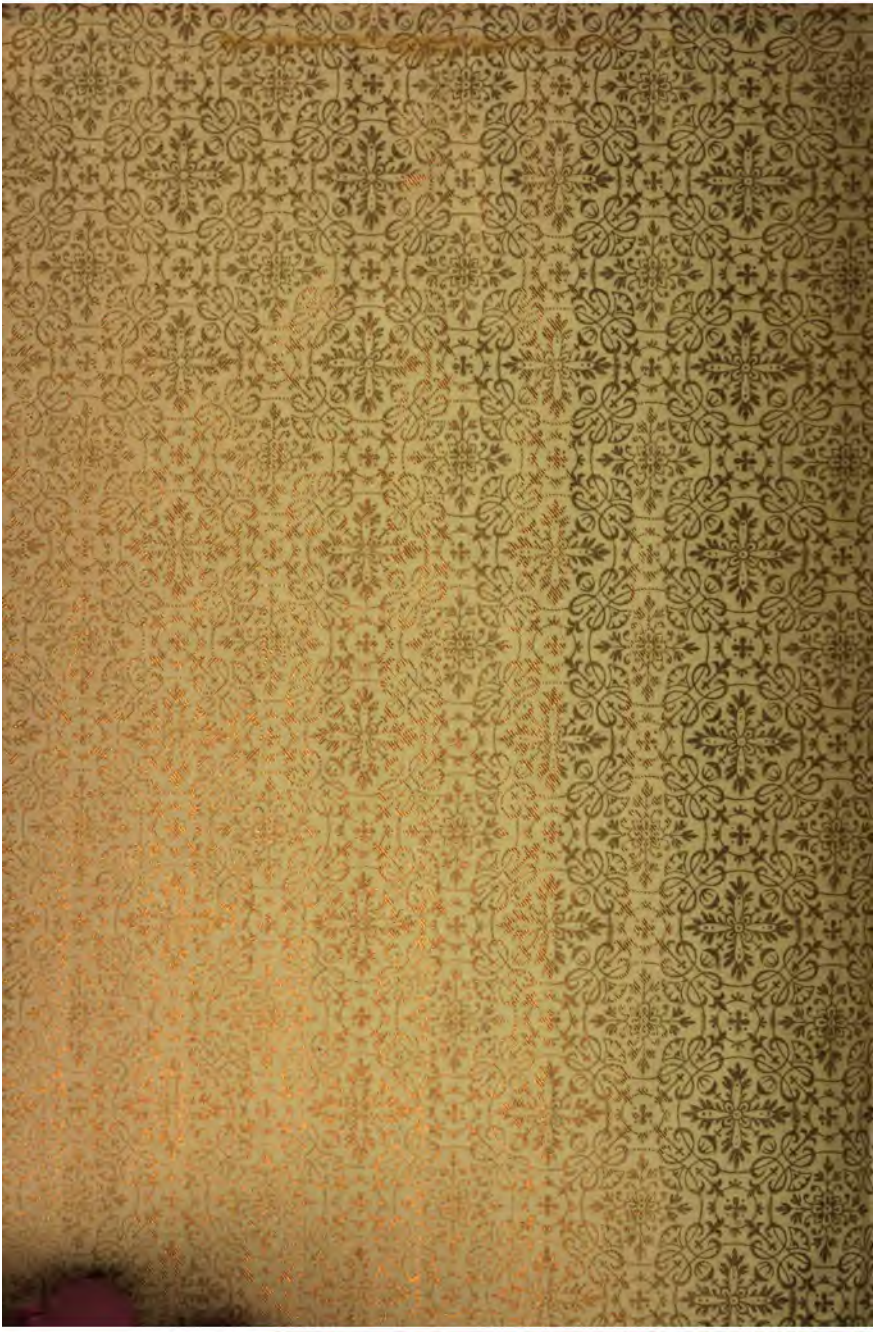
Малинова я опять-таки ухвачусь за притчу неоцѣненнаго для меня Корнея Власовича Горюнова:

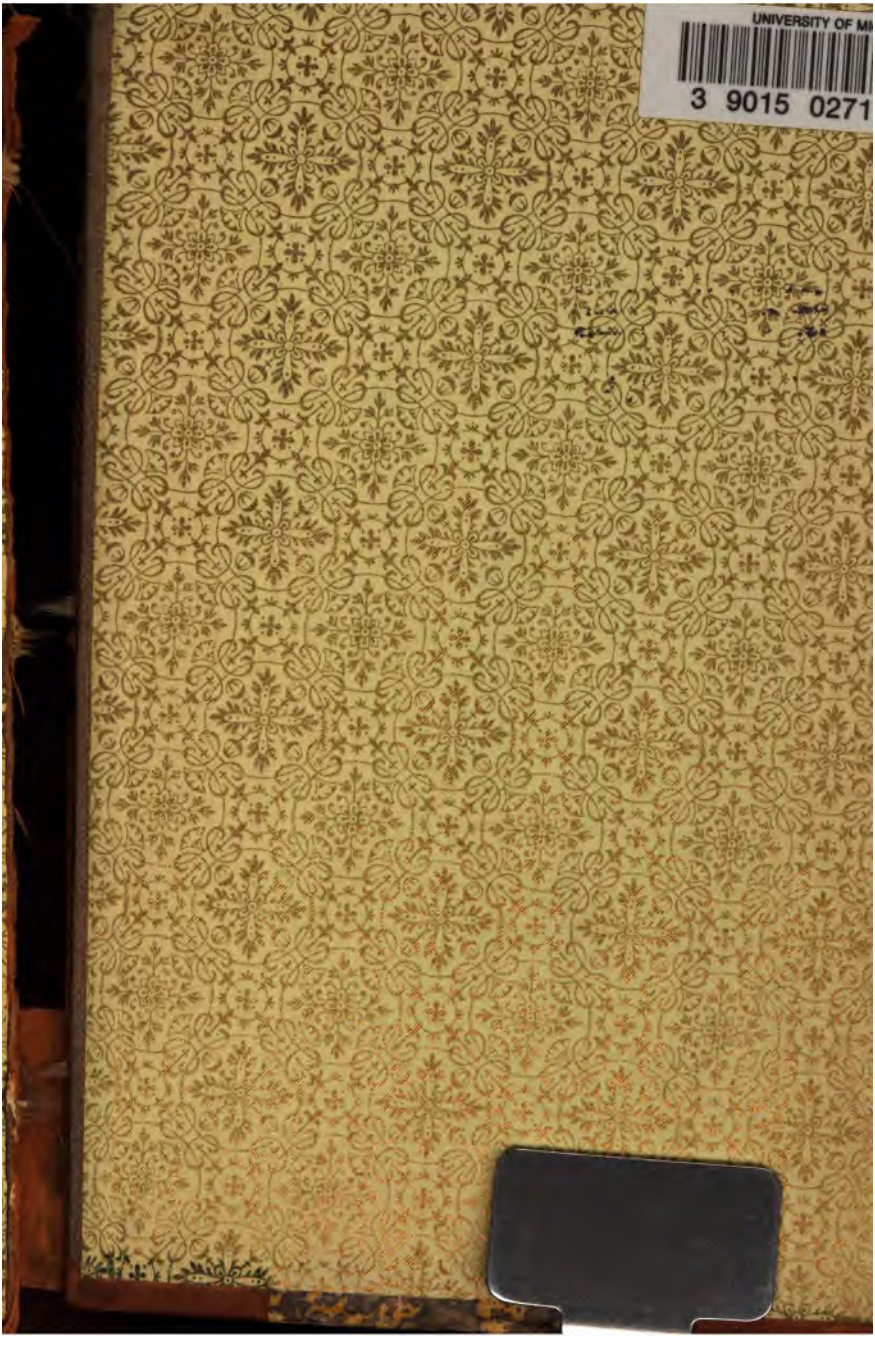
«Кочка видна по дорогѣ издали, мечется въ глаза поневолѣ и досаждаетъ всякому; а по гладкой дорогѣ пройдешь — и не спохватишься, что пришелъ».

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Отставной	1
Разсказъ лезгинца Асана о похожденіяхъ своихъ	42
Савелій Грабъ	108
Расплохъ	222
Хмѣль, сонъ и явь	270
Мичманъ Поцѣлуевъ	301
Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ	393
Бѣдовикъ	523




UNIVERSITY OF MI
3 9015 0271